Р. Иваничук

МАНУСКРИПТ
С УЛИЦЫ
РУССКОЙ

БИБЛИОТЕКА «ДРУЖБЫ НАРОДОВ»

РОМАН ИВАНЫЧУК

МАНУСКРИПТ С УЛИЦЫ РУССКОЙ

РОМАНЫ

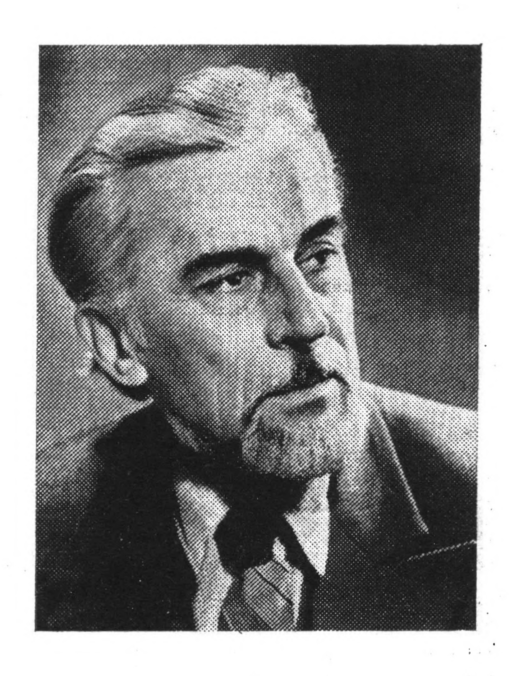
Авторизованный перевод с украинского
Константина ТРОФИМОВА

«ИЗВЕСТИЯ»
МОСКВА ● 1983

ББК 84 Укр 7
И 23

Художник Ю. ЛОГВИН

И $\frac{4702590000-117}{074(02)-83}$ —100—83 подписное





ЧЕРВЛЕНОЕ ВИНО

ГЛАВА ПЕРВАЯ

СКОМОРОХИ

— Скоморохи идут! Затейники! Потешники!

На треугольной мощеной площади, что широкой стороной упирается в реку Стырь, а узкой во въездные ворота Любартовского замка, неожиданно поднялась суматоха. Ярмарочный ритм вдруг нарушился: увешанные шелком и бархатом литовские евреи, с раннего утра сновавшие в толпе, первыми проскользнули к защитной стене, прячась со своим товаром за армянскими рундуками, армяне прекратили торговлю — накинув покрывала на лотки с шафраном, перцем и заморскими винами; украинские кметы [1], бросив рыбу, мед, воск, бежали, толкаясь, через площадь, чтобы не прозевать оказии, и только тверские торговые люди, молчаливые и невозмутимые, стояли, будто бы ничего не случилось, и торговали соболиными, бобровыми и горностаевыми шкурками и пренебрежительно пожимали плечами:

— Невидаль какая! Гус-с-ляры...

Замковые казачки, дворовые, повара, забыв, зачем их послали на рынок подстольники и подчашие, проталкивались сквозь толпу луцких мещан, которые приходили на площадь в ярмарочные дни не столько затем, чтобы купить что-то, сколько узнать новости, порой просачивавшиеся сквозь стены замка. Ближе всех стояли слишком любопытные волынские кметы в смушковых шапках и просторных кожухах.

От речного причала, где разместились торговые склады и купеческие госты [2], приближалась пестрая толпа мужчин в красных, синих и зеленых свитках, с дудами, бубнами, лирами, гуслями.

Скоморохи остановились перед толпой, сгрудившейся

---

[1] Кметы — простолюдины, крестьяне *(укр.)*.
[2] Госты — заезжие дворы *(укр.)*.

полукругом на площади. Вперед вышел молодой гусляр с длинными усами и, кланяясь в пояс, окинул взглядом публику, оценивая ее благожелательность, внешность женщин и девушек, красовавшихся перед музыкантами в нетерпеливом ожидании радостного веселья.

Энергичным движением рук музыкант перебросил гусли из-за плеча на живот, поправил ремень на шее и, подавая знак своей братии, ударил пальцами по струнам.

Гопки, гопки витинають,
Кроком, кроком присідають,
А Миколка плеще в руки
Та підскакуэ до любки,
Боже їх спаси! —

запел гусляр, приветствуя собравшихся, а скоморошй хлопчик-танцор ударил трепака на скользкой, покрытой льдом мостовой.

— Ах потешники вы мои! — захлопала в ладоши от восхищения девушка в белом кожушке и ярком шелковом платке.

Черноусый гусляр, словно смолой, ожег девушку взглядом своих карих глаз, лихо подмигнул ей; девушка покраснела, метнулась, чтобы спрятаться за чьей-то спиной, но толпа словно стена, спрятаться некуда. Гусляр воскликнул:

— Эй, голубка, не убегай, постой, красавица чернобровая, покажи свое личико, дай-ка мне разглядеть твои щеки и губки, то ли калиной, то ли кармином, то ли морозом нарумяненные. Милые братья, упадем — не пропадем, повеселим народ не за дукат венгерский, не за квартик львовский, да и не за спасибо, а за небесные очи и малиновую улыбку вот этой пышной розы!

Девушка подняла голову, игривой улыбкой согнала с лица смущение и задорно промолвила:

— Вот молодцы! Ну играйте же, я заплачу!

Дружно заиграли дудки, загудел бубен от удара по звонкой коже кулаком, и тут же музыканты смолкли; рядом с гусляром стал лирник, повертел корбой-ручкой, и полилась протяжная свадебная, трогательная мелодия, пересыпанная, словно морозный воздух блестками инея, вкрадчивым звоном гусельных струн:

А в тій світлиці стоїть Орися,
Убиралася й наряжалася.
До церкви пішла, як зоря зійшла,
У церков зайшла і засіяла.

Там пани стояли та й ся питали:
Чи то царівна, чи королівна?

Девушка слушала, не сводя глаз с гусляра: он пел, легко перебирая струны, почти не касаясь их, и в ее воображении он из весельчака и балагура превращался в отважного рыцаря. Гусляр умолк, и девушка тихо промолвила:

— А я Орыся...

— Лапушка ты моя! — снова стал балагурить гусляр. — Орыся ты или Марыся, а мы сейчас тебя напугаем... Только маме не жалуйся!

Из толпы скоморохов — где до сих пор был спрятан — вышел, переваливаясь с боку на бок, бурый медведь, волоча за собой цепь. Он поднялся на задние лапы, высунув красный язык.

Женщины испуганно завизжали и тут же расхохотались. Медведь повернулся к поводырю-цыганчонку.

— Не глазей на меня, — сказал цыганчонок зверю, — а поклонись честному обществу и покажи, каким умом наградил тебя господь бог и чему научился у пономаря. Ну, Гаврилка косолапый, покажи, как девушки прихорашиваются.

Медведь комично поклонился, вытянул в сторону лапу, будто держал в ней зеркало, а второй провел под глазами и по морде.

Смех прокатился над площадью, а косолапый Гаврилка, выполняя волю хозяина, уже танцевал, хлопал лапами, передразнивал судью, сидящего за судейским столом, рыцаря, идущего с копьем в бой: брал палку под мышку и порывался с ней двинуться на толпу; пил пиво из кружки, изображал попа, идущего с заутрени, потом пошел по кругу, держа в лапах шапку цыганчонка, — в нее бросали полугроши, квартники, динары.

— За какую провинность даешь свое серебро дьяволу в жертву, творя большой вред душе своей и радуя сатану? — откуда-то появился монах-доминиканец в красной шляпе и в длинной белой рясе. Он замахал на скоморохов посохом: — Fistula dulce canit [1], когда она славит бога, — смешивал доминиканец, словно горох с капустой, славянские слова с латинскими. — Дударя и гусляра обходи с боязнью, ибо то — есть поганское, но не христианское. Ведь это сатана задумал отвернуть паству от

[1] Дуда поет сладко (*лат.*).

костела — собрал бесов, превратил их в людей, и ходят они большими толпами, бьют в бубны coram publico[1]. Обложить их податью, многократной податью!

— Поп в колокол, а черт в било!

— Ночная сова!

— Играйте, потешники!

Раздались крики в толпе, но веселье было уже омрачено, ибо хотя крепкие парубки и оттеснили монаха, но пришел он сюда не один: к скоморохам протиснулся экзактор[2], потребовал у вожака уплаты налога.

Гусляр смерил обдиралу злым, хмурым взглядом.

— Уже платили мы, ваша милость! Тебе и на этом самом месте мы заплатили годовую подать в двадцать грошей, когда нас пригласил староста Луцкого замка приветствовать королевские и княжеские кортежи, которые накануне рождества съезжались сюда из Вильно, Кракова и Мальбурга. Или, может, у тебя память отшибло?

— За хвалебное пение вы платили, но и гребли у ясновельможных панов полные горсти. За сатанинские же, яко сеют смуту и честь дьяволу воздают, обязаны платить особо, да еще вдвойне, — подпевал экзактор в тон доминиканцу, который стоял с ним рядом и тоже ожидал получить мзду.

— Воронье проклятое, на поживу слетелись! Да пропадите вы пропадом! — послышался разгневанный девичий голос.

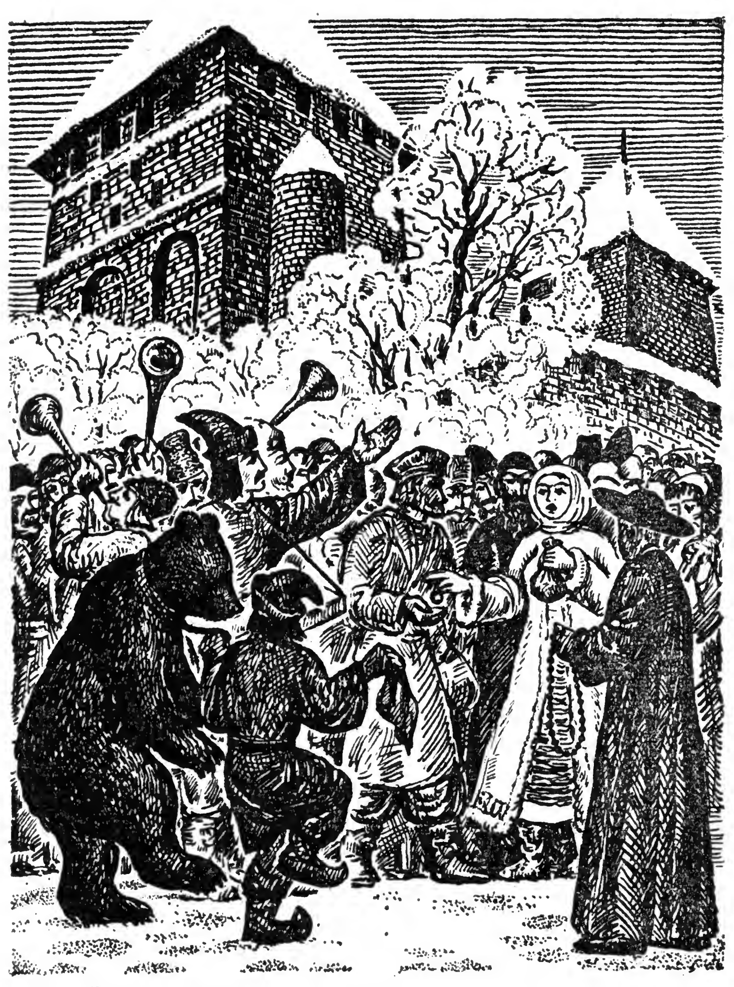
Красавица, для которой пели скоморохи за небесные очи и малиновую улыбку, расстегнула белый кожушок, вытащила дукат из расшитого узорами кошелька, висевшего на красном шнурке на шее, бросила его на протянутую руку экзактора, чем вызвала удивление у окружающих: эта девушка, должно быть, богата, коль так щедро отдала монету, за которую в лавке у купца могла бы купить себе аж десять пар самых лучших сафьяновых сапог.

— Мы не нуждаемся в милостыне, красавица, — покраснел гусляр и сунул руку в карман кафтана. — Забери, девонька, свои деньги у пана экзактора, мы не нищие, что вон протягивают скрюченные руки и в мороз выставляют напоказ паршу и нарисованные язвы. Мы честная братия...

---

[1] Перед народом (*лат.*).

[2] Сборщик податей (*старосл.*).



— Рыцарский нрав у тебя, гусляр, — ответила девушка, — но ведь это не милостыня, а плата за твое пение.

— Спасибо тебе, девонька... Тогда скажи, откуда ты и кто такая? А мы еще сыграем и споем для тебя.

— Орыся, я уже говорила вам, а отец мой — Ивашко из Рогатина, хозяин замка в Олеско, — девушка какое-то мгновение пристально глядела на парубка, а потом исчезла в толпе.

Площадь бурлила. Купцы успокоились, продолжали торговать, а толпа людей, собравшихся на зрелище, таяла — скоморохи больше не играли.

Вожак-гусляр, забыв о побратимах, шарил глазами по пышной толпе, искал, не промелькнет ли девушка в ярком платке с длинной бахромой и белом кожушке; взгляд его омрачился, когда он увидел, как девушка, обходя узкую речушку Глушец, омывавшую стену, направилась к боярскому стану.

— Ивашко из Рогатина... владелец замка в Олеско... — произнес, горько улыбнувшись. — Укуси себя за палец, Арсен, не поймать тебе шилом патоки... Эх, братие, братие, порвалось на мне лохмотие, если нет мне веры, посмотрите на дыры! — Он приподнял полы зеленого кафтана и повернулся к скоморохам.

Те пока еще не прятали инструментов, потому что еще не вся толпа разошлась, можно было продолжать веселье.

— Агов вуйко[1], — окликнул Арсен, увидев невдалеке сухощавого мужчину с короткой бородой и в бархатной ермолке, похожего на пилигрима или дидаскола. — Вуйко, вы уже пожилой человек и, наверное, знаете, когда этот Ивашко оказался в Олеско, ведь когда-то там был старостой варшавский хорунжий Павло из Родзанова, мазовчанин проклятый, который собаками нас травил от самого замка аж до Гавареччины, где мы напились у гончаров и побили их горшки.

— Да, знаю, знаю, — ответил мужчина, — Ивашко заслужил милость у Ягайла еще во время битвы под Грюнвальдом, за что стал боярином земельным, королевским ленником на Рогатинщине. А потом он перешел к Витовту, и тот назначил его старостой Олесского замка. — Мужчина оглянулся: среди людей, которые еще не разошлись, не видно было ни шляхтичей, ни королевских рыцарей — стояли только крестьяне и мещане. — Ивашко — опытный рыцарь, и сказывают, он среди тех бояр, которые поддерживают Свидригайла. Да только...

— А что — только? — донеслось из толпы. — Свидригайло — князь справедливый, он за Галицкую Русь православную...

— Все за Русь православную, — прищурил глаза мужчина. — Все... Чтобы побольше кусок себе урвать.

---

[1] Дядя (*укр.*).

Токмо мы, русины, еще не знаем, с какой стороны подступить к этой Галицкой Руси...

Туроподобная Въездная башня с двойными воротами, островерхая Владичья и Стыровая, возвышаясь над южной крутизной реки, соединялись толстой стеной, скрывающей от людских и вражеских глаз правительственный центр Волыни: готический из красного кирпича дворец великого литовского князя посреди замкового двора, собор — резиденцию луцкого епископа, каплицу и сторожевые избы.

Могущественную крепость построил на крутом берегу Стыри для себя и потомков — наследников Гедимина — последний галицко-волынский князь Любарт, обрусевший литовец. Крепостью можно овладеть, либо оставив гарнизон без продовольствия, либо лишив воды.

Замок находился в центре многолюдного Луцка, отделенного от Польши непроходимыми болотами, тянущимися вдоль рек Стыри и Сапалеевки; выйти из города можно только по тракту, который идет от Владичьей башни на Литву.

Во дворце из красного кирпича находится резиденция великого князя Литво-Руси Витовта Кейстутовича. От дворца идет подземный ход под Владичьей башней до Гнидавы. В княжеских хоромах собираются время от времени на торжества и приемы европейские монархи, съезжающиеся в Луцк на конгресс. Волынь напрягается изо всех сил, стонет, но по дорогам ежедневно тянутся санные обозы с мешками муки, бочками меда, тушами зубров, лосей. И волынские крестьяне гонят со всех сторон стада быков и овец — чтобы накормить и напоить именитых гостей.

Замок не мог вместить всех европейских правителей и их придворных, что понаехали той зимой, в конце 1430 года.

Витовт отвел для постоя самые лучшие дома в Луцке и в фольварках на окраине города и одного лишь гостя, да и то незваного, из осторожности поселил в сводчатых комнатах Стыровой башни — беспокойного, мятежного, но нынче так нужного ему в тяжбе с королем Польши Ягайлом — своего двоюродного брата Свидригайла Ольгердовича, черниговского князя.

Сегодня — большая ярмарка на площади перед

Въездными воротами: на днях конгресс должен закончиться. Сегодня вечером европейские правители совещаются во дворце Витовта: Свидригайло с раннего утра ждет приглашения на совещание.

Не приглашают... Витовт прислал дары, брат Ягайло — милостивое послание, а самого его не приглашают.

Свидригайло ходит по хоромам, словно зверь в клетке, злость и ненависть терзают душу. Вдруг, как молния, в мозгу вспыхивает решение: «У себя созову совет!»

Скрип дверей оборвал размышления князя, на пороге стоял дворовой слуга:

— Державец Олесского замка боярин Ивашко Преслужич-Рогатинец просит тебя, князь, принять его.

— Зови... Зови!.. Как раз кстати...

В хоромы вошел высокого роста рыцарь с седой бородой и, поклонившись, сказал:

— Русинские бояре просят тебя, Свидригайло, посетить наш стан.

Князь, коренастый и приземистый, подошел к гостю и долго стоял молча, присматриваясь — будто взвешивая, стоит ли ему делиться с ним своими замыслами. Боярин тоже молча ждал. Густые волосы, подвязанные выше ушей черной лентой, спадают на плечи, губы сжаты, глаза пристально следят за князем.

— Настал час, Ивашко, — наконец произнес Свидригайло. В глазах князя блеснула твердая решимость, и потеплело на душе у боярина. — Слышишь, настал наш час... Это хорошо, что ты пришел ко мне, олесский староста. Я еще ни разу не видел тебя, а ты — моя главная опора на юге, на Каменец у меня мало надежды. Говоришь, просят меня русинские бояре посетить их стан? Скажи, что приду. А вечером — милости прошу ко мне всех на банкет... Но как это так, что до сих пор я не встретился с тобой, Преслужич?

— Спасибо, что хоть имя мое запомнил...

Боярин Ивашко помрачнел: Свидригайло в очень близких отношениях с князьями Василием Острожским, с его сыном Федором, что ныне ратоборствует вместе с гуситами, и с Александром Носом. Но освобождали Свидригайла из кременецкой тюрьмы не только они. Ивашко хорошо помнит... В страстной четверг 1418 года князья Василий и Александр собрались в Рогатине, во дворце Преслужича, и решили спасти Свидригайла: «Свидригайло поддерживал нас, так мы вызволим его и

сделаем своим князем». Они задумали пойти на хитрость и направили в Кременец двоих своих людей, условившись с ними так: «Перейдете служить к кременецкому воеводе. Егда же мы приидем ко граду, вы опустите возводный мост». И те поехали, вошли в доверие воеводы, а в пасхальный понедельник Василий, Александр и Ивашко подошли к Кременцу с отрядом в полтысячи воинов, пробрались по спущенному мосту и глубокой, темной ночью перебили весь кременецкий гарнизон...

— Была ночь, когда мы освобождали тебя из кременецкого острога, — сказал спустя минуту Ивашко. — Василий Острожский и Александр Нос умчались тогда с тобой в Констанцу, а я вернулся в Рогатин. Не забыл ли ты, князь, что мы спасли тебя?

— Не забыл, — помрачнел Свидригайло, и это не прошло незамеченным для Ивашка Преслужича. — Сколько у тебя войск в Олеско?

— Тысяча. В поле — тысяча. А в замке она стоит трех. Мой замок неприступен.

— Как долго сможешь выдержать осаду?

— Полгода... Но почему ты, князь, помрачнел?

Князь не ответил. Его молчание вызвало тревогу у баярина Ивашка. Полгода... Тысячи королевских рыцарей на заолесских полях — от Подлесья до Плиснеска — с таранами, осадными башнями, конные и пешие, в железе и с огнем, а замок посредине — между поросшими кустарником болотами и хребтом Вороняцких гор. Полгода на кровавом поле... А если больше?

— Почему ты помрачнел, князь? — снова переспросил Ивашко Преслужич.

— Думаю...

Но вдруг глаза Свидригайла оживились, радостно заблестели, он раскатисто засмеялся — что-то скоморошье, заразительно веселое было в этом беспричинном смехе, и боярин тоже засмеялся.

— Полгода, говоришь? — оборвал смех Свидригайло. — А нам достаточно и полмесяца!

— Хочу спросить тебя, князь...

— Вечером спросишь. Я собираюсь к вам в стан.

Возле Въездных ворот затрубили рога, литовские стражники подняли вверх алебарды, лучники выбежали на площадь, выкрикивая:

— Дорогу, дорогу!

За армянскими рядами поднялся шум, литовские евреи, увешанные дорогими изделиями и бархатом, быстро пробрались к проходу, а от паперти Покровской церкви двигались калеки-нищие: безногие, слепые, безрукие, хромые, с оголенными синими коленями, с выставленными культяпками, открытыми гноящимися язвами. Их, точно это были не люди, лучники отталкивали ногами. Нищие хватали воинов за голенища сапог, откатывались назад и снова ползли вперед.

— Дорогу! Дорогу!

Из настежь открытых ворот в сопровождении ратников стремительно вышел рыцарь в шлеме, увенчанном страусовым пером, в панцире, с наброшенной накидкой из лосиной кожи-сырца, с широким мечом на боку.

Он шел, опустив, словно бык, голову, не глядя по сторонам, не обращая внимания на зазывные выкрики и просьбы купцов.

— Подай милостыню, наш православный князь, наш славный заступник, угодный господу богу! — скулили калеки, и рыцарь, не останавливаясь, бросил горсть монет в толпу, и вдруг мощным эхом разнеслось от толпы, где стояли скоморохи:

— Слава Свидригайлу! Слава князю русскому и литовскому!

Свидригайло остановился, лицо налилось кровью, будто где-то в глубине его души кипела скрытая ярость, однако деланная улыбка тут же осветила хмурое лицо, князь круто повернул вправо, подошел к толпе.

— Кто вы такие, что воздаете мне хвалу? — спросил Свидригайло, окидывая взглядом пеструю кучку людей в смушковых шапках, шляпах, в сермягах, сердаках, дубленых кожухах, в скоморошьих разноцветных кафтанах.

— Всякие, князь, тут, — за всех ответил неказистый мужчина в бархатной ермолке, из-под которой спадали на воротник серого суконного кафтана редкие волосы. — Свободные и несвободные, кметы и каланники, тяглые люди и ремесленники. И скоморохи, и нищие тут. А ты, князь, каких ищешь? Или, может, воины нужны?

Свидригайло бросил острый взгляд на мужчину, встретился с его пристальными и умными глазами, что пронизывали князя из-под косматых бровей, и ответил:

— Нужны. Много людей надо мне — таких, чтобы у них было чем воевать и за что воевать.

— А за что, князь? — спросил мужчина. — Знаем, что мещанин воюет за магдебургское право, шляхтич — за шляхетскую хартию, земледелец — за двор, жолдак — за жолд. За что будет воевать тяглый смерд — за калан[1]? Зварич[2] — за соль? Данник — за подымное и роговое?

— А я и не собираюсь их звать, любомудр. Да и с чем они пойдут на рать?

— А ты позови. Разве не слышишь — хвалу тебе воздают, надеются на тебя. Токмо с нами силен будешь. Ты дай им волю, так они с ухватами пойдут сражаться за Отчизну.

Князь опустил голову — подумал с минуту, потом посмотрел исподлобья на худощавого человека с умными глазами и спросил:

— А что такое Отчизна?

— Ныне она для людей то, что я уже сказал. А для нищих — деревянная мисочка для подаяний. Ты же сделай так, чтобы Отчизной для них стала земля, на которой они живут!

— А потом набирать мне ратоборцев вон из тех? — указал Свидригайло на калек и громко засмеялся.

— И они были когда-то людьми. А ныне — черви...

— Смешной ты человек и неумный. Хотя и непохоже, да, наверно, сам еси смерд?

— Я русин, княже. А ты за Русь хочешь воевать.

На скулах князя забегали желваки, он повернулся, за ним стали литовские ратники, и теперь Свидригайло оказался лицом к лицу со скоморохами, впереди которых стоял красивый парубок с гуслями под мышкой. Князь сделал шаг в его сторону, но остановился и, подумав мгновение, сунул руку в карман. Вытащил дукат и бросил гусляру.

— Ты их вожак? Сегодня, как ударят в колокол на Покрове, приходите в Стыровую башню петь на моем банкете.

И направился по площади в сторону русинского боярского стана.

— Верни ему дукат, хлопче, — произнес мужчина. — Негоже певцу садиться за один стол с сильными мира сего.

— Почему же? — хмыкнул Арсен. — Мелите язы-

[1] Калан — удар нагайки (*тюркск.*).
[2] Зварич — солевар (*укр.*).

ком... А мы — у кого пиво пьем, тому и честь воздаем.

— Гляди, чтобы не перепил. Чтобы на похмелье не проснулся, случаем, в колпаке с колокольчиками.

— Да кто ты такой, что всех поучаешь? — огрызнулся гусляр. — Пророк или кто?

— Да нет... Я, хлопче, Осташко Каллиграф. Из Олеско.

Сказал, повернулся и затерялся в толпе, а потом к Арсену подошел одноглазый, без руки старец и сказал:

— За что ты нас обидел, скоморoший вожак?

— Гур-гур, едет Юр, — ощетинился Арсен и приблизился к старцу. — А ты кто такой?

— Ровня тебе. Я — атаман перехожих калик.

— Да как ты смеешь, голодранец? — закричали скоморохи, и цыган отпустил цепь, на которой держал медведя.

Зверь заревел и бросился на старика. Тот попятился, нищие бросились врассыпную.

— Бегите, подвальные крысы, если не хотите узнать, что такое аминь в отче наш! — захохотал им вслед Арсен.

И умолк. На него издали глядел то ли с презрением, то ли с сожалением атаман нищих, покачивая головой, и Арсену стало стыдно. Давно ли сам побирался?..

Нищенствующие студенты Ягеллонского университета — жаки — бродили по Краковскому предместью, выпрашивая деньги и хлеб, потому что, видите ли, им захотелось надеть на голову рогатый берет бакалавра, а есть нечего и из бурсы схизматиков их прогнали. А люди остаются людьми: кто дает подаяние, а кто палкой гонит. Нередко они возвращались в свои подвалы с тощими сумами и голодные. Арсен из Перемышля остановился возле ухоженного домика, в котором жили львовские художники и резчики, украшавшие каплицы в кафедрах Вавеля.

— Не хочу больше побираться! — швырнул он суму. — Слышите, не хочу...

— Тогда подыхай, — ответили ему жаки и пошли дальше, только трое остались с ним — нынешние дудари, — они вытряхнули из карманов у кого что было.

— Напьемся сегодня, а завтра — что бог даст!

— Напьемся, — взмахнул рукой Арсен. Он подошел к домику художников, постучал в окно. — Мастер Симеон и ты, ничтожный челядник, а ну-ка выходите — жаки разбогатели.

Они пили в корчме и пели, а когда у спудеев не осталось ни гроша, то даже во хмелю серьезный мастер Симеон Владыка сказал:

— Пропадете вы тут, хлопцы. Мы после праздников возвращаемся во Львов, пойдемте с нами. Будете скоморошить, это достойно заработанный кусок хлеба — не нищенский.

...В Краковском предместье Львова попрощались с художниками. Раздобыли у новгородских купцов, которые стояли тут на постое, гусли, трубы, дуды и отправились, минуя Львов, на Рогатин. Первый заработок получили от королевского ленника — рогатинского пана Ивана Преслужича. Боже мой, так это же, наверное, тот самый — нынешний староста замка в Олеско! А Орыся... Сколько минуло лет... Может, слушала, может, узнала... Ой, Арсен, Арсен, вожак скоморохов, на кого ты сегодня засмотрелся!

Да будто лишь раз засматривался? Были и шляхтянки, и меркаторские служанки, и проститутки... Но эта... Почувствовал, как пленила его незнакомая Орыся, вошла в душу, словно незваной гостьей в дом, и неожиданно стала желанной гостьей, о которой мечтал давно. И вот встретил...

И потерял... Неужто потерял?

— Братья... — Арсен отсутствующим взглядом окинул товарищей, — вечером будьте возле Покровы, я приду...

Скоморохи удивились, что вожак оставляет их одних, когда в их руках целый дукат. Арсен отвернулся, проходя мимо нищенской толпы, он почувствовал, как пристально смотрит ему в спину атаман, — что ему нужно? Арсен еще раз вспомнил о своей нищенской жизни, и ему сделалось страшно от мысли, что сам когда-то протягивал руку за подаянием; он оглянулся украдкой, не наблюдают ли за ним побратимы, и, пробираясь между людьми, поспешил к боярскому стану.

«Не уйду отсюда до тех пор, пока не выйдет. Должен еще раз увидеть ее...»

Стоял во дворе и играл на гуслях. Дворовые люди не прогоняли его, ибо скоморохам в эти дни разрешалось играть в Луцке. Прохожие бросали мелкие монеты на струны. Арсен играл, и в дверях дома наконец появилась девушка в цветастом платке.

В нерешительности стояла на пороге, восхищенно

смотрела на гусляра, ее глаза светились радостью. Странное чувство тоски охватило ее, когда она ушла с рынка, хотелось еще раз посмотреть на черноусого вожака скоморохов, но не посмела. Все время думала о нем... и если бы вернулась и подошла к нему, то убежала бы... убежала от того, что ждет ее в отцовском доме. И пускай тогда свершится воля божья! Со скоморохом? А может быть, это ее рыцарь? Нельзя, нельзя. Впервые в жизни нахлынувшая страсть обдала жаром тело: вернуться, убежать, убежать... Безвольная и печальная лежала, уткнув лицо в подушку, давил холод бесцветных пустых глаз немилого и обжигал карий взгляд Арсена. И вдруг услышала звон струн...

Лишь миг стояла Орыся на пороге, потом рванулась с места, подбежала к гусляру.

— Ты в самом деле боярыня, Орыся?

— Какое тебе до этого дело, гусляр... Я же вышла... Пошли...

— На край света?

— А где он?

Они пошли рядом по улочке в глубоком овраге. С берегов реки нависали снежные сугробы, серебристый иней падал на цветастый платок с красными розами, на брови и щеки девушки; тишина над скованной льдом Стырью нарушалась украдчивым потрескиванием; по льду змейкой бежала поземка.

— Ты была тогда еще маленькой... Помнишь скоморохов в вашем дворе в Рогатине?

— Помню... Это был ты?

— Я... А тебя я не видел... Какая ты красивая!

— Молодец... Это был ты...

«Куда мы идем? Пошли... Лед крепкий, не провалимся... Вербы в белых сережках наклонились, примерзли ко льду... Пойдем. Гулко гудит лед, а в Гнидаве — церковь, там священник готовится к вечерне, у него теперь есть время... Тут край света, девушка, на Стыри. Тут, боярышня... Скоморох, скоморох. Узок наш мир...» — «Как тихо. Нахохлившиеся вороны притаились на снежных холмах... Я одинока, меня собираются выдать замуж, а у священника в Гнидаве сейчас есть свободная минута...» — «Я не видел, Орыся, девушки красивее тебя. Может, не тут край света? Кто бы нас нашел?..» — «А отец что скажет?.. А побратимы?.. На дубе за Стрыем

зловеще каркает ворон, мы уже посреди реки... Почему я боярышня?» — «Почему я скоморох?..»

— Надо возвращаться, Арсен...

— И — навсегда?

— Кто знает...

— Я поцелую тебя...

— Поцелуй. Нежно. Не сильно, чтобы потом не было больно...

Вырвалась из его объятий и быстро побежала, не оглядываясь. Трещала и рассыпалась на части тишина. Орыся услышала, как закричал ей вслед Арсен:

— Вернись, вернись! Нет, я не умру, не умру, пока...

А остальные слова будто замерзли на льду.

ГЛАВА ВТОРАЯ

ПРИВИДЕНИЯ В ЛУЦКОМ ЗАМКЕ

Свидригайло вернулся из русинского боярского стана собранный и решительный. Теперь он определенно знал: настал его час. Сегодня Витовт на последнем совете конгресса известит монарха о том, что он готов принять из рук повелителя urbis et orbis[1] короля чешского и венгерского, римского императора Сигизмунда корону. Ведь не зря вчера Ягайло в любезном послании, написанном рукой краковского епископа Олесницкого, обещал Свидригайлу Подолье. Не будет ответа — сам возьмет его, когда придет время. Поэтому неспроста и Витовт прислал бочонок мальвазии — самого лучшего греческого вина! Спасибо, вино выпью... Пусть Витовт получает корону и постарается оторвать Литву от Польши для своих наследников — нет у Витовта сыновей, а ему уже восемьдесят. Умрет по воле божьей новоиспеченный король литовский, а корону с помощью русинских бояр получит Свидригайло.

Князь снял шлем, панцирь, кубрак[2], хотя под каменными сводами тянуло холодом; в льняной сорочке, коренастый, широкоплечий, сел на скамью возле камина.

«Когда коронуют Витовта, — думал, — ныне, завтра? Все равно в тот же день он умрет, а я с его ратниками, которые сейчас так бдительно следят за мной, войду во

---

[1] Городов и мира (*лат.*).

[2] К у б р а к — род одежды, куртка (*укр.*).

Владичью башню, а оттуда по торной дороге до Вильно и Тракая. Пускай советуются, а я устрою для русинских бояр банкет».

Седые волосы взлохматились под шлемом, сползли на морщинистый лоб князя; Свидригайло, поглаживая большим пальцем длинные усы, глядит на огонь. Мерцающие языки пламени время от времени вырываются наружу, облизывая под камина, и освещают короткими вспышками майоликовый кафель, где изображены битвы, пиры, лики рыцарей и князей.

Креденсеры в соседнем зале накрывают столы для банкета; Свидригайло попивает из кубка горячую мальвазию, которую прислал ему великий князь, легкое опьянение подогревает воображение, пробуждает у шестидесятилетнего князя воспоминания.

Свидригайло пристально всматривается в причудливые изгибы огня, они напоминают ему вечный огонь предков, пылавший в храмах бога Перкуна еще в те времена, когда племена латгалов жили в пущах над Неманом и Двиною, а их князья-кунигасы и жрецы-кревиты платили соседним народам дань вениками и лыком. Давно угасли те священные огни предков, но отблеск их костров дошел к нему через языческие сказания. Он же жил во времена, когда выходили из болот и пущ упрямые, цепкие, яростные в своей отроческой силе ятваги и курши, захватывали почти без сопротивления когда-то могущественные, а потом разрозненные татарами княжества Черной, Белой и Червонной Руси — и добрались до самого Киева.

Князь думал. Так было: темными завоевали они Русь и от Руси сами просвещеннее стали, православную веру переняли у них, научились грамоте, а русинский язык и письменность стали основными при дворе, да и сами растворились в русинском море. И ослабели вместе с завоеванным народом: взяли у русов державный скипетр, а удержать его в руках не смогли. Еще не успела откатиться на восток татарская орда, хотя Ольгерд нанес ей поражение под Синими Водами, а Дмитрий Донской — на Куликовом поле, как с запада нагрянули железные полчища тевтонских рыцарей. Тогда-то из Кракова в Вильно прибыли послы и слабому, но жестокому и славолюбивому литовскому князю Ягайлу показали золотую польскую корону, за которую он, не колеблясь, отдал полякам Литво-Русь. И на православных землях пошел католический мор.

Свидригайло хмелел от горячего вина, языки пламени лизали рельефы на изразцах, и ему казалось, что фигуры на кафеле шевелятся, двигаются, будто звенят там на шумных пирах бокалы и ломаются копья. Свидригайло прислушался: что это за голоса? может быть, из дворца? Князь насторожился. Голоса становились все громче; Свидригайло пьянел все сильнее, он уже не раз прикладывался к кубку. И вдруг заметил, как повернул к нему голову изображенный на изразце рыцарь или князь. Он был без шлема, длинные черные волосы связаны лентой над большими ушами, глаза маленькие, блестящие, светятся неудержимой яростью, за которой — страх.

Это лицо было очень знакомо Свидригайлу, он подумал, что гончар, покрывая изразец рельефом, видел перед собой запомнившийся лик краковского венценосца. Странный шум нарастал, и наконец князь услышал ясный голос:

«Зачем мысленно зовешь меня, брат Свидригайло, в свои хоромы? Ведь я рядом, во дворце Витовта, и ты мог бы прийти сюда. Да, тебя не пригласили... Но никто и не прогнал бы... Я сам заступился бы за тебя, ведь я простил тебе твое бунтарство и Каменец-Подольский отдаю тебе, но и мне нужна твоя помощь. Витовт замышляет измену, пойдем вместе со мной против него — и отомстишь за обиды, которые он нанес тебе».

«Тебе ли осуждать чьи-то поступки, Ягайло, если твой путь к польской короне усеян изменой и предательством?

Тебе ли взывать о мести за чьи-то обиды, коли сам тяжелыми кривдами протоптал себе путь к трону?»

«Правду молвишь, — прозвучал голос с другого изразца, и Свидригайлу померещилось, как сходит с камина могучая фигура старого рыцаря в боевых доспехах. — Это я, литовский князь Кейстут, сын Гедимина и отец Витовта. Пойди и стань передо мной, испуганный польский владыка, сын моего брата Ольгерда. И вспомни. Твой отец, умирая, оставил тебе литовский престол в Вильно, мне же, своему соратнику, повелел сидеть в Тракае и помогать миром — мятежному, честностью — бесчестному, опытом — неопытному. Ты же, необузданный властолюбец, пошел против меня, дяди своего, сговорившись с богопротивными тевтонцами, и тогда я двинулся с войсками на Вильно. Ты сбежал, как заяц, забыв в своей перламутровой шкатулке документ о позорной измене. Разъяренные воины-жмудины убили тогда быка

и, по обычаю предков, над свежей тушей провозгласили меня единовластным правителем Литвы. Ты спрятался в замке возле местечка Жидивского, недалеко от Вильно, и пригласил меня на переговоры. До тех пор еще не было братоубийства в нашем роду — я пришел к тебе со своим сыном Витовтом. Слуги схватили меня и у тебя на глазах задушили золотым поясом от моего кафтана. Витовта же ты посадил в Кревский замок, и ему была уготована та же участь, если бы не жена его Анна, княжна смоленская. Она пришла в тюрьму со служанкой и в ее платье вывела мужа из подземелья: служанку ты растерзал в бессильной ярости, а Витовта вынужден был назвать вторым литовским князем, когда он двинулся на Вильно с крестоносцами».

В камине потрескивали сосновые поленья, вспыхивало пламя, освещая изображения на изразцах, и перед Свидригайлом возник образ необыкновенной красоты женщины — с пышными черными волосами, спадавшими из-под высокой короны, с черными глазами.

«Ядвига!» — прошептал Свидригайло.

«Да, — сказала женщина, — я дочь венгерского короля Людовика, который помог Казимиру отнять у Любарта Галицию вместе со Львовом, а потом сам занял краковский престол».

«Зачем ты вспоминаешь об этом, польская королева, нареченная святой?»

«...И в вечное ложе уложили, похоронили преждевременно угасшую, еще совсем молодую, на краковском Вавеле. Да, меня будут вечно прославлять польские ксендзы и шляхтичи, ибо моя красота сделала могущественной польскую корону. Но я — жертва. Я же любила австрийского герцога Вильгельма и была обвенчана с ним...»

«У венценосцев нет личной жизни... Ты поддалась уговорам ксендзов-доминиканцев, а Вильгельму уплатили двести тысяч форинтов отступного...»

«И я вышла замуж за варвара Ягайла. Увяла моя красота, я отдала ее в жертву унии Польши с Литвой».

Ягайло: Разве за ваши обиды, Кейстут и Ядвига, не воздано сторицею в победной битве под Грюнвальдом?

Свидригайло: Фарисей! Разве для того, чтобы победить тевтонский орден, надо было окатоличивать Литву и Русь? Чего ты больше боишься, оборотень: католического креста и меча или схизмы? Если ты действи-

тельно враг крестоносцев, так почему не соединишься с гуситами против ордена? Теперь зовешь меня на помощь? Что же, приду. Только не как к опекуну, а как к вассалу, к покорившемуся моей воле. Я отниму у тебя Литво-Русь».

Привидения исчезли, голоса отдалились. Свидригайло снова отхлебнул из кубка мальвазии. Пламя слепило, он взглянул на кубок, с которого только что глядело на него ненавистное лицо Ягайла, и удивился, увидев вместо него профиль старого Витовта. Витовт тихо спросил Свидригайла:

«Почему ты ждешь моей смерти в короне?»

«Не удержать тебе ее, ты уже стар и немощен. Да если бы и сильным был, Литво-Русь не захотела бы признать тебя своим королем. Ты же католик».

«Обманщик ты, Свидригайло. Надел на себя личину защитника православия, тебе поверили русинские князья и бояре, сам же ты жаждешь власти и мести. За что ты хочешь отравить меня на коронационном банкете?»

Княжеские хоромы снова наполнились незнакомыми голосами. Свидригайло закричал, чтобы заглушить их:

«Ты еще спрашиваешь? Я напомню тебе... После смерти нашей с Ягайлом матери, княгини тверской Ульяны, родной брат отдал мой удел — Витебск — своему сокольничему. Я убил наглого слугу, захватил Витебск, а потом, заняв с помощью смоленского и рязанского князей Каменец на Подолье, поднял восстание против Ягайла. Ты помог ему задушить бунт и с перемышльскими, черниговскими и стародубскими боярами искал защиты у зятя, московского великого князя Василия, сына Дмитрия Донского. «Месяца июля 26, 1408 года, — записано в московских летописях, — приде к великому князю князь литовский Свидригайло Ольгердович служить. Князь же великий Василий Дмитриевич примет его с честью и даст ему град Владимир. И рад бысть князь великий со всеми боярами своими». Тогда ты двинулся на Москву. На реке Угре помирился со своим зятем, меня же отправил в свой замок. Я жил в унижении — хуже смерда, ты даже не приглашал меня к столу. А потом заключил в кременецкую темницу, где я томился восемь лет».

«Ты же вступил в сговор с крестоносцами».

«А ты не союзничал с ними, когда после бегства из темницы возвращался в Вильно?.. Я же больше не вступаю в сговор с ними... Меня освободили из темницы ру-

синские князья, и перед ними я в долгу... Правда, потом король привез меня из Констанца в Краков и помирил с тобой, но ты отправил меня в Чернигов и Трубецк. Вы с Ягайлом ненавидите и боитесь Свидригайла, теперь каждый из вас хочет привлечь меня на свою сторону. А ведь за меня русинские князья клали головы на плаху. Так пора и мне сказать свое слово. Да, я отберу у тебя корону и во главе русинских князей и бояр выступлю против Ягайла».

— Выступлю! — воскликнул Свидригайло и бросил на стол пустой кубок.

И тогда голоса тотчас умолкли, в ушах князя зазвенела тишина.

Кованая дверь из банкетного зала открылась, и на пороге столпились перепуганные кухмистеры и креденсеры, ожидая приказаний крутого нравом князя. Свидригайло взмахнул рукой, и они скрылись за дверью; из облицованного кафелем камина привидения, вероятно, перекочевали во дворец Витовта, куда его, Свидригайла, не пригласили, но где присутствует его чуткое ухо: трефнис [1] Генне.

У этого шута завидная судьба. Однажды Витовт после побега из кревской темницы, находясь в Мальбурге при дворе магистра тевтонского ордена, играл в карты с великим комтуром, а позади вертелся, подглядывая, юркий, худой, совсем еще юный шут, которого магистр называл Цыпленком. «Банк Витовта! — вдруг закричал трефнис. — У него три короля!» Бросили карты, у Витовта оказалось только два короля. «Где третий?» — спросили комтур и магистр. «Третий — он! — показал трефнис на Витовта. — Разве Литва — не королевство?»

Вскоре с помощью крестоносцев Витовт занял престол в Вильно, а шута, который напророчил изгнаннику удачу, магистр милостиво подарил великому князю.

Соблазнительное слово «король» глубоко запало в душу Витовта. Ему нашептывали это слово на ухо не только Генне, но и именитые князья и бояре. Однако годы шли, а королем оставался Ягайло. Проиграв битву с татарами на реке Ворскла, Витовт надолго забыл о короне.

Однажды — тогда Свидригайло был не у дел при дворе Витовта — Генне воскликнул: «Нет больших лжецов, чем Витовт и Свидригайло!» «Почему?» — спросили его братья. «Потому что один говорит: «Все знаю», но

[1] Трефнис — шут (*нем.*).

ничего не знает, а второй говорит: «Ничего не знаю», а все знает». Витовт, вскипев от гнева, ударил шута по лицу. Тот скривился и сказал: «Почему ты о себе хуже думаешь, чем Свидригайло?» Тогда Свидригайло за это подарил шуту шубу из куницы, и с тех пор Генне служит двум господам.

Привидения проводят сейчас последнее совещание в красном дворце, куда Свидригайла не пригласили. Но поздно ночью, когда захмелевшие русинские бояре будут дремать или веселиться под музыку скоморохов, трефнис Генне проскользнет в Стыровую башню и расскажет...

Шестидесятипятилетний император Священной Римской империи Сигизмунд I Люксембургский трижды разгромлен гуситами, но в своем упорном стремлении — не оставить «в Чехии... ни одного чеха» — непоколебим. Он ведет дипломатическую беседу с польским королем и великим литовским князем, не отступая от своего принципа «divide et impera» [1]. Уже десять лет прошло с тех пор, как умер чешский король Вацлав IV, а в самом центре Европы пылает смертоносный огонь, зажженный врагами апостольской церкви. Ягайлу следует забыть давние распри, он, верный слуга римского папы, должен выслать свое войско в расположение Сигизмунда. Витовту надо немедленно отозвать из Моравии племянника Сигизмунда Корибута, которого он несколько лет назад послал своим наместником в Прагу, — теперь не может быть и речи о каких-то чешских королях. Да, его уже отозвал Витовт, но он снова появился в Праге, и, хотя поддерживает патрициат, а не таборитов, все же вместе с ним православная схизма проникла из Литвы в Чехию. Нависла опасная угроза союза русинских и чешских раскольников, и, чтобы предотвратить ее, надо прежде всего расправиться с православием в Литве. Что не под силу князю Витовту, то по силам Витовту-королю.

Наконец стало ясно, зачем Витовт созвал в Луцк европейских монархов.

Великий князь Литво-Руси сидит в высоком деревянном кресле у гобелена, на котором изображен охотник, убивающий рогатиной разъяренного кабана. Тройные подсвечники освещают с обеих сторон желтое лицо старого князя. У его ног лежит, свернувшись в клубочек, трефнис Генне — с рыцарским поясом и в шутовском колпаке.

---

[1] Разделяй и властвуй (*лат.*).

Перед камином, повернувшись лицом к огню, стоит император Сигизмунд. Он высказал свое мнение и ждет решения.

Посередине зала в мягком кресле — король Ягайло. Краснолицый, длинноносый, в накидке с бобровым воротником. В руке булава. С лысеющей головы спадают на затылок седые вьющиеся волосы, тонкие губы сжаты. Справа возле него стоит молодой, сорокалетний краковский епископ — некоронованный король Польши. Взгляд его холоден, лицо каменное, щеки оттягивают вниз жесткие уголки губ. Все знают, что вместо Ягайла будет говорить его alter ego[1] — Збигнев Олесницкий, который когда-то спас королю жизнь в битве под Грюнвальдом.

Сигизмунд ждет, что скажет Ягайло. Ему нужны полки польского короля. Ему надо отделить Витовта от Ягайла литовской короной, чтобы они, объединившись, не отобрали у него Прагу.

Витовт мечтал о короне с тех пор, как ему предсказал ее трефнис Генне. Не шутовством ли кажется превосходство простоватого польского короля над искусным дипломатом и знатоком многих языков и письменности — великим князем Литвы? И примет ли кости Витовта литовская земля, если после его смерти займет трон в Вильно сын Ягайла — по кондиции Городельской унии 1413 года?

В последнее время Ягайло сам ничего не решал, целиком положившись на Олесницкого.

Монархи молчат.

— Король должен иметь голову валахскую, сердце французское, руки польские, ноги испанские, — затараторил шут, прижимаясь к коленям Витовта, — он подбивает властителей начать разговор.

Начал Витовт:

— Мы, Ягайло, посоветовались с нашим верным государственным советом и пришли к такому решению: я приму корону от ревностного католика императора Сигизмунда, чтобы укрепить Литовское великое княжество и передать наследникам королевство — по силе и просторам равное Королевству Польскому. Две короны не ослабят, а укрепят нашу унию.

— Две короны, зачем две короны? — произнес Ягайло. — Я отдам тебе свою, и ты сядешь на престол в Ва-

---

[1] Второе «я» *(лат.)*.

веле... Зачем нам вторая корона? — король беспомощно повернул голову в сторону Олесницкого.

— Панове, — взгляд краковского епископа впился в пожелтевшее лицо Витовта, — не соизволите ли послушать притчу, которую я вспомнил, когда великий князь Литвы заговорил о двух коронах... Было это в Дании или у свеев. Один рыцарь влюбился в королеву, и за это его ослепили раскаленным мечом. Он пришел к архиепископу просить исцеления. Тот сказал: «Построй три монастыря и семь костелов». Рыцарь с присущей ему старательностью построил тридцать монастырей и семьдесят костелов, однако остался слепым. Бедный рыцарь стал упрекать архиепископа за то, что тот обманул его. «Ты поддался гордыне, — промолвил экзарх [1]. — Разрушь то, что я не велел тебе строить, и прозреешь».

— Ой, туп-туп, четыре бабы — один зуб! — залился хохотом Генне, катаясь по полу.

Витовт поднялся, опираясь обеими руками на подлокотники кресла, и застыл, сгорбившись, все еще не веря, что его посмел так глубоко оскорбить краковский епископ.

— Ваше преосвященство, не могли бы вы мне объяснить... — произнес дрожащими губами великий князь, поглядывая то на Олесницкого, то на Ягайла, который, казалось, дремал в кресле.

— Могу, — хладнокровно ответил Олесницкий, и ни один мускул не дрогнул на его каменном лице. — Литовский князь поддался гордыне, и как раз не вовремя. Мы съехались сюда, чтобы объединиться против угрожающей нам Турции. Мы съехались сюда, чтобы объединиться в борьбе против схизматиков, которым потворствует император Сигизмунд, дав Чехии мученика Гуса — как знамя. Витовт же преследует раскольническую цель... Поведайте нам, ваша светлость, — обратился епископ к императору, — зачем вы предлагаете корону великому князю Литвы?

— Я уже сказал, — повернул голову от камина император, — чтобы не дать объединиться чешским и русинским схизматикам. Коронованный Римом Витовт получит возможность, без краковского посредничества, прибрать к рукам православную церковь на Волыни, Черниговщине, Киевщине, как это сделал Ягайло в Галиции.

[1] **Экзарх** — наместник патриарха.

— Нет, — произнес Олесницкий, — вы хотите разъединить польско-литовские силы. Вы же, великий князь, в своем ослеплении и тщеславии, сами того не ведая, разжигаете огонь русинской крамолы. Эта крамола уже нашла себе вожака, он сидит тут, в замке, а имя его — Свидригайло. Вы помирились с ним, а он за вашей спиной ведет переговоры с украинскими боярами и князьями, которые еще живут мечтой о славе бывшего Галицко-Волынского княжества. Вы хотите с помощью Свидригайла создать Литовское католическое королевство по подобию польского, а его верный сообщник Федор Острожский вместе с вождем гуситов Прокопием Лысым ворвались в Шленск, разрушили на Ясной Горе, что под Ченстоховом, монастырь Павлинов и осквернили чудотворный образ Марии. Вы еще не знаете об этом?

— Беда, беда! — завопил шут. — Молодая шляхтянка без любовника, старый кожух без вшей, старый жид без богатства, Польша без матки боски Ченстоховской! Беда, беда!

— Цыц! — прикрикнул Витовт на Генне и выпрямился во весь рост. — Ваше преосвященство, я не властен над теми, кто покинул мой край. И не на мне лежит вина за Ченстохов. Во Флоренции бунт ремесленников подавили флорентийские гранды, во Франции Жакерию разгромили отряды дофина Карла. Вы же с королем направляйте свои войска на Шленск, ведь об этом и просит вас император. А в Литве я сам найду силы, чтобы усмирить крамолу. И Свидригайло — тоже, если бы он посмел выступить против меня. А если вам нужна моя помощь, шлите послов в Вильно. Я закрываю конгресс, на котором меня оскорбили: своей притчей вы дали мне понять, что ни я, ни мой народ не свободны... Ваша светлость, — повернулся князь к Сигизмунду, — я не меняю своего решения и буду ждать корону в своей столице.

— Клятвоотступник!.. — промолвил Ягайло, открыв маленькие глазки.

Свидригайло узнает об этом позже. А теперь он поднялся с дубовой скамьи, надел кубрак и направился в светлицу. Дворецкий доложил: прибыли русинские бояре.

В зале дубовый, не покрытый скатертью стол прогибался под тяжестью жбанов с вином, блюд с мясом и подливами; пахло шафраном, тертым хреном и луком.

Князья, бояре — в передней слуги сняли с них шубы и шапки — стояли, слегка наклонив головы. Свидригайло

с грохотом отодвинул стул, мешавший ему, быстрым шагом подошел к гостям и тоже кивнул головой; какое-то мгновение стоял, всматриваясь в лица своих сподвижников, будто бы оценивая достоинства каждого.

Слуги в темно-фиолетовых кафтанах, подпоясанных желтыми поясами, сбились в кучу в конце зала, готовые стать за спинами вельмож, как только те сядут за столы; Свидригайло махнул им рукой, чтобы вышли в переднюю, а дворецкому велел стать за дверью.

— Прошу к столу, панове! — пригласил гостей, садясь на почетное место.

Туровский князь Александр Нос, толстый, в плотно обтянутом атласном жупане, в два раза моложе его князь Василий Острожский, прозванный Красным, сели справа, как ближайшие друзья Свидригайла, — оба они когда-то сопровождали его из Кременца до Констанца; на другом конце стола напротив хозяина уселся старый боярин Михайло Юрша, владелец Луцкого замка; слева сели князь Семен Гольшанский — в кирасе и налокотниках, словно пришел на поле боя, а не на банкет, и староста Олесского замка Ивашко Преслужич-Рогатинский.

Свидригайло еще раз обвел взглядом гостей и остановился на холеном лице князя Гольшанского, из рода Гедиминовичей, точно не решался начинать разговор в его присутствии.

Гольшанский заметил нерешительность Свидригайла и, отодвинув в сторону высокий бокал, словно тот мешал ему видеть лицо князя, сказал:

— Стародубский князь Сигизмунд Кейстутович, брат Витовта, из-за болезни не мог приехать в Луцк, я только что оттуда. Но он обещал поддержать тебя, князь.

— А ты, шурин Витовта и паж королевы Софьи, — сверлил Свидригайло Гольшанского пьяными глазами, — с кем ты будешь?

— Я — с Сигизмундом, — твердо ответил князь Семен.

— А если Сигизмунд пойдет вместе с Ягайлом? — допытывался Свидригайло.

— Сигизмунд не пойдет с польским королем. Он будет вместе с Литвой.

— Что-то ты, князь, юлишь... А Литва-то сегодня — с кем? — Свидригайло резко повернул голову к Александру Носу и Василию Острожскому. — Что вы скажете, братья?

— Наши ратники готовы, — поднялся князь Острожский, поправляя пояс на вышитом золотом красном жупане. — Готовы по первому зову!

Свидригайло наполнил кубок красным вином, кивнул гостям, чтобы наливали и себе.

— Что слышал нового о коронации, Юрша? — спросил у старосты Луцкого замка.

— Тайно совещаются. Но знаю, что после сегодняшнего совета Сигизмунд пошлет гонца в Вену с приказом, чтобы послы выезжали с короной и клейнодами.

— За ваше здоровье, панове рада, — надпив из кубка, произнес Свидригайло. — Мы станем на защиту короны при виленском дворе. А на коронационном банкете выпьем за долгие лета литовского короля! — и, прикрывая рукой злую улыбку, вытер усы. Потом перевел взгляд на Ивашка Рогатинского, который пристально глядел на князя и не пил.

— А ты, пан Ивашко, почему постишься? — сверлил глазами владетеля Олесского замка, со стуком ставя кубок на стол.

Ивашко поднялся.

— Не захотел ты меня выслушать сегодня, когда мы разговаривали наедине, так я спрошу при всех. Хочу, князь, твердо знать, за что должен выпить. Я служил Ягайлу в Рогатине и, называясь боярином, был рабом львовского старосты Одровонжа. Я имел право дать своей дочери вино[1] только тогда, когда она выйдет замуж за католика. Я мог получить герб и быть равным с польскими шляхтичами только ценой принятия латинского обряда. Я перешел служить Витовту. Что ждет меня и моих людей в Литовском католическом королевстве?

Поднялся с кресла и Свидригайло.

— Я обещаю вам, панове, когда приму литовский престол, управлять по вашему совету, как приверженец всего русинского языка.

— Но ведь сам-то ты, князь, еси католик.

— Блажен еси муж, идущий на суд нечестивых, и там же за правду свой глас подает. Меня ведь насильно сделали католиком еще в детстве, в Кракове, по повелению Ягайла.

— Но ведь ты подписывал грамоту в верности Ягайлу.

— Эта грамота была скреплена фальшивой печатью.

— А с нами какой печатью союз скрепишь?

[1] Вино — приданое (*укр.*).

— Вот мой сигнет! — Свидригайло снял с большого пальца перстень с гербом — золотой уж между двумя дубовыми листьями — и показал его гостям. С минуту ждал, в груди клокотала ярость, наконец он процедил сквозь зубы: — Что теперь скажешь, боярин?

— Согласен, — ответил Ивашко.

Семен Гольшанский повернулся к Свидригайлу и ехидно произнес:

— А ты отдай Ивашку всю Русь — от Луцка до Киева, пускай правит ею независимо от Литвы, уничтожает созданное шляхтой и возносит хлопское — пся крев!

— Князь Гольшанский, — повысил голос Ивашко, — Русь уже правила независимо от Литвы: Киевская и Галицко-Волынская Русь. Литва тоже правила отдельно — там, где жила жмудь. Теперь нам суждено вместе идти, так не возноси себя слишком высоко. Боярин есмь шляхетского, как и ты, рода, зачем коришь меня хлопской кровью? За то, что я боярин православный? Так знай, если я и поведу свое войско, то только до той межи, которая отделяет латинский мир от греческого!

— Твой замок, Ивашко, стоит как раз на той меже, и тебе никуда не придется идти, — уже мягко произнес Свидригайло.

— Хорошо, князь. Замка я не сдам, никто не в силах взять олесскую твердыню. Но стоять я буду там до тех пор, пока будет стоять твой Луцк, пан Юрша. Один Олеско державой не может стать. Я же буду отступать в Валахию.

Хмурый Юрша дружелюбно посмотрел на Ивашка:

— Постоим, брат. За веру и землю нашу постоим.

— И не одни мы будем, — добавил Василий Острожский. — Гуситы в своей борьбе называют православную церковь святой.

На Покровской церкви колокол ударил к вечерне.

— На этом все.

Свидригайло позвал дворецкого, стоявшего на страже за дверью, и сказал:

— Пускай войдет челядь, а страже скажи, чтобы впустили скоморохов, когда придут.

Скоморохов долго ждать не пришлось. Первыми в зал вошли четыре дударя в коротких рубашках и узких штанах. Они выстроились в ряд и, подняв головы с приложенными к губам дудами, поприветствовали маршевой музыкой именитых гостей.

Именитые гости ели оленину, зайчатину, птицу, разрывая мясо руками, слуги, стоявшие за их спинами, подавали миски с яствами, убирали несъеденное и поедали сами, марш заглушал громкое чавканье. Дудари отняли от губ дудки и хором пропели:

— Честь-хвалу воздайте: прежде всего господу богу, пресвятой деве, хозяину и всему обществу, что есмь в сем доме!

Князья и бояре никак не реагировали на приветствие, набивали свои желудки едой и пили вино. Затем вперед вышли трубачи и бубнист, зал наполнился громкими звуками дуд, от которых гасли свечи в канделябрах, — скоморохи зарабатывали магарыч. Подросток-танцор пошел отплясывать трепака и, остановившись, заголосил, разыгрывая обиженного:

— А в том Луцке не все по-людски: вокруг вода — в середине беда-а!

— Да хватит, хватит, — захохотал Свидригайло. — Дал бог попа, а черт скомороха... Эй, слуги, дайте им поесть-попить!

Скоморохи трапезничали стоя, а Ивашко Рогатинский, сидя за столом, присматривался к усатому красавцу гусляру, который стоял позади в проеме дверей, и боярину показалось знакомым его лицо.

Арсен же сразу узнал рогатинского пана. Он опустил глаза, уловив взгляд Ивашка, будто чувствуя свою вину в том, что встречался сегодня с его дочерью: он все еще не хотел верить, что красавица, которая сегодня бросила экзактору дукат, а потом пошла с ним, Арсеном, на Стырь, уже тогда, когда он в Рогатине впервые выступал перед людьми в скоморошьей тунике, — уже тогда, еще совсем маленькой, была боярыней. И надо же было ему сегодня идти на луцкую ярмарку и на банкет к Свидригайлу только ради того, чтобы увидеть непреодолимую пропасть, на одном краю которой стоит он, недоучившийся спудей[1] и скоморох, а на другом — боярин Ивашко, правитель земли, войск и отец Орыси.

Арсен держал в руке миску с едой и впервые почувствовал стыд, вспомнив слова Осташка о шуте в колпаке с колокольчиками: играть тут и есть стоя — не то что веселить людей на ярмарке и собирать деньги в шапку. Там он — музыкант, а тут — нищий. Арсен подал слуге

---

[1] **Спудей** — ученик старинного духовного заведения *(укр.)*.

миску. Ивашко улыбнулся ему, теперь узнав его. Гусляр в этот момент вспомнил песню, которую пел во дворе рогатинского пана, ее слышала тогда маленькая Орыся. Арсен подошел к столу, настроил гусли и запел еще раз для нее — взрослой девушки.

Ой із-за гори, з-за кам'яної,
Відтіль виступало велике військо,
Пан Іван іде, коника веде,
Хвалиться конем перед королем:
Нема в короля такого коня,
Як у нашого пана Івана...

Песня звучала грустно, и Ивашко удивился, почему так печально звучат струны гуслей, словно лира нищего. Он взглянул на гусляра и крикнул:

— Веселее, Арсен!

Арсен, глядя в сторону, медленно водил пальцами по струнам.

Хвалиться стрілов перед дружинов:
Нема в дружини такої стріли,
Як у нашего пана Івана, —

пел Арсен, а в голосе отдавалась песня нищих, которую услышал сегодня на ярмарке: «Ой, брате мій, брате, сильний богачу, воздай мені хліба-солі», — и голос атамана нищих бродяг, казалось, подпевал: «Я ведь ровня с тобой...» Арсен взмахнул головой, пальцы быстрее забегали по струнам, чтобы отвлечься от тяжелых дум:

Хвалиться луком перед гайдуком:
Нема в гайдука такого лука...

Лицо Ивашка расплылось в улыбке — ему по душе пришлась лихая песня гусляра, которая, казалось, для него была сложена. Но вдруг снова зазвучала печальная мелодия, и боярин подумал, что этот гусляр хорошо играл бы на свадьбе, потому что там поют и грустные, и веселые песни.

И грусть, и веселье... Чего больше будет у дочери на свадьбе? Печаль затуманила лицо боярина: тысячи людей, сотни ланов земли принадлежат ему, а нет у него ничего, кроме Орыси, и ту выдает замуж против воли: должен выдать за сына полновластного судьи Давидовича, чтобы привлечь его на свою сторону как союзника, потому что предстоит тяжелая война, а Давидович деньги любит и за грош готов душу продать черту... Нет, не пе-

чаль, она будет потом, веселье нужно на Орысиной свадьбе; Ивашко вышел из-за стола, подошел к Арсену и промолвил:

— Ты играл уже у меня, Арсен, я помню. На сретение я приглашаю тебя с братией в Олеско: будешь играть на свадьбе моей дочери. — Он вынул дукат и подал его гусляру: — Вот тебе задаток.

Арсен изменился в лице, отошел от Ивашка. Тот еще больше удивился: гляди, какой гордый, не хочет брать дуката. Он сунул руку в жупан и вытащил гривну.

— Спасибо, добрый пан! — подбежал подросток-танцор, служивший у скоморохов и мехоношей[1], схватил гривну и за дукатом протянул руку, но дукат уже упал в широкий карман боярина. — Спасибо, преславный пан! И не беспокойся, приедем точно на сретение, а то еще и раньше, ведь мы — где пиво пьем...

— Замолчи, косолапый! — прикрикнул Арсен на мальчишку и сам испугался своего окрика. Что скажут товарищи, если он откажется от такого заработка? Нужно соглашаться, надо прийти в Олеско накануне сретения... — Боярин, — он поднял перед Ивашком гусли, — почему спрятал дукат? Мы придем к вашей милости и к вашей дочери, брось дукат, чтобы струны отозвались!

Ивашко пристально посмотрел на Арсена, медленно полез в карман жупана и бросил дукат на гусли. И словно сами зазвучали струны, ведь гусляр, казалось, почти не прикасался пальцами к ним, и губы его будто не раскрывались, а полилась песня, которую скоморохи никогда не пели:

Кому повім печаль мою,
Кого призову к риданію...

— Кто там воет? — воскликнули вместе Свидригайло и Гольшанский. — Дайте им вина или прогоните к лешему!

Их крик заглушили дудочники, и гусляр запел веселую, ухарски подмигнув вельможам:

Я на бабі ніц не страчу,
Продам бабу — куплю клячу,
Кляча здохне, я облуплю,
А за шкуру панну куплю!

— Вот так, вот так! Играйте, музыканты, пейте, па-

[1] Мехоноши — так назывались у кобзарей люди, носящие мешки для сбора всяких подаяний (*укр.*).

нове! — крикнул опьяневший Свидригайло. — Веселитесь до утра. Шута, шута позовите, где мой Генне?

— А зачем меня звать, когда я тут! — выкатился из-под стола Витовтов трефнис, переворачиваясь через голову. Он вскочил на скамеечку и, потряхивая колокольчиками на колпаке, провозгласил:

— Я тут самый больший пан! Почему, почему? — тыкал он пальцами на вельмож. — А потому, что у короля только один шут, а у меня все вы, вельможные! Вы хотите сказать, что я бездельник? Тогда — кто вы, если я, так же, как вы, ем, пью и требую платы?

Свидригайло вскочил с места и крикнул:

— Ты что, не был там, Генне?

— Бы-ы-ыл, бы-ы-ыл! — затараторил трефнис. — Какое несчастье: свадьба без музыки, старое зерно без мышей, Литва — без короля! Играй, гусляр, печальную, плачь вместе с нами! — Генне бросился к Арсену, обхватил его за шею и повис на руках.

Арсен сбросил с себя шута и с отвращением швырнул его на пол.

— Дворецкий! — крикнул Свидригайло. — В шею всех посторонних!

В этот момент открылась дверь, на пороге остановился снаряженный лучник.

— Князь Свидригайло, — доложил он. — Великий князь Витовт велел тебе собираться в путь.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

ОСТАШКО КАЛЛИГРАФ

Первыми покинули Луцк нищие и скоморохи. Не до веселья панам, если они собираются в путь, теперь не дождешься от них подаяний. Во дворцах и замках — музыка к сладостным грехам располагает, а у нищей братии душу очищает; банкет не может обойтись без музыки для гостей, а щедрость вельможи свидетельствует о его богатстве. В пути же надо жить с расчетом, потому что и грош может пригодиться.

За валом Арсен с братией встретились с гурьбой нищих. Музыканты отошли от них в сторону, потому что из ворот повалила толпа — купцы, мещане, шляхтичи, — ведь могли же подумать те, что вчера были рады скомо-

рохам и с пренебрежением смотрели на нищих, что между ними, бродячими людьми и разницы нет. Арсен ждал, пока ватага нищих поплетется к мосту через Стырь, но их атаман, одноглазый и без правой руки, снова подошел к гуслярам и сказал:

— Чего ты зазнаешься, отрок? Разве ты не нищий у сильных мира сего? Не ты ли взял вчера дукат из рук князя, а потом стал петь песни, какие требовал он, а не те, что желала твоя душа? Вы — честная братия, а мы — черви. Вы играете, потому что у каждого из вас по две руки, пляшете, потому что стоите на двух ногах, а ты вчера на красавицу дочь Ивашка вон как глазел, потому что у тебя два глаза. А отрежь вам ноги, руки, выколи глаза, вот тогда и придется ходить с нищенской сумой — просить у людей подаяния. Ведь вы не от счастья, так же как и мы, бродите по свету. Ты не сверли меня пренебрежительным взглядом и не натравливай на нас медведя, а послушай... Взгляни, — атаман показал на двух слепых с красными ямами вместо глаз, — такими их отпустили из плена крестоносцы, это польские землепашцы из-под Познани, которые воевали за короля. А этот, — атаман указал пальцем на дряхлого старика, — коломенский, за князя Дмитрия отдал обе руки на Куликовом поле. Я же калекой стал в боях под Грюнвальдом, мы с Ивашком вместе в бой шли, только один за Грюнвальд получил Рогатин, а второй — суму Лазаря. Вас спас бог от увечья, но не от нищеты. И нищенство ваше неразумное...

— Уходи отсюда, старче... — с мольбой в голосе сказал Арсен. — Чего ты хочешь от меня?

— Чтобы ты не пренебрегал сиротами, старыми ратниками, обедневшими хлеборобами и не стремился к тем, кто сделал нас такими. Жаль мне тебя... Ты видел вчера ничтожных обманщиков, преступников, пьяниц, которые ползут к ногам Свидригайла, и нас всех обозвал подвальными крысами. А разве среди вас нет таких, которые ползают у ног вельмож, только не на снегу, а по начищенному полу?

— Мы с шутами, старик, не водимся...

— И мы со злодеями не ходим в одной ватаге. Посмотри, нет их — обманщиков с нарисованными язвами, махнули туда, куда будут двигаться шляхетские кортежи, меркатории[1] будут осаждать. А они такие же, как и

[1] Меркатории — гостиные дворы.

шуты, — из вашей компании. За кусок пирога легко стать... А разве ты вчера не тешил бояр и князей вместе с Генне?

Старец хрипло засмеялся, оскалив корни зубов.

— Пойдем вместе с нами, — сказал, — по-честному зарабатывать кусок хлеба...

В глазах у Арсена вспыхнул гнев, не отдавая себе отчета, он поднял руку, чтобы ударить старика, но сдержался: старец с белой волнистой бородой до пояса был похож на библейского святого.

— Пусть бог простит тебя за то, что поднял руку на калеку, — тихо прошептал атаман нищих, — я зла не помню. Если ты попадешь в беду, последним куском выпрошенного хлеба поделюсь с тобой...

Взмахнув высоким посохом, он пошел впереди ватаги, правый пустой рукав его свитки раскачивался на ходу: следом за ним побрели слепые, подняв головы к небу, поковылял высокий, словно жердь, безрукий старик, более десятка калек побрели по дороге к мосту.

Братия скоморохов стояла молча. Арсен долго глядел вслед нищим. Утихала злость, душу охватила печаль. Из задумчивости вывел его громкий веселый перезвон бубенцов, из ворот стремительно выехали крытые сани с впряженной парой гнедых лошадей. Спиной к кучеру сидели боярин в бобровой шубе и девушка в белом кожушке и ярком платке.

Арсен бросился вперед и остановился. Орыся увидела его и, протянув руку, крикнула:

— Гусляр!.. Гусляры, отец... — и притихла, смутившись.

Но Ивашко Рогатинский, углубленный в свои думы, не услышал возгласа дочери.

Осташко возвращался по дороге на Броды в Олеско. Первую ночь заночевал на постоялом дворе корчмы возле Жидича, а утром поехал дальше. Чувствовал себя крайне утомленным и сокрушенно думал о том, что, очевидно, закончились для него странствия по свету, хотя он еще не стар.

В первое странствие он отправился весной 1412 года. Тогда польский король Ягайло в своем католическом рвении выслужиться перед гнезненским примасом и краковским епископом превзошел ожидания своих духовников.

Он приказал выбросить из перемышльской православной кафедральной церкви гробы с телами русинов и сделал ее католическим костелом; приехав собственной персоной во Львов, назначил архиепископом Яна Одровонжа.

Совершив такое богоугодное дело, король направился в Городок на охоту, а львовский и русинский староста Петр Одровонж, брат архиепископа, выселил за пределы города цеховых мастеров — тех, которые отказались конфирмовать своих детей в костеле.

Среди них оказался и часовой мастер Онисим, отец Осташка. Приютился он со своей многолюдной семьей в полуразрушенной халупе на Подзамче. Отец и сыновья ходили на заработки то на мельницу в Збоиском, то к осадникам-поселенцам в Замарстынов и Голоско, мать со старшими дочерьми мыла посуду в корчме «Брага» возле Татарских ворот, младшие девочки просили милостыню на паперти костела Марии Снежной и Онуфриевской церкви. Наконец, самый старший из сыновей, Осташко, парень хилый, но способный к наукам, покинул бедный отчий дом и отправился в европейские страны искать счастья. Тогда ему было чуть больше двадцати лет.

Пешком дошел до Кракова, оттуда — то как купец, то как ремесленник — до Вроцлава и Магдебурга, учился в цеховых и гильдейских школах. Наконец он добрался до Праги. Узнав о том, что там alma mater, в которой учатся юноши из всей Европы, робко постучался в дверь Карлового университета. Ректором там в это время был Ян Гус.

Осташко слушал лекции Иеронима Пражского, проповеди Гуса в Вифлеемской каплице. Получил звание магистра свободного искусства в тот год, когда в Констанце запылал костер. Потом вместе с пражскими гуситами сидел в тюрьме городской ратуши. В 1420 году вместе с тысячами пражских жителей встречал победителя крестоносцев слепого Яна Жижку, потерявшего один глаз в бою под Грюнвальдом, а второй — в сражении с немецкими рыцарями на Ветковой горе. В ту пору пошел Осташко писарем в отряд Сигизмунда Корибута, посланного на помощь гуситам великим князем Литвы Витовтом. Откуда мог знать Осташко, что Корибут будет помогать пражским патрициям? Поэтому, когда табориты изгнали Сигизмунда из Чехии, узнав о его сговоре с папой Мартином V, вынужден был вернуться во Львов и Осташко.

Никого из родственников он не застал в Подзамче — за год до этого мор опустошил Львов, а от их халупы и следа не осталось. Вот тогда он и пошел куда глаза глядят по Волынской дороге и на другой день остановился ночевать в Олеско.

...Дорога со вчерашнего дня безлюдная. Не угнаться за конными и пешими. Усталость валила его с ног. Все больше и больше выбиваясь из сил, он все чаще останавливался в пути, всматриваясь в седую мглу, не покажется ли впереди село, чтобы попроситься на ночлег в хату к какому-нибудь селянину. Но над белым необозримым полем только кружились вороны и завывал ветер в ветвях тополей да в сухом бурьяне, торчавшем над коркой снега.

— Черные вороны налетели на Русь, — простонал Осташко. — Где же наш Жижка?

И словно в ответ ему сзади зазвенели колокольчики. Он оглянулся и остановился: из пелены седого тумана вынырнула пара гнедых лошадей, впряженных в сани. Они проскочили мимо Осташка, но, видимо, сидевший в санях мужчина, закутанный в овчинную шубу, заметил его. Он крикнул вознице:

— Стой, Герасим! Погоди, вон вроде бы Осташко плетется, словно лунатик.

— Да, он, — ответил возница, останавливая лошадей. — Я его сразу узнал, но не подбирать же вашей милости по дороге всякую голь.

— Голь-то голь, а грамотей у нас один, — произнес Ивашко, взмахом руки подзывая к себе Осташка.

В Олеско Осташка знали все. Он появился здесь несколько лет назад, но откуда — горожане не знали и не интересовались: много людей — торговых, ратных, нищенствующих — проходило по торной дороге, что вела из Венгрии на Волынь. Осташко жил далеко за чертой города, у подножия Белой горы, и называли его Каллиграфом, потому что он умел писать по-русски, по-польски и по-латыни: его услугами пользовались бояре, ленные шляхтичи, купцы, цейхмастеры, и даже староста Олесского замка Ивашко Рогатинский давал ему на переписку грамоты.

— Садись, Осташко, — боярин освободил место рядом с собой. — И какой люцифер носит тебя по такой стуже. Еще закоченеешь где-нибудь в дороге... Неужто без тебя не состоялся бы конгресс на Волыни?

— Пусть бог отблагодарит вас, боярин, — усаживаясь с краю возле боярина, промолвил Осташко, и тут же лошади тронулись с места. — Я уже и правда с ног валился... Вы, пан Ивашко, насмехаетесь надо мной, ибо думаете, что только ратные люди решают судьбу поспольства...

— А ты думаешь, что летописцы — тоже? Тогда нашему поспольству повезло, что я задержался вчера в имении Давидовича возле Шепеля. У моего будущего свата... нашего судьи... — Ивашко сказал, подчеркивая это, словно хотел предупредить ненужные расспросы, помолчал, потом добавил тем же шутливым тоном: — Если бы не догнал тебя, ты бы замерз...

Осташко бросил взгляд на Орысю, закутанную в овчину; она проснулась и холодно посмотрела на отца своими синими глазами. Потом он удивленно посмотрел на боярина.

— Дочь отдаете замуж за сына Давидовича? — переспросил.

У Ивашка недовольно поморщилось чело. Каллиграф смутился и вежливо поклонился Орысе:

— Будь счастлива, дивчина...

Она промолчала, только перевела холодный взгляд на него, и Осташко вспомнил скомороха Арсена и его слова: «А мы — где пиво пьем...»

«Невеста Давидовича. А как же... Она — дочь боярина. А ты, Арсен, будешь продолжать пить пиво у богачей, не ведая, что оно отнято у тебя и подается как милостыня. Ты и у Давидовича будешь пить, когда позовет, и тебя не будет жечь обида, хотя, может, где-то и прорвется в звуках твоих гуслей плач. Плач ребенка, который не ведает, что у него болит. И будешь смотреть на эту Орысю или другую девушку — недостойный ее любви скоморох, играющий на банкетах у вельмож. А видел же я, видел шпильманов, которые шли впереди Жижки на Кутную гору, где было разгромлено войско Сигизмунда! Где наш Жижка?!»

Осташко смотрел на боярина: черные усы и борода окаймляли мясистые губы, под кустистыми бровями — темные глаза, устремлены куда-то вдаль, — видно, дочка синеву глаз от матери взяла. Ивашко о чем-то думал: упорство и сила отражались на его мужественном лице. И Осташко вспомнил Свидригайла, которого видел позавчера, — было что-то общее в лицах этих мужей. Свид-

ригайло — наш Жижка? О нет... Он — оскорбленный Ягайлом и Витовтом — литовский князь Поэтому лютый. Переживает он из-за булавы, до которой еще руки не дотянулись, а не за украинскую Русь. Где тот муж, который стал бы на защиту русинов? Может быть, ты, Ивашко Рогатинский? Но ведь ты вступаешь в родство с Давидовичем, берешь себе в советники взяточника, который неправыми судами захватил немало имений по всей Червонной Руси.

— О чем задумался, боярин? — спросил Осташко.

— Битва будет, — тихо ответил староста. — Будет последняя битва.

— Вы же к свадьбе готовитесь, пан Ивашко, а не к битве.

— Уедливый же ты, Каллиграф. Мне нужна поддержка Давидовича... Тебе этого не понять!

— А люд пойдет воевать за него?

— Люд, люд... Отара идет за вожаком... А ты — что будешь делать, когда начнется? Будешь продолжать писать свою летопись?

— Буду писать.

— Зачем? Кому польза от этого писания?

Осташко долго молчал, а потом рассказал боярину такую притчу:

— Шел убогий пилигрим на богомолье через горные дебри, поскользнулся и упал в пещеру, из которой не было выхода. Пришла зима, на лету замерзали птицы, мороз добирался к сердцу пилигрима, ледяной сон смыкал ему веки. И когда он уже не мог пошевелиться, увидел соболя, который проскочил недалеко от него в узкую щель и скрылся. «Есть выход! — воскликнул пилигрим. — В трех шагах от меня!» И лютая стужа сковала его тело, и слова его тоже застыли. По этой дороге пошел и другой пилигрим, его тоже постигла такая же участь. Уже приближалась весна, но у него не было никакой надежды выбраться оттуда. Начал таять снег, зажурчали ручейки, и оттаяли слова погибшего. Услышал их второй пилигрим, нашел в трех шагах от праха щель, выбрался на волю и стал петь песню во славу своего предшественника, который указал ему выход, хотя сам им и не воспользовался...

— Мудрая притча, — сказал Ивашко. — Только ты предсказываешь ею не победу, а смерть.

— Мертвые сраму не имут... Но по проложенному пути, хотя бы по началу его, пройдут другие.

В Олеско добрались к вечеру. Возница остановил лошадей у валов в предместье за Воротами. Осташко поблагодарил старосту и направился по протоптанной в снегу дорожке к Цыкову, за которым виднелась Белая гора. Остановился возле ворот усадьбы Галайды. Зайти бы к Галайде, если бы не он — неизвестно еще, где жил бы теперь Осташко. Но тихо было во дворе скорняка, — очевидно, нет дома, ведь когда он работает — слышно во всем предместье.

...Когда-то Осташко прошел через весь незнакомый ему город от Пушечной до Ворот и, не решаясь отправиться на ночь в путь, попросил скорняка приютить его — тот как раз в это время развешивал кожухи во дворе.

— Заходи, заходи, переночуешь у Галайды! — радушно принял его скорняк с похожим на дубленую кожу лицом.

Он пригласил путника в дом и без умолку говорил: через какой-нибудь час Осташко уже знал все об Олеско. Прежде всего он узнал, что вон та большая лужа посреди города названа в его честь морем Галайды. Это было давно. Удачно продав на рынке свои кожухи, он так напился, что, идя домой, забрел в лужу и заорал благим матом: «Спасите, кто в бога верует, тону в море!»

— Что за твердыня вон там на горе? Ей более ста лет... Говорят, сей замок построили еще во времена Юрия Тройдена, галицкого князя, а когда его отравили в Луцке, крепость захватил Любарт. Ну, а потом переходила она из рук в руки. Были там поляки и венгры — кто только не был. Слава богу, Витовт посадил в замке русинский гарнизон, ну и нам легче стало...

— О магдебургском праве спрашиваешь? Нет, еще не ввели его, однако и тут дает о себе знать шляхетская хартия, которая приравнивает ляха к пану, а русина к холопу... А кто же ты такой и что умеешь делать?

— Из мира сего, добрый человек, — уклончиво ответил Осташко. — Умею писать.

— О-о, так ты богат! — воскликнул скорняк. — С таким умением и волостным судьей можешь стать. Оста-

вайся тут, путник хороший, если нет у тебя ни рода, ни племени. Не пропадешь. В городе, правда, тесно, жилья не найдешь, но на Вороняках, сам видел, опустела одна хатенка. Завтра я сведу тебя туда.

...Не слышно Галайды — пьянствует где-то трудяга. Осташко постоял еще немного и направился в сторону гор.

На склоне Белой горы, что на Вороняках — холмистом подольском хребте, который разогнал потоки рек на север и на юг, — прилепилась халупа Осташка.

В маленькое окошко виден весь Олеско. Перед излучиной вала, протянувшейся темной дугой над снежными сугробами, утопали в усеянных инеем садах Теребеж, Цыков и Волуйки; за валом, что наежился частоколом и низкими башнями, виднеется островерхая башня ратуши, к ней прижалась прямоугольная площадь. Этот рынок дважды в неделю наполнялся шумом; недалеко отсюда в центре города поблескивает ледяным зеркалом круглое озерцо — море Галайды. В разных концах города меж домов и магазинов возвышаются купола трех деревянных, крытых гонтом церквей, а дальше, за северным валом, едва виднеются заолесские села — Юшковичи, Ожидов, Куты, притаившиеся на белой, как молоко, равнине.

На восток от города, на расстоянии пушечного выстрела, поднимается от равнины в небо Лысая гора, увенчанная овальной замковой стеной и высокой многогранной башней. К замку сквозь непроходимые летом топи, тянущиеся вдоль гнилой Либерции, покрытые ряской, редкими ольховыми деревьями и кустарниками, идут две усаженные липами дороги: с востока — до Бродовских ворот и с запада — до Львовских. У нижнего вала дороги обрываются подъемными мостами, зияющими, словно разинутые пасти туров.

Трудно добраться непрошеному в Олесский замок, где Ивашко Рогатинец держит большой гарнизон.

Осташко сидел у окошка и наблюдал, как сгущаются синеватые сумерки над громадою замка. Наступил вечер, погасли огни в горницах, седой пеленой затянулся город, только едва виднелась черная замковая башня да было слышно, как перекликаются часовые.

Меркнут в темноте очертания Олесского замка, что стоит посреди горной цепи, сковывающей Галицкую Русь

от Каменца до Холма. И властвует в нем Ивашко, сильный и мужественный ратоборец.

Осташко отошел от окна. Дуя на озябшие от холода руки, он присел к столу, где стояла чернильница с пером и лоток с бумагой. Зажег свечу.

«А что я должен делать, если мое оружие не меч, а перо?»

«Давид, садясь, возлагал персты на живые струны, мы же берем в руки скорописное перо, чернила и бумагу и пишем на ней...» — вспомнил Осташко библейское стихотворение.

«На большее я не способен... Ничего не поделаешь...

Но я знаю, человек должен сделать для своей Отчизны все, что может по своим способностям и уму. Ноги у меня слабые, и мне не удержаться в седле необъезженного коня; сердце у меня мягкое — от вида крови становится мне дурно, худо; немощное мое тело — погрузилось бы в землю под тяжестью стального панциря; рука моя согнулась бы, как лоза, когда я попытался бы поднять булатный меч. Но бог дал мне зоркие глаза и острую память, я постиг тайну письма, и легкое перо удивительно послушно моей воле — выводит только то, что осознал и осмыслил мой разум, что постигла душа. Вся моя сила в скорописном пере, ибо я не способен ни к бортничеству, ни к ратному делу, ни к землепашеству. И если я когда-нибудь отравлю свои мысли ложью, пусть отсохнут у меня три перста на деснице, которые держат перо, и пусть забуду я тайну письма...»

Слышно, как перекликаются часовые на сторожевых башнях замкового вала, звенит металл в оружейной мастерской, не спит — готовится к рати русинский гарнизон.

«Очевидно, я кажусь ничтожеством тем, кто держит наготове копья, бердыши, алебарды и пушки. Но никто не знает, что легкое перо становится тяжелее железного меча, когда записываешь на бумаге слова, которые должны увековечить дела ныне живущих и стать достоянием потомков, когда на месте луж крови будут расти кусты калины, усеянные гроздьями красных ягод, а мечи и копья, ржавея в земле, превратятся в тлен.

Оружейники точат мечи и сушат порох в башнях, я же даю волю своим мыслям, чтобы выковать из них правдивое слово».

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

ТРИСТАН И ИЗОЛЬДА

По широкому миру ходил Тристан, разыскивая Изольду Златокудрую.

Триста лет оповещали о нем и о ней французские трубадуры:

«Сеньоры, сеньоры! Не хотите ли вы послушать чудесную повесть о любви и смерти!»

И провозглашали немецкие миннезингеры:

«Послушайте, как в большой радости и печали любили они и как умерли».

И рыдали чешские шпильманы:

«Они страдали от преследований и гонений, но убить их любовь никто не мог».

«И умерли они вместе в нестерпимых муках — тело к телу, уста к устам», — запели русинские скоморохи.

Тристан ходил по широкому миру и попал на Галицкую землю.

Зима встретилась с весной задолго до сретения. Утром неожиданно подул с Гологор на Вороняки теплый ветер, будто вдруг вырвался из огнедышащей утробы: война продолжалась недолго. Полдня летали белые стрелы из Подлесского хребта на Гавареччину, которая много дней проспала, засыпанная снегом, в глубокой впадине; к вечеру снег размяк, словно глина в руках гончара, а ночью зазвенели ручейки. Они догоняли друг друга, стекая с холмов, вливались в единое русло и спешили с обоих склонов гор — одни в сторону Стрыпы и Серета, другие — к Стрыю и Бугу, — размывали лед на реках, и вешние воды устремлялись к морю.

Еще зевали гончары в остуженных хатах, твердела замерзшая глина в ямах во дворах, из горбатых холодных печей еще не успела стечь прошлогодняя сажа, а уже протаптывали первые дорожки к усадьбам крестьян десятники Давидовича, который разбросал свои имения по Олесской земле, словно струпья по телу; стучали в двери, требуя податей:

Судья готовился к свадьбе.

...Гончар Никита осенью взял себе в жены молодую вдову, потомственную гончарку, из Шпиколосов, что возле Золочева. Пальцы у нее точно вьюны, когда она из

жирной глины на кругу лепит горшки. Хоть скромную свадьбу сыграли, но и не обошли ни одного гончара с Гавареччины, а на приданое жены кое-как прожили зиму. Никита ждал весны, словно спасения, и обрадовался ей, такой ранней, — ведь как говорится: съел русин головку мака и две недели постничает...

Потекли первые ручейки, а Никита уже ждал хорошей солнечной погоды, чтобы просохла земля и можно было бы ему с женой перетащить через крутой Подлесский перевал тележку с горшками на рынок в Олеско — лошаденки он еще не приобрел.

Вместе с Марией снимали с настила под потолком дочерна обожженные жбаны, горшки, миски. Стирали с них пыль и подсчитывали, сколько коп[1] выручат на первой ярмарке. Вдруг послышались тяжелые шаги, — мимо маленького окошка промелькнула тень, дверь с грохотом открылась, и в дверях появился тиун[2] судьи Давидовича — Мартын Скрибка. Никита хорошо знал его. Когда-то он был дьячком в Подлесье, а когда прогнали попа за то, что пьяным выходил на амвон, Мартын, побродив немного, прося подаяние, продал себя в неволю Давидовичу. Мартын был ленив, и судья почти каждый день избивал его, а потом, увидев, что проку от него не будет, назначил надсмотрщиком над черной челядью. На этой службе Давидович научил Мартына хорошо орудовать, кожаной узловатой нагайкой — если не бил Мартын, били его, — а потом назначил тиуном в Гавареччине.

Никита стоял посреди хаты словно кол проглотил; почему этот Скрибка пришел к нему так рано, ведь у кметов и ремесленников все подчистую выметено в доме — и хлеб, и деньги, да и на панщину еще не время гнать — снег лежит на полях, а подать уплачивается после жатвы...

Мария, предчувствуя беду, поклонилась в пояс, ждала. Тиун гаркнул:

— Годовую подать плати, Никита!

— Смилостивься, Мартын. — Только теперь гончар наклонил голову, черные кудри упали на лоб. — Всю зиму не был на ярмарке, в доме и полгроша нет.

— Гривну, Никита! — крикнул тиун.

— Гривну?! Столько мы никогда не платили... Да за гривну надо два месяца, не разгибаясь, работать в поле,

[1] Коп — пятьдесят копеек серебром.

[2] Тиун — управляющий феодальным поместьем.

выкормить кабана... Какое горе случилось у пана, что он...

— Не горе, а свадьба! Пан староста Ивашко дочь свою выдает замуж за сына судьи.

— Овва! — хлопнул руками Никита, и злая улыбка промелькнула на его смуглом лице. — Так пусть отложит свадьбу до осеннего мясоеда, коль так обеднел. Гончары сейчас не могут собрать денег даже на бочку пива для пана судьи.

— Чего пасть свою раскрываешь! — Скрибка вытащил из-за голенища сапога нагайку и потряс ею перед самым носом Никиты.

— Эй, человек добрый, — схватил гончар тиуна за руку так, что она хрустнула в запястье. — Я тебе не татарин-невольник, — добродушное лицо гончара побагровело от гнева, — чтобы ты замахивался плетью на меня, как на раба... Подать уплачу пану судье исправно, пусть только дорога подсохнет, чтобы вырваться на торг.

Гончар опомнился, отпустил руку тиуна, который отступил назад и, возмущенный таким обращением с ним, снова замахнулся на Никиту плетью. Мария подскочила к Скрибке, и плеть обожгла ей лицо, оставив синюю полосу от уха до подбородка.

Жена вскрикнула, а потерявший власть над собой гончар схватил тяжелую макитру, что попалась под руку, и разбил ее о голову тиуна. Тот упал на колени, потом на локти и, обмякший, растянулся на чисто выметенном полу.

Мария закричала. Никита нагнулся над тиуном — он не дышал.

— Я убил его, — спокойно произнес гончар и неизвестно зачем стал собирать черепки от разбитой макитры. Потом посмотрел на жену и повторил с дрожью в голосе: — Я убил его...

Никита сложил черепки на скамью, взял тиуна за ноги и выволок во двор, затем вернулся в хату, вытер о штанины руки и сказал жене:

— Ты жди меня... Делай горшки, продавай их, а я... Я пойду к старосте Ивашку, пока Давидович не посадил меня в кутузку. Расскажу Ивашку, как было. Говорят, он справедливый человек, да и судья подчиняется ему.

Двор Ивашка Преслужича-Рогатинского стоял обособленно, недалеко от замка, за нижним валом. Высокий частокол, огораживавший дворовые постройки, сходился

с двух сторон к железным воротам — парадному входу. Возле ворот стоял вооруженный стражник.

Гончар Никита украдкой, будто все в городе уже знали о случившемся, пробрался к воротам и потихоньку приоткрыл их. Стражник алебардой преградил ему дорогу.

— Я к его милости боярину, — промолвил Никита дрожащим голосом: он все яснее представлял себе, какое наказание ждет его за убийство тиуна, но надеялся, что чистосердечное признание облегчит его участь. О бегстве он и не помышлял, куда он убежит, если иного мира, кроме Олеско и Гавареччины, для него не существует; ждать дома, пока придут за ним, было еще страшнее. Он повторил: — Я к пану старосте Ивашку Рогатинскому.

Стражник пропустил его: хозяин олесского староства, когда бывал дома, принимал всех — начиная от богатых землевладельцев и кончая самыми бедными волочебниками [1]. Но зато в замок к себе не допускал никого из посполитых.

Никита вошел в гостиную, на стенах которой висело оружие, а пол устлан шкурами кабанов. Он долго ждал. Наконец из хоромов в боковую дверь вошел бородатый мужчина в льняной вышитой сорочке. Никита узнал старосту и упал перед ним на колени.

— Встань, — промолвил Ивашко. — Я не король. Говори, что тебе от меня надо. Или, может, что-то натворил?

— Я тиуна... гаварецкого тиуна, что от судьи Давидовича... Мартына, которого прозывают Скрибка, сейчас... убил, — простонал гончар.

— Убил?! — Ивашко даже присел на скамью, с удивлением всматриваясь в добродушное широкое лицо ремесленника, который, казалось, и муху не задавил бы. — Как убил?

— Макитрой, ваша милость...

Ивашко прикусил нижнюю губу, задрожавшую от смеха, и продолжал допрос:

— За что же ты его убил?

— Я не хотел... Он требовал уплаты подати, заранее — целую гривну, судья собирается играть свадьбу сыну, а у меня и полгроша не найдется в доме — на свою свадьбу осенью все деньги израсходовал... Он ударил мою жену нагайкой по лицу, ну а у меня бог разум отобрал...

[1] Волочебники — приходящие поздравлять с праздником пасхи (*укр.*).

Лицо Ивашка побагровело. Злость на скупость Давидовича смешалась с гневом на непокорных подданных, к тому еще и плохое предчувствие встревожило его душу: смерть накануне свадьбы, которая должна была состояться послезавтра, ничего хорошего не предвещала. Он сурово сказал:

— Убиен будешь за убийство.

Удрученный гончар стоял повесив голову.

— Увести его! — приказал Ивашко стоявшему у двери слуге.

В это время со двора донеслись мужской и женский голоса, какое-то странное хихиканье. Ивашко вышел на порог дома. Возле ворот стояла молодая женщина в платке, сбитом на затылок, в сердаке[1], она держала за руку тиуна Скрибку. Один глаз у него заплыл синим отеком, а он блаженно смеялся и повторял одно и то же:

— Я инклюзник[2]! Я инклюзник...

Женщина покинула тиуна и подбежала к боярину.

— Не наказывайте, не наказывайте моего Никиту, чай, не убил же он его, — залепетала. — Тиун живой, дай бог ему здоровья. Живой, только смеется...

— Я инклюзник, — убеждал тиун стражника. — Дам тебе один грош, а с тебя получу десять... Я научу пана судью, как делать с гроша инклюз, и он сумеет собрать сыну на свадьбу кучу серебра. Я поцеловал черта и плюнул на Иисуса и научу судью, как плевать на Иисуса...

— Отведите его в тюрьму, пускай посидит там, пока придет в себя, — приказал Ивашко. — Этого, — указал на Никиту, — в замок, в темницу!

Орыся все это слышала.

Она сидела в девичьей и вышивала нелюбимому жениху свадебную сорочку. Знала давно, что она не свободна, хотя отец безумно любит ее. Когда-то он сказал: «Короли с королями, бояре с боярами, смерды со смердами. Анну Ярославну выдали замуж за французского короля, Ядвигу за Ягайла — разве их кто-нибудь спрашивал про любовь? Ты же выйдешь за Адама Давидовича, ибо мне с его отцом надо управлять Олеско». Знала,

---

[1] Сердак — верхняя крестьянская одежда.

[2] Инклюзник — от «инклер», по народному поверью, неразменная серебряная монета; данная в уплату, она возвращается обратно к своему хозяину.

что должна подчиниться воле отца, и привыкала к краснощекому Адаму, который приходил к ней два раза в неделю и твердил только об одном: сколько в теребовлевском имении, которое будет принадлежать ему, полей, сколько челяди черной — парубков и челяди белой — женщин, сколько тяглых людей, а сколько бортников, рыбаков и сторожей, сокольничих, бобровников, конюхов и лесничих, бондарей, кузнецов и плотников.

Слушала, зная, что это все будет принадлежать ей, и постепенно смирилась с мыслью о замужестве. Пугали ее только бледно-серые, почти бесцветные глаза жениха, в которых притаились колючие зрачки; эти зрачки смотрели на нее остро, словно гвозди, никогда они не были теплыми, всегда оставались холодными. К Адамовым глазам привыкнуть не могла и все же покорно готовилась к свадьбе.

Вдруг появился гусляр — кареглазый, веселый, он открыл ей совсем иной мир, которого она до сих пор не замечала, сторонясь, даже не интересуясь им. Мир сотен, тысяч людей, у которых есть свои беды и утехи, радости и печали, а поэтому и глаза у них живые или грустные, ибо эти люди что-то ищут, что-то находят или теряют, скорбят об утрате и радуются покупке, ничего они не получают готовым, всего добиваются своим трудом... Гусляр первым обнял Орысю, ведь Адам даже не садился рядом с нею, а гусляр, шальной, сильный и смелый, впился до боли в ее губы, она убежала тогда, обожженная его поцелуем, и теперь днем и ночью томится от сладостного ожидания, и ей снятся греховные сны...

Орыся все слышала. Она прижалась к окну, когда во дворе безумный тиун похвалялся научить судью, как раздобыть серебро на свадьбу сына, — какой стыд, люди насмехаются над ним, а она послезавтра пойдет в тот дом. Орыся не знала, за что отец посылает в темницу этого мужика, но поняла: из-за Давидовича. Бросилась к двери, но открыть ее не посмела...

Когда двор опустел и возле ворот остался лишь стражник, она оделась и, не сказав ни слова отцу, пошла на кладбище на могилу матери, похороненной два года назад возле каплицы святой Екатерины.

...По широкому миру блуждал красивый и печальный Тристан и пришел в край, где жила его Изольда...

Весенние ручейки бежали меж оврагов, а Орыся молилась на могиле матери, обращаясь к ней со словами,

идущими из глубины души, навеянными не церковью, не псалтырем, а девичьей тревогой:

— Согрешила я в помыслах своих, боже мой, боже, — не вольна совладать я с собой. Чистая водица-иорданица, ты обмываешь горы, корни, камни, обмой и меня, грешную Орысю, от всякой скверны и пагубы, чтобы я была такой чистой и величавой, как весна, чтобы была такой красивой, как ясная заря...

Арсен остановился возле кладбищенской ограды и увидал девушку в белом кожушке и большом цветастом платке, застывшую на мокром снегу перед могилой. Узнал ее по одежде, припомнил каждую черточку ее лица, но и сейчас никак не мог поверить, что она и есть та боярышня, ради которой пришел он в Олеско со скоморошьей братией, чтобы играть на свадьбе. Теперь его охватило еще большее сомнение: зачем дочери Ивашка, к которой завтра девушки придут плести венок, сегодня стоять на коленях перед могилой, как сироте. И он обрадовался: обманула его Орыся, назвав себя боярышней; он тихо открыл калитку, подошел и стал позади девушки, не смея прервать ее молитву.

— Не отягощай меня, господи, грехами по милости своей святой, — горячо шептала девушка и вдруг вздрогнула, услышав за спиной чье-то дыхание.

Вскочила, оглянулась, тихо воскликнула:

— Арсен?

Он взял девушку за покрасневшие от холода пальцы, она не отнимала их, смотрела на него и недоуменно покачивала головой, не веря, что видит того, о ком думала днем и ночью и в молитвах просила бога помочь забыть его, ибо она не должна слушаться голоса своего сердца, — так почему он тут, стоит перед ней наяву, зачем пришел? Кого ищет?

— Как ты тут оказался, Арсен? Зачем?

— Мы, Орыся, не проходим ни мимо больших, ни мимо малых городов. Странствующие люди веселят народ, балагурством на хлеб себе зарабатывают. Мы теперь в олесской корчме пиво пьем да ждем сретения, когда будем играть на свадьбе дочери Ивашка Рогатинского...

— Дочери Ивашка! — ахнула Орыся. — Ты?

— Боярин еще в Луцке пригласил нас. Признайся, дивчина, что обманула тогда меня, что не тебе завтра на голову венок положат, не тебе послезавтра, под плач мо-

их гуслей, будут расплетать косу. Скажи, что та — другая, не ты...

— Та будет другой, Арсен, — прошептала чуть слышно, будто ветерок зашелестел.

— А чья же ты?

— Была бы твоей, если бы моя воля...

Она глядела ему в глаза, в которых переливались все цвета радуги, и забыла обо всем на свете и о своем женихе со зрачками как острия иголок. Орыся подалась вперед и почувствовала, как ее губы ожег поцелуй, как они расслабились в пылу блаженства. Был день, и среди дня совершался невообразимый грех: невеста за день до венчанья целовала свадебного музыканта...

«Сеньоры, сеньоры, не хотите ли послушать песню о любви...» — звенели гусли скоморохов. «Рано-ранехонько каплица открыта, рано-ранехонько кровушка разлита, боже, боже, кто же эту кровушку пролил...» — словно звучала какая-то странная песня на кладбище.

Арсен оторвался от Орысиных губ. Девушка была так прекрасна, что ему самому страшно стало за себя перед ее красотой, и показалось тогда ему, что это сон. Разве могла его, бродячего скомороха, полюбить самая красивая девушка на свете?

— Ты дочь Ивашка?

— У него две дочери. Одна сейчас тебя целует, второй завтра будешь играть на свадьбе. Одна будет весь век идти следом за тобой сквозь дебри и болота, другая с нелюбом ляжет в белую постель...

— Орыся, пойдем вместе по свету...

— Нет, Арсен, пойдем ко мне во дворец...

— Оставь отца, дивчина...

— А ты тогда гусли свои, музыкант!..

Орыся оторвалась от Арсена, отступила от ограды, вышла на дорогу и пошла, сникшая, понурив голову. Потом остановилась, вернулась:

— Разбей свои гусли, Арсен. Не играй мне...

И ушла на противоположную сторону пропасти, оставив над кручей одинокого гусляра.

— Возьми дукат, боярин, — сказал на следующий день Арсен Ивашку Преслужичу, придя к нему во двор: белая — женская — челядь уже наряжала в девичьей невесту.



Ивашко, не понимая, пристально смотрел на опечаленного и, казалось, даже сгорбившегося от горя гусляра. Переглядывались между собой скоморохи, пожимая плечами.

— А вы, братья, отрабатывайте гривну, я в этот раз не буду за пиво воздавать честь.

— Тогда уходи от нас, Арсен, — сказали дудари. — Нам давно тяжело с тобой. С той поры как из Луцка уш-

ли — и гроша ломаного не получили. Что-то мучит тебя в последнее время: то лазаря тянешь, словно нищий, то совсем отказываешься играть.

— Сам знаю... Уходить надо. Прощайте...

Арсен подошел к побратимам, с которыми обошел полсвета, обнял каждого и, поправив гусли на плече, направился к воротам. Но вернулся. Подбежал к Ивашку, что стоял посреди двора, все еще не понимая странного поведения гусляра. Поклонившись в пояс, Арсен сказал дрожащим голосом:

— Откажись от свадьбы, боярин... Не выдавай дочь за паршивого Давидовича... Ведь ты же отец...

— Так вот в чем дело?.. Не за тебя ли отдать ее? — вырвалось у взбешенного Ивашка.

И умолк, сник, потому что в этот момент видел только лицо Арсена, забыв о его скоморошьем одеянии, о его гуслях, и узнал в нем самого себя, в прошлом — молодого, красивого парня, за которым пошла, не спрашивая, кто он, красавица Прасковья, и какая это была радость, какое счастье, а что ждет Орысю с холодноглазым Адамом, и почему бы не... почему бы не...

— Боярин! — всхлипнул Арсен, видя, как исчезает отцовская суровость. — Я люблю Орысю, и она...

— Она?! — побелел Ивашко, возмутившись, что вот здесь, в эту минуту, скоморох осмелился просить руки боярской дочери. Нищий хочет стать его зятем? — Что — она? — подступил к нему, сжимая кулаки. — Уходи ты... Уходи, пока я... пока не спустил с цепи собак!

Служанки расчесывали волосы невесте, она глядела в окно и видела, как, опустив голову, уходил со двора гусляр; по Орысиному лицу текли слезы, а губы шептали благодарственную молитву за то, что не обошла ее, пусть и краткая, минута счастья, что изведала она хоть немного его, ведь могли же они и разминуться...

В предместье Арсен встретил Осташка Каллиграфа.

— Значит, больно, говоришь, Арсен, — сказал Осташко, выслушав скомороха. — И хорошо, что больно. Куда ты теперь отправляешься?

— Во Львов подамся.

— Не ходи, хлопче, в тот Вавилон. Рать тут будет. Зачем идешь на ту сторону? Неужели думаешь, что только мечами воюют? Гусли — тоже оружие. Разве там не будет болеть у тебя сердце, когда здесь будет пролита кровь?

— За кого будет пролита кровь?
— За землю нашу. За православную веру.
— Нет у меня ни земли, ни веры, — махнул рукой Арсен, прошел мимо Осташка и направился в путь по Волынскому шляху.

ГЛАВА ПЯТАЯ

НА ЗАДВОРКАХ ВАВИЛОНА

Никогда еще не было так тяжело у него на сердце, как нынче. Ни тогда, когда ректор Ягеллонского университета запретил схизматикам проживать в бурсе — и Арсен с ватагой нищенствующих спудеев пошел петь Gaudeamus под окнами краковских мещан, ни когда оставлял нагретую телом служанки из корчмы жесткую постель в убогом меркатории, ни когда пропил последний квартник с четырьмя такими же, как и он, «жаками» и в обществе львовских художников без гроша двинулся в путешествие. Беззаботная тогда была жизнь! С кем пиво пил, тому и честь отдавал и не оставался в долгу ни перед обидчиками, ни перед благодетелями. Вся земля принадлежала ему.

А ныне не стало у него ни земли, ни веры.

Он увидел в девушке неведомый до сих пор образец чистоты и понял, что она существует на свете, сияет ярким золотом, пронизывает светом очерствевшие души и напоминает людям о том, что природа обещала им больше, чем дала жизнь. И вот эту чистоту оскверняют и этот свет гасят.

Шел быстро, его слух пронизывали свадебные песни, хотя их еще и не заводили девушки, а сердце терзали звуки труб и дуд, хотя скоморохи еще не начинали играть, — эти песни и музыка, под которую сегодня неминуемо отнимут, скроют от него Орысю, сгущались над ним, как черные тучи.

Спешил уйти подальше, чтобы не слышать свадебного веселья, ибо наверняка вернется и станет бродить как пес вокруг двора Ивашка Рогатинца, терзаться и упрекать себя...

Когда Арсен уже миновал Юшковичи и Ожидов, а дорога вывела в чистое поле, покрытое ноздреватым снегом с черными проталинами, он замедлил ход и почувство-

вал, как с каждым шагом пройденного пути в его сердце накапливается злость. Арсен чувствовал, что навсегда порывает с той жизнью, какой жил до сих пор, и становится другим. А каким — не знал. Шел по просохшему на весеннем солнце Волынскому шляху и дивился тому, как злость постепенно заглушает боль.

Но душу еще щемило, запах талой воды пробуждал в нем воспоминание об олесском погосте: на заснеженной могиле след от девичьих колен, а перед ним — глаза к глазам — теплая голубизна, а потом прикосновение мягких, сладких, как мед, губ; еще больно отдавались в голове последние слова, сказанные Орысей, и еще больше охватывала злость на людей, которые отобрали у него то, что должно было принадлежать только ему, отобрали, не спрашивая, заслуживает он счастья или нет, отобрали лишь потому, что все его богатство — гусли за плечами. И он проклинал Ивашка Рогатинского, подавившего волю дочери, и Орысю, покорно бросившую свою волю к ногам отца, и Осташка, второй раз вставшего на его пути со своими наставлениями, — все приводило Арсена в ярость.

— «Рать тут будет... Гусли — тоже оружие...» — Арсен вслух передразнил Каллиграфа. — А что вы лучшее дадите мне, чем у меня есть, если бы я и пошел вместе с вами? Ныне Ивашко обещал натравить на меня собак, что же, после победоносной битвы он, наверное, выполнил бы свое намерение... За православную веру... А какая мне разница, кто будет науськивать на меня цепных собак — католик или схизматик? Воевать за веру... А ее, эту веру, давно подобные вам распродают за привилегии и гербы, меняют на места на магистратских скамьях, проигрывают в корчмах в кости. Да и сколько вас — Осташков да Ивашков — схватились за ведра с водой, когда хата уже сгорела? Со всех сторон вы уже окружены костелами, вот и смиритесь, ибо там сила, а вас — горсть. Да вы еще не успеете поднять мечи, как вам на шеи наденут колоды и вы мгновенно отречетесь от своей веры. Быстрее, чем я. «Рать будет...»

Шел быстро, разговаривая и ругаясь вслух, боль утихала, и ему стало жаль расставаться с ней. Она заставила его почувствовать, что и он человек. Но он не сожалел о ней — пусть исчезнет: нить перегорела и начал разматываться новый клубок в его жизни.

В сумерки миновал мельницу колониста Зоммерштай-

на на Полтве и вступил в Краковское предместье Львова.

«Плетут венок для Орыси...» — еще раз всколыхнулось в душе и стихло. Новые впечатления отвлекли Арсена: он узнавал Старый город, в котором останавливался несколько лет назад, направляясь в Рогатин.

Лысая гора с развалинами замка Даниила Галицкого еще виднелась на фоне оранжевого неба. Подгородье, Старый рынок и костел Иоанна Крестителя, окруженные густыми липами, утонули в сумерках. Над Волынским шляхом высокой стеной возвышалась паперть Николаевской церкви — где-то тут недалеко корчма «Брага», в которой мастер Симеон Владыка и его челядинцы прощались с Арсеном после долгой дороги из Кракова во Львов.

Арсен взобрался на паперть, обошел нищих, стоявших на ней, — они еще не расходились, в церкви шла вечерняя служба — и отсюда увидел высокую с башнями стену, опоясывавшую Новый город. В тот раз его пришлось обойти, потому что скоморохов не пропускали в Татарские ворота, завтра же он спрячет гусли под полой кафтана или оставит их у корчмаря, а все же пройдет, ведь должен найти мудрого мастера и друга Симеона Владыку.

Над каменными дувалами татарского квартала возвышался минарет мечети; Арсен вспомнил, что корчма стоит немного ниже. Он был усталый и голодный; «где-то выводит братия венчальные мелодии», — и ему хотелось напиться и забыть обо всем хоть ненадолго, а то сердце сжимается от горечи.

Арсен шел по переулкам, забитым камнями, отбросами, мусором, проходил мимо деревянных хижин и вспоминал слова мастера Владыки: «Тут жила, кипела и красовалась своими теремами, храмами и замком столица Льва. Это все, что осталось от нее. Польский король Казимир сжег ее дотла, а корону, трон, украшенный бриллиантами, клейноды, золотые кресты с церквей, серебро, даже мантию Льва — все вывез в Краков. Пепелище оставил русинам, пленным татарам, евреям, армянам и сарацинам. Потом все они проникли в Новый город — армяне основали свою епархию, — только русины остались здесь. Почему, спрашиваешь? Лядский то город, сказали, забыв, что своими руками возводили его, и на пожарище построили свои халупки, чтобы только быть поближе к уцелевшим от огня церквам. Потом опомни-

лись, ходили на поклон к бургграфу, но было уже поздно. Только нескольким семьям художников, ювелирам и литейщикам разрешил патрициат поселиться на Соляной улице, которая ныне называется Русской. Потому что кунштмайстров своих у них было мало. Там и я живу».

В памяти Арсена всплыл образ известного художника — солидного человека с черной курчавой бородкой, его спокойная речь, и сердце гусляра наполнилось радостью: завтра он найдет своего старого друга и будет в этом чужом городе не одинок.

В пустой корчме мерцали две свечи: за стойкой и на краю длинного стола. Арсен вошел под закоптелый свод корчмы, присел с краю — корчмарь-армянин уже стоял возле него в заискивающе выжидательной позе — и заказал рыбу и вино.

— Переночевать есть где? — спросил.

— Были бы деньги, — ответил корчмарь, ставя на стол кружку с вином и жареную рыбу на медном подносе.

— Деньги есть, — ответил Арсен.

Он был голоден, глотал рыбу большими кусками, запивал крепким вином — хмель быстро туманил голову. «Где-то там друзья пьют за здоровье невесты», — снова больно сжалось сердце. Арсен взял гусли, прикоснулся пальцами к струнам и вполголоса запел песню пьяных краковских жаков, которая выражала смысл их жизни:

In tabernis quando sumus
Nescimus, quia est humus,
Ybi multus timet mortem,
Seb pro Baccho mittunt sortem [1].

В темном углу кто-то зашевелился, заскрипела скамья, чья-то фигура придвинулась ближе к свету, и Арсен увидел перед собой худого, кожа да кости, желтолицего мужчину неопределенного возраста. Глаза у мужчины болезненно блестели, он пьяно покачивался, присматриваясь к Арсену.

— Кто ты? — спросил Арсен.

— Агасфер... — ответил мужчина.

— Агасфер? Но ведь ты на еврея не похож, почему

[1] Эй, в таверну — и забудем,
Что есть где-то земли, люди,
Где боится каждый смерти,
Вакху ж льстим как только можем!

же называешь себя именем вечного жида-скитальца, не позволившего Иисусу отдохнуть в своем дворе, когда тот восходил на Голгофу...

— И ты Агасфер, хотя не еврей тоже. Разве ты не бродяжничаешь? Агасферы все мы. А за что терпим унижения — ведь мы давали приют и ляхам, и венграм, и литовцам...

Худой мужчина покачивал головой и говорил тихо, будто сам с собой.

— И ты пришел в Вавилон. А зачем? Бог тут давно смешал все языцы, а русинский съел. Ага, ты думаешь, что знаешь язык, который понимают все люди, — музыку. Ха-ха!.. Ты же еще ничего не слыхал о новом артикуле, который издал краковский бискуп... «Лишить таинства причащения комедиантов, шатающихся по корчмам, — велит он. — Только тех, что веселят королей, князей и магнатов, тех причащать и щедро вознаграждать за работу». А ты думал, что твой язык поймут все... Не-ет, тебя еще будут учить, семь связок веников поломают дидасколы на твоей спине, пока ты заговоришь на их языке. Или, может, уже умеешь говорить на панском языке?

— Не пойму, о чем ты...

— Поймешь... Я тоже думал, что владею понятным для всех вавилонян языком — красками на полотне. Но меня изгнали из цеха, потому что я больше не хотел доставлять удовольствия вельможам, хотя прежде делал это охотно. Разве не я расписывал спальню короля Ягайла в краковском замке?

— Кто же ты? — наклонился через стол Арсен: ему показалось, что он когда-то встречался с этим человеком.

— Я — кающийся грешник. Покойник, грешивший при жизни, а на том свете не обретший покоя. Я — на том свете. Ребенок, ударивший мать в грудь, становится кающимся в прегрешении. Сытый богач, отнявший у бедного кусок хлеба, — тоже. Поп взял деньги, а службы не отправил. А за что я? Нарисовал морду архиепископа без прикрас!.. Ха-ха... — Он, не спрашивая Арсена, опорожнил его кружку до дна.

— Послушай-ка, мил человек, — протянул к нему руку Арсен. — Ты случайно не знаешь мастера Симеона Владыку?

— Знаю. Он делает витражи в католическом кафедральном соборе и берет по двадцать грошей за окно. Я не хотел... А ты иди, иди, развесели короля. Ягайло часто

наведывается в Вавилон... Чего так смотришь на меня, Арсен, скоморoший Агасфер?

— Челядинец... Яцко Русин! — воскликнул Арсен. — Что с тобой случилось?..

— Узнал... А я тебя — сразу. In tabernis quando sumus... Ты же научил нас петь эту песню... — прошептал пьяный художник, опустил на стол голову и уснул.

— Корчмарь, — позвал Арсен армянина, — постели нам обоим.

...Погожее утро заглянуло в маленькое окошко, осветив нары, где Арсен и Яцко Русин спали, укрывшись от холода с головой под ветхой дерюгой. Низкий черный потолок тесного чулана, который армянин предоставлял на ночь за два гроша постояльцам, давил сверху, а снизу от каменного пола тянуло ледяным холодом, хотя на дворе уже была весна.

Арсен проснулся. Высунул голову из-под дерюги и теперь при дневном свете стал присматриваться к желтому лицу своего соседа, с трудом узнавая в нем черты когда-то живого и веселого Яцка Русина, который не так давно возвращался из Кракова со своим мастером Симеоном Владыкой в ранге челядинца-товарища, полный радужных мечтаний и дерзких замыслов. После долгих лет ученичества и челядинства он совершил обязательное трехгодичное путешествие и получил право нарисовать свой майстерштюк [1], за который должен был получить титул мастера. «Это будет мой самый большой праздник, — мечтал вслух Яцко, отмеривая долгие стадии [2] дороги от Кракова до Львова. — Ты улыбаешься, Арсен, на все смотришь свысока, хотя сам чуть старше меня. Над всем насмехаешься. А я... Ты понимаешь: наступит день, когда один из самых младших учеников обойдет с цыхой [3] всех мастеров-художников, золотых дел мастеров, литейщиков, сзывая их на сходку. Все товарищество посмотрит на мои картины, а они будут хорошие, ведь учился не у кого-то, а у Владыки, и меня назовут кунштмайстером. И я поставлю братству пиво... Снова смеешься. Скоморох ты... Я знаю, что сначала, как младший мастер, еще с год буду носить вино для братии, гасить свечи в каплице и нести носилки с гро-

---

[1] Майстерштюк — шедевр искусства, дающий звание мастера.

[2] Стадия — 240 шагов — мера длины (*греч.*).

[3] Цыха — цеховой знак.

бом, когда кто-то, не приведи бог, помрет. Но потом... Потом я стану почитаемым во Львове художником, у меня будут свои ученики, а мои картины принесут мне славу и деньги...»

Арсен смотрел на Яцка, слышал его наивный мальчишеский голос и не мог поверить, что те слова говорил вот этот самый истощенный от недоедания и пьянства человек, возраст которого трудно определить. Вот он лежит, словно на смертном одре, со сложенными на груди руками, длинный нос заострился, оскалились почерневшие зубы — что случилось с ним?

Арсену вдруг стало не по себе, ему показалось, что он лежит рядом с мертвецом, он слегка толкнул Яцка локтем, тот открыл глаза и хриплым голосом прошептал:

— Гавриил, угодник божий, вытруси из своей лиры хотя бы полгроша, пошли хлопца в «Брагу», если нет у тебя ничего в бутылке. В горле жжет, душа росинки просит...

— Я не Гавриил, Яцко. Я — Арсен. Проснись.

— А-а, — зевнул Яцко. — Слава богу... У того Гавриила не допросишься. Если и даст, то такое нравоучение прочтет, что и пить не захочешь: и грех, и горечь, и позор, и в рай не попаду, а чтоб тебе бог дал здоровье, Гавриил, — я уже давно в раю.

— С каким Гавриилом ты разговариваешь, да продери ты свои глаза.

— С атаманом. Я в госпитале, храме для больных при Николаевской церкви, пристроился... Ближе к господу богу. Там всякого грешника принимают, лишь бы он был босой да голый. Опекуны таким образом души свои спасают. Есть один раз в день дают, эскулап-инок иногда наведывается, приносит лекарства, в баню раз в неделю посылает, а в воскресенье пресвитер гонит в церковь на молитву. Это, скажу тебе, цех не хуже, чем на Русской, для нищих. Я нашего атамана звал — забыл, что с тобой вчера засиделся в корчме, а он у нас будто бы за бурграфа.

Арсен вспомнил нищего из Луцка — неужели тот самый? — поднялся на локти и спросил:

— Какой Гавриил собой?

— Бог, Арсен. Пророк, страдалец однорукий и одноглазый... Но он добрый человек, только слишком праведный.

«Тот самый», — и Арсен почувствовал вдруг, что ему

стало душно. Не мог объяснить себе, почему он боится атамана нищих; отбросил дерюгу и присел на нарах.

— Пойдем, Яцко, искать Владыку. Тебе нельзя больше оставаться в этом вертепе — пропадешь. Владыка поможет, я знаю его... Не превратился же он из человека в супостата...

— Когда черт залезает в камыш, то на какой хочешь дуде играет... Мне не все равно, у кого брать подаяние? Тут легче... Дадут тебе прохожие, не глядя в глаза, и «спасибо» не ждут: каждый своим грошем свой грех у бога замаливает. А там благодарности, низкого поклона ждут.

— Ты милостыню просишь?!

— Всякое бывает. Я больше всего рисую. Образочки со святой троицей на лубках рисую, кубки с фигурками амурчиков выбиваю — такой товар берут во время престольных праздников, только не всегда удается сбыть их, потому что за нами следят цепаки — famuli civitatis [1]. Ремесленники, не входящие в цехи, только два раза в год имеют право сбывать свой товар на больших городских ярмарках, а душа ведь каждый день винца просит.

— Какая беда занесла тебя сюда?

— Свиные уши архиепископа...

— Не понимаю...

— Послушай, если охота.

Вернувшись после трехгодичного странствия по свету, Яцко Русин начал рисовать иконы — должен был нарисовать их три. Около месяца рисовал на липовой доске распятие Христа и двух разбойников, а перед крестами стоголовую толпу, которая кричала: «Распни его!» Симеон Владыка похвалил его и предложил нарисовать картину, изображающую королевскую охоту. Эту картину Яцко тоже сделал легко и удачно — подобную сцену он изобразил и в спальне Ягайла: разъяренные хорты и загнанный ими медведь получились как живые, лицо короля поражало мужеством, с льстивым восхищением смотрели ловчие, как венценосец убивает рогатиной зверя. «Это понравится цеховому мастеру», — сказал Владыка и заказал еще одну работу: портрет какого-нибудь львовского вельможи в полный рост. Как раз в это время пришел в цех каноник от архиепископа Яна Одровонжа, этого ненасытного стяжателя, грабив-

[1] Городские блюстители порядка *(лат.)*.

шего церкви и даже костелы, который не повиновался даже самому королю, а слушался только брата Петра — старосту русинского. Каноник передал цехмастеру повеление: их эксцеленция желает иметь свой портрет. Яцку — карты в руки. Цех охотно доверил художнику, который разрисовывал Вавель, воссоздать на полотне лик львовского иерарха. Но с этого и начались все беды Яцка...

— Я не мог иначе, — говорил Яцко, лежа с закрытыми глазами. — А впрочем, сначала все получалось так, как того хотел архиепископ. Представительная фигура в пурпурном одеянии с золотой панагией на груди импонировала иерарху. Глаза святоши со скрытой за набожностью жестокостью тоже понравились ему: Ян Одровонж во всем пытался подражать краковскому епископу Олесницкому. Тонкий нос с приплюснутыми ноздрями, по мнению архиепископа, подчеркивал его твердость. Одобрил святоша и мое решение линии рук: сложенные для молитвы, но не сомкнутые, они, казалось, вот-вот вцепятся кому-нибудь в горло. Только уши... Я их заканчивал в последнюю очередь. Большие с отечными мочками отвисшие уши придавали натуре звериный вид, и, когда я детально выписал их вплоть до бородавки, оттягивающей левую раковину уха вниз, архиепископ, посмотрев, позеленел от злости, воровато поглядел на каноника, присутствовавшего на всех сеансах, надеясь на его помощь в этой деликатной ситуации. «Swietnie, swietnie[1], — уклонился каноник, — только пан художник, очевидно, не знает о том, что портрет будет висеть с правой стороны алтаря в кафедральном костеле, а есть определенные, принятые католической церковью, каноны иконописи... — Он показал на лубочную икону, висевшую на стене: святой Иосиф стоял на коленях перед младенцем, выставив правильное, без малейшего изгиба маленькое ушко. — Некоторые элементы иконописи должен позаимствовать пан художник...» «Przeciez no...»[2] — довольный замечанием каноника, качнул головой Одровонж. Я послушал его, нарисовал уши Иосифа и отправился с портретом домой. А потом начались мои мучения. По ночам меня терзала совесть за допущенную мной фальшь, за открытую подлую измену сво-

---

[1] Прекрасно (*польск.*).
[2] Конечно (*польск.*).

ей кисти. На полотне красовался благодетель — так изменился весь лик архиепископа. Ведь когда-то люди подумают: какой добрейший человек управлял костелом во Львове в начале пятнадцатого столетия, или же, узнав о его злодеяниях, заклеймят презрением создателя этого портрета. Художник Владыка промолчал, оценивая портрет, он и сам не мог понять, чего в нем не хватает. Я-то хорошо знал... Однажды утром, не выдержав угрызений совести, я взял тряпку, смочил ее олифой, стер уши Иисусового опекуна и по памяти нарисовал такие, как у Одровонжа...

Наступил долгожданный день сходки. Яцко Русин принес в цех три свои работы и набитый деньгами кошелек — на угощение братчиков. От Одровонжа пришел каноник, чтобы купить портрет архиепископа, как только новичка примут в члены цеха художником.

Цехмастер открыл скарбону в знак того, что торжественная сходка началась, — всевозможные споры, шум при открытой скарбоне строго воспрещались, — все встали и громко прочли молитву.

После молитвы мастера, челядинцы и ученики уселись на скамьи, Яцко вышел и стал перед ними, три его картины были прислонены лицевой стороной к стене. Показал первую — распятие. Старые мастера одобрительно покачали головами, цехмастер — тоже. Затем — королевская охота. На задних скамьях среди восхищенных челядинцев и учеников пронесся шепот — картина поражала стремительностью движения. Пришла очередь показать третью, главную, майстерштюк — портрет вельможи. Все обратили внимание на волнение Яцка. Он подошел к полотну, минуту подождал, потом, будто решившись на отчаянный поступок, резко повернул к зрителям портрет. На мастеров глядел коварный ханжа с омерзительным ликом дьявольской твари.

Мастера молчали, не зная, что сказать, ведь сам архиепископ видел, что рисует Яцко на полотне: на задних скамьях дружно прыснули со смеху челядинцы, а потом каноник, пришедший в себя, закричал:

— Художник — негодяй! Уши, уши чьи?

Самый молодой мастер, поляк Хойнацкий, который тоже учился у Владыки, вскочил со скамьи:

— Да чьи же — Одровонжа! Я имел честь видеть его эксцеленцию вблизи. Ведь не свиньи же!

На задних скамьях прокатился хохот. Каноник подбежал к Яцку и схватил его за лацканы кафтана.

— Чьи уши, пся крев?!

Яцко оттолкнул каноника, цехмастер призывал к порядку, но было уже поздно. Челядинцы вскочили с мест и, сердитые на святошу, из-за которого они сейчас лишаются банкета, потащили его в темный угол цеха, награждая тумаками. Кто-то щелкнул крышкой скарбоны, подавая этим стуком сигнал к драке. Началась свалка...

Яцко умолк.

— А потом? — повернул голову к нему Арсен.

— Потом... Потом произошло то, что должно было произойти. Одровонж выкупил у цехмастера портрет, чтобы его, чего доброго, не повесили где-нибудь, а меня приказал выгнать из цеха.

Когда Яцко собрал свои пожитки и пришел к Владыке попрощаться, тот упрекнул его:

— Зачем ты притащился на сходку с теми свиными ушами? Да нарисовал бы ему хоть уши девы Марии, коль он уж так хочет.

— Не кривите душой, мастер. Сами хмурились, когда я показал вам другой портрет, с ушами Иосифа... А впрочем, рисуйте себе херувимов, а я не умею так...

— Вот и пропал. Дурак ты... Такой художник пропал!

— А когда художник дорисовывает черту ангельские крылья, это разве не означает, что он пропал? Когда ложь за правду выдает?

— В каждой лжи есть зерно правды. И наши потомки найдут ее.

— В навозной куче будут рыться, чтобы найти бриллиант, да?

— И все-таки найдут. А что ты сможешь оставить, коль уже погубил себя?

— ...Вот и все, — закончил Яцко. — Владыке простили за меня — он согласился делать в кафедральном костеле витражи. Хойнацкого признали зачинщиком драки и присудили двести поклонов в цеховой каплице и один круг воска. А я оказался на задворках Вавилона.

Дверь в чулан приоткрылась, в просвете показалась голова корчмаря.

— Пора, — сказал. — Давайте деньги и уходите, если не остаетесь на вторую ночь.

Яцко Русин умоляюще посмотрел на Арсена, и тот заказал вина.

— Оставайся со мной, — сказал Яцко, когда снова захмелел.

— Да замолчи ты! — вскипел Арсен.

— Советовал бы тебе, следуя древнему обычаю, не отказываться от лазаревой сумы...

— Кто надоумил тебя и чьим языком ты говоришь? — крикнул Арсен, вспомнив, что такие же самые слова он уже слышал у ворот Луцкого замка. «Почему нищие хотят затянуть меня к себе, что им надо?» — Сказал, будто бы оправдывался перед кем-то: — Пойми же, Яцко, что я музыкант и всегда заработаю себе на кусок хлеба.

— У нищих тоже есть лиры...

— Почему ты тащишь меня в свое болото? — с упреком сказал Арсен.

— А ты уверен, что не в болото идешь?

— Ай джан, оставайся служить у меня, мне музыкант ох как нужен.

— Да пропадите вы пропадом! — разгневался Арсен, вручил корчмарю деньги, потом сунул монету в руку Яцку и вышел из корчмы, хлопнув дверью.

Яцко Русин вышел следом за ним и остановился на пороге:

— Да не забудь дорогу сюда, где-то оставь примету! — крикнул.

Теплое солнце уже поднялось над Львиной горой, предместье бурлило, сновали люди, словно муравьи, меся ногами весеннюю грязь. За костелом Марии Снежной возвышались тремя башнями Татарские ворота, они манили к себе и одновременно обдавали холодом, вызывая тревогу.

«Орыся идет к венцу», — подумал Арсен. Он остановился, словно хотел вернуться назад, но вперед звала дорога: он поправил гусли на плече и решительно направился к воротам Нового города.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

ЗАКАЛИ СЕРДЦЕ СВОЕ

Каллиграфу приснился странный сон: будто бы их, Осташек, на свете два. Один живой, но бесплотный, а второй мертвый — во плоти. Живой стоит возле гроба,

глядит на упокоившегося высоколобого, со сжатыми губами двойника и печалится о том, что он так рано ушел из жизни, не оставив после себя ни рода, ни плода, ни прославленного имени.

На груди у мертвого лежит переплетенная книга — это то, что осталось после него. И хотя писание оборвалось на половине строки, все же Осташко может утешить себя тем, что он своим скромным трудом описал время, в котором жил, и, подобно затворнику в пещере, оставил будущим поколениям свое напутствие.

Другой, живой Осташко с душевным трепетом раскрыл книгу, чтобы прочитать слово, на котором оборвалась строка, и понять, какую силу она имеет, хотя знал: даже титла добавить уже не способен. Раскрыл и ужаснулся, увидев, что страницы в книге чистые. Он стал перелистывать их, но ни на одной из них не было и следа от красных чернил его скорописного пера. Осташко наклонился, точно близорукий: от его писания остался едва заметный след, и на первой странице он с трудом прочитал свои слова о Витовте:

«Тогда бяху крепко служащие ему велиции князи, честь и дары подавах ему, и такожде служаху ему и восточные цари татарские, а такожде и немецкие великии князья служаху ему со всеми грады своими и землями».

А дальше и этот едва заметный след терялся — летопись Осташка поблекла вместе с его жизнью, не пережив летописца ни на один день, а ведь он писал ее для потомков.

«Почему, почему? — бился в безнадежной скорби Каллиграф, зная, что уже ничего нельзя ни изменить, ни поправить. — Разве я фальшивил, описывая могущество Витовта, коварство Ягайла, непостоянство мятежного Свидригайла?»

Осташко стал припоминать каждое слово своей летописи — нет, лжи в ней не было, но вдруг он заметил, как смотрит на него добрыми глазами скорняк Галайда и показывает пальцем на книгу: «Я знаю, Осташко, что ты и меня там хорошо разукрасил!», а за ним стоят гончар Никита, и Арсен, и безумный тиун, и сотни других лиц — все они поглядывают на книгу, уверенные, что их имена записаны в ней, ведь они жили и были частицей великой истории.

Каллиграф опустил глаза долу — не писал он о них. И подумал, что к чернилам, которые напоминают цвет

крови, наверное, надо было подмешать — чтобы краска была стойкой — хотя бы каплю настоящей крови, кипящей, бьющейся в сострадании к людям, не упомянутым в летописи.

Проснулся. Поспешно бросился к книге в черном переплете, лежавшей рядом на стуле, развернул ее и только тогда облегченно вздохнул и улыбнулся, поняв, что это ему приснилось. «Такие сны — на долгую жизнь», — прошептал, с наслаждением вдыхая свежий весенний воздух, вливавшийся в избу через открытое окно, пахнущий березовым соком и сладкой зеленью, но тут же спохватился, вспомнив о тревожном сновидении.

«Действительно, промелькнуло ли в моей летописи хотя бы одно имя ратника, хлебопашца, ремесленника, бедняка? Да нет... Но почему? Разве я их не знаю? Не принято писать о них — отвечу. Это правда. Впрочем, можно ли назвать летописью — описание жития повелителей, которые время от времени зануздывают Клио, музу — покровительницу истории, и возвышаются над безымянной толпой, — действительной душой и плотью истории?»

Осташко вышел и стал на пороге избы. В кустах среди цветов гудели пчелы — было после теплого Алексея. Над олесскими полями синело небо, а между ним и молочным туманом над Либерцией плыл, будто гигантский ковчег, красный замок.

С Замковой горы доносился шум, бряцанье, звуки литавр и труб, разводные мосты на дорогах опущены — в замок направлялись всадники и пешие люди.

Каллиграф вспомнил: Ивашко Рогатинский на другой день после свадьбы дочери приказал своему военачальнику объехать всех землянинов [1]: пусть немедленно высылают со своих земель в замок сулицы [2], зажиточные крестьяне выставляют копье от пяти семейств, данники — платят военный налог, тяглые — имеющие рабочий скот — принимаются за черную работу и помогают пушкарям.

И потянулись со всех сторон выбранцы [3]: от Маська Калениковича из Понюшкова, Иваська Калдубицкого

---

[1] Землянин — крупный землевладелец — феодал (*старосл.*).

[2] Сулица — подать. Один конный воин с несколькими помощниками. Каждый крупный землевладелец соответствующим количеством сулиц выплачивал старосте подать за пользование землей.

[3] Выбранцы — рекруты (*укр.*).

из Пониковец, Костаса Жмудского из Подлесья — родовитого литовца, отец которого еще во времена Любарта осел в Галиции, Дзюрзя Струтинского из Суходола, Януша Подгорецкого из Подгорцев, Нега Стрибоцкого из Кутов, Демка из Ожидова. Двигались конные и пешие, в кольчугах, караценах и шлемах, с саблями и гаковницами, шли и в свитках — без оружия. Их встречали в замке звуками литавр и труб. И завидовали их благородной ратной службе крестьяне, платившие дань медом, воском и мукой, работные люди, укреплявшие валы, и бедняки, которых оставили обрабатывать землю.

Идут и сегодня с раннего утра. В Олеско уже никто и не скрывает, что Ивашко Рогатинский готовится к войне с Ягайлом. Всем известно: на прошлой неделе Свидригайло присылал из Вильно гонца. После 1 сентября — праздника Симеона — Витовт собирается принять корону от Сигизмунда в Тракае.

Осташко находился еще под гнетущим впечатлением сна. До сих пор ему кажется, что он видит перед собой раскрытую книгу с выцветшими буквами. Мудрец стоял на пороге дома и думал о предстоящей великой битве за Волынь и Галицию, всколыхнувшей народ, зреющий на глазах, а завтра, может быть, готовой вспыхнуть пламенем. И все это найдет отражение в летописи.

— Слишком далеко дом летописца от сердца Клио, — произнес вслух Каллиграф. — Я пойду к вам, ратные люди, нельзя мне быть в стороне от вас. Может, мое скромное слово пригодится вам в борьбе.

В разрисованную цветами дорожную сумку, которую принес из Чехии, Осташко положил переплетенную книгу, чернильницу, киноварь, тростниковое перо, не заперев дверь в лачуге, направился с Белой горы по извилистой тропинке к предместью «За воротами».

Издали услышал громкие разговоры в усадьбе Галайды. Подошел поближе, остановился. Скорняк хохотал, хватаясь руками за живот, напротив него стоял в комичной позе проповедника бывший тиун Давидовича Мартын, который после неудачного сбора подати в Гавареччине ходил по Олеско, называя себя то инклюзником, то вампиром, то апостолом Христа.

Ивашко содержал Скрибку в темнице только в день свадьбы дочери, чтобы не усугублять и без того не слишком радостного настроения. Судья отказался от Мартына: этого человека, мол, он и в глаза не видел, ка-

кой-то глуповатый смерд по собственному почину собирал от его имени подать, поэтому и не требовал от Ивашка выдать ему Никиту. Такое поведение удивляло главу олесского староства, хорошо знавшего мстительную натуру Давидовича. Судья же, грузный, с красным, точно у мясника, лицом, накануне и в день свадьбы особенно заискивал перед Ивашком, но как только тот подписал акт в земском суде, по которому отдавал за Орысей три ланы [1] возле Брод, Давидович заперся в своей усадьбе — дело Ивашка больше не интересовало его.

Мартын Скрибка и впрямь считал себя апостолом Христа: он поднял вверх руки и проповедовал Галайде:

— Егда же бог сотвори небо и землю, сатана, сидяще в морской пучине, сетовал, что у него нет помощников. Смилостивился господь, рече ему — тряхни один раз пальцем. А тот все стряхивал да стряхивал и сотворил премного чертей. Тогда бог взял чертей в руку и разбросал их окрест. Один упал в воду, стал водяным, другой в лес — лешим, третий в хату — домовым, а один упал над морем Галайды и стал судьей Давидовичем... Во имя отца, и сына, и святого духа, — перекрестился Скрибка и поплелся к другой хате проповедовать.

Галайда заливался смехом. Он уже заметил Каллиграфа и помахал рукой, приветствуя его, а другой рукой держался за живот, но, увидев опечаленное лицо Осташка, перестал хохотать, устыдившись своих насмешек над блаженным.

— И кто бы мог подумать, — виновато развел руками, — что такой смирный Никита лишит человека разума.

— Это совершил не Никита, — сказал Осташко. — Человек не рождается убийцей, нищим, шутом... Чай, и Мартын не родился зверем. Кто-то научил его быть обдиралой, кто-то сделал его бессердечным.

— Давидович, Осташко.

— Он. Но ведь и Давидовича тоже кто-то произвел на свет.

— Эх, Каллиграф, Каллиграф, — вздохнул скорняк и в сердцах ударил кулаком о кулак. — Почему наш люд стал таким безропотным, что не может вернуть себе отнятое у него?

— Слез никто не вернет людям...

---

[1] Около семидесяти га.

Мартын повторял свою проповедь в соседнем дворе, и она уже не смешила Галайду.

— Почему Ивашко так держится за Давидовича? — вслух думал Галайда. — Сам обращается с людьми по-божески, а не видит: судья, чтобы стать богаче самого старосты, удвоил панщину на своих угодьях, утроил подать, скупает землю по всей Волыни и Подолии. Ивашко же ему дочь — такую красавицу... Давидович — это иуда, он и свата своего продаст, ежели заплатят ему хорошо...

— А может, Ивашко тебя боится...

— Меня?

— Черни боится... Сам-то добрый и справедливый, зато лютых псов возле двора держит. Чтобы было кем отогнать вас, когда слишком много потребуете.

— Вот оно что... Не глупый, должно быть, говорил: где богатство, там и проклятие. Но что он без нас может сделать?

Осташко кивнул головой Галайде, прощаясь, и направился к городским воротам.

— А ты куда, Осташко? — окликнул Галайда.

— В замок, — ответил Каллиграф, не останавливаясь. — Там мне надо быть.

— Ныне каждый должен занять назначенное ему богом место и твердо стоять на нем, — сказал сам себе Галайда.

Стражник уже второй день отгонял от ворот замка молодицу, добивавшуюся встречи с паном старостой. Настойчивая женщина будто бы и не слышала угрожающих окриков, не замечала грозных ратников. Ее могут убить, распять, уморить голодом в темнице, но все равно она должна встретиться с боярином Ивашком Рогатинским. Пусть и не думают, что она уйдет отсюда: пройдут выбранцы, мосты поднимут, а тогда кто сюда попадет?

На нее уже и не обращали внимания. Где это слыхано — впустить женщину за окованные железом дубовые ворота замка или вызвать по прихоти бабы старосту, который с утра до вечера на ногах: встречает выбранцев, направляет их в хоругви, принимает провизию и амуницию, следит за работами на валу, показывает, где устанавливать шатры, сам проводит экзерциции с выбранцами.

Осташко шел по дороге, что круто поднималась над аркадами к замковым воротам, и посматривал вниз: у подножия горы — ряды белых шатров, возле вала фыркали на привязи лошади, а на площади, простиравшейся до Бродовских ворот, гарцевали конники. Осташко чуть было не наскочил на женщину, которая сидела на камне недалеко от ворот, подперев руками голову, и очень удивился — как здесь оказалась женщина. Молодица, увидев Осташка, пала перед ним, обняла его за колени и стала умолять:

— Каллиграф, вы письму и всяким премудростям обучены, и боярин милостив к вам, попросите, чтобы он выпустил моего Никиту, ведь он невиновен, а что мне, молодой, делать без мужа, да пока я его дождусь, то и поседею.

— Скажу, молодица, — сокрушенно покачал головой Осташко. — Обещаю, что скажу... — и направился к воротам.

Постучал колотушкой, висевшей на веревке. В квадратное окошко выглянул стражник.

— Передай боярину Преслужичу, что бьет ему челом Каллиграф, — промолвил Осташко.

Каллиграф долго ждал, Мария обрадовалась, что хоть одна добрая душа нашлась возле мрачной крепости, казавшейся ей большой тюрьмой с кровавым лобным местом, виселицами и всевозможными орудиями пыток. Певучим голосом она изливала свое горе:

— Травушка зеленая, муравушка маленькая, пчелка златокрылая на солнышко глядит, росинку пьет, чистым воздухом дышит, а мой Никита в темнице гибнет, света божьего не видит, ой, рученьки-ноженьки черви точат... А за что? Привязался Давидович к нам, словно к богачам каким-то, узнав, что горшки на ярмарку возим. И каждый год удваивает подать. Мы рук не чувствуем от этой работы, а у него морда красная, как у вареного рака. Но есть бог, есть господь на небе — накажет супостата. В чепце он родился, да на веревке сдохнет...

Заскрипели ворота, открылись, стражник пропустил Осташка.

— Подожди тут, к боярину проведет тебя лучник, — сказал и пошел в сторожку — глубокую нишу в стене замка.

Осташко осмотрелся вокруг. Огромный двор упирался слева в фундамент прямоугольной башни, от которой

тянулось до ворот, мимо колодца с большим воротом, строение, сложенное из валунов, — наверное, хоромы; в строении узкий проход. Со стороны Вороняков — высокая стена с галереей, справа прижимались к ней низкие цекаузы[1], казармы челядинцев. Оттуда доносился шум, голоса людей и звон металла.

Каллиграф заметил, что за ним следит стражник. Он подумал, что нелегко овладеть этим замком — его стенами и людьми; замок показался Осташку неприступным островом посреди чужого моря. Таких островов немало на Червонной Руси, Волыни и Подолии, но есть где-то у них и свой православный материк...

Подошел лучник, завязал платком глаза и повел к Ивашку.

Простоволосый, в кубраке, Ивашко сидел за столом. Хоромы с голыми стенами на втором этаже башни с узким окном-бойницей служили ему канцелярией, где он находился во время осады, мобилизации выбранцев, а иногда — принимал здесь землянинов и послов.

Боярин был мрачен. После свадьбы дочери и ее отъезда он потерял покой. Перед его глазами все время стояла Орыся в минуту прощания.

...Повеселились. Скоморохи честно отработали свою гривну, уплаченную еще в Луцке, — и за себя и за Арсена. Орыся, видимо, раньше выплакала все слезы, потому что за два дня свадьбы не проронила ни слезинки, хотя бы для порядка, — должна же невеста поплакать хоть немного; она также ни разу не улыбнулась, когда танцевала с дружками последний свой девичий танец, а должна была бы усмехнуться, потому что так было заведено на свадьбах с давних времен, не обняла отца, когда жених увозил ее из дому, — удивлялись гости, такого прощания еще не видели, — и не разрешила Адаму взять себя на руки, когда тот хотел, тоже по старому обычаю, посадить ее в свадебный рыдван. На свадьбе Орыся была словно мраморная статуя: прекрасная и неживая.

«Спасибо, отец, за хлеб-соль», — сказала, поклонившись.

Ивашко, подавив слезы, протянул руки, чтобы в последний раз обнять дочь — еще чистую, невинную, к которой еще не прикасался никто чужой, но Орыся стояла не шелохнувшись и холодно смотрела на отца, ожидая благословения.

---

[1] Цекаузы — арсеналы (*укр.*).

А Ивашко вдруг вспомнил былое. Ему так захотелось, чтобы и Орыся в этот момент подумала о том же... Тихий заснеженный Рогатин, ретивые лошади с гирляндами бубенцов на шеях, под окнами ходят хлопцы со звездой, звучно летит в студеное холодное небо колядка, возница подстегивает лошадей кнутом, несутся по снегу сани — Преслужичи едут с кутьей к бабке на Остров. Преслужич закутал Прасковью в бараницу[1], а маленькая дочурка перелезла с материнских колен на отцовские, под бараницей тепло, словно на печи, нашла отверстие в шубе, теплыми ручонками прикоснулась к шее, обняла, дыхнула в бороду, обдав молочным запахом, и прошептала: «Ты самый сильный на свете».

Орыся застыла в сдержанном поклоне, а в памяти всплыло совсем другое — такое далекое, словно давний сон или приключение из забытой сказки: весенние сумерки, а на подворье так чудесно играют дудари, а черноусый парубок поет о пане Иване, у которого конь лучший, чем у короля, лук крепче, чем у гайдука...

Ивашку вдруг почудился похоронный звон; на вышитых рушниках несколько мужчин несут гроб, скорбь нестерпимой болью отдается в сердце, несут на вечное упокоение жену Прасковью в каплицу святой Екатерины, а рядом с Ивашком, прижавшись к его плечу, идет Орыся и шепчет: «Ты самый дорогой для меня на свете».

Орыся стояла с опущенной головой и видела черноусого парубка... Вокруг кресты, смерть и небытие, а он зовет к жизни, и она поцеловала его, забыв, что поцелуй на кладбище приносит влюбленным вечную разлуку...

Вспомнил Ивашко и красавца гусляра, который вот тут, на этом месте, вернул ему дукат и просил не выдавать Орысю замуж за Давидовича. Как его сердце пронзил отчаянный плач дочери, когда ее одевали к венцу... Ивашко тогда посмотрел на краснощекого, с бесцветными глазами зятя и ужаснулся: в этот момент он, не колеблясь, выдал бы дочь замуж за скомороха, лишь бы только она улыбнулась и прижалась к его груди.

Вспомнила и Орыся Арсена, покинувшего замок и ушедшего в смятении по Пушкарской дороге, и с горечью произнесла:

— Спасибо, отец...

---

[1] Бараниця — овчина для укутывания ног зимой в пути (*укр.*).

Отстранила рукой Адама и сама поднялась на подножку рыдвана.

Кони рванули...

И это расставание с дочерью все время, каждую минуту стоит перед глазами Ивашка. И теперь... Что нужно Осташку? Молча ждал.

— Пришел служить тебе, боярин, — сказал Каллиграф.

— Мне?

— Земле нашей.

— Ну и служи там, на Белой горе. Разве то не земля?

— Буду писарем у вас.

— Мне нужны сильные руки, которые могли бы щит и меч держать! — взмахнул сжатым кулаком Ивашко. — Воины мне нужны с налитыми мускулами, а не хилые референдари с мудрыми головами!

— А вы слонов, слонов из Индии привезите! — неожиданно для самого себя вспылил Осташко. — И еще свою голову на клинок повесьте, ведь она тоже умная, — наступал Каллиграф, и от удивления расширились зрачки у Ивашка. — Вы хотя бы у своего врага поучились: Олесницкий ростом в три локтя, а схватил за горло всю Галицкую Русь. Темной силой хотите воевать с врагом мудрым и гибким, как змея. Да известно ли вам, что почти все философы мира, которые придавали мощь сильным, были телесно немощными? Это только в Спарте хилых и умных детей бросали в пропасть, обожествляя грубую силу!..

— Ну, прости, — вздохнул Ивашко, подперев рукою голову. — Тревожно мне, Каллиграф. Чую — большая сила двинется против нас. А мое сердце превратилось в мякиш. Тяжела для меня утрата дочери, не думал я, что будет так тяжко...

— Закали свое сердце мужеством, боярин. Не дочери оно принадлежит ныне и не тебе... Позволь дать тебе несколько советов?

— Слушаю тебя.

— Начну я с малого. Освободи Никиту.

— Отпущу. Только не домой — убьет его Давидович. Воином будет у меня.

— Не верь Давидовичу.

— Давно не верю. Поэтому и дочерью пожертвовал — свата же, думаю, не предаст... А сулицы не шлет мне, шелудивый пес!

— Уменьши подати поспольству...

— Что ты? А ратники, тысячи ратников — что будут есть?

— Думаешь, когда начнется осада, одним войском победить?

— А разве хлебопашцы с вилами и бабы с ухватами много наратоборствуют? Еще что-то хочешь сказать?

— Хочу. Два года назад Витовт, наступая на Новгород, прорубил дорогу в пуще. Битвы не было, с миром разошлись. Теперь по этой дороге новгородские купцы ездят в Литву. Почему бы тебе или Юрше, а тем паче Свидригайлу не благословить в ту дорогу посла к великому Константину, сыну Дмитрия Донского, и к посаднику новгородскому Юрию Онцифировичу?

Ивашко пристально посмотрел на Каллиграфа, потом опустил глаза, долго думал.

— Знаешь что, Осташко, — промолвил спустя некоторое время боярин. — Пришел еси служить, так служи верой и правдой... Жить будешь в замке. На самом верху башни есть комнатушка — хватит для тебя. Питаться будешь вместе с гарнизоном — в казарме. Но не это главное. Ты задал мне задачу, вот тебе и придется помочь мне решить ее. Я составлю, а ты перепишешь письмо к Свидригайлу. С этим письмом ты поедешь в Вильно и вручишь ему... Как добираться — твоего ума дело, денег дам. Ездят же попутные бояре в Вильно... Я мог бы послать гонца, но мне нужно, чтобы там был ты и своими глазами увидел коронацию Витовта и поведение Свидригайла — от начала до конца. А теперь пойдем освобождать твоего Никиту...

Они вышли во двор, Ивашко подошел к зарешеченной тюрьме, находившейся возле колодца, и крикнул:

— Эй, стража! Отоприте.

Стражник подбежал к железной двери, щелкнул ключом.

— Выходи.

Из темной норы робко, медленно вышел бледный, заросший мужчина; Мария ни за что не узнала бы теперь своего Никиту.

— Отдохнул, гончар? — спросил насмешливо боярин.

— Не дай боже никому... — тяжело вздохнув, ответил Никита.

— Теперь иди к службам, там тебя побреют, в цекаузе дадут оружие — и в шатер, в хоругвь!

— Бoярин...

— Молчать... Горшками ты хорошо воевал, увидим, как келепом[1] орудовать будешь.

— Да я... Да я за всех... за все!.. И за Мартына тоже...

Перед вечером Никита вышел за ворота — в кольчуге, в шлеме, с мечом на боку... Направлялся к своему шатру. На камне сидела женщина, и Никита вскрикнул, увидев Марию.

Она долго присматривалась к ратнику, глазам своим не веря, а потом, рыдая, прижалась к мужу.

— Тут нельзя, Мария, нельзя, — отстранял Никита руки жены, гладя их. — Я же воин, бог помог... А ты иди домой, крути горшки и продавай. Может, меня отпустят на день-два, я буду просить. Иди...

Он побежал вниз на леваду, где были разбиты шатры, Мария долго глядела ему вслед, а потом пошла по дороге над аркадами — гордая, как княгиня!

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

КОРОНАЦИЯ

После святого Якуба, когда уставшее от зноя лето уже склонялось к ласковой осени, на Вавеле власть имущих начало лихорадить. Королю донесли, что из Вены, минуя Познань, будет двигаться эскорт от Сигизмунда с короной в Вильно.

Надо было немедленно ехать в Литву. Может быть, еще удастся мирным путем уговорить Витовта не созывать коронационного съезда. Но вот из Рима в Краков прибыл легат с папским письмом. Мартын V велел Ягайлу принять вождей гуситов, которые совершают свои «прекрасные походы» по Европе, но не перестают добиваться открытого диспута с католическими иерархами. Папа предлагал выслушать и убедить их словом, чтобы прекратили кровопролитную войну. При этом передал королю письмо вождя гуситов, адресованное Сигизмунду. Проповедник Прокопий Лысый, после смерти Жижки принявший гуситскую булаву, угрожал императору:

«Мы боремся, как известно вашей императорской светлости, за четыре артикула. Пусть слово божье провозглашается свободно — не только духовными особами,

[1] Келеп — вид оружия-бердыша (*укр.*).

которым папа доверяет миссию проповедничества. Пусть принимают причастие все христиане — не только духовенство. Пусть каждый, независимо от сана, в одинаковой степени отвечает перед законом за свои грехи. Пускай духовная власть отделится от светской. Для защиты этих артикулов мы взялись за меч и не сложим его до тех пор, пока их не признает весь мир. Так пусть будет тебе известно, обреченный король, что мы ведем войну с тобой не ради корысти, а ради истины Христовой. Прежде чем лишишь нас славы, сам превратишься в ничто, прежде чем оскорбишь Христа, сам славу своего имени сменишь на вечный позор перед народами».

Возможность осуществления этих угроз была теперь для всего мира очевидной: гуситы завоевывали в Европе город за городом, твердыню за твердыней, подбирались к Польше. Сигизмунд был бессилен и похода польско-литовских войск в Чехию боялся больше, чем гуситов. Поэтому решил объединиться, вручив корону Витовту.

Ягайло настаивал на том, чтобы встречу с гуситами отложить на конец осени. Сначала надо закончить с коронацией в Вильно. У епископа Олесницкого было другое мнение. Разве королю не известно, что Сигизмунд Корибутович вместе с бывшим луцким старостой Федором Острожским дали клятву таборитам на верность? Разве он забыл о том, что они со своими отрядами под водительством Прокопия Лысого недавно доходили до Познани и Гданьска, — посылал же тогда король гонцов к папе с мольбой созвать антигуситский собор. Необходимо прежде всего устранить ближайшую угрозу...

Следом за легатом прибыл от папы еще один посланник. В Базеле-на-Рейне только начались приготовления к вселенскому собору, а уже на ратуше, на стенах, на крышах домов гуситы вывесили манифест, гласивший: «Католическая церковь отказывается провести публичный диспут, боясь, что будут разоблачены все ее грехи. Гуситы желают вести войну словом, а не мечом, но нам слова не дают. Однако мир уже убедился, что бог на стороне гуситов. Папа, кардиналы, епископы, прелаты, охваченные страхом, сами себе готовят погибель».

Мартын V сообщил королю, что католическая церковь готова принять гуситов на соборе и доказать там свою правоту. До этого же необходимо выслушать их в Кракове, чтобы иметь возможность достойно подготовиться к словесному бою со схизмой на соборе.

Ягайло выслал гонца к познанскому подкоморию с приказом во что бы то ни стало задержать эскорт с короной; Олесницкий отправил в Моравию к Прокопию Лысому заложников.

...В посольском зале в Вавеле собрались профессора Ягеллонского университета и весь капитул краковской епархии. Ждали короля. Ввели короля, держа под руки, два рыцаря-охранника. Ягайло — тщедушный, заметно осунувшийся за последние месяцы — сел рядом с Олесницким. Епископ поднялся.

— Панове! Мы собрались тут в тяжелое для нашего государства время. Гуситы проникли на наши земли, нам с трудом удалось отстоять Познань и Гданьск. Император Священной Римской империи бездеятелен, он больше занят коронационными делами вероотступника Витовта, чем объединением сил в борьбе против схизматиков. Поэтому апостольская церковь возложила на нас священную миссию — очистить Чехию от гуситской заразы, не дать соединиться западной и восточной схизме. Его преосвященство папа Мартын V предоставил полноту власти польскому королю судить изменников костела и отпускать грехи именем Рима. Ныне на наш суд пришли заправилы чешских разбойников, которых мы должны допросить в подземелье Вавельского замка. Однако милостивый король согласился выслушать их. Введите кацеров [1].

В посольский зал вошли вождь таборитов Прокопий Лысый и его соратники Петр Англик, Вильгельм Корибут и Федор Острожский. Стражники подвели их к скамьям, стоявшим сбоку — как для подсудимых.

Ягайло напыжился, отвел глаза, чтобы не встретиться взглядом со своим племянником, которого когда-то, с согласия Витовта, прочил в короли Чехии, не думая, что вскоре придется принимать его как одного из предводителей вражеского стана. Ведь за нынешнюю встречу с гуситами вынужден был отдать заложниками пять прелатов — профессоров Краковского университета. Олесницкий с ненавистью посматривал на Федора Острожского: сегодня он вынужден вести с ним унизительный диспут, а мог когда-то сгноить в кременецкой тюрьме.

Епископ, не вставая с места, обратился к Прокопию Лысому:

---

[1] Кацеры — пренебрежительное название гуситов.

— Сиятельный король и капитул краковский милостиво разрешили, чтобы вы объяснили нам, за что проливаете христианскую кровь.

Вождь гуситов поднялся.

— Пятнадцать лет тому назад, — сказал он, — Ян Гус просил в Констанце предоставить ему слово. Католический собор не дал ему слова и сжег на костре. Ныне последователи Гуса, взяв оружие для защиты христианской справедливости, принудили охваченных страхом верховодов католической церкви пригласить нас для разговора. Мы помним слова Яна Гуса, которые он произнес, прощаясь с пражанами: «Как жизни купца, имеющего при себе золото, всегда грозит опасность, так и тому, кто божье слово без лести проповедует». Знаем: вы можете пожертвовать своими прелатами в обмен на наши головы, однако мы пришли-таки вам засвидетельствовать: мы готовы прекратить войну.

— Ваше преосвященство, — засуетился Олесницкий, — мы согласились выслушать ваши требования, но не желаем слушать проповедей.

— Наши требования давно изложены — в четырех артикулах. Согласна ли с ними католическая церковь?

— Костел соглашается принять второй артикул — причащать всех христиан. Других принять не может. Неужели вы в самом деле, без лукавства верите в то, что каждый может проповедовать слово божье, что помазанников господних должна судить чернь, что светская власть сумеет уберечь паству без помощи церкви? Как вы осмелились взять на себя роль апостолов не познанной вами божьей справедливости? Ведь учит же единственно справедливое в мире учение Фомы Аквинского, что только неосознанное подчинение высшим силам управляет человеческой деятельностью. А вы осмелились поставить себя наравне с богом!

— Бог в человеке, а не вне его, — ответил спокойно Прокопий Лысый.

— Это сентенция самой богопротивнейшей ереси! — воскликнул профессор Анджей из Кокорина. — Вот посмотрите, — он указал на деревянную скульптуру, стоящую в нише стены. — Смерть в протянутой руке держит песочные часы. Разве эта фигура не напоминает вам, что сами станете перед самым суровым и самым справедливым судом, который покарает вас за то, что осмелились познавать тайны господни?

— Почему же этот символ скоротечности земной жизни не вызывает у вас таких мыслей, — вышел из-за скамьи рыцарь в панцире — Вильгельм Костка. — Получается, что вы, последователи учения Фомы Аквинского, каким-то чудом все-таки познали непознанное и ведаете о том, что творится на небеси. Вы так уверенно пугаете нас наивысшим судом, словно уже подписали с богом контракт и получили разрешение у него составить против нас обвинительный акт! Так я скажу вам: не прикрывайтесь лжеучением, ибо не бог вам дорог, а жажда власти и богатства. Я могу привести пример «справедливости» вашего суда, который вы, в согласии со своим богом, чините. Вспомните: бывшего папу Иоанна XXIII, который вел процесс над Гусом, тоже провозглашали непогрешимым. И вдруг обвинили его в совершении страшных и омерзительных преступлений. Уже не его преосвященство Иоанн, а Балтазар Коса бежал из Констанца, — его поймали и посадили в ту же самую тюрьму, где мучился Гус. И что решил суд божий: пират и распутник окончил свои дни в сане декана святого коллегиума при нынешнем папе Мартыне V, а проповедник слова божьего сгорел в огне!

— Мы не оправдываем акт расправы над Гусом, — ответил Олесницкий. — В его смерти и в сегодняшнем кровопролитии виновен император Сигизмунд. Мы же хотим...

— Так почему вы, властелины Польши, — прервал епископа Федор Острожский, — объединяетесь теперь со своим извечным врагом в борьбе против славян? А потому, что католическое ослепление отобрало у вас разум. Вместо того чтобы поддерживать братский союз с православным миром во имя вашего же спасения, вы готовы выступить против него с крестоносцами, уподобившись бешеному псу, который кусает того, кто его кормил.

Олесницкий вскочил, напускное спокойствие оставило его.

— Да как ты смеешь, изменник, обвинять святую католическую церковь в несправедливых деяниях, ты, который глумился над образом святой Марии в Ченстохове!

— Мы не глумились, а сняли с киота, чтобы взять с собой в Галицию. Не удалось нам этого сделать, а жаль, — ведь русинский художник рисовал икону. А украл ее из сокровищницы Львова Казимир, когда завоевал Львов. — Федор на минуту умолк, со злорадством

поглядывая на Олесницкого, который трясся в бессильной ярости. — Взгляните теперь вы на икону, которая висит справа на стене: Иисус наступил на череп Адама, грех которого искупил перед людьми. Так и мы наступим на головы ваши, спасая церковь от католического греха. Если же нам это и не удастся, все равно проиграете вы, ибо обречены еси: на другой же день после победы над нами на ваши головы опустится орденский крест и меч, вы сами же погибнете от православного народа, вознамерившись окатоличить его!

У короля дернулась голова, часто задрожала, он повернулся к Олесницкому и пропищал:

— Что это за сборище? Мы судим или нас судят? В тюрьму их, в темницу!

— Руки коротки, вуйко, — спокойно произнес Сигизмунд Корибут. — Ты в сговоре с папой посылал когда-то меня в Чехию, чтобы я привлек гуситов в лоно католической церкви. Я пытался выполнить твою волю, за что меня чуть было не убил справедливый Жижка. Теперь говорю я: Ягайло, я — твой враг!

В это время порывисто открылась парадная дверь, по ковру, разостланному посередине посольского зала, к королевскому столу четким шагом направлялся рыцарь в кармазиновой куртке и в узких полосатых штанах. Звякнул золотыми шпорами.

— Ваша светлость, — отрапортовал королю, — я — гонец от познанского подкомория.

Король всем телом подался вперед, Олесницкий кивнул слугам, чтобы увели гуситов.

— Ваша светлость король, послы Сигизмунда задержаны возле Чухлова — на границе Польши и Пруссии!

— С короной?

— С письмами. Корону несут следом. Подкоморий отпустил их без бумаг и полуголых. А на горе Турья выставил на страже пятитысячное войско. Послы с короной не пройдут.

— Кортеж... Кортеж!.. — крикнул король. — В Вильно!

...За краковскими воротами к Федору Острожскому подошел человек в купеческой одежде и подал ему письмо.

В Остраве Федор попрощался с Прокопием Лысым и его соратниками. Гуситские вожди отправились в Моравию. Острожский с отрядом русинских гуситов — в про-

тивоположную сторону. Крадучись, лесом, перелесками и открытым полем, они двигались на северо-восток.

Свидригайло и Юрша пригласили бывшего луцкого старосту в столицу Литвы.

Осташко Каллиграф на протяжении нескольких недель пытался всякими путями проникнуть в замок Гедимина в Вильно, где именитые гости, коротая время на банкетах и охоте, ждали торжественной коронации. К величественной твердыне на высокой горе, которую омывали с севера Нерис, а с востока Вильна, стража не подпускала посторонних на выстрел лука.

Иногда можно было увидеть охотничьи выезды молдавского господаря, который любил общество перекопских мурз; семейные прогулки дочери Витовта Софьи и ее юного сына — великого московского князя Василия Васильевича — в сопровождении старого Бориса Александровича Тверского, приехавшего сюда со своей сестрой красавицей Анной. Ежедневно можно было видеть князя Семена Гольшанского, но к нему никто не мог подступиться — он в обществе тевтонских комтуров выезжал за город, на луга, раскинувшиеся у берегов Вильны, устраивать турниры... Свидригайла или кого-нибудь из русинских князей не было видно, хотя всем было известно, что они находятся в замке Гедимина.

Приближался конец осени. Осташко надо было возвращаться домой, пока его не застала зима, возвращаться — не выполнив поручения Ивашка, не узнав, почему откладывается коронация и что замышляет Свидригайло. Вдруг однажды купцы громко заговорили о том, что к Неману приближается кортеж Ягайла, — начали оборудовать торговые фургоны. Осташко решил дождаться приезда короля — авось что-то при нем и будет решено.

А было так.

Витовт, обеспокоенный тем, что к нему не приходят венские послы, слал гонцов к великому магистру Тевтонского ордена Руссдорфу, через земли которого должен был проследовать кортеж с двумя коронами. Ответа от него не дождался, но Руссдорф сам неожиданно приехал в Вильно. Он советовал великому князю терпеливо ждать, скрыв от него, что послы вернулись в Вену, не дойдя до Турьи. Руссдорф сам велел вернуть их после того, как к нему прибыли доверенные лица Сигизмунда — избитые, оборванные, с глубокими ранами на запястьях от кандалов.

Витовт как раз готовился к поездке в Неман, где его ждал кортеж Ягайла. По дороге, уставленной с обеих сторон знаменами, гербовыми щитами, двинулись они с Руссдорфом, в сопровождении эскорта, навстречу королю.

Ягайло всегда терялся в присутствии Витовта: ум и хитрость литовского князя были сильнее жестокости польского короля. Выйдя из карет, направились по мосту навстречу друг другу: Ягайло с Олесницким, Витовт с Руссдорфом.

Руссдорф. Я прибыл в Вильно, чтобы примирить вас, король и великий князь.

Олесницкий молча смерил взглядом великого магистра, молча стоял, словно в рот воды набрал.

Ягайло. Что ты затеял, дорогой брат... Поверь мне, корона уменьшит, а не умножит твое величие. Среди князей ты еси первый, среди королей будешь последним. Что за честь, подумай сам, в преклонном возрасте увенчать голову золотом и несколькими драгоценными камнями, а целые народы обречь на ужасную кровопролитную войну?

— Я жду корону, — твердо ответил Витовт.

— Возьми мою, — умоляюще протянул руки Ягайло, — только разойдемся с миром.

— Сладкоречиво просишь мира у брата, а сам готов задушить меня. Я жду короны, которую не вернут твоим наследникам мои наследники.

— Не дождешься этого, великий князь! — сказал, как выплюнул, Олесницкий сквозь сжатую подкову зубов. — Великий магистр, — епископ помахал перед Руссдорфом свитком бумаг, — раньше надо было умиротворять нас, а теперь ваша карта бита: вот — письма Сигизмунда к Витовту, а корона — вы об этом еще не знаете — в казначействе в Вавеле!

Все посмотрели на Витовта. Его лицо вдруг покрылось желтизной от чела до подбородка, тонкие губы посинели, и он застонал:

— Воды...

— Моспаны, — промолвил Руссдорф, — моя дипломатическая миссия закончилась, отныне будем разговаривать с вами языком оружия. — Он повернулся и подался через мост к своему эскорту.

Витовт медленно умирал в Тракайском замке на руках у жены Юлианы. В открытые окна долетал всплеск

волн Тоторинского озера, что омывало замок, в котором великий князь провел пять десятилетий.

«Корону...» — чуть слышно шептал он, выходя из забытья.

В соседнем зале сидели Ягайло и Олесницкий.

За два дня до святого Михаила Витовт велел пригласить к себе короля. Он отдал ему ключи от великокняжеских замков и вместе с ними власть, отобранную им у Ягайла полстолетия тому назад.

В тот же день в замок Гедимина вступил со своим отрядом Федор Острожский.

И Свидригайло тут же подписал военный трактат с Руссдорфом, принимал через послов и лично от литовских и русинских князей, бояр и государственных служащих присягу на верность.

Осташко присяги не давал. Он вручил Свидригайлу письмо от Ивашка Рогатинского и ждал, что ответит ему князь.

«Передай боярину, что Борис Александрович Тверской не слабее Константина Новгородского».

«Но Константин ближе нам, чем тевтонский магистр», — выдержал Осташко взгляд князя.

«Помню тебя еще по Луцку, — спокойно ответил Свидригайло. — Ивашко знает, кого брать себе в помощники».

«А ты не знаешь... У человека одна спина, а не две. И одно лицо. Спиной опирается на друзей, лицом поворачивается к врагу. Иначе победить нельзя. Кто же будет твоим другом в битве с Ягайлом — тевтонец или тверской ратник?»

«Каждый должен знать свое место в хоругви. Тот, кто впереди, смотрит по обе стороны, тот, кто сбоку, — только в одну. Вот и передай Ивашку Преслужичу, пусть бдительно следит за западом: по Олеско нанесут первый удар. А остальное предоставьте мне. Иди, человек любомудрый...»

На следующий день успокоившийся Ягайло вступал в замок Гедимина в сопровождении дворовых литовских лучников, которых выслал навстречу королю Свидригайло. Младший брат заверил старшего в своей верности польской короне.

Перед королем, Олесницким и их эскортом широко открылись ворота, но подозрительно быстро защелкну-

лись. Казармы вмиг окружили литовские ратники и приказали королевской охране сложить оружие.

— Великий князь Свидригайло просит вас в тронный зал! — воскликнул кастелян, насмешливо глядя на ошеломленных властителей.

Их, как пленников, завели в пустой зал с готическими сводами; пол устлан был шкурами зверей. Возле стола для игры в кости стояло кресло на оленьих ножках, вместо подлокотников — рога тура, спинкой служили рога лося.

Из боковой двери в полном военном снаряжении вышел дородный Свидригайло, за ним — Михаил Юрша, Василий Острожский, Александр Нос и Семен Гольшанский.

Князь, будто после тяжелой работы, опустился в кресло и долго сидел молча, не глядя ни на Ягайла, ни на Олесницкого, он был похож на рысь, у которой все тело напряглось перед прыжком.

— Что же, король, и вы, ваша эксцеленция, — наконец ехидно промолвил Свидригайло, не приглашая сесть своих недавних повелителей, — неожиданность ошеломила вас, не так ли? Так благослови меня на великое княжество, Ягайло. Не хочешь?.. Тогда вот что я тебе скажу, брат... Я провел в тюрьме много лет, ты же просидишь в самой глубокой тракайской темнице до конца дней своих, если не отдашь мне Подолье, если не поклянешься, что твои войска не ступят ни на восточный берег Буга, ни на северный берег Днестра, если не пошлешь гонца с письмом к старосте Каменецкого замка — чтобы отдал ключи Федору Острожскому, который уже двинулся на Подолье.

Свидригайло умолк, какое-то время тешился растерянностью польских повелителей, потом продолжил:

— Мой, панове, совет, — указал рукой на князей и бояр, стоявших позади него, — провозгласил меня вчера великим князем. А завтра я стану королем. Пока ты, не смыкая глаз, ждал смерти Витовта, мне тоже не спалось. Мне уже сложили omagium[1] почти что все литовские и русинские князья и бояре. На юге верен мне молдавский господарь Александр, на севере обопрусь на руку Бориса Тверского. С Руссдорфом подписал трактат. А из Чехии позову Корибута. Я стал сильным, король, слышишь? — Свидригайло сжал в руке шестопер с

[1] Присягу на верность.

рукояткой, украшенной серебряной инкрустацией. — А если ты не согласишься с моими требованиями, — он порывисто вскочил с кресла и подошел вплотную к королю, — я сделаю с тобой то, что когда-то сделал ты с Кейстутом! Садитесь к столу, вашмости, — вот вам перья, чернила, бумага. Князь Семен, подай епископу принадлежности.

Ягайло безмолвно стеклянными, растерянными глазами поглядывал то на Свидригайла, то на епископа Олесницкого.

Краковский епископ, на удивление спокойный, кивнул королю:

— Давайте присягу и пишите то, что от вас требуют, ваша светлость.

— Вы... вы пишите, эксцеленция, — застонал король.

Когда Ягайло и Олесницкий вышли из зала в сопровождении стражи, Свидригайло, не сдержав своей радости оттого, что он наконец захватил власть, раскатисто захохотал. Но тут же умолк и через минуту твердо произнес:

— Возвращайтесь в свои замки, панове, готовьтесь к битве. Король перейдет и Буг, и Днестр.

Потом долго стоял молча, напряженно думая о чем-то, затем широким шагом подошел к Гольшанскому и потряс его за лацканы жупана.

— Куда исчез Сигизмунд Кейстутович, которому служишь? Почему не присягнул мне на верность?

— Великий князь, — отвел Гольшанский руки Свидригайла. — Не подобает тебе заигрывать с Борисом Тверским, заклятым врагом католиков. Ты забыл, что литовские князья — римского вероисповедания. Что делает тут сестра Бориса Анна? В ту и другую стороны шарахаешься, к какой же пристанешь?

— Тут буду стоять, тут! — заорал князь и, понизив голос, посмотрел на Гольшанского и Юршу, которые, потупив головы, стояли друг против друга. — Панове, — продолжал уже спокойно, — умер тиран, давайте начнем править по-новому. Чтобы после него, сеявшего раздоры, и духа его поганого не осталось...

Вдруг раздвинулись портьеры на двери, и в тронный зал вбежал небольшого роста человечек, приговаривая:

— А я, а я, а я, — куда денусь?

— Генне! — ударил об полы Свидригайло. — Не взял тебя черт в рассол, не возьмут и в бульон!..

На Михаила Осташко Каллиграф, возвратившись вечером к себе в комнату, которую нанимал в купеческом заезжем дворе, записал в книгу следующее:

«Разгадав замысел цесарской лиги с Витовтом, поняв, что две короны посылает Сигизмунд — одну Витовту, а вторую Юлиане, его жене, поляки расположились в лесах на Турьей горе, чтобы схватить послов, везших короны. Но когда послы узнали, что на них собираются напасть, решили вернуться к Сигизмунду-цесарю, однако по пути их поймали, отобрали короны и доставили их в польскую столицу. Узнав об этом, Витовт захворал и умер в Тракае, в возрасте восьмидесяти лет. Похоронен в Вильно с большими почестями и скорбью. И положиша его тело в костеле святого Станислава подле дверей захристейных. Великим же князем Литвы стал Свидригайло».

На следующий день Осташко отправился из Вильно в Луцк-Олесск.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

КОМУ ПОВЕМ ПЕЧАЛЬ МОЮ?..

— Кноффель, ein Becher Wein[1].

Владелец неказистой с виду, но богатой по выбору напитков пивной, которая стояла одиноко у Латинской калитки на Сокольницкой дороге, наклонился над стойкой, посмотрел сначала на башню ратуши с часами — ее видно в приоткрытую дверь, — потом на стройного парубка в поношенной свитке и подул на руки; клиентов сегодня у него еще не было.

— Доброе утро, Herr Musiker![2] Рейнского, бургундского, мускатель?

— Всего понемногу — в один бокал.

— Прекрасно! — Шинкарь повернулся к бочкам и, ловко вынимая чопы, вмиг нацедил в массивный бокал хмельного напитка. — За что, за кого господин музыкант пришел выпить с утра пораньше?

— За короля!

— Браво, niech żyje król![3] Надеюсь, что до вечера

[1] Бокал вина (*нем.*).
[2] Господин музыкант (*нем.*).
[3] Да здравствует король! (*польск.*)

пожелаешь ему много лет... — Немец наклонился к Арсену, таинственно подмигивая: — Слышал какие-нибудь новости?

— Русинской шляхте дарованы привилегии, понимаешь, Кноффель? Русинский шляхтич имеет право на свой герб!

— Русинский шляхтич? Где ты видел русинского шляхтича? Są popi i chłopi [1], это я знаю, а...

— Видимо, есть... Вчера новый бургграф именем короля объявил ...noch einmal [2], Кноффель, — объявил русинам о привилегиях. Так, мол, и так: не поднимайте крамолы, не слушайте, что делается в Литве, у нас все равны... Виват круль! Кх-е... А православным мещанам разрешено сопровождать покойников через Рынок на кладбище, только чтобы на углу Русской гасили свечи. А там все равно ветер их задует, знаешь, как тянет с Татарской, ха-ха!.. Налей-ка еще за круля. Мне эти привилегии до задницы, но ведь король мне, мне... Наливай, не бойся, я вчера заработал, играл на банкете после выборов бургграфа. Ты удивляешься? Так я сейчас тебе такое скажу, что умрешь. Ты понимаешь, Кноффель, я прожил на свете двадцать восемь лет, полмира измерил своими ногами, а не знал, что все делается руками короля. Думал: люди сами по себе живут, едят, работают, строят, рисуют, поют, убивают, крадут, молятся, попрошайничают, дают подаяния, торгуют — так нет, дудки! Всем руководит круль. Коль он знает обо мне, бродячем музыканте, так значит — знает все. Вот я вчера играл на банкете и мысленно молился за здоровье Хойнацкого — помог мне художник урвать такой заработок. Ты же знаешь: в этом году я чуть было не сдох. И у тебя играл, и во дворах, и на ярмарках... А бургграф, подвыпив, и говорит мне в присутствии всего вельможного патрициата: «Назначаю тебя главным музыкантом в патрицианской бане!»

— Mein liber Gott! [3]

— Вот видишь! Глазами бургграфа меня заметил сам король. Шесть коп в год! Это и есть, и спать, и Симеону Владыке долг уплатить, еще и на «бычий» [4] налог хватит, ибо жениться не хочу. Ну будь здоров. Панский му-

---

[1] Есть попы и хлопы *(польск.)*.
[2] Еще раз *(нем.)*.
[3] Мой любимый боже! *(нем.)*.
[4] Налог на холостяков.

зыкант весь день будет ходить на радостях от пивной до медоварни, точно колядовщик с козой.

Со стороны Полтвы послышался топот копыт — Кноффель выбежал из корчмы. Вышел следом за ним и Арсен. С горы, от Юрского монастыря, спускалась к мосту конная хоругвь, всадников около трехсот, впереди развевался на ветру флаг с королевским орлом посреди полотнища.

— Торги, торги! — поплевал на руки Кноффель. — Сколько их уже прошло за эту неделю. И как они все размещаются в Нижнем замке?

— Высокий замок тоже забит войсками.

— Будет война?

— Тут? Кто сюда может дойти?.. Торгуйте себе спокойно, пан Кноффель. А вообще — что мы знаем или можем... Человек — это ничто. Букашка...

Над замерзшей Полтвой мела поземка, неподалеку виднелась припорошенная снегом водяная мельница, сквозь седую мглу вырисовывались очертания Юрского монастыря. Бревна на мосту звонко грохотали, скрипели доски, всадники ехали по мосту по два, а на противоположной стороне выстраивались по четыре и поворачивали к въездным воротам Нижнего замка — резиденции старосты Петра Одровонжа.

«Именем короля... По приказу бургграфа... Повелением старосты... Все живущие в этом городе и за его пределами, в государстве и в мире... Воины, купцы, мещане, ремесленники, музыканты, художники — именем всесильных. Живут на земле по их позволению, по их расчетам. Букашки, кроты, черви...»

— Слабое у тебя, Кноффель, вино. Сколько выпил, и ни в одном глазу. Пойду на Рынок. Будь здоров.

— С богом, с богом. Только запомни: как только зайдет солнце — закрываю.

Арсен вернулся назад в город. В груди словно кошки скребли, беседа с Кноффелем опустошила его душу. Пройдя Латинскую калитку, посмотрел на готический шпиль кафедрального костела. Окна фасада переливались разноцветными узорами; голубые, зеленые, карминные цвета оживляли мрачное здание, делали его легким, торжественным.

«Каждый штрих, каждый камень, капитель, карниз — русинские», — вспомнил Арсен слова мастера-художника Симеона Владыки, когда-то гордого, теперь

хилого и сникшего, слова, которые он неоднократно повторял, — ими он всегда утешал себя, направляясь в кафедральный костел делать витражи. Нет, не утешал, пытался вырваться из муравейника, силясь найти в своей работе самый высокий смысл.

«Обманывай себя, мастер, обманывай. Витражи русинские, а костел-то польский... А Хойнацкий иного выхода из муравейника ищет: поклялся, что не нарисует ни одного портрета пана, и, чтобы заработать на жизнь, красит в магистрате двери, покрывает бронзой фигуры, изготовляет разноцветные стекла для фонарей, которые устанавливают вокруг ратуши. И все равно служит панам... А чем я себя обманываю? До сих пор было по-другому: я еще зарабатывал скоморошеством, денег у сильных мира не брал. Что же придумать русинскому музыканту, согласившемуся играть польским панам?.. Нашел! Ты же слыхал о привилегиях... В баню будут ходить русинские паны — буду играть своим! Тьфу!..»

Неужели единственный Яцко Русин свободен?.. Тошно стало на душе, у Арсена заговорила совесть — за весь год ни разу не навестил Яцка, боялся. Боялся, что не выдержит и возьмет у Гавриила нищенскую суму. Но все-таки ни разу не протянул руки за подаянием, хотя был близок к этому. Слава богу, помог Хойнацкий... Теперь у него будет хлеб. Будет играть панам? Все панам играют. Все. Такой мир. Кто-то там бунтует? И что? — все равно потом покорится.

На башне ратуши ударили часы. Вспугнутые вороны взлетели со шпиля и уселись на столбе, возвышавшемся возле лобного места. Будто проснувшись, взглянула с большой иконы, вставленной в башню часов, пречистая дева, ее глаза остановились на двух фигурах, повернутых одна к другой спинами и стоявших возле позорного столба: Фемида с завязанными глазами и палач с мечом.

«Это символ всей нашей правды и свободы, вот молчи и радуйся каждому прожитому дню, каждое утро благодари господа бога за то, что видишь еще землю и небо, и людей, и этих храбрых ворон, которые — единственные в городе — без страха перед наказанием гадят на головы слепой Фемиде и жестокому палачу».

Арсен пошел по краю рыночного квадрата, миновал патрицианскую баню на углу Шевской, вспомнил, что завтра придет сюда и жизнь его потечет по новому руслу; свернул на Резницкую, где находились мясные ларь-

ки — еще закрытые, — и вышел на Францисканскую, в которую тыльной стороной упирался Нижний замок.

Остановился. Будто впервые увидел эти высокие крепостные стены и готическую башню над ними и весь ансамбль островерхих строений. Арсен не раз разглядывал резиденцию львовских правителей, но только сейчас понял, что именно здесь размещаются покои короля, который часто наведывается во Львов, комнаты старосты и бургграфа, что именно тут решаются судьбы тысяч людей и его судьба — тоже; и как это так, думал он, что обыкновенные на вид люди каким-то чудом проникают в этот замок и получают тут неограниченную власть. Их слово — и наполняется людьми Рынок, открываются магазины, пивные, ларьки; их слово — и бегут защищать портные и каретники Галицкие ворота, а башни, стоящие на берегу Полтвы, — лавочники и пекари; их слово — и на галерею ратуши выходит трубач, объявляя о начале суда; их слово — и городской палач, тот, что в другие дни вывозит за город мусор, дохлых собак и кошек, становится вдруг господином человеческой жизни; их слово — гремят пушки... Всем руководят сверху и обладают такой силой, что человеку невозможно с этим бороться, да, человек — букашка, которая обязана выполнять положенную ей роль, и, кроме этого, она больше ничего не видит и не знает, и если она остановится или споткнется, или, не приведи бог, выступит против, — ее выбрасывают, убивают, чтоб не мешала.

— Прочь с дороги! — крикнул кто-то сзади Арсена.

Отскочил в сторону — остановился: «Вот видишь, и уже кому-то помешал, а вчера, видимо, стоял на своем месте — никто на тебя не кричал, а наоборот — заметили и повысили; все тут соразмерно, определено сильными людьми, которые видят мир сверху, а тебе следует смирно двигаться в потоке и глядеть перед собой на расстоянии собственного шага».

Арсен посторонился, пропуская четырех слуг, которые несли паланкин, а в нем патриция; может, это староста, бургграф, писарь, советник, присяжный, а впрочем, какое это имеет значение — слуги несут человека, от которого целиком зависят и Арсен, и все люди в этом городе.

Ха... Арсен вспомнил побасенку, а может, и правду, подслушанную когда-то из разговора художников, и подумал, а может, на этих самых носилках несли два или три года назад магната Якоба из Кобылян, который со-

вратил Софью Гольшанскую, четвертую жену Ягайла, забыв о том, что башни Нижнего замка достигают до звезд, а подвалы доходят до ада. Заключили в темницу могущественного из могущественных, и он перестал быть всесильным, и слово его больше ничего не значит. Якоба сгноили в тюрьме, королева же поклялась на алтаре, и капитул признал ее невинной. Словом, человек — ничто, им руководит высшая сила. Бесполезно метаться, напрасно утешать себя, что за твой труд вспомнят тебя потомки, глупо придумывать себе высшую цель, ради которой готов сложить свою голову на плахе, — глупости все это. Каждому отмерено, определено, ни у кого нет своей воли, все — от высшего до низшего — невольны, и если кто-то и поднялся на борьбу, то лишь для того, чтобы своей волей навязать кому-то неволю, сам же из одной петли просовывает голову в другую.

Но можно быть свободным — для этого нужно так мало. Отбрось только иллюзии о важности своего существования. Зарабатывай на хлеб, не заискивая перед работодателем, презирая его в душе, и поставь перед собой маленькую цель — что все утехи вспомнишь в свой судный час и порадуешься перед смертью. Это может быть вино или женщины, или же — еще проще — каждую минуту умей радоваться тому, что тебе дано видеть мир. Ты мучишься, ты голоден, тебя бьют, ты озяб — все это покажется тебе пустяком, когда осознаешь, что мог вовсе и не появиться на свет и не узнал бы, что такое голод, холод, побои и передышка от них. Только так и можно найти для себя смысл существования в этом размеренном и суматошном мире.

Город оживал, полнился людьми, — все куда-то спешили: купец — обманывать, ростовщик — начислять проценты, судья — искать виновного, палач — ждать жертвы. Владыка придумывал для себя бессмертие. Хойнацкий стоически красил двери в магистрате, веря, что слава сама его найдет, в пивной на Армянской шинкарь недоливал Арсену пиво, надеясь разбогатеть.

Только гусляр чувствовал себя легко и спокойно. В своем одиночестве, в отчужденности от людей он нашел свободу. Пил и заранее обдумывал слова, которые скажет Симеону Владыке, когда вернется в его жилище на Русской улице:

«Мастер, вы все рабы, а я свободен. Я пою, чтобы услаждать самого себя, — словно птица. Пою не за пла-

ту, но беру плату для того, чтобы петь. И мне безразлично, кто меня слушает и как оценивает мое пение. Все на свете — рабы, ибо стремятся к богатству, к власти и славе. А я хочу — только небольшой радости для себя. И поэтому вы все — шуты, а я один — соловей!»

Перед вечером Арсен вышел из пивной, что на Армянской, поплелся по переулкам и забрел в еврейский квартал. Прохожие уступали ему дорогу, и он, независимый, шел с гордо поднятой головой и громко напевал уличную песенку, которую услышал тут, во Львове:

Dziwna rzecz, zė pan ekzaktor stal sie faraonem,
On z żydami wojnę toczy, krzywdę czyniąc onym...[1]

Пел и думал: если бы завтра не надо было идти играть в патрицианскую баню, то он своей песенкой и тут, на Бляхарской, заработал бы какой-нибудь грош у скупых людей в ермолках и в кафтанах с желтой нашивкой на груди. Но играть должен — ведь постоянный заработок в бане сделал его независимым, свободным, однако песенка сама вырывалась из его уст с веселым присвистом:

Nie grosz od trzech, ale trzy bierze od czwartego:
Grosz do skarbu oddaje, a trzy do swojego![2]

Навстречу Арсену шла женщина в широком плаще и круглой шляпке, и когда он посторонился, намереваясь обойти ее, она приблизилась к нему, остановилась, обдала сивушным запахом и бесстыдно посмотрела ему в глаза.

— Добрый вечер, пан музыкант...

Арсен отстранил ее рукой, пробормотав:

— Хотя бы глаза опустила, беспутная!

— Ty patrz na ziemię, bo jesteś z gliny, a ja na ciebie, bo jestem z twego žebra[3]. Хорошо поешь. Может, пойдешь в нашу синагогу кантором? А-а, ты русин... А я жидовка Ханка. И оба мы влачимся по улицам. Пойдем, развей мое одиночество. Я в долгу не останусь, я умею... Меня любят и армяне, и поляки, а русина у меня еще не было.

---

[1] Пан экзактор фараоном стал не без причины, он с евреями воюет, причиняет зло им каждодневно *(польск.)*.

[2] Не грош из трех, а три с четвертого имеет. Грош в казну отдает, три себе прячет *(польск.)*.

[3] Ты смотри на землю, ведь ты из глины, а я на тебя, ибо создана из твоего ребра *(польск.)*.

— А ты... — Арсен пытался улыбнуться. — Ты это тоже делаешь с благословения короля?

— Что, что? А-а, да, и каждый день молюсь о его здоровье, ибо другой будет хуже... No chodź, przecież nie jesteś sodomitą [1].

Проститутка взяла Арсена за руку, и он послушно последовал за нею, ведь был свободен и имел право немного развлечься. Сегодня было вино и будет женщина, завтра — какое-то новое удовольствие; женщина свернула в ворота, которые привели в узкий, окруженный высокой стеной двор, потом они поднялись по высоким скрипящим ступенькам наверх. От прикосновения теплой женской руки у Арсена проснулось томительное желание, оно неожиданно овладело им, сладкая дрожь пронзила все тело, когда женщина открывала дверь; в комнате он уже ничего не видел — только ее шею, плечи, грудь, манящее прогнутое ложе; Арсен торопливо раздевал ее, она прошептала: «Ты такой голодный, а деньги у тебя есть?» Он вынул из кармана все, что у него осталось, дал ей, она ахнула: «Да когда я это отработаю тебе?», Арсен впился в ее губы и потащил на кровать.

Страсть так же внезапно ушла, как и пришла: противное ощущение опустошенности отрезвило Арсена, он испуганно посмотрел на женщину, минуту тому назад такую привлекательную и желанную, теперь — измученную, истасканную, со следами былой красоты. Арсен поднялся с грязной постели и поспешно стал одеваться. «Вот это и все... И сегодня, и завтра, и всегда — маленькие радости, которые должны принести мне свободу, смысл и утешение в судный час...» Он был зол на себя, ибо знал, что у людей, от которых он бежит, есть что-то иное, более высокое, лучшее, они борются за него, а он не умеет, а поэтому насмехается над ними. Сердился на женщину — сильную, здоровую, которая тоже, как и он, убегает от жизни и считает себя свободной. Женщина следила за ним пьяными глазами и молчала, возможно, и рада была, что ей не придется отрабатывать все деньги, и они спокойно бы разошлись, если бы Арсен не бросил:

— Крепкая, как кобылица, а...

— А ты! — прошипела она, поднявшись на локти. — Ты не продаешься? Я же не раз видела тебя с гуслями

[1] Ну, пойдем, ведь ты не содомит *(польск.)*.

во дворах, в корчмах. Посмотри на себя, какой ты сильный, но не долбишь камень, не куешь, не шьешь, не копаешь, не воюешь! Я тело свое продаю, ты же — душу... А мою душу все вы, бугаи голодные, не трогайте, дудки! Да, может, я... Да, может, я за эти деньги сына содержу в Ягеллонском университете. А ты, чего ты добился своим унижением: вина и курв!

— Я рос без матери... беспризорный... — тихо промолвил Арсен и до боли сжал веки.

Иллюзия свободы, которую он придумал ныне для себя, вмиг исчезла, все промелькнуло перед его глазами, словно перед смертью, — докторские тоги, аудитории, диспуты, и нищенский хлеб жака, и лицо девушки — единственное, которое ему запомнилось из всех женских лиц, всплыло перед ним и исчезло, и в этот момент он впервые почувствовал, как жестоко, точно тисками безысходности, сдавливает его мир, он радовался, что вырвался из неволи, но стал еще больше задавленным и теперь, растерянный, брошенный на землю, ползет по ней, не в силах вдохнуть воздух, пыль набивается в глаза, в рот, в уши, и он погибает от нее, точно слизняк.

Встряхнулся, хмель снова затуманил голову, а где-то совсем близко существовал мир, который напрягался, чтобы сбросить с себя удушающие вериги покорности, но для Арсена он был недостижим. Хмельная патока густела, твердела в голове, он застонал: «Я же не червь...» — и повалился на пол.

...Лежал и нежился на высоких подушках, на белых простынях, под пуховым одеялом, его ладонь щекотали черные, пышные, мягкие волосы, он гладил их, прижимал к подушке, чтобы взглянуть на лицо, брови, глаза; Арсен чувствовал рядом теплоту девичьего тела, ему хотелось отбросить одеяло и посмотреть, прижаться пылающим челом к нему, но руки были немощны, расслаблены; добрый и счастливый, он мог лишь шепотом произнести:

— Орыся...

Ему никто не ответил, и он, собрав все силы, попытался приподнять голову. Трудно было это сделать, но наконец он оторвался от подушки и в синеватом утреннем свете на засаленном матраце увидел изнуренное, с темными подковами под глазами лицо спящей женщины.

Арсен повалился лицом на рядно и беззвучно заплакал.

Известие о том, что Свидригайла провозгласили в Вильно великим князем Литво-Руси, а перепуганный король, уступив брату Подолье, объявил во Львове привилегии русинской шляхте, дошли до Олеско быстрее, чем успел вернуться туда Осташко.

Нелегкой была дорога. Каллиграф прибился пешком в Олесский замок только накануне рождества. Торговые пути, по которым еще не так давно передвигались купеческие караваны и рыдваны бояр, сразу опустели, вооруженные косами и рогатинами мужицкие ватаги бродили по всему краю. На Холмщине сгорело Ратное, в Бельской земле — Буск; польские шляхтичи покидали свои поместья и уезжали на запад; отряды опришек множились, росли и, не объединенные друг с другом, воевали поодиночке от имени Свидригайла за Галицко-Волынскую Русь. Сам же Свидригайло ждал в Вильно мирной делегации от короля, которая должна была засвидетельствовать, что Подолье с замками в Каменце, Бакоте и Скале переданы Федору Острожскому. Ничего больше великий князь не требовал от Ягайла, а на Литовской Руси разгоралось пламя народной войны.

Стражник не узнал Осташка. В серой сермяге, которую раздобыл у крестьян возле Бреста, и в высокой овчинной шапке Каллиграф был похож на гнома; долго должен был объяснять, кто он такой, из сторожевого помещения вышли ратники, и только Никита-гончар, несший службу, хорошо присмотревшись к пришельцу, воскликнул:

— Да это же Каллиграф, боже милостивый! Иди, иди, Осташко, к боярину, он уже, наверно, заупокойную по тебе отслужил... Пан Ивашко как раз сейчас созвал совет.

В замковых хоромах олесского старосты сидели за столом семеро землянинов из семи волостей Олесской земли. Ждали судью Давидовича, который ни разу не соизволил прийти на совет. Сегодня Ивашко послал за ним кастеляна и четырех ратников. Не захочет идти — привести насильно: замок и город готовы к обороне, нужно готовить гарнизоны в селах.

Осташко остановился у порога, снял шапку и, обессиленный, оперся о косяк двери.

— Челом, боярин... — тихо произнес.

— Живой! — воскликнул Ивашко, вскочив из-за стола.

Все присутствующие повернули головы к двери; боярин, отодвинув ногой скамью, вышел навстречу Каллиграфу.

— Ну и живучий ты, Осташко! — промолвил Костас Жмудский из Подлесья, покачивая головой. — Как же тебя, такого тщедушного, не замели снежные заносы, не съели волки, опришки не схватили...

— Добрый сердцем есмь, — слабо улыбнувшись, ответил Осташко. Оттолкнулся рукой от дверного косяка, тяжело опустился на боковую скамью. Боярин подал ему кубок с вином, Каллиграф с жадностью выпил целительного напитка. — Я был в руках у опришков. Встречался с ними возле Каменецкого столба, что за Брестом.

— И что? — в один голос спросили сидевшие за столом.

— Это суть воины, а не опришки. Воины без вожака... Я спросил их, за что воюют, они сначала заставили меня перекреститься и внимательно присматривались, как я складываю пальцы для крестного знамения, а убедившись, что я православный, ответили: «За Русь. Сказали мы общине, чтобы поселяне не шли на дворовые работы и перестали подчиняться пану Яшовскому, ибо князь Свидригайло выступил против католиков, надевших на нас ярмо».

— За Русь, за Русь! — крикнул Януш Подгорецкий. — Так и смотри — наплодится теперь столько этих ватаг, что и сам спокойно не уснешь. Дай им волю — так и против своих пойдут.

— Да, пойдут, — ответил Осташко. — Против лихих пойдут, а пострадают и невинные — так будет без единоначалия. Дайте им вождя. Почему же наши бояре боятся их больше, чем чужих? Сумейте вы стать добросердечными хотя бы в этот тревожный час...

— Он мудро говорит, — промолвил Костас Жмудский. — А разве великий князь...

— Что сказал Свидригайло? — прервал спор Ивашко.

— Боярин, — поднялся со скамьи Осташко, как-то виновато посмотрев на Костаса. — Христом-богом молю, не полагайся всей душой на князя. На двух скрипках играет этот музыкант, присягаю, бросит он нас посреди танца. Роднится он с Борисом Тверским в угоду русинам, а с Руссдорфом заключает договор. Разве у него болит голова за нас — он стремится получить коро-

ну, а не свободу дать русинам. Если ему будет выгодно, он завтра подпишет договор со своим братом Ягайлом супротив нас.

— Что ты плетешь? — поднялся Костас. — Как смеешь...

— Всем известна твоя честность, Костас, и я понимаю, тебе горько слушать эти слова о твоем знаменитом родственнике, — развел руками Осташко. — Дай бог, чтобы я ошибся...

Ивашко мрачно посмотрел на Каллиграфа:

— Не советуешь ли ты мне — от тебя и этого можно ожидать, — чтобы я себя провозгласил великим князем?

— А ты думаешь, что вождь явится с печатью на челе? Время создает вождей... Я не говорю — будь ты или другой. Но край наш ропщет, не было еще такого — весь народ поднимается. А это — сила. С такой силой выходили когда-то галицко-волынские князья даже против татар воевать.

— То были другие времена... Что ныне может сделать мужик, выступающий с рогатиной против королевского рыцаря, приросшего к седлу? — вздохнул Демко из Ожидова.

— Это оттого, что вы перестали быть рыцарями — слишком сытно вы едите и привыкли спать в теплой постели. Еще не начали воевать, а уже заранее знаете: не устоим. Да, все это вам ведьма, ведьма подстроила!..

— Как ведьма? — заговорили землянины, суеверный испуг отразился на их лицах.

— Хотите, поведаю — какая... Жил в одном замке рыцарь, славен давними битвами. Давними, но не нынешними. Случилось ли что-то с ним, то ли сглазили его: заметили воины, как изо дня в день угасает его доблесть. То испуганный, потный от страха просыпался во сне, то вздрагивал от крика ночного филина... Вместо того чтобы вести ратников в бой, посылал послов с дарами, ночью запирался в своих покоях на семь запоров, днем принимал только самых преданных ему людей — боялся даже своих. Потом его стал пугать шорох шашеля. Рыцарь сам не знал, что с ним произошло, стал ненавидеть себя за трусость, но ничего не мог сделать с собой. Однажды утром влетела к нему в окно быстрокрылая ласточка, и рыцарь умер от испуга... Никто не мог разгадать причину позорной смерти когда-то отважного богатыря. Но вот охрана поймала ведьму, украдкой пробравшуюся

в замок. А ведьму легко узнать, посмотрев на нее через отверстие в бревне, в котором выпал сучок. Взяли ее на дыбу, колесовали, жгли железом, чтобы рассказала, как она околдовала рыцаря. И ведьма призналась: когда он спал, она вытащила из его груди рыцарское сердце и вставила вместо него заячье.

Ивашко угрюмо глядел в землю, злость, смешанная со стыдом, омрачила его лицо. Некоторые землянины насмешливо улыбались.

— Вижу, не по душе пришлась вам сказка? — сощурил глаза Осташко. — Только это не сказка. Более ста лет тому назад католическая ведьма начала исподволь подкрадываться к нашим сердцам: страхом, лестью, дыбами и привилегиями. Католический мор хочет сначала погубить наши души, чтобы потом легче было одолеть нас — выпотрошенных, словно пустые тыквы. Давайте отбросим страх и откажемся от сладкой жизни! Народ ждет... Не обученный? Научите. Разрозненный? Соберите воедино. Да неужто у потомков Даниила Галицкого в груди и в самом деле бьются заячьи сердца? Пойдите взгляните: вон там, за холмами, чернеют руины древнего Плиснеска — там ваши предки стояли насмерть и все погибли, но не сдались татарам. Почему боитесь вы? Посмотрите, что делают гуситы. Разве Жижка или Прокопий родились с булавой в руках? Или, может быть, для того чтобы появился среди нас новый вождь и сделал героев из пастухов, нужен свой Ян Гус? — Осташко закашлялся, потянулся за кубком с вином. Рука дрожала, он тихо продолжал: — Простите мне... Кому повем печаль мою...

В хоромах тишина. Слова, лившиеся из уст немощного Осташка, жгли присутствующих, точно расплавленная лава; землянины, которые минуту тому назад насмешливо посматривали на невзрачного Каллиграфа, опустили долу глаза, потому что стыд добирался и до их душ; Ивашко стоял посреди комнаты с опущенными руками, его могучая фигура согнулась под тяжестью Каллиграфовых слов, скуластое лицо вмиг покрылось багрянцем — Осташко молча ждал наказания за свои дерзкие слова.

— Нет! — воскликнул Ивашко. — Нет! Еще не успела ведьма прокрасться в наш замок. А если кто почувствовал, что она навещала его ночью, — не держу. Только прочь тогда с земли Олесской! Панове, расходи-

тесь по своим поместьям. И каждое село превратить в крепость. Каждого человека — в крепость. Не щадите ни единого шляхтича, ни единого католика...

— Что ты задумал, опомнись! — бросился к нему Демко из Ожидова.

— Войну! Предаст Свидригайло — позовем на помощь князей северных. Мы все одного рода, одного колена — новгородцы, и тверцы, и русины — люди галицкие. А сами пока что будем стоять стальной цепью от Каменец-Подольского через Олеско — до Луцка. С Федором Острожским, с Михаилом Юршей. Поднимайте народ за православную Русь!

Преслужич остановил взгляд на Костасе Жмудском, ждал, что он, литовец, ответит на его слова.

— Я с вами — что бы ни случилось, — сказал Костас.

В хоромы вошел кастелян.

— Панове, Давидовича в Олеско нет. Вчера его видели поздно вечером: уходил с отрядом ратников за Браму.

— Проклятие! — ударил кулаком по столу Ивашко. — Как он смел... Пошлите гонцов в Теребовлю!

На рассвете Орысю разбудил конский топот на подворье. Вскочила с постели, прижалась лицом к стеклу: огороженный высоким частоколом двор был забит всадниками. Вооруженные всадники спешивались, привязывали оседланных коней к коновязи возле конюшни.

— Отец! — тихо вскрикнула. — Приехал навестить... Родной, любимый. Татусь... — шепотом говорила и в потемках быстро одевалась. — Упаду на колени — увези меня отсюда... Не буду я тут...

Робко посмотрела на дверь, которая вела в комнату свекрови, — очевидно, не спит старуха, недремлющее око, следит за невесткой; повернула голову к другой двери — напротив, за которой живет, отдельно, розовощекий Адам. Он тоже уже не спит — с вечера подсчитывает деньги, а на рассвете следит с галереи, когда слуги выходят на работу.

Слава богу — не приходит больше к ней. Боялась первой ночи, хотя знала, что не избежать ее; отвращение передернуло всю ее, когда Адам пришел и лег рядом; напряженно и враждебно ждала, однако он не прикос-

нулся к ней. Ждет ласки, подумала, а дать ее не могла. На вторую ночь он грубо прижал Орысю к себе, обнимал, мял, а она не могла понять, почему все еще остается нетронутой. В следующую ночь тоже не разделил с ней ложе, он бесился от стыда, и тогда поняла Орыся, что останется при нем девушкой навсегда. Легче стало ей от этой догадки; с высокомерием и пренебрежением, на какие только способны здоровые женщины, оттолкнула от себя немощного валаха, и тогда пришло к ней осознание своей свободы: даже церковь не в силах узаконить не освещенный близостью брак.

Однако свободы у нее не было. Отец не приезжал, а за ней все следили. Ее ни на шаг не выпускали за ворота двора, стоявшего на окраине Теребовли: дворовый слуга неподвижно стоял возле запертых ворот и смотрел мимо ее лица, словно истукан, был глух ко всем требованиям, угрозам, просьбам с ее стороны. Свекровь сказала ей: «Негоже молодице одной болтаться по дорогам, чего тебе тут не хватает?» — и Орыся поняла, что ее заперли в клетку, из которой ей самой не выбраться никогда.

Татусь приехал!

А по ночам снился ей Арсен. Не тот, которого она целовала на кладбище, порывистый, влюбленный, и не тот — опечаленный, с опущенными плечами, которого в последний раз видела на подворье, когда он возвращал отцу дукат, а беззаботный скоморох на луцкой ярмарке, который поет песню про Орысю, обжигает любовью и навеки исчезает среди людей, как игла в сене. И были эти сны для Орыси единственным утешением в грязном и мерзком мире.

Отец приехал. Будет умолять... Будет слугой, прислугой, белой челядинкой — чтобы только уйти из этого удушливого двора, где пахнет плесенью, смердящим потом скопца, где следят за нею злые глаза свекрови, завистливые — служанок, похотливые — дворовых парубков; скорее бы из этой обнесенной частоколом ямы, где даже сны улетают от скрипа стула, на котором сидит чудовище, считающее по ночам деньги.

Предрассветные сумерки рассеялись, во двор въезжали и въезжали всадники, а отца среди них не было. Орыся отпрянула от окна, увидев возле галереи толстого мужчину в шубе, который сполз с седла и посеменил к парадной двери.

Адам, уже одетый, стоял на галерее возле окошка, откуда был виден весь двор, откуда он каждое утро наблюдал, кто из слуг проспал, чтобы потом наказать — голодом или плетьми.

Растерялся, увидев вооруженных людей, которые без его разрешения въезжали во двор; робко открыл дверь и белесыми глазами поглядывал на вспотевшего отца.

Давидович, сопя, вошел в комнату, толкая впереди себя перепуганного Адама, спросил, показывая на дверь:

— Спит?

— Какая беда пригнала вас, отец?

— Спрашиваю — спит?

— Да, наверное... Еще ночь...

— А ты продолжаешь — отдельно?

— Зачем спрашивать, если знали, — потупил глаза Адам.

— Ратника пришлю тебе в помощь. Вон какие здоровые бугаи!

— Я же говорил вам, что мне не нужна жена...

— А земли побольше хотелось? — Давидович пронизал сына острыми глазками. — Конечно, хотелось. А как же иначе я сумел бы их вырвать у Ивашка? Ну, ничего, хозяйничай, это ты умеешь, а там добрый бог пошлет тебе и мужскую силу. Я натолку тебе в ступе заячьей стремительности, орлиного полета, медвежьего рева, все это смешаю с утренним дождем... — бормотал, издеваясь над самим собой, не глядя на немощного сына, и раздевался. — Ведь нужен наследник, — швырнул шапку на кровать. — А не поможет, придется выпустить лань за ворота, только на длинной привязи... Ну чего глаза вытаращил? — расстегивал Давидович шубу, дул на озябшие пальцы. — Чей-нибудь бычок попрыгает, а теленочек будет наш... Да-а... Кому же это все, когда помрем, — голытьбе? А какие еще богатства потекут к нам! — потер руки. — Вот слушай, Адам. Жить будем все вместе тут, на Подольской земле. Есть хорошая новость: Свидригайло освободил из заключения короля только тогда, когда тот послал гонца к каменецкому старосте Бучацкому с приказом сдать крепость Федору Острожскому. Но Олесницкий перехитрил князя: тайно всучил гонцу свечу, а в ней записку — схватить Федора. Бог помог. Мы уже под скипетром короля. А он привилегии, привилегии объявил! Пускай теперь ждет беды на свою голову крамольный Ивашко Рогатинский!

Адам не сводил глаз с отца, пытаясь понять то, что он говорил: Давидович снял шубу, повернулся к стене, чтобы повесить ее на вешалку, и ахнул, увидев в проеме открытой двери белую фигуру.

— Предатели! — Орыся бросилась с кулаками на старого Давидовича. — Предатели!!!

Давидович ударил Орысю кулаком по голове, и она упала на пол.

— Услышала, стерва... Нет, нельзя теперь выпускать лань со двора даже на привязи. Позови мать, пусть обольет ее водой...

...В тот же день перед вечером на реке Гнезне возле Теребовли ратники Давидовича убили трех гонцов Ивашка Рогатинского.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

НЕ УБИВАЙ НЕВИННОГО!

Ни зловещий рокот толпы, высыпавшей на площадь у Дмитриевской церкви, ни апокалипсические выкрики Мартына Скрибки возле колокольни, ни молчащие жерла пушек и гаковниц на валах — этого страшного сатанинского оружия, звука которого в городе никто не слышал, не могли нарушить благодушного спокойствия летнего воскресного дня в Олеско.

Теплынь и тишина, и высокие, чуть слышно шелестящие тополя, и старые пихты с молодыми бледно-зелеными кистями, и беспрерывное кваканье лягушек над пересохшей Либерцией, и соловьиные трели в темных садах возмещали нарушенное равновесие между тревогой и покоем в мире.

И думал потом Осташко: не было бы сегодня такой удивительной гармоничности в природе — кто знает, не перевесила бы чаша гнева и печали, и вместо рассудительной сдержанности взяла бы верх безрассудная решительность, и начало правого дела навеки было бы обесславлено кровавым злодеянием.

Возглас скорняка Галайды помог людям услышать эту тишину, и воскресла доброта в их сердцах, возглас остановил поднятую руку над головами невинных — так в минуту опасности добрый возница сильным рывком

вожжей останавливает взбешенных лошадей, которые под натиском тяжелой телеги несутся в пропасть.

Галайда пробрался сквозь толпу на паперть и с высокого помоста громко крикнул обезумевшим мещанам, которые с топорами окружили перепуганных до смерти мужчин, женщин, детей:

— Остановитесь! Не проливайте крови отроков невинных! Она падет на ваши головы!

И вдруг воцарилась гробовая тишина. Только повисший комком высоко в небе жаворонок звонким щебетаньем благословлял красоту земли и ее тишину; опьяневшие от ярости люди, намеревавшиеся обагрить эту красоту кровью, подняли головы и замерли на месте. И руки опустились...

Зажатый, смятый толпой Осташко посмотрел вверх и перекрестился: миг безумного бешенства прошел.

...Рано утром неизвестно кто принес в Олеско ужасную весть:

— Ляхи сожгли Луцк! Вырезали всех до единого человека.

Страшная весть выгнала жителей города из домов. Пока она дошла до Замковой горы и до двора Ивашка, мещане, вооружившись кто чем мог, уже бежали на Рыночную площадь — встревоженные и смятенные.

А Мартын Скрибка, разорвав на себе сорочку, закричал:

— Опустеет земля, рухнут скалы и города, высохнут родники, жернова перестанут молоть зерно, и море мертвым станет, и листья с деревьев осыплются, и бесплодными станут плодовитые, и бог приидет со своего престола страшный суд творить...

Страшные слова Иоанна Богослова из его последней книги Нового завета, что не раз выкрикивали юродивые и нищие во время отпущения грехов и престольных праздников, не пугали прежде даже детей, теперь приобретали определенный смысл — великий русский город уничтожен, и Люцифер с крестом идет с запада опустошать православную землю, льется красная кровь невинных, сходят с ума женщины и дети, и произойдет страшный адский суд тут — на Олесской земле; Мартын не переставал глаголить, нагнетая страх и гнев; рыдали женщины, и кто-то воскликнул:

— Руби ляхов!

Толпа всколыхнулась, вмиг разбилась на группы и

разбежалась по городу: не прошло и получаса, как на площадь у Дмитриевской церкви согнали со всего Олеско больше двадцати польских семей на расправу.

Боярин Ивашко приказал снарядить отряд ратников для наведения порядка в городе, Каллиграфа послал вперед, чтобы он его именем остановил расправу; Осташка толпа смяла; женщины-польки теряли сознание, падали на колени, мужчины со связанными руками в безумном страхе смотрели на своих соседей, которые вдруг стали судьями их жизней.

Галайда стоял на паперти Дмитриевской церкви, он громко крикнул и увидел, как всколыхнулась толпа, рогатины, топоры, ножи опустились вниз, на обезумевшие от гнева лица людей легла тень смущения и стыда; обреченные приходили в себя и, поникшие от неожиданно пережитого страха, с укоризной смотрели теперь на земляков, которые вчера еще были добрыми соседями, а сегодня хотели лишить их жизни; до их сознания еще не дошло, что невиновны и соседи, что кто-то злой и беспощадный, сам будучи зверем, разбудил в душах этих людей зверя, и наказывать надо виновника всем вместе, — обреченные еще не сознавали этого, а Галайда кричал:

— Не убивай! Разве он виновен в том, что поляк? Разве в Луцке от меча королевских убийц погибли только русины? Пощадят ли они вот этих, когда ворвутся в Олеско? Шляхтичи милуют только шляхтичей. Того, кого бы пощадили, тут уже нет! Где русин Давидович — олесский судья? Его надо было поймать и распять вон на том кресте, мы же разрешили ему улизнуть из города, а завтра встретимся с его прислужниками на олесских валах!

Толпа таяла, полякам развязали руки, и снова стало тихо на площади, только жаворонок щебетал в зените и на могиле хохотал безумный Мартын. Этот смех нарушал благодатную тишину, и она казалась ненадежной, тревожной, зловещей; прогнать бы Мартына прочь, чтобы не нарушал своими выкриками и жутким хохотом покоя, — напрасно: Олеско уже потерял покой.

Земля задрожала от копыт: вниз по Армянской улице скакал отряд всадников, впереди ехал рыцарь в кольчуге и в островерхом шлеме — мещане узнали в нем боярина Ивашка Рогатинского.

— Горожане! — воскликнул он, останавливая коня

перед стеной толпы. — Неумно вы поступаете, ища врага среди своих людей, — нет его уже здесь. Вон — пустая кожа гада, — показал мечом на двор Давидовича, что с противоположного берега моря Галайды был обращен белыми окнами к Дмитриевской церкви. — Это он, мой сват, первым пролил кровь олесчан на Гнезне. Первые мои ратники пали не от рук польских ремесленников, а от меча судьи!

Он умолк, спазмы сдавили ему горло, и люди поняли, что запоздалое раскаяние за дочь, которую выдал замуж за мерзкого сына Давидовича, терзало теперь отцовское сердце, и люди сердечно сочувствовали своему старосте, ибо и у него, как и у всех их, — свое горе. Они окружили его теснее и молча ждали его приказа.

Ивашко пересилил боль, которая внезапно и жгуче сжала сердце. Он только теперь осознал, что не видать ему больше родной дочери, но понимал: сейчас он не отец, а государственный деятель, отвечающий за землю и людей, ему подвластных, и сказал:

— Я разрешаю всем, кому Олеско был или ныне стал чужим, до вечернего звона колокола безнаказанно уйти из города. Те, кто останется — ремесленник он или купец, землевладелец или тяглый мужик, — на валы! Я не забуду ни вашего мужества, ни вашей крови! Не пустим врага в Олеско!

— Не пустим! — загремело на площади.

Шорник Войцех Марцинковский, которому только что развязали руки, взобрался к Галайде на паперть и спокойно произнес:

— Земляки! Не чужая нам земля Олеско, ведь на ней мы родились и выросли. Не таите в сердце зла на русинов. Не тут наши враги...

— Не тут? Не тут?! — выкрикнул Мартын Скрибка. — А где? Где?

Он протиснулся сквозь толпу и, выкрикивая что-то непонятное, пересек улицу и стремглав помчался к усадьбе судьи. Люди смотрели ему вслед: может, бывший надсмотрщик пришел в себя, узнал место, где когда-то кормили его и учили бить подневольных, теперь хочет найти укрытие во дворе Давидовича, боясь разъяренного народа.

— Держите этого мерзавца! — крикнул кто-то из толпы, но Мартын уже успел перескочить через частокол, выбил оконную раму и влез в дом.

Люди побежали к двору Давидовича, остановились возле частокола и увидели пробивавшиеся с чердака клубы дыма. Потом со всех сторон задымилась крыша, огонь лизнул гонты, и спустя некоторое время весь дом был охвачен пламенем.

Сумасшедший Мартын пробил кровлю возле дымовой трубы, выбрался наверх и закричал визгливым голосом:

— Он меня убил! Он меня убил!

А потом провалился в пламя.

Никто не спасал ни дома, ни Мартына...

К обеду площадь возле Дмитриевской церкви опустела. Летняя тишина стала гнетуще напряженной, тяжелой — никто ведь, даже боярин Ивашко, не ведал, что случилось там, над Стырью. В Олеско ждали гонцов от Юрши или же от Свидригайла. Но все знали одно: началась война.

Потом Осташко Каллиграф запишет в свою летопись такие слова:

«После рождества 1431 года били челом Свидригайлу, суля помощь, посадник Новгорода боярин Юрий Онцифирович прислал бересту ему, а также посадник Пскова Аким посла прислал. Убоявшись совокупного с украинским посполитством православного рушения, а мужичьего звиценжства[1], Свидригайло отправил гонца к Руссдорфу, чтобы магистр захватил польские города, иначе сам вместе с Ягайлом выступит против него. И Руссдорф выслал двадцать тысяч войск на Куявы, Добринскую землю и на Познань. И тевтонцы сожгли двадцать и четыре польских города, а сел больше тысячи, и платил великий магистр крыжакам-поджигателям за каждый город три гривны, а за село гривну. Ягайло же направил своего секретаря к Свидригайлу с требованием, чтобы он подчинился королю, но великий князь в ответ, рассвирепев, ударил посла по лицу и прогнал его.

В первый же месяц лета король Ягайло, остановившись с огромным войском в Городле над Бугом, объявил войну Свидригайлу и двинулся на Владимир, сжег его и стал лагерем подле села Забороло в миле от Луцка. На противоположной стороне Стыри стояли шесть тысяч

[1] Звиценжство — победа (*польск.*).

литовцев, русинов и татар. Свидригайло разобрал мост, в бой не вступал и направил к Михаилу Юрше, укрепившемуся в Луцком замке, гонца с письмом:

«До меня дошли слухи, что ты, пся крев, взял мужиков для обороны и что Федор Острожский, освобожденный из Каменецкого замка боярином Бабой, с мужицким ополчением пошел к Подолии, а такожде имею слух из Теребовли, что Ивашко Рогатинский велел мужикам взять в руки оружие. Я же, прирожденный князь, с панами панством воюю, а не хлопством, и просил у вас боярских войск, а не ватагу мужиков и опришков. Что скажет мне о таком сброде моя пани-рада и вся католическая Европа?»

Свидригайло стоял три дня, а когда польское войско, понеся большие потери, перешло через Стырь, великий князь оставил четыре тысячи войск Юрше, а с двумя тысячами удрал в Степань, что над Горынью, и оттуда вел трактаты-переговоры с князем Земовитом, который сжег Луцк, а замок держал в осаде.

Король же вторую колонну отправил на Подолье, а третью, в шесть тысяч войск, под началом князей Казимира Мазовецкого и Менжика из Дибровы, — через Белз на Олеско».

С запада дул ветер, гнал по небу кучевые облака, и, хотя они были обычными предвестниками губительных для посевов ливней в жатву, олесские поселенцы с тревогой думали, что это дым, ибо чувствовали запах гари, а вечерние вспышки на небе, приближавшиеся без грома, с каждой ночью все ярче светились на горизонте, переливались пламенем, затем угасали в темноте и снова поднимались багряным заревом все выше и выше.

К Ивашку Преслужичу наконец прискакал гонец от Михаила Юрши из Луцка.

— Готовьтесь к битве!

«Готовьтесь, ведь уже покраснела Солокия, Белз сгорел и обагрился кровью, и Рата, и Буг — красные; Казимир Мазовецкий и Менжик из Дибровы не щадят ни старого, ни малого, великое половодье хлынуло, но выстоять должны — Луцк держится! Свидригайло ведет переговоры с королевскими послами в Степани, на два года хочет заключить мир с Ягайлом, но Луцкий замок ляхи не возьмут, пускай же и Олеско держится. Ивашко, надо послать послов в Новгород и в Москву, и не Литво-Русь, а Галицко-Волынскую старую державу поднимем

из руин и обопремся окраинными землями о могучую православную Русь и так стоять будем, Иван Преслужич, грозной силой, только б устоять ныне!»

Ивашко Рогатинский спокойно выслушал гонца; твердым и непоколебимым был староста Олесской земли во все эти тревожные дни ожидания, сам обходил валы, осматривал каждую башню, каждый камень у бойниц; олесчане свозили смолу, камни для метательниц, готовили и порох, отливали ядра для пушек, оружейники в арсенале ковали боевые цепи, бычи и булавы, плели кольчуги, подготавливали пластинчатые панцири для ратников и наголовники для коней; защиту городских валов Ивашко поручил скорняку Галайде.

Однажды только помрачнел боярин Преслужич, когда кастелян, смущаясь, доложил ему о сообщении рогатинских перебежчиков, что львовский староста Петр Одровонж отдал шляхтичу Николаю Параве из Люблина его родовое имение на Рогатинщине с селами Потоки, Рудое, Чашники и Насташино. В голове боярина промелькнула гнетущая и тревожная мысль, что скоро у него останется столько земли, сколько есть ее под ногами по эту сторону валов; Ивашко становился с каждым днем все более решительным, яростным. Что собой представляет боярин без земли? И он приказал раздать оружие ремесленникам и крестьянам, которые должны воевать за землю, никогда не принадлежавшую им.

...Первым из землянинов — владельцев поместий — убежал со своей хоругвью в Олеско Демко из Ожидова.

— Боярин! Нас горсть, а там — тьма!

— Трус ты! — Ивашко замахнулся на беглеца шестопером. — На кого народ оставляешь?

Со стороны Ожидова доносился шум; по дороге, по тропинкам, по полю вереницей с котомками за плечами тянулись женщины и дети в Олеско. Боярин принимал беженцев и с тревогой думал, стоит ли впускать в город всех безоружных из своих владений, ибо с каждым новым человеком уменьшался запас продовольствия. На сегодня защитники города могут прожить в осаде полгода, а замок — год, завтра же, при таком скоплении людей, будет съедено все за один день.

Ивашко подозвал к себе Демка из Ожидова и уже спокойно, но решительно приказал:

— Скачи со своей хоругвью в Подлесье к Костасу Жмудскому, у него львиное сердце, это тебе вчера но-

чью ведьма вставила заячье, и передай ему мой приказ, что назначаю его старшим народного ополчения. Пускай собирает хоругви из Пониковец, Суходола, Подгорок, присоединяет к своим войскам опришковские ватаги и заходит со стороны Вороняков в тыл полякам. Мне ежедневно докладывать о положении дел через гонца... Погляди-ка на горизонт, скоро пойдут дожди. Может, и хорошо, что ты так храбро убежал из Ожидова, пусть там Менжик с Казимиром разбивают лагерь над высохшей Либерцией. Теперь же прочь с моих глаз.

А войска шли и шли... Расползалось стальное, грозное войско, которого до сих пор еще никто не остановил в кровавом походе, да и некому было преградить им путь, ведь Свидригайло сбежал, а Юрша заперся в своем замке, — расползалось грозное войско по полям и перелескам от западных отрогов Вороняков через Ожидов, Юшковичи, Куты — вплоть до Белой горы на востоке.

Черная равнина возле Либерции, на которой во время дождей образовалось множество узких рвов, похожих на ходы, проделанные шашелем в старом дереве, к вечеру запестрела разноцветными знаменами с гербами, белыми шатрами и палатками. Ярко одетые рыцари на конях с заплетенными в косички гривами свободно разъезжали по полю, на котором местами росла ольха; те, что понаглее, подступали к самым валам и, задирая головы, насмешливо посматривали на замок, устремившийся многогранной башней в небо и выглядевший теперь — среди моря чужого войска — игрушкой, которая вот-вот развалится, как только грянет битва.

Казимир Мазовецкий и Менжик из Дибровы не спешили. Городом они овладеют за день, замком за два, надо только хорошо подготовиться. Князья разместились в зеленом шатре на холме возле Кутов, на шпиле их шатра развевался флаг с остроклювым орлом в короне, а воины в это время мастерили туры для осады, которые безнаказанно будут маневрировать по равнине, останавливаясь в самых удобных местах. Эти навесы на колесах покрывали воловьими шкурами, которые не пробивали ядра, на помостах закрепляли пушки, подкатывали к валам тараны.

А Олеско будто вымер. За два дня осады ни город, ни замок не подавали никаких признаков жизни.

Казимир приказал поджечь опустевшие Ожидов, Юшковичи и Куты. Весь день над полем стелился черный

дым, но и теперь Олеско молчал, как мертвый, и не мог знать мазовецкий князь, что, глядя на тот пожар, рыдал за валом поляк Войцех Марцинковский, старый шорник, работавший всю жизнь, чтобы построить в Кутах хороший дом для своих детей и внуков. Он смотрел из-за бойницы, как горел белый из нового теса дом на окраине села, и проклинал короля, и род его, и потомство.

Казимир выслал к воротам у арсенала лазутчиков, чтобы узнали, почему так тихо в городе, и те вернулись удивленные: подошли вплотную к железным воротам, но никто их не остановил, кричали — тоже никто не отозвался.

Польские воины жгли костры, варили мясо в котлах, а в каплице Олесского замка ежедневно отправлял богослужение отец Серапион из Плиснеского монастыря и ничего больше не просил у бога — только дождей.

Дождь все-таки пошел на четвертый день осады, в полночь, накануне штурма. Воздух, насыщенный дымом, будто не выдержал его тяжести, начался мелкий дождь с туманом, превратившийся в ливень, косыми струями поливал он землю, и не видно было ему конца — начались затяжные летние дожди, которые в мирное время проклинали олесчане.

Ивашко пал на колени перед образом Нерукотворного Спаса и горячо молился.

К утру Либерция зловеще набухла черной, торфянистого цвета водой; стало топким недавно твердое, как сталь, поле, и на нем застряли по оси колеса осадных башен. Королевские вояки впрягались вместе с лошадьми и подтягивали их к стенам, где белела опока, похожая на известняк, и тут туры застревали намертво в вязком, словно смола, белом месиве.

А дождь все лил и лил. В лагере заиграли трубачи — сигнал к наступлению. Всадники тронулись. Но кони их вязли в болоте по брюхо. Менжик и Казимир приказали отступить за сожженные Куты; воины свертывали шатры и брели по бескрайней топи, останавливаясь кучками возле кустов и деревьев, а в это время на башне Олесского замка взвился русский стяг — золотой лев на белом полотнище.

Ночью, как только начался дождь, гонец Ивашка помчался в Подлесье; теперь Костас Жмудский своим конным войском ударил из-за Ожидова по противнику. Польские жолнеры вступили в бой, но были вмиг отбро-

шены снова в болото, и тогда с валов загремели гаковницы, полетели тучи стрел; в рядах королевских войск смятение — рыцари падали, увязая в трясине. Крики и стоны раздавались по полю, превратившемуся в сплошное черное озеро — с островками кустов, возле которых скучивались вояки.

Ивашко своей конницы не выводил — Костас Жмудский справлялся в тылу сам. Боярин, стоя на валу, наблюдал за ходом сражения, и когда увидел, что много вражеских воинов все-таки выбралось из болота и подошло к городским валам, готовясь к штурму, взмахнул мечом. Из ворот у арсенала выскочили вооруженные боевыми секирами, молотами, цепями без кольчуг горожане; легкие, они поскакали по кочкам, поваленным деревьям и по одному уничтожали закованных в латы рыцарей. Впереди размахивал ломом скорняк Галайда, размашисто орудовал им и хрипло кричал:

— Чтобы не убивал невинного... Чтобы не убивал невинного!

И покраснело от крови топкое поле.

Осташко стоял на валу рядом с боярином, глядел на первую победную битву, но знал: это только начало. Он слышал крики своего друга Галайды и радовался тому, что руки олесчан не были обагрены невинной кровью, что благородно началась их война, — допустит ли судьба, чтобы проиграли в битве с захватчиками и убийцами честные воины, хозяева своей земли?

Поляки выбирались из болот и выходили к предместью за Брамой. Тут по ним ударили конные воины Ивашка, и в этой последней стычке упал, тяжело раненный, гончар Никита.

Вскоре на княжеских шатрах опустились знамена с орлами, а на их месте поднялись белые...

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

ГОЛЫЙ КОРОЛЬ

В опочивальне патрицианской бани пахло вином и апельсинами, временами в дверь из коридора тянуло смрадным запахом раскаленных камней, смешанным с паром и потом, — это тогда, когда входил какой-нибудь

пан в цветастом халате, а если уж слишком разопревший — то и совсем голый.

На помосте в углу каждый вечер стояли главный музыкант патрицианской бани гусляр Арсен, дударь Спитко из Клепарова и молдавский скрипач Боцул, оттуда им удобно было наблюдать за полуголыми и голыми вельможами, которые, распарившись, валились в деревянные кресла, исходили потом, отдыхали, высыхали, а потом заказывали музыку, пили вино и рассказывали, перебивая друг друга, фацеции, а иногда вполголоса вели разговоры о делах государственной важности — тогда музыкантам приказывали играть погромче.

В баню в определенные дни приходили смывать с себя грязь магистратские советники, сборщики податей, судьи, инстигаторы [1], писари, адвокаты, старосты предместий; отдельно парились представители исполнительной власти — ночной бургомистр, швейцар ратуши, ключники ворот и калиток, трубачи башен, вассерляйтеры [2], экзакторы, цепаки; по субботам — это был самый ответственный для музыкантов день — долго сидели в опочивальне бургграф, меценат Арсена, и два брата — верховные повелители светской и духовной жизни на львовской земле — русинский староста Петр и львовский архиепископ Ян Одровонж.

— Ха-ха-ха!

— Во время покаянной процессии, — говорит кто-то (это швейцар ратуши. Спитко уже всех их узнает, хоть они и одинаковы все без одежды), — взял муж жену на плечи вместо креста, ну, его и спрашивают, а где же крест: «Да на мне, всю жизнь его ношу». А жена в ответ: «Это правда, только несет его не Иисус, а антихрист».

— Ха-ха-ха!

— Пригласили шута в панские покои, — наступает очередь рассказать фацецию ключника Босяцкой калитки, — а там кругом драгоценности и золото. Шут закашлялся, но сплюнуть некуда, тогда он и харкнул пану в бороду. «Простите, вашмость, — развел руками шут, — но ничего грязнее вашей бороды тут нет».

Никто не смеется: иное дело — мужики, а над боль-

---

[1] Инстигатор — прокурор (*польск.*).

[2] Вассерляйтер — ведающий водопроводом (*нем.*).

шими панами лишь большим панам можно насмехаться, исполнительной службе это непозволительно. Смущенный ключник водит глазами по лицам — ну, хоть бы один оскалил зубы!

— Хи-хи... — не выдержал дударь Спитко.

— Получай грош! — обрадовался ключник.

Да тут не только игрой, но и подсмеиванием можно заработать. Так просто: засмеешься и получишь грош...

Это было еще в начале работы Арсена в бане. Поступок дударя Спитко не понравился главному музыканту, он осуждал его в душе, но не говорил ни слова в осуждение, а хмурый скрипач Боцул делал вид, что ничего не видел; Спитко же такой заработок пришелся по нраву, и он решил удвоить его.

— Крикнул шут пану, шедшему по мосткам над лужей: «Эй, смотри, а то сегодня с тобой случится то, что вчера с одним паном!» — Спитко узнает голос вассерляйтера. — Он сошел с мостков в грязь и спрашивает: «А что случилось вчера с тем паном?» — «То же самое, что сейчас с вами, вельможный пан».

Снова шутка о больших панах — никто не смеется, а Спитко:

— Хи-хи-хи!

— Получай два гроша! — швырнул монету вассерляйтер.

— А я видел такой колокол в Кракове, что если зазвонят в него на рождество, то в Варшаве будет слышно на пасху, — покашливает кто-то, а возбуждаемый заработком Спитко булькает в дуду и смеется во весь голос.

— Лови полгроша!

Спитко шел домой с деньгами. На Рынке он сказал побратимам:

— Пойдемте выпьем пива, я плачу.

— Не пью я на деньги шута, — ответил скрипач Боцул.

— А будешь продолжать хихикать, — процедил сквозь зубы Арсен, — другого дударя возьму.

— Чудаки, так хихикайте и вы — ведь это приносит деньги!

— Прочь, пес паршивый! — гаркнул Арсен.

...Патриции, конечно, дешевых фацеций не рассказывают, но остроумные приключения, истории выдают за собственные. А Спитко хотел было заработать и у патрициев.

— Я сегодня разбирал дело трех злодеев, но каких, если бы вы знали, уважаемые! — потирая руки, начал инстигатор, отдохнув после парилки. — Пришли они в магистрат, чтобы позволили им научить купцов, как следить за сохранностью своих товаров. Им разрешили, а они стали перед торговыми рядами с дубинками и давай бить ими по грязной луже, выкрикивая: quisque suas res attendat! [1] Сбежались купцы к луже, а другие злоумышленники из шайки в это время очистили все рундуки, да только их и видели. Привели ко мне этих троих, а они говорят: «Разве мы виноваты? Ведь мы предупреждали торговых людей, чтобы они следили за своими вещами».

— И вы их, разумеется, оправдали, — вмешался в разговор городской судья. — Надо было бы поставить на ваше место мою пани, вот это был бы прокурор! Говорю я однажды: «Сегодня будем судить парубка за то, что с чужой женой переспал. Жаль мне его — попытаюсь спасти беднягу». — «Спасти? — пренебрежительно посмотрела на меня Магда. — Убить нужно такого недопеку, что возле чужой жены уснул!»

— Ха-ха-ха! — захохотал Спитко.

На смех дударя никто не реагировал, а через минуту староста Зоммерштайн бросил пренебрежительно в его сторону:

— Коль уж решил стать шутом у панов, так научись не только смеяться, но и сказать что-то умное.

— Получил! — прошептал Арсен. — Ты и до шута еще не дорос.

А вообще работать музыкантом в бане было даже интересно.

Симеон Владыка, имевший возможность видеть патрициев лишь в шелковых туниках, когда те были в силу своего должностного положения менторами, меценатами или же ценителями его произведений, говорил, смеясь, Арсену, что он охотно, если бы умел, пошел играть в баню, чтобы увидеть этих самых вельмож без регалий и высокомерия, когда они по необходимости хоть на минуту становятся обыкновенными людьми.

Это было действительно интересно — стоять одетым в гранатовую тунику с серебряными позументами и глядеть на туши вельможных панов, сидящих внизу с отвис-

---

[1] Пусть каждый следит за своими вещами (*лат.*).

лыми животами, с женскими складками на груди, с мокрыми волосами, из-под которых торчат красные уши, с омерзением наблюдать за сытой чередой тварей, с жадностью пожирающих апельсины, хлещущих вино, чтобы вместе со смехом выдавить из себя пар, которого слишком много вдохнули, находясь на самых верхних ступеньках парной. При этом испытываешь не только отвращение к ним, но и удовлетворение, чувствуя физическое и духовное превосходство над теми, кому подчинен. А потом, разговаривая вполголоса с Симеоном Владыкой, насмехаться над ними и утешать себя тем, что, мол, какими могучими бы ни были патриции, а сравниться с художниками, музыкантами не могут: уж слишком большие у них животы — словно у обожравшихся клещей, а головы узкие и пустые, как у блох.

Насмешки над патрициями доставляли Арсену удовольствие, радость, делали его независимым от чуждого ему поспольства. Цинизм был хорошим лекарством против разочарования, лучшим, чем минутное забвение на ложе проститутки, чем сознание своего ежедневного присутствия на земле. Ироническое высокомерие вельмож возбуждало злобу и порождало иллюзию непокорности, протеста. Арсен злорадствовал, когда увидел свиные уши архиепископа, и отвращение к жестокому святоше было таким же, как и у Яцка Русина. Арсен был единомышленником Яцка, но отличало их друг от друга то, что тот за свое отвращение к архиепископу расплачивался чахоткой в больнице при храме в Краковском предместье, Арсен же, ненавидя архиепископа, услаждал его слух, получая за это хорошее вознаграждение, да еще, как Спитко, мог подрабатывать смехом над остротами вельмож.

«Но не всем, не всем помирать от чахотки в Николаевской больнице. Я не продал душу венценосной скотине, душа при мне, она чиста, и я чистый!..»

Да, да, эти подмостки в опочивальне патрицианской бани, этот треугольный островок в углу отделил Арсена от того мира, где охотились на него одержимые люди, охваченные неразумными порывами; от мирской суеты, среди которой, с одной стороны, подстерегали человека золотые сети духовного рабства, а с другой — черная бездна раскрытой лазаревой сумы.

Арсен мог теперь с гордостью смотреть на тех, кто внизу, будь то патриций или нищий, ибо роскошь и блеск

высокого света никогда не прельщали его, а нищенская миска уже не страшила — он теперь имел столько, чтобы быть независимым, чтобы упиваться своей музыкой и песней, и ему было безразлично, кто его слушает, как кто воспринимает — сытые или голодные, одетые или голые, захватчики или осажденные; музыка сама по себе была высшим мерилом и смыслом жизни, а он ее создателем, так кто же лучше, чем Арсен, мог углубиться в ее тайники, убежать от света вместе с безнадежной и испоганенной людьми любовью?

...В летний субботний вечер, когда на дворе было ненамного прохладнее, чем в бане, шепнул боязливо Спитко:

— Идут...

Сам бургграф — ну и что? Русинский староста и архиепископ собственными персонами — ну и что из этого, предусмотрительный Спитко? Не так ли, скрипач Боцул?.. Ах, ты же дал клятву молчать всю жизнь, ибо понял, что словом ничего нельзя изменить, а погубить свое тело или душу так легко; возможно, ты прав, я тоже молчу, только в отличие от тебя ищу смысл своего существования; а ты же, как и Хойнацкий, понял, что найти его невозможно; вы больше не ищете и не ждете, пока судьба сама вас не найдет. Кто же из нас прав?

Они вошли в опочивальню в длинных до пят ярких персидских халатах, но были слишком серьезны, чем-то взволнованы; сели за столик, приблизив друг к другу склоненные головы.

— W Olesku klęska [1], — услышал Арсен слова Петра Одровонжа, и, хотя ему было безразлично, что делается в чужом для него Олеско, пальцы вздрогнули, он сбился с ритма, вельможи услышали фальшь в мелодии, кто-то из них повернул к музыкантам голову; Арсен ударил сильнее по струнам, внимательно прислушиваясь к их разговору. Победили Преслужича? Ну и что?.. Выступил против панов, потому что сам захотел стать паном... Да, не за Яцка, не за меня, не за Гавриила!.. За Русь... Конечно, за панскую Русь. Против поляков? Да... Но ведь и Хойнацкий поляк. Виноват ли он в том, например, что Казимир III разрушил во Львове Успенскую церковь и на том месте приказал построить кафедральный костел, чтобы мог в нем молиться своему католическому богу?

---

[1] В Олеско поражение *(польск.)*.

Так что прикажешь, Преслужич, — разрушить теперь это величественное сооружение, над созданием которого работали тысячи черных рук, и строить новую церковь, лишь бы был доволен православный бог? К лешему этих богов... Проиграл Ивашко? А Орыся?.. Она давно, по твоей вине, проиграла. И я — тоже... Что — что?

— Бездари, кто их послал туда! — задвигал ушами Одровонж. — Гнусавый Менжик и слюнявый князь из Мазовша... А сколько гонора, самомнения! Król Jagello bil krzyżaki i pan Krupa chcial być taki... [1] Да я бы их.... Да я бы их...

— К Фемиде на Рынке хотя бы на полдня привязал, — помог архиепископу бургграф.

Бодрее заиграли музыканты, Арсен сам не мог понять, почему так быстро забегали пальцы. Победил Преслужич (разве он?) — русины победили, а у вас душа похолодела от страха, откормленные боровы, разжиревшие на русинском хлебе, лопоухие свиньи, твари...

Вельможи уже говорили во весь голос.

— А мы тут, под боком, ничего не знали. Наисветлейший сам руководил битвами с Городка, да вместо гонца, который должен был известить о победе, увидел собственными глазами Казика Мазовецкого, отпущенного олесским лотром [2]. А ныне круль к нам — за помощью. В собачий голос... Ясное чело поникло, помутнел орлиный взгляд, могучие плечи опустились... — Петр Одровонж точно выплевывал слово за словом.

— Тсс-с, — бургграф приложил палец к губам, кивнув головой в сторону слуг, накрывавших стол, застилавших полотенцами кресла. — Сейчас введут. Ему врачи прикладывают пиявки...

— О, эти твари — ближайшие приятели короля, им бы шляхетские гербы! — воскликнул архиепископ. — Хотя бы скорее приехал Олесницкий... Князь Семен Гольшанский уже нанес нам визит. Он согласен на элекцию [3] Зигмунда Кейстутовича. Не будет Свидригайла — Луцк сложит оружие. А тогда и с Олеско... — он прижал ноготь большого пальца к столу.

— Что, снова в топь? — недовольно посмотрел на

---

[1] Король Ягайло бил крестоносцев, и пан Крупа хотел быть таким же *(польск.)*.

[2] Лотр — разбойник *(польск.)*.

[3] Элекция — выборы, избрание *(лат.)*.

брата русинский староста. — Сколько шляхетской знати напрасно погибло! Надо было по-другому, иначе... Я отобрал у Преслужича Рогатин, а теперь отрежем все его земли вокруг Олеско и скажем: выходи — вернем.

— Это мудро, — поспешил бургграф и тут же смутился, заметив недовольный взгляд епископа.

До Арсена долетали только обрывки фраз, мелодия то затихала, то звучала весело и громко: победил Преслужич, победили русины, там Орыся, дайте мне коня, дайте коня! Вдруг мгновенно вскочил бургграф, взмахом руки остановил музыкантов.

На пороге появился слуга и прошептал:

— Их величество...

Двое слуг вели под руки согбенного старика в расстегнутом халате, желтая кожа обтягивала ребра, с лысеющей головы спадали пряди мокрых редких волос; старичок семенил ногами, с трудом передвигая их, и стонал; староста, архиепископ и бургграф встали в глубоком поклоне, старец махнул им рукой, чтобы садились, сам добрался до кресла и утонул в нем, потом подался вперед и, блуждая маленькими глазками по лицам львовских вельмож, произнес, запинаясь:

— Панове... Панове... Я послал Казимира и Менжика, ага... Вы же знаете... и тех, которые остались на Подолье. Там тоже... Да там хоть францисканца посей, а родится схизмат... А к вам придет князь Ян из Сенны. Под ваше начало... Боже, боже, как я устал. Как тяжко жить... А вообще, скажите мне, панове, что такое — человеческая жизнь? Поведайте...

Вельможи молчали, не зная, что ответить, а старец, забыв о государственных делах, лепетал одно и то же:

— Скажите, богом прошу, ну скажите, что такое жизнь?

Бургграф даже голову вытянул, напрягая мозг, так ему хотелось удачно ответить королю и этим заслужить его милость, но в пустой голове только гул стоял.

Арсен присматривался с подмостков к старцу, и ему было смешно, что эта развалина олицетворяет собой государственную власть, и становилось страшно от мысли, что столько крови сильных мужей проливается по прихоти и воле этой немощи; король уловил взгляд музыканта и махнул рукой:

— Ну, скажите хоть вы, слуги...

Скрипач Боцул держал в опущенной руке скрипку и

угрюмо молчал, проученный уже Спитко не решался хихикать, а король не сводил глаз с Арсена.

— No powiedź, powiedź mi, młodzieńcze, co to jest życie? [1]

— Ваше величество, — промолвил Арсен, гася улыбку на устах, — жизнь как баня: кто выше сидит, с того и больше пота течет.

— К дьяволу... — пробормотал бургграф, с ненавистью посмотрев на Арсена.

Сморщенное лицо короля прояснилось, будто этот ответ очень многое значил для него.

— О-о! — со стоном произнес он. — Это верно, это святая правда... Играйте, играйте, мои милые...

Спитко ехидно прошептал:

— А ты дорос до шута, Арсен.

Арсен поднял руку и, сдержавшись, тяжело опустил ее на гусли. Рванул струны.

Король спустя некоторое время произнес:

— Какие ладные музыканты... Пускай они завтра играют у вас на банкете, пан Одровонж.

...На банкете короля не было — ему снова ставили пиявки.

Петр Одровонж, получив неограниченную власть над галицко-русским краем, на радостях произносил тосты, а музыканты играли марши.

— За круля!

— За ойчизну!

— За звиценжство над схизматами!

Зазвенели струны на гуслях и оборвались, молчала скрипка, только дуда пропищала марш.

— Что там случилось? — спросил бургграф.

— Струны оборвались, — не поднимая головы, глухо ответил Арсен.

— На таком тосте, хам... — излилась вчерашняя злость на дерзкого музыканта, судорога свела скулы бургграфа, еще миг — и он приказал бы слугам избить всех троих нагайками, но гости веселились, короля не было, негоже было портить им настроение; из уст в уста передавали королевскую фацецию — что такое жизнь, гости не знали, кто так остроумно ответил королю, но знали бургграф, староста и Арсен, — нет, не плетями следует теперь наказать хама... — Пан Одровонж, — перекричал шум бургграф. — Яко городской голова, у меня

[1] Ну, скажи, скажи мне, юноша, что такое жизнь? (*польск.*)

претензия к вам, пан староста. Пять лет назад совет львовского патрициата принял решение, чтобы каждый житель Львова под угрозой штрафа в четыре гривны не приглашал к себе в гости более шестнадцати особ. Сколько тут раз по шестнадцать? Чтобы не подавал на стол более четырех блюд — сколько тут раз по четыре? И чтобы не приглашал на веселье больше двух шутов, а у пана старосты — даже три!

— Мы не шуты, ваша милость... — прохрипел Арсен в тишине, вдруг наступившей в банкетном зале; дрожащей рукой он расстегнул воротник туники и повторил громче: — Мы не шуты, пан!

— Как же — нет? — развел руками бургграф. — Кто же вчера аккомпанировал и поддакивал голому королю?

Смех, словно взрыв пороховой бочки, потряс зал, и этот хохот сразил Арсена. Разбить гусли — не посмел, выйти — не двинулся с места; смех придавил его, и гусляр подумал, что зря он прикрывался гуслями, как щитом, от сильных мира сего, одновременно служа им. Так поступать нельзя, нужно только уйти, как Яцко. А почему, как Яцко, почему — не как Осташко Каллиграф? Разве может устоять в борьбе со злом один человек?

Банкетный зал опустел только утром, именитых гостей старосты Одровонжа, пьяных, в блевотине, слуги разносили на носилках, развозили в каретах.

Измученный, помятый, мрачный, Арсен вышел из ворот Нижнего замка; не сказав ни слова ни Спитко, ни Боцулу, поплелся по переулкам в сторону Татарской улицы и, остановившись недалеко от городских ворот, произнес вслух:

— Будьте вы прокляты! Моя нога больше не ступит сюда.

Пошел и удивлялся, что так спокойно, без прежнего страха и без укора совести, направляется к тому месту, о котором даже думать боялся, будто там уже давно приготовлено для него надежное пристанище.

На лесах возле щита с гербом Львова стоял щуплый, невысокий, весь измазанный краской художник — Арсен узнал Збигнева Хойнацкого. Над головой льва, передними лапами упиравшегося в скалу, он дорисовывал золотую корону.

— Сервус, Арсен! — крикнул Хойнацкий сверху. — Так рано в «Брагу»? Очевидно, перепил на королевском банкете.

— Перепил, Збых. Перепил... А ты, вижу, гербы усовершенствуешь?

— А как же. Спохватился бургграф после приезда короля, что это православный лев, и приказал подрисовать ему корону — сделай такой, как у польского орла.

— И превратится лев в католика?

— Наверное. И пойдет в кафедральный костел на пацеж[1]. Только сомневаюсь, сумеет ли он по-латыни.

— Это не обязательно, Збых. Поляки думают: матка боска молится за ойчизну по-польски; русины убеждены: пречистая дева просит у Христа смерти ляхам на клепаровском диалекте, но те и другие забывают о том, что она заклятая иудейка, не знающая даже идиша, а только иврит.

— Да и это верно. А ты куда?

— Скажи, Збых, почему ты послал меня в тот вертеп? Захотел ты, поляк, из русина-музыканта сделать шута?

— А что — уже обозвали?

— Вчера...

— Тогда успокойся. Если тебя называют шутом и ты обижаешься, значит, еще не стал им. Я же не бью по роже того, кто называет меня маляром. Кроме того, видимо, к твоей персоне властители относятся довольно серьезно: воюют с тобой. Да они повесили бы тебя, если бы сказал хоть четверть того, что позволено сказать шуту. О, да ты еще крепко стоишь на ногах! Вот когда тебе разрешат говорить то, что ты думаешь, хулить вельмож, так знай — тебя уже никто не боится, и ты погиб.

— Успокоил ты меня. Я сейчас иду к Яцку.

— Видно, до сих пор тебе хорошо жилось, что ты ни разу не проведал беднягу. А пришла беда, боишься остаться одиноким?

— Угадал, Збышко. До сих пор боялся стать нищим, а ныне...

— Нет нищих, Арсен. Есть бедные люди, богатые и шуты. Мы — бедные. Но ты все равно останешься одиноким — Яцко на ладан дышит...

— Разве он один на свете? Есть же у меня ты?..

В темной прохладной келье на дощатом топчане лежал Яцко Русин. Желтый, худой — скелет, обтянутый кожей, только глаза живые и трезвые. Очевидно, в последние дни Яцко уже не пил.

[1] Пацеж — молитва (*польск.*).

На соседнем топчане, рядом сидел одноглазый, без руки старец с длинными седыми волосами: Арсен сразу узнал атамана нищих Гавриила и удивился, что больше не боится его, — будто пропасть, которую Арсен проложил между скоморохами и нищими, сомкнулась так, что через нее можно переступить, и вместо вчерашнего страха перед миром шутов образовалась другая — и ее он переступить не посмеет. Сегодня Арсен постиг новый смысл жизни, обрел новую точку опоры: он не один, он принадлежит к многолюдному обездоленному миру с первого дня своего рождения и зря так упорно и долго бежал от него, ища защиты в химерной отчужденности.

Гавриил тоже узнал Арсена, но не сказал ни слова, только радость зажглась в его взоре. Он перевел взгляд с Арсена на Яцка и прошептал:

— Умирает...

Яцко блуждал по потолку глазами; они были спокойные и умиротворенные; он тоже узнал Арсена, бледные губы чуть растянулись в слабой улыбке и так застыли, а потом зашевелились, и в келье прозвучало трогательное и печальное:

Журо моя, журо, то-сь м'я зажурила,
То-сь мене зжурила, з ніг мене звалила...

— Яцко...

— Не трогай его, — промолвил Гавриил. — Дай ему попрощаться со светом.

Арсен присел возле старика, положил гусли на колени и чуть слышно стал аккомпанировать последней Яцковой песне.

— Простите меня, дедушка, — промолвил он, водя пальцем по струнам.

Старик не шелохнулся, ничего не сказал, а спустя минуту чуть слышно заговорил:

— Когда Мария с младенцем и Иосифом бежали по аравийской степи, на них напали бедуины и ограбили. Подошел вожак злодейской шайки Дисмас, взглянул на Иисуса и сказал: «Если бы сам бог родился, не мог он быть красивее этого младенца». Он вернул святому семейству награбленное, и Мария молвила: «Когда сын вырастет — отблагодарит вас». И милосердный Иисус утешил разбойника, умиравшего на кресте, словами: «Еще сегодня ты будешь со мной в раю».

— К чему это вы, дедушка?

— А ты слушай и думай. Всесильный бог в минуту мученического блаженства великодушно назвал разбойника равным себе. И тот поверил. Христос же после воскресения сошел в ад, велел ангелам связать сатану и привел в рай праотца Адама, праматерь Еву и всех пророков и святых. А о разбойнике забыл. Тогда Дисмас взял свой крест на плечи, поковылял сам в рай и сказал архангелу Михаилу: «Молвил мне Иисус: еще сегодня будешь со мной в раю, а уже прошло три дня». Прибежали пророки и закричали: «Как, мы будем жить вместе с разбойником, мало ли что мог пообещать тебе бог!» И изгнали простака из рая...

— Я понял, дедушка. Еще вчера...

А я тобі, журо, та й не піддаюся,
Як піду до корчми — горілки нап'юся...

— О Русь, земля моя... — вздохнул Гавриил. — Богата еси глубокими озерами, широкими реками, крутыми горами, густыми дубравами, токмо судьбой позабыта... Думаю не раз, хлопче, и богохульной той мысли страшусь: недобрый наш бог. Почему вместо грешного Адама не создал праведного? Не хотел... Ему скучно было бы без грешного люда, который можно карать и принимать от него раскаяние. А вельможи уподобились богу и по его примеру властвуют...

Ой, зійшлися люди, горілка ся пила,
Коло мого серця жура тугу звила...

Яцко Русин умолк, повернул голову к Арсену, тихо промолвил:

— Пришел, Агасфер... А что, многим сильным мира сего доставил удовольствие? А по-ихнему петь так, вижу, и не научился. И выгнали...

— Не кори, Яцко...

— Не корю... Может, и правду говорил Владыка: зря я пропил свой талант. Портрет святого со свиными ушами пропал, а те лубки...

— Ничто зря не проходит, брат. Я у тебя многому научился.

— Молчи... — Яцко закрыл глаза и больше не открывал их.

— Он сейчас умрет, — сказал Гавриил.

— Я останусь у вас, — склонил на гусли голову Арсен.

— Нечего тебе тут оставаться, еще еси сильный духом и телом. Тебе надо идти защищать Олесскую землю...

— И вы с ними? Не думал.

— Не с ними — с нами. Разве Свидригайло воюет? Мы боремся, весь русинский люд... Ты знаешь Осташка из Олеско. Сообщи ему, что делается в Вавилоне, я не могу все разузнать, да и силы уже не те. Слышал, там собирается войско...

— Собирается...

— Вот и возвращайся туда — тебя еще не изгнали из ихнего рая. Вот и слушай, хорошо слушай. Иди. А Яцка мы сами похороним...

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

ПРЕДАННЫЙ ПРЕДАТЕЛЬ

— Я умываю руки, умываю руки! — кричал Свидригайло гуситскому, луцкому и олесскому посланцам, стоявшим в его шатре. — Ха, война смердов под водительством Свидригайла! Бедняки, ремесленники, опришки назвали меня своим вождем... Меня, сына Ольгерда, внука Гедимина, объявила предводителем смердящая чернь! Это вы, хитрецы и бунтовщики, виновны в этом!

Свидригайло стучал по столу булавой, ее стальные листы вдавливались в дерево, он вырывал рукоятку вместе со щепками, красное лицо князя пылало от гнева и выпитого вина.

Было время после спаса. Дождливое лето, способствовавшее уничтожению под Луцком и Олеско ядра королевских сил, сошло ливнями; полосы осеннего голубого неба проглядывали сквозь серые кучевые облака, — шло к хорошей погоде, при которой легко брать твердыни меньшими в десять раз стрелами и ядрами, ибо легче дать решительный бой на твердом, утрамбованном поле.

Надо было немедленно использовать момент — через неделю будет поздно; осада Олеско и Луцка снята, на Подолье Федор Острожский разбил отряды Менжика и Казимира, а Свидригайло не только не выступает с двумя тысячами войск из Степани, что над Горынью, он еще вызвал с Подолья Федора Острожского и держал его в своем лагере до тех пор, пока Михаил Бучацкий, оборотень и изменник, не захватил Каменец. Поступок ве-

ликого князя Свидригайла свидетельствовал о явной измене русинским князьям и боярам, которые посадили его на трон и возлагали на него все надежды; он же сваливал вину на них за нарушение условий ведения войны.

Распространился также слух о том, что Свидригайло женится на сестре Бориса Тверского Анне. В польском лагере об этом еще ничего не знали, а в русинском трактовали шаг Свидригайла по-разному. С одной стороны — у них будет православный союзник, но — если Свидригайло изменит — захочет ли Борис выступить против зятя?

— Сварил ты много пива, князь, и во многих котлах, пить же его придется всем нам, но и тебя не минет чаша сия, — сказал, сдерживая гнев, Василий Острожский. — В союзе с нами ты стал великим князем, без нас не будешь. Только мы не изменим тебе, потому что ныне некуда нам от тебя податься; поляки же, с которыми ты ведешь переговоры, тевтонцы, на которых возлагаешь большие надежды, даже литовские князья сотрут тебя в порошок, если только отбросишь нас. Не любят тебя — ты знаешь это. А мы... Сколько наших бояр сложили головы, дважды вызволяя тебя из кандалов, во имя свободы Литво-Руси. Что ты теперь делаешь? И почему? Моего отца Федора, который очистил все Подолье от королевских воинов, зачем держал две недели в Степани?

— Нездоров был твой отец, — потупил голову Свидригайло, лукаво блеснув исподлобья глазами. — Душой больной. Стар он стал, много молится, а меч дрожит в руках... Сейчас же князь Федор на Подолье...

— За то время, пока ты лечил его от недуга, приставив к нему стражу, подольские замки заняли польские гарнизоны. Ты, князь, испугался моего отца, ты боишься нашего могущества и от страха подрубаешь сук, на котором сидишь.

Вперед вышел соратник Прокопия Лысого Вильгельм Костка.

— Доношу тебе, князь, решение нашего вождя Прокопия. Ты звал нас быть союзниками, и мы отдали тебе Федора Острожского, с которым ты так жестоко обошелся. Кроме того, гуситские отряды стояли стеной на западной границе, готовые ударить по войскам короля и пойти тебе навстречу. Ты же не сделал и шагу из Степани, ожидая победы Руссдорфа над королем. Подобает ли нам, гуситам, которые воюют за чистоту церкви, идти

рядом с тевтонцами против славян? Мы видели сожженные рыцарями села на Добринской земле, детей с разбитыми головками, повешенных женщин, распятых мужей. С такими союзниками ты решил отвоевывать свободу для Литвы и Руси? Мне велено доложить тебе, что гуситы отныне будут воевать не на стороне Ягайла, но против Руссдорфа!

Вильгельм Костка вышел, не поклонившись, из шатра.

— Чего вы хотите? — утомленно поднял голову великий князь. — Поляки отступили от Олеско, такожде и от Луцка, победа за нами. Я хочу прекратить кровопролитие. Заключу мир с королем, сяду в Вильно, и наше посполъство возьмется за рало.

— А до сих пор за что лилась кровь — за твою булаву? — спросил Осташко Каллиграф. — Ты сам не веришь в то, что говоришь, князь. Король пойдет в наступление, как только замерзнет земля. Ивашко Преслужич-Рогатинский в последний раз просит тебя прислать военную помощь замку или дать королевским войскам бой под Буском — в открытом поле.

Свидригайло снова повесил голову, молчал.

— Князь, — продолжал Осташко, — если ты откажешься и впредь от союза с нами — отказывайся. Но не связывай нам руки. Мы хотим бить челом Великому Новгороду, Борису Тверскому, а также великому князю московскому Василию Темному.

— Ха-ха-ха! — аж задрожал шатер от злого хохота Свидригайла. — А кто вы такие — бить челом северным князьям? Кто ответит на вашу челобитную? Да вы даже не удельные князьки, даже не посадники, вы — кастеляны моих замков! Ха-ха... К Тверскому Борису вздумали идти с Ивашком? — Свидригайло подступил к Каллиграфу с булавой, тот остановил князя ненавидящим взглядом. — А знаешь ли ты, что Борис Александрович завтра будет моим зятем — и я прикрою себя с севера... От всех защищусь, в том числе и от вас!

— Я давно знал, что ты предашь нас, — сказал Осташко, без тени страха перед железной булавой в поднятой руке князя. — Пусть проклятие падет на твою голову. Русины надеялись на свет, который принесет им твое имя. Оно же принесло нам тьму...

— Вон из шатра! — прошипел побагровевший Свидригайло.

Известие о том, что Свидригайло привез из Твери сестру князя Бориса и имеет намерение венчаться с ней в Степани, встревожило краковский двор: нельзя больше доверять великому князю. За вечный мир, которого добивался у короля, Свидригайло тайно отдал Подолье — кость полякам в зубы, а теперь того и жди, что двинется с полками Бориса на Буг — дорога свободная.

В конце лета король с Олесницким выехали в Брест. В столицу Литвы пробрался серадский кастелян Заремба, он разослал литовским князьям письма:

«Русины взяли верх над литовцами, а вскоре пойдут на вас еще и Тверь, и Псков, и Новгород. Ныне в руках русин все важнейшие города и замки, чего не было во время Витовта».

Олесницкий вызвал в Брест князя Семена Гольшанского, велел вызвать из Стародуба в Вильно Сигизмунда Кейстутовича, Семена же направил к Свидригайлу с последним письмом.

...Князь Гольшанский с непоколебимым спокойствием наблюдал, как взбешенный Свидригайло рвал на клочки королевское письмо и выкрикивал, брызгая слюной:

— Я — регентом к Софьиному байстрюку Казимиру?! Я — великий литовский князь — примаком к дряхлому Ягайлу, которому помог сделать наследника Якоб из Кобылян? Да я ни на грош не верю твоему королю и не сел бы с ним за один стол пить вино! А ты... ты стал посланцем Ягайла, изменник, дядюшка распутной Соньки... Видел я, видел твою двойную личину с самого начала!

— Не двуличничал я с тобой, князь, сам знаешь, всегда предостерегал тебя от неразумного заигрывания с схизматиками... Тебя хотят назначить регентом лишь для того, чтобы краковский двор знал о каждом твоем шаге, — ты утратил доверие, и никто не подпишет мирный договор с зятем тверского князя. А хочешь мира и спокойного трона в Вильно — отошли Анну назад в Тверь.

— Никогда, никогда... — прошептал Свидригайло. — Никогда. Это последнее мое утешение, посланное мне судьбой... Ты же видел ее, Семен... Я... Я готов дать клятву на алтаре, что не возьму в помощь себе ни одного ратника Бориса.

— Ты можешь дать клятву, но такой клятвы не даст нам Борис Тверской.

— Я поеду сам на переговоры с королем.

Свидригайлу и Анну венчал в степаньской церкви луцкий епископ Матей, который еще перед осадой сбежал из города в стан великого князя.

Двадцатилетняя Анна, давая клятву перед алтарем на верность мужу, робко поглядывала из-под длинных русых ресниц на старого сильного витязя, и любовь, смешанная с тревогой, охватывала ее душу.

Первая брачная ночь в объятиях пылкого мужа, силы которого не подорвали ни испытания, ни годы, была для нее счастливой, но над головой, вместо высоких сводов дворца, шелестело на ветру полотно походного шатра — так будет всегда с этим неспокойным мужем, так будет всегда...

Свидригайло прижимался к страстной княжне и думал: «Ничего мне больше не нужно, ничего... Есть у меня Вильно и Тракай, есть великокняжеская булава и молодая красавица — утеха на старости лет. И к черту все прочее! Русь... Нет Руси, а если и есть, то там, на севере, а тут, в Галиции, скорее бы мир, хочу покоя...»

В первый день ясного сентября выехал из Степани на брестскую дорогу крытый рыдван. В нем рядом с молодой княгиней, бледной, встревоженной плохим предчувствием, сидел хмурый, углубленный в свои мысли седоусый князь. У ног, свернувшись клубком, дремал шут Генне. Впереди рыдвана скакала конная хоругвь, позади — отряд татарских всадников, присланных еще Витовту ханом Перекопской орды Улук Мухамедом.

Поздно вечером княжеский кортеж остановился на околице Ошмян в небольшом, огороженном частоколом меркатории.

Выставив вокруг меркатория сторожевую охрану, ратники и татары разместились во дворе; князь, Анна и Генне пошли в корчму поужинать.

Свидригайло с жадностью грыз куриную ножку и запивал вином; возраст его выдавала только седина — князь был голоден и силен, и снова Анна подумала о том, что мучило ее: есть у этого мужа все — и нет ничего, ибо ничего в его жизни не было постоянного, он многое хочет сделать, но никогда не доводит до конца начатое дело, его каждую минуту подстерегает беда. Анна представляла себе свое будущее: никогда она не насладится богатством и покоем, уважением придворных и знакомством со знаменитыми властелинами чужих зе-

мель; вот так всю жизнь проведет в походах со своим неспокойным мужем и загубит свою молодость, и преждевременно угаснет ее красота в этом взбудораженном войной, встревоженном литовско-русском краю.

Анна была утомлена; хотя издали и доносился шум дубравы, вокруг царила мертвая тишина; в корчме она становилась угнетающей. Свидригайло мигнул Генне, чтобы тот развеселил княгиню.

— Хочешь отгадать загадку, уважаемая пани? — тут же оживился шут. — Вот отгадай: чего нет у князей?

— Уюта, Генне... — ответила Анна.

— Разве тут не уютно? — пробормотал Свидригайло. — Даже собаки не лают...

— Поэтому и жутко...

— Не отгадала, не отгадала! — завизжал шут. — У князей нет таких подданных, что согласились бы вместо них пойти в ад.

— Не смешно, Генне, — прошепелявил с полным ртом Свидригайло.

Генне должен был развеселить княгиню, он залез под стол и, вылезая, крикнул:

— Нашел! Послушайте... Одна пани жаловалась лекарю, что слепнет. «Тем лучше, — утешил ее эскулап, — не увидишь, ваша милость, черта перед смертью».

Анна улыбнулась одним уголком губ, Свидригайло позвал корчмаря.

— Постели пани. А ты, Генне, не отходи от двери. Я пойду проверю охрану.

Уже взошла луна, на дворе было тихо и тепло, ратники спали на земле, подложив под головы седла, стража дежурила во дворе и за частоколом; свет в корчме погас. Свидригайло смотрел на подпертый раскидистыми кронами дубов серебристо-стальной горизонт, спокойствие витало над миром, и думал он, что, как только подпишет с королем перемирие, сразу отправится в Тракай и в этом замке на острове целый месяц не зажжет ни одной свечи и весь отдастся любви с Анной. Нет, сначала закрепится в Вильно, как когда-то Витовт, приберет к рукам русинских бояр и не будет воевать больше — за плечами старость, а он наконец получил то, чего ждал целых сорок лет. Сорок лет бедствий, страданий, бегств, унижений, неволи и борьбы за идею освобождения Галиции, Волы-

ни и Подолии... В груди заныло сердце, заговорила совесть — все-таки обманул, все-таки предал, столько пролито крови, не слишком ли большая цена за бунчук с посеребренным шаром; где найти человека, чтобы вместо меня пошел в ад... Перестань, князь, все это вздор... Кровь... Кровь льется по воле божьей — не княжеской. Сколько ее пролил Витовт, а что хорошего совершил? А Ягайло? За ними же горы трупов... Да, но один укрепил Польшу, а второй Литву, я же хотел было сделать могущественной Русь... Так думал, верил в это, а ныне все это ни к чему. Почему я, литовец, должен болеть душой за русинский край... А Ягайло — разве он поляк? Но у Ягайла есть Олесницкий и весь краковский капитул, за ним сила, а что есть у русин, кроме жажды свободы и готовности умереть? Где их капитул, на который мог бы опереться князь, король? Когда-то был, верно... Но погиб, исчез, умер, как умирает грибница, если вырвать с корнем гриб. А умерла ли их сила — разве не возродилась сегодня, будто после дождя? Не хочу. Боюсь... Страшная сила — народ, дай ему только возможность подняться, и он проглотит маленькую Литву; у нас уже нет идеалов, остались только литовские гербы — говорим на их языке, пользуемся их письменностью; мы победили украинную Русь и оказались побежденными. А теперь — пусть только объединятся с Константинами новгородскими да Василиями московскими — и по Литве, и по ляхам схизматские попы отслужат панихиды. Какая это великая сила... Но с кем же я? Ни с кем... Я одинок, ибо так же боюсь и Польши. Но она не так страшна. Пусть лучше поглотит нас шляхта, чем смрадные русинские холопы...

Свидригайло ходил по двору, охваченный раздумьями, заложив руки за спину. Луна поднялась высоко в небе, посеребрила вершины дубов, давно князь так не любовался природой — разве что в отрочестве, когда еще не терзали душу честолюбивые мечты. Свидригайлу захотелось побежать в комнату, где спит Анна, разбудить ее и пойти с ней в глубь темной дубравы вот по той посеребренной луной тропинке — в неизведанные дебри, кишащие лешими, мавками, чертями, водяными... Да нет, пускай спит, она устала, он сейчас ляжет рядом с ней, обнимет ее — пылкую, жаждущую — сильными своими руками, а после блаженной близости положит свою седую голову ей на грудь и уснет...

— А-а-а-а! — вдруг разнеслось со всех сторон, дьявольский рев заполнил все пространство.

Свидригайло окаменел от неожиданности и страха. Вскочили ратники, загалдели татары; князь пришел в себя, вскочил на первого попавшегося оседланного коня; в руке не было меча, на теле кольчуги — только куртка из лосиной кожи; в темноте мечи скрещивались, высекая искры, ударялись боевые билы о шлемы, тяжело дышали всадники, нанося удары топорами по головам, трещал частокол, конь под Свидригайлом вставал на дыбы, ржал и не мог выбраться из толпы нападавших друг на друга и падавших ему под ноги людей, и среди этого рева князь вдруг услышал знакомый голос князя Семена Гольшанского:

— Свидригайла взять живым! Чтобы ни один волос не упал с его головы!

Возглас Гольшанского отрезвил Свидригайла, он дернул поводья и, сбивая живых и топча мертвых, помчался в глубину двора, перескочил через частокол и поскакал безумным галопом по посеребренной луной дорожке, пугая сонных леших и мавок.

Нападающие добивали тех, кто еще защищался, оборона была сломлена; ратники Свидригайла и татары бросали оружие, молили о пощаде.

Литовцы сорвали двери меркатория, полуживой от страха корчмарь упал на колени и дрожал всем телом.

— Вставай! — гаркнул Гольшанский на еврея. — Мы не разбойники. Перед тобой стоит великий князь Литвы Сигизмунд Кейстутович, — показал он на худого со скуластым лицом и растерянными глазами рыцаря. — Веди к княгине!

Анна, перепуганная и прекрасная, стояла посреди комнаты в одной сорочке. Узнав Гольшанского, спросила дрожащим голосом:

— Где мой муж?

— Убежал твой храбрый рыцарь, — презрительно улыбнулся князь Семен. — Словно хорек... Достоин ли он такой жены, как ты? Успокойся, княжна, мы приготовим тебе рыдван и вернем в Тверь — отцу. Только запомни: ты никогда не была замужем за Свидригайлом.

Анна какое-то мгновение глядела на князя непонимающими глазами и вдруг повалилась на пол. Гольшанский приказал привести ее в чувство, одеть и запрячь лошадей.

— А я, а я, а я?! — подкатился живым клубком к ногам Гольшанского шут. — Где буду я и с кем? Горе мне, горе!

— Это же Генне, — произнес Сигизмунд Кейстутович. — Оставь его мне. Он верно послужил двум панам, пусть послужит еще и третьему.

...На следующий день в Бресте Ягайло вручил Сигизмунду перстень на великое княжество. Великий князь отписал королю Каменец, Луцк, Олеско.

В конце сентября прибыла в Брест депутация от Михаила Юрши; он добровольно сдал Луцк, сам же выехал в свое имение на Киевщину. Ягайло предоставил Луцку магдебургское право.

В Полоцке Свидригайло собирал силы для новых битв. Бил поклоны Борису Тверскому, умоляя вернуть ему Анну. Князь пообещал — после ее выздоровления.

С Подолья от каменецкого старосты Михаила Бучацкого пришла на имя короля грамота, в которой он присягал на верность польской короне. Посланец сообщил Олесницкому, что Федор Острожский передал Бучацкому свой меч, а сам уехал в Киево-Печерский монастырь.

Во Львове Петр и Ян Одровонжи ждали подданской депутации из Олеско. Наступил октябрь — послы с последней твердыни Галицкой Руси не приезжали.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

КОРОЛЕВСКИЕ МИЛОСТИ

Позолотились гаварецкие леса. Пожелтели листья кленов, кусты крушины — и холодный ветер нес мор на березы и буки; на голом Вороняцком хребте вспыхнули свечами одинокие осокори, жесткая трава пожухла, и в утренних холодных туманах осыпались последние пожелтевшие листья, медленно падали с крутых склонов и оседали в гончарских дворах, где дымились горбатые печи и стоял запах обожженной глины.

С лета и до сей поры Никита не поднимался с постели — долгие месяцы боролся ратник с костлявой, а когда она отступила, перестали идти дожди, и первая лесная позолота, освещенная солнечными лучами, привлекла его взор. Он вздохнул:

— Начнется осада...

Мария не слышала его слов. Изо дня в день она кру-

тила гончарный круг, немели пальцы, опухали кисти рук, а в ярмарочные дни тащила тележку с горшками через Вороняцкий хребет в Олеско. Мизерными были торги в запертом городе, но все же понемногу сбывала товар и на вырученные деньги покупала для Никиты медвежье сало, чтобы поскорее затягивались его раны.

Уже почти была вдовой: ратники Ивашка принесли Никиту на Гавареччину холодным — просил, что хочет умереть возле Марии. Белый был как полотно. Шляхетское копье пробило кольчугу и застряло в легком, кровь бежала струей, жизнь едва теплилась в теле, где-то еще тлела возле сердца искоркой, и ожил он. Ожил для нее. Мария теперь всегда будет вместе с ним и уж никогда не отпустит его никуда ни на шаг.

Никита начал уже вставать с постели, и Мария ждала дня, когда он подойдет к станку, прикоснется рукой к ее плечу, легонько отстранит от круга и сам, как было когда-то, закрутит, закрутит, а гибкие пальцы потянут вязкую глину и превратят ее в нужную людям, красивую посуду — кувшины с длинными шейками, горшки с раздутыми животами. Она же сядет напротив и только будет приделывать к посуде ушки да любоваться высоким, прикрытым черными кудрями челом мужа, тугими губами, добрым взглядом темных глаз, в которых, гляди, и блеснет молчаливая улыбка — вот в этом вся его речь о любви, счастье и радости, которые принесла Мария в дом гончара.

Но Никита будто забыл, что сам когда-то был гончаром, он с любовью посматривал на Марию, что, не разгибаясь, сидела за гончарным кругом, и раз за разом водил рукой по зарубцевавшемуся шраму на ребрах, нажимал на него, прислушивался, не жжет ли еще внутри, и, глядя в окно, на листья, уносимые ветром, уже в который раз говорил одно и то же:

— Осень... Сухо... Начнется осада.

Мария слышала эти слова, но они теперь не имели для нее никакого значения; война, осада, замок, рать уже больше не касались ее, ибо Никита рядом с нею — хотя и не калека, благодарение богу, но держать оружие не пригоден. А все мысли гончара были там, и он даже не удивлялся тому, что навсегда отстранился от привычного ремесла, свалил все на плечи Марии. Он в своих руках чувствовал только вес меча, под ногами стремена, а под собой — дыхание коня и его бешеный бег.

Однажды он стал на ноги, развел руки так, что они хрустнули, оделся и сказал:

— Чую, Мария, что я уже здоров.

Она испуганно поглядела на него: каким-то он другим стал, даже пальцем не прикоснулся к глине, не погладил рукой свежеобожженные горшки, ведь он с детства занимался этой работой. Что случилось — встревожилась Мария, следя за каждым его движением. Никита подошел к окну, долго глядел на белые березы, выросшие среди темно-коричневых буков, а потом резко повернулся к Марии:

— Найди мне кольчугу, я свяжу ее в том месте, где она была пробита, а меч там дадут.

— Не пущу-у! — вскрикнула Мария и, расставив руки, стала у двери, словно он в этот миг уже собирался уходить из дому. — Не пущу, ты еще слаб, а рать... рать уже закончилась!

— Она только сейчас началась, Мария...

— Не пущу. Не ратник ты, с деда-прадеда гончар, это так случилось, что тебе пришлось взяться за оружие, теперь возвращайся к своему делу, ведь каждому свое, ты гончар, гончар!

— Успокойся, Мария... Я уже не тот, каким ты меня знала.

Никита гладил ее лицо непривычно жесткой рукой, с которой еще не сошли мозоли от рукоятки меча. Куда девалось мягкое прикосновение гончарских рук, нежно ласкавших ее когда-то! Почему теперь чужими стали его пальцы, откуда взялась у гончара твердая кожа на ладонях? А, так они же меч держали! Где его стыдливый взгляд? Куда же делся тот работящий добрый Никита, который ничего больше не знал и не хотел знать, кроме горшков и Марии?

— Я уже не тот, любимая... С тех пор как убил несчастного Мартына, я больше не гончар. В тот момент я понял, что людская кривда куда глубже, нежели жестокость тиуна и глупость, чем поборы, подати... А потом увидел, что с ними можно бороться. Я не забыл, как делать горшки, но научился рубить врага. Нельзя сейчас забывать эту науку. Не каждый может, но тот, кто умеет, большой грех на душу возьмет, если откажется от святого дела. А у меня есть сила и ненависть. Силу мне дала мать, а ненависть — наша кривда, которую мы как следует и не понимали... Я видел ее — с глазу на глаз,

она дышала мне в лицо ненавистью, я жестоко рубил ее, и мне становилось легче, когда от моего меча падали один за другим наши обидчики, я понял, что мои руки уменьшают зло на земле, что я стал нужен. Как я сяду теперь лепить горшки, когда буду знать, что гибнут мои побратимы, а я мог бы защитить их, как я этими руками буду считать деньги на ярмарке, когда они еще не отомстили за мою рану?

Мария обняла мужа за шею и прошептала, припав к его груди:

— Отпустил еси, господи, моего Никиту на волокиту [1]...

— Душечка моя, да знаешь ли ты, что если мы проиграем, то не нужны нам будут ни горшки, ни деньги. Все загребут, все сожгут... Но я — пусть даже захватят замок — буду ходить в Вороняцких лесах, словно злое привидение, и ни одного врага, пока буду жить, не пущу на Гавареччину, буду оберегать тебя...

Никита взял пробитую копьем кольчугу. Мария стелила свежую постель на ночь и орошала ее слезами. Когда-то еще согреет своим телом Никита? Да и согреет ли?

— Воевать захотел, Никита? — дубленое лицо скорняка Галайды скривилось в горькой улыбке. Он поставил перед гончаром кружку браги. — Пей и возвращайся к Марии да к своим горшкам.

— Не пойму, что ты плетешь... — Никита отодвинул кружку, настороженно посмотрел на Галайду, согнутого непонятно какой бедой. — Что случилось за это время в Олеско? Валы же целы, чужого войска не видно, гаковницы не заржавели, стяг со львом развевается на замковой башне...

— Все на месте, как и было, Никита... Только червь проник в сердца наших вожаков и точит, вижу, точит... Источил Свидригайла, и Юршу, и Острожского, да и к нашему добрался. Не ведаю, что творится на Замковой горе, но известно одно: к Ивашку пришло королевское письмо. Мол, все равно вам не удержаться, Свидригайла мы сбросили, Сигизмунд вернул нам украинные замки — все остальные земли от Каменца до Кременца Кейстутович отдал королю, Никита, — мол, король не хочет зря

[1] Волокита — скитание, бродяжничество (*укр.*).

проливать кровь, поэтому сложите оружие, а мы вам все земли с людьми и добром вернем. Волен бы плюнуть Ивашко на эти обещания милости и поискать помощи с севера, так нет — созвал землянинов в свой двор и ныне советуется с ними, как лучше на наши головы ярмо надеть... Им землю вернут, а посполъству — калан, и подати, и панщину. Где же ты, Никита, видел такое, чтобы пан при жизни захотел расстаться со своим добром?..

— Не верю, не верю... — с грустью сказал Никита. — Чтобы Ивашко?

— Ивашко, Ивашко... И умный, и человечный, и рыцарь умелый, а как столкнулся с глазу на глаз с потерей богатства — боярин, да и только. А мы еще такие сильные! За полгода никто не смог бы взять наш замок, а там и помощь подошла бы...

— Как это так? — качал головой Никита. — Бывши конем — да стать волом?

— Мы станем волами. А они... Ворон ворону око не выклюет.

— Не бывать этому, — опрокинул Никита кухоль так, что даже в горле забулькало. — Привыкли было к ярму, но когда хоть день походили без него, разве можно добровольно свою голову снова подставлять ярму?

— Что ты задумал?

— То, что и ты, вижу по тебе. Будем держаться вместе.

— Нас будет много. Уйдем в лес, где петухи не поют, где христианского голоса не слышно, — разгладились морщины на лице скорняка. Он одним духом выпил кружку браги. — И, как коршуны, будем налетать на пиявок, не дадим им спокойно спать, будем держать в вечном страхе. Кто раз подышал свободно, того душит духота в неволе, ты верно говоришь. Станем ныне каждый на определенное ему богом место и будем твердо стоять. А погибнем — то стоя, не на коленях.

Ивашко слушал Каллиграфа, теребил бороду и мрачнел, словно туча, его могучие плечи опускались под тяжестью страшных вестей.

Изменил Свидригайло... Гнусно, коварно — тогда, когда победа, добытая кровью, горевшая в огне, поднялась во весь рост на западной меже Литво-Руси... Предали и Свидригайла. А с кем же мы теперь — одни? Как — одни? Кто мы?

— В Новгород ходил, Осташко?

— Ходил. Юрий Анцифирович готов был выслать шесть тысяч войск. Я вел речь от твоего имени, как от правителя края — не замка. Но в это время из Полоцка приехал Свидригайло, продолжал величать себя великим князем, и посадник ему пообещал. Снова прольется кровь за булаву. А могли бы мы получить помощь...

— Как? Ведь мы только кастеляны. Без знатного рода, без титулов. Кастеляны Сигизмунда... А сейчас уже и не Сигизмунда, а королевские.

Каллиграф подошел к Преслужичу, сидевшему за столом, подперев голову руками, прикоснулся к его плечу; в этом прикосновении боярин почувствовал силу, он глянул на своего советника — тот пронизал его проницательным острым взглядом.

— Князь, — промолвил Осташко, — не жди титула от своих повелителей, они титулуют тех, кого не боятся. Ты же не дождешься. И нужен ли тебе он, фальшивый, словно подделанный грош, не имеющий хождения на рынке? Титул в тебе самом, это твое мужество, сила и ум. Князь, вели трубить сбор, и народ отдаст тебе клейноды, которым цены нет, — не перстень, не серебряный шестопер, а сердца свои и веру. Ныне провозгласят тебя князем Галицкой Руси и Волыни, а завтра на севере станут стеной новгородские полки, на западе же — гуситские!

В глазах Ивашка вспыхнул огонь, замер в напряженном ожидании и Каллиграф; бросит сейчас клич достойный муж — и всколыхнется море простого люда, который ныне бродит ватагами и в потемках воюет от имени лицемерного литовца, люда, который ждет этого клича в хатах, в поле, за станками.

— Князь... Ты назвал меня князем? Кто дал тебе право?

— Я — только частичка того народа, который обладает этим правом с тех пор, как назвал себя Русью. Но мы позабыли о нем, и я напоминаю, князь, встань на защиту русинского края!

Ивашко стоял лицом к окну, он видел весь город, и Вороняцкий хребет, и небольшую возвышенность среди болот, на которой в начале лета развевался позорный белый флаг над шатром мазовецких князей; его сердце наполнилось гордостью за победу, он почувствовал, как к нему возвращается решительность: разве не все равно,

когда умереть, — и в этот напряженный момент в гнетущей тишине протяжно заскрипела дверь.

— Кто там?

— Боярин, — произнес, склонившись, дворовый слуга, — к тебе посланец из Львова.

— Из Львова?! — Преслужич готовился было увидеть вражеские войска, окружавшие замок, принять титул, дарованный ему Осташком, бросить с высоты олесской твердыни на Галицию, Волынь клич к оружию, но не ожидал увидеть перед собой смиренного посланца от львовского старосты Одровонжа, а тот уже перешагнул через порог его хором в черном кафтане, со свитком в протянутой руке, подобострастно и льстиво кланяясь.

— О чем там?

Посланец поклонился и произнес елейным голосом:

— Русинский и львовский староста пан Петр Одровонж напоминает пану Преслужичу о рескрипте королевы Ядвиги, в котором повелевалось, чтобы Олесский замок не отделять от польской короны и назначать там старостой только поляка или русина шляхетского рода. Вы нарушили закон, перейдя от короны на сторону крамольного Свидригайла, однако пан староста доводит до вашего сведения высокое королевское прощение, предлагает сложить оружие, открыть ворота и всем вернуться на свои земли, вас же, боярин, оставляет гражданским правителем замка. Если вы не дадите согласия на это, — посланец выпрямился, — тогда на Олеско двинется из Львова несметное королевское войско, готовое ныне к походу.

Каллиграф видел, как потемнели глаза у Ивашка. Боярин сказал посланцу покорным, не то утомленным голосом:

— Я посоветуюсь с землянинами, а потом вышлю депутацию к пану Одровонжу.

Когда за посланником закрылась дверь, Ивашко виновато взглянул на Каллиграфа, словно просил у него прощения за то, что помимо его воли угас в его глазах огонь решительности; боярин будто стал ниже ростом, из великана, каким только что был, стоя у окна, превратился в обыкновенного усталого человека, а взгляд, окидывавший весь край, вдруг помутнел, ибо сузился до пространства поля, где растут просо и гречиха.

Ивашко почувствовал тяжелую душевную усталость. До сих пор она не давала о себе знать, его поглощали то

бои, то безысходность, но вот неожиданно выход нашелся, ужом подполз, и вместе с желанием обрести покой сердце безжалостно обожгла тоска по дочери, которой он пожертвовал ради борьбы. А теперь все кончено, и не должен он отступать на Волощину или погибать — может и тут на старости лет отдохнуть возле любимого дитяти...

— Иди, Осташко, переведи письмо, — сказал. — А в воскресенье я созову к себе во двор землянинов. — И, будто оправдывая себя в чем-то, вздохнув, добавил: — Как я давно не видел дочери...

«Нет еще правителя в украинной Руси, — сокрушенно подумал Осташко. — Еще мало надругательств, мало горя, чтобы родился Жижка... Но что там задумали, во Львове? Это неспроста такая милость. Увидеть бы старца Гавриила...»

В тот же день вечером из Теребовли прискакал ратник с письмом от Давидовича.

«Будто сговорились», — мелькнуло в голове у Ивашка, когда вскрывал письмо.

«Дорогой сват, — читал Ивашко, и спазма сдавила горло старого рыцаря, — передаю тебе поклон от твоей единственной дочери, которая сохнет от тоски по отцу и каждый день просит меня, чтобы мы помирились с тобой. Прости меня за кровь твоих воинов, я же прощаю тебя за уничтоженный мой двор в Олеско. Передай через моего гонца свое согласие прибыть пред твои ясные очи, пускай обнимет твои колени сирота Орыся...»

— Доченька, дочь... — всхлипнул Ивашко, ударяясь головой о стол. — Видит бог, не выдержит мое сердце... Простите меня, братья, я тоже человек...

Он поднялся, вытер слезы и сказал теребовльскому ратнику:

— Скачи что есть мочи... Скажи Давидовичу, что я жду его в воскресенье.

Во дворе олесского старосты многолюдно. Съезжаются землянины, привязывают лошадей к коновязи, дворовая челядь разрывается на части — Ивашко Рогатинский устраивает банкет. Слуги не знают, по какому поводу такой праздник у боярина, не знают и землянины. Распространился слух о какой-то королевской грамоте — неужели она такая утешительная? А может быть...

На дубовых столах в светлице — сулеи с вином и тарелки с ароматным жареным мясом; Преслужич в вышитой сорочке, спокойный, добродушный, встречает гостей, усаживает за столы. Каллиграф со страхом глядит на Ивашка и глазам своим не верит: как это могло произойти, что он вдруг превратился из властного правителя Олесской земли в вассала на королевщине, из повелителя — в слугу...

Костас Жмудский подошел к Преслужичу, процедил сквозь зубы:

— Если веришь мне, литовцу, то разреши мне с вами, русинами, быть до конца — грех Свидригайла, который не токмо Русь, но и Литву продал, искупить хочу...

— Погоди, Костас, садись... — отстранил его рукой Ивашко.

Уже все разместились за столом в напряженном ожидании — что поведает им староста. Ивашко кивает Каллиграфу, тот поднимается, разворачивает свиток.

— Мне прислано королевское послание. Послушайте, панове, и рассудите. Читай, Осташко.

— «Таким образом извещаем, — начал монотонным голосом Каллиграф, — что владельцам земель, фамилии которых Иван Преслужич, Масько Каленикович, Ивась Колдубицкий, Костас Жмудский, Дзюрдзо Струтинский, Януш Подгорецкий, Нег Стрибоцкий, Демко Ожидовский, возвращаются все их владения в королевстве, а также оседлости под Олеско. Мы милостиво и щедро допускаем их к владениям — с прудами, мельницами, таможнями и другими доходами; они свободны пользоваться ими, как и прежде, во времена великого князя Витовта. Когда же вышеупомянутые олесские владельцы земель станут перед русинским старостой, то каждому из них велено выдать грамоту на владение имениями, скрепленную нашей печатью».

— За что такая милость? — послышался голос Костаса Жмудского.

— За то, чтобы мы сложили оружие в Олеско, — глухо ответил Ивашко, он, слушая сейчас вторично королевское послание, уловил в нем коварную хитрость. Какая необходимость являться лично к Одровонжу?

— Это единственный выход для нас, — начал Демко из Ожидова. — Разве не видно было с самого начала, что не победить нам их?

— Головой стену не пробьешь!

— Человеческую кровь надо пожалеть...

— Замолчите! — Костас Жмудский стукнул по столу кружкой. — Нас предал Свидригайло, а мы, выходит, по его примеру должны предать народ, который поверил нам и готов идти на смерть?

Вскочил Януш Подгорецкий:

— Мы уже поверили одному литовцу, а тут второй спаситель объявился... Но если тебе так хочется смерти, то умирай, а не тащи других за собой! А если нас передавят, как мух, легче от этого будет народу? Мессия...

— Ты же русин, вот и спроси у русинского народа, чего он хочет!

— Кто его будет спрашивать? Ему следует выполнять то, что прикажут!

Поднялся гвалт.

— Панове! — поднял руку Ивашко. — Мы стояли мужественно, и посполъство нас поддержало, мы не имеем права забывать об этом. Но сегодня мы стали бессильны. Юрша сдал Луцк, Островский — Подолье. Можем ли мы устоять, если Сигизмунд отдал нас королю? На что надеяться?

— Свидригайло еще не проиграл, — отозвался Нег Стрибоцкий.

— Предатель он!

— Депутацию к Свидригайлу!

— Были уже у него!

— Я так думаю, — заговорил Ивашко. — Не пойдем мы к Одровонжу, пускай пришлет нам сюда документы на земли. И поставим условие: чтобы владели мы Олесской землей при оружии. Со своей стороны поклянемся соблюдать мир и послушание, что никаких нападений не будем совершать, а у посполитых оружие отберем...

— Согласны на это, — произнес Костас Жмудский. — Война еще не окончилась, рано складывать оружие.

— И еще одно, панове... — Ивашко посмотрел на землянинов и опустил глаза. — На это моя воля, поймите и меня... Я жду в гости Давидовича со своей дочерью. Стража на Браме знает...

Наступила мертвая тишина — было слышно, как за окном шелестят тополя.

Осташко Каллиграф непонимающе глядел на боярина, молчание становилось тягостным. Ивашко протянул руку к сулее — наливал вино в бокалы.

— Выпьем, братья...

— И я сегодня выпью, боярин, — поднялся Осташко. — Еще и слово молвлю... Пообещал однажды черт транжире огромное богатство, но за это потребовал от него, чтобы тот убил отца. Не мог этого сделать транжира. Черт подбивал его сотворить содомский грех — с сестрой. И тут отказался гуляка. Тогда Люцифер махнул рукой: «Так хоть напейся за мое здоровье». Транжира напился, а захмелев, совершил одно и второе. Тогда его казнили... Выпей, боярин, за Давидовича.

На лице Ивашка заходили желваки, гости словно в рот воды набрали, челядинцы застыли у дверей, ожидая неминуемой беды, но в эту минуту высокий черноусый парубок раздвинул руками слуг в стороны и стал у порога.

Арсен обвел взглядом гостей и впился глазами, полными презрения и пренебрежения, в Ивашка.

— Пируешь, боярин? Празднуешь? Поставь, поставь свой бокал, Преслужич, не торопись пить мировую с Давидовичем!

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

МОР

Уже позади Каменец, а где Кафа, Тифлис и Эривань, где Венеция и Голландия — какой огромный мир, великий боже! — да уже недалеко и до конца Татарского шляха, а на том конце — прекрасная, достойная самой высокой похвалы христианская столица Леополис. Многолюдный город, подобного которому нет во всей Европе: там горожане живут в роскоши, а лавки полны товаров; во Львове можешь найти все, чего только пожелаешь. Резчики отличаются чудесной резьбой по дереву и русинскому мрамору [1], золотых дел мастера украшают щиты, мечи и булавы причудливыми орнаментами, шорники шьют пояса и сагайдаки, седельникам за одно лишь седло надо отдать тысячу курушей, кожевники выделывают самый лучший в мире сафьян, у оружейников можешь заказать разнообразное снаряжение, шлемы, латы, копья, секиры; даже сто тысяч воинов найдут во Львове все, что им нужно для войны. Не зря молодой и

[1] Алебастр.

воинственный хан Крыма Гирей снарядил во Львов караван из пятидесяти возов с кавказской селитрой, а также с шелковыми тканями и персидскими коврами. Королю Ляхистана нужен порох, хану — готовое оружие.

Так думал караван-баша Богуш Ованесян, подъезжая по татарской торговой дороге к Теребовлю.

Знал, кого послать, солхатский хакан[1]; купец Богуш объездил всю Европу и во Львове уже был не раз, возвращаясь из Амстердама.

Какой это величественный город! Двумя стенами огороженный, а на стенах башни, а на башнях — пушки, а посреди города возвышается ратуша с часами, которые бьют каждый час; и большой базар на рыночной площади, а еще больший возле Пятницкой церкви; на базарах купцы из Москвы, Персии, Турции, Фландрии. Дома в том городе кирпичные и высокие, под ними глубоко в земле пивные, в которых даже летом напитки холодные; всюду увидишь клумбы роз и фонтаны, а за городом — сады и виноградники...

Спасибо Хаджи-Гирею, что доверил свой караван ему, Богушу Ованесяну, ведь тут армянская община насчитывает около ста семей — в два раза больше, чем в Амстердаме, да и армянских магазинов целых сорок. У армян есть суд, который судит по своим законам, и собор, не хуже, чем польские костелы, и баня...

Все это видел Богуш лишь одним глазом, а об остальном диве рассказал ему земляк мастер Хочерис — чеканщик королевского монетного двора: останавливался тогда у него на одну ночь.

И еще думал караван-баша о разбойниках, которыми кишит сейчас русинский край, молился каждый вечер богу, чтобы не встретиться с ними, но и тешил себя надеждой: если разбойники воюют с ляхами за свою свободу, так они должны быть рыцарями, а рыцари не нападают на торговых людей, всегда имеющих купеческие пайцзы[2].

Об этом думал и Давидович, нетерпеливо ожидавший каравана из Кафы. Не осмелился даже с целой хоругвью добираться во Львов, хотя и нужда была в этом большая, неотложная. Михаил Бучацкий переслал ему

---

[1] Солхат — старинное название Старого Крыма, первой столицы Крымского ханства.

[2] Пайцзы — пропуск (*тюркск.*).

письмо от Петра Одровонжа: русинский староста учел просьбу Давидовича и ждет его в своей резиденции. И тот же Бучацкий сообщил ему о караване, направляющемся во Львов.

Много лет спустя в народе будет ходить легенда о том, как один русин принес на своих плечах чуму в родной край. Вот о чем эта легенда:

«Сидел русин под деревом, солнце жгло немилосердно, вдруг глядит — идет девушка, стройная, высокая, белой простыней закутанная. Хотел было убежать — увидел в ней нечистую силу, но дева схватила его длинной рукой и сказала: «Ты получишь все имения, которыми владеют сейчас люди. Возьми меня на плечи и пройдись со мной по всей Руси. Не минуй ни села, ни города и не бойся: будешь здоровым среди мертвых». Оставив свою совесть под зеленым деревом, русин взвалил на плечи ведьму и понес ее по всему краю. Он ходил по ярмаркам, белая дева взмахивала черным платком, и тогда звонили колокола и плыли на кладбища гробы. Не миновал мерзавец ни городов, ни сел, всюду оставлял после себя пустые дома, садился с чумой в купеческие рыдваны — разносил мор по свету. И, может быть, погибла бы Русь, но дошел предатель до родной местности, чтобы умертвить своих близких, — все достанется ему; вышли смелые парубки, схватили изувера и утопили вместе с чумой в гнилом болоте».

...Давидович дождался каравана, который заночевал под Теребовлей, утром отыскал башу. С недоверием смотрел Богуш Ованесян на красномордого толстяка, а что, если это атаман разбойничьей шайки, хотя армянин представлял себе разбойников другими, он еще не знал лика польско-литовских грабителей; льстивые глаза толстяка подкупали, а еще больше две гривны — деньги немалые. Богуш кивнул головой в сторону четырех ратников, стоявших позади Давидовича, — один конь был без всадника — и замахал рукой.

— Назад их, назад! А ты садись рядом со мной, — и поправил пояс с прицепленным к нему палашом в ножнах.

Из Теребовли выехали еще до восхода солнца — даст бог добраться до Львова еще сегодня. Страшно было Давидовичу, когда проезжали леса и перелески, но у караван-баши есть пайцза, она и его прикроет в случае чего; дремлют на возах торговые люди, скрипучий обоз

длинный-предлинный, даже теряется на поворотах, мулы, волы, буйволы тащат груженые возы.

— Твое? — спросил спустя какое-то время Давидович, показывая пальцем на возы; он уже освоился, внимательно присматривался теперь к кавказцу: ему было не более сорока лет, да неужели все это — его собственное?

— Ханское, — скупо ответил караван-баша.

Глаза у Давидовича округлились.

— Ого! И ты тоже ханский?

— Умгу...

— А что везешь?

— Ай джан, — фыркнул Богуш, — скажи сначала сам, кто ты, а потом уж выспрашивай.

Давидович воровато оглядывался и, хотя на переднем возу никого, кроме них двоих, не было, наклонился к Богушу и что-то долго шептал ему на ухо.

Караван-баша внимательно слушал, недоверие на его лице сменялось умилением, потом — удивлением, наконец — восхищением; Богуш широко усмехнулся и, взмахнув рукой, ударил по протянутой ладони Давидовича.

— Ай, молодец! Ай, дорогой!.. А не обманешь?

— Разве только меня сам староста обманет.

— Не обманет, зачем ему обманывать, ты же для него — мешок с золотом!

Давидович слез с воза, когда из-за деревьев показался купол Лысой горы. Позвал своих ратников. Ему подвели коня.

— Я найду тебя у Хочериса, — сказал купцу, ставя ногу в стремя.

— Не забудь, возле Армянского моста! — крикнул ему вслед Богуш.

С наступлением сумерек Давидович с ратниками въехал во Львов через Галицкие ворота.

Арсен на службу больше не возвращался. Забегал к нему Спитко — сказал: заболел. А потом зашел скрипач Боцул — попрощаться: отправился в свою Молдавию.

Бургграф свирепел. Хойнацкий предупредил Арсена, чтобы тот покинул как можно скорее Львов или с поклоном возвращался на службу. Нет, в тюрьму так просто не посадят — не за что, но разве такого не было, что цепаки приставали к невинным, обвиняя их в убийстве?

Арсен собирался в путь. Куда — не знал. С нищими? Но он избавился от малодушия — с нищими не пойдет, да и нуждаются ли они в нем? Смешной Гавриил: слушай, говорит, и передай Осташку. Кто поверит мне — панскому лизоблюду? Да если бы и поверили — гожусь ли я, достаточно ли смел, чтобы смотреть смерти в глаза? И каждый день глядеть на чужую жену Орысю? Нет мне места нигде... Найду снова скоморохов и пойду вместе с ними бродить по свету, ведь и бедные люди повеселиться хотят...

Давно ушел бы, но должен ждать: Симеон Владыка еще летом отправился с челядинцами в Краков, оставив на него свою мастерскую. Осенью вернется, вот-вот уже...

— ...Яцко помер, — вместо приветствия сказал Арсен, когда мастер остановился на пороге.

Высокий, ссутулившийся от многолетней работы с пензлем и резцом, Симеон Владыка стоял посреди галереи, безвольно опустив руки, казалось, ничто его не могло теперь сдвинуть с места: сообщение о смерти Яцка Русина, о котором он ни разу не говорил, но никогда не переставал думать о нем, на миг парализовало старого мастера. Смерть любимого ученика предстала перед ним непоправимым злом, бедой, которую уже не отвратить, надеясь, что на свете все изменится к лучшему, что сам Яцко одолеет свою слабость, что в конце концов есть друзья, которые помогут ему. А разве он, Владыка, хотя бы раз за два года попытался облегчить жизнь Яцка? — шевельнулась совесть художника. — Да нет, все ждал, что тот сам опомнится и придет к нему... Смерть Русина была уходом из жизни человека, который многое мог совершить, но ничего не создал и теперь уже не создаст.

Другого такого не будет — это невосполнимая потеря для человечества, которое обойдется и без Яцка, но будет без него беднее и об этом не узнает. Для Симеона Владыки в этот момент утратили ценность все его произведения — портреты, картины, витражи, резьба, ибо они сразу стали лишь документами времени в искусстве, но не звеном в цепи, порождающей свое беспрерывное развитие, — цепь оборвалась.

— Могло ли наше государство придумать для себя худшее зло, чем уничтожить людей, которые не умеют перед ним фальшивить?.. — сказал сам себе Симеон, не глядя в глаза Арсену, словно чем-то провинился перед

ним. — Да что это я опечалился судьбой Одровонжей, будто действительно честный Яцко мог образумить их, сделать добрыми и благородными... Мы всю жизнь ждем апостолов — и напрасно. Надеемся: вот будет князь, вот — король! Они, возвысившись, тут же из людей превращаются в инквизиторов. А чтобы никто не показывал им их настоящих лиц, как это осмелился сделать бедный Яцко Русин, убивают смельчаков, и это насилие над человеческим духом называют наивысшей справедливостью — auto da fe!..[1]

— Так хорошо говорите, мастер... — сказал Арсен, не глядя в глаза Симеону Владыке. — Так хорошо... И уже душу свою очистили мудрыми и гневными словами, а Яцко умер — без вас. И люди гибнут. А вспыхнет ли искорка такой глубокой мысли в голове смерда, который в отчаянии убивает вилами своего пана, а потом за это погибает на виселице? Да где там, и близко не светит подобное прозрение в его необразованной голове, а погибает, не боится...

— А ты, — скептически посмотрел Симеон на Арсена, — поплакал над останками Яцка и этим купил себе право быть моим судьей? Так легко... И после этого, чтобы заработать на хлеб, идешь играть голым панам?

— Я уже не играю. И Боцул подался в Молдавию. Спитко только.

— О, тогда ты уже совсем смыл грязь со своей совести! — саркастически засмеялся Владыка. — Ты же еретик, мало того, пророк для смердов, которые за свободу идут на плаху. Только они этого не знают. Объяви себя их мессией, и им легче будет умирать... Обманщик, я знаю свою немощь, да уже есмь стар, а ты... Ты вечно проповедуешь непокорность и бунтарство, а твоя Орыся спит рядом с уродом и привыкает к его ласкам, а может, и привыкла уже и, может, плюнула бы теперь на тебя, искалеченная богатством, потому что ты побоялся тогда по замерзшей Стыри подать ей руку, чтобы не отягощать себя, не рисковать собой! Ты и не спрашивал, согласна ли она, ты не пытался догнать ее, — а может, она пошла бы с тобой в гнидавскую церковь? Однако тебя охватил страх, это так легко — зря страдать за любовь, но жертвовать собой, стать за нее на олесские валы — намного тяжелее! Пророк восставших смердов, а скажи: ты вообще любил кого-нибудь, даже эту Орысю?

[1] Акт веры *(исп.)*.

— Мастер! — крикнул Арсен и тут же стушевался. — Мастер...

Он закрыл руками лицо и выбежал из галереи.

«Кто сказал эти слова — Владыка или они сами отозвались в моем сознании так жестоко и больно?» — стучало молотком в голове.

Не понимая, куда идет, Арсен оказался в конце Русской улицы, возле Босяцкой калитки свернул. Куда идти?.. В Олеско идти, ворваться во двор Давидовича, убить, выкрасть... плевок Орыси вытереть с лица... умереть на валах... Латинская калитка... Кноффель... Какой тесный город... Татарские ворота... Краковское предместье... Краковский жак при Ягеллонском университете, профессорская тога, скоморох, шут... рогатый берет бакалавра... Бляхарская улица, так много людей в ермолках, в кафтанах с желтой нашивкой на груди. ...Dziwna rzecz, że pan ekzaktor... Армянская... On z żydami woinę toczy... Да, может, я за эти деньги сына содержу в Ягеллонском университете!.. Поцелуй меня легонько, гусляр, только не порань сильно. Ты же душу продаешь, а что приобрел — вино и курв? А что приобрел...

Утомленный, тяжело дыша, остановился перед открытыми воротами, сквозь которые виден был небольшой двор, окруженный высокой стеной. Со двора круто вверх ведет скрипучая лестница... Почему я сюда иду, не нужно... Ты русин, а я жидовка Ханка, и мы оба по улицам шатаемся... Я же не хочу, зачем сюда иду?.. А, сын учится там, где учился я... Я вынужден был бросить, потому что у меня не было матери-проститутки... А он еще не бросил?

— Пан музыкант?! — свела черные дуги бровей женщина с похотливым взглядом и следами былой красоты. — Не ожидала. Главный музыкант патрицианской бани — ко мне? Как мило!.. Только я занята... Заходите, заходите, уже давно все сделано, мы пьем армянский нектар, а этот человек, — Ханка показала рукой на черноусого кавказца, — приехал из такого дальнего края, что нам и присниться не может... А какие вина у них!.. Садитесь, садитесь, русинский музыкант, вы тогда так неожиданно исчезли, а я перед вами в долгу... — лепетала взволнованная проститутка: а вдруг кавказец устроит скандал и она потеряет новенького клиента!

— Я, пани, на минутку... — Арсен только теперь понял, что поступил глупо, зайдя сюда: зачем искать успо-

коения у Ханки? — Я проходил по улице мимо ваших ворот и вспомнил... Вы тогда говорили... Я сам там учился... Ваш сын и сейчас в Ягеллонском?

— Помните? Как мило! Учится, учится мой Шимон, пока мать живет на свете — учится... А я, видите, какая еще работоспособная! — бесстыдно захохотала.

Слегка опьяневший кавказец обнажил белые зубы в добродушной улыбке: ему и в голову не приходило затевать ссору с вошедшим — из-за кого, из-за проститутки? Богуша все интересовало в городе — внешне пышном и величественном, а в глубине своей таком же, как все города на свете, люди тоже: он встречался уже, торгуя и отдыхая, с армянами, поляками, евреями, а русина видел только одного — на своей телеге по дороге из Теребовли. Ты русин и не разбойник? Богуш засуетился, словно хозяин дома, достал с полки чистый бокал, подошел к Арсену, взял за плечо, потащил к столу.

— Садись, джан, садись! Я второй раз в вашем городе, но, считай, впервые, ибо тогда только витал над шпилями замков и куполами церквей, словно над эдемом, а теперь спустился на дно и хожу по нему уже две недели и с первого дня завел знакомство с пани Ханкой. Со дна иначе видишь мир, чем с неба... Я думал — плохой Амстердам, я думал — плохой Эривань, а Кафа — самый плохой, а теперь вижу, всюду одинаково, всюду одинаково... Мой друг Хочерис в золоте купается, на застекленном балкончике на солнце и зимой греется, горячие трубы обогревают снизу его пол, а под ним, в подвале, тараканы едят детей бедного ткача Авачека, зимой же его дети чуть ли не превращаются в сосульки... Везде то же самое... Пей, музыкант! Не хочешь, музыкант не пьет? Так сыграй — мы, армяне, любим музыку и грустные напевы... Я богатый купец, у меня есть все, но я был беден, очень беден, — он обвел глазами комнату, — и знаю, что такое нищета, знаю... А где ты живешь? Ах, ты не живешь, ты играешь...

Богуш Ованесян налил в бокал густого красного вина, пил и все больше пьянел. Ханка подбивала его, чтобы больше пил и скорее уснул, и рада была, что Арсен не пьет, — ведь он такой знаменитый клиент: пылкий и денег не жалеет... Но армянин был крепким, сон его не брал, он завел длинный разговор о своих купеческих делах. У Богуша десять возов шелка и ковров, этот товар ушел за два дня, однако он привез и селитру, надо про-

дать сорок возов, и почему не покупают бургграф, староста, непонятно, разве им не нужен порох? Но черт с ними, пускай стреляют просом... Богуш лишь бы только складской срок отбыл[1], — во Львове, слава богу, он длится не так долго, а тогда отправится в Олеско и продаст там уже все оптом правителю Олесской земли.

— Ивашку Преслужичу? — невольно вырвалось у Арсена.

— Какому Ивашку, какому Преслужичу? А-а, знаю: какие-то разбойники захватили было Олеско, но их уже оттуда изгнали или должны изгнать... Завтра-послезавтра туда едет с королевским отрядом настоящий правитель, вчера он приходил ко мне, грамоту старосты показывал, чтобы я не сомневался... О, Давидович — это большой пан, хотя и русин! Ты чего вскочил, садись... Знаешь Давидовича? А почему тебе его не знать?.. Ему нужен порох, да еще сколько...

— А ты откуда знаешь Давидовича? — сдерживая тревогу, спросил Арсен.

— Бог добрый... В Теребовле подсел к моему каравану такой себе толстый пан — опришков, говорит, боится, а они купцов не трогают... Я спрашиваю, кто он, а панок шепчет мне на ухо: когда закончишь складской срок, я буду старостой Олеско...

Арсен, стараясь быть спокойным, осторожно поднялся, потер рукой глаза, сказал Ханке:

— Вспомнил о старосте... Я и забыл, заговорившись, что мне на службу пора. Вечером, когда все разойдутся из бани, я загляну к вам, пани.

— Только не забудьте. Вы еще и вина не попробовали...

Арсен стремглав сбежал по ступенькам вниз. На улице остановился. Он не знал, не мог понять, зачем Давидович приехал во Львов из Теребовли, что происходит в Олеско; теперь он не думал об Орысе, мозг сверлила только одна мысль: против Ивашка Рогатинского и всех, кто там, готовится заговор, и долг его чести — если не поздно — предупредить олесчан о предательстве.

Вечерело. Зайти к Владыке, сказать? Направился было на Русскую, но круто повернулся и поспешно подался к Татарским воротам, пошел по Волынской дороге об-

[1] В городах, у которых существовало складское право, купцы вынуждены были продавать свой товар в течение определенного магистратом срока.



ратно туда, откуда пришел два года назад и куда поклялся никогда больше не возвращаться.

В понедельник рано утром на Рынок торопились удалые купцы, обгоняли друг друга — каждый хотел занять на площади место получше. Сегодня должна быть большая ярмарка. Кто-то, самый прыткий, первым прибежал

на площадь и, не дойдя до кафских возов с селитрой, в ужасе остановился. На мостовой лежал мертвый купец. Подошедший по одежде узнал в нем караван-башу Ованесяна.

Он был синий, с обезображенным лицом — голодные вороны выклевали ему глаза, теперь они низко летали над площадью, переворачивались в воздухе и падали вниз.

Оторопевшие люди собирались вокруг, боясь подступить к трупу, возле него чернели с распростертыми крыльями галки, сердца людей охватила тревога. Городской палач с повозкой, на которой всю ночь вывозил падаль из города, подошел к мертвецу, наклонился и, выпрямившись, закричал — страшный в своем черном капюшоне с прорезями для глаз:

— Мор! Мор!

Толпа на миг онемела, и вдруг ужасный крик потряс стены, купцы бежали куда глаза глядят от этого страшного места, сбивали с ног друг друга, тащили за собой товар и оставляли его по дороге; площадь вмиг опустела, только затоптанные до полусмерти люди скулили, плакали, ползали по мостовой, чтобы подальше быть от погибели — страшнее той, какая их тут уже настигла.

В это время в грязной комнате на чердаке ветхого дома в еврейском квартале умирала, теряя сознание от нестерпимой боли, проститутка Ханка, зараженная страшной болезнью, она корчилась в муках на полу и взывала к глухим стенам:

— Шимоне! Шимоне, сыночек мой!

В понедельник рано утром в резиденцию Одровонжа прискакал на взмыленном коне единственный уцелевший рыцарь из королевского отряда, разбитого в прах под Олеско.

— Вельможный староста, все убиты! Давидовича повесили...

Русинский староста знал уже о чуме — ему запрягали бричку; князю Яну из Сенна Одровонж приказал вывести войска с Высокого и Нижнего замков в Голоски.

— Князя ко мне! — крикнул староста. — Все войска направить на Олеско! Сжечь дотла! Уничтожить до последнего камня!

А город бурлил и шумел, на соборных звонницах трескались чаши колоколов, хрипела труба на ратуше; возле Галицких и Татарских ворот сбились телеги; при-

езжие люди перелезали через стены; от Латинской калитки рванула крытая бричка, промчалась мимо корчмы Кноффеля через мост на Сокольницкую дорогу — братья Одровонжи бежали в Городок.

По Волынской дороге двигалось пешее и конное войско во главе с Яном из Сенны — двинулась шляхта громить последнюю твердыню Галицкой Руси.

В мастерской Симеона Владыки на Русской сидели и стояли цеховые мастера: мечники, жестянщики, резники, пекари, седельники, художники. Пришли на совет к старому кунштмайстру.

Художник Хойнацкий вздохнул, нарушая тяжелую тишину.

— Арсен сбежал... А мы?

Симеон Владыка молча и спокойно смотрел на встревоженных ремесленников, остановив взгляд на Хойнацком, тихо сказал:

— Не верю, чтобы Арсен испугался мора. Арсен там, где ему надо быть... А мы куда? Никуда. Два раза не умирают. Как это так — бросить Львов? Что мы без него, а он — без нас?

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

ТУ ПИР ДОКОНЧАША

Черная лента, которой Ивашко подвязывал волосы, врезалась в набрякшее чело. Гнев и тревога затуманили глаза боярину; расталкивая руками землянинов, он подошел к порогу и, взявши Арсена за лацканы туники, стал трясти его.

— Зачем пришел сюда и что тебе известно о Давидовиче? Только правду, скоморох, правду говори, ибо одной смерти будет мало!

— Правду сам узнаешь, — Арсен не мигая смотрел в глаза Ивашку, — только не медли, боярин. Я через вал перелез — строго стерегут входы в город твои воины, только твоему свату дорогому путь сюда открыт. А ты выйди — встреть его, да не на Браме, а с львовской стороны: идет он к тебе в гости с королевскими войсками и с грамотой Одровонжа на олесское староство!

— Измена? — прохрипел Ивашко. — Такая черная измена?.. Хоругвь... Две хоругви! А этого вестника — в каземат.

Никита и Галайда, оставив кружки на столе, выбежали из дома скорняка на звуки трубы. Давно не трубили в Олеско: поход или осада?

На площади над Галайдовым морем вмиг собралась толпа. На помост взошел Ивашко Преслужич. Его суровое лицо было спокойно; слабость и усталость оставили его, и Осташко подумал, глядя на него, что решительность пришла к боярину хотя и поздно, но навсегда.

— На валы! Сушите порох! — громко командовал староста. — И стоять насмерть — отступать уже некуда.

Галайда бросил клич ремесленникам — горожане группами расходились к башням; Никита что есть духу побежал в замок. Вскоре на коне, вооруженный, в своей хоругви выезжал за Пушкарские ворота.

Ратники шли не спеша и настороженно: за Юшковичами Ивашко остановил коня и стал всматриваться в даль поля, где на горизонте поднялись столбы пыли.

— Идут... Много... Одна хоругвь — в обход!

Пыль подкатывалась все ближе и ближе, шлемы поблескивали на солнце; колонна остановилась, вперед поскакали четыре всадника.

Преслужич уже видел обрюзглое лицо Давидовича; хоругвь Ивашка преградила дорогу, но судья, видимо, не подозревал ничего худого — горемычный отец вышел встретить дочь — и еще издали стал улыбаться свату. Ивашко впивался взглядом в каждого всадника, но ни на одном коне не обнаружил Орыси, и мурашки пробежали у него по спине: оставил заложницей?

— Челом тебе, сват, — Давидович, льстиво улыбаясь, поравнялся с Ивашком. — Как я рад, что ты вышел мне навстречу, — он пристально окинул взглядом хоругвь, прикидывая на всякий случай количество ратников.

— Где Орыся? — глухо спросил Ивашко, не отвечая на приветствие.

— Немного приболела... Я завтра пошлю за ней и Адамом рыдван...

Ивашко исподлобья посматривал на Давидовича, который невинно улыбался, и раздумывал, все еще не веря, что Арсен сказал ему правду.

«Неужели он мог... Но почему в один и тот же день — королевское прощение и письмо от него? Мы бы выехали к Одровонжу за документами на землю, а он тут... А если бы и не выехали — ночью уничтожил бы всю охрану...

Но нет... разве этот толстяк отважился бы на такое?»

Боярин спокойно размышлял, остановив взгляд на бычьей шее Давидовича, которую сейчас затянет петля, если это правда.

— Чего ты печалишься, сват? У Орыси голова болит, и только. Пожалел я ее и не разрешил ехать верхом... Давай же, Ивашко, пожмем друг другу руки в знак нашего вечного согласия, — протянул судья правую руку, ратники плотно сбились позади него.

— А что это за пыль на горизонте? — показал Ивашко на запад.

— Несколько моих людей, дорога сейчас опасная, — насторожился Давидович.

Ивашко слез с коня.

— Да ты большой круг сделал, аж на Волынский шлях тебя занесло. Я ждал тебя у Брамы.

— Неспокойно на той стороне, сват, очень неспокойно, — забегали глаза у Давидовича: слишком допытывается Ивашко, но он ничего не подозревает, ведь ратник, который привез ему письмо, говорил, как плакал Ивашко и просил, чтобы судья скорее приезжал с дочерью.

— Так слазь, поздороваемся и забудем о наших обидах, — развел боярин руки.

Давидович поднял ногу, вторая застряла в стремени — неповоротлив стал судья.

— Я помогу тебе, — подошел Ивашко, кивнул своим ратникам и неожиданно дернул толстяка за пояс, даже хрустнула нога в стремени; ахнул судья, падая на землю; возле каждого из ратников Давидовича оказалось по два-три ратника Ивашка; Ивашко Преслужич схватил судью за горло.

— Покажи мне грамоту на староство, — стал ощупывать одежду Давидовича, пока за подкладкой кунтуша не обнаружил тонкий свиток, разорвал полу, вытащил сверток, развернул его.

Два ратника подняли с земли Давидовича, у него от страха глаза вылезли из орбит, с толстых губ капала слюна; судья надеялся, что грамоту прочитают не сразу, а королевский отряд, заметив что-то неладное, уже двинулся.

— Проклятая латынь! — заскрипел зубами Ивашко. — А ну-ка, любомудр, прочитай быстро, — подал свиток небольшого роста мужчине, сидевшему на коне среди ратников; Давидович узнал в нем Каллиграфа.

— Пощади! — воскликнул судья, падая на колени, все еще пытаясь выиграть время: топот приближался.

— Никита! — крикнул боярин. — Скачи что есть мочи к тем, что пошли в обход, и уничтожить их всех до одного! До единого!.. — показал на катившуюся со стороны горизонта пыль. — Постой, возьми еще нескольких ратников, и гоните в Теребовлю! Запалить все, а Орысю, Орысю...

— Будь спокоен, боярин! — пришпорил Никита коня. Ратников Давидовича казнили на месте; обе хоругви Ивашка напали на польский отряд с двух сторон.

Преслужич оглянулся вокруг и остановил свой взгляд на ветвистом осокоре. Взмахнул рукой. Через минуту тучное тело Давидовича раскачивалось на дереве.

Только один королевский всадник проскочил мимо осокоря, скача галопом по Волынской дороге на Львов. Ивашко не разрешил преследовать его: пускай сообщит обо всем своим панам.

Розовощекий Адам сегодня, как и каждый день утром, стоял на галерее возле окошка, поглядывая, кто из слуг проспал, чтобы потом наказать голодом или плетью. Без этого утреннего ритуала, как монастырскому послушнику без молитвы, ему не лез в рот завтрак, а слуги бегали по усадьбе с раннего утра, потому что страшно было попадаться на глаза пану, у которого на щеках девичий румянец, а зрачки — словно гвозди, и в них таится бездушная жестокость.

Он увидел: на подворье ворвались всадники, но не испугался, как в тот раз, когда неожиданно приехал отец; обрадовался Адам — старик уже расправился с Ивашком и прислал за ним, чтобы ехал в Олеско, — там в безопасности переждет, пока все утихомирится; выбежал на порог — и онемел: два черных мужика схватили его, скрутили назад руки и связали веревкой.

— Веди к Орысе! — прошипел Никита над ухом Адама и втолкнул его в галерею.

У Адама подкашивались ноги, но Никита подталкивал его — должен идти; гончар, чтобы не поднимать лишнего шума, открывал перед Адамом одни, вторые, третьи двери, и наконец они оказались в комнате, посреди которой стояла бледная, изможденная женщина с большими синими безжизненными глазами, в которых

ничего не отражалось, кроме страха загнанного зверька.

Никита присмотрелся и только по глазам узнал дочь Ивашка Рогатинского. Неужели это та самая красавица Орыся, на которую когда-то заглядывались все, любуясь ею, когда вместе с отцом приходила в церковь или на базар в ярмарочные дни?

Орыся глядела на ратника глазами, полными ужаса, не знала, что хотят сделать с ней, дрожала, и когда Никита произнес: «Одевайся быстрее, я отвезу тебя к отцу», — она даже не шелохнулась.

Жалость сжала сердце Никиты: что они тут сделали с тобой, бедняжка!.. Он сам набросил ей на плечи какую-то одежду, а потом повернулся к Адаму и изо всей силы ударил его тяжелым кулаком по голове.

Ратники вынесли Орысю, посадили на коня Никиты, придерживали ее, ибо она чуть было не упала, теряя сознание, пока наконец поняла, что к ней пришла нежданная свобода. Никита выволок Адама во двор, челядь столпилась возле казарм, где сидели вооруженные стражники имения Давидовича; Никита крикнул слугам:

— Подневольная челядь жестокого изменника! Вот перед вами ваш пан, — толкнул он ногой Адама, лежавшего на земле с вытаращенными глазами. — Не мы ему судьи, а вы. Милуйте или карайте, только воздайте хозяину по заслугам!

Мчались галопом назад с едва живой Орысей. Никита все время поглядывал на нее, крепко держа рукой; глаза Орыси были грустными, а на губах — улыбка.

«Матушка, святая богородица, не помрачился ли у нее разум?» — подумал Никита.

В чистом поле их настиг гул — он доносился со стороны имения судьи. Оглянулись, не останавливая лошадей: на околице Теребовли поднимался в небо столб дыма, а в просветах меж деревьев в темном саду вспыхивали языки пламени.

После полудня примчались в Подгорок. В селе было тревожно. Поселяне стояли толпой на толоке, советовались. Из Львова движется огромное войско, а Януш Подгорецкий со своим отрядом исчез.

— Что в Олеско? — спросил Никита у людей.

— Галайда уводит женщин, стариков, детей в Гаварецкие леса, — ответил тиун. — А боярин ждет вас.

...В светлице перед постелью, на которой лежала с закрытыми глазами Орыся, стоял на коленях Ивашко Ро-

гатинский, никто не мог сдвинуть его с места, а люди ждали приказа. Отец гладил черные волосы дочери и шептал:

— Одно только слово скажи, доченька: «Ты самый сильный на свете», скажи... Для меня сейчас важны эти слова...

Позади него стояли Никита и Осташко. Прискакал гонец из Пушечной: польское войско уже близко. Каллиграф решительно положил руку на плечо боярина.

— Она будет жить, Преслужич. Разреши внести ее в замок — там безопаснее. А ты иди к ратникам — их уже охватил страх.

— Страх? — поднялся Преслужич. — Поздно бояться. Пора уже смерти посмотреть в глаза. Занести ее в скарбницу[1]. И не отходи от нее, Осташко... Арсена выпустите из тюрьмы, поклонись ему от меня. У него есть еще время оставить Олеско.

— Арсена... — шепотом произнесла Орыся. — Разве живет еще на свете Арсен? Это же так давно-давно было...

Осташко сам открыл тюрьму.

— Выходи, Арсен...

Смотрел на смуглое лицо гусляра, в длинных усах его пробивалась седина, а когда-то беззаботные скоморошьи глаза стали серьезными. Таким не знал его Осташко, это не тот гусляр — «где пиво пьем»... Каллиграф сказал твердым голосом:

— Ты свободен. Можешь уйти отсюда через Браму... Ивашко передает тебе свой поклон. Уходи. Завтра ты уже отсюда не выйдешь.

— Где мои гусли? — спросил Арсен.

— Ты пришел с пустыми руками...

— Да, да... Я пришел к вам с пустыми руками. Но в моей груди еще есть сердце... Говоришь мне — уходи? А когда-то ты сказал мне, что не только мечами воюют. Почему же сейчас не скажешь этого?

— Хочешь пролить кровь за Ивашка?

— За землю русскую. За веру православную.

Арсен больше не колебался. Как воспоминание промелькнула перед ним вся прожитая жизнь, и теперь понял, где и когда избавился от страха, который сопровождал его на длинном пути: отступил он перед самым тяж-

---

[1] Скарбница — место, где хранились ценности (*укр.*).

ким страхом — ничтожностью, подлостью, мизерностью, посягавшими на его душу. Разве страшно идти вместе со своим народом на смерть за свободу своей Отчизны? Страшно быть отброшенным ею и влачить, как червь, жалкое существование среди врагов своих!

Из цехгауза выступало войско — тяжелое, вооруженное, суровое. Уходили ратоборцы из замка на Бродовскую дорогу — к Браме, где будут стоять до последнего вздоха.

Арсен спросил Осташка:

— Жива ли она?

— Жива. В замке Орыся.

Выпрямился, привычным жестом потянулся рукой к левому плечу, но гуслей не было. Тогда, оставив Осташка возле тюрьмы, шагнул вперед и смешался с ратниками, и тут же зазвучал его звонкий голос:

Ой, із-за гори та кам'яної
Виступало велике військо.
Пан Іван іде, коника веде,
Хвалиться конем перед королем:
Нема в короля такого коня,
Як у нашого пана Івана!

Шесть сотен ратников подхватили песню Арсена, и удесятерились их силы, потому что защитников должно быть больше: на ожидовских и кутковских полях и в кустарниках на сухой земле разлилось море врагов — десять на одного.

Нема в короля такого коня,
Як у нашого пана Івана!

Староста Олесской земли — высокий, плечистый, в шлеме и латах — стоял над аркой и шестопером указывал на Браму. Он видел Арсена и думал о песне, которую трижды пели ему в жизни: королевскому леннику, Свидригайлову боярину и запоздалому князю, получившему клейноды перед смертью.

А песня переживет его, подхватят ее другие, и добьются того, чего не могли добиться они, и вспомнят мертвых.

Мертвые сраму не имут.

— Давид, садясь, клал персты на живые струны, мы же берем перо скорописное, чернила, бумагу и слагаем письмена... Последние письмена...

В скарбнице — самом глубоком подвале Олесского

замка — на столике горит свеча. Осташко макнул перо в чернила, перевернул страницу толстой книги и оперся головой на руки. В углу на кресле, закутавшись в бараницю, сидит Орыся.

— Что вы шепчете, Каллиграф?

— Вспомнил... Стихотворение вспомнил из одной святой книги... Я им начинал писание свое. Это было недавно, а летопись уже кончается — осталось только несколько чистых страниц в моем манускрипте. Насыщенное было время — день стоил года.

«Сказал Свидригайло Юрию Онцифировичу Новгородскому: тамо ватага опришков засела, а ты хочешь войско посылать. Дай его мне, я разгромлю Сигизмунда и во православие обращу Литво-Русь. И произошла битва под оными Ошмянами, и снова проиграл Свидригайло. Тут был уничтожен отряд гуситов, а Сигизмунд Корибута, который вернулся во своя, был убит. Юрий же повернул остатки своих войск в Новгород...

Мы защищаемся уже третий месяц, приближается зима, а вместе с ней и наш конец. Запасы оружия и еды исчерпались, помощи ждать неоткуда. Януш Подгорецкий изменил Преслужичу в самом начале последней битвы, теперь он яростно сражается на стороне Яна из Сенны, который завтра-послезавтра станет старостой замка и Олесской земли. Сбежал неизвестно куда Демко из Ожидова. Погиб на валах Костас Жмудский. Вечная память умелому и бесстрашному рыцарю гончару Никите, который вчера, когда пробили стену в арсенале, оказался один против армады королевских войск, отважно сражался с ними, многих врагов уложил своим мечом и сам упал лицом к врагу. Олеско догорает. Нас осталось неполных две сотни за рвом — в замке и еще сотня — на Браме. Скорняк Галайда с отрядом ремесленников ушел в Вороняцкие горы. Арсен в полном снаряжении ждет последнего боя. Завтра-послезавтра...

Последние мои записи... Не отравил я мысли свои ложью. Капля за каплей я описал всю эту страшную и неприукрашенную правду о том, что происходило на нашей многострадальной земле, и сам неотступно находился среди людей, которых с каждым днем становится все меньше и меньше. Вот я откладываю в сторону перо. Окрепли мои руки, не замирает теперь мое сердце при виде красной крови, пора и мне на стены замка. Оставляю эту летопись Орысе, может, женщину не убьют палачи...»

Глаза у Орыси спокойные, как и у всех, кто остался в замке.

— Осташко, я уже здорова. Почему Арсен не приходит ко мне? Он еще живой?

— Живой, Орыся. Арсен сегодня придет к тебе. Отец разрешил ему попрощаться.

Далеко в подземелье раздались чьи-то шаги. Кто-то идет в скарбницу. Заскрипела низкая полукруглая дверь.

— Арсен!.. Почему, почему ты так поздно пришел?..

— Я же говорил, что не умру, пока не увижу тебя...

Осташко отвернул голову, всхлипнул.

— Пойдите, — сказал. — Побудьте еще немного на свободе... На Браме наш отряд. Иди, Орыся, попрощайся с матерью. Идите обое...

— Кладбище! — вскрикнула Орыся.

...По широкому миру ходил Тристан и прибился в Олесскую землю. И снова, как прежде, рыдала Изольда над могилой матери, а он стоял позади и узнавал ее — дорогую и непознанную.

— Пойдем, Арсен, — промолвила, поднимаясь с колен. — Вон сосна на холмике за кладбищем — под Гаварецкой горой. Там я твоей буду.

В изголовье жесткая от изморози трава, отяжелевшие седые ветви сосен в ночных сумерках склонились к земле, заслонили от света.

— Ты видишь — белый конь стоит на вершине горы...

— Это туман, любимая, это утренний туман...

Арсен поправил кожушок на Орысиных плечах, укутал ее, поцеловал в лоб.

— Поспи еще немного... Чистая моя, нежная моя...

Сквозь ветви сосен виднеется черный силуэт замка, еще спит внизу вражеский лагерь.

Ныне или завтра? Там тихо, отдыхают.

Пусть еще немного продлится первая брачная ночь и любовь.

— Нет никого на свете красивее тебя.

А уже пора, скоро рассвет.

Это не туман, это белый конь стоит...

Еще немного... Еще немного погоди, любимый. Ведь поцелуй на погосте — это вечная разлука.

— Надо возвращаться...

Утром воины Яна из Сенны начали наступление на

Браму. Через пожарища тугим плотным клином повалили конные и пешие рыцари, и было их тысячи, тучи стрел, копий и камней падали на сотню ратников, защищавших Браму; оттуда загрохотали гаковницы и засвистели стрелы, падали королевские рыцари, но их было много — ворота свалили голыми руками, без таранов. Отряд вступил за крепостной вал. Подняли мосты. Началась последняя битва.

Весь день штурмовали войска Яна из Сенны замковые валы, хотели взять молниеносно, но осажденные уже не щадили ни пороха, ни стрел — много полегло польских рыцарей, и поэтому они отступили. К вечеру возле валов уже стояли тараны. Во вражеском стане трубачи затрубили отдых.

Вечером в скарбницу зашел Ивашко.

— Пора, — сказал.

— Куда, отец? — встрепенулась Орыся.

— Вы не должны умереть — ни ты, ни Осташко. А завтра последний бой, и нас не станет. Ты, Осташко, отдашь людям свою летопись, а Орыся...

— Татусь! — прижалась дочь к отцовской груди. — Я никуда не пойду отсюда, я не боюсь остаться тут... с вами. Там — боюсь...

Ивашко освободился от объятий дочери, погладил ее по лицу, она вдохнула запах отцовской руки, задержала ее, как когда-то, в детстве. «Не надо, доченька», — сказал он и, отцепив от пояса ключ, подошел к стене. Стена открылась, из глубокой ямы повеяло холодом.

— Это сруб колодца, из которого мы брали воду, — говорил Ивашко. — Видите веревочную лестницу? По ней спуститесь на глубину пятидесяти локтей, а там увидите отверстие в половину моего роста, через него войдете в подземный ход. Ход длинный и прямой. Выйдете возле Теребежа, за Бродовской дорогой.

— И ты уходи, отец, и все воины! — умоляла Орыся.

— Для нас уже нигде нет ни жизни, ни свободы, доченька. Так не покроем себя в последнюю минуту позором бегства!.. Собирайтесь.

— Князь, — сказал Осташко. — Разреши позвать Арсена.

— Зови.

Они стояли друг против друга — и Орыся решительно произнесла:

— Не пойду я, отец! Ты однажды уже разлучил меня с ним, но теперь уже больше никто не в силах разлучить нас.

Осташко подошел к Преслужичу, поднял голову, посмотрел в его опечаленные глаза.

— Князь, я хочу тебе посоветовать, как выйти из безвыходного положения. Не смерть страшна, а бесследность. Так пусть останется след на земле. Пусть идут на волю те, кто продолжит твой род. Они сыну когда-нибудь расскажут о нас, научат нашим песням, сын же дальше передаст, и памяти о нас не будет конца... — И обращаясь к Арсену: — Возьми, Арсен, мою летопись — в ней правдиво описана многострадальная жизнь русинов. Иди с Орысей на север и там, где над тобой не взмахнет своим крылом католическая чума, куда не донесется смрад Свидригайловой измены, зайди в монастырь и оставь мою книгу у игумена. Оживут когда-нибудь мои слова, и новый пилигрим возьмет их с собой. Были до нас и после нас родятся новые борцы и летописцы.

Арсен смотрел на Орысю, в ее глазах светилась свобода, которую еще в эту минуту он может получить. А получив, будет продолжать жить скоморохом и искать для себя нового смысла в жизни? Какого смысла, когда он уже тут найден? Нового спасения от угрызений совести? А Орыся не упрекнет ли тебя когда-нибудь за то, что ты — сильный и молодой — оставил умирать вместо себя на валах немощного Осташка?.. Я долго шел сюда... К Орысе? И к ней... Но есть на свете, есть самая сильная любовь, перед которой никнет все другое. И лишь ей одной изменить нельзя, ибо тогда не будет у тебя ни любви, ни уважения, ни жизни...

— Вам уходить, — сказал Арсен.

Он обнял Орысю и хотел еще сказать ей, чтобы назвала его именем... Но промолчал, ибо и так было слишком тяжело.

Отец прижался к срубу головой, не оторвался от него и тогда, когда руку ожег поцелуй дочери.

А когда в глубине колодца исчезло пламя свечи и звучно бряцнула дверь в тайный ход, Преслужич сказал:

— Выспись, Арсен. Завтра умрем честно.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

И БУДЕТ ТАК

Трубы разорвут тишину, и на вершину горы, где стоит белый конь, выйдет Мария оплакивать мужа. Услышит ее плач Галайда и подастся с отрядом мстить, и будет ходить от села к селу, оставляя за собой черные пожарища на месте панских владений.

Тараны пробьют последнюю стену, и озлобленные длительной осадой шляхетские изверги ринутся с победным криком и сомнут две сотни русинских ратников, защищавших валы.

А несколько отроков из Ивашковой охраны, готовые ко всему, будут ждать во дворе, пока упадут последние, кованные железом дубовые ворота. Уже не будет у них ни стрел, ни пороха, ни смолы, только боевые молоты и мечи.

Упадут ворота, и выйдет вперед стройный усатый парубок, не умеющий орудовать мечом. Он отбросит меч и схватит молот и с дикой жестокостью будет бить им по шлемам — в последний раз мстя за краковские кривды, за львовский позор, за веру православную, за русскую землю, за Орысю и за свою жизнь. И никто не подступится к нему, враги десятками будут падать под его ударами на мостовую, пока не окружат его тесным кольцом и не поднимут на копья.

И вспомнит он в последний момент лишь замерзшую Стырь, стебли жухлого камыша над снегом и девушку в белом кожушке и в ярком большом платке с длинной бахромой, и дорогой ему образ Орыси исчезнет навсегда в темном мареве...

А Ивашко Рогатинский погибнет последним — на самой вершине башни, у белоснежного стяга с золотым львом.

А потом, за Бродами, Осташко и Орыся нагонят старца Гавриила, потерявшего руку и глаз в боях под Грюнвальдом, и двух слепых, которым выжгли глаза крестоносцы, и коломенского старика, отдавшего при князе Дмитрии обе руки на Куликовом поле. И пойдут вместе — то молча, то с песнями — в далекую северную землю, куда не распространился мор, и в Смоленске Осташко отдаст свою летопись игумену.

А след Орыси затеряется где-то. Да кто знает... Мо-

жет, ее правнук станет кобзарем. И будет он петь о грозных походах казаков, которые утопят в гнилом болоте чужую, навязанную веру. Ибо наступит час, и в этом замке, ныне превратившемся в руины, родится орел, по имени Зиновий, по прозвищу отца Хмель, и назовет его народ Богом Данным, и на той самой вершине, где сейчас стоит Ивашко Рогатинский, водрузит он победный малиновый стяг.

Будет...

Звуки труб разорвали тишину. Белый конь встрепенулся, у него вздыбилась грива, он поднял голову в сторону багровой полосы горизонта и ударил копытом. Захрустела жесткая трава, посыпались иглы сосен, белый конь мчится по Вороняцкому хребту, и под его копытами стонет замерзшая земля.

...Занимался рассвет, крошилась сталь на куски, розовый дым из гаварецких печей струился к небу, ломались мечи и падали долу, чтобы потом превратиться в красный песок, лилась кровь, на которой когда-то вырастут кусты калины, усеянные красными ягодами...

Конь скакал на восток. Сквозь дни и ночи и века — белый неоседланный конь на фоне пылающего солнечного диска.

Львов — Олеско

1974—1976



МАНУСКРИПТ С УЛИЦЫ РУССКОЙ

ОТ АВТОРА

Я знаю: не все поверят тому, о чем сейчас расскажу, да и в самом деле это может показаться уж слишком фантастическим.

А было это так.

Кто-то из хозяев нашего города задумал в темном, квадратном, глубоком, как огромный колодец, дворе на Русской улице (там на стене и ныне красуется барельеф: пьяный маскарон жрет гроздь винограда) расчистить, как говорят археологи, пласт средневекового подвала, в котором на рубеже XVI—XVII столетий находилась не очень-то известная, ибо для простого люда, корчма Лысого Мацька (знаменитая, аристократическая, была в подвале Корнякта, о ней будет речь позже), чтобы построить там еще одно вечернее кафе, которых во Львове не так уж и мало.

Это намерение не было осуществлено. Кто-то из высокопоставленных хозяйственников приказал: «Прекратить!» Однако работы какое-то время продолжались, а я, увлекаясь стариной, наведывался туда частенько.

Рабочие выбрасывали горы мусора, глины, разного хлама, пролежавшего в подвалах более трехсот лет, расчищали подход к огромной стене, отделявшей корчму Мацька от соседнего жилого дома. И вот однажды услышал я лязг лопаты, ударившейся о металл. Я подошел к стене (рабочие приняли меня, очевидно, за архитектора или художника, которому поручено оформление кафе) и увидел в ней квадратную железную дверцу с ржавым замком, развалившимся от удара лопатой. Дверца приоткрылась, кто-то из рабочих, смеясь, крикнул: «Хлопцы, клад!» Я заглянул в темную нишу, увидел там большой черный сверток, достал его оттуда. Сухая истлевшая кожа, наверное юфтевая, расползлась в моих

пальцах, и передо мной оказался настоящий клад — свиток мелко исписанной бумаги.

Не судите меня строго, я отнес сверток не в музей, а домой, и мне кажется, что вы поступили бы так же...

Не помню, что я сказал рабочим, да и моя находка не так уж их интересовала, ведь это не старинные монеты и не посуда. Ну а я днем и ночью, словно анахорет, просидел более месяца в своем кабинете над истлевшими страницами с водяными знаками брюховецкой бумажной фабрики, снабжавшей бумагой ставропигийскую типографию, и напряженно вчитывался в своеобразную летопись какого-то мещанина (возможно, самого Лысого Мацька), в которую он время от времени, но со скрупулезностью средневекового ростовщика, на украинском, иногда на польском языке записывал все расходы и приходы — до мельчайшей монеты, а также выдающиеся события, происходившие во Львове. Первая запись датировалась у него 1586 годом, последняя — 1611.

Были здесь сведения о самых разных вещах: что взял в залог за ссуженные деньги, сколько и на что израсходовал за день, когда вспыхнула во Львове эпидемия проказы, кого и за что судили в магистрате. Летописец с восторгом описывал амурные похождения львовских дам, выражая свою неприязнь к патрициям и благосклонность к простолюдинам, которым одалживал деньги или отпускал вино в кредит. Описывал военные парады, в частности торжество в честь взятия Смоленска польным гетманом Жолкевским, кровавые экзекуции на лобном месте перед ратушей; много внимания — с явной симпатией к православным — уделил Брестской унии, осуждал деятельность иезуитского ордена во Львове; как видно, автор был тесно связан с Успенским братством по торговле книгами, о чем свидетельствует запись: «Сегодня приехал во Львов мних Иван из Вишни, купил у меня пять Псалтырей». Попадались и такие странные записи: «Барон встретился с чертом и продал ему свою душу», «На Кальварии в эту ночь происходил шабаш ведьм»; о демонических силах он писал как о чем-то реальном, хотя не раз он иронически замечает, что чаще всего встречаются с ними пьяницы. Много пишет о себе: как получил право на жительство во Львове и как впоследствии разочаровался в прелестях городской жизни. Вначале летописец оценивает все с точки зрения денег — до скаредности: сколько тратит денег на жену,

сколько на сына. И вдруг встречаешь такую неожиданную запись: «Деньги погубят совесть и разум». И все время вспоминает мещанку Абрекову и ее дочерей, очевидно соседок, — то с раздражением, то с теплотой, а то с иронией.

Таким образом, передо мной вырисовывался характерный тип средневекового мещанина и его окружения.

Несмотря на то, что я кое-что знаю об этой эпохе, эпохе, когда борьба православного люда против католицизма приобрела антифеодальную окраску, манускрипт открывал мне совсем незнакомый и интересный мир средневекового города. С пожелтевших страниц вставали передо мной люди с их способом мышления, с их верой, психологией; я читал-перечитывал рукопись и постепенно сам становился как бы современником описываемых событий, понимавшим людей тех времен, их аллегории, символику. Я выписывал самые интересные отрывки, потом решил снять копию, а оригинал отнести в музей. Но однажды...

Это был необычайно тяжелый для меня день. Я вошел утром в свой кабинет и увидел, что манускрипт сильно пожелтел, даже почернел. Взял пальцами одну страничку — она рассыпалась, вторая — тоже, третья... и так почти все несколько сот страниц.

Это было мне в наказание за жадность, я лишь потом додумался, что рукописи, пролежавшие долгое время без воздуха, сначала подвергают химической обработке, а потом только пользуются ими. Кислород съел мой манускрипт, и я совершил, не желая этого, преступление перед человечеством.

Теперь я обращаюсь к своей скромной памяти (страниц осталось буквально полтора десятка, выписок я сделал немного), чтобы восстановить то, что я узнал из манускрипта. И пусть простит меня читатель, если где-то, вместо летописной строки, я, не в силах воссоздать ее краткости, сам сочиню десять, сто, а возможно, и больше, что некоторые места совсем не припомню и нарушу временнýю последовательность изложения событий. Но главное я вижу для себя сейчас в том, чтобы воссоздать дух того времени, стремления, чувства, характеры людей теми литературными средствами, которыми пользовался летописец, включая и демонологию, ибо хорошо понимаю: ничто из того, что было, не должно быть утрачено для современного человека.

Этим трудом я хочу искупить свою вину. Мне горько, что так случилось, но во сто крат мне будет горше, если кто-нибудь усомнится в моем признании. Ведь подумайте сами: если бы во время раскопок я не оказался случайно возле подвалов Лысого Мацька, если бы на Русской улице не нашел манускрипта, смог бы я предложить вашему вниманию эту книгу?

ГЛАВА ПЕРВАЯ

ЧТО СКАЖЕТ НЫНЕ АБРЕКОВА?

Года 1611, 26 июля. Бессонную ночь провела Абрекова, и поделом ей, давно надо было заняться своими беспутными дочерьми, особенно младшей, возбудительницей общественного спокойствия. Всем известно: все началось из-за Льонци, что кто-то каждую ночь приклеивал над окном Абрековой листки, призывавшие к дебоширству, и поэтому магистрат поставил ныне возле ее дверей двух стражей с секирами, чтобы на улице предупредить дискреции[1], поскольку в городе должно состояться готовящееся магистратом большое лицедейство.

Из манускрипта

Абрекова давно поняла, что жить ей спокойно не дадут. Пятнадцать лет назад за старшей дочерью Ганной, которую на Русской улице почему-то называли Гизей, молчаливой и стройной, как конопля, с томным загадочным взглядом и пышными черными волосами, закрывавшими лицо и оставлявшими открытыми только печальные глаза, тонкие губы и прямой носик, стал ухаживать армянский купец Балтазар, приносивший ей подарки. Абрекова радовалась — купеческой женой станет бедная как церковная мышь Гизя... Но однажды в воскресенье в каплице Трех святителей Успенской церкви во время богослужения она увидела, как при возгласе «приидите и ядите» ее дочь замерла возле солидного седого мужчины — сеньора братства пана Юрия Рогатинца и, вместо того чтобы смотреть на священника, не отрывает от него греховного взгляда. Лицо ее становилось все бледнее и бледнее, и она прикрыла его своими черными волосами. Как только зазвонили колокола, пан Юрий

[1] Дискреции — скандалы (*польск.*).

вышел из каплицы, и Гизя, слегка покачиваясь, словно пламя свечи, которая вот-вот погаснет от чьего-то дыхания, поднялась и пошла следом за ним. А потом как сквозь землю провалилась, и до сих пор о ней ни слуху ни духу...

Опять такое же предчувствие беды охватило ее спустя десять лет. Абрекова однажды заметила, что у ее младшей золотоволосой дочери Льонци огромные голубые глаза, а брови — будто сажей накрашенные, губы карминные и словно нарочно чуть-чуть надутые; боже, неужели это ничтожество, пропойца Пысьо, который целыми днями портит воздух в комнате, а вечером уходит к Лысому Мацьку пьянствовать, неужели он отец ее дочерей? Абрекова провела указательным пальцем по губам Льонци — зачем надуваешь их? — но они снова надулись; Льонця отмахнулась рукой от матери, лишь сейчас заметившей, как из-за кружева, окаймлявшего блузку, выглянула упругая белая грудь — вот-вот выскочит наружу; девушка повернулась и, изгибая стан, подошла к окну, открыла его, прислонила стекло к стене, чтобы поглядеть на себя. Окно из комнаты Абрековой выходило на угол Русской и Шкотской улиц, из него виден был весь Рынок, окруженный справа шимоновским, архиепископским, корняктовским и лоренцовичевским дворцами, а слева — домами Альнпека, Гуттера и венецианского консула Массари; Льонця взглянула на улицу и тихо воскликнула: «Антонио!», Абрекова тоже повернулась к окну и увидела, как по рыночной площади в сторону корняктовского дворца шел высокий смуглолицый красавец в парчовой ферязи, и узнала в нем самого консула.

Абрекова поняла, что у нее прибавилась еще одна забота. Как она не заметила раньше, что Льонця из девчонки вдруг превратилась в красивую девушку с пленительными глазами, с очаровательными губами и женской обольстительностью в движениях? А если бы и заметила прежде, что она могла бы сделать, как предотвратила бы беду?

А теперь оставалось только смириться. Что случилось, того не поправишь. Как и с этими листками, которые вот уже несколько лет подряд кто-то наклеивает у нее над окном под заголовком: «Что ныне скажет Абрекова?» В них пасквили уже не на ее дочь, а на советников, присяжных заседателей и самого старосту — при-

выкла и теперь не обращала внимания на выкрики цепаков[1], которые каждое утро разгоняли толпу. Теперь, благодарение богу, спокойно.

Абрекова сидела возле окна, опершись локтями на подоконник. Тихонько похрапывал на кровати пьяный Пысьо, застланный топчан ждал Льонцю, еще не вернувшуюся с гулянья, в доме — тишина, и старая женщина в эту минуту почувствовала, как она любит свой угол и свою беспутную дочь любит вдвойне — за Гизю, которую, наверно, никогда не увидит, даже храп Пысьо добавлял что-то к домашнему очагу. Спокойно было в этот момент на душе у Абрековой, может, потому, что за долгое время впервые не хохочет, не орет толпа людей под ее окном, проклятый шум отдалился на Рынок, где с раннего утра ведутся какие-то работы: для чего-то строят из досок настоящие замки.

Так всю ночь и провела, почти не сомкнув глаз. Сначала мешал уснуть Пысьо — храпел; ударила его коленом в задницу и перешла в потемках на топчан Льонци — он пустует почти каждую ночь, Льонця возвращается только перед рассветом, а то и вовсе домой не приходит, еще чтоб этот старый пьяница сдох, тогда в комнате будет так тихо, что хоть вой, как пес на луну. До самого рассвета не могла заснуть, а все из-за дум, которые каждый день ее точат, как ржавчина железо: почему бог, а может, сатана наградил ее дочерей плотской греховностью, ведь их мать, Абрекова, за всю свою жизнь ни разу не испытала греха — ни сладостного, ни горького... но что, впрочем, хорошего в ее праведности, может быть, этот постыдный грех был бы единственной радостью в ее беспросветной жизни, и она, мать, должна благодарить бога за то, что он дал ее дочерям в молодости хоть крупицу радости, ибо потом и ее не будет, ох не будет...

Абрекова услышала под окном чьи-то шаги и подумала: опять кто-то наклеил новый листок — и городская галастра[2] собирается читать его, или Льонця приплелась домой после ночных бдений. Выглянула: возле входной двери стояли двое магистратских слуг с секирами на длинных рукоятках. Вначале ужаснулась, подумав, что ее взяли под стражу. Но погодите — за какую провинность? За то, что гадает по руке и за глаза ее на-

[1] Цепаки — полицейские; ходили с цепями *(средневековог)*.
[2] Галастра — босяки, бездельники, бродяги *(польск.)*.

зывают ведьмой, — а что ей оставалось делать после того, как начались неприятности из-за Льонци и листков. Ведь цепаки запретили ей перепродавать мясо, которое она закупала у гливянских жителей? А что такое — гадание по руке? Это дело чистое: одни умеют читать по книгам, а другие — по линиям рук... Гизю мою не судите, Гизя святая, не скажете о ней, что она шлялась по улицам, нет, она полюбила одного, а что женатого — извините, любовь не спрашивает, любовь сама приходит, как хворь... А Льонця? Разве Льонця хуже тех, что на Векслярской из борделя не выходят? Так им можно, а ей нет?

Вмиг у Абрековой отлегло от души: ведь ничего такого не произошло в ее семье, чтоб она могла стыдиться или отвечать перед законом. А вы — про себя подумала она о вооруженных стражниках, — а почему вы не идете к Нахману Изаковичу, еврейскому сеньору, и не арестуете за то, что его жена, Золотая Роза, о которой кагал божественные сказки сложил, спит со старостой Ежи Мнишеком? А почему не осуждаете Мнишека за его курву Марину, которая потащилась за московским босяком, царем-самозванцем, и вон какую авантюру затеяла, о которой говорит весь мир! А может быть, вы мне что-то скажете о моем Пысьо? Пьет — пускай пьет себе на здоровье, а вы поглядите, что делается в пивной Корнякта, где богачи с жиру бесятся, да все они одна банда и злодеи, туда и до сих пор захаживают братья Бялоскурские из Высокого замка, бургграфские сынки, которых давно осудили навечно в тюрьму за убийство Антонио и за мою... а как же, и за мою Льонцю тоже! А, боитесь, хотите отыграться только на Абрековой?

Абрекова оделась, ступила в темные сени и решительно открыла дверь, выходившую на Русскую улицу. Сошла по ступенькам на мостовую, уперлась руками в бока и, приняв воинственный вид, презрительно бросила вооруженным слугам магистрата:

— А чего вы тут стали?

Один из стражников показал рукой на окно, над которым каждое утро наклеивали новый листок, посмотрела — листка сегодня не было.

— Овва, а что случилось! — ударив себя по бокам, произнесла Абрекова, будто сожалея о том, что на углу Русской и Шкотской улиц был нарушен годами установленный порядок.

— Что случилось: где тонко, там и рвется, ха-ха! — послышался из-за угла женский голос — и появилась красивая и хмельная Льонця с распущенными льняными волосами, подпухшими блудливыми глазами.

— Да иди, иди домой, шлюха векслярская, — произнесла совсем миролюбиво Абрекова, взяла Льонцю за руку и подтолкнула к ступенькам.

— Иду, иду, старая хиромантка, кальварийская ведьма, иду... — Льонця оперлась руками на плечо одного из стражников, провела ладонью по его подбородку, потом обняла за шею. — Может, пойдешь со мной, пока старуха вон тому погадает? Не хочешь, служба... — Она толкнула дверь и шагнула в темные сени.

Абрекова проводила взглядом дочь и снова спросила стражников:

— Так чего вы тут стоите, коль там, — указала рукой на окно, — никакого черта сегодня не прилепили?

— Сегодня, Абрекова, на Рынке будет лицедейство. Стоим тут для порядка.

— О, слава богу... Хоть один день будет спокойно у меня под окном, — облегченно вздохнула и направилась к двери. — Только стойте уж тут всегда, стойте камнем до судного дня...

Напротив парадных ворот ратуши, на очищенной еще вчера от рыбных прилавков и мясных ларьков рыночной площади выросло из картона и досок крохотное подобие русского города Смоленска. Сорокатысячный, втрое больше, чем Варшава, с широкими высокими стенами, с тридцатью башнями, со ста семьюдесятью пушками и шеститысячным гарнизоном Смоленск уместился на одной трети Рынка — потому что был побежден. Уместился, и еще хватило места для трибун — их прилепили к магазинам аптекарей и ювелиров возле венецианского дома, — и на них, завешанных коврами и гобеленами, сидели, ожидая представления, львовские патриции, присяжные заседатели, магистратские чиновники, купцы, врачи и иные высокопоставленные лица. В центре, на возвышении, восседали вдохновители московской авантюры — польный гетман Станислав Жолкевский и львовский староста Ежи Мнишек.

Возле нимфы Мелюзины, наклонившейся над колодцем напротив черного дома Лоренцовичей, и статуи пра-

восудия на противоположной стороне Рынка стояли готовые к штурму русской крепости переодетые под пиконосцев, стрельцов, рейтаров, драгун и реестровых казаков мещане. Из-за валов игрушечной твердыни выглядывали бородатые, в бумажных шлемах, со щитами и копьями воины, которые вначале будут обороняться, а потом сложат головы за русскую землю. Так, как было на самом деле там — под Смоленском.

Люди запрудили всю рыночную площадь, трещали балконы, мальчишки цеплялись за карнизы и взбирались на крыши домов — весь Рынок казался гигантским котлом, наполненным тысячами человеческих голов.

Завоеватель Смоленска Станислав Жолкевский в строго застегнутой епанче и в шапке с высоким султаном понуро наблюдал за приготовлениями к зрелищу, которое вот-вот должно было начаться в его честь, а видел перед собой настоящий Смоленск, и Москву, и Клушин, где полегли тысячи его рыцарей во имя безрассудного стремления короля Сигизмунда III расширить границы Речи Посполитой от Швеции до Каспийского моря. Смоленск пал — это так, но польские жолнеры в Москве вынуждены есть крыс, а король не уплатил жалованья ни своим, ни наемникам — не сегодня завтра голодная свора мародеров двинется из московских земель к Польше и сожрет ее вместе с королем.

Горбоносый, с подкрученными вверх усами, польский региментар со злостью посмотрел на тестя двух Лжедмитриев — Ежи Мнишека; тот уловил взгляд гетмана, подобострастно повернул в его сторону свое каменное лицо, заросшее черной бородой, и льстиво произнес, подбирая слова:

— Прикажете, ваша милость, начать торжество в честь того дня, когда под вашим водительством увенчалась викторией наша многолетняя борьба с северными схизматиками?

— Виктория... — отвел глаза Жолкевский. — Я проклинаю тот день, как Иов проклял день своего рождения...

Мнишек опешил. Он, привыкший к домашнему уюту, к балам и войнам с посполитыми людьми, боялся этого сильного мужа, который состарился в седле и с раннего детства не снимал со своего плеча боевого облачения. Сам же он сознавал, что война с Москвой окончательно проиграна, известие о вторичном вдовстве Марины и о

восстании в Москве подкосили здоровье львовского королевского наместника, он осунулся, пал духом, и даже страстная Золотая Роза Нахман не может вызвать у него радостных ощущений, но все-таки тешил себя надеждой: если Смоленск взят, а польские войска еще не ушли из Москвы, может быть, все-таки сядет на московский престол его внук, сын Марины от растерзанного в Калуге второго самозванца, и если не половина московской казны, обещанная ему проходимцем Григорием Отрепьевым, то хоть сотая ее часть достанется ему и Розе, четырем дочерям и дюжине внуков.

— Пан гетман, — произнес он елейным голосом, — вы утомлены походами, но сияние ваших побед согревает нас, и близится время...

— Все вы пользуетесь этим сиянием, — прервал Жолкевский Мнишека, — только никто из вас не спешит поддержать огонь в светильнике, создающем сияние, чтобы оно не померкло... Начинайте, ваша милость.

Ежи Мнишек облегченно вздохнул — он не знал, что ответить этому всегда острому на язык региментару Польши, у кого в руках все войско, а значит, и государственная власть, хотя де-факто он только польный гетман, и король не хочет присвоить ему звание коронного гетмана, несмотря на то что Ян Замойский давно уже отошел в мир иной; королевский наместник, довольный тем, что он не обязан отвечать на адресованные ему колкости гетмана, наклонился к бургомистру Вольфу Шольцу, сидевшему в ряду ниже, который, выслушав того, повернул голову влево; от нее, словно оттолкнувшись, повернулась еще одна голова, а потом — пятая, десятая, и тут же мигом побежал к ратуше молодой ротмистр, придерживая рукой саблю.

На балюстраду, окружавшую шпиль ратуши, вышел горнист — над городом раздались боевые звуки горна. Утих шум на Рынке, и тут же с криками «naprzód, zabij go!» [1] — лавиной двинулись с обеих сторон площади переодетые мещане — с пиками, саблями, алебардами. Со стен дощатого Смоленска ударили пушки, стены покачнулись — Жолкевский поморщился, — на стену взобрался бородатый боярин в шубе с бобровым воротником, взмахнул рукой, что-то выкрикнул, и снова ударили пушки — нападающие отступили, над Рынком поднялся

[1] Вперед, убей его! *(польск.)*

удушливый пороховой дым, ротмистры — настоящие — орали, призывая переодетых мещан вступать в бой.

— Страх на ляха, ура на мазура... — пробормотал поэт Шимон Шимонович; он сидел рядом с архиепископом Соликовским и, забыв о том, что его могут услышать, шепотом подбирал слова: — За отчизну, любимые дети, под укромные шатры... не берите с собой кроватей, ведь в поле спать будете... ковры оставьте дома — укроетесь щитами... не берите пищу с собою... насытитесь землею...

Архиепископ повернулся всем туловищем к поэту, острыми глазами впился в его губы, произносившие слова стихотворения. Он уловил их содержание и не поверил своим ушам: увенчанный самим папой поэт, уважаемая и неприкосновенная личность, королевский одописец вольнодумствует во время такого патриотического действия?!

— Пан Шимонович, — произнес Соликовский, выдавливая на губах учтивую улыбку, — не ослышался ли я? В сию торжественную минуту вы ничего больше не увидели в нашей победе — только смерть?

— Рифмы не могу подобрать, ваша эксцеленция, — со спокойной иронией ответил Шимонович, на его лице мелькнула скептическая улыбка. — Не берите воду с собой — кровью обопьетесь... Ничего не получается... А почему вы сейчас такие благочестивые, будто в костеле после святой проповеди, — разве не глупо разыгрывать теперь эту комедию победы, если война с Московией, известно всем, уже проиграна?

Холодной маской сделалось лицо архиепископа: поэт Шимонович вольнодумствует вслух... Да от него можно ждать всякого. Соликовский неоднократно гостил у пана Шимона; в его библиотеке часто собирались представители львовской элиты для серьезных бесед, и хотя сдержанный парнасец никогда не давал воли словам, все же не скрывал от людей книг, занесенных в папский индекс. Вольнодумство... шелковые перчатки... благопристойность... А проще всего — вывести на помост, под который уложены связки дров, — и все проблемы решены без дискуссий, без шелковых перчаток... О святая Супремо [1], почему ты обошла Польшу! Нет, нет, не Шимоновича, других. А тогда и он сам понял бы. Сначала хотя бы с деся-

---

[1] Верховный трибунал испанской инквизиции (*лат.*).

ток православных вот здесь, на Рынке, на этом самом месте, где сейчас наступают на дощатые стены переодетые жолнерами мещане. Десять живых факелов!

— Ваша эксцеленция, — произнес Шимонович, ему точно передались пристрастные происпанские убеждения архиепископа. — Если пожелаете когда-нибудь заглянуть ко мне, я вам покажу весьма потешную книгу одного испанского писателя — Мигеля Сервантеса. Недавно получил. И диво дивное: он написал ее, одолеваемый бездельем, в тюрьме!

— В тюрьме святой инквизиции? — ехидно прищурился Соликовский.

— Не думаю... Он был сборщиком податей.

— А-а... Достойный пан поэт... — архиепископ спрятал кончик длинного носа в сложенные, будто для молитвы, ладони. — Я с огромным уважением отношусь к вашему неутомимому труду по собиранию книг, да и сам большой библиофил, но меня несколько удивляет то, что в вашей огромной библиотеке, где есть и Ян Кохановский, и Торквато Тассо, и Эразм Роттердамский, и Томас Мор... Джордано Бруно, правда, не видел, — архиепископ опустил голову, — я не встретил хотя бы одной книги... э...

— Томаса Торквемады? — спросил, подсказывая, Шимонович.

— Ну нет, зачем вам «Кодекс инквизиции», он есть у меня...

— Право, достаточно и одного экземпляра книги великого инквизитора для нашего города, тем более если он хранится у вас, — раздраженно ответил Шимонович и тут же другим тоном продолжил: — А я все же одолжу вам «Дон Кихота» Сервантеса, ведь вашей эксцеленции тоже иногда следует отдохнуть от теологии.

— Я взволнован нынешним разговором с вами... Королевский поэт, автор стихотворного произведения, которым приветствовали создание ордена иезуитов во Львове, вдруг неожиданно стал так странно рассуждать.

— Времена меняются, и мы с вами тоже... — произнес Шимонович, глядя на рыночную площадь. — Посмотрите, ваша эксцеленция, вот на этот спектакль битвы за Смоленск. А вы не подумали о том, что эти воины — тени, отражения братьев и детей наших, которые вдоволь наелись земли на русских полях... А во имя чего? Мне, вам, вот тем людям, что заполнили нынче Рынок, стало

легче жить? Разве не могли они, сыновья и наши братья, пить дома молоко вместо крови и есть хлеб вместо глины, а мы — радоваться им, а не рыдать над их тенями?

После второго штурма воинственные призывы усилились. Так было задумано бургомистром Вольфом Шольцем: после третьего — Смоленск падет. Теперь слышались не только крики, но и бряцанье, грохот — для большего эффекта осаждающие тарабанили в листы жести, били в котлы и бубны, воины пробивались к разводному мосту. Опустили его и с поднятыми саблями навалились на ворота. Ворота уже сломлены, но еще не наступило время для виктории. Из осажденного города выскочили «русские» защитники в длинных армяках, бумажных шлемах и оттеснили врагов, в польском лагере звуки горна известили об отступлении: Шольц собирал все свои войска для последнего, генерального штурма.

В эту минуту Барон стоял возле колодца, опершись на нимфу Мелюзину, — он не хотел далеко отходить от корняктовского дворца, ибо сегодня такой день, что в пивном подвале набьется столько людей, что яблоку негде упасть, кто-нибудь еще, того и гляди, займет его постоянное место. В этот момент затишья между штурмами Барон увидел черта. Он узнал Антипку, хотя тот стоял спиной к нему, — узнал по высокой шляпе, под которой торчали рога, и по длинным, до земли, штанам, прикрывавшим его копыта.

Не все знали об этих приметах черта. Кто знал, тому легче жилось на свете: он мог избежать встречи с нечистой силой, во всяком случае, был гарантирован от неосмотрительной откровенности в разговоре со слугами ада, которые цеплялись за малейший грех, чтобы потом добраться до самой души. Другим, которым хотелось добровольно продать душу, было легко, зная эти приметы, отыскать черта. Но большинство людей не ведало об этих приметах, поэтому черти часто пользовались доверием простачков, становились их друзьями, меценатами, слугами, чиновниками и даже духовными особами. Трудно было в те времена уберечь себя от черта — свободными от их влияния были разве что последние трусы или же слабые духом, а их в мире не так уже много, и тысячи львовских мещан находились в плену этой чертовщины. У каждого был какой-то грех на душе, а если этот грех был замечен чертями и записан в адские книги, тогда — пропал человек. По-разному оплачивали долг аду:

кто всей душой полностью, кто наполовину, кто услугами, которых совсем не хотел оказывать, а некоторые просто молчали там, где следовало бы высказать свое мнение.

Тяжкой стала Баронова доля. Он давно запродал черту душу за то, чтобы из самого низа пробиться к высшим слоям общества, чтобы из простого ремесленника сразу стать бароном. Он добился своего, стал своим среди патрициев и высшего духовенства, но по неизвестным ему причинам несколько лет назад от него отвернулись имущие, и он не знает, как снова завоевать их уважение. Одна лишь привилегия сохранилась за ним: ему пока еще разрешался свободный вход в патрицианскую пивную — сегодня Барон уже успел опохмелиться и собирался вторично отправиться туда, но встреча с Антипкой для него была важнее. Он оттолкнулся от статуи и, пробираясь в толпе, настиг слугу ада, схватив его за рукав сюртука.

Черт взглянул на Барона: тот льстиво улыбался, оскалив черные зубы, Антипка брезгливо поморщился, думая про себя, что Барон прогнил до костей, сделал вид, что не узнал его, но освободить рукав сюртука не смог.

— Пан Антипа, — лебезил Барон, — скажите, за что? Замолвите за меня словечко, как же это так?.. Я же душу, душу вам отдал...

— Иди к богу, — процедил сквозь зубы черт. — Какая там у тебя душа... Надо было вести себя достойно. А ты глупец... Теперь ты никому больше не нужен. На твоем месте в корняктовской корчме сидит уже другой. Уходи...

И черт ушел, не оглядываясь.

После этого Барон встретился взглядом с сеньором Успенского братства Юрием Рогатинцем, который стоял и тоже смотрел на магистратское представление, один, без компании, на мостовой.

Рогатинец не ответил на шутовское расшаркивание перед ним Барона, отвел глаза, но тут же услышал позади себя сопение, в нос ударил густой запах перегара.

— Что тебе нужно, Барон?

— И ты меня так называешь... Что мне нужно? Один раз выпить с тобой. В какой угодно корчме, только чтобы люди видели, что ты пьешь со мной. У меня еще есть до черта денег...

— Взятых у черта, Барон. Ты же с ним в союзе, говорят.

— Да, да! А сколько их было у меня! С самим Люцифером и с его сворой пил, с великосветскими ведьмами спал, деньгами сорил, разбогател! А ты чего достиг?

— У меня совесть есть.

— А что такое совесть — ты можешь показать мне ее, чтобы я пощупал руками, взвесил, оценил дукатами? Со-о-весть есть! Я ведь тебя поймал, когда ты грешил, забыл? Когда ты грешил! — ударил Барон себя в грудь.

Рогатинец с горечью посмотрел на Барона, печаль туманила его серые глаза, он опустил голову.

— И никому не сказал, никому! Вот за это пойдем теперь — выпей со мной, на людях... Я до сих пор никому не рассказал о твоем грехе!

— Это не грех был, Барон, — тихо промолвил Рогатинец. — То... Да разве ты поймешь?..

Народ утомился стоять на площади. Она, словно огромный котел, кишела тысячами человеческих голов, бурлила, надо было кончать спектакль, да и солнце уже пряталось за куполами Юрского собора.

Еще раз зазвучали горны, их заглушили воинственные крики — начался третий и последний штурм «смоленской твердыни».

Он продолжался недолго. Утомленные и голодные мещане, которым было обещано зажаренное на костре мясо и несколько бочек доброго вина, так старательно воевали, что вмиг разбили вдребезги въездную башню, мост не выдержал тяжести наступающих, их напора и обрушился. Вояки взбирались по лестницам на стены, стены тоже покачнулись и упали. Осажденные что есть мочи бросились бежать из крепости — кого-то действительно может придавить! — и сдались в плен. Наконец твердыня совсем рухнула — толпа на рыночной площади захохотала.

Вольф Шольц, который задумал было растянуть последний штурм как можно дольше, со страхом посматривал теперь на Жолкевского, устало подпиравшего рукой голову и безразлично глядевшего под ноги; бургомистр воспользовался задумчивостью региментара, пытаясь найти выход из создавшегося положения, приказал поджечь картон и доски.

Пламя взметнулось в небо, зрелище было впечатляющее — так, наверное, горел настоящий Смоленск, а три-

буна постепенно пустела, гетман велел подать карету. Потом нижние скамьи трибуны заняли победители и побежденные, началось пиршество.

По крышам еще шастали мальчишки, они разойдутся самыми последними. Между двумя рядами дымовых труб на Гуттеровском доме стояли группами по трое в черных сутанах новиции и схоласты[1] иезуитской коллегии — собираться большими толпами и по двое не разрешалось спудеям этого учебного заведения.

Новиций Зиновий, шестнадцатилетний сын реестрового сотника Михайла Хмельницкого, служившего у олесского старосты Яна Даниловича, прижался к трубе, на шаг отойдя от схоластов Бронислава и Казика. Только на шаг — и не больше, ведь они все равно подойдут, потому что им приказано следить за схизматиком Зиновием, который за время учебы в коллегии должен научиться быть послушным, словно посох в руках у нищего.

А новичку еще чудились заолесские поля, Вороняцкий кряж и тихая глухая Гавареччина, притаившаяся в глубоком овраге, из которого видно только небо.

Схоластам было приказано сделать все, чтобы он об этом забыл. Чтобы начал новую жизнь — словно теперь у него не было ни отца, ни матери, ни детства, ни дикого коня, который пасся и резвился на гаварецких холмах.

Схоласты стояли позади Зиновия, а он смотрел поверх красных крыш городских домов, не обращая внимания на то, что происходит на Рынке, и только видел перед собой дикого коня, который с восходом солнца появлялся, словно видение, на вершине холма и скакал, рвал копытами землю, резвился весь день на свободе до тех пор, пока не побагровеет солнечный диск и не исчезнет огненный силуэт.

Зиновий скользил невидящим взглядом вокруг и вдруг представил себе... Сумерки опустились на гаварецкую полонину. Серые кони сбились у яслей, полных корма. Они теснят, бьют друг друга копытами, доставая траву. На белом коне сидит черный пастух, сильно натянув поводья. Голова коня наклонена, с губ падает на землю желтая пена. Взнузданный, но непокоренный, он не хотел есть — неужели это тот самый конь?.. — а лошади без шлей и уздечек ели из яслей, хотя вокруг переливалась

[1] Новиции — новички, схоласты — старшие ученики иезуитской коллегии.

волнами пышная зеленая трава, было просторно и привольно. По склонам спускались к табуну одинокие серые кони... За холмами перекликались пастухи... Вдруг появился огненный конь, конь его детства, тонконогий, грациозный, взлетев на холм и проскочив мимо табуна, стрелой помчался вперед с гордо поднятой головой. А в это время черный безликий пастух взмахнул рукой, и тонкой извивающейся змеей аркан взметнулся в воздухе быстрее бешено скакавшего коня; заржал конь, встал на дыбы, задними копытами ударил в землю, снова рванулся с места и отчаянно заржал, не понимая, что случилось; он не слышал свиста аркана, не чувствовал петли на шее, но должен был стоять на месте, а пастух, не шелохнувшись, держал в своей руке конец аркана; другие лошади спокойно ели корм в яслях...

— Отпустите коня! — воскликнул Зиновий и очнулся.

На Рынке крик и шум; горела дощатая крепость; позади стояли два схоласта. Он провел рукой по шее, словно хотел нащупать тонкую волосяную веревку, только что заарканившую коня; сделал шаг по ровной крыше и остановился, услышав тихий и властный голос:

— Новициуш Зиновий, разве вам разрешили вернуться в бурсу?..

Абрекова весь день провела у окна. Действительно — подобные представления не так уж часто происходят во Львове. В молодости ей, правда, дважды приходилось видеть сборище людей на Рынке — впервые, когда казнили казацкого атамана Ивана Подкову. В тот день на ратуше обвалился балкон: оттого ли, что туда набилось много зевак, или то был перст божий; второй раз — когда праздновали коронование Зигмунда III, нынешнего короля. Но такого, как сейчас, зрелища, чтобы воевали на Рынке, еще не было...

Льонця уже давно проснулась и пошла на работу. Пысьо долго хрюкал, кашлял, стонал. Это означало, что он просит денег, — даже не оглянулась, потом он исчез из комнаты, — черт его дальше, чем до Лысого Мацька, не занесет, — а на Рынке шла война: гремели пушки, звенели сабли — и наконец крепость пала, объятая огнем.

— Bij schyzmatów, bij![1] — орали пьяные вояки, получившие награду за участие в представлении.

— Чтобы я с места не сдвинулась, — произнесла Абрекова, — если бы они не были пьяны, то нынче не только Смоленск, но и Москву взяли бы!

Даже сплюнула — так все это ей понравилось. Скрипнула дверь. Абрекова повернула голову от окна — и глазам своим не поверила: на пороге стояла пани Дорота Лоренцович в черном бархатном платье, с дукатами на шее — эта знатная львовская дама, которая на улице не смотрела ни на кого, кто был ниже патриция, а в костеле могла видеть самого Иисуса, ибо почему-то все время вздыхала, заведя глаза к разрисованному своду костела: «О Езус, Езус!»; пани Дорота, пышная и румяная, словно пампушка, глядела на Абрекову самоуверенно, но с ласковой улыбкой. В руке она держала медный кувшин, и это еще больше удивило Абрекову: неужели на Рынке перекрыли воду, но почему она не прислала слугу?

— Абрекова, — льстиво промолвила Дорота, — будьте, пани, так добры подержать у себя этот... сосуд... день или — самое большее — два...

Абрекова ничего не могла понять. Она на цыпочках подошла к пани Дороте и посмотрела в кувшин.

— Грибы?

— Вы знаете, сегодня будет такая ночь: всего можно ожидать, и пьяные голодранцы, очевидно, пойдут грабить, а вас... кто вас тронет?

— Разве грибы так поднялись в цене, уважаемая пани? — наивно спросила Абрекова.

— Это сверху грибы, — прошептала доверчиво пани Дорота. — А под ними — кольца, крестики, цепочки... диадемы, браслеты, серьги... И все это золото, золото...

— А вы не боитесь доверить его мне... не боитесь, что я могу украсть? — побледнела Абрекова.

— Вы?! Как это — вы украдете? Да вас все знают... Ваша бедняжка Гизя служила у меня, и я ничего не могу сказать... Да и про Льонцю никто ничего худого не говорил... Как можете вы наговаривать на себя, Абреко-о-ва! Ну, впрочем, вы бы и не посмели... Поставьте на кухне, вот так, так... еще немного подальше подвиньте, о-о, посреди вон тех черных горшков...

Пани Дорота тихонько вышла из комнаты, будто тут

[1] Бей схизматов, бей! *(польск.)*

ее и не было. Абрекова подошла к плите, наклонилась и, не дыша, посмотрела в кувшин. Грибы... Осторожно просунула между головками сухих опят палец, и кожу ожег холодный металл. Выдернула палец — золото! Попятилась к окну, и в этот момент перед ее глазами промелькнули лица Льонци и Гизи — лица счастливых дочерей — и тут же исчезли, потому что очень сильно, даже до боли сомкнула веки Абрекова.

Потом, успокоившись, снова посмотрела в окно на улицу: на Рынке догорал костер, в вечернем сумраке звучали песни пьяных. Два стражника с секирами — может, уже и другие — все еще стояли у ее двери. Один повернулся к ней и спросил:

— No, to co powie dzisiaj pani Abrekowa? [1]

Молча посмотрела на него, глубоко задумавшись.

— Да все это не к добру, — сказала она.

ГЛАВА ВТОРАЯ

AB INITIO [2]

> Известный мастер седельного цеха, молодой и хорошо образованный Юрий Рогатинец, яко православный, был изгнан из цеха и стал печься о книгах и типографиях покойного Ивана Московитина, выкупив их у ростовщика, на что я тоже пожертвовал две лепты по своему убожеству.
>
> *Из манускрипта* [3]

Я — просто Мацько. Называют меня Лысым, потому что на моей голове почему-то не выросло ни одного волоска, а подписываюсь Патерностер — так меня нарекли, когда я был еще мальчиком и обучался грамоте у дьячка Богоявленской церкви в Галицком предместье. Не знаю, почему мне присвоили латинское имя, Pater noster [4], хотя я православный русин, но бывает же так: назовут вроде в шутку, а пристает это чужое имя к человеку, как сапожная смола к табуретке.

---

[1] Ну, что скажет сегодня пани Абрекова? *(польск.)*

[2] Сначала *(лат.)*.

[3] Эта запись, помню, была без даты, но, очевидно, она относится к последним годам XVI столетия. Печатный станок Ивана Федорова львовские братчики выкупили у ростовщика в 1585 году. *(Прим. автора.)*

[4] Отче наш *(лат.)*.

Живу я на Русской улице в угловом доме, окна из двух моих комнат выходят на Шкотскую, а во дворе у меня есть подвал. Когда магистрат разрешил русинам торговать вином и водкой, я открыл у себя в подвале небольшую корчму. Благодарение богу, уже выплатил долги, а обошлись мне квартира и подвал в целых 1273 злотых, к тому же еще 135 — рукавичного сбора, таким образом, 1408 злотых. Это очень много: у меня растет сын, есть жена (она, правда, помогает мне торговать в корчме, однако расходую на нее ежедневно не менее шести грошей), кроме того, плачу пошлину за право продажи спиртных напитков и пользование дорогами, теперь сами можете понять — мне приходится работать больше, чем лошади.

И все же благодарю бога за то, что помог мне вырваться из страшного предместья. Здесь хотя и тесновато — Русская улица шириной в тринадцать локтей[1], — но с тех пор, как я получил право на жительство в городе (за мещанский юрамент-паспорт уплатил 50 злотых), чувствую себя человеком. Ну, а там... Жил я возле Собачьего рынка, напротив Гончарской башни, и жизнь моя была там собачья. В цех тебя, не мещанина, да еще и русина, ни за что не примут, а портачу[2] не всегда можно было продать свой товар, идти работать в имение пана — это уже настоящая неволя, арендатором панской земли не каждый может стать, а возводить валы, строить дороги прежде всего гонят тех, кто живет в предместье.

Слава богу: сначала удалось нанять на Русской улице комнатку с сенями (за сорок злотых в год!), а потом уже стало легче. Я такой человек, что не брезгую никакой работой, — сначала мусор со дворов вывозил, а когда скопил несколько сот злотых, то мне посчастливилось отдать их под проценты. Вначале взимал за ссуду сотни по пятнадцать грошей, а теперь и до золотого довожу. Смотря у кого. Дамочки — они никогда не торгуются, когда им припечет. Скупал серое полотно в Винниках, давал отбеливать крестьянам в Пасеке и перепродавал его — и на каждом аршине получал по восемьдесят грошей прибыли. Ну и в конце концов за эти деньги купил себе четверть дома и подвал. А нынче совсем легко жить

---

[1] Локоть — мера длины, составлявшая треть сажени.
[2] Портач — нецеховой ремесленник.

стало. Недаром говорят: бог за пожертвование сторицей отблагодарит. Я дал на приобретение типографии Юрию Рогатинцу один злотый и два гроша и стал продавцом книг. За это братство платит мне по 120 злотых в год — деньги большие.

Мне, Юрию Рогатинцу, в то время было двадцать пять лет. В первый день рождества в старой, еще до пожара, Успенской церкви произошло такое, чего не знал наш старый город.

На кафедру взошел наш плюгавенький, добрый попик — вчерашний дьячок — и начал проповедь.

— Дорогие мои деточки, — начал глаголить он своим тоненьким голоском, — не скажете ли вы мне, где пребывал господь бог, когда еще никого не было? А, молчите, потому что не знаете. Так для того, чтобы где-то пребывать, бог создал себе небо и землю. На небе — ангелов с соколиными глазами, под небом — ворон, сорок, галок и воробьев. На земле — свиней, коров, медведей, котов, мышей и других забавных тварей. И построил рай, огородил его тыном, посадил там дубы, грабы, репу, редиску, морковь, пастернак и всякую всячину. А Люцифер, самый старший ангел, стал кумом Михаила, ел с ним и пил, да и говорит: «Построю для себя новый рай». На это Михаил рече ему в ответ: «За то, что ты произносишь такие слова, сделаю тебя чертом, а не попом, и будешь ты есть помет, а не просфору...»

Кто-то в притворе прыснул со смеху, а мне припомнились слова Ивана Вишенского, моего старшего острожского друга: «Где взять столько слез, чтобы оплакать упадок нашей веры и духа?»

А попик продолжал:

— Потом бог слепил Адама и спрашивает его: «Нужна тебе жена?» «Да, господь, — ответил Адам, — нужна, потому что не с кем мне спать». Тогда бог сотворил Еву, а она украла яблоко. И в наказание — господь натравил на нас орду татар, турок и ляхов нечестивых, да и сожрали они в наших садах и петровку, и спасовку. Одно еще древо стоит, дорогие мои деточки, — это наша православная церковь, а если бы и ее подгрызли, так всю нашу благоверную Русь черт бы взял, от чего пускай нас господь защитит, аминь!

Прихожане смущенно переглядывались между со-

бой; попик повернулся к престолу, а потом вышел из царских врат со святыми дарами. В этот момент в церковь ворвались трое в черных сутанах — два каноника и сам архиепископ Соликовский. Они, расталкивая людей, как цепаки, прошли к церковным вратам. Архиепископ отстранил попа. Тот, испуганный таким чудовищным надругательством, опустил чашу, а прихожане стояли, онемев, ошеломленные, безвольные. Соликовский вдруг заорал:

— Отныне провозглашаем о принятии всеми православными храмами и синагогами единого апостольского григорианского календаря и закрываем ваше языческое капище до тех пор, пока не дадите клятву, что все праздники господние будете отмечать в одни и те же дни, что и католическая церковь. Спасайте души, пока гнев господний не обрушился на ваши головы. Уже наказаны жиды, которые не признали учения Христа: нет у них ныне своих пророков. Отнял бог и у греков, а заодно и у русинов, мужей, глаголющих истину, и нет у вас теперь ни памяти, чтобы запомнить «отче наш», ни пастырей своих, ни ума, чтобы обрести свое спасение. Боже, смилуйся над ними, заблудшими овцами, и возврати их в лоно свое!

Соликовский пронизывал нас невидящим взглядом, превращал, словно Медуза Горгона, живых людей в камень, дерево, глину, которой был наш праотец до тех пор, пока бог не вдохнул в него душу; потом закрыл врата рая, и мы, покорные, без души, бездумно выходили из церкви подобно баранам, которых ведут на бойню; церковь опустела, прихожане, вздыхая и молча молясь своему богу, разошлись по домам, пошел и я, и у меня стал зарождаться непонятный страх перед самим собой. Вчера на Рынке отрубили голову нашему вожаку Подкове, и мы молчали, покорно принимая наказание божье, ныне у нас отобрали духовные святыни, и мы покорились снова, завтра прикажут нам убивать друг друга — и мы будем делать это? И будем оправдывать себя так же, как вчера и сегодня, словами: «Что мы можем противопоставить такой силе?»

Моя жена, католичка Грета, сказала, когда я вернулся домой:

— Почему ты такой мрачный, как ночь, мой милый? Это должно было случиться — если не сегодня, так завтра... Живем мы в католическом государстве, разве воз-

можно, чтобы подданные вечно молились разным богам и были бы послушны разным владыкам? А те ваши богослужения — не насмешка ли это над словом божьим?

Я вспомнил проповедь батюшки — да, Грета говорит правду. И у меня впервые зародилась злость на жену и ее единоверцев: стреножили коня и теперь насмехаетесь над ним, что он хромает? Я закричал:

— А армяне имеют право? А евреи?

— Армяне — пришлые, евреи — иноверцы, но почему вы, русины, которые исповедуете того же самого Христа, ту же деву Марию, не хотите признать владыкой папу, а держитесь за своих патриархов? Русь велика, а во Львове русинов — кот наплакал. Ваши патриархи служат туркам, разве у них есть силы, чтобы защитить вас? Чего стоит их благословение, если за патриарший сан им ежегодно приходится платить султану тысячи дукатов и выпрашивать их у московского царя?

Я ничего не мог возразить ей, она снова говорила правду.

Ушел из дому, долго бродил по городу, а меня преследовали и терзали душу убийственные слова моей жены: «Русь велика, а русинов во Львове...» Но почему это действительно так: ни в магистрате, ни в цехе, ни в суде, а в церкви — незадачливый батюшка и несколько братчиков, среди которых много неграмотных. А высокопоставленные русины — разве считаются с нами?

Снова я вспомнил Острог — там, в острожской школе, я учился четыре года, — и возник передо мной высокий, с черной бородой Иван Вишенский. Он был старше меня, давно окончил богословский факультет и служил коригатором[1] богослужебных книг в типографии князя Константина. Иван был очень образованным, набожным человеком, хотя и не отказывался от светских развлечений; я ходил к нему за советами и книгами. И не раз заставал у Ивана в комнате, которую он снимал в помещении типографии, сурового отца Княгиницкого — ровесника и земляка Ивана. Я замечал, как и сам Вишенский с каждым днем становится все суровее. До сих пор он пользовался благосклонным отношением к нему князя Острожского, обладавшего годовым доходом в миллион злотых и дававшего приют шляхтичам, ученым и проходимцам; Иван Вишенский бывал у него на банке-

[1] Коригатор — редактор (*укр.*).

тах и ухаживал там за дамами и вдруг — стал закрываться в своей комнате и даже меня не всегда принимал.

Теперь каждый раз, навещая Ивана, я заставал его за чтением книг. «Оружие — украшает воина, паруса — корабль, а праведного мужа — чтение книг», — любил повторять он слова пророка Давида, я понял, что Ивану опротивели княжеский двор и светская жизнь и он решил посвятить себя служению богу.

По завершении четырех лет учения в Остроге я решил вернуться во Львов, чтобы научиться там ремеслу. Зашел к Ивану Вишенскому попрощаться. Он сказал тогда мне:

— Верно поступил тогда Княгиницкий — отправившись в Афон спасать свою душу. Я думаю о его поступке, молодой мой друг, днем и ночью убеждаюсь: только иночество может спасти нас от гибели. Где теперь на русской земле есть вера, надежда и любовь? Вместо веры — ненависть, зависть и мерзость. Священники чревом, а не духом совершают службу, на доходы, получаемые от прихожан, своим дочерям готовят приданое, одевают сыновей, покупают украшения женам, позолоченные кареты, заводят породистых лошадей...

Из окна были видны башни дворцов князя Острожского — благодетеля Ивана; Вишенский указал рукой на замок:

— Православию всю свою душу отдает, а православных обирает не хуже чужих...

— А что может сделать инок в келье? Откуда у анахорета возьмутся силы, чтобы спасти народ? — робко спросил я.

— Только православная вера — единственная опора нашего народа, — ответил мне Вишенский, — и без нее он превратится в тлен. Но укрепят ее не архимандриты, не князья, не игумены, которые превратили святые места в свои владения. Только отшельники смогут это сделать — покаянием, безутешной жизнью, духовным очищением от мирских соблазнов и, прежде всего, собственным строгим примером. Нам надо создать общество первобытного христианства и заново проповедовать слово божье, которым ныне торгуют для своей корысти.

Я видел, как горели огнем глаза Ивана Вишенского, и откуда взялось у него такое самоотречение, не дворцовое ли болото заставило его, простолюдина по происхождению, задуматься над судьбой простых людей? Но раз-

ве этот путь может привести к спасению? Отшельничество, пещеры, раскаяние, бегство, а тут... что изменится здесь, когда лучшие мужи уйдут и освободят в типографиях и школах места для чревоугодников — православных и католических?

— Вижу, мой друг, что сомневаешься в правильности избранного мной пути, — сказал Иван. — Но пришел я к этой мысли через горнило бедности, грехов и соблазнов. И узрел: погибает наш народ — кто в нищете, кто в роскоши. А что хуже — нищета или роскошь? Нищета, убожество — это горе, но они очищают грешную душу человека, и хоть люд тот темный, зато чист духовно и всегда готов, чтоб его вели на борьбу. А роскошь растлевает души людей, которые могли бы возглавить народ. Кто же поведет очищенных в горе людей к свету правды? Мы — прозревшие мужи, вышедшие из простого люда, способные совершить этот подвиг!

— А если все — вот эти прозревшие мужи — станут бороться в кельях отшельников, кто тогда будет трудиться, кто будет учить ремеслу юных, кто станет дидасколом в школах, кто будет печатать божественные и светские книги, которые так нужны нашему народу? Кто, благочестивый Иван?

— Не все так поступят, как мы. Найдутся у нас светочи науки и просвещения...

Я вспомнил об этом разговоре с Иваном Вишенским, когда, одинокий, униженный и оскорбленный женой, бродил по городу. И что же из этого вышло? Где же твой подвиг, инок Иван, и кому он нужен, если б ты даже и совершил его? Ты, наверное, последовал за Княгиницким на Афон, и вас тут нет... А нашу церковь ныне осквернили, ваши молитвы нас не спасли, мы, точно овцы, разбрелись молча. А может... если бы у царских врат стоял сегодня не наш никчемный батюшка, а одержимый волей Иван Вишенский, может, мы бросились бы сообща на Соликовского и изгнали его из храма?

Я снова оказался возле церкви — с той стороны, где громоздились присыпанные снегом кирпичи от колокольни, которая завалилась два года назад. Стояла она всего месяц — величественная, высокая восьмиэтажная башня, сооруженная на деньги купца Давида Малецкого, и рухнула: не на прочном фундаменте заложили ее

строители. А ты, Иван Вишенский, строишь в афонской пещере храм царства божьего, шпиль его, наверное, уже на небеси, в раю, возле самого господа, а на твоей земле еще не заложили ни единого камня в фундамент, на котором мог бы утвердиться этот твой храм духа. Строй, Иван, не все поднимутся к твоим высотам, но если мы тут не начнем собирать гранитные песчинки, если не утрамбуем своими ногами почву и сами не сделаемся этой почвой, то обрушится твой храм, когда поставишь его на землю, как вот эта колокольня Давида.

Так рассуждал я в тот рождественский день, слоняясь по русским кварталам и краем уха прислушиваясь к тихим вздохам людей, которые то тут, то там собирались толпами в переулках: Соликовский закрыл и Богоявленскую церковь в Галицком предместье, и Пятницкую — в Краковском, дотянулись его когти даже до кафедрального собора Юрия — резиденции православного епископа Гедеона Балабана.

Укрепить свою почву... Как, с кем? Я подумал о братчиках — каждый сам по себе. А если бы их всех объединить? Но с чего начать? Как помочь оскорбленным, как защитить православных от страшного натиска католицизма? Надо не складывать руки, а браться за дело. И у меня возникла мысль о типографии Ивана Федорова, который год назад умер в Онуфриевском монастыре, заложив за долги печатный станок ростовщику Израилю Якубовичу. А что, если бы начать с книг? Но где взять денег, чтобы выкупить станки, где найти помещение, печатников, граверов, бумагу? Я даже согнулся под тяжестью этих мыслей, всю ночь они не давали покоя.

После праздников я направился в свою цеховую мастерскую: заканчивал две тонкие работы — седло и сагайдак, которые делал я не для продажи, а ради удовольствия, ради самого искусства. В том расписном седле и с сагайдаком, вышитым золотыми нитками, мог бы ехать на войну сам гетман. Работа доставляла мне радость, поэтому и спешил я в мастерскую, чтобы немного забыться.

Но я даже подумать не мог о том, какое огорчение ждало меня в мастерской. Цехмастер, всегда относившийся ко мне благосклонно и восторгавшийся моими работами, встретил меня недружелюбно, будто впервые увидел, будто бы я не давний член цеха седельщиков, а какой-то бродяга. Он преградил мне дорогу и сказал:

— Ты, пан Юрко, вычеркнут из списков цеховых... Впрочем, я тебя еще могу оставить в цехе, но только после того, как причастишься в костеле. Не моя это затея — так приказал магистрат. Не ты один — всех русинов исключили...

— Что же мне теперь делать? — тихо вздохнул я, и, очевидно, мой вид был настолько жалким, что цехмастер опустил глаза, а казначей — он все время твердил о том, что православных надо выделить в отдельные цехи, — прищурив глаза, сказал:

— А ты иди к нищим, к слепым, это цех русинский, там и цехмастером тебя поставят. И зрячими их сделаешь, сам ведь грамотный еси!

И у меня мгновенно прояснилось в голове, будто сноп лучей пробил густой мрак, окутывавший меня. Да, есмь грамо́тный, а типография — есть во Львове! Темный народ сделать зрячим... Он, здоровый, очищенный в горниле бедности, ждет света правды и науки — так говорил Вишенский, а предводителей нет... В тело впились, словно клещи, паны, но тело живое, изголодавшееся и жаждущее. Нищие? А разве стыдно голодному просить кусок хлеба, если своим трудом он не может его заработать? Плохие ремесленники! А что должен делать ремесленник, когда его выгоняют из цеха? Служить у помещиков? А куда деваться, коль у тебя отобрали землю? Темные? А кто пытался дать им образование? Униженные? А кто помог им стать на ноги, чтобы почувствовать себя человеком? Разобщенные? А кто их объединял?

В тот момент мне казалось все очень простым: типографию можно выкупить, печатники и коригаторы найдутся, помещение — тоже. И будет положено начало. И начну я.

Я поднял глаза на казначея и сказал ему:

— Спасибо, цеховой брат, за совет. Мы в самом деле забыли, где надо искать опору для своей веры и правды. А ты подсказал. Только гляди — и потомкам своим передай, если они будут похожи на тебя: горе будет таким, как ты, когда слепые прозреют!

Я взял седло, сагайдак и ушел из цеховой мастерской.

Моя Грета повалилась мне в ноги: я сказал ей, и она, не увидев в моих глазах ни отчаяния, ни колебаний, поняла, что отныне будет идти вместе со мной тяжелой дорогой нищеты и унижений, сносить все это ради чуждых

ей идеалов. Грета, обедневшая шляхтянка из Городка, оказавшись во Львове, только и мечтала, копя деньги, чтобы как-нибудь вырваться из плебейской жизни. Записалась в братство Божьего тела в кафедральном костеле, чтобы быть на виду среди именитых католичек, радовалась знакомству с Доротой Лоренцович. Я старался развеять ее иллюзии: богатые шляхтянки никогда не примут ее в свой круг — она не прислушалась к моим советам. Теперь, в эту минуту, она еще верила, что тронет мое сердце и я уступлю, увидев ее слезы.

— Юрась, любимый, послушай меня, мы только начали вместе жить, у нас еще нет ребенка, а ты уже противишься тому, чтобы он увидел свет. Молись кому хочешь, думай что хочешь, но смирись с тем, что один ты супротив всех не устоишь. Да разве оттого, что тебя в цехе будут считать католиком, ты станешь им? Я буду отмечать твое рождество и пасху, и украдкой в церковь будешь ходить, а это... это только для отвода глаз... Ты, Юрко, такой мастер, цехмастером станешь...

Я поднял ее с пола, взял за плечи и тряхнул так, что волосы закрыли ей лицо.

— Что ты говоришь, Грета!.. На какое ужасное предательство ты толкаешь меня? Дитя, которое ты хочешь родить, станет хуже казначея, когда вырастет в такой темноте! Нет, дорогая, я не отступлюсь от того, что задумал... Нас называют слепцами, и действительно мы слепцы. Свет знаний уже зажегся, и мы раздуем его снова из искры, покрывшейся пеплом. Просветим себя и зрячими поднимемся на битву... Типографию Ивана Московитина унесем из подвала ростовщика!

— Глупый, глупый! — закричала Грета. — Ржавчина уже давно съела печатные станки, мыши и крысы сожрали книги твоего Московитина, ведь их никто не читает, и от выдуманного славянского языка никто не может стать образованным, а истинного божьего письма еще постичь не может ум ваш!

Это были слова не Греты. Я уже слышал их — принадлежность жены к братству Божьего тела не прошла для нее зря. Я оттолкнул Грету, ужаснувшись ненависти, брызжущей из ее глаз.

— Грета, как могла ты когда-то клясться мне в любви, презирая сейчас меня и таких, как я?..

— Не знала, что ты такой заядлый русин, не знала! Ах, какие вы... Вас не любят ни поляки, ни немцы, ни

армяне... Вы неискренние, завистливые. Вы упрямые, злые русины!

— Злыми нас сделали Соликовские... И ты, полька, тоже стала бы злой... Разве мало поляков нищенствуют и прозябают? Но ты не видишь этого, твой взор обращен только туда, где блеск, где золото и высокомерие! Злые мы... Ибо злом на зло отвечаем. А станем добрыми тогда, когда отвоюем себе давние наши права... Я всего себя отдам, Грета, своему делу. А тебя не держу, можешь уходить...

Я сказал это, и мне стало страшно, ведь я любил ее — стройную, как березка, с черными волосами, обрамлявшими лицо, ее образ был всегда со мной и впоследствии я обрел его еще раз в другой женщине, которая принесла мне огромную радость и боль, — я протянул руки, чтобы обнять Грету, но она отпрянула, сказав:

— Я уже ушла от тебя. В эту минуту.

...Седобородый с моложавым лицом львовский православный епископ Гедеон Балабан взглянул на меня своими большими глазами, в которых притаились настороженные зрачки.

— Кто ты, сын мой, и какая нужда привела тебя в мою обитель?

— Над церковью святого Успения поглумились, владыко...

— Знаю. И над собором святого Юры — тоже. Меня опозорили.

Я пристально посмотрел в глаза Балабана, этого династического владыки, которого с пеленок готовили в епископы; он, низкорослый и плотно сбитый, провел рукой по золотому кресту, висевшему на груди, будто подчеркивал этим свое высокое положение; я говорил о церкви, епископ — о себе, и я повторил:

— Церковь оскорбили, владыко.

— Ты — успенский братчик? — прищурив глаза, спросил Балабан.

— Я — изгнанный из цеха седельщиков Юрий Рогатинец, а в братство вступлю хоть завтра.

— Что ты хочешь сказать мне?

— Прошу у вас средств, чтобы выкупить типографию Ивана Московитина. Темен наш люд...

— О-о! — воскликнул епископ, сложив руки на груди. — О-о... — повторил он тихо. — Благословен мой народ, коль простолюдин помышляет о книгах!

— Я учился в острожской школе, святой отче...

— Похвально... Похвально, сказал ведь Франциск Скорина: «Не токмо для себя живем на свете, а еще больше ради службы божьей и общего добра». Ты сможешь быть провизором типографии?

— Смогу, отче. Я знакомился с печатным делом в Остроге.

— Сие перст божий, — поднял вверх палец епископ. — В пору пришел еси ко мне. Мы думали об этом уже давно. Наверно, ты слышал о намерениях епископата открыть во Львове типографию...

Я снова уловил в его словах высокомерие, и мне показалось странным, почему владыка подчеркивает это свое превосходство надо мной, ведь дела типографии будут принадлежать не ему и не мне, а обществу.

— Не слышал я об этом, святой отче.

— Странно... — скривился епископ. — Сам дошел до этого? Мы давно думали о типографии, только не знали, кому поручить опеку над таким важным делом. Бог послал тебя мне в помощь...

— Ваше преосвященство...

— Не торопись, сын мой, давать слово, обдумай его прежде... Приди ко мне завтра, я выдам тебе вексель на 1500 злотых. Нам известно, сколько просит за печатный станок Якубович. В большие долги влез покойный первопечатник... А печатники есть. Сын Московитина Иван Друкаревич знает свое дело... Установим станок в доме возле Успенской церкви — и об этом мы уже подумали. И прежде всего мы напечатаем наше послание к украинскому люду — пусть вносят пожертвования, чтобы вернуть церкви деньги. Благословляю...

Епископ осенил меня крестным знамением, дав понять этим, что беседа закончена. Я шел домой и думал, кого бы взять себе в помощники: ведь столько будет работы, забот, хлопот... И я обрадовался, когда увидел знакомого конвисара Антоха Блазия. Он шел мне навстречу, ссутулясь, опустив голову; когда я поравнялся с ним, Антох выпрямился, хотел было улыбнуться, да улыбки не получилось, я заметил лишь черный корень в верхнем ряду его белых крепких зубов; он сомкнул губы, помрачнел, и я понял, что его постигла та же судьба, что и меня.



Мацько Патерностер подал мне пиво с гренками, политыми маслом, и пристально посмотрел на меня: он должен был знать все о своем клиенте, а я в его корчме появился впервые. Мне никогда в голову не приходило зайти когда-нибудь в этот зловонный подвал: конвисар, у которого золотые руки, может позволить себе посещать лучшие пивные. Я пил вино у Аветика в армянском квартале, в «Браге» в Краковском предместье, не захо-

дил лишь в винный погреб Корнякта. Там, говорят, шинкарь потчует пивом только патрициев, купцов и цеховых мастеров — не раз меня разбирала злость и зависть, думал: дайте только стану цехмастером, так уж поиздеваюсь над тобой, пан шинкарь, что не раз тебя бросит в жар. Вино продаешь разбавленное водой, пиво перебродившее, рыбу тухлую, гренки на прошлогоднем масле... Да не суждено было! Меня изгнали из цеха как православного, и теперь я пью там, где дешевле, и томлюсь на службе в Успенском братстве. Много нас, изгнанников, нашли себе пристанище у старшего братчика Юрия Рогатинца, который устроил в доме возле Успенской церкви типографию и обещал сделать из нее прибыльное предприятие. О-хо-хо, жди, пес, пока конь сдохнет... Но что поделаешь: православному теперь всюду трудно поступить на работу, а Рогатинец дает процент — небольшой, правда, но на хлеб хватает — от собранных у русинов пожертвований на выкуп типографии у ростовщика. Вот я и хожу по домам, словно нищий, — выпрашиваю. Тяжкая это работа, люди скупые и не все мне верят, хотя я и записываю на листке, скрепленном братской печатью, фамилию и сумму пожертвований. Некоторые раскошеливаются, но это бывает редко, даже православный Корнякт, именитый купец, назвавшийся опекуном Успенского братства, дал только сто злотых, правда, пообещал давать столько же каждый год.

Лысый Мацько стоял возле меня, склонив голову набок, — он должен был знать не только фамилию, но и всю родословную своего клиента, и я наконец сказал, хотя, пусть будет мне свидетелем господь, и не думал показывать этому скупцу листок с братской печатью.

— Я — Антох Блазий, Мацько, вчерашний конвисар, а ныне — успенский братчик... Да ты, наверное, слышал обо мне — сборщике пожертвований на братскую типографию.

Надо было видеть, как сузились глаза у Мацька, когда он услышал слово «пожертвований»... Даже отшатнулся, будто бы его ударили в грудь, а у меня вдруг мелькнула мысль: содрать с него мзду, потянуть с этого скрытого ростовщика. Я вытащил из кармана сюртука листок с печатью и торжественно произнес, надеясь разбудить в нем православную совесть:

— Ты, очевидно, читал, Мацько, обращение нашего владыки Балабана, я каждое утро такой листок прикле-

иваю к наружной стене дома на углу Русской и Шкотской улиц, потому что проклятые стражники магистрата срывают их. В этом обращении святой отец призывает словами известного печатника Ивана Московитина простой люд к пожертвованиям. Я знаю их наизусть. Вот послушай, и ты подобреешь. «Ходил я ко многим богатым и благородным, прося у них помощи и кланяясь, стоя на коленях и припадая лицом к земле. Не выпросил, не нашел сострадания у священных чинов, только некоторые бедные, простые граждане оказали мне помощь, как та бедная вдова, — оторвали две лепты от своей бедности». Ну, что скажешь ты, Мацько, на это? Епископ и братство надеются только на таких, как ты. А ведь ты не такой уж бедный...

Мацько уже не пятился назад. Обращение, которое я прочитал ему наизусть, почему-то не испугало корчмаря. Он вытащил два гроша и протянул мне.

— Мацько, как тебе не стыдно! — отодвинул я кружку с пивом. — Две лепты — это не два гроша, это две крупинки твоего имущества. Смотри, Абрекова пожертвовала злотый, а она же...

— Эта глупая баба, — вскипел Мацько, — обрадовалась, что ей оказали такую честь: над ее окном приклеили твое обращение. И отдала тебе то, чего не было у нее, — одолжила у меня. А теперь уже и не рада: все время люди останавливаются возле ее окна, галдят. Ты бы уж лучше над моими дверьми наклеил — гляди, какой-нибудь разиня и в корчму заглянет... А тот хитрый грек, что торгует винами, скупает имения, с патрициями играет в карты, русинов называет братьями, пожертвовал, говоришь, сто злотых?

— Да, это верно! Он заложил Збоивско под проценты и пообещал эти проценты каждый год вносить в братскую кассу, да еще и хочет колокольню, на месте Давыдовой, построить...

— Обещал пан кожух дать... Сто злотых? — Мацько поднял глаза, долго мысленно что-то подсчитывал и тут же громко захохотал: — Верни мне, Антох, грош, потому что я пожертвовал больше, чем Корнякт!

Конечно, он пожертвовал и гроша этого не отобрал, но это мне уже было безразлично — теперь подсчитывал я и когда досчитался (Мацьково имущество можно оценить пусть в две тысячи золотых, и его два гроша — это больше, чем сто золотых Корнякта? Так сколько тогда

грошей у Корнякта?) — и когда досчитался, аж пот меня прошиб.

— Боже, боже, — сказал я, — где же тогда справедливость?

— К справедливости мира, — ответил Мацько (да он не так уж глуп!), — надо идти как на торжище: всегда иметь при себе деньги.

— Деньги... деньги... — прошептал я, схватившись за голову, и скупой Мацько посочувствовал мне — присел рядом со мной.

— Так, говоришь, книги будете печатать... А кто их будет продавать? Для этого нужен магазин.

— Что ты, Мацько, хочешь этим сказать? — удивленно посмотрел я на него.

— А то, что целый злотый дам тебе, если пообещаешь замолвить за меня словечко своему сеньору Рогатинцу, — я его знаю, — чтобы тот магазин был у меня. Будет вам хорошо и мне не плохо...

— Давай злотый, скажу Юрию.

— Я, Антох, особенно разбогатеть не собираюсь, — Мацько сунул руку в карман, пододвинул ко мне злотый. — Я лишь бы жить... Ни советником, ни мировым судьей никогда не стану — для этого надо владеть недвижимым имуществом в пять тысяч злотых... и стать католиком...

Я даже вскочил с места: его слова прозвучали так невинно — вот, мол, пойди, возьми, сделай... Мацько хитровато глядел мне в глаза, и я понял, что он испытывает меня.

— Ты не заводи, Мацько, со мной такого разговора, я ведь член Успенского братства. Может быть, ты вздумал изменить вере?.. Ну, а если бы и я стал католиком, так где бы я взял столько денег?

— У черта! — захохотал Мацько.

— Знаешь что, Патерностер, — сказал я, когда тот перестал смеяться, — иди ты сам к черту, а сейчас на этот злотый принеси нам обоим что-нибудь поесть и выпить.

...Это было будто во сне, но клянусь всем святым — это происходило на самом деле. Ведь я не был слишком пьян: за злотый, а если захочешь еще и поесть, и бокала вина не выпьешь, а Патерностер принес дорогого — испанского аликанте, любит выпить за чужой счет, я еще не пьян был, и это происходило наяву.

Мацько выпил бокал и оставил меня одного, а я, вспомнив о богатстве и положении православного Корнякта, воскликнул:

— Чтоб меня черт взял! А ведь не всех православных за ничто считают!

И тогда я увидел, как в подвал вошел сухощавый, в черной высокой шляпе, в тесном сюртуке и в длинных штанах, которыми подметал пол, рыжебородый панок. Он, не спрашивая разрешения, присел возле меня, блеснул сизоватыми глазами и каким-то странным голосом произнес:

— Я готов служить тебе.

— Зачем мне нужен слуга? — спросил я удивленно, со страхом подумав, что панок сумасшедший. — Я сам готов служить за кусок хлеба.

— Даже черту?

— Что ты говоришь, я же христианин, принадлежу богу!

Панок криво улыбнулся, презрительно пожал плечами.

— Ты о библейском боге или о том, которого придумывают себе люди, и твой Рогатинец тоже, называя богом совесть? Если о библейском, так чем он лучше черта? Бог, по-твоему, творит добро, а черт — зло. А кто создал черта? Кто сотворил первое зло, которое искусило Люцифера? Бог. А если черт стал устрашением для людей, так разве он не союзник бога? Впрочем, сатана добрее. Бог придумал наказания для людей, а сатана — любовь. Бог хотел, чтобы люди ничего не понимали, а черт привел людей к древу познания. Лютый бог придумал зло, чтобы за него наказывать. И тут черт оказался нужным богу как союзник: не желая пачкать руки, бог поручает чертям работу палачей... Вы молитесь богу, а он обманывает вас, обещая дать вам рай на небесах; черти же говорят правду: греши — и получишь рай на земле... Теперь о боге, которого придумала человеческая совесть. Такого бога нет — это плод воображения нищих. А черти есть. Кто создаст для тебя роскошную жизнь? Черт. Деньги? Черт. Только не зазря — за верную службу и за душу.

Я глядел на него испуганными глазами — панок говорит правду. Кто придумал для себя совесть — тот убогий. Значит, совесть ничего людям не дает. А если не может ничего дать, так ее и нет. А настоящий бог в сою-

зе с чертом... Так зачем же терзать себя верой в божественную справедливость, коль ее не существует, а черт все-таки кое-что может дать человеку...

— Кто ты? — спросил я. — И откуда ты все это знаешь?

— Я — черт. И ты зовешь меня, сам не сознавая этого, уже очень давно. Тебе тяжело, ты нуждаешься в помощи...

От ужаса я лишился дара речи. Я все еще думал, что со мной говорит какой-то спятивший с ума шляхтич, но панок высунул из-под стола ногу, подтянул штанину и настоящим козлиным копытом постучал по моему колену. Потом он поднял шляпу — я увидел рога! — и быстро, очевидно, чтобы не заметил Мацько, натянул ее на голову.

— Запомни мою одежду, — сказал черт. — Ты сможешь всегда и везде найти меня. Кстати, у тебя уже порча началась, — он ткнул пальцем, на котором я увидел вместо ногтя птичий коготь, в мой прогнивший зуб. — Давно началась, Антох...

Тогда ко мне вернулся дар речи, и я закричал с испугу:

— Сгинь!

И черт исчез. Ко мне подбежал Мацько Патерностер:

— Ты звал меня, Антох?

— Да нет... нет... — прошептал я. — Дай мне еще бокал вина, а я замолвлю за тебя словечко Рогатинцу. Будешь продавать наши книги.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

ПРОКАЗА [1]

> Иезуиты очень темные и весьма воинственные монахи, которые стараются оживить погибающую веру.
>
> *П. Гольбах*

В тревожное лето 1588 года, когда бернардинцы, капуцины и францисканцы пророчествовали о наступле-

---

[1] Поскольку манускрипт утерян и в хронологическом изложении событий иногда случаются пропуски, автор порой вынужден прибегать к использованию литературных и исторических источников. *(Прим. автора.)*

нии конца света в связи с тем, что ягеллонская династия угасла, а сенат пригласил на престол двадцатилетнего шведского королевича Сигизмунда Вазу — сына закоренелого лютеранина Яна III, произошло действительно ужасное событие, которое в определенной степени подтверждало пророчество монахов.

Молодой врач и аптекарь Ганущ Альнпек — поляк с хорошей примесью немецкой крови, что проявилась в бледности его лица и крутом нраве, — обнаружил у одного мещанина страшную болезнь, которой до этого во Львове еще не было: проказу.

Имя Альнпека стало известным совсем недавно. Да прежде никто и не мог знать его. Сын обанкротившегося купца, круглый сирота, он десять лет назад остался один в нанятой обедневшим отцом убогой комнатушке. Из окна комнатки, затерявшейся в лабиринте хижин, за пышным городским фасадом, видно было только зловонную яму во дворе, куда стекали нечистоты с Рынка, а дворники свозили мусор; в этом мусоре копались худые, изможденные мужчины, искавшие объедки. Из окон напротив выглядывали бледные личики детей, которые напоминали Ганушу ростки картошки, проросшей в подвале; этот лабиринт пополнялся истощенными молодыми матерями, которые ничего не могли добыть из-за пазухи, чтоб накормить младенцев; каждый день Гануш видел больных, которые умирали тихо, покорно и безропотно.

Однажды юноша вырезал в стене над входной дверью в свою комнату надпись: «Deus providebit!» Соседям эти слова ничего не говорили, они, возможно, не умели даже прочесть их, но для парня, закончившего гимназию во Вроцлаве, это слово имело большое значение: добьюсь, БОГ ПОМОЖЕТ мне изучить науки, и я облегчу жизнь обездоленным. Он нанялся работать помощником у Лоренцовича, владельца аптеки «Под золотым оленем», которая помещалась в его же Черном каменном доме, ездил с поручениями в южные и восточные страны и остался в конце концов в Падуе. Спустя несколько лет он вернулся оттуда бакалавром медицины, практиковал у Лоренцовича, а когда тот состарился, купил у него аптеку.

Вскоре Альнпек заслужил широкую известность среди городских жителей. Одни относились к нему с уважением, другие с завистью и ненавистью. Он лечил бедных и не брал с них платы! Без приглашения, без вы-

зовов доктор приходил в жилые подвалы, в клетушки, пристройки, где находили себе приют убогие люди, осматривал больных и давал им лекарства. Он в течение года успел обойти весь темный Львов, о нем стали говорить как о мессии, и однажды в ратуше на совете консулов патрицианский доктор и бургомистр Павел Кампиан воскликнул:

— Это шарлатан и чернокнижник!

Альнпека вызвали в магистрат. Как раз в этот день он в подвальном помещении на Грабарской улице обнаружил человека с черно-рыжими пятнами и нарывами на теле.

Чиновники готовились учинить допрос врачу: он лечит и почему-то делает это скрытно, без ведома магистрата. Они, зная наперед, какой будет вынесен приговор — лишение врачебных прав или изгнание из города, с высокомерием посматривали на блондина с холодными синими глазами. Павел Кампиан поднялся с кресла. И пока он собирался что-то сказать, Гануш Альнпек сделал два шага в его сторону и выкрикнул:

— В городе лепра, тронд! Не знали об этом, ваша милость Кампиан? Или, может, знали и лечили прокаженных пилюлями из гашеной извести, а драли деньги, как за настоящее лекарство?

— Протестую! Какие пилюли... Это клевета! — запротестовал Кампиан.

— Вот какие! — Альнпек полез в карман и вытащил бутылочку с белыми таблетками. — Я взял их у одного больного и сделал анализ. Так что же, меня будете судить за шарлатанство или я вас? Ха... Я знаю, — Ганущ обвел глазами смущенные лица чиновников, — знаю: вы все сделаете, чтобы этот обманщик не был предан суду, вы постараетесь найти повод, чтобы изгнать меня из города, но сейчас не сделаете этого. Я научился в Италии лечить проказу, а вы не умеете... И не думайте, что эта страшная болезнь поражает только плебеев, она всюду, она — тут! Ее не видно, проказа созревает много лет, а когда уже появляются пятна и нарывы — лечить поздно. У меня есть профилактическое лекарство — не шарлатанское, не чернокнижное, а найденное учеными мужьями в Падуе. Так что, пока будете расправляться со мной, записывайтесь ко мне в очередь на прием — ведь все вы прокаженные!

Архиепископ Соликовский любил в свободное время развлекаться марионетками. Куклы мастерил сам. Если бы не священнический сан, он был бы хорошим мастером в художественном цехе — сходство кукол с особами, которых католический владыка изображал, было поразительное. Он порой сожалел о том, что не может блеснуть своим искусством перед гостями: архиепископ держал домашний кукольный вертеп в полнейшей тайне, ибо он делал это не для забав, а с определенной политической целью.

Первая кукла, которую он смастерил, приехав из Вильно во Львов, сменив титул кастеляна и королевского секретаря на архиепископский, изображала основоположника и генерала иезуитского ордена испанца Игнатия Лойолу. Его, живого, Соликовский не имел возможности увидеть: святой вознесся к Христу, чтобы стать возле него одесную, почти тридцать лет тому назад, но не портреты, не лубочные картинки с изображением Лойолы служили ему прообразом для куклы. Соликовский познал духовную сущность этого ревнителя Иисуса, которого ни инвалидность, ни подозрение в сумасшествии, ни побои не свернули с праведного пути: в 1540 году папа Павел III утвердил Лойолу генералом ордена иезуитов.

Лойола Соликовского — тощий, измученный постом и бичеванием; личность ничтожная и не от мира сего, на лице вялая улыбка, но взгляд пронизывающий и властный. Никакая сила не может устоять перед этим мужем, ему все подвластны, потому что он утверждает:

«Каждый иезуит обязан давать возможность провидению в лице генерала, супериоров, прокураторов так руководить собой, как будто он неживой. Будьте готовы откликнуться на призыв духовных повелителей, словно сие есть глас самого Иисуса».

Кукла, изображающая Лойолу, стоит на краю стола на возвышении — она неподвижна, к ее рукам и ногам не привязаны шнуры, которые — от других кукол — проходят сквозь отверстия, просверленные в столе. Лойола — это постоянство, догма, доктрина, символ. Все остальные куклы будут двигаться по его велению, но по замыслу Соликовского.

Отношение архиепископа к Лойоле особенное. Ведь это он в год своей смерти в 1556 году сказал пастору Сальмерону: «Уезжай в Польшу. Там слуг Христовых ждет обильная жатва. Кроме того, это королевство от-

кроет двери, через которые вы пронесете свет евангелия и к соседним народам. Ведь там огромно влияние сатаны — в Литве, на Руси, в Жмуди, в Московии, на безбрежных просторах языческих татар, протянувшихся вплоть до Китая».

Поэтому Лойола будет стоять на краю стола на возвышении как вдохновитель борьбы за господство иезуитства в Польше.

А кто же борется?

Как ни пытался архиепископ облагородить кукольный портрет супериора иезуитов при костеле Варвары в Кракове, а ныне королевского проповедника и духовника отца Петра Скарги, все же зависть к самой влиятельной в Речи Посполитой духовной особе сделала свое. Изображение Скарги получилось отталкивающим: злобная гримаса на лице, высокий лоб в глубоких морщинах, большая, словно лысина, тонзура [1] и глаза, сидящие близко к переносице.

Правда, Соликовский отдает должное знаменитому проповеднику и гофкапеллану, который еще до коронации сумел склонить шведского королевича принять католическую веру, и молодой польский король Сигизмунд III, вчерашний протестант, так ответил литовскому канцлеру Льву Сапеге, который призывал его пойти на уступки протестантам:

«Пусть лучше погибнет Речь Посполитая, чем нанести какой-то вред католической религии и божьей чести».

Архиепископ Соликовский вскочил с кресла — злость на парвеню Скаргу, который так опередил его, сорвала старца с места: неспроста отец Петр неотступно следовал за королем накануне коронации! Архиепископ почувствовал, как пошатнулось его положение: ведь Петр Скарга еще, наверное, прозябал в Рогатине, когда Соликовский пользовался доверием у Стефана Батория, а теперь... Чтобы не утратить позиций приближенного ко двору, надо было в этот момент засвидетельствовать свою солидарность с королем; Соликовский сорвал с себя епископское одеяние и, оголив грудь, завопил:

«Лучше умереть, чем предоставить иноверцам свободу!»

И все же король своим доверенным лицом сделал Скаргу.

---

[1] Тонзура — с 633 года признанное обязательным для лиц католического духовенства пострижение волос на темени *(лат.)*.

Архиепископ не враг гофкапеллана, наоборот — единомышленник, оба ведь когда-то в Риме вступали в иезуитский орден: он относится с уважением к автору книги «O jedności kościola bożego»[1], в которой Скарга вскрывает заблуждения православной церкви и убеждает схизматиков в том, что их спасение только в унии с костелом, но все же он — парвеню. И как это ему удалось — казначею львовской кафедры, рогатинскому настоятелю, обыкновенному канонику львовского капитула — стать ректором Виленской иезуитской академии, а теперь первой духовной особой у короля?

Впрочем, они оба ведут борьбу за торжество иезуитизма в Польше. Скарга — в Варшаве, Соликовский — во Львове.

И пока что больше некому... Кардинал Вармии Гозий, который после Тридентского собора ввел первых иезуитов в Польшу, умер; настоятель Пшерембский бессилен: познанский синод не разрешил ему в Познани создать братство Иисуса. Львовский клир тоже не желает их иметь. А что, если обратиться к высокопоставленным светским персонам? Да нечистую силу взять себе в помощь. А что же...

Архиепископ вытащил из ящика горсть кукол-чертей в длинных штанах и высоких шляпах, подбросил их, поймал — эх, мальчики вы мои бойкие! У бургомистра есть свои стражники, палачи, а у меня вы, вы! Единственный бог, он держит в своих руках небо и пекло, а нам, своим наместникам на земле, велел пользоваться услугами небесных и адских сил. Улыбнулся и стал расставлять на столе кукол-чертей. Одного — рядом с макетом кафедры, второго — возле Успенской церкви, третьего — возле дворца польного гетмана Жолкевского на южной линии Рынка. Протянул шнуры сквозь отверстия в столе, зажал концы в руке, чтобы начать представление, которое всегда подсказывало ему нужные мысли и ходы, но вдруг опустил их, снова засунул руку в ящик и вытащил оттуда кукол, изображавших Станислава Жолкевского и молодого поэта Шимона Шимоновича, который на коронационном сейме прочитал приветственную оду в честь короля.

— Вас тоже надо заставить работать, — произнес вслух Соликовский, поставив кукол на стол и придвинув

---

[1] «О единстве божьей церкви» *(польск.)*.

к каждой по черту. — Нет, не так... — Еще раз резко открыл ящик и вытащил оттуда самую большую по размерам куклу. — Вот так. — Архиепископ поставил ее посредине стола, отбросил чертей, которые должны были опекать Жолкевского и Шимоновича, переставил гетмана и поэта к самой большой кукле. — Я сам займусь вами, — сказал он, обращаясь к своему изображению. — Сам.

Он подошел к двери и дернул за шнур звонка.

— Пригласи его милость польного гетмана и пана Шимоновича ко мне на вечерний чай, — приказал министранту [1].

...Сорокалетний Станислав Жолкевский нынешней весной по приказу канцлера Яна Замойского возглавил войска и, разгромив под Краковом габсбургского претендента на польский престол архикнязя Максимилиана, вернулся во Львов с титулом польского гетмана.

Воодушевленный своим первым военным подвигом и высоким званием, молодой гетман знал себе цену и держался с Соликовским независимо, хотя и почтительно: в угоду архиепископу расхваливал, смакуя, густо-красную мальвазию, поданную гостям к чаю.

— Божественный напиток, амброзия! — приговаривал, ожидая начала делового разговора, ведь не на посиделки пригласил Соликовский его и Шимоновича. — А впрочем, мы плохие гурманы: китайцы знают толк в чае, турки — в кофе, московиты — в водке, а поляк пьет все и хвалит...

— Ну нет, поляк в пиве знает толк, — возразил гетману Шимонович. Среди присутствующих Шимонович был самым молодым, но уже довольно известным поэтом: по примеру Кохановского, он писал не только на латинском, но и на родном языке. — У нас пиво самое лучшее. Покойный папа Григорий (он был какое-то время легатом в Польше) воскликнул, лежа уже на смертном одре: «O santa piva di Polonia!» [2] Правда, святые отцы не совсем правильно поняли его и начали молиться святой Пиве, чтобы она вернула папе здоровье.

Жолкевский сдержанно улыбнулся. Он любил шутки своего младшего коллеги; Соликовский исподлобья посмотрел на поэта, уловил его иронический взгляд и смиренно опустил глаза, готовясь к серьезному разговору.

---

[1] Министрант — служитель католического священника (*лат.*).

[2] О божественное польское пиво! (*итал.*).

— Я слышал, — повернул он голову в сторону гетмана, — что вы в Жолкве начали строить крепость, перед которой игрушечными будут казаться Олесский и Луцкий замки...

— Да... Там буду жить. Тесно во Львове, да и эскорт негде тут держать, а что это за гетман без личного войска...

— Как архиепископ — без орденского воинства. — Соликовский направлял разговор в нужное ему русло.

— Вы не можете жаловаться, ваша эксцеленция... Во Львове кого только нет: бернардинцы, капуцины, кармелиты, доминиканцы...

— Лютеране, кальвинисты, ариане, — с иронией в голосе продолжал перечислять архиепископ. — И православные, ваша милость, и православные, — добавил подчеркнуто, злой огонек блеснул в его глазах и угас. — Те создали свое антихристово братство и объявили войну апостольской церкви... И ей тяжко: бернардинцы ходят с вертепами, капуцины хорошую капусту выращивают, босые кармелиты умеют отлично просить милостыню, а воевать с вероотступниками некому.

— Но вы-то воюете, — разглаживая усы, сказал Жолкевский, — закрываете церкви, православных священников выгоняете из приходов, русинов — из цехов... Ваша эксцеленция, не подумайте обвинять меня в благосклонном отношении к схизматикам — мой уважаемый отец, львовский староста, действительно в детстве был православным, я же верно служу католической державе и ее правителям... Однако считаю, что в завоеванной стране не следует опрометчиво нарушать устоявшийся образ жизни подданных... Чтобы покоренный народ воспринял перемены, надо вводить их исподволь, незаметно: люди боятся больше изменений внешних, чем глубинных.

— Не согласен с вами, ваша милость... Правитель должен провести все необходимые жестокие меры единожды, чтобы подданные пережили их один раз. Что же касается благодеяний, то их надо давать постепенно, чтобы народ имел время оценить их.

— О бессмертный Макиавелли! — воскликнул громче, чем это позволял этикет, Шимонович. — Судя по вашему разговору, учение итальянского политика можно трактовать как кому выгоднее. Вы же в своем диалоге оперировали тезисами из трактата «Монарх», и каждый

был прав. Не так ли и идеологи разных сект и вероисповеданий толкуют святое писание?

— А поэтому иезуиты признают право толкования святого писания только за костелом, сын мой, — отрезал Соликовский. — Пан гетман... Коль уж у нас с вами зашла речь об этом, — архиепископ держал в руке бокал с вином, словно хотел согреть его, — вот я и хочу воспользоваться случаем... Я прошу у вас, как у весьма влиятельного светского властелина, поддержки... Может быть, мне удастся убедить вас в том, что во Львове, где в последнее время довольно агрессивно стала проявлять себя схизматская гидра, необходимо создать самый воинственный орден иезуитов, настоящее воинство Иисуса, которое было бы способно обезглавить чудовище. А вас, уважаемый поэт... Хвалю за то, что пишете на понятном польскому народу языке, хотя... коронационную оду вы могли бы провозгласить и по-латыни... Впрочем, иезуитская проповедь тоже провозглашается по-польски, даже самим Скаргою... Вы, известный поэт, своим словом сумели бы помочь в этом деле. Посполитый люд верит своим проповедникам. И если на каждом шагу... Даже сухой стебелек зазеленеет, если его часто поливать.

На минуту наступила тишина. Шимон Шимонович опустил голову, но тут же резко поднял ее и кратко спросил:

— Зачем?

— Для победы Полонии на Руси. Иезуитский орден сумеет дисциплинировать плебс. Иезуитская коллегия сменит пауперскую[1] кафедральную школу и будет воспитывать не вольнодумцев, которые потом — кто в лес, кто по дрова, а верных слуг святого костела, которых, словно воск, можно всегда втиснуть в нужную форму, и каждый из них сумеет пожертвовать собой во имя любви к Христу. Иезуитизм со временем превратит польский народ в могущественную опору христианства! — Архиепископ стоял, протянув вперед руку, он, казалось, произносил проповедь, и глаза его горели. — Дорогие мои, разве вы не видите, что Польшу, окруженную протестантской Германией, магометанской Турцией, православной Русью, может спасти и сделать твердыней только иезуитский католицизм? Почему до сих пор нет во Львове иезуитского храма? В Вильно, в Кракове есть... Получа-

---

[1] Пауперская — нищенская (*лат.*).

ется — рыба во Львове, а рыбаки в Польше. Разве это логично, панове?

Шимонович поднялся.

— Я не политик, ваша эксцеленция, и вы, конечно, не станете слушать моих советов: создавать орден иезуитов во Львове или нет. Но мне кажется, что иезуитская дисциплинированность может отрицательно сказаться на общественной жизни Львова, населенного людьми разных национальностей. При этом Львов — только остров среди украинского моря, об этом надо помнить. Мы должны искать каких-то мостиков, путей для взаимопонимания с русинами, а не посылать к ним духовных цепаков, которые закрывают церкви, ловят священников, изгоняют из келий монахинь. Я боюсь, что подобные меры когда-нибудь могут привести к пролитию крови!

Жолкевский сидел неподвижно, прислушиваясь к спору, поглаживал пышные усы, а брови приподнял вверх — слушал внимательно, и когда раскрасневшийся Шимонович уже сидел в кресле, вытирая платочком пот со лба, произнес:

— Я не склонен видеть в таких черных красках наше будущее, как наш молодой пламенный поэт... У нас есть сильное войство, а значит, и порядок... Однако я согласен с паном Шимоновичем, что еще рано прибегать к крайним мерам, к огульной пацификации края, и поэтому не советую создавать во Львове такой воинственный орден, каким является иезуитский. В моем войске служат реестровые казаки, и они очень послушны. Во Львове русины тоже не бунтуют. А иезуиты могут озлобить их... Вы слишком рано, ваша эксцеленция, беретесь за саблю. Сначала надо попытаться договориться с православным клиром. Балабан направил королю жалобу на вас — и правильно сделал: вы оскорбили духовную особу. А почему бы вам не встретиться, как вот мы сегодня, с епископом, с киевским митрополитом и не поговорить с ними: Иисус у нас один, одна и дева Мария, подобны и обряды... Давайте объединимся. Учредим унию... И если бы это удалось сделать, то не закрывать надо церкви, а открывать новые потребуется, тогда можно будет посадить униатского патриарха в Киеве и этим выбить скипетр у московского, которым он помахивает через наши головы даже в Константинополе! А потом придет черед иезуитам...

Соликовский долго думал, потом отпил немного вина из бокала и посмотрел на гостей.

— Я благодарю бога за то, что в вашем лице имею таких искренних единомышленников, панове. А тон нашей беседы... Что же, и на заседании сейма тоже все разом кричат, никто никого не слушает, а решают единодушно...

Альнпек сказал о проказе и увидел, как побледнел врач патрициев и бургомистр Павел Кампиан. Он, охваченный страхом, поднес руки к глазам и стал рассматривать их, потом освободил дрожащими пальцами перевязанные золотистыми шнурами рукава шелкового жупана и, оголив запястья, простонал:

— Пятно... Красное пятно!

Альнпек подошел к патрицию, присмотрелся к его рукам.

— Суггестия, уважаемый доктор... Лечитесь вот этими таблетками из гашеной извести. Проказа не в теле вашем, а...

Он недосказал, повернулся и вышел из зала консулов.

...Соликовский узнал о страшной болезни в тот же день, когда принимал у себя Жолкевского и Шимоновича. Но странным образом.

Гости ушли, он снова заперся в комнате с куклами, сделал наспех бумажное чучело православного епископа Балабана и, поставив его возле игрушечного собора святого Юрия, пододвинул к нему черта. Потом, подумав, взял нечистого, бросил в ящик и, сунув руку под стол, стал дергать за шнуры. Старые куклы послушно двигались, смешно размахивали руками и ногами — так, как этого желал архиепископ. Игнатий Лойола следил с края стола за движениями марионеток, держа в руке крест, и был доволен. Соликовский долго дергал за шнуры и думал; бумажное чучело Балабана стояло неподвижно; архиепископ нервно сгреб всех чертей и крикнул им, как живым:

— Вы найдете посредника между мной и Балабаном. Вы!

В это время в открытое окно, выходившее к Рынку, влетел ангел. Он был немного крупнее голубя, с сизыми крыльями и с златовласой девичьей головкой. Ангел сложил крылья и, потоптавшись на подоконнике, изрек по-латыни:

— Lepra oppidum invasit. Deus praecipit tibi, ut coloniam leprosorum condas [1].

— Что? — переспросил божьего посланника пораженный архиепископ. — Для прокаженных? А для воинов Иисуса — когда?

Но на подоконнике голубя-ангела уже не было, и Соликовский подумал, что это глас с неба. Он выглянул в окно, на Рынке собралась толпа, оттуда доносились тревожные крики:

— Тронд, тронд в городе! Прокаженных — в колонию!

На следующий день Кампиан, выслушав Соликовского, распорядился: изгнать нищих из мазанок на Калечьей горе, которая возвышается неподалеку от Сокольницкой улицы, за чертой города, и основать там колонию для прокаженных — по европейскому образцу.

В послеобеденную пору через мост на Полтве в сторону Калечьей горы двинулась процессия — такой еще не видали жители Львова.

Впереди в белой сорочке, подпоясанной серым шнуром, шел безбровый человек с красным опухшим носом, из его рта текла слюна, он диким взглядом окидывал людей, которые сбились у края мостовой и с ужасом пятились назад, когда он приближался. Это был Тимко Пенёнжек, которого нашел Гануш Альнпек в подвальном помещении на Грабарской улице.

За ним следовал городской палач в черном плаще с прорезями для глаз в капюшоне. Он держал в руках топор, а на расстоянии нескольких шагов от него шли каноник в ризе, надетой поверх рясы, и два министранта.

Процессия остановилась у склона холма. Палач указал рукой на вершину, где стояли мазанки нищих, крытые камышом, и сказал больному:

— Ты больше не жилец на этом свете. — Он наклонил голову Тимка и взмахнул топором, имитируя казнь. — Назад тебе возврата нет.

Подошел министрант, бросил несчастному суконные рукавицы и подал ему в руки длинную палку, на конце которой болталась привязанная мисочка.

— Тебе разрешается выходить сюда вот до этой черты, — палач носком сапога прочертил линию на земле, —

---

[1] В городе проказа. Господь велит тебе основать колонию для прокаженных (*лат.*).

и в рукавицах протягивать для подаяния палку с мисочкой. Если же ослушаешься, то этот топор опустится на одну пядь ближе к твоей шее, чем сегодня.

Каноник начал отправлять над прокаженным панихиду. Тимко покорно слушал, не проронив ни единого слова, глядел на каноника слезящимися глазами без ресниц, а после панихиды сказал:

— Помолитесь, святой отче, чтобы я тут недолго был один...

Так Тимко Пенёнжек положил начало существованию во Львове колонии прокаженных, которая, по воле божьей, опередила иезуитов на много лет.

Подобного голубя с златоволосой девичьей головкой, — а, наверно, это был тот же самый — видел еще один человек, Антох Блазий. Он возвращался в братскую типографию, которая размещалась пока что в убогой пристройке к Успенской церкви в Зацерковном переулке; возвращался от Лысого Мацька усталый и немного хмельной. Отвез ему на ручной тележке сто двадцать экземпляров «Часослова», каждая эта книга стоит пять злотых, а хитрый Мацько половину по шесть продаст, вот он в этот раз и не поскупился — поставил магарыч.

Остановился возле входа, вытер пот со лба, тяжело дыша, ибо послеобеденное солнце так сильно жгло, а книги, черт их побери, тяжелые, и вино у Мацька крепкое. Стоял и думал о том, что совсем забегался, устал. Юрко Рогатинец, с тех пор как его избрали на сходе сеньором братства, никому не дает отдыхать. Совсем другим человеком стал — не присядет, не улыбнется, похудел, стал седеть, но одним взглядом своих серых глаз заставляет всех работать или дает понять: не хочешь — не держу.

Хотя бы его, Блазия, ведь он первый помощник у Рогатинца, повысил в должности — черта лысого... Какой-то портной Иван Красовский стал вице-сеньором, скорняк Фома Бабич — казначеем (разве они помогали собирать у людей деньги на строительство школьного здания и братского дома?), а он, Антох, остался по-прежнему сборщиком. Он должен бегать за пожертвованиями не только во львовское братство, но и в Рогатин, Дрогобыч, Самбор, Бережаны — ведь все небольшие братства были подчинены Успенскому.

А он видит — уже до греха недалеко. Епископ Балабан (да если бы не он, разве стоял бы тут печатный станок?) на проповеди в соборе святого Юрия назвал успенских братчиков богоотступниками. Епископ, правда, тоже собачья кость, он хотел, чтобы все доходы от типографии направлялись на епархиальные нужды, а Рогатинец воспротивился — прежде всего надо открыть гимназию. Сначала Юрий как-то умел угодить епископу, поддакивал, кланялся ему, но вдруг он переменился, что заставило его, Блазия, призадуматься. Проезжал через Львов, возвращаясь из Москвы, антиохийский патриарх Йоаким — Рогатинец с Красовским поймали его за полы рясы и выпросили грамоту, которой он утвердил устав братства. Видимо, Йоакиму понравился сеньор, потому что замолвил о нем словечко царьградскому патриарху Иеремии, и тот предоставил Успенскому братству ставропигию [1].

Вот так и началось грехопадение. Антоху так кажется со стороны, потому что он не очень-то набожен, ну, не из тех, что в церкви перед алтарем пластом лежат, но... Где это видано, чтобы церковью руководили ремесленники? Да еще стали ктиторами, сами подбирают себе проповедников, а дидасколов для гимназии подыскивают без ведома епископа, священников, не вносят в братские книги. Всех, кто вступает в братство, заставляют при зажженных свечах давать клятву. Гордыня одолела Рогатинца. Вчера через посланца передал епископу: долг кафедральному собору мы уплатили, его преосвященство патриарх предоставил нам право самоуправления, поэтому больше не будем слушать епископа, а заставим его самого считаться с нами.

Антох думал об этом и чувствовал себя так, будто их, Блазиев, стояло тут два. Один денно и нощно трудится для братства, ведь надо как-то жить, а другой бунтует. И не против братства — против Рогатинца. Антоху не раз хотелось докопаться до причины этого неприятия, протеста, потому что не преклонение перед епископом (зачем ему нужен этот Балабан?) и не то, что казначеем не стал (изберут на второй элекции, Бабич в денежных делах мало смыслит), что-то совсем другое толкает Блазия против Рогатинца. Он — будто святой. Хотя бы раз в корчму заглянул, за девицей поухаживал... Всех, кто его

[1] Ставропигия — независимость от местных владык, прямое подчинение патриарху *(греч.)*.

окружает, подчиняет своей воле и замыслам, которые известны только ему одному. Ну, пусть будет школа, даже академия. Разве это первая в мире? Ну, станут русины членами совета Сорока мужей в магистрате — разве тогда налоги уменьшатся? Был бы Рогатинец мудрее — на доходы братства жили бы, да еще как! Так нет — стремится к какой-то свободе духа... А разве душа не отдыхает, когда сытно поешь, выпьешь бокал вина, побеседуешь с хорошим человеком? А сам — ну что он собой представляет? Седельщик. Обыкновенный неотесанный ремесленник. Нет у него ни капли благородной крови. Ну, хотя бы он был из высшего сословия, так не досадно и слушаться его. А когда говорит... Да разве Антох не умеет говорить? Иногда скажет и умнее, но пролетают его слова мимо ушей людей, а когда Рогатинец — в глаза глядят, на виселицу готовы пойти следом за ним...

Казалось бы — чего уж больше нужно? Пожертвовал Корнякт — настоящий шляхтич — на строительство колокольни, лишь бы она носила его имя, уйму денег (а разве была необходимость строить такую башню, чтобы она своим шпилем упиралась в небо?), вот и сказал Антох Рогатинцу: «Раздели немного между нами, мы ведь бедные». А он только посмотрел, да так ответил, что после этого ты уже не ты, а ничто:

«Однажды, Антох, злодеи обворовывали костел. Один забрался в грязных сапогах на алтарь, а второй и говорит ему: «Ты испачкал скатерть». «Ничего, сын мой, — ответил первый. — Бог смотрит на чистоту сердца, а не ног».

Строители возводят школьное здание. Скоро придут сюда спудеи, дидасколы, скоро тут будут ходить ученые мужи, и тогда к Блазию начнут относиться с еще меньшим уважением. Боже, боже, а какими почестями и высоким положением ты награждаешь некоторых людей!

И тут вдруг Антох вспомнил о черте... Он ужаснулся в душе из-за того, что до сих пор не забыл его, ведь настоящий христианин давно должен был бы откреститься от таких воспоминаний: Антох, хотя и был разморен жарким солнцем, быстро перекрестился. А потом увидел ангела.

Из бездонной синевы небес голубь опускался прямо на шпиль Доминиканского костела, и когда плавно сел на крест, уместившись как раз посредине солнечного ореола, Блазий увидел, что у голубя златовласая деви-

чья головка. Он ахнул, и сердце его наполнилось радостью, ибо понял, что господь разрешил ему узреть не только чертей, это ему и только ему ниспослано господнее предзнаменование: кому еще посчастливилось увидеть живого, не нарисованного ангела?

Блазий подбежал, чтобы посмотреть на него вблизи. Ангел взмахнул крыльями и полетел ввысь: может, сядет на шпиль Корняктовой колокольни, тогда Антох взберется на нее и попросит у ангела лучшей для него судьбы; да — сядет... Как же он может сесть, если тут не в почете духовные особы? Ангел, сделав круг, устремился вдоль Русской улицы и свернул в сторону дворца архиепископа.

— Грешные мы... — прошептал Блазий.

— Не велика беда, Антох, — Блазий вздрогнул: возле него стоял Рогатинец, он вышел из душного, пропахшего красками помещения типографии подышать свежим воздухом. — Вон кафедральному костелу папа дал право за мзду отпускать грехи не только живым грешникам, но и душам в чистилище.

— Ты мне, Юрий, такое не рассказывай... — Блазий льстиво усмехнулся, но тут же принял серьезный вид и повторил то, что когда-то сказал Мацьку Патерностеру: — Коль сам что задумал, твое дело, но я непоколебимый православный... Только что ангела видел.

— А черта нет?

— Видел когда-то и черта...

— Послушай, Антох, — Рогатинец положил руку на плечо Блазия, — я еще раз говорю тебе: перестань пить. Ты же знаешь, что записано в уставе братства. Исключим тебя из братства.

Блазий от обиды даже покраснел.

— Да что это — тюрьма? Ничего нельзя... Разве на тебе свет клином сошелся?

— Никто тебя не держит, — холодно ответил Рогатинец. — Но тот, кто остается в братстве, должен знать, во имя чего это делает и от каких утех и удобств должен отказаться. Твой мир, Антох, замыкается постепенно в самом тебе — в твоих желаниях и прихотях...

Рогатинец разговаривал с Антохом и пристально всматривался в лица пешеходов: с Русской улицы на Зацерковную свернул священник — низенького роста, подтянутый, с посохом в руке, он узнал в нем Балабана. За епископом шли два каноника.

Юрий направился навстречу Балабану, остановился перед ним и наклонился, чтобы приложиться к руке епископа, но тот, заложив руки за спину, сказал:

— Ты уплатил мне долг, а Друкаревич — нет. За ним его и отцовский долг. Веди в типографию.

Иван Друкаревич, сын Федорова, худой, чахоточный парень, тискал на станке листы — печатал новое издание отцовского «Букваря» для братской школы. Он прилаживал латунную таблицу к раме с набором и готовил ее для установки на пресс, когда увидел своего бывшего кормильца и господина. Суровый взгляд епископа не предвещал ничего хорошего, Иван опустил руки, смутился.

— Ты уплатил мне долг? — спросил Балабан, подняв посох.

— Уплачу, владыка, — умоляюще посмотрел на епископа Друкаревич. — Напечатаю «Букварь», он дорогой, а мне принадлежат прикладки — много экземпляров, я их продам...

— Не напечатаешь! — писклявым голосом закричал Балабан. — Сгниешь в долговой тюрьме! Я спас тебя от беды, а ты... Я вам предоставил типографию, а вы... — епископ захлебывался от злости.

— Что сие значит, владыка? — вмешался Рогатинец.

— Ставропигия, неповиновение клиру! Не успели из навоза выбраться, а уже бога за бороду схватили! От турок получили право на самоуправление, свои присяги принимаете, суд чините, из-за вас, антихристы, еретики, другие церкви отказываются от послушания. — Балабан замахнулся посохом на Рогатинца. — А ты... ты, которому я поверил. Подколодная ты змея, отступник, иуда!

— Погодите, ваше преосвященство, — задержал посох Рогатинец. — Послушайте теперь меня. Я думал: мы с вами одно дело вершим, по единой воле, по единому совету — ведь речь идет о борьбе за лучшую долю всего русинского народа. Но вы, отче, не об этом заботились, а только о своей власти и корысти. Ну и уходите себе... Нам дал свое благословение патриарх, и мы вам не подвластны. Мы выполняем свой долг — во имя благополучия всего нашего народа. А если будете нам мешать — вся паства предаст вас ненависти и поруганию. Уходите, ваше...

— Взять его! — крикнул епископ каноникам, указывая посохом на Друкаревича.

— Я сам пойду, — произнес Иван, сын Московитина, вытирая фартуком руки.

— Спасибо, Иван, — поклонился ему Рогатинец, когда тот уходил.

Долго звенела в типографии тишина. Потом, погодя, тяжело вздохнув, Юрий сказал:

— Не токмо с чужими, но и со своими бороться нужно. Правильно сказал мне Вишенский: «Не ищите защиты у панов русинских, они не лучше чужих...»

Никто не откликнулся на его слова: ни наборщик, ни прессовщик, ни Антох. Блазию тоже было тяжело, однако он, помимо своей воли, почувствовал в душе какое-то облегчение или приглушенное постыдное утешение. Потому что тут, в братстве, что-то неладное творится. И почему ангел не прилетел к ним, а направился к дворцу архиепископа?

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

ПРЕКРАСНАЯ ЛЬОНЦЯ

> И положилась ты на красоту свою, и стала распутной из-за славы своей, и изливала эту распущенность на каждого прохожего.
>
> *Иезекииль, гл. 16, стих 15*

Не было ни гроша, да вдруг алтын: на следующий день после магистратского представления Абрековой достался заработок. Всем, кто хотел принять участие в уборке рыночной площади от мусора «смоленской битвы», магистрат уплачивал по три гроша. Абрекова потащила за собой и Пысьо — пусть хоть раз заработает себе на вино.

А Льонця, утомленная ночным кутежом с хмельными победителями и защитниками смоленской твердыни, только возвращалась домой. На Трибунальской улице возле Иезуитского костела, который массивными колоннами фасада уже начал тянуться к небу, натолкнулась на супериора коллегии патера Лятерну.

Тот вышел в раннюю пору из помещения бывшей патрицианской бани, ныне иезуитской коллегии, чтобы перед началом занятий помолиться просто под небесным шатром, как вдруг увидел чудо — прекрасную девицу с распущенными волосами, красивыми бедрами, белоли-

цую, с очаровательными манящими глазами, и святой отец оторопел, замер столбом посреди мостовой — он узнал девушку.

Льонця тоже узнала патера — духовника самой пани Жолкевской, но особы духовного звания ее не интересовали. Однако она вспомнила, что встреча с попом — плохая примета, и хотела обойти его стороной, но патер преградил ей дорогу и, сочувственно посмотрев на нее, промолвил ласковым отцовским тоном:

— Тяжело тебе, дитя, знаю... Такая беда свалилась на тебя, но злые будут наказаны, а добрым господь поможет. Доверь свое горе святому костелу...

— А с какой стати? — Льонця остановилась, наклонила голову, подобрала пальцами волну белокурых волос.

Будто из алебастра выточенное ухо, белая шея, прямые губы, сжатые в горделивой гримасе, желобок между упругими персями ослепили патера. Он только теперь понял Антонио Массари и позавидовал ему. Опустив глаза, добавил:

— ...Католическая церковь ниспошлет покой душе твоей. В ее руке...

— Сколько, святой отец, будет в той руке? — голубизна Льонциных глаз пленила патера, его закаленное божественной дисциплиной сердце вмиг расслабилось; Льонця, блеснув зубами, переспросила: — Ну, сколько?

— Разве можно измерить деньгами милосердие господне, дитя? — взял себя в руки патер. — Я о душе твоей, потонувшей в грехе, печалюсь... Ты вступи в наше братство Божьего тела, а Иисус, который терпел мучения на кресте, поможет тебе... — Лятерна уставился на девушку, похотливо пожирая ее глазами.

Льонця улыбнулась. Ей говорили старые проститутки, что среди духовных лиц можно найти щедрых клиентов. Она исподлобья глянула на патера и промолвила — совсем без злости:

— Обманщик... Лжец... Ты хоть раз испытал то, что Христос, его бедность и муки? Ты самый большой враг Иисуса, потому что пользуешься его именем корыстно... Да не крестись, разве я говорю неправду? Братство Божьего тела... Марии Магдалины... — Льонця подошла к Лятерне, провела пальцем по его белой пелерине, наброшенной поверх черной рясы. — За здорово живешь хочешь, а? А ты посмотри... — Она расстегнула одну пуго-

вицу на кружевной блузке, и желобок пополз вниз, разделяя упругие белые перси. — Разве можно такое на даровщинку? Скажи просто, святой отец, сколько заплатишь, так я сейчас, хотя очень спать хочется...

— Свят-свят... — перекрестился патер Лятерна. — Цветок, в котором гнездятся черви!

— Тогда довольствуйся тощей Жолкевской! — захохотала Льонця и пошла. Потом остановилась, оглянулась — патер смотрел ей вслед. — Я живу на углу Шкотской, отче. Пришли за Льонцей какого-нибудь монаха, гм-м? После обеда, когда высплюсь...

Но уснуть она не могла. Лежала раздетая на топчане, водила рукой по лицу, груди, бедрам, животу — будто слепой пальцами ощущала красоту своего тела — и впервые за долгое время почувствовала, как замирает и щемящей болью полнится душа.

«Цветок, в котором гнездятся черви...» А могло быть совсем по-другому. Могло... Меня, еще маленькую, когда я с мамой выходила на улицу, брали на руки незнакомые люди, любовались и пророчили хорошую судьбу. Мне, когда я уже стала подростком, не нужны были платья из красного шелка с золотистыми воротничками, которые носили шляхтянки, чтобы обратить на себя внимание; я равнодушна была ко всем атласам, адамаскам и золотым цепочкам — в сереньком платье я ходила по городу королевной, и вслед мне летели восхищенные возгласы и завистливый шепот: «Невеста принца, русалка, божественная сеньорина!» Я стала взрослой, была чистой, как лилия, и никто ближе, чем на локоть, не подходил ко мне, даже изголодавшиеся жолнеры, которые не раз ходили за мной следом, чтобы затащить в темный закоулок, остолбеневали, когда я оглядывалась. И была я бутоном нераспустившейся розы в тот предвечерний час: передо мной остановился опекун венецианских купцов Антонио Массари — смуглый, с черными пылкими глазами, высокий, сильный — и сказал:

— Синьорита Леонидо, красавица... будь моей возлюбленной.

Я ответила:

— Ведь я бедна...

Мне трудно было двинуться с места, но я оторвала ноги от земли, они будто в смоле завязли, и прошла ми-

мо. Но с того дня какая-то неведомая сила водила меня ежедневно по южной стороне Рынка, мимо дома с четырьмя окнами и львом над порталом, держащим в лапах развернутую книгу, и каждый раз видела Антонио — то у ворот, то в окне, но проходила не останавливаясь, будто бы никогда и не встречалась с ним. Однажды он вышел из ворот, преградил мне дорогу и, опустив, как мальчишка, глаза, промолвил:

— Я не спрашиваю тебя о богатстве, синьорита, — только о твоем согласии. Не могу без тебя...

— И запрешь меня в горнице для своих утех... Лучше выйду замуж за бедного и буду своего ребенка носить на руках, чтобы видели все люди. Ведь создана я, сеньор Антонио, для того, чтобы все любовались моей красотой. Это все мое богатство.

Я снова оторвала свои ноги от земли, будто выдернула из густой смолы, и с той поры больше не ходила по южной стороне Рынка, глядела на проходившего Антонио — смуглого, высокого и сильного — из своего окна до тех пор, пока меня, невинную, мать жестоко не обидела.

«Шлендра, на кого засматриваешься?»

Я ничего ей не ответила, даже не посмотрела на мать, потому что могла бы совершить страшный грех — ударить родительницу по лицу. Так мне было тогда больно, словно жгли меня живой на костре, а сейчас мне все равно.

И однажды...

В весенний день 1607 года магистрат приказал жителям Галицкого предместья выйти укреплять валы: по Покутской дороге на Снятын, Коломыю и Галич, приближаясь к Львову, двигалась тьмой-тьмущей орда крымского хана Хаджи-Гирея.

Тогда из Галицкого предместья, которое неоднократно добивалось в магистрате получения городского права, вышли толпой разорившиеся шляхтичи, отставные жолнеры, бедные ремесленники, панские крестьяне и направились к ратуше.

За толпой разъяренных жителей предместья шагала почти половина горожан, выкрикивавших:

— Пусть и патриции укрепляют валы!

Льонця увидела: на галерею ратуши вышел бургомистр Павел Кампиан и воскликнул:

— Чего вы хотите?

Бледнолицый мужчина, и был это не кто-нибудь, а Ануш Альнпек, лечивший больных, вышел из толпы и спокойно произнес:

— На каком основании магистрат принуждает к выполнению повинности людей, у которых нет права на жительство в городе?

Кампиан поднес руку к глазам, он каждый раз так делал, когда видел Ануша Альнпека. Страх перед проказой, которую может лечить только врач Ануш Альнпек, порождал у бургомистра страх перед ним самим. Кампиану пришлось ввести Альнпека в состав совета Сорока мужей, задабривать, просить у него лекарств для профилактического лечения. Альнпек осматривал руки бургомистра, а лекарств не давал; Кампиан прощал Альнпеку резкость, обещал уменьшить налоги — он меньше боялся, когда рядом находился врач. Но этот бунтовщик злоупотребляет его чувством страха — он стал вожаком городской голытьбы!

— Пан Альнпек, — воскликнул возмущенный Кампиан. — Я велю страже арестовать тебя как ребелизанта — бунтаря и посадить в крепость. С этой минуты ты больше не член совета Сорока мужей!

— За что такая немилость, пан бургомистр? — ответил Альнпек. — Эти же люди, — показал он на жителей предместья, — вышли с голыми руками, не нарушают общественного порядка, не бросают камней в окна ратуши, почему же пан бургомистр не желает выслушать требований вверенного ему народа?

— Снова бунтовать начинаешь?

Тогда толпа закричала:

— А ну-ка, богачи, снимайте шубы и сами идите работать на валы, разве вам татары не страшны?

— Когда татары начнут осаждать город, вы не укроете нас за его стенами!

— Требуем права на жительство в городе!

— Трава уже не растет от копыт ордынских коней, а вы прячетесь за стенами!

Из ворот ратуши выбежали стражники с бердышами в руках. Люди ужаснулись, кое-кто бросился бежать, поднялась суматоха, но в этот момент выскочил из толпы — Льонця ахнула — Антонио Массари, он кинулся к первому стражнику и выбил из его рук бердыш.

— По праву неприкосновенности личности консула! — воскликнул Массари; стражники остановились. — Пан

бургомистр, я сегодня же выеду с консулатом из Львова, если вы не прекратите это побоище!

...Вечером я пришла к Антонио. Сознавала, на что иду, не обманывала себя, зная, что не возьмет он меня в жены. И не желание изведать запретное толкало меня к нему, хотя я любила его. Я делала это только из благодарности за то, что он, сеньор Антонио Массари, владелец дома с четырьмя окнами, венецианский консул, перед которым склоняли головы богатые купцы, а патриции протягивали руку, стоял в парчовом костюме не на галерее, рядом с бургомистром, а на площади, среди серой толпы людей, — только в знак благодарности я пришла подарить ему радость.

Ведь это было так неожиданно и странно. До сих пор я была уверена, что не может быть иначе: паны судили, отсекали непокорные головы, привязывали к столбу Фемиды, отбирали у посполитых последние гроши, натравливали на них, точно собак с привязи, цепаков, никто из панов не становился на защиту обездоленных. А один стал. И это — Антонио!

Со страхом, будто в холодную прорубь, вошла я в ворота, над которыми красовался гордый лев с книгой, побежала по ступенькам вверх, спотыкаясь, — боялась, что кто-то задержит, вернет меня назад, а я должна была увидеть его, он увлечен мной и заслужил награду от меня — неимущей; я остановилась перед ясеневыми красными дверьми и, тяжело дыша, обомлев от страха, стала дергать шнурок звонка.

Дверь открылась, вышел консул со свечой в руке. Он был в узких черных штанах и расстегнутой снежно-белой сорочке. Консул стал приглядываться ко мне, не веря, что это я, долго, а может, просто так медленно тянулось время, стоял молча; я, смущенная, растерянная, попятилась назад к лестнице, чтобы опрометью бежать куда глаза глядят. Тогда он схватил меня за плечи, до боли сжал и, шепча: «Синьорита Леонида, синьорита Леонида», повел меня в свои покои.

Антонио поставил свечу в гнездо массивного канделябра, я ощутила под ногами мягкий ковер, на меня враждебно смотрели со стен портреты вельмож, скалили клыки звери с обоев, мне не по себе было в этой роскошной комнате, я не могла двинуться с места, ноги будто приросли к полу, а он подошел ко мне. Я почувствовала, как его пальцы, дрожащие и тревожные, раздвигают мои

волосы, касаются мочек ушей, смелеют, сползают на шею, от их прикосновения пробегает дрожь по всему телу, пальцы становятся нетерпеливее, прерывистое дыхание обжигает мое лицо, а потом всю меня захлестнула жгучая волна. Он целовал мои губы, щеки, глаза, целовал меня всю, на моем теле не осталось ни одной точечки, которая не была бы обожжена его поцелуем; я лежала на ковре нагая, словно ангел, любимая, отдавшаяся, взятая — не я, а частица его страсти, и в великой радости я неожиданно услышала:

— Невеста моя. Жена... Завтра на балу я покажу тебя всем, а вечером нас обвенчает итальянский пастор.

Мама поняла все, когда я вернулась. Ее глаза пожелтели от жалости, горя и отвращения ко мне. Она схватила меня за волосы — пьяный отец, лежавший на топчане, пялил на нас глаза — и потащила по комнате, силясь бросить на пол, чтобы избить меня ногами, и кричала до хрипоты: «Шлюха, шлюха, шлюха!» Я и теперь не промолвила ни слова, даже не застонала, хотя мне было очень больно, а когда мама устала, я поднялась с колен, пригладила растрепанные волосы и сказала:

— Я жена Антонио! Слышите — жена!

За Княжеской горой — а еще ее называют Лысой или Кальварией [1] — глубокий яр, по которому стекают дождевые воды на Старый рынок, а за яром — Высокий замок. Его круглый купол выглядывает из темной шубы леса, увенчанный, словно короной, шестью башнями крепости — гнездом старого бургграфа Войцеха Бялоскурского.

Этот притон вооруженных разбойников держит в страхе весь город. Жители предместий, да и города, ежедневно жалуются в магистрат на ночные грабежи и убийства, называют фамилии разбойников — сыновей бургграфа Янка и Микольца, но магистрат, у которого Высокий замок как бельмо на глазу, не хочет верить этому, потому что Бялоскурские им нужны — они помогают властям держать в повиновении все городское население.

Настоящему патрицию наносить визит Бялоскурским — унизительно, но вот сам бургомистр Павел Кам-

[1] Кальвария — лысая гора (*лат.*).

пиан выехал в фаэтоне на Кальварию, вышел и без охраны проходит по подъемному мосту над яром, пешком поднимается наверх, робко стучит в ворота, что-то шепчет страже и проходит во двор. Он должен пригласить на бал, который сегодня состоится в доме Гуттера, сыновей бургграфа — Янка и Микольца. С Альнпеком сам какнибудь справится, а вот консул Массари...

«У Гуттера» — это только так говорится. Патриций Гуттер давно уже умер, отписав в завещании дом и большой зал для банкетов магистрату, чтобы тут пили, веселились и вспоминали его, знаменитого гуляку, о котором говорили, что он был в сговоре с чертом.

Сегодня тут устраивают бал в честь новой победы гетмана Жолкевского. В этот раз он воевал не с австрийцами, не с турками, не с казаками: пацификатор Речи Посполитой разгромил под Гудзовом возле Радома поляков — шесть тысяч бунтовщиков, которые под водительством краковского старосты Зебржидовского выступили против короля, Петра Скарги и иезуитов, отстаивая золотую шляхетскую вольность.

Гетмана не будет на балу. Победитель, обагренный в этот раз кровью братьев, опечаленный внутригосударственной войной, однако отныне непоколебимый в своей верности королю, переночует сегодня в Нижнем замке, а завтра отправится в свою жолкевскую резиденцию, где ждет его жена Регина.

Львовский староста Ежи Мнишек тоже не придет. Он получил сообщение о том, что самозванного царя Дмитрия, мужа его дочери Марины, растерзали московские изуверы, она же сбежала в Тушино и там будто бы нашла своего мужа — живого и невредимого. Однако староста тревожился: не постигнет ли такая же участь, как первого, и второго самозванца?

Банкет начался, веселость подогревалась вином. За столами, заставленными сулеями вина, серниной [1], колбасами, всевозможными яствами из медвежьих лап, бобровых хвостов, приправленных инжиром, шафраном, перцем, сидят львовские патриции с дамами. На почетном месте — бургомистр Павел Кампиан, слева два великана — Янко и Микольца Бялоскурские и сутуловатый Барон. Справа — патер Лятерна, который представляет тут не только архиепископа Соликовского (тот не ходит

---

[1] Сернина — жареное мясо серны.

на светские банкеты), но и всех львовских иезуитов. Рядом с патером свободное место — для венецианского консула Антонио Массари. Он еще не прибыл.

Янко Бялоскурский нервно покусывает губы, глаза у него хищные, злые; лицо Микольца каменное и непроницаемое — они оба не пьют, хотя Кампиан провозглашает тост за тостом. Уже выпили за короля, за Петра Скаргу, за Жолкевского, который побил, точно пса, ненавистного Зебржидовского, за будущую иезуитскую коллегию — даст бог, ее поможет заложить ясновельможный пан гетман.

Все пьют. Барон хмелеет. Недавно он оказал своим благодетелям и повелителям большую услугу: узнал и показал самому инстигатору схизматского злодея, который полтора года назад напал на униатского митрополита Ипатия Потия и, благодарение богу, не убил — ранил ножом в плечо. Патрициат, наконец, доволен Бароном, поэтому он может теперь выпить и болтать сколько угодно.

— Я люблю круля! — восклицает Барон.

Его ноздреватое, будто побитое селитрой лицо краснеет от угодливости, он с умилением поглядывает на панов — все ли слышали его верноподданнические выкрики — и без тоста выпивает бокал вина.

Дамы вздыхают, покачивая головами, с упреком посматривают на Кампиана, который почему-то пригласил этого плебея в высокое общество. Янко скривился, посмотрел на Барона, потом перевел взгляд на Кампиана, указал глазами на свободное место возле патера Лятерны. Бургомистр успокаивающе покачал головой.

— Бей бунтовщиков!

— Замолчи, дурак, — шикнул Бялоскурский на Барона.

Барон оттопырил губу, оскалив нижний ряд зубов с тремя черными корнями, недовольным взглядом окинул соседа и погрозил пальцем.

— Ты не будь таким слишком мудрым, я еще могу пригодиться тебе. Выпьем, панове! За моего коллегу Соликовского, нех жие!

Кампиану надоели пьяные выкрики Барона, он делает в его сторону знак рукой, но в этот момент все взгляды обращаются к парадным дверям. В банкетный зал входит консул Антонио Массари. Он ведет под руку стройную белокурую девушку в платье из дорогой материи, на

пальце левой руки у нее перстень с большим дорогим камнем, обрамленным золотой короной. Волосы девушки волнами спадают на плечи, большие синие глаза робко окидывают зал, белая грудь выглядывает из декольте. Льонця, опустив длинные ресницы, медленно идет, вдруг споткнулась, прижалась к плечу консула, робость придает ей еще большую прелесть. За столом пронесся восторженный шепот, мужчины поставили бокалы, Антонио Массари проходит с девушкой через зал и останавливается возле свободного места напротив Янка Бялоскурского.

— Моя невеста Леонида, — поклонился Кампиану.

— Какая прелесть... — Кампиан кивнул головой в сторону Льонци. — А вы, пан Антонио, как вижу, еще не выехали из Львова с консулатом...

— Вы же учли мою просьбу и не позволили пролить кровь, — ответил Массари, садясь с Льонцей возле патера Лятерны.

Янко толкнул Микольца локтем — они выпили по первому бокалу. Не закусывая, опрокинули по второму. Микольца с треском разломил надвое кусок сернины, подал брату.

Янко с жадностью вгрызался зубами в мясо, не сводя глаз с Льонци. Он впивался взглядом в ее губы, грудь, в страстных мечтах срывал с нее платье, терзал ее тело; девушка отводила глаза, чтобы не видеть этого зверя, изготовившегося к хищному прыжку, но ни на одном лице не могла остановить свой взгляд — все были враждебные и чужие. Наконец Льонця увидела нимфу, свисавшую с потолка с подсвечником в руке, и почувствовала себя увереннее. Прижалась плечом к Антонио, смотрела только на нимфу, однако время от времени в поле ее зрения появлялось как будто знакомое, ноздреватое и тяжелое лицо Барона, и тогда ей становилось страшно оттого, что ее узнают и начнут насмехаться над Антонио, который нашел себе невесту в убогом доме Абрековой.

— Пан консул, — Янко отложил в сторону огрызок мяса, — я сын Бялоскурского, бургграфа Высокого замка. Не слышали о таком? А отчего вы побледнели, сеньорина невеста? Наверное, наслышались о нас разных сплетен? Не беспокойтесь, мы благородные люди, если с нами по-благородному... Был, правда, один случай... Мы с Микольцем однажды ночью просили корчмаря Аветика дать нам вина. А он забыл, что бог велел жаждуще-

го напоить, отказал нам, вот и наказал его господь: затуманил ему память, а может, это было и просветлением... Корчмарь вылил в корыто вино и на следующий день угощал каждого прохожего, приговаривая: «Глупый Аветик, пожалел вина для Бялоскурских». Потом, когда у него прошло затмение, он побежал жаловаться в магистрат, будто мы принудили его так сделать. Кто же может заставить сделать такое?..

Микольца беззвучно засмеялся, блеснув оскалом зубов.

— A propos[1], пан консул, — продолжал Янко, — не слыхали ли вы, пан Массари, такой поговорки: «Человек на государственной службе — как бочка: в ней до тех пор не увидишь дыр, пока не наполнишь водой».

— Я не понимаю вашей поговорки, — холодно ответил Антонио Массари.

— Ну, вчера вы... я думаю, совсем случайно... оказались в грязном болоте городской черни, и-и — бочка дала течь.

— Я там оказался не случайно, милостивый государь. Я сам из черни. А эту высокую должность, которую сейчас занимаю, получил не по наследству, а благодаря труду и таланту, данному мне богом.

— Впервые слышу, что в Италии простолюдинам дано такое право, — вмешался в разговор Кампиан. — Ведь святая инквизиция заботится о том, чтобы...

— В Венеции инквизиции нет, господин бургомистр.

— А Джордано Бруно?

— Его предательски схватили в Венеции, а сожгли в Риме...

— И вы считаете его невинной жертвой?

— Я не юрист, господин Кампиан, но меня, глубоко верующего человека, беспокоит одно: язычники, которые когда-то преследовали христиан, убивали только людей, инквизиция ныне убивает учение Христа — основу нашей веры...

— О, так пан Янко мудрую поговорку вспомнил, она, к великому сожалению, касается вас.

— А знаете ли вы, — прищурив глаза, сказал патер Лятерна, отстраняясь от консула, будто боялся заразиться его вольнодумством, — что за такие слова мы можем выслать вас из Речи Посполитой? К тому же — вчерашний инцидент...

[1] Кстати (*франц.*).

— Воля ваша, только я сомневаюсь, что вы поступите так. Вместе со мной уедут купцы, и тогда наше отсутствие сразу скажется на вашей казне.

В зале наступила настороженная тишина, нимфа с подсвечником в руке медленно качнулась под потолком, воск капал на пол: Льонця не отрывала от него взгляда, чтобы не встретиться глазами с Янком. Она прислушивалась к разговору и, не понимая толком его содержания, чувствовала, что над Антонио и над нею нависла опасность, — им надо как можно скорее уйти отсюда... К Льонце все пристальнее стал присматриваться Барон, и она вспомнила, что видела его не раз, еще в детстве, — в корчме Лысого Мацька.

— Пани и панове! — ударил в ладони Кампиан. — Оставим спор... — Он вдруг умолк и поднес к глазам руки; гости не поняли, что случилось. Кампиан с испугом долго присматривался к рукам, потом облегченно вздохнул и снова ударил в ладони. — Панове, прошу пригласить дам на полонез!

На галерее, закрытой занавесом, зазвучали лютни и свирели.

— С вами буду танцевать я, — кивнул в сторону Льонци Янко.

Массари возмутился:

— Вы ведете себя недостойно, пан... — Он взял невесту за руку и повел на середину зала.

Льонця еще ни разу не танцевала полонеза, она вообще никогда в жизни не танцевала, но, очевидно, от облегчения, что вышла из-за стола, где ее обстреливали похотливые взгляды мужчин и полные ненависти — дам, девушка стала будто невесомой, она плыла в танце так, как этого хотел Антонио. Льонця чувствовала себя хорошо, легко, смотрела в темные глаза любимого и теперь ничего не боялась; в зале танцевало много пар, но их было только двое; настороженное выражение лица Антонио становилось спокойнее, мягче, он шепнул ей:

— Я люблю тебя, красавица...

В этот момент чьи-то руки разъединили их — грубо, властно, и Льонця увидела перед собой три пары глаз: бледные — Барона, хищные — Янка и холодные глаза убийцы — Микольцы.

— Как ты, сука Абрековой, оказалась здесь? — оскалил гнилые зубы Барон.

Янко схватил ее за руку и дернул к себе.

— И ты отказала мне — Бялоскурскому? Микольца, выведи ее, устрой ей свадьбу под фонарем!

Прозвучала оплеуха, музыка утихла, дамы подняли крик, Антонио еще раз ударил Янка в лицо.

Микольца тащил девушку к двери, скрутив ей назад руки. Она молча упиралась, нимфа с подсвечником раскачивалась у нее перед глазами, Льонця мысленно просила нимфу помочь ей, но она все отдалялась, уменьшалась. Еще увидела Льонця: Антонио схватил за грудки Янка и тотчас согнулся, точно подкошенный, — ничком упал на пол.

— Ты перестарался, Янко, убегай! — прошептал Кампиан убийце, который рассматривал окровавленный нож.

Братья Бялоскурские насиловали Льонцю в глухом темном дворе.

Она притащилась домой утром — избитая, искусанная, в разорванном чужом платье, без обручального кольца.

— Что ты смотришь на меня? — наконец прорвался в ней голос; она кричала, надрываясь, чтобы подавить в себе боль, и ужас, и утрату, и последнее дыхание той Льонци, какой уже не будет. — Что смотришь на меня, старая ведьма! — визгливым голосом обращалась она к матери. — Ты же напророчила, ты! Теперь я шлюха... О, теперь я шлюха!

...В зал судебного заседания, где давала показания свидетельница Льонця, братья Бялоскурские не явились. Их заочно осудили на вечное заключение. Ежи Мнишек сделал Высокий замок своей летней резиденцией. В день суда Бялоскурские спокойно пили вино в Краковском предместье в корчме «Брага».

А на следующий день после суда, на рассвете, над окном Абрековой, где когда-то приклеивали послания епископа, призывающие вносить пожертвования на строительство типографии, появился листок совсем иного содержания:

Teraz, piekna Lonció, stoisz pod parkanem.
I kto sie nie leni, bedzie twoim panem [1].

И покатился под гору свадебный рыдван.

---

[1] Теперь, красавица Льонця, стоишь под забором,
И всяк кому не лень — будет твоим паном (*польск.*).

Льонця не могла уснуть. Уговаривала себя — не из-за воспоминаний... Ведь воспоминания о прошлом, четырехлетней давности, давно уже не будят в ней ни скорби, ни горя. Еще не так давно она останавливалась перед венецианским львом и тогда с нежной улыбкой на мгновение возвращала к себе Антонио, а теперь и его образ стерся в ее памяти — смешался с десятками других лиц, встреченных тут же, под львом, — грубых, робких, пьяных, красивых... Больше Льонця не останавливается у ворот венецианских консулов, разве только по делам, — не было и не будет ничего, есть только оскверненный мир, к которому привыкла, как привыкают мусорщики к своей грязной работе.

И все-таки сегодня ее задело за живое: «Цветок, в котором гнездятся черви...» Ха! А это же везде, во всем белом свете так: золотые шпили костелов, разукрашенные своды, а рядом — темные монастырские кельи; величественные башни замков, а внизу — темницы; перед ратушей богиня правосудия Фемида, а в ратуше — жестокие палачи; днем с амвона призывы к чистоте души, а ночью поповские оргии с проститутками... Отец Лятерна, вы считаете себя святым, но все-таки пошлете за мной. Ведь и сам Иисус не был безгрешным.

Почувствовала, что у нее сосет под ложечкой. Ночью кто-то поил ее вином, а поесть не дал. Поднялась с топчана, подошла к кухонной плите. Хотя бы крошка где-нибудь завалялась — все выгреб отец: он молча пьет, молча ест, молча выпрашивает у дочери деньги, а чтоб тебя... Льонця проглотила проклятие — пусть живет. И мать со своей хиромантией — тоже. С ними привычно и даже уютно, никто ее ни в чем не упрекает, не неволит... Льонця была бы рада хоть раз встретиться с Гизей, но ее нет. И хорошо, что нет... Ведь потащила, потащила бы сестрицу на улицу! Пусть бы утешилась хоть раз — иногда за бокалом вина, в крепких объятиях мужчин Льонця испытывает хоть небольшую радость. Потом все исчезает, но хоть на миг, хоть на миг... Хорошо, как хорошо, что Гизи нет...

Льонця переставила горшки на плите, засунула руку в печь, вытащила медный кувшин — вроде бы у них такого и не было, заглянула — грибы. Гляди-ка, разжилась старая Абрекова! Что же, можно сварить грибы. Наклонила кувшин, чтобы высыпать сухие грибы в миску, и у нее заблестело перед глазами.

Затарахтело, зазвенело, будто вспыхнуло красным пламенем. Льонця ужаснулась, она ничего не могла понять, протерла глаза — нет, не снится. Золотые браслеты, кольца, крестики, диадемы... От блеска золота, казалось, рассеялся полумрак в комнате, — откуда у матери такое богатство? Восхищенная, ошеломленная, потерявшая голову, брала пальцами украшения, присматривалась к одному, второму, третьему чуду... Прижала крестик к груди — положила, примерила дукаты к шее — тоже отложила, нанизала на пальцы одно за другим кольца — и вдруг вскрикнула: то самое, с большим камнем, обрамленное золотой короной, ее обручальное кольцо — тут, в этом кувшине! Антонио!.. Дрожащие пальцы прикоснулись к упавшим на лицо волосам, поцелуи обожгли тело...

Сняла кольца, а это зажала в руке. У нее мелькнула мысль, что кто-то подбросил им в дом эти драгоценности, чтобы потом обвинить в преступлении и посадить на скамью подсудимых... Да нет, этого не может быть, это Лысый Мацько перепрятывает, он берет в залог... Но как этот перстень оказался тут? Помнит, как один из Бялоскурских сорвал это кольцо с ее пальца. Продал...

Торопливо сложила дрожащими руками драгоценности в кувшин, прикрыла их опятами, поставила кувшин туда, где он стоял, а рука не разжималась, не могла она разжать ее.

Испуганно посмотрела в окно: на улице стоял монах в черной шляпе и в длинной до пят рясе.

— Что тебе нужно, отче? — выглянув в окно, спросила.

— Иди к патеру... — монах не смотрел ей в глаза, — на святую исповедь. Он ждет тебя в каплице возле дома иезуитов. Dominus vobiscum... — Монах повернулся спиной к окну, ждал.

— Бугаи Христовы! — сплюнула Льонця. Разжала руку: да, это ее кольцо. Надела его на палец правой руки — как обручальное. — Это мое. Все, что осталось у меня... Кто будет искать его в этой золотой куче?

Льонця начала одеваться. В комнату вошла Абрекова.

— Кто это? — спросила шепотом, с тревогой в голосе.

— Тот? — указала Льонця на монаха. — Не видите, слуга божий.

— Не ходи с ним, Льонця, это сатана. Ты присмотрись: шляпа и ряса до пят...

— Вот и хорошо, что сатана! — засмеялась Льонця. — А вы, наверное, хотели, чтобы за мной пришел архангел Михаил!.. Подожди, подожди, болотный черт, уже иду...

ГЛАВА ПЯТАЯ

СКВОЗЬ СЛАВУ И ПОЗОР

Года 1595-го... А епископ Балабан насмехался над братчиками: «Кто мя судить может — сапожники, портные, скорняки? Какой-то Рогатинец у них патриархом, а Красовский митрополитом». А Юрия сами же братчики будто бы за пристрастие к хмельному зелью и другим греховным прелестям заперли в колокольне. Ничего не знаю о прелюбодеянии, вина же пан Юрий не употреблял, а что просидел сутки в Корняктовой башне и безмен [1] штрафного воска положил на братский стол — это правда, все об этом знали на улице Русской.

Из манускрипта [2]

Теснят, давят тело и душу крепко сложенные из дикого камня стены, — может, и звонарю так кажется, когда взбирается он на последний пролет благовестить о выносе святых даров? Звуки колоколов тогда вырываются из этого тесного склепа, распространяясь в округе, и потолком колокольни как бы становятся небеса. А ныне великий Кирилл и другие колокола безмолвны; не благовестят колокола и на башне Корнякта, не дозволено — Наливайко поднял народ на Волыни.

Тихо на колокольне, словно в тюрьме. Да и в самом деле тюрьма: табуретка в углу, на ней кусок хлеба и кувшин с водой, на полу сидит Юрий Рогатинец, сеньор братства, заключенный братчиками на сутки и оштрафованный на безмен воска.

Стыд только пригас. Только пригас, но никогда не превратится в пепел, след от него оставит оттиск в душе, как типографская краска на бумаге; Юрий всю жизнь

---

[1] Безмен — единица древнего русского веса — равен 240 золотникам, золотник — 4,266 грамма.

[2] Надо считать, что автором манускрипта был-таки Лысый Мацько. Стиль летописи вполне соответствует осведомленности этого корчмаря, ростовщика и продавца братских книг. *(Прим. автора.)*

будет чувствовать эти ему одному знакомые письмена, они будут жечь и предостерегать его, воспитают в характере что-то новое, чего доселе не было, а что — Рогатинец не может знать сейчас.

А когда прошло отчаяние — хотел же ведь снять с крестообразных опор колокольную веревку и задавить ощущение стыда черной мглой смерти — мысленно начал упорно искать причину, породившую страх или равнодушие: сеньор братства Юрий Рогатинец, заставивший подчиниться строгой братской дисциплине всех — от самого себя до Антоха Блазия, сам не пришел на сходку, созванную Красовским по поводу чрезвычайно важного дела.

Кто я такой, что взял на себя бремя объединителя украинских мещан, кто я такой, что стал диктовать свою волю и взгляды тысячам людей, кто я такой, что посмел требовать от простого народа чистоты помыслов и поступков, запретил выражать несогласие со мной, не убедившись прежде в своей правоте? Но разве это можно все представить наперед? Как — если и смерть кажется каким-то неясным и совсем нестрашным маревом, таинственно манящим своим пышным погребальным ритуалом, до тех пор, пока она не предстанет перед тобой во всей своей обнаженной жестокости и ты не осознаешь сущность подлинного небытия? Как — если и тюрьма выглядит издалека обителью покоя и отдыха от мирской суеты, а безвыходного положения никто не может представить себе до тех пор, пока тьма не ослепит глаза, смрад не остановит дыхание, а простор ограничится тремя шагами вдоль и двумя поперек? Как — если и любовь кажется раем до тех пор, пока настоящая боль не вселится в каждую клеточку мозга, сердца, пальцев, губ, и вместо блаженства в желанный миг сладкой близости чувствуешь приближение неминуемой утраты? Как — если, проповедуя высокие идеалы, не осознаешь собственной ничтожности и, беря на свои плечи все большую и большую ношу, не можешь знать, какая ее часть придавит тебя к земле. Как можно заранее понять самого себя, справедливость своих поступков, коль, осуждая противника, не всегда уверен, что правда не за ним?

Сомнения темной, страшной ордой ворвались в душу Рогатинца, в сомнениях искал он оправдания своим деяниям, в сомнениях хотел понять самого себя — кем он был, кем он стал, кем должен быть в будущем. Не тще-

славие мучает его — Юрий завтра придет к своим товарищам и открыто расскажет все, что передумал, и будет просить у них прощения за свое малодушие; он готов сам стать простым братчиком, но ему надо убедиться в целесообразности начатого им дела. А что, если правы епископы, стремясь к единству, а не расколу костела и церкви? А что, если прав Вишенский, призывающий не к борьбе, а к самоусовершенствованию? А что, если Северин Наливайко, воюя со шляхтой, зря проливает кровь народа, истощая его силы?

Кто из нас прав: просветитель, воин, анахорет или соглашатель? Мы не знаем, ибо изменяется эпоха, и она сама ищет среди людей глашатаев, испытывает, выверяет, находит, отбрасывает; мы — порождены ею. Ведь если бы не борьба церквей, если бы люди в мире не заботились о своем первородстве и духовной жизни, разве не мастерил бы я до сих пор седла, разве Вишенский не развлекался бы при дворе Острожского? Балабан спокойно служил бы в какой-нибудь церкви, а Наливайко сменил бы саблю на плуг?

Словно яблоко на ветке, созревает новое время. Люди ощущают его рождение, просыпаются, ищут, суетятся, а в недрах народных, учась на ошибках и накапливая опыт, зреет чей-то пытливый ум. И настанет час, когда, освещенный лучом нового времени, поднимется этот великий муж, объединит нас со всем православным миром против католицизма. Кто это будет, и родился ли он уже? Чьим опытом воспользуется, чью частицу труда возьмет, что отбросит и осудит? И откуда придет: из клира, из братства, из кельи, или же — с Сечи; из богатого дворца или бедной хижины?

Где же этот мудрый ученый, исследователь века сего?

А как должен жить я, чтобы вложить свою лепту в справедливое дело?

Листок с печатью и подписью брестского епископа Ипатия Потия мелко дрожал в руке Гедеона Балабана — львовский владыка впервые в жизни испугался.

До сих пор он никого не боялся. Цареградский патриарх Иеремия угрожал лишить его сана, киевский митрополит Михаил Рогоза предал анафеме за крючкотворство в тяжбе с Успенским братством, а Балабан продолжал управлять своей епархией и раз в неделю писал

верноподданнические послания архиепископу Соликовскому, который, впрочем, не требовал от него платы совестью за епископский жезл.

Были, правда, минуты, когда Балабан боялся не пастырского повеления покинуть резиденцию на святоюрском холме, а обозленных прихожан, которые в последние семь лет трижды выступали, вооруженные дубинками и камнями, из города и с угрожающими криками переходили мостом через Полтву. Спасал господь: в начале Сокольницкой дороги стражники разгоняли толпу, но и тут ни бургомистр, ни архиепископ не потребовали от него ответа. Хотя подговаривал его один проходимец, чтобы поклонился Соликовскому, — не пошел, ждал приглашения. И готов был сделать все, что потребуют от него, лишь бы освободиться от подчинения братству. Но архиепископ приглашения не прислал.

Первый раз выступили братчики Успенской и Онуфриевской церквей, чтобы отомстить за печатника-умельца Ивана Друкаревича, которого Балабан посадил в каземат при церкви Юрия и требовал от него уплаты долгов отца службой в только что основанной крылосской типографии. Кто его знает, может, чахоточный Друкаревич и согласился бы, какая разница, в какой типографии будут печататься книги — братской или епископской, но на третий день заключения он отдал богу душу.

Второй раз стражники спасли Балабана от разъяренных жителей Галицкого предместья. Слуги епископа схватили вечером священника Благовещенской церкви Иоанна, который согласился быть дидасколом-учителем братской школы, и привязали его к царским вратам. Несчастного, измученного, едва живого, Иоанна на рассвете обнаружили прихожане, пришедшие к заутрене.

В третий раз двинулась из Краковского предместья процессия монахов. Это было два года назад. Именно тогда успенские братчики перенесли типографию из школьного здания в Онуфриевский монастырь. Балабан с сотней своих служителей ворвался ночью в типографию. Сломали станок, а монаха — печатника Мину — епископ приказал привязать к телеге и отправить в Крылос, находившийся неподалеку от Галича. Монахов стражники не стали разгонять, но преградили им дорогу.

«Ты убийца — носитель зла и враг добра, — писал Балабану патриарх Иеремия. — Ты поступаешь не как

епископ, а как враг божий. Мы отлучим тебя от церкви».

Гедеон не боялся патриарха. Во время каждого богослужения он предавал братство анафеме.

Призывали епископа на суд братчиков. Он ответил тогда горделиво: «Кто меня там будет судить — сапожники, портные, кузнецы, чернь?»

Киевский митрополит велел Балабану прибыть на собор в Брест. Епископ собственноручно избил посланца и на собор не поехал.

Соликовский ежедневно присматривался к кукле Балабана и не дергал ее за шнур. Все шло как нельзя лучше, не следует торопиться; более подвижными были куклы двух других православных владык — Терлецкого и Потия. А совсем недавно архиепископу пришлось делать еще одно чучело — невзрачного сутулого человека с ноздреватым лицом и гнилыми зубами. Он свалял его из конской шерсти.

...Антох Блазий тихо выскользнул из типографии, оставив там в растерянности наборщика, прессовщика и Юрия Рогатинца, и быстрым шагом пошел по переулку мимо королевского арсенала. Глядел на небо и видел след от ангела — бледную, будто дымок, полоску, которая медленно расплывалась в воздухе. Антох свернул к архиепископскому дворцу, посмотрел на окна и увидел: голубь слетел с карниза, стремительно взмыл в небо. Был он теперь подобен святому духу, которого рисуют на сводах церквей. Голубь помахал крыльями в вышине — благословляя богоугодное место, а потом устремился в сторону Юрского собора. Антох пошел следом за ним.

«Исключит меня из братства... Меня — первого основателя братства? По какому праву? И — почему ты, именно ты, а не кто-нибудь другой стал вершить делами братства? Почему не я? Разве у меня не такая же голова, не такие руки, не такая кровь течет в жилах? Кто ты еси, что поднял руку на самого епископа? На православного епископа, только подумать! А меня приравнял к злодеям... Сам ты — преступник, ибо нашу русинскую церковь разрушаешь! Иисус Христос! — вскрикнул Блазий, уверившись в этот миг, что не из-за денег болит его душа, а за веру. — Дева Мария, — разжигал он себя, — да за нее, за веру Христову, святые мученики погибали

на виселицах и в темницах... Апостол Павел, тебя же повесили вверх ногами — и ты не раскаялся, не отступил, а я, ничтожная букашка, последовал за богоотступниками, за антихристами!»

Антох даже побежал, так хотелось ему скорее припасть к руке владыки и стать первым слугой и защитником православного епископа.

«Назвал меня злодеем! Да я и стану злодеем, но не ради своей корысти — а для блага святой церкви!» — блеснула вдруг в голове Блазия спасительная мысль, и он побежал, обливаясь потом.

Епископ с недоверием и с брезгливостью стал присматриваться к человеку, которого только что видел в компании Рогатинца.

— Ваше преосвященство, — припал Антох мокрыми губами к руке Балабана, — позвольте послужить вам верой и правдой.

— Что сие значит? — выдернул руку Балабан.

— Душу свою боюсь загубить! Там сборище еретиков.

— Праведная мысль осенила тебя, сын мой, но откуда я могу знать, что ты не изменишь и мне?

— Я докажу... Господь подсказал мне, когда я бежал к вам, напуганный бездной своего греха. Передам вам ключи от кассы...

— Сатана... — даже задрожал епископ. — И ты смеешь мне говорить о такой услуге? Да как ты мог даже подумать, что я возьму их из твоих рук?!

— А я на поднос... на поднос церковному служке положу... — опустил глаза Блазий. — За четвертину, ваше преосвященство, жить как-то надо...

— Дьявол! — прошипел Балабан. — Уйди прочь, не оскверняй моего дома! На поднос...

— Именно так, владыка, на поднос...

— Тьфу на вас, смерды! Да у вас не грех и украсть...

— Я тоже так думал, когда бежал сюда.

— Ну уходи, уходи же... Только запомни — за осьмину.

С чувством облегчения, будто бы после исповеди и причащения, возвращался Антох из Юрского храма.

«Николай-угодник, а я помышлял продать душу черту... Равноапостольские Кузьма и Демьян, а я думал о католичестве!.. Славной православной вере изменить!..» Блазий крестился и вслух произносил «Отче наш». «Ру-

синской церкви будет служить Антох, слышишь, поганец Рогатинец? А вас с сумой, с сумой на Клепаров, голодранцы!»

В тот день Блазий решился на отчаянный поступок: зайти в пивную Корнякта. Давно мечтал: когда-нибудь да переступить этот заветный порог, за которым пируют шляхтичи из высшего света, и хоть посмотреть и рассказать потом кому-нибудь, приукрасив, преувеличив свою усладу, но ни разу не мог отважиться подойти близко к роскошным воротам, над порталом которых красовались кариатиды. Направляясь с Рынка на Русскую улицу, он огибал ратушу, чтобы хоть немножко приблизиться к заповедному месту, и с душевной горечью плелся к Лысому Мацьку. Ныне же, охваченный чувством собственного достоинства и самоуважения — ведь служит не простаку Рогатинцу, а самому владыке, — решительно направился к входу во дворец Корнякта.

У двери в пивную Антох обомлел от страха; из-под балкона насмешливо и презрительно на него глядели кариатиды, дрожь пробежала у него по спине — а что, если в полумраке двора стоят слуги и они вытолкнут его на улицу да еще изобьют?

Он теперь подумал о том, с какой уверенностью и независимостью входил в пивную «Брага» или в корчму Лысого Мацька; Антох пожалел, что решился на такой безрассудный шаг: каждый сверчок знай свой шесток, но преодолел минутный страх и малодушие; если не сегодня, то уже никогда он не пересилит самого себя, и жизнь его останется такой, какой была... Ну, еще шаг, еще, Блазий, и ты уже будешь совсем иным, победи себя, не потей, придай достойное выражение своему лицу!

Слева — ступеньки вниз, это же в тот подвал, к той обетованной пивной, вот только сойди по четырем ступенькам, прикоснись к двери, чуть нажми. О царица небесная, дверь будто бы сама открылась настежь, даже не заскрипев, и уже Антох стоит в подвальном зале на выложенном разноцветными плитками полу. Окон в пивной нет, а светло, словно на дворе, сотни свечей горят в причудливых канделябрах, стены увешаны гобеленами, на которых вытканы диковинные звери, дубовые столы выстроились один за другим, уходя в глубь зала, вокруг столов — сиденья-чурбаны, за столами — шляхтичи. Какие же они нарядные, в атласных и кармазиновых костюмах, на лицах — спокойствие, беспечность. Кто они:

купцы, послы, судебные заседатели, чиновники, а может, среди них сидит сам бургомистр, сам староста, сам архиепископ?

Антох уже не вытирал вспотевшего лица, только зачем-то он то расстегивал, то застегивал серенький свой кафтан; на него, слава богу, никто не обращал внимания. Он осторожно повернул голову вправо и немного успокоился, увидев стойку, за которой стояла пышногрудая молодица в чепчике и вопросительно посматривала на странного клиента.

Антох двинулся с места, подошел к стойке; кто-то рассказывал ему, что посполитым не разрешается тут садиться за стол, а стоя дают выпить. Только дороговизна какая... Но у Антоха имелись деньги — проценты за проданные книги, сейчас ему было не жаль их, а хотя бы и пожалел, отступать было поздно. Блазий поклонился молодице в чепце и стоял молча, а она все строже и строже глядела на него. Антох готов был уже бежать, он даже подумал в этот момент: если бы ему удалось выйти отсюда невредимым, то зашел бы к Лысому Мацьку, напился бы до чертиков и больше никогда не заглядывал бы сюда. Но было поздно: он вспомнил — на свою беду или на счастье — черта, и вот из-за колонны, подпиравшей посередине зала потолок, вышел пан в длинных штанах и высокой шляпе.

— О, мое вам почтение, пан Блазий! — воскликнул пан, и Антох узнал черта. И хотя встреча с ним была такой неуместной после созерцания ангела небесного, все-таки на душе стало легче, словно в жару повеял на него прохладный ветерок. Хотя это и нечистая сила, но все-таки сила — теперь шинкарка не посмеет выгнать его отсюда. — Садитесь возле меня, вот здесь, — пригласил черт. — Вы, насколько я помню, любите испанское аликанте... Пани Марыся, принесите нам сулею аликанте!

Блазий стал присматриваться к черту: тот самый, с сизыми глазами, крючковатым носом и остроконечной рыжей бородкой. Антох украдкой взглянул на его ноги, но штаны прикрывали их до самого пола; черт заметил взгляд Блазия, улыбнулся и, наполняя бокалы вином, спросил:

— Ну как, удачен был визит к его преосвященству Балабану?

— О господи... — сложил три пальца Антох, чтобы перекреститься, но тут же сообразил, что, если черт ис-

чезнет, его, Блазия, выгонят из-за стола, он опустил руку и произнес с достоинством: — Ангел божий указал мне туда дорогу, пан Антип.

— Разве я не говорил вам когда-то, что все сущее на свете — чистое и нечистое, святое и грешное — существует по велению бога? Пейте...

Антох заколебался, надо быть осторожным, чтобы не пропить душу черту, но, вспомнив, что у него есть деньги и он сможет сам за себя расплатиться, опорожнил бокал. Божественный напиток разлился по всему телу, дошел до головы, до ног, до кончиков пальцев; Антох стал смелее, выпил еще, отодвинул бокал, засмеялся, похлопал черта по плечу и воскликнул:

— Да чтоб тебя черт побрал!

Антох повеселел, этот Антипка просто милый. Ну, что он может сделать Антоху, который находится на святой службе у владыки православной епархии! Антипка криво усмехнулся уголком рта.

— Тебя возьмет, это уже ясно, — сказал, заметив, что у Антоха чернеет уже второй зуб. — Только ты не спеши покидать Рогатинца, еще не время...

— Да, ты много знаешь, но не все. Я... А ну-ка налей, черт, коль уж пригласил меня за стол. О-о, хватит. Хе-хе, благодать! Я этого Рогатинца... Я ничего не имею против него, он так же, как и я, — за веру православную, но гордыни его терпеть не могу. Поднял руку на самого епископа, как это так: за православную веру и — против православного епископа? Я ключ от братской кассы, слышишь, ключ передам его преосвященству, а он пошлет кого нужно, чтобы деньги, собранные у епископской паствы, святой церкви вернуть...

— О, это интересно, — прищурился черт. — Но все равно, не торопись, Антох... — Он кивнул Блазию, чтобы тот наклонился, и что-то шепотом сказал ему на ухо.

Блазий долго смотрел на черта мутными глазами, будто не понимая, что тот ему сказал, потом пожал плечами:

— Папу чтобы признал? А какое отношение имеют черти к папе и вообще к церкви?

— Какой ты глупый... Где нет ксендзов, попов, там и чертей не бывает. В мире, Антох, все создано по образу и подобию господнему. Король подобен богу, ты же на болотного черта похож. Бог создал ад, чтобы наказывать людей, а короли — тюрьмы. Разве львовский палач не

служит старосте, разве староста может обойтись без него? Ну, а что не сидит с ним за одним столом, так и мы не сидим с папой, даже с архиепископом — верно?

— Да оно будто бы верно, — пытался понять чертовы слова Блазий. — Но почему ты тогда против патриарха?

— Ведь они туркам служат или Москве. А мы в Речи Посполитой живем. И твой Балабан — тоже. А Польша — под началом папы. Поэтому должны и Балабан, и все православные епископы понять, что не турецкий, не московский хлеб они едят! — уже сердился черт. — А ты чье вино пьешь?

— Да и то правда... Действительно! — трезвея, сказал Антох. — Но, братец, тогда нужно изменить своей вере...

— Вере? — засмеялся черт. — А что такое вера? Ее ведь сами люди придумали. А ты, Антох, разве не человек? Почему кто-то, а не ты сам, должен распоряжаться твоей совестью? Почему Рогатинец проповедует свое, а ты не можешь? Ведь думаешь-то ты иначе, чем он, я вижу. Ты же не червь, чтоб тебя бог взял, пан Блазий, а человек!

— Да. Я все время так думал! — ударил себя в грудь Блазий. — Но мне, темному, втолковывали другое — постоянно унижали, хотели, чтобы я был слугой. А я хочу быть паном. Слышишь, черт, — паном!

— Слышу, как же... Больше не пей, Антох, ты уже готов. Запомни только: изо дня в день вбивай в голову Балабану, к чему стремится простой люд. Ты же пока что простой. Погоди... Отныне ты имеешь право каждый день садиться за этот столик — тебе всегда подадут кусок хлеба, рыбу и кружку пива.

В сумерки черт вывел Антоха из пивной, взял под мышку и понес его по тому самому переулку, по которому он сегодня шел, следя за полетом голубя. Бросил в кусты возле королевского арсенала, вытер о штаны руки и провалился сквозь землю.

На следующий день Соликовский мастерил из конской шерсти куклу — Антоха Блазия.

...Послание от Ипатия Потия мелко дрожало в руке епископа Балабана. Он еще и еще раз перечитывал его и не мог поверить, что его, династического владыку, так подло поймали в ловушку брестский епископ Потий и

слуцкий епископ, обжора и развратник, Кирилл Терлецкий.

Да разве не они, такие рьяные руснаки, такие ревнители православия, а наипаче митрополит Рогоза, хулили его и отлучали от церкви за войну с братством? А сами тайком, чтобы заполучить хорошие места, согласились на унию с костелом, и теперь они вместе с Соликовским сами расправятся с братством, а ему, Балабану, вместо белого митрополичьего клобука приход Николаевской церкви отдадут... Потому что не послушал Блазия. Боже, откуда он мог знать, что устами этого мерзавца говорит сам Соликовский? А сколько раз хотелось Балабану, испуганному разгневанной паствой, побежать к архиепископу и на коленях просить, чтобы освободил из патриаршей неволи. Но побоялся — как воспримут это православные епископы и митрополит? Лисицы... Волки!

«Извещаю сим, — Балабан еще раз перечитывал послание Потия, — что я и луцкий владыка Кирилл Терлецкий, посоветовавшись с митрополитом Михаилом Рогозой, решили совершить богоугодное дело — освободиться от оков патриархов, которые продали себя неверным и хотят нашу несчастную, слепую церковь, уподобившуюся синагоге, отдать на глумление московскому царю, и осенить римским апостольским крестом всю неграмотную, неукую Русь, этот плюгавый сброд, называющий себя украинским народом. Ты же, Гедеон, благородную рать начал против быдла и глупых простаков, и когда мы тебя усовещали, то с тем токмо намерением, чтобы ты понял, что только в союзе с римской церковью можешь их победить. Ты этого не хотел понять и поэтому не можешь быть первым среди нас. Но если не хочешь быть последним, приезжай в Брест. Когда мы вернемся из Рима, благословленные папой, примем тебя, и ты подпишешь акт унии».

Когда они успели сговориться за его спиной? Рогоза — тот ревнитель православия, который каплицу Трех святителей освящал братчикам, а Балабана предавал анафеме! Однако разве же за его спиной? Разве этот гнилозубый Блазий не нашептывал ему изо дня в день, чтобы он пошел на поклон к Соликовскому и поблагодарил его за то, что посылал стражников против черни, двигавшейся к Юрскому холму? Что теперь делать, к кому пристать? К Соликовскому — поздно. Поехать сегодня же в Брест и стать четвертым в сонме вероотступ-

ников? Четвертым — ему, епископу, мечтавшему о митрополичьем престоле? А что, если примириться с братством и прославиться в качестве защитника православия в борьбе с униатами?

В дверь епископских покоев кто-то постучал. Гедеон сложил послание и стал ждать. В комнату вошел диакон Юрской церкви.

— Владыка, — промолвил диакон, протягивая епископу большой ключ, — какой-то прихожанин положил служке на поднос и просил передать лично вам.

Балабан бросился к диакону, схватил ключ.

— Умгу... Можешь идти. Или нет, подожди... — Он сел за стол, взял листок бумаги и что-то долго писал. Потом зажег свечу, достал из ящика сургуч, накапал на свиток и приложил печать. — А сейчас, сию же минуту, — протянул свиток и ключ диакону, — иди к братскому дому на Русской улице и вручи сие сеньору братства Юрию Рогатинцу.

На Михаила выпал снег — святой архистратиг приехал на белом коне. Как раз в этот день из далекого студеного края вернулись вице-сеньор Красовский и казначей Фома Бабич в санях с кожаным верхом и, утомленные, исхудалые, с трудом внесли в дом братства дары московского царя: пять сороков соболей, пять сороков куниц, икону Иисуса шириной в полтора локтя, а высотой в два, икону владычицы с младенцем и чистого золота — для украшения икон — целый фунт, чтобы более величественной была Успенская церковь, чем даже римские костелы, которые своими светлыми украшениями, благолепием, органами завлекают к себе православных христиан.

Бесценные подарки привезли братчики от царя Федора Ивановича, а самое ценное — тепло русских людей, у которых жили, пребывая в белокаменной Москве, их сочувствие к борьбе православного народа с католиками на Украине. Вот и подумал Юрий Рогатинец, что никто теперь не в силах остановить их братского единения, ибо их признал и поддерживает весь православный мир.

Огромная радость овладела сердцами прихожан, пришедших на братскую сходку: порешили возвести еще не виданную во Львове по красоте и величию православную украинскую святыню, крепость веры и науки, и при-

гласили для этого итальянского зодчего Павла Римлянина, который прославился строительством черного каменного дома Лоренцовича, а еще больше — готической синагоги, заложенной сеньором еврейской общины Нахманом Изаковичем.

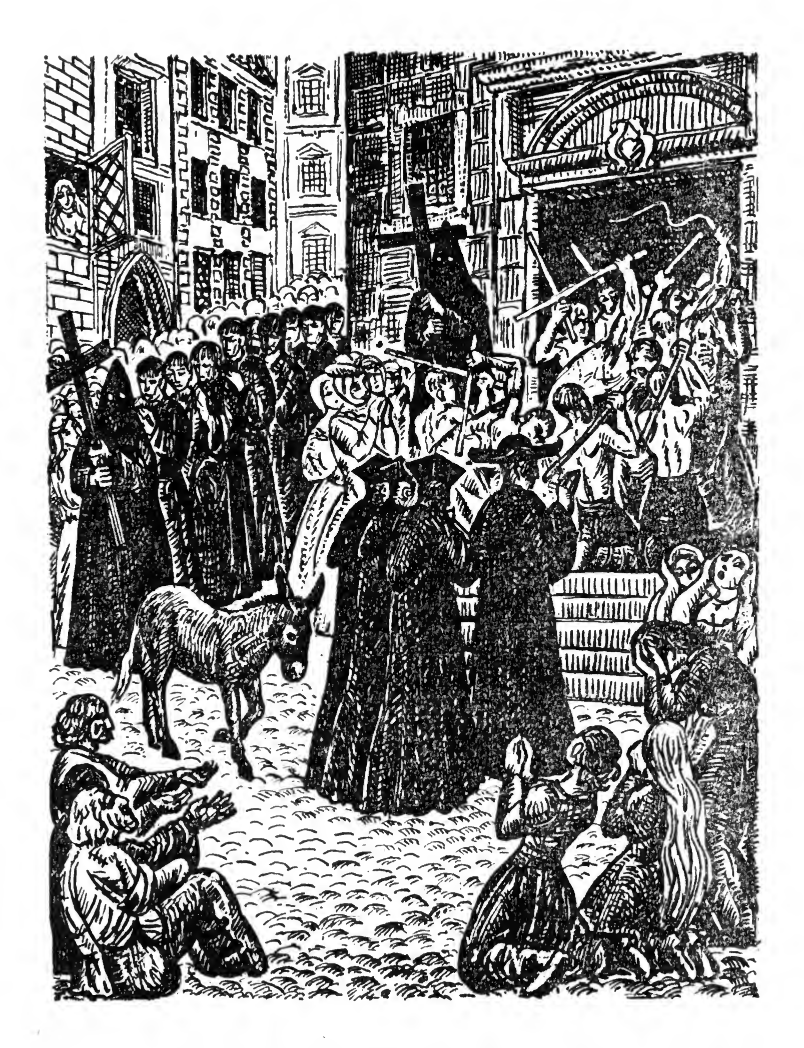
Казначеем братства, в связи с болезнью старого Бабича, избрали расторопного сборщика пожертвований для братства Антоха Блазия. Он поклялся, что ядовитого зелья употреблять больше не станет, а будет верой и правдой служить братству.

Соболей продали на девятьсот пятьдесят злотых, куниц — на шестьсот, да еще от молдавского хозяина Иеремии Могилы получили целую тысячу, и как только потеплело, колокол Кирилл на Корняктовой колокольне оповестил о закладке фундамента под строительство Успенской церкви.

В тот же день во время архиепископского богослужения в кафедральном костеле с амвона произносил проповедь Соликовский.

Внешне он был спокоен, не воздевал руки, призывая господа в свидетели или в помощь, только пальцы до белизны в ногтях сжимали перила амвона. Он ни к кому не взывал, не искал поддержки — архиепископ доводил до ведома паствы свое решение так, как региментатор-командир объявляет войскам о начале войны.

— Победителя, который не уничтожил свободных учреждений в завоеванном краю, ждет поражение. Утраченная свобода, если она еще живет в сознании подданных, становится знаменем бунтарей. Чего мы дождались: казацкие ребелизанты под водительством какого-то Наливайко чинят своеволие на Волыни и до тех пор будут своевольничать, пока покоренный народ будет исповедовать свою веру. А у нас под боком схизматики закладывают свою церковь. И мы, беспечные и слепые, спокойно наблюдаем, как множится змеиное гнездо! Надо на подчиненных землях создавать колонии, и я сделаю это по собственной воле, ибо не прислушались к моим призывам ни гетман, ни король. Я призываю вас, правоверные католики, выйти в пасхальную пятницу на инавгурацию ордена братьев Иисуса — единственных божьих сподвижников, которые в силе обновить нашу усыпленную веру, поднять людей на борьбу со схизматиками. Не бойтесь быть жестокими, верный сын отчизны имеет право нарушить законы милосердия, и все его действия будут



честными и достойными похвалы. А если среди вас найдутся преданные сердцу Иисуса и примут в свой дом хоть одного иезуита, им будут прощены все грехи. Аминь!

В пасхальную пятницу возле кафедрального костела собралась толпа — самые набожные католики. Особенно женщины пробивались вперед, чтобы вблизи увидеть рыцарей Иисуса, весть о которых прокатилась по всему миру — от Испании до Китая. Во Львов они направля-

ются впервые, чтобы защитить святой костел от схизматиков.

Они вошли в Краковские ворота, словно настоящие пилигримы из далеких миров. Впереди шел молодой супериор будущего иезуитского дома патер Лятерна — в черной шляпе с широкими приподнятыми кверху полями; на почтительном расстоянии от него — три коадъютора в рогатых головных уборах, их смиренные глаза устремлены поверх голов людей, сосредоточенные в созерцании святой цели, какую видит иезуит каждое мгновение, тем паче в присутствии толпы. За ними следовал осел — символ Христового триумфа; за ослом петлял, словно стреноженный, монах в черном одеянии палача и капюшоне с прорезями для глаз и рта, он нес в руках крест, а в конце — несколько монахов с распущенными волосами, с палицами и узловатыми шнурами в руках.

Процессия остановилась напротив кафедрального костела. Иезуиты помолились и направились к Галицким воротам: недалеко от них стояла невзрачная каплица, где до сих пор молились только нищие.

Убогий вид рыцарей Иисуса и то, что они не входят в величественный и роскошный костел, а идут принимать благословение в Нищенской каплице, их отреченность от мирских сует умилили толпившихся людей. Женщины побежали за процессией и упали на колени прямо на сырую землю. Их примеру последовали и некоторые мужчины.

Юрий Рогатинец стоял посреди улицы словно потерянный, его не покидало чувство тревоги. Зловещим предзнаменованием веяло от этой черной процессии, а в глубине сердца еще лежал терпкий осадок после вчерашнего разговора с Гретой. Он пытался примириться с нею.

«Мы с тобой, Грета, бедные, мы равны, так почему же нас должна разделять вера? Ты пойми: у богатых, будь то поляки или русины, другой бог, чем у нас».

«Неправда, — ответила она как-то вяло и неуверенно, — мы с пани Доротою Лоренцовичевой молимся одному богу...»

«Что у вас может быть общего с пани Доротой? Иезуитство тем и страшно, что скрывается под личиной скромности и ловит души бедных простачков. Грета, тебя обманывают, и мне жаль тебя. Давай сойдемся снова, забудем этот спор...»

«Пани Дорота все знает... — сказала Грета, отреченно посмотрев на мужа. — Завтра, Юрий, я тебе все скажу».

Рогатинец оглядел женщин, стоявших на коленях, и облегченно вздохнул: Греты среди них не было.

Когда уменьшилась толпа возле кафедрального костела, Шимон Шимонович заметил Рогатинца и подошел к нему.

— Вы знаете, пан Юрий, я еще не видел, чтобы столько ослов воздавали почести одному, — засмеялся Шимонович.

— Не до смеха, пан поэт. Вы — поляк, вам не страшно. А на наш русинский край надвигается чума.

— Львов все равно останется русинским городом, никто не в силе изменить этого, пан Рогатинец, запомните. Мой народ когда-то это поймет. Впрочем, понимает и теперь — я тоже из народа. Только не замыкайтесь в своей тесной Русской улице. Из вашей школы молодежь должна когда-то увидеть большой мир, куда более широкий, чем Украина. Не дайте ей зачахнуть в притворе с Часословом и Октоихом. Латынь — не только словоблудие, как говорят ваши проповедники, но и окошко к знаниям.

Рогатинец не ответил: со стороны Нищенской каплицы донесся крик женщин, и они поспешили туда.

На паперти каплицы перед архиепископом Соликовским стояли на коленях супериор и коадъюторы, монах в капюшоне держал поднятый в руке крест, а другие с распущенными волосами, оголенные до пояса, молча избивали друг друга палицами, хлестали узловатыми веревками. Осел кричал, будто изрыгал из своего нутра монашескую боль; кровавые полосы покрывали спины кающихся; женщины громко рыдали, поддавшись экстазу, некоторые из них срывали серьги и ожерелья и бросали их на паперть. Когда истязание закончилось, к Соликовскому подбежали две женщины и, падая на колени перед ним, завопили:

— О Езус, о Езус! Мы примем их, святых мучеников, защитников наших!

Рогатинец пробился вперед и застонал: он узнал дочь покойного аптекаря Лоренцовича и свою жену Грету.

Словно ошпаренный побежал домой на Русскую улицу. Неизвестная до сих пор сила страха гнала его, он еще не знал, что будет делать, с кем посоветуется, но чувст-

вовал: за ним хлынула грязная волна потопа, которая зальет скоро весь город. Стоило лишь нескольким безумцам ворваться во Львов, и дикая толпа выкрикивает им осанну, и в этой толпе — его Грета. А что будет завтра, потом, — все одуреют, покорятся, озвереют и сотрут все то, что создал он с братчиками на земле и в душах людских. И никто не поможет — мир православный далеко.

Он поспешно собрал свои вещи в мешок, увидел на подоконнике разукрашенное седло и сагайдак, вышитый золотом, взял их и, не запирая двери, направился к братскому дому на Русской улице.

Возле двери стоял диакон Юрской церкви. Он подал Рогатинцу сверток, опечатанный сургучом, и ключ. Юрий побелел: он узнал ключ от братской кассы.

...Сидел в братской комнате за столом, застеленным белой скатертью, на столе крест, подсвечники и братская касса. Почему это Красовский, не дождавшись его прихода, созывает сходку? Экстраординарную? Противоиезуитскую? Юрий перечитывал письмо Балабана, и все иное, кроме той пропасти, которая виделась через плетение строк епископского письма, показалось напрасным, смешным, ненужным. Какая сходка, кого она спасет? Все, что создавалось годами, погибло в один день; они, мои дети, — строят песочную крепость, и эту игрушечную твердыню вмиг разрушит ногой грубый, сильный детина или размоет ливневый дождь. Кучка детей под высокой стеной тюрьмы...

Одного не мог понять — почему Балабан? Почему враг врага уведомил об опасности?

Дверь в комнату рывком открылась, чернобородый Иван Красовский, подбежав к столу, выдохнул:

— Нас бьют, но правда на нашей стороне! Послание от Вишенского пришло!

Красовский удивился: почему Рогатинец не вскочил, ни слова не произнес? Ведь это он подал мысль — написать письмо патриарху Иеремии с просьбой, чтобы тот разыскал через своих посланцев Ивана Вишенского на Афоне и передал ему слезную просьбу братчиков: пускай приедет мних Иван во Львов для провозглашения проповедей в Успенской церкви.

— Ты послушай, послушай, Юрий! — Красовский развернул мелко исписанный лист бумаги. — «Послание для всех обще в лядской земле живящих». «О лютая грешная страна, племя злое, сыновья беззакония! От гла-

вы и ног есте покрытые язвами, есте гноем смердите, несть целого места от греховного недуга: все язвы, все раны, все опухоли, все неправда, все лукавство, все лжа...»

— Это правда, святая правда... — не поднимая головы, промолвил Рогатинец. — Только очень легко глаголить пророческие слова из теплой кельи, насытившись бобами или фасолью...

— Я тебя не понимаю, Юрий, — развел руками Красовский. — Ты же сам говорил: кого мы противопоставим Скарге, Соликовскому? И уже есть кого — Вишенского. Въедливого, лютого, праведного. Ведь мы беззубые: нас лихославят, а мы благословляем, нас преследуют — мы терпим, нас ругают — мы молимся, мы стали как бы отбросами, подонками общества!

— О да!..

— Поэтому созовем сегодня сходку по великому для всего нашего народа делу: постановим напечатать послание Вишенского во мнозех экземплярах, а королю составим суплику-жалобу. Скажем: нет у нас больше сил терпеть. В стенах Львова живут четыре народа. У армян есть свое управление, у евреев — тоже, только древний русинский народ — словно в египетской неволе. Нам запретили звонить в колокола, чтобы мы не призвали во Львов Наливайко... — Красовский блеснул глазами и ударил кулаком по столу. — А ведь у нас тоже может лопнуть терпение — и мы сами к нему пойдем!

— Не пойдем, — поднял глаза Рогатинец. — Никто не бросит своих домов, детей, церквей, рыночного смрада. С головы до ног покрылись язвами... Не нужно сзывать сходку. На, читай...

Рогатинец подал Красовскому послание Балабана и ключ от кассы. Иван пробежал глазами послание и зажмурился.

— Сходку! Сегодня же созвать сходку! Я пошлю звонаря с знамением ко всем братчикам.

Не произнося ни слова, Юрий вышел из комнаты. Направился к Блазию. Не знал, что скажет ему, возможно, и ничего, даже не плюнет ему в морду. Но увидеть его должен. Он искал Блазия, чтобы всмотреться в его ноздреватое с гнилозубым ртом лицо, увидеть в нем само воплощение измены и сопоставить его с достойными ликами иерархов. В сознании Рогатинца не укладывалась мысль о чудовищном предательстве, которое задумали

совершить церковные иерархи — митрополит Рогоза, епископы Потий и Терлецкий.

Но как же так, почему они, а не Балабан?

Юрий остановился возле халупы под городским валом, неподалеку от оружейной мастерской. Подергал дверь, никто не отзывался, и проклял Рогатинец:

— Пусть опустеет твой дом, чтобы духом твоим тут не пахло...

Он отправился к Лысому Мацьку, тот мог знать, где находится Антох.

— Подай мне, Мацько, вина, — сказал, грузно опускаясь на скамью, Рогатинец.

— Никак, в лесу что-то сдохло? — всплеснул руками Мацько. — Пан Рогатинец просит вина?

— Иисус Христос тоже причащался. Налей, Мацько...

Корчмарь засуетился, кликнул сына, за стойку стал ученик братской школы — Роман Патерностер — и смутился: как же он будет продавать вино пану провизору?

— Не принуждай сына заниматься этим делом, Мацько, — заметив смущение паренька, сказал Рогатинец. — Хватит, что ты уже...

Мацько заискивающе смотрел на Юрия. Роман бесплатно учится в братской школе; отец не хочет, чтобы сын занимался ростовщичеством или торговал вином в корчме, он должен учиться дальше, ведь учатся и простых людей дети в чужих краях, разве доктор Гануш был богатым, а выучился в Италии, видно, пан Рогатинец хочет помочь, коль так говорит...

— Так возьмите его совсем к себе, в бурсу, — склонил голову Мацько, будто забросил удочку: а вдруг клюнет...

— Знай меру, Мацько. Достаточно того, что твой сын учится бесплатно... Ну, за твое здоровье... Послушай, Патерностер, Блазий исчез, пропал, мерзавец. Ты случайно не знаешь, кому он нынче служит?

Мацько смотрел на хмурого сеньора и перебирал в уме все возможные причины исчезновения Блазия, прикидывая убытки, которые он может понести, если тот не найдется. Потом вдруг ударил себя рукой по лбу.

— Так Антох у Корнякта пьянствует! Он ко мне теперь не заходит, а там сидит каждый день.

— И ты до сих пор мне не сказал об этом?

— А почему я вам должен был говорить? Это же я потерял клиента, а не вы.

— Потерял и я... А с каких пор он туда зачастил?

— О, уже несколько лет.

— Если бы мы знали...

Мацько заглянул в глаза Рогатинца — хотел увидеть в них, что потеряет он, Патерностер, от неприязни братства к Блазию: дадут ли ему и дальше продавать книги, будет ли Роман учиться в братской школе бесплатно, но не мог ничего прочесть на омраченном лице пана Юрия.

Рогатинец оставил вино недопитым, вышел из корчмы. Долго стоял на углу улиц Русской и Шкотской. Уже не страх, а равнодушная безнадежность овладела им. Все, что задумал когда-то, оказалось обманом. Власть имущие до сих пор только присматривались к братчикам, а теперь увидели малость их силы, оценили, прикинули, какой она может стать в будущем, и — хотят стереть в порошок. Толпа изуверов, что бесновалась возле Нищенской каплицы, не сегодня завтра разрушит их дом, сожжет книги, развалит типографию, осквернит фундамент новой церкви, а защиты не у кого попросить, пастырей нет, братчиков горсть... Где-то далеко, на просторах Украины, сражается Наливайко вместе с казаками, а что они, мещане, безоружные, могут сделать, сидя за этими стенами? Пойти к Наливайко?.. Но он не зовет, да и не нашелся еще муж, который отважился бы поднять народ... Мних Иван Вишенский, ты призываешь очиститься от язв, а ведь очищенных тоже душат мертвой хваткой за горло.

Рогатинец посмотрел на угол дома, на котором время от времени кто-то вывешивал листки, даже купцы расхваливали свой товар над окном Абрековой, и увидел приклеенную бумажку. На ней большими буквами было выведено: «Bij Naliwajków! Bij schyzmatów!» [1]

— Это и все, — прошептал. — Сходка... О какой сходке можно говорить теперь?!

Чувство нестерпимого одиночества охватило все его существо: все, что имел, ради чего жил, утратил в один день — зачем теперь жить? Он прислонил голову к стене и тут же ощутил на плече прикосновение чьей-то руки. Оглянулся.

— Грета?

— Нет, я Гизя. Ганна... Пан Юрий...

Высокая, с тонкой талией, с пышными черными воло-

---

[1] Бей Наливайков! Бей схизматов! (*польск.*)

сами, закрывавшими лицо, девушка чем-то напоминала Грету, но взгляд ее темных глаз был иным: доброта, грусть и надежда светились в них, казалось, будто она ждала только одного его слова, чтобы излить все до капли. И понял сеньор Юрий, что эта доброта уготована для него, что это единственное духовное богатство, которое еще не успели отнять у него, потому что было оно где-то далеко спрятано, а теперь явилось, чтобы поддержать в минуту отчаяния.

Эта мысль мелькнула внезапно и тут же угасла, девушка была удивительно, одухотворенно красивой, но совершенно чужой, и Юрий пожалел, что не может взять ее за руку и пойти куда глаза глядят.

— Пан Юрий, вы так устали, я же вижу. Каждый день вас вижу, пощадите себя немного...

— Чем же ты можешь помочь мне, дивчина?

— Я люблю вас. Вот и все... Пойдемте со мной.

...На следующий день утром Рогатинец с назойливым предчувствием беды подходил к братскому дому. Он остановился и, уронив руки, смотрел на разрушения. Окна в доме были сорваны, стекла валялись на земле, рамы разбиты.

Он наконец понял, что тут произошло, и бросился внутрь дома. В помещении хлопотал Красовский. На лице ссадины, глаза заплыли синими отеками, в руках — сломанный крест братства.

— Где ценности?

— Ценности целы, — повернув голову, сказал Красовский и положил крест на стол. — Только что тебе до них? Иди, Юрий, на колокольню. А завтра братство решит, как поступить с тобой.

Колокол Кирилл, словно гигантская чаша, с привязанным к его краю могучим стальным языком, виднелся в восточном окне звонницы. Он безмолвствовал. Его лишили голоса, движения, а силу стреножили. Солнце еще не всходило, только начали розоветь перистые облака над Высоким замком. Неужели колокол будет безмолвным, и когда солнце взойдет, неужто не разбудит наших братьев?

А-а, призрак... Он будет молчать столько, сколько этого пожелают власть имущие. Мы бессильны! А ведь русинская община собрала по грошу и отлила колокол —

значит, смогла... Братчики своими руками втащили его на самый верх колокольни — тоже смогли. И ударил колокол, и разбудил спящих — значит, смог. Так неужели мы не найдем в себе силы, чтобы вернуть колоколу голос, — ведь он не разбит, не ущерблен, у него не вырвали язык, он только привязан. Да теперь мы и не одиноки — вон уже пришла к нам помощь от братьев с севера.

Юрий Рогатинец всю ночь не сомкнул глаз. Думал: а не надломлен ли он сам, не пролегла ли трещина трусости через его душу, сможет ли он вернуться к побратимам и идти вместе с ними. Поверят ли ему теперь? Что же осталось у тебя от прошлого? — спросят. А я отвечу им так... Не смотрите на мое лицо, оно осунулось, поблекло, но душа очистилась от сомнений, я преодолел их и теперь знаю — не утратил отваги. Взвесил немощь и силу свою — есть во мне сила. Измерил я за одну ночь правду и неправду и скажу: пусть будет благословенна сабля Наливайко — без жертв еще никто не завоевывал свободу; пусть святится подвижничество Вишенского — его слово будет острее меча; пусть сгинут отступники — народ не примет никакой подачки, купленной изменой. Я искал веру в своем сердце и нашел ее: верю в грядущего мужа свободы, которому отдам кусок своего честного хлеба, выращенного на моей убогой ниве.

Это слова, Юрий, скажут мне. Что есть в твоей душе такое, чему можно поверить? И я отвечу: любовь. Я нашел ее. Слышите, есть любовь, она вдохновит меня, умножит мою силу, не позволит быть слабым. Даже если я раздам все свое добро и тело отдам на сожжение, а в сердце не будет любви, я — ничто. Кто это сказал? Наверное, апостол Павел, обращаясь к коринфянам. Если у меня есть дар пророчества, если могу свернуть горы, все равно без любви я — ничто.

А у меня есть любовь. И пусть она будет только моей, лишь для меня, пускай грешная и недозволенная — я во имя ее снова стану сильным, ради нее не допущу, чтобы моей душой овладел страх. Недостаточно вам этих доказательств? Очень уж они личные? Тогда послушайте: не ради собственного достоинства — я пойду в тюрьму и на смерть. У людей с черствыми сердцами, не способных искренне, по-земному любить, нет ни преданности родине, ни достоинства. А может быть, я тогда испугался потому, что еще не знал такой любви?

Слышны шаги на лестнице: идут братчики звать своего опозоренного сеньора на суд.

Дайте мне идти вместе с вами, ведь время тяжелое, и я еще пригожусь вам. Через славу и бесчестие, через хвалу и позор, не познанные еще до сих пор вами, но познанные мной самим, я иду. Пусть не померкнет солнце во гневе вашем.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

НЕСКОЛЬКО УЦЕЛЕВШИХ СТРАНИЦ МАНУСКРИПТА С ОТСТУПЛЕНИЯМИ И КОММЕНТАРИЯМИ

«...иже Потий, владыка брестский, и Кирилл Терлецкий, владыка луцкий, именем митрополита киевского Рогозы ехали к папе на поклон и доложить, же суть присланы затем, чтобы принять унию. Папа, будучи сему бардзо рад, отослал их к королю за получением привилегий.

А рассказывают такожде, только им можно верить альбо и нет, как тое се отбывало в Риме.

Бают, что киевский митрополит даже захворал, как только приложил печать и поставил свою подпись на той суплике, которой брестский и луцкий владыки отдавали себя во власть папы, ибо в душе он был за православие, только не мог выдержать патриарших поборов, которыми патриарх Иеремия покупал себе пастырский жезл у турецкого царя. Я сам, бо есмь православный русин, не какой-то там проходимец, подобный Блазию, вынужден был дать полтора злотых патриаршего побора, а за такие деньги можно купить три с половиной бутыли самой лучшей мальвазии. Вот и сказал Рогоза: «Мы у него, патриарха, такие овцы, которых только доят да стригут, а не кормят». А владыки тое подхватили, подлили масла в лампады: «И ежели какой-то сходке торгашей, пекарей, седельщиков, не смыслящих в богословских делах, дают право опротестовывать решения судов, установленные церковной властью, так уж лучше подчиниться римскому папе». На мой взгляд, это весьма глупые и супротивные святому письму епископские постулаты, ибо апостолы Иисуса такожде не были архиереями, а простыми рыбаками и плотниками, но ведь, как говорят посполитые люди, — сова, когда станет ястребом, то летает выше, чем сокол.

И зело еще худо поступил патриарх, что не захотел полностью довериться прирожденной духовной особе Рогозе, а назначил своим экзархом луцкого епископа Терлецкого, оного же знали во всей епархии яко грабителя, насильника и убийцу. Тот же сговорился с брестским мошенником, прости мя господи, ведь кто же такой Ипатий Потий? Русинский пан, который давно уже совращен католичеством, а потом, притворившись, снова назвал себя православным и постригся в монахи, чтобы обмануть паству и сотворить унию.

И теи двуликие владыки, не дождавшись ответа нашего справедливого Балабана, которого бог вразумил вернуться к братчикам, в сентябре 1595 года депутовали себя в Рим с двумя посланиями Петра Скарги: един к папе Клименту VIII, а второй к генералу иезуитского ордена Аквавиве.

Я мог бы об этом и не знать, но Юрий Рогатинец, которого братство сместило с сеньора за какую-то немаловажную провинность (чай, не зря сутки сидел в колокольне и безмен воска, который стоит целых три злотых, на братский стол положил), но яко мужа ученого послали на Брестский собор, чтобы книжицу против вероотступников написал, вот пан Юрко, который по причине холостяцкой ходит ко мне обедать, за обедом, выпив бокал вина, становится обыкновенным, как все мы, все, что слыхал, мне — доверенному продавцу братских книг — поведал[1].

В декабре епископов ввели в зал Константина в Ватикане. Папа в белом уборе, пурпурном плаще и камаури[2] *восседал на золотом троне под балдахином в окружении кардиналов.*

Церемониймейстер подал знак просителям, они пали на колени и, словно псы, стали лизать ноги папе, а Потий, не поднимаясь, только приподняв голову, подал святейшему акт унии. Папский секретарь прочитал декларацию, потом — заранее написанный ответ папы, а владыки все время стояли на коленях. Потом они дали прися-

---

[1] Дальше будем считать, что автором манускрипта является Лысый Мацько. Почему-то с этого абзаца наш летописец начал писать по-польски, поэтому перевод теряет староукраинский словесный колорит. Трудно объяснить, почему автор манускрипта так часто переходил с одного языка на другой. Правда, во второй половине рукописи польский язык почти не встречается. *(Прим. автора.)*

[2] Камаури — папская бархатная шапочка.

гу, поклялись, положив руки на евангелие, и поцеловали ноги папе. Тогда великий инквизитор снял с епископов схизматический грех и предоставил им право отпускать грехи всем, кто присоединится к унии — на Украине и в Москве.

Бог не прощает вероотступников. Казацкий атаман Наливайко напал на Луцк, занял его, разгромил имение Терлецкого, уничтожил всю его охрану и захватил пергаменты с подписями духовных и светских особ, которые тайно согласились установить унию. Эти документы он передал своему брату Демьяну, духовнику князя Острожского, и тот отдал их князю, и только тогда стало известно православным об измене Рогозы.

Терлецкий застал вместо дома руины. Нападение кафедральных жаков и братьев Бялоскурских на русинский квартал во Львове выглядело в сравнении с наливайковским погромом детской забавой. У меня, к примеру, разбили всего пять бокалов, выпили и разлили три бутыли вина, и все это обошлось мне в два злотых и двадцать семь грошей. А сынок мой, благодарение богу, здоров и — хотя со шрамом на лбу — учится хорошо. Наливайко же, вечная теперь память ему, отплатил за нас сторицей».

...Еще не стемнело, как в корчму Лысого Мацька ввалились двое незнакомых, широкоплечих, длинноруких верзил. Корчмарь тотчас понял, что это за птицы, выбежал из-за стойки с протянутыми руками, словно он мог заслонить свою стойку, уставленную бокалами и четвертями с вином и водкой; один из них, что выше ростом, толкнул Мацька в грудь и заорал:

— Схизмат?

Жена Мацька, давно привыкшая к непочтительным клиентам, вышла из чулана, где всегда сидела начеку — часто приходит столько пьяниц, что Мацько один не может справиться с ними, — и сказала:

— А мы не знаем, что это такое.

— И мы не знаем, — ответил верзила, подходя к стойке. — А вон там, на углу, висит листок, в котором говорится о том, что надо бить схизматиков. Вот и ищем, где они... —Он взял бокал, постучал им по стойке и тихо спросил: — Почему пустой?

Мацько увидел, что связываться с этим гостем не стоит, бросился наливать вино, и, пока он взял четверть

и дрожащими руками наклонял ее над посудой, громила брал один за другим пустые бокалы, швырял их в стену до тех пор, пока не нащупал рукой полный; тогда подал полный бокал товарищу, что стоял молча, оскалив белые зубы, потом взял себе и сказал:

— Мы еще не были у вас, пан Мацько, так давайте познакомимся: я Бялоскурский, Янко, а это мой брат Микольца.

Жена даже присела за стойкой, у Мацька руки еще больше задрожали. Он вспомнил, как бедный Аветик черпал вино из корыта, угощая каждого прохожего; «хорошо, что хоть книги продал», — подумал и ждал худшего, но разбойники выпили вино, потом взяли еще по одному бокалу, понюхали и вылили на пол; «ровно три сулеи», — подсчитал Мацько, а Бялоскурские, посвистывая, ушли из корчмы.

— А где Роман? — спросил у жены Мацько, когда за братьями закрылась дверь.

— Да, очевидно, в школе, — ответила жена.

Возле Нищенской каплицы пусто. Смиренные иезуиты разошлись по домам самых правоверных католиков, и в городе наступило спокойствие, как было до этого: Ведь будто бы ничего особенного и не произошло. Львов на своем веку видел уже и искупающих грех, и бесноватых, даже пророков. Кроме того, в Нищенской каплице время от времени появлялась, а потом исчезала чудотворная икона божьей матери; в страстной четверг на окне дома Гуттера виден был на стекле Иисус — весь в кровавых ранах. И это еще цветочки: в судебном зале ратуши еще не так давно в полночь летал гроб с прахом какого-то мещанина, невинно осужденного на смертную казнь. Гроб выплывал из могилы на кафедральном кладбище, поднимался в воздух, скользил в лучах лунного сияния до окна ратуши, грохотал, пугал сторожей, и длилось это до тех пор, пока войт с лавниками — мировыми заседателями — не собрались для пересмотра дела и не оправдали невинного, посмертно занеся его в списки достойных мужей города. К тому же все мещане знали, что по субботам на Кальварии, а иногда и на куполе Доминиканского костела устраивают шабаш черти и ведьмы — разные дива видели жители Львова, поэтому иезуитские искупители грехов и не могли произвести особенного впечатления. Но вот осталось после них неведомое доселе возбуждение духа: старикам хотелось

молиться, женщины готовы были на самопожертвование, а молодым — жакам кафедральной школы — захотелось крови.

Жаки сновали возле кафедрального костела, не расходились. Правда, когда увидели архиепископа, в сопровождении прелатов возвращавшегося из Нищенской каплицы, готовы были дать стрекача, но тот остановился, осенил их крестным знамением, и жаки послушно приняли это благословение как призыв к действию во славу божью, а что именно делать — они хорошо знали: не будут же они истязать себя, наоборот — отомстят неверным за страдания искупителей.

Ученик младшего класса братской школы Роман Патерностер стоял возле венецианского дворца и смотрел на город совсем иными, чем вчера, глазами. Ныне он узнал от любимого дидаскола Ивана Борецкого такое, о чём никогда и догадаться не мог: Львов — город русинский, древняя столица Галицкого княжества. С горечью и возмущением думал он теперь о своем угнетенном положении в этом городе, где почему-то русин — строитель и древний хозяин Львова — должен жить в отведенном панами квартале, а не там, где ему хочется; он вспомнил своего отца, который украдкой молится православному богу и продает книги братчиков, а когда к нему зайдет какой-то ничтожный шляхтич, в пояс кланяется ему, чуть ли не лбом о стойку. Роман смотрел на свой окутанный мраком город и чувствовал, что всей душой любит его. «Мы живем для того, чтобы отобрать отнятое у нас», — снова послышались ему слова дидаскола Борецкого. Паренек сжал кулаки, будто испытывал мощь своих мускулов, и вдруг увидел, что его окружили жаки в черных сутанах и рогатых беретах. Попятился назад, но кольцо сомкнулось, один жак ткнул ему кукиш под нос и передразнил:

— Паки-паки, дай, поп, табаки!

— На! — Роман не успел опомниться, как все произошло.

Он совсем не собирался драться, ведь их было много. Но боль, которая только что пронизала всю душу, вдруг вылилась в ненависть за оскорбление: из расквашенного носа нападающего полилась кровь, жаки на миг оторопели. Роман воспользовался этим, прорвал кольцо и побежал в сторону Русской улицы. Слыхал позади себя крики: «Люпус, Наливайко! Бей его, господи помилуй!»

Только возле братской школы оглянулся — на улице никого не было, он вбежал в бурсу и крикнул спудеям:

— Хлопцы, наших бьют!

Впрочем, до позднего вечера никто не нарушал тишину в русинском квартале, только кто-то вывесил листок над окном Абрековой: его сначала увидел Юрий Рогатинец, а потом братья Бялоскурские, которые вышли из подвала Корнякта.

Братчики начали сходку, не дождавшись прихода Рогатинца. За ним трижды посылали звонаря, но тот возвращался ни с чем — сеньора не было дома. Вещи же его лежали в углу соседней комнаты — никто не мог понять, что могло случиться с Юрием. На сходке составили челобитную королю, сеньору присудили сутки ареста и штраф — знал ведь, что будет сходка, и не пришел. Блазия исключили из братства и прокляли.

В городе становилось тише. На ратуше ударил колокол, зазвенели ключи в замках городских ворот, калиток и магазинов. Тесный, густо заселенный город опустел, стал будто просторней. Темное небо покрыло мраком грязные мостовые; еще порой то там то сям прорезали тишину торопливые шаги запоздавших прохожих.

После сходки Красовский остался один в доме братства. Он замкнул кассовую комнату и на какое-то мгновение прислушался — в глухой тишине слышался какой-то шепот или шорох, — а, это ветер гонит по мостовой мусор, но все-таки погасил свечу, и в этот момент услышал — где-то возле бурсы — звон разбитого стекла и пронзительный свист. Он спрятал ключи в тайник, подошел к двери, и его оглушил треск. На него посыпались осколки стекла. Красовский успел запереть дверь, глянул в небо и точно сам ударился головой о камень, влетевший в окно. Липкая кровь залила глаза, Иван упал на пол.

В тот вечер Бялоскурские не имели никакого желания погреть руки. Но над окном Абрековой висел листок с таким заманчивым призывом, что никак не могли удержаться от соблазна. До сих пор они своевольничали в еврейском гетто в Краковском предместье, иногда заглядывали в армянский квартал, а до русинов еще не доходили руки. Для храбрости выпили вина у Лысого Мацька и пошли по Русской улице, ища зацепки. В квартале было тихо, они уже хотели было возвращаться, как вдруг из Зацерковной улицы донесся протяжный

свист, воинственные крики — жаки выскочили из засады и ворвались в бурсу. Микольца бросился было туда, но Янко сдержал его: стыдись воевать с детьми, вот же перед тобой гнездо схизматиков. Он ударил палкой по окну братского дома, старательный Микольца стал сгребать камни и швырять в помещение.

Жаки через разбитое окно ворвались в бурсу, надеясь наброситься на спящих. Но сами попали в засаду: предупрежденные Романом, спудеи были начеку. Они впустили нападающих в помещение и набросились со всех сторон, словно коршуны.

В полночь, когда уже все стихло, ученики старшего класса потихоньку вывели из бурсы чуть живых жаков и, наградив каждого пинком, погнали их вниз по Зацерковной улице.

...Мацько с ужасом смотрел на разбитый лоб сына, ощупывал его, будто не веря, что он вернулся живым, а потом схватил его за лацканы свитки.

— Что случилось? Где ты был так допоздна?!

— Жакам надавали, отец...

— Жакам?! — воскликнул Мацько. — Да как ты смел? Да ты не знаешь, с кем связался? Дурак, ты дрался не с ничтожными жаками, а... а...

— Пустите меня, отец, — Роман независимо, с какой-то тенью пренебрежения посмотрел в глаза отцу. — Пустите... Если вам угодно, продолжайте в три погибели гнуть спину перед каждым паном и панком, а я не буду. Слышите, не буду!

Мацько опустил руки, оторопел. Он удивился: ведь в его доме, в семье, в корчме все до сегодняшнего дня было взвешено, проверено, высчитано, и как это он до сих пор не знал, что есть вещи, которые не поддаются никаким измерениям, оказывается, есть душа человеческая, которую не взвесишь, не учтешь, разве только поймешь. И что отныне он должен будет учиться понимать душу этого птенца, который не только проедает денно пять грошей и носит одежды и обуви на три гроша, но еще и имеет свою волю, свое достоинство, честь и ненависть?

Мацько Патерностер на следующий день записал в своей книге следующее:

«Книжное чтение помогает уму, но и приносит вред, хорошо управлять душой темной, просвещение же будит у людей, а паче у отроков, бунт против власти отцовской и

государственной. Мой сын Роман, обученный братскими дидасколами, проявил первое непослушание[1].

«Cudze pomoce często przynoszą niemoce, cudze rady — zdrady»[2].

Эта Абрекова совсем не так глупа, но порой она не знает толком, куда вставить умное слово. А эта ее пословица будто бы о нашем митрополите сложена, но это не ума Абрековой дело.

Как только вернулись епископы из Рима, ясновельможный круль Сигизмунд написал послание Рогозе, чтобы в Бресте созвал синод, на который должны прибыть доверенные и светские мужи, токмо без свиты, от католических и православных общин, а митропит занемог и, хотя разослал духовенству и братчикам послание, сам на собор не приехал и глубоко раскаивался в своем грехе, что позволил обмануть себя и втянуть в католическую кабалу[3].

А львовский бургомистр и советники пригласили Красовского и Рогатинца в ратушу и льстиво стали уговаривать, чтобы они признали унию, а за это их дети и внуки получат равные права в торговле и ремеслах. На что им от имени благоверных ответил Рогатинец: «На овчарню напали волки, и пастух собрал с разных сел собак для защиты. Собаки же потребовали за это каждая по овце. Одна овечка и сказала: «Лучше мы погибнем от настоящих врагов, чем от неверных защитников». Не слышал я этого, но пан Юрий уверял, что говорил именно тако. Поведал он мне тое за обедом, но, может,

---

[1] До этого места в манускрипте шли записи о доходах и приходах владельца корчмы и лишь изредка говорилось о внешних событиях, да и то о таких, которые касались в основном его собственных интересов. Поступок сына напугал Лысого Мацька, больно поразил его, но, видимо, заставил и призадуматься над социальными вопросами, по-своему оценить их. В дальнейшем автор манускрипта каждый раз все больше предается раздумьям.

Думается, что перемена в психологии Мацька произошла и под влиянием Юрия Рогатинца, который после братского суда искал контактов с самыми низшими слоями львовского мещанства. *(Прим. автора.)*

[2] Чужая помощь часто приносит немочь, чужие советы — измену *(польск.)*.

[3] В действительности было иначе. Киевский митрополит Михаил Рогоза занял в деле унии двуличную позицию. В 1595 году Потий и Терлецкий уговорили его тайно подписать акт унии. В 1596 году Рогоза на Брестский собор прибыл. Он заверял Рогатинца в том, что будет вместе с православными, но не сдержал своего слова, да, наверно, и не собирался выполнить свое обещание. *(Прим. автора.)*

немного и переборщил, за обедом, да еще когда не совсем сухой, каждый любит немного добавить к правде. Я так думаю, что за собак он принимал оных епископов, которые перешли в унию, а за пастуха — Рогозу. Лучше, когда волки суть в лесу, а собаки у кошары. Тогда легко составлять реляцию о том, кто овцу съел.

Вот и приехали в Брест духовные особы, воеводы, кастеляны, старосты. Из Львова от католиков — архиепископ Соликовский, а от православных — Балабан и Рогатинец. Епископ и пан Юрий расцеловались, как братья, и слезно просили друг у друга прощения за прошлую ссору и поругание. Так, плача и обливаясь слезами, просил Балабан: «Прости меня, брат Юрий, за мои прегрешения: вместе мы начали святое дело, вместе теперь постоим за отцовскую веру». На что Рогатинец ответил: «Простите и вы, ваше преосвященство, а мы будем просить патриарха, чтобы вас своим экзархом назначил» [1].

В Брест приехал и королевский проповедник Петр Скарга, а король прислал вооруженных татар и казаков, которые после выдачи Наливайко Жолкевскому перешли на его сторону. Скарга собственной персоной предстал перед остановившимся в своем доме князем Острожским и упрекал его в поддержке еретиков. На что князь ответил: «А с какими намерениями вы прибыли сюда с вооруженной свитой, ехали-то вы не для ссоры, а ради согласия». Подлые же католики давно задумали нарушить согласие, и Скарга преподнес Острожскому сию кознь. «Вы, — говорит, — главой своего партикулярного собора избрали турецкого шпиона Никифора и поступаете днесь впреч не только костела, но и самого короля». Сказав это, ушел. А на следующий день русинские и польские епископы в облачении понтифексальном, с послами польскими и королевскими, в сопровождении панов светских направились в церковь святого Николая, где служили православную литургию, а потом в костеле наисвятейшей девы Марии пели «Te, deum, lau-

---

[1] Известно, что Гедеон Балабан был одним из первых, кто поддержал унию. Очевидно, под влиянием Острожского, который пообещал ему титул экзарха, он перешел на сторону православных. Договоренность между епископом и братчиками во время Брестского собора была внешней и временной. Подлинное примирение наступило только в 1602 году. Балабан тогда обязался никого из своих родственников не выдвигать на должность епископа, а братчики признали за ним титул экзарха. (*Прим. автора.*)

damus»[1], *а на Балабана и киево-печерского архимандрита Тура наложили экскомунику. Простосингела Никифора, который в тот же день на православном соборе проклял епископов-вероотступников, вечером схватили и заключили в крепость*[2].

Тогда князь Константин будто бы пригрозил королю войной и написал ему такое: «Все исповедующие христианство от юга до самого севера будут защищаться от сторонников папы. Ты, король, хотел унией укрепить римскую церковь, а получилось наоборот — ослабил. Доднесь православные еще не знали, за что должны воевать, а теперь узнали: за то, что у них отнимают. А кто устоит перед нами, если только на Волыни и Червонной Руси мы сможем выставить тридцать тысяч вооруженного люда, а папежники, может быть, превзойдут нас только числом тех кухарок, которых ксендзы вместо жен у себя содержат». Пан Юрий не читал этого письма, и я не очень-то верю, чтобы подданный осмелился такое написать своему повелителю, а еще, как это говорят, ворон ворону глаз не выклюет.

Тяжкие испытания выпали на долю нашего русинского народа, не зря на праздник святой Парасковеи земля тряслась, и люди думали — конец света. А в моей пивной упала с полки бутыль сиракузского вина, это был большой урон, потому что я потерпел убыток от этого аж на тридцать польских талеров[3]*».*

Соликовский тупым взглядом окидывал марионеток, не различая их. Куклы стояли — каждая на своем месте — мертво, воображение архиепископа впервые не могло передвигать их, они теперь были похожи на шах-

---

[1] Тебя, бога, славим *(лат.)*.

[2] Собор в Бресте тотчас раскололся на православный и униатский. Ипатий Потий велел закрыть церкви. Тогда православный собор собрался у Острожского. Главой собора вопреки распоряжению короля, который запретил чужеземцам принимать в нем участие, был избран представитель патриарха Иеремии протосингел Никифор. Никифор трижды вызывал на собор Рогозу, однако киевский митрополит, убежденный Скаргою, Соликовским и Потием, официально провозгласил унию в церкви святого Николая. Тогда Никифор лишил Рогозу, Потия и Терлецкого духовного сана. Вскоре на Никифора было сфабриковано обвинение в шпионстве в пользу Турции, и его заключили в башню варшавской ратуши, ту самую, в которой тогда находился в заключении, ожидая казни, Наливайко. Никифор умер в Мариенбургской тюрьме. *(Прим. автора.)*

[3] Талер равнялся приблизительно трем злотым.

матные фигуры, выбитые противником с доски, — бездействующие и ненужные.

Проигрыша будто бы и не было, ведь за этими куклами стоят оловянные фигуры жолнеров, их много в ящике, но прибегать к их помощи — это дело уже не архиепископа, а короля. Эти силы решили судьбу Речи Посполитой в последней битве с Наливайко под Солоницей возле Лубен, но они ничего не значат в борьбе с человеческим достоинством — ведь не пошлешь жолнеров ни в русинский квартал, ни на Юрский холм, не осадишь с их помощью каждую церковь, не приставишь драгуна к каждой душе, здесь и черти бессильны — православие живет, как и жило... Да нет, не так. До сих пор оно было замшелой верой со старинными обрядами, глупыми священниками, распущенными архипресвитерами, жадными епископами, а после Бреста стало идеей, которая сама собой очищается от грязи, хоругвью, которую вскоре поднимут еще неизвестные ныне витязи и разбудят усыпленный народ от спячки, из темного смерда сотворят воина, из пастуха — вождя, из равнодушного — заинтересованного, из труса — смельчака, а склонный к предательству запрячет глубоко в душу свою слабость, ибо для всех очевидной и омерзительной станет ее суть.

Да, это проигрыш. Но почему? Как могло так случиться, что Балабан, на которого Соликовский возлагал такие надежды, — ведь тот давно по существу стал одесную к костелу, — вдруг изменил и решил, собственно, судьбу унии? Что она теперь? Клочок бумаги... А львовская епархия, из которой пошло униатство по всей Украине, осталась православной. Что теперь делать? Убить Балабана и дать православным еще и мученика? Проповедовать? А что ныне даст проповедь — озлобленные, пробужденные схизматики не примут теперь из католических рук и буханки хлеба, потому что он будет казаться отравленным. Посеять среди них страх, натравить тайных убийц... А что, если вместо страха родится месть? Запретить требы — будут тайком собираться на молитву, разрушить церкви — на развалинах будут давать клятву, объявить цареградского патриарха турецким наемником — признают московского.

Перед глазами Соликовского возник лик короля Польши Сигизмунда III. Перед королем Скарга — с опущенной лобастой головой — и поникший Соликовский. «Я вам велел проложить мост между Украиной и Поль-

шей, а вы проложили его между Украиной и Московией. Поэтому, пока еще не соединились южные схизматики с северными, я вынужден объявить войну Москве».

Разве можно сейчас думать о московском престоле, коли тут, на этой проклятой земле, сидим словно на бочке с порохом? Вот взорвется, вот задрожит...

И земля задрожала. Покачнулся стол, поплыл в сторону, убежал пол из-под ног архиепископа, с креденса упали подсвечники.

Соликовский судорожно цеплялся руками за стол. Однако заметил, что кукла-Лойола становится все больше, острые глазки генерала вспыхнули, он поднял крест и ударил им архиепископа по тонзуре.

Трясти перестало. Соликовский лежал на полу и думал теперь о том, что в своих сомнениях и душевных муках приблизился к богу, как Моисей на Синайской горе или Магомет во время приступа эпилепсии, ибо когда падал, то ясно слышал голос: «А ты сумей унизить их предводителей, высмеять их святыни и науку, пусть дети стыдятся их и ищут в твоей школе пути к свету!»

Соликовский еще прислушивался, что подскажет ему глас божий устами Лойолы, потом раскрыл глаза и вместо святого увидел над собой ноздреватое лицо Блазия.

— Не гоните меня, не гоните, — лепетал Антох. — Я видел, как покачнулась башня ратуши, падали фигуры с карнизов, и я подумал о вас и прибежал, чтобы заслонить вас своим телом.

— Баран, — приподнялся на локте Соликовский. Блазий помогал ему встать на ноги. — Говори, как случилось, что Балабан...

— Я услышал «барон», ваша эксцеленция, — Блазий жалобно скривился и закрыл рукой рот. — Я падаю к вашим ногам — оставьте за мной этот титул...

— Шут... — прошептал архиепископ и на миг задумался. — А ты в самом деле можешь быть шутом. Так скажи мне... Барон: как случилось, что Балабан не принял ключ от братской кассы?

— Черт его... — запнулся Блазий на полуслове. — Бог его... — снова запнулся. — Аллах его знает. Я сделал все...

— Ничего ты не умеешь, дурак... Но я дам тебе посильную работу. Слушай внимательно... Ты получишь деньги. Столько денег, как у настоящего барона. И пропивай их в корчмах с бывшими своими братьями. Спаи-

вай их, подбивай... И насмехайся, издевайся над всем... А когда они, пьяные, начнут посмеиваться, наливай еще — пока не захохочут во всеуслышание. Тогда выводи их на улицу. И пускай люди смеются над собой, над тобой, над своими вожаками, дидасколами, над церковью...

— Не пойму.

— А ты бери деньги. На! — Архиепископ открыл шкафчик, зачерпнул рукой золотые и серебряные монеты и высыпал их в подставленную горсть Блазия. — Теперь уходи, а эти кружочки сами подскажут, что делать.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

ПЕЧАЛЬНАЯ ГИЗЯ

> **Целуй меня, ведь любовь твоя слаще вина... Твой гибкий стан подобен пальме, твоя грудь — виноградной грозди.**
>
> *Песнь песней*

Бургомистр Вольф Шольц готовил переодетых жолнеров к последнему штурму игрушечной смоленской твердыни, и Юрий Рогатинец хотел увидеть финал магистратского лицедейства, но вынужден был уйти с Рынка, потому что к нему приставал, как лишай, гнилозубый Барон с землистым, пропитым лицом. Барон цеплялся за Рогатинца как утопающий за соломинку: Юрий для плюгавенького и позабытого всеми, даже чертом, Барона сейчас был единственной надеждой и спасением. Он действительно никому не выдал своей тайны, хранил ее, а теперь добивался платы.

Он не дурак — знал, что союз с панами ненадежный; с панами как с огнем: издали не согреешься, а вблизи обожжешься, и теперь в запасе у него остался последний шанс, который поможет ему. Его прокаженной душе нужна была пища: да ему не так уж много и надо — только выпить в обществе Рогатинца, чтобы видели люди. Неужели за то, что тогда он не опозорил сеньора братства, тот не отблагодарит его, оказав мизерную услугу? Он просит такую малость — только выпить с ним, сидя за одним столом на людях, и не больше.

Господи, ужаснулся Рогатинец, какой страшный выкуп требует Барон за то, что сохранил тайну его и Ги-

зи, — требует равенства с ним тогда, когда он не находит его даже среди отвратительных подонков города! Сколько лет он держал на конце своего языка слово, которое, наверное, щекотало его, жгло и которым он каждую минуту мог уничтожить Рогатинца: прелюбодей. И удерживал! А если бы дал ему ход, Юрия предали бы анафеме в церкви, на улице люди провожали бы его осуждающими, издевательскими взглядами, братчики исключили из братства, а Гизю — если бы только нашли — обмазали бы дегтем и вывели с позорной процессией за пределы города.

Каждый день Рогатинец готов был к этому и в неутешной печали порой радовался тому, что Гизи нет: ему еще, может, и простили бы, ей — никогда.

Гизи нигде не нашел, а сам ждал: вот позовут его на сходку и спросят: ты прелюбодействовал? Отрекись — как от собственной души. Сказать правду — правду, что он, уважаемый гражданин города, сеньор братства, просветитель, защитник морали, совратил дочь бедной Абрековой — и она пропала, а может, с горя наложила на себя руки?

Разрасталась школа, церковь, снова его избрали сеньором братства. Писал книгу, направленную против униатов, седел и ждал расплаты. Кому какое дело, что с Гретой он не живет, кому доказывать, что, если б не Гизя, в ту ночь, когда Бялоскурские били окна в братском доме, покончил бы он с собой, ибо утрата надежды — страшное и темное чувство. Оно длится только миг, но для того, чтобы умереть, больше и не нужно; когда все, чем жил и во что верил, вдруг гибнет, — если никто не протянет тебе руки, чтобы провести по мосту через пропасть, канешь бесследно в небытие. А Гизя взяла за руку человеческую тень, которая еще сегодня утром была сильным мужем, — то ли она ждала этого мгновения, то ли любовь подсказала ей, что именно в эту минуту она ему необходима, — и осторожно провела над пропастью и на противоположном берегу вдохнула в эту безжизненную тень любовь и дала во сто крат больше силы и веры, чем было... Кто это поймет? А ныне настал час расплаты?

Он пошел тогда следом за нею, некуда ему было больше идти. Она оставила за собой узенькую, но твердую тропинку. Эту тропинку сильно и крепко утаптыва-

ли ее стройные ноги, а он шел по ней, будто в самом деле над пропастью, зиявшей с обеих сторон. Для него не существовали ни люди, ни город, только глухо стонала в груди пустота. Она иногда оглядывалась, в ее глазах светились не вожделение, не страсть, не похотливость — только добро, и он почувствовал, как это добро наполняет душу; он становился тверже, сильнее и уже увереннее шагал по тропинке, утоптанной ее ногами, — взгляд Гизи придавал ему силы. Город уже остался далеко позади, они двигались вдоль холмов, густо засаженных виноградом, миновали чье-то разрушенное имение на Знесении и скрылись в густом лесу.

— Я люблю вас, пан Юрий, — сказала она, идя рядом, не останавливаясь, не ища его руки, и на душе у него становилось радостно, хотя не знал, чем он заслужил любовь этой девушки; Юрий молча любовался ею, гладил ее пышные, вьющиеся волосы и от прикосновения к ним понемногу успокаивался. — Я — Гизя, — посмотрела она на Юрия, будто испугавшись, что он не знает, с кем идет, — дочь Абрековой. Я с детства люблю вас — потому что вы — для меня. Все у вас — для меня, а вы этого и не знаете...

— Но почему? — спросил он тихо.

И она, идя рядом с Рогатинцем по седому буковому лесу, думала вслух:

Я впервые увидела вас, Юрий, когда была еще маленькой. Вы ходили по Русской улице в братство, такой углубленный в себя, серьезный, мудрый... Другого равного вам в нашем большом городе не было, да я и не присматривалась, знать всех не могла, хотя чувствовала — нет... Ни у кого не было такого проницательного взгляда серых глаз, а в них — доброта и ум, ваши черные, словно воронье крыло, волосы тронула первая пробивающаяся седина, и никому она не могла стать так к лицу, как вам. Вы стояли на коленях в Трехсвятительской каплице перед иконостасом, и я видела по вашему лицу — молились вы не так, как все. Какими словами и за кого вы молились? Обыкновенными, человеческими и — за меня, за бедную Гизю, дочь торговки Абрековой, за маленькую Льонцю, за пьянчужку Пысьо. Пьяницу Пысьо, который всю жизнь молчит, словно бессловесная тварь, ведь он быдло и есть — немое, бесправное. Что может сказать несчастный Пысьо, чем ему это слово поможет, лишь только в вине, как овца в соли, он находит

утешение... Вы молились за меня, за горничную пани Лоренцович, а у той пани на стене висят картины известных всему миру художников, в шкафу — книги, а в душе тьма алчности и фальшивой веры в Иисуса...

Я слышала вашу молитву, понимала ее, и, когда вы вставали с колен и направлялись к выходу, я, не сознавая, что делаю, шла следом за вами, вы не видели и не знали об этом...

— Почему ты умолкла? — спросил Юрий, прикоснувшись рукой к Гизиному локтю. Ему нужна была не похвала, а подтверждение того, что он не зря живет на свете, что он нужен людям: устами Гизи говорил тот люд, которому он хотел открыть глаза и дать право громко высказывать свои мысли, а теперь ему показалось, что он не сможет этого сделать. — Продолжай, Гизя...

— Вы не знали, а я любила вас, как любят воздух, солнце, хлеб, дождь, грозу — то, чего ничем не заменишь, не разлюбишь, не перелюбишь. Я боялась за вас: вот споткнетесь, упадете на мостовую, ретивые кони, запряженные в фаэтон, затопчут вас; или сверху откуда-нибудь упадет кирпич, камень и убьет вас, и я... и мы останемся без вас, как сироты... Боже, чего я только не придумывала, ведь была еще подростком, чтобы почувствовать себя вашей защитницей, вашей доброй судьбой... А годы шли, и я начала понимать, что другие несчастья сваливаются на вас — не кони, не камни, а злые люди, против которых вы выступаете, чтобы защитить меня, обездоленную Гизю. Я хотела, чтобы вы полюбили меня, ибо без этой любви вы бы исчезли из моего мира и — я боялась — погибли бы. Погибли в тот момент, когда моя добрая душа, словно верная собака, перестала бы следить за вами. Я ведь не для себя полюбила вас — для Абрековой, для Пысьо, для сотен таких, как они, для своего будущего ребенка, и поэтому носила я на груди зелье, а собирала его на вершине Чертовой скалы — вон сквозь деревья она видна, мы идем туда... Я срывала в вербное воскресенье душистые желтые почки лещины, мяла их и подмешивала в тесто, а потом хлеб относила Мацьку, в надежде на то, что вы зайдете в корчму обедать или ужинать и съедите его. До восхода солнца искала чебрец на сокольничьих лугах и купалась в его отваре, в лунные ночи ходила к мельнице на Полтве и становилась под лотки... Вы меня даже в лицо не знали,

а я все-таки была счастлива тем, что люблю вас. А сегодня увидела, что вам очень тяжело, и решилась...

— Слишком тяжело, Гизя...

В лесу сумрачно, хотя еще не наступил вечер, они спускались с горы наугад, оставляя за собой утоптанные тропки; темно-зеленый мрак благоухал лопухами, травой и прошлогодними прелыми листьями. Гизя шла впереди. Фигура ее то скрывалась за серыми буковыми стволами, то выплывала, она торопилась, и Юрию показалось, что девушка хочет убежать от него; Гизя теперь была похожа на лесное привидение, он догнал ее, схватил за руку, повернул к себе. Ее печальное лицо просияло, но улыбка тут же угасла на устах и засветилась добротой в глазах. Она сказала ласково:

— Еще немного.

И когда на гребне горы, над вершинами сосен показалась серая огромная скала с причудливыми зубцами, из-за которых пробивались лучи заходящего солнца, она остановилась, повернулась лицом к Юрию и так стояла, опустив руки...

Он нежно прикоснулся губами к ее белой, длинной шее и почувствовал, как течет по нежно-синим жилам ее кровь, легко, словно боялся, что видение расплывется, растает в его руках, он обнял Гизю, и она еще раз сказала:

— Я люблю вас. И больше ничего...

— А что еще нужно, — промолвил Юрий, — а что еще нужно?

— Жить вам нужно. Для меня... Для нас...

— Я буду жить... Теперь буду.

Тихо зашуршали и вмялись прошлогодние листья под лесной травой. Девушка была легкой, как стебелек камыша, и он понес ее, понес и не дошел до скалы. Из его груди вырвалось слово, удивительное в своем сладко-трепетном звучании, — он произносил его не раз, но до сих пор не знал, что это слово имеет вес, плоть, дыхание и что сильное, как смерть, чувство, названное тем словом, та самая большая радость, которую дает жизнь.

— Целуйте меня, Юрий, целуйте, — шептала Гизя. — Меня еще никто не целовал, и вы больше не будете. Целуйте меня всю ночь, на всю мою жизнь, потому что больше меня никто и никогда не поцелует.

— Что ты говоришь, Гизя, я люблю тебя!

— Успокойтесь, успокойтесь... Ваши руки и ум нуж-

ны зачатому ныне роду. Тут и там — в городе, в весях, на всей нашей земле рождается сегодня новое племя. С прародительской силой, с отцовской просвещенностью... Вы вернетесь к своим братьям, чтобы жить для меня, для моего ребенка... Он будет таким красивым, как наш поцелуй, а я буду жить для вас. А когда наступит рассвет — не ищите меня. Будьте сильным!

— Ты будешь жить со мной...

— Если бы... Кто позволит нам жить вместе? Нас убьют, осквернят наши души. Нельзя, Юрась... Но отныне вам никогда не будет ни страшно, ни тяжело, я всегда буду рядом с вами.

Они возвращались, когда начало светать, слившиеся воедино и умиротворенные. Еще немного — и расстанутся, еще немного — и утонет в утреннем тумане Юрьево видение, а он еще не знает, что всю жизнь будет искать его, находя все время в себе лишь след Гизиной любви, а ее саму никогда уже не увидит.

Солнце поднялось над горизонтом, чтобы осветить землю — все прекрасное и пошлое на земле, и при первых же лучах встретились добро со злом: за Знесением из Крупъярской корчмы вышел Блазий. Юрий и Гизя в этот момент проходили мимо корчмы, а он, хмельной, стал протирать глаза, не веря, что видит Рогатинца, а когда понял, что это он, засеменил обратно, но остановился, тень страха на лице сменилась злорадной усмешкой: Юрий не один, с ним — женщина, не Грета и не какая-то проститутка, а Гизя Абрекова!

Он слащаво усмехнулся и низко поклонился:

— Падаю к ногам уважаемых панов, падаю и приветствую праведника Рогатинца, который по закону устава братства будет ныне изгнан из него вместе со мной. Ха-ха!

Кровь ударила в лицо Юрию: надо убить этого подлеца, который испоганил свет и сегодняшнее святое утро... Он, вне себя от гнева, бросился на Блазия, и тот, увидев воочию свою смерть, помчался, словно дикий кабан, между кустами винограда; Блазий в смертельном страхе бежал быстрее вепря и скрылся.

А когда Рогатинец вернулся, Гизи уже не было...

Юрий резко выдернул локоть, за который цеплялся Барон, и пошел сквозь толпу, не оглядываясь. Он еще

услышал позади себя угрожающий хриплый голос: «Пожалеешь, пожалеешь!», брезгливо отряхнулся, словно на него кто-то вылил ушат помоев, и свернул с Рынка в безлюдные улицы.

В узких переулках, заваленных мусором и конским навозом, царили уныние, убогость, разрушение; за роскошным патрицианским фасадом вдруг открылась страшная клоака, и удивительно: даже в этом содоме оптимистическая, искусная и добрая рука человека создавала для эстетического наслаждения то тут, то там пляшущих амурчиков на фризах, улыбающихся сфинксов, маскаронов с перекошенными от хохота лицами, пьяных кентавров с кружками в руках, и Рогатинец подумал, что если действительно человечество вечно и его не могут уничтожить ни войны, ни чума, ни голод, то только благодаря могуществу человеческой радости, которая живет не удачами, не богатством, не победами или вином, а той извечной животворной человеческой силой, которая противостоит смерти.

Он всюду видел проблески радости в этом мрачном мире: в магазинах, где продавались часы с фигурками грациозных ангелов и хищных львов на золотых футлярах, секачи с рукоятками, украшенными тонкой инкрустацией, бумага с орнаментальными филигранями; в заглавных буквах, вырезанных на металле братскими формшнайдерами[1] — бывшими цеховыми художниками, которых изгнал из цеха Соликовский, чтобы поляки не научились ценить произведения, сделанные украинскими руками; в белизне кривчицкого полотна, которым в торговые дни на Рынке любуются чужеземные купцы; в золотом пшеничном ядре, которое блестит в открытых мешках, в изображении пьяного льва, пожирающего гроздь винограда, над входом в пивную Лысого Мацька, и в себе — когда, усталый и грустный, садился заканчивать или по-новому украшать седло и сагайдак. Только за этой работой обретал Юрий покой и утешение, да еще щемящую надежду: когда-то далекий свободный потомок посмотрит на творение его рук и скажет: «Кто знает, что они делали в то мрачное время Сигизмунда III, для нас это осталось тайной, но были они хорошими мастерами. Они делали седла и сагайдаки, чтобы вручить их победителям, которых жаждали, а может быть, и нарождали».

[1] Формшнайдер — печатник-гравер (*нем.*).

В этих узких переулках Рогатинец будто бы обрел самого себя, утраченного ныне утром, когда толпа валила на Рынок глядеть на магистратское лицедейство, глупую комедию, во время которой легко было потерять себя и даже обезличиться совсем.

Одна только вещь привлекла внимание Юрия и принесла ему успокоение: скульптурная группка пляшущих амурчиков повернула его лицом к невидимому, но замечательному, искусному мастеру, и он мысленно представил себе этого хорошего человека. И подумал: почему это так? Ведь среди этой многотысячной толпы — лишь горсть плохих людей, а остальные — поддаются влиянию зла, и хохочут, и горланят, вместо того чтобы навалиться на дощатые замки и снести их, уничтожить символ, прославляющий разбой. Почему один Мнишек, один Соликовский, один Барон умеют заразить безумием и подлостью сотни людей, которые рождены для утверждения добра?

Рогатинец вспомнил: однажды он просил Ганушa Альнпека проводить его к колонии прокаженных на Калечьей горе — туда попал один из братчиков. Это было страшное зрелище: бывшие люди, и тот же братчик, в гнойниках, в струпьях, без ресниц, слезящиеся, истощенные, бежали к изгороди, толпились, выкрикивали радостно:

— Доктор, доктор, нового привели?

Они весело прыгали, радовались, катались от смеха по земле, протягивали сквозь изгородь руки, а прокаженный братчик, вчерашний бумажник из Брюховичей, лепетал:

— Пан Юрий, пан Юрий, как хорошо, что вы пришли, я вам свою палицу и место уступлю...

Юрий стоял ошеломленный такой жестокостью, ведь до сих пор он знал, что больной человек становится более чутким, желает здоровья другим. Он спросил Альнпека:

— Почему они такие?

— Эта страшная болезнь, — ответил доктор, — убивает не только тело, но и душу, жестокая бацилла проказы поражает злобой сознание. Больной хочет, чтобы все были такие, как он, чтобы весь мир стал прокаженным. Омерзительное желание равенства...

Барон тоже стремился к равенству. Блазий совсем немного требовал от Рогатинца — только выпить с ним

на глазах у людей. Почему ж так: общество отстраняется от людей, тело которых поразила проказа, но не изолирует себя от прокаженных духом? Их же надо уничтожать, словно бешеных собак!

Вспомнил о моем грехе... Поздно, Барон. Так поздно, что даже страшно: ты уже никогда не сможешь отомстить мне. Гизи нет...

Так тоскливо, так больно стало Рогатинцу, хоть волком вой: скала на вершине, похожая на седую голову человека, легкая, словно стебелек камыша, девушка на руках и — слово, которое вошло в плоть и кровь, — и нет, нет никого. Куда же девалось все это — где пропадает долгие годы — все шестнадцать лет?

...После братского суда Юрий зашел к Абрековой. И не только потому, что надеялся увидеть Гизю, — привело его сюда и чувство вины перед матерью. Никогда не был здесь, да и незачем было приходить сюда, и подумать не мог, что когда-нибудь это понадобится. Осторожно открыл скрипучую дверь и в сумерках тесной клетушки, пропитанной винным перегаром, смешанным с запахом плесени, увидел сначала ребенка, будто ангелочка, сидевшего на скамье у окна и болтавшего ножками, у него были длинные золотистые волосы и большие синие глаза. Он воскликнул: «Мама, пан из школы!», тогда Юрий разглядел профиль седой худой женщины, которая стояла возле печи и помешивала ложкой еду в горшке, потом взгляд остановился на синем лице мужчины, лежавшего боком на подушке топчана. Больше никого не увидел Рогатинец здесь и молча стоял посреди комнаты до тех пор, пока худая седая женщина не повернулась к нему.

— Нет Гизи, — тихо произнесла Абрекова, и горло Юрия сдавило спазмой. Ведь этого не должна была говорить Гизина мать, откуда ей знать, что он пришел к ее дочери; у Рогатинца замерло сердце в ожидании крика — ведь он знал, как умеют торговки браниться, но Абрекова повернулась к печи, сказала будто сама себе: — Зачем пан сеньор причинил нам такое зло? Знал еси, же есьмо бедные, а купец Балтазар приносил ей подарки и хотел взять себе в жены, то и мы как-то бы... Вон Льонця подрастает. А пан сеньор, как тот пес, что сукно стережет, а сам в нем не ходит, приворожил ребенка. Разве я не видела, как она в церкви, словно ваша тень, торчала возле вас, и вставала, когда вы вставали, и уходила...

А позавчера пришла утром, а уж если дивчина не ночевала дома, то с чем она пойдет к жениху? Я спросила Балтазара, не с ним ли она была, а он как закричит на меня и давай забирать свои подарки. Я помогала искать, чтобы ничего чужого не осталось у нас. Вдруг в это время приходит Гизя и все, что получила от него, выбросила за дверь, а он еще стал угрожать, что подаст в суд. Голый не боится быть ограбленным, — глянула Абрекова на Рогатинца, — суд нам не страшен, но Гизе уже ничего не светит, а нам и тем паче.

— Где же она? — наконец вырвалось у Юрия.

— А зачем пану сеньору знать? Чай, не собирается жениться на Гизе при живой жене: пани Грета, слава богу, не умерла... Позабавились нашим горем и еще чего-то хотите? Я убила бы ее, но она, моя доченька, была такой печальной и такой доброй, ум, что ли, у нее помрачился... — Абрекова вытерла слезы. — Сказала, чтобы никто ее не разыскивал... Я подумала о самом страшном и заголосила, а она начала успокаивать меня: «Не бойтесь, я буду жить, у меня есть ради кого жить, вы же не ищите меня, а если кто-нибудь придет спрашивать обо мне, то и ему это передайте». А вы пришли, вот я вам и рассказала. Боже, боже, что творится на свете... Такой уважаемый и солидный пан, люди молятся на вас, спасителем называют, а вы... Ну, скажите, зачем вы бедной Абрековой такое зло причинили?

Юрий всхлипнул, а сказать ничего не мог. Разве матери легче станет, если он поведает ей, что любит Гизю, что будет искать ее, а старуха угадала его мысли и промолвила:

— А если бы и нашли, что с того? Почему вы не подумали раньше, что не можете жениться на Гизе, почему? Уходите, и пускай бог вас простит... А Гизи нет... — И тут прорвало Абрекову, она закричала, замахнувшись ложкой на Пысьо, который лежал на топчане: — А ты, немой пьяница, чего молчишь, разве не слышишь ты — нет у нас Гизи!

...Порой Юрию казалось, что он придумал себе девушку с печально-добрыми глазами и черными пышными кудрями, что в тот вечер вела его на Чертову скалу не Гизя, а Грета, которой добрый волшебник вернул любовь и светлый ум, а он не узнал своей жены только потому, что до сих пор не познал от нее ни доброты, ни понимания; такое могло случиться, ибо внешний облик —

это только оболочка духовного мира человека; цвет глаз, форма губ, голос, гибкость тела, поцелуй — это только внешнее проявление бестелесной души. Эта девушка была похожа на Грету и все же — совсем другая; а может, была другой Гретой? Рогатинца назойливо преследовало это странное предположение, и хотя он знал, что Грета сняла комнату у Лоренцовичей, ибо противным ей стал украинский квартал, все же не раз подходил к своей бывшей квартире и заставал там чужих людей.

Гизи нигде не было. Юрий поднимался на Чертову скалу, надеясь, что, может быть, Гизя когда-нибудь придет туда рвать душицу, но это зелье уже ей не было нужно, и она не приходила. Он каждое воскресенье бродил по пригородным селам, расспрашивал, и — напрасно.

А однажды увидел Гизю. Высокая стройная девушка с черными, длинными волосами, спадавшими на плечи, сошла с Львиной горы и, минуя Подзамче, торопливо направилась по полевой дорожке в сторону Замарстынова. Юрий издали заметил ее и побежал что есть сил следом за нею; он не звал ее, чтобы не испугать, а когда, запыхавшийся, задыхающийся от радости, уже настигал девушку, она повернулась, и он увидел женщину, похожую на Гизю и Грету, но это была и не Гизя и не Грета — глаза у женщины пылали одержимым огнем, узенькая щелка губ стягивала, словно петля, запавшие щеки, она чуть слышно произносила слова — то ли молитвы, то ли проклятия. Юрий отпрянул назад — это все-таки была Грета.

— Что ты, Грета, делаешь тут, куда идешь?

— Прочь с моих глаз, схизмат, не оскверняй меня своим дыханием! — прошипела. — Иду в Иерусалим, к гробу господнему!

— Где же этот Иерусалим, что ты говоришь?

— Он в сердце моем, безбожник. Я иду к нему, чтобы найти его в своем сердце...

«Боже, боже, что они с нею сделали!..» — ужаснулся Рогатинец.

— За что же они так искалечили тебя?

— Несчастный ты, ибо не ведаешь правды Иисуса, — презрительно бросила Грета. — Прочь, прочь! — она завизжала, подняв вверх руки, и Юрий попятился в сторону, Грета же пошла дальше, свернув на Замарстынов.

Призрачный образ искалеченной, обманутой женщи-

ны долго преследовал Рогатинца, снился; Гизя исчезла, но на свете жила Грета, и он когда-то любил ее, а может, и теперь любит, ведь почему-то она мерещится ему все время и снится; прошло много лет, и встреча у подножия Львиной горы казалась теперь сном; Юрий отважился зайти в дом Лоренцовичей к Грете.

Застал ее одну — спокойную, покорную, усталую, подурневшую; Грета доверчиво склонила голову ему на грудь, будто бы между ними ничего не произошло, и Юрий сказал:

— Пойдем, Грета... домой.

— В Иерусалиме мой дом, Юрий. Я весь свой заработок отдала на поездку к гробу господнему. Патер Лятерна взял... И я хожу, каждый день хожу, пока разыщу его. А ты останешься, правда, ты ведь останешься у меня до утра, мне так страшно...

— Что они сделали с тобой?

— Ничего, ой ничего. Искупление, искупление, искупление!..

Всю ночь просидел Рогатинец возле больной. Утром он решил привести врача, чтобы спасти ее; перед рассветом задремал, а когда проснулся, Греты в комнате не было.

Спешил к Львиной горе, знал, она там. Долго сидел на том самом месте и наконец увидел: Грета снова спускалась с горы, миновала Подзамче. Она долго будет петлять вокруг Львова — столько, столько миль до Иерусалима, который стремилась отыскать в своем сердце. Юрий присел на обочине полевой дорожки, склонил голову на руки. Грета, проходя мимо него, истерически закричала:

— Прочь, прочь с моих глаз, схизматик!

Рогатинец не поднимал головы. Он только сейчас осознал, какую страшную болезнь принесли с собой святые отцы в их город — самую опасную, самую ужасную проказу, но не безысходность уже, а ярость охватила его душу, и Рогатинец знал: бежать некуда, нужно только идти напролом, против иезуитов, бороться с ними, даже если придется сложить голову.

Недавно он узнал, что Грета умерла — во время молитвы, в экстазе. Но в сердце Юрия не пробудилось к ней даже жалости. Она была для него давно мертвой. В памяти жил только один-единственный образ — доброй и печальной Гизи.

...С Рынка донесся победный крик, рев, стрельба из мушкетов, гром барабанов — храбрые жолнеры овладели наконец дощатой крепостью.

Языки пламени достигли вершины ратуши, дым распространялся по всему городу. «Еще, чего доброго, сожгут сдуру Львов», — подумал Рогатинец и вышел на рыночную площадь.

Огонь быстро угасал, люди расходились, Юрий, минуя черный каменный дом Лоренцовича, направился на Русскую улицу. Остановился у дома Шимоновича, увидев в воротах хозяина. Давно не видел пана Шимона, еще со времени восстания Зебржидовского — тогда Шимонович в своей библиотеке читал ему и Альнпеку поэму «Лютня бунтовщика», и из-за нее между Рогатинцем и доктором Ганушем разгорелся спор. Интересно, где теперь Альнпек?.. А Шимонович заметно изменился: когда-то холеное лицо его осунулось, длинные волосы стали седыми, он походил на высокомерного олимпийского божка; Рогатинец, на миг остановившись, пристально посмотрел на поэта и быстро пошел дальше. Шимонович заметил его и, тепло улыбаясь, поклонился:

— Добрый день, пан Юрий. Неужели не узнали, что проходите мимо?

Рогатинец развел руками, будто этим жестом просил извинения. На самом же деле ему хотелось обнять поэта, он подался к нему, но на расстоянии шага остановился, натолкнувшись на незримое препятствие. Poeta regius[1] и сеньор братства еще раз поклонились друг другу и, не поздоровавшись за руку, направились в сторону армянского квартала.

Молчали, думая, как высказать мнение свое о нынешнем лицедействе, но говорить об этих вещах не хотелось. Бессмысленность бравурной комедии была очевидной, ведь весь мир уже знал о крахе московской авантюры, доходили слухи о каннибальстве в среде польских жолнеров, осажденных князем Пожарским в Москве; свой страх польские властелины пытались заглушить громом смоленской победы. Не хотелось говорить об этом, очевидно, еще и потому, что магистратскую комедию Рогатинец наблюдал с рыночной площади, а Шимон Шимонович — с высоты трибуны, и их точки зрения тоже должны были чем-то отличаться, как, вероятно, по-разному оценивали они все, что происходило в мире, их

---

[1] Королевский поэт *(лат.)*.

взгляды, возможно, совпадали только в одном — в воззрениях на человеческую порядочность.

— А я во Львове только наездами. По милости гетмана Замойского живу теперь в своем чернятинском имении возле Замостья. А по Львову скучаю... Ах, этот Львов, Львов; роскошь и отчаяние, взлет мысли и черная тьма, здоровье и проказа...

— Вы, как и подобает поэту, так складно говорите. Так трезво... — улыбнулся Рогатинец. — В братство вас записать бы, но вы... не женаты. А в Чернятине хорошее у вас имение?

— Имение хорошее... Вы знаете, я и не подозревал, что во мне проявится какой-то странный атавизм. Мой отец — ректор кафедральной школы, мать — из ремесленников, а я — настоящий сельчанин. День-деньской блуждаю по полям, перелескам, левадам, сливаюсь с природой, и только тогда, когда все мое естество растворяется в окружающем божестве первозданности, я чувствую себя поэтом... Я задумал написать ряд поэм из крестьянской жизни, что-то по образцу «Песни» покойного Кохановского, только ближе к людям, чем к политике, и назову их — «Крестьянки». Мне хочется уловить то, чем живет беспредельно интересное и милое украинское село, проследить жизнь крестьян от рождения до смерти!

— И их труд?

— Конечно. И радость, и кривду, и жестокость старост, и свадебную лихость, и простую, настоящую любовь...

— И прообразом будет ваше имение?

— Вероятно... — Шимонович пристально посмотрел на собеседника. — Оно ближе мне.

— А прототипом старосты в вашей поэме послужит ваш эконом? — холодно спросил Рогатинец, пристально глядя на Шимоновича.

— Какая муха вас укусила, пан Юрий? — поэт переступил межу, шириной в шаг, которая до сих пор их разделяла, взял Рогатинца под руку, и они свернули на Краковскую улицу. — Да неужели вы думаете, что я... Поймите, я прежде всего поэт и каждый миг думаю о том, что после меня останется потомкам. И когда мое стихотворение иногда получается светлее, чище, чем мой собственный образ жизни, тем лучше, — значит, я спосо-

бен подняться сам над собой, могу взметнуться выше своей тени.

— Ваша правда, пан Шимонович... Далекий ваш потомок, возможно, не захочет знать, какую повинность отрабатывали крестьяне в вашем имении, какими одами вы приветствовали короля и гетманов, он, очевидно, не будет искать в вашем наследии панегирика иезуитам, когда вы приветствовали закладку иезуитского костела во Львове. Он будет зачитываться вашими пасторалями, учиться в них таинству поэзии, будет переживать, становиться добрым и честным... Но скажите, как у вас совмещается, ну, эта... двойственность?

— Есть такой грех, пан Юрий... А впрочем, человек, который желает во всех отношениях быть чистым и честным, неминуемо гибнет среди бесчестного большинства. Я не разделяю всех постулатов Макиавелли, но в этом он был прав, это его слова. Лишь Томас Мор в своей «Утопии» мог разрешить себе построить уборные из золота, а преступников заковывать в золотые кандалы. В жизни, знаете, все иначе... Разве вы не воспользовались в Бресте православными симпатиями магната Острожского, в богатствах которого мое имение утонуло бы, как капля в море, и который, защищая свою собственность, разгромил восстание единоверца Криштофа Косинского?

Юрий ничего не ответил, промолчал. Ведь это верно — всем нам далеко до совершенства... Не святой и Рогатинец. Грету не спас. Гизю не нашел, разочаровывался, терял веру — боже, да сколько еще всяких грехов!.. Захотелось увидеть в Шимоновиче идеал? Захотелось сотворить такого, каким не был сам?

— А я не славословлю князя Константина Острожского, — ответил не совсем уверенно спустя минуту. — И Корнякта — мецената нашего братства — тоже...

— Однако же пользуетесь их помощью. Как в той песне: «Ой, пан ты наш добрый, не нужна нам твоя вера, только твои деньги». Разве это не макиавеллизм? Цель оправдывает средства...

— Пользуемся. Мы бедны. И даже не имеем права, как наш прославленный Вишенский, кичиться этой бедностью в монастырской келье.

— Слышал я — вы разошлись с ним.

— К сожалению, навсегда... А когда он отошел от нас, мы поняли, кем он мог стать для нас. Ныне я вме-

сто него своим убогим умом составляю послания, призываю народ противодействовать униатам и вашим иезуитам, но все это пустяки в сравнении с проповедями мниха Ивана...

Шимонович и Рогатинец повернули и направились в сторону Рынка.

— Я читал «Предостережение» в списке, — сказал после небольшой паузы Шимонович. — Трактат сей не подписан, но теперь я понял, что автор — вы... Много в нем горечи, много правды, а еще больше наивности. Разве суть в том — был или не был апостол Петр первым римским папой? Вы отправляете Петра в Константинополь и делаете его первым патриархом. И что из этого? Сила же на стороне Рима! Вы проповедуете идею равенства между православными и католиками, мол, есьмо равны со времени принятия веры Христовой — ну и что? Солома и зерно равны при рождении, однако солому ест скот, а зерно — люди...

— Так какой выход для нас? — поднял голову Рогатинец. — Вы так благосклонны к русинам — подскажите, где наш выход.

— В совершенствовании, в культуре. Я, пан Рогатинец, глубоко уважаю вас — ваш труд, мужество. Вы начали... А когда русины поднимутся до самого высокого культурного уровня, во что я верю, наши народы будут сообща есть зерно.

— Неверно это... Сообща надо не только есть, но и пахать, сеять и жать. А на это пан добровольно не пойдет. Он привык, чтобы у него был холоп, раб...

— Не следует вам, Юрий, поддаваться ребелизантским идеям, не ваше это дело. Разве вы не видите, к чему приводят бунты? Где Наливайко? А сколько пролито крови. Ваш Филипп Дратва...

— Эта кровь пролита здесь и за эту землю. А за что и где сейчас проливают ее поляки?

— Разве я одобряю и короля, и Скаргу, и Мнишека за московскую авантюру? Они первые гробокопатели моей Польши, они толкают Речь Посполитую к упадку, ибо озлобляют против нее народы...

— Возможно, мы еще и спасибо им скажем, — блеснул глазами Рогатинец.

Шимонович остановился возле своего дома.

— Что вы имеете в виду, пан Юрий?

— Слишком далеко зашли ваши правители в своей

жадности и жестокости. И своими злодеяниями просветили нас. И может быть, кто-нибудь из моего народа уже знает или завтра будет знать, на кого следует опереться, чтобы мы достойными стали людьми.

— Прощайте, — протянул Шимонович руку Рогатинцу. — В нынешних сумерках мы ничего пока не увидим.

— Но когда светоч знаний просветит нас — не может ли так статься, что мы с вами станем противниками?

— Все в руках божьих. Но пусть бог не допустит того, чтобы в час самой ожесточенной борьбы становились врагами люди, желающие своим народам добра...

Рогатинец проводил взглядом высокую фигуру Шимоновича — в открытые ворота было видно, как он, ссутулившись, медленно шел по двору, поминутно останавливаясь, будто что-то забыл на улице и хочет возвратиться; кумир спускался с постамента на землю; казалось, он сразу почувствовал земное притяжение — не магнитом, а земной болью, которая сбрасывает его с заоблачных олимпийских высот, и, возможно, автору пасторалей виделись теперь на этой земле не буйные травы и ковры цветов, не щебетанье птиц и шум нетронутых дубрав, не совершенная гармония, а жестокая борьба за торжество жизни во всех ее проявлениях — от букашки до человека.

«Не дай нам бог оказаться врагами, — прошептал Рогатинец. — Но сумеем ли мы с тобой, поэт, в смертельной борьбе с панами подняться выше злобной ненависти, не опьянит ли нас запах крови, не затуманит ли самые светлые головы, сумеем ли мы тогда, когда восстанет народ против магнатов, заглянуть хотя бы на миг в царство человеческого разума, чтобы во время адской битвы понять, кто враг, а кто друг? Еще не ясно, еще мы ничего не знаем, это правда, Шимон, но в обществе уже вспахана глубокая борозда, которая разделила человечество на две половины, и дороги ведут их в разные стороны. И незаметно, но ежеминутно выступают они друг против друга; обездоленные и пресыщенные, честные и подлые... Пошли изменники русины за Блазием — и хорошо. Задумался поляк Шимонович — хорошо. Прогнал Лысый Мацько наглецов из корчмы, словно Иисус менял из храма, стал ростовщик человеком — тоже хорошо. Вернулся из Италии сын Мацька Роман Патерностер, — напившись воды из чужих родников, вкуса своей не за-

был, — отлично. Учится у него, дидаскола братской школы, ученик Марк — и это прекрасно...»

— А я вам говорю, что это плохо кончится, — услышал Рогатинец голос, доносившийся из окна на углу Русской, и вздрогнул: кто это так открыто возражает ему?

Он поднял голову и увидел в окне углового дома Абрекову — ее добродушное, сморщенное, словно печеное яблоко, лицо и смутился, как всегда при встрече с нею... Это она сказала двум стражам, которые стояли с бердышами возле ее двери, а Рогатинец подумал, что это относится к нему. Он поздоровался и, отведя глаза в сторону, отошел влево и тогда услышал ласковое материнское:

— Юрко... Юрасик... Постой, сынок. Покажи мне свою ладонь, может, я по ней определю, где наша Гизя?..

В Винниковской впадине недалеко от винного завода пана Залеского прижалась к желтому холму такая ветхая избушка, что было удивительно, как ее не сдуло ветром. Но она была побелена, покрыта свежим камышом и внутри светлая, устланная пахучей травой. Истощенная, бледная, с большими черными глазами женщина сидит возле окна и кого-то выглядывает. На белые тонкие пальцы упала прядь черных волос, взгляд у женщины утомленный и спокойный — воскресенье. Завтра на заре снова надо идти на винный завод к горячим котлам, в смрад, что туманит мозг и сушит кровь. Пан Залеский такой вежливый, всем улыбается, но делает вид, что ничего не ведает о своем, точно бешеном псе, управляющем: странно, как этот человек, носящий в себе столько злости, не лопнет.

Между Львовом и Винниками — гора, поросшая густым лесом, а на ее вершине между соснами виднеется серая голова Чертовой скалы, и женщине кажется, что теплое дуновение ветра доносит оттуда сильный запах душицы.

Из-за горы, из города долетают сюда приглушенные крики людей, слышны выстрелы: на спокойном лице женщины появляется тень тревоги, и она, наклоняясь к двери, выходит из хижины. Гибкая, как стебель конопли, она долго стоит на дворе, всматриваясь в сторону Лычакова, откуда должен прийти — ведь сегодня воскресенье — ее Марк, школьник. Все большая и большая

тревога омрачает ее лицо, но вдруг она повеселела — слышны мелкие и раскатистые шаги на холме. Женщина узнает: никто так уверенно и быстро не бегает по земле, как ее сын.

— Марко!

— Я, мама! — У мальчика растрепанные русые волосы, серые искрящиеся глаза, у него снова какая-то радость: боже, сколько радости у детей! — А вы чего так встревожены?.. Там стреляют не по-настоящему, а только так, для забавы. Такой замок горел! А вместо жолнеров были переодетые простые люди, как у нас в школе во время рождественских представлений... Мама, завтра у нас будет последняя молитва, сказал ректор, и я все лето буду дома.

— Поможешь мне работать на заводе, я так плохо себя чувствую...

— Помогу! Но, мама... я вам еще не рассказал. Когда мы тогда дрались с иезуитами... Да вы не бойтесь, мы вечно деремся... то один из них не дрался, я подскочил к нему, а он как закричит по-нашему: «Не подходи, а то убью!» А я и говорю ему: «Так какого черта ты тут, если ты русин?» Он отвернулся, а потом догнал меня и сказал: «Я из Олеско, мой отец служит у старосты, и у меня есть дикий конь». А потом мы с Зиновием стали друзьями, только ему не разрешают ходить к нам, так мы тайком встречаемся. Сегодня видел его, он шел с новичками в коллегию, я подбежал к нему, и он шепнул: «Поедем завтра в Олеско, папа на бричке приедет за мной». Мама, я вам буду помогать все лето, только отпустите меня посмотреть на дикого коня.

— Как ты тарахтишь, Марк... Что ты еще видел в городе?

— Да говорю же, замок из досок сгорел... А сначала казался настоящим. И жолнеры воевали, будто на войне. Но все это игра... А еще пана Рогатинца, провизора нашей школы, видел. Он стоял возле окна Абрековой, разговаривал с ней...

— О боже, — прошептала мать и закрыла глаза. — И о чем?

— А я не слышал, стоял на противоположной стороне улицы... Эта Абрекова всегда сидит у окна, она, говорят, ведьма — гадает, колдует...

— Не верь этому, Марк... Нет ведьм на Русской улице... А как выглядит пан Рогатинец?

— Да вы уже когда-то спрашивали... Седой, строгий, но мы его не боимся. Он живет в школьном доме, однажды он завел нас с Зиновием в свою комнату и такое красивое седло нам показал, и сагайдак, а Зиновий как воскликнет: «Оно бы к моему коню подошло!» Пан провизор на это ничего не ответил, только изменился в лице, будто разозлился... Сегодня увидел меня и спрашивает: «А почему вы с Зиновием не заходите ко мне?» И ушел...

— Он добрый человек...

— Откуда вы знаете?

— Должен быть добрым, коль обучает вас наукам.

— Мама, так вы меня отпустите с Зиновием в Олеско? Он завтра свободный, после завтрака будет ждать меня возле нашей школы. Мама...

— Пущу, сынок, пущу. Тебе тоже надо посмотреть на вольного коня... А как же...

— Не совпадает линия сердца с линией натуральной, пан Юрий, — покачала головой Абрекова. — Не светит вам любовь, не найдете вы ее... — Она прижалась лицом к подоконнику и прошептала чуть слышно: — Ах, скажите, скажите мне, люди добрые, где моя Гизя?

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

СКОРБНАЯ ПЯТНИЦА

> Егды же зась русинские посполитные супротив костела стали, а не имели своего казнодея, подался старый Иван Красовский на Афон. Там он усердно умолял мниха Ивана, чтобы тот не замыкался в пустыне, надо ему стать в ряды братьев, над которыми издеваются поляки и русины-вероотступники. И прибыл мних Иван года божьего 1605-го и был у меня, купил пять псалтырей, а я, узрев его, вразумел многое такое, чего не понимал дотоле, и выгнал лотров-негодяев из корчмы, которые, будучи мудрыми на злое, не знали еще истины, чтобы понимать добро.
>
> *Из манускрипта*

Сапожника Филиппа Дратву когда-то знали во Львове все, а ныне лишь некоторые. Он продавал на рынке гвозди, смолу, сапожные ножи и другие инструменты, и мало кто узнавал в нем бывшего сеньора цеха, славного

мастера, который шил самые лучшие сафьяновые сапожки, и если бы у него было сто рук, то обул бы, наверное, жителей всего города. Хорошо знал его только Лысый Мацько: Филипп каждое воскресенье и в праздники заходил в его пивную, садился за столик в темном углу, но никогда не пил, ни с кем не разговаривал и все думал, думал. А о чем — это никого не интересовало. Он оставлял грош за посещение, и Мацько был этим доволен, хотя порой и сам задумывался: зачем приходит Дратва в корчму, если и кружки пива к губам не поднесет, и еды не закажет.

В пасхальное воскресенье он дал о себе знать, а двумя годами позже так прославился на весь Львов, что сапожники о нем даже песню сложили.

А началось все с того, что весной в руки Дратвы попала книжечка «Гармония», на польском языке написанная, а он, как человек грамотный, начал читать ее, не посмотрев, кто написал, и, дойдя до слов: «...противники унии — не духовные особы, а ремесленники, которые, бросив дратву с шилом и присвоив себе пастырское управление, шельмуют письмо божье, настоящих пастырей срамят», — очень возмутился и тут же посмотрел на обложку и окончательно оторопел: автором книжки был Ипатий Потий.

Мало того, что этого русина-вероотступника проклинали все православные, и Дратва тоже, в этот момент к общей ненависти прибавилась еще и своя, личная: подлец, ведь нас заставили бросить дратву и шило, а ты еще позоришь и бесчестишь меня — мастера, к которому когда-то, будучи брестским кастеляном, присылал слугу с просьбой пошить — для «своего» пана — сафьяновые сапоги русского покроя.

Вот и сидел Филипп Дратва на Рынке за сундучком с сапожным товаром, думал об этой паскудной книжице и додумался до такого, что самому страшно сделалось: кто больше всего повинен в беде русинов — польские паны или все-таки свои?

И в этот момент с подворья архиепископской резиденции выехали лошади, запряженные в фаэтон, а в нем — длинноногий священник в черной сутане. Кто-то и сказал Филиппу:

— Гляди, как гонит, пронюхал, что Балабан помирает...

— Кто — пронюхал? — спросил Дратва соседа.

— А ты не слыхал? Новый митрополит киевский, Потий, приехал назначать униата на наше епископство.

Филипп быстро замкнул сундучок, побежал на Русскую улицу и как оглашенный бегал со двора во двор, крича:

— На Юрскую гору! На Юрскую гору! Церковь спасать!

...Высокий длиннолицый Ипатий Потий согнулся дугой над ложем, на котором под белоснежным покрывалом угасал львовский владыка и экзарх Гедеон Балабан. Тяжелые боли в животе вот уже больше недели терзали его, врачи были беспомощны, болезнь иссушила когда-то румяное, как у мясника, лицо, и теперь оно, худое и бледное, выглядывало из-под покрывала, все заросшее густой седой бородой, и только большие глаза не изменились. У Гедеона еще было ясное сознание, он продумал все свои дела и поступки, взвесил их на весах совести — покоробленной, крученой, перетертой, но не совсем еще утраченной — и почувствовал, что она как бы очищается от накипи злости, зависти, честолюбия и он, занимая епископский престол на святоюрской горе, становится таким, как был прежде, — исполненным благочестивых и важных для Украины замыслов.

Визит Потия весьма удивил его и насторожил. Он еще не знал, что с согласия Петра Скарги Ипатий назначен киевским митрополитом, и тот, проездом из Владимира-Волынского к матери городов русских, узнав о болезни Балабана, заехал во Львов. Не знал, но и ничего хорошего от Потия не ждал, поэтому настроился не поддаваться никаким его уговорам: епископ перед лицом смерти не хотел подвергать свою совесть нечестивым искушениям.

Потий стоял у изголовья и, молитвенно сложив руки, вполголоса произносил пятидесятый псалом во здравие епископа, выдержав при этом взгляд Балабана, в котором тяжелела давняя злость на коварного собрата и нынешнее пренебрежение к изменнику.

— Я вас, преподобный отче, не приглашал, что вам от меня нужно? — тихо спросил Балабан.

— Господь осенил меня тревожным чувством, брат, — ответил Потий. — В сию минуту, после которой вы, ведь все мы во власти бога, можете стать перед самым справедливым судом, имеете возможность последним словом своим искупить грех перед апостольской церковью.

И в этот момент открылась дверь: в епископские покои вошли Юрий Рогатинец и ректор школы Иван Борецкий. Потий косо посмотрел на них, он узнал братского сеньора, потом взглянул на епископа; Балабан, прищурив глаза, будто и не заметил пришельцев, произнес:

— Говорите, говорите, я их не звал, это они, наверно, как и вы, встревожены недобрым чувством... Неужели я нынче умру?

— На все воля господа, — продолжал Потий, не обращая внимания на братчиков, однако в голосе послышались резкие нотки. — Подпишите акт унии, отче. Совершите богоугодное дело, и я отпущу вам грехи, сниму анафему, наложенную митрополитом Рогозой.

— А я не принял этой анафемы, — ответил Балабан, — я управлял своей епархией, вам это известно. Мы живем в мире с братством, просветил господь наши головы и унял распри. Они признали меня своим экзархом, я же более не мешаю им, потому что у меня нет времени для этого... Все свои последние силы отдавал делу книгопечатания и счастлив есмь, что узрел еще мои детища, которые отдаю православной церкви, — «Служебник» стрятинский и крылосское «Поучительное евангелие» ...А по какому праву вы, преподобный, можете снять с меня анафему? Я знаю, что Рогоза упокоился, неужели вам отдали жезл митрополита?

— Именно так, отче, — ни один мускул не дрогнул на холодном лице Потия, — именем его милости короля.

Балабан поднялся, оперся локтями на подушку, в его больших глазах промелькнула тень боли и зависти, он взглянул на братчиков, они кивнули — узнали об этом раньше епископа.

— Что же, — сказал погодя Гедеон, — я не подвластен королю, а вам и тем паче, патриарший экзарх... Спасибо богу, боль прошла в моей утробе, почувствовал я сие в это мгновение. Видимо, на этом свете нужен есмь. — Бледное и сморщенное, как скомканная бумага, лицо епископа порозовело, он сел, спустил ноги на пол; братчики заметили в его взгляде блеск той злости и упорства, от которых поимели столько хлопот. Он злобно улыбнулся и сказал Потию: — Я не имею права умирать, ваше преподобие, ибо, пока я не найду себе преемника, вы много причините зла... Панове, — обратился Балабан к братчикам, — а может быть, вы согласитесь,

чтобы епископом стал после меня игумен Унивского монастыря Исайя Балабан, мой племянник?

Рогатинец с Борецким переглянулись и разом молвили:

— Не согласны, владыка...

Гедеон опустил голову на подушку и сомкнул глаза; братчики сокрушенно и виновато вздохнули, епископ улыбнулся.

— Видите, не хотят другого Балабана, кроме меня. Поэтому должен еще жить... Чтобы удержать православную церковь во Львове, а в Киеве, даст бог, сама удержится. Сокрушаюсь я над вашей судьбой, преподобный, аще будут гнать вас оттуда розгами, яко блудницу вавилонскую...

Каменное лицо Потия налилось кровью, он выпрямился и, подняв руки, закричал:

— Напоминаю, напоминаю вам... заблудшим овцам... — от злости он поперхнулся, — что во Львове киевские митрополиты всегда занимали главенствующее положение! Надеялся я, что вы мне, яко пастырю своему, воздадите должное, повинуетесь, а если не хотите пристать к правде божьей, я вытащу меч Христа, врученный мне, и отныне соборную церковь святого Георгия беру под свою опеку!

— Не спешите, пан Потий, — спокойно произнес Рогатинец. — Посмотрите только в окно. Вон монастырский сад, там много деревьев, но еще больше православных людей, и некоторые из них с киями суть. Вот и советуем вам как можно скорее удалиться со святой горы, потому что может вспыхнуть скандал, и мы за живот ваш ручаться не можем...

Потий бросился к окну. В саду и на подворье — море голов. Он прошипел:

— Вы возгордились, преграждаете мне путь в церковь? Еще раз напоминаю: если ныне не пришлете ко мне своих людей с миром, то после пасхи я вернусь сюда, и не обижайтесь тогда, если вынуждены будем к духовному и светскому мечу прибегнуть, убедитесь потом, как опасно противиться власти божьей!

— Уходите, Потий, — открывая дверь, произнес Рогатинец. — Я провожу вас к фаэтону, чтобы оградить от опасности, да велите покрепче держать лошадей, ведь гора крутая, да и наш народ весьма возбужден — напугать может... И чтобы ноги вашей больше тут не было,

чтобы вы своим предательством не оскверняли это святое место. Уходите, Потий!

Митрополит с поникшей головой вышел из покоев экзарха Балабана, за ним последовал Рогатинец. Когда вышли во двор, он взмахнул рукой, обращаясь к молча стоявшей толпе:

— Расходитесь по домам! Его преподобие желает оставить нас!

Потий боязливо шел по двору, горожане давали ему дорогу. Он вышел на улицу и поспешил к фаэтону. Тогда Филипп Дратва преградил ему путь, схватил руками за полы рясы:

— Подлец! Шила и дратвы нас лишили, но сапожные ножи еще остались!

Рогатинец подбежал к коренастому мужчине, который тряс Потия, и оттолкнул его. Митрополит вскочил в фаэтон, лошади рванули с места, и тогда толпа злорадно захохотала.

Юрий вернулся в покои епископа бледный, встревоженный. Ему вспомнились предостерегающие слова из «Апокрисиса» Христофора Филалета: «Через унию сию вспыхнет пламя междоусобной войны...» Только что он был свидетелем вспышки кровавой вражды, и Юрия охватил страх: разве для этого мы закладывали фундаменты школ и церквей, печатали книги, создавали библиотеки, разве для этого созревало новое, просвещенное науками молодое поколение — чтобы все это сразу сгорело в огне и потонуло в крови?

Когда до слуха Балабана долетел зловещий крик толпы, он прошептал:

— Лучше умереть, чем быть свидетелем того, до чего вы доведете своим посполитым умом народ и церковь. Разве плохо жилось нашему народу тогда, когда он мирно молился и не знал раздора?

— Опомнитесь, отче. Ведь вы первым этот раздор посеяли, — промолвил Иван Борецкий. — А теперь нам всем пожинать его плоды. О народе не беспокойтесь. От прозревшего лучше примет молитву господь бог, чем от темного, ибо прозревший знает, чего просит.

— Ох, ох! — простонал Балабан. — С чем вы против них идете? С евангелием? У католиков оно тоже есть... Мы обращаемся к ним стихосложениями древних евангелистов и апостолов, которые более тысячи лет назад глаголили, а они бьют нас изысканным словом лю-

бомудрых ученых. Нет у православной церкви своих апостолов, нет!

Рогатинец подошел к епископскому ложу и произнес, пристально глядя в глаза старцу:

— Не каркайте, словно зловещий ворон, отче. Будут и апостолы. Иван Вишенский едет к нам из Афона.

Он вошел и остановился посреди братской комнаты, которую до отказа забили братчики, знавшие о том, что сегодня из Карпат, от Иова Княгиницкого из Марковой пустыни, прибудет мних Иван Вишенский, который с высоты Афонской горы провозглашал божественную истину без лести, ложь называл ложью, волка — волком, злодея — злодеем, диавола — диаволом, а своим «Посланием к утекшим от православной веры епископам» убил старого Рогозу, киевского митрополита, Терлецкого и Потия, яко шельм нечестивых, облил грязью перед всем честным народом и выставил их на позор.

Велика была любовь к мниху Ивану — русины Львова ждали его приезда давно. С той поры, когда Иван Красовский двинулся в дальний путь на Афон, чтобы прославленного Вишенского, который издалека будил народ, привлечь к святому делу, чтобы живым, а не книжным словом разил католическую тать.

И Красовский передал братчикам ответ Вишенского, когда вернулся поздней осенью во Львов: «Почто меня ждете: должен ли кому-то и вернуть обязан? Почему хотите вырвать меня из афонского Руссикона — столицы духа моего народа, к кому же я приду, если на Украине нет божьего воинства, когорты очищенных от светских пороков и искушений христиан?»

Тогда Рогатинец написал гневное письмо старому другу и передал его через паломника. Легко, мол, вам, мних Иван, врагов шельмовать, будучи в безопасности, в далеком краю. Нам много труднее, нас тут каждую минуту ждет судьба протосингела Никифора, которого сгноили в тюрьме за правду.

Поэтому и отправился на Украину Иван Вишенский и ранней весной из хижины Княгиницкого, что у Манявки, прислал к Красовскому монаха с весточкой, что приедет во Львов на пасху.

Он вошел, а была страстная суббота, и остановился посреди комнаты — седобородый, в черной рясе, с посо-

хом в руке, длинные волосы спадали из-под черной скуфьи на плечи: Рогатинцу трудно было узнать в этом суровом старике бывшего Ивана из Острога, и он не подошел к нему, не обнял; величественный старец своими глубокими темными глазами вглядывался в братчиков, которые в праздничных свитках и жупанах пришли встретиться со своим апостолом. Вишенский, казалось, проникал каждому в душу до самого дна, он был иным, чем эти люди, ждавшие от него помощи, и далеким было расстояние между праведником, не заботившимся ни об одежде, ни о еде, а только о чистоте души, и ремесленниками, которые, словно муравьи, копошились в мирских заботах, одевались, ели, пили, любили, строили.

Какое-то время все стояли безмолвно. Братчики пытались мысленно сопоставить автора обличительных посланий с этим суровым анахоретом; Вишенский в свою очередь хотел понять духовную сущность людей, которые, строя церкви, школы, больницы, были так далеки от того, чтобы отречься от земных благ.

Рогатинец молча стоял и ждал, когда заговорит Вишенский. Должен же мних ответить на письмо, в котором он упрекал его в бесполезном затворничестве, и Вишенский, отклонив на длину руки посох, сказал:

— Не потому, что я далеко нахожусь от вас, братья, смело правду молвлю, ибо за правду и умереть готов по милости бога. Вы горькой судьбой Никифора устрашаете себя, а не помыслили о том, что заключением оного в Мальбурге властители этим не причинили ему зла, ибо не лишили его возможности общаться с богом, но себе нанесли большой вред, показав себя перед миром гонителями и мучителями.

— Мало утешительного, преподобный Иван, от увеличения числа мучеников, — ответил Рогатинец. — И зря питать надежду на то, что когда-то угнетатели устыдятся деяний своих. Единственное — это дела, которые человек успевает содеять, пока не выйдет в страстную пятницу на свою Голгофу.

— Правда твоя, Юрий. Каждый мирянин в самых малых своих деяниях прежде всего должен заботиться о пользе, которую он принесет отчизне. Но Голгофа — венец наших дел. И думать мы должны о том, воскреснут ли они. Завершили мы свой крестный ход и теперь в искуплении и самоотречении должны готовиться к воскресению. Мы должны обновляться каждое мгновение в

царстве духа... Я согласен проповедовать с ваших амвонов, но с одним токмо намерением — чтобы наставить православную паству на путь первоначальных добродетелей нашей веры, ибо только в очищении от чуждых лжеучений, лишь в возвращении к своим истокам — наше воскресение... И если мне это удастся, я готов пойти на муки. Завтра во время пасхального богослужения я обращусь к верующим с проповедью.

Верно говорит мних, подумал Рогатинец, провожая взглядом гордого Вишенского, выходившего из братства и просившего не сопровождать его в Онуфриевский монастырь, где он занял самую скромную келью. Да, прежде всего следует вспахать свою землю, засеять ее, собрать зерно, очистить его от плевел и найти свои родники, утоляющие жажду истины... Но можно ли это осуществить покаянием и самоотречением, будучи отрешенными от широкого мира? Это же так легко — выйти во время крестного хода в страстную пятницу и загодя сотворить себе искупительную Голгофу тогда, когда последний ряд процессии еще находится у ее подножия.

Сомнения охватили душу Юрия: а действительно, вправе ли мы, мних Иван, думать о своем совершенстве, коль по воле бога оказались на вершине горы, а кто-то еще не готов для восхождения на нее? Ну, пусть будет и так, что нам суждено первыми обновиться в царстве духа, чтобы те, что пробудятся, пришли к нам, — но разве можно сделать это, ограничив себя пределами собственного поля? Разве может самый трудолюбивый пахарь собрать богатый урожай, если не будет знать, как это делает его сосед? А если и соберет, то можно ли довольствоваться урожаем украдкой, не показав буханки хлеба соседу, не угостив его? Если бы мы поступили так, то могло ль появиться у нас собственное книгопечатанье? Мудро — засеять родное поле, но ведь порой нет хорошего зерна, почему же не одолжить отборное у соседа-хлебопашца? Или почему не дать ему свое отборное зерно — пусть знает, что и мы можем выращивать его! Не иссякнет ли наш родник, если отведут от него питающие ручьи? А что, если родник пробьется, но, встретив преграду, остановится, покроется плесенью и станет непригодным для питья, когда кто-то будет умирать от жажды?

Братчики разошлись. Юрий отправился в свою комнату, находившуюся по соседству с залом, подошел к шкафу, в котором красовались его заветные седло и сагайдак:

показались они теперь ему игрушками, на которые затрачено зря столько времени, — так стоит ли ему сейчас корпеть над латунными украшениями, над бисером и мягкой кожей, когда из латинских типографий вылетают, как вредные насекомые, отравляющие православные души книги, а мы, вместо того чтобы найти противоядие, хватаемся, словно слепец за плетень, за старый кунтуш, чтобы сберечь себя.

Вот «Гармония» Потия, в ней он с коварством убеждает православных, что уния — это не вероотступничество, а древняя традиция, подтвердившая лишь Флорентийскую унию 1439 года, а о том, что православные отказались от нее тридцатью годами позже, ни слова. А вот его «Антирисис» — ответ на «Апокрисис» Христофора Филалета, который выступил против объединения церквей. Вот книга Петра Скарги «Synod brzeski i jego obrona»...[1] И в этих желчных произведениях чувствуется знание мировой философии и истории. Прав был Балабан, говоря — чем мы ответили им? Посланиями Вишенского? Да... Они разбудили народ, без них посполитые не вышли бы на Юрскую гору изгонять предателя, но разве мы можем сказать, что сочинения мниха Ивана Вишенского подняли нас на один уровень с врагами в царстве науки? Нет, только родили гнев...

Рогатинец закрыл шкаф — не надо разжигать сомнений, слава богу, что прибыл Вишенский, с ним, известным сочинителем, мы станем во сто крат сильнее; как хорошо, что уже создана почва и есть на что опереться глашатаю правды.

Онуфриевская церковь набита битком, на амвоне стоит мних Иван — высокий, с роскошной бородой; высоко подняв голову, глаголет и смелыми речами зажигает огонь в глазах прихожан.

— Поклонись папе, прими его календарь, — ударяется о своды саркастический голос Вишенского, мних похож на разгневанного старозаветного пророка. — Панове бургомистры и войты, надо ограничить свободу русинам. Не может быть равенства между русином и папежником. Нужно изгнать всех русинов из цехов ремесленников... Если и этим вы не досадите Руси, то разрушьте их святыни, не разрешайте звонить в колокола на

[1] «Брестский синод и его защита» *(польск.)*.

праздники по старому календарю, а если ослушаются — обесчестите таинство Христа, заключайте в темницы, бейте и убивайте во имя наисвятейшего папы!

Рогатинец слушал и думал, что было бы, если бы в этот момент Соликовский вместе с каноииками пришел закрывать райские врата? Двадцать лет прошло со времени того надругательства — это так мало, если глянуть на себя, ты не изменился, не ослабел, однако это и очень много: младенцы за это время стали юношами; это очень много: выросли люди, которые сейчас уже не разбредутся, как овцы. А что бы они сделали? Растерзали бы Соликовского!.. Разве не крови жаждал тогда Рогатинец? Почему же сейчас сжимается и тревожится сердце от этой мысли? Рано еще... Христос воскрес. Рано воскрес? Или только взбирается с крестом на Голгофу?..

Мацько Патерностер смотрит и своим глазам не верит: так этот седобородый старец в монашеской рясе, который вчера заходил в его пивную и купил пять псалтырей, и есть сам Вишенский? Если бы знал — сулеи с вином попрятал, подвал ладаном окурил, господи, а он еще и улыбнулся, когда монах, беря книги, произнес, покачивая головой: «Богохульствуете, львовские братья, божественными книгами торгуете в питейном содоме». Я улыбнулся и ответил: «Вино у меня церковное, благочестивый монах, не изволите ли причаститься?» Теперь стыд жжет Мацька — как он посмел так разговаривать с мужем, который не боится открыто произносить крамольные речи? Но что самое удивительное: какая-то перемена произошла в нем самом, потому что не склоняет голову Патерностер, не смотрит с опаской на соседей, не поглядывает в сторону притвора, не появится ли там кто-нибудь, кто, увидев Мацька на этом богослужении, закроет завтра его корчму... Христос воскрес! Мацько удивляется, а слова проповедника вселяют в него бодрость, он чувствует, как расправляется его спина, как гневная речь мниха сеет в его душе злость на самого себя за то, что до сих пор его спина была согнута, как дуга, а что от этого получил: разве накопленные злотые — проценты за ссуды и торговлю — стоят того, чтобы всю жизнь стоять за прилавком, да грош им цена, если даже сын Роман, уезжая в далекую дорогу, не захотел и сотни взять, ибо они напоминали ему об отцовском унижении. У Мацька сейчас снова тревожно на душе — но странно! — его одолевает страх не за себя, а за Вишенского:

не заточат ли его после богослужения в крепость, что стоит возле городского арсенала?

Барон, спрятавшись на хорах за спинами людей, внимательно слушает, чтобы не пропустить ни единого слова, и млеет от радости, что ему есть что рассказать своему кормильцу Соликовскому, недовольному ныне его службой. Ты, Барон, пропиваешь деньги, а пользы от тебя как от козла молока, карманные воришки, которых ты до черта привел со Шкотской улицы, это еще не плата за звание барона, нам надо, чтобы захохотали над братчиками те, что ныне верховодят на Русской улице; уже и карманные воры доносят на тебя, что ты в корчмах только то и делаешь, что хвастаешься своим титулом и службой у архиепископа, хотя должен был бы прикусить язык... А как же ему, от рождения убогому, униженному, завидующему чужой славе и достатку, удержать в тайне, как не похвастаться перед людьми, что он, бывший конвисар, а потом братский прислужник, имеет теперь свое постоянное место в пивной самого Корнякта, что шинкарка, увидев его, спешит к столу с порцией жареной рыбы и с кружкой пива, что Антипка раз в неделю угощает его мальвазией, что иногда даже патриции приглашают Барона за свой стол, а в покои архиепископа он может входить без стука. И нипочем ему Рогатинец. Встретился однажды с ним после той оказии на Крупъярской улице, Рогатинец хотел плюнуть ему в лицо, однако не посмел. Нет, не потому, что побоялся разглашения его прелюбодейства (не бойся, я не спешу об этом рассказывать), — на Барона плюнуть не решился! Ты уважай и считайся с моим мнением, ведь я уже не Блазий. И осекся вельможный сеньор, теперь обходит стороной... Ну, скажите, кто из посполитых достиг таких привилегий, кто сумел так возвыситься над серой толпой? Христос воскрес! Как этим не похвастаться? Еще люди подумают, что он остался таким, каким был, и вместо уважения и страха будут продолжать выражать ему сочувствие, а чего доброго, еще и насмехаться начнут...

— И так будет продолжаться до тех пор, пока мы сами не освободим себя из оков светской неволи. Ведь кто есть холоп и невольник? — Вишенский провел указательным пальцем, будто этими словами клеймил каждого прихожанина. — Да только тот, кто свету сему яко холоп, яко наймит служит и всю свою жизнь губит, служа до смерти. Посвятим же господу помыслы ума на-

шего, огонь сердец — и тогда, словно труха, рухнут оковы мирские!

«Мних Иван, — зашевелился протест в душе Рогатинца, — двойными оковами ты хочешь сковать нас, двойной покорностью... Нет, старче, мы должны служить миру, для этого мы и родились. Чтобы сделать его лучше, добрее, умнее... Потустороннему миру мы, живые, не нужны».

«Служу яко наемник самому себе и просвета не вижу», — подумал Лысый Мацько.

«Насмехаешься надо мной, монах, презираешь за мою службу — отплачу же я тебе за это сторицей», — перекосила злоба лицо Барона.

— Есьмо ревностно мамоне служим, то сытая жизнь склоняет человека к греховному плотскому вожделению! И если среди нас не будет истинных иноков и богоугодников, которые перед богом защищали бы поспольство, то жупелом и огнем, яко Содом и Гоморра, сгоревшие в огне, превратимся в лядской земле в пепел! Отвратим свои лица от алчного и лицемерного мира и в своей русинской духовной общине откуем золото честнот наших!

«Затворник Иван, ты и на Украину зришь, словно на келью, — возмущался Рогатинец. — Не уподобляешься ли ты скряге, который прячет червленое золото в сундуке, и никто его не видит, никто им не пользуется, даже владелец его? А что, если это золото окажется ненастоящим, и мы не будем знать об этом, и когда-то на многолюдном рынке, попробовав на зуб, чужеземцы скажут: «Низкая проба!»

«Не могут все стать монахами, — подумал Мацько. — Кому-то и вино продавать надо».

«Свой орден задумал основать во Львове? — шевелил запавшими губами Барон. — Не позволим тебе, монах, осуществить это!»

— А тогда можете нас мучить, изгонять и сажать в тюрьму, потому что в ваших руках светская власть, но не думайте, что этим тиранством сумеете победить наш дух, не надейтесь, папы римские, кардиналы, арцибискупы и всякое лживое католическое духовенство, не надейтесь, власти мирские — короли, что православные будут поклоняться папе, не надейтесь ни ныне, ни завтра, ни во веки веков! Аминь!

Люди слушали затаив дыхание. Гневные слова Вишенского, казалось, остановили биение человеческих

сердец, народ в этот момент готов был сделать все, к чему призовет мних Иван, и не по себе стало Юрию: столкнутся когда-нибудь два враждебных ордена, иезуитский и этот, еще не названный Вишенским, и тогда солнце затянется дымом — и вместо всечеловеческого просвещения и царства разума наступит пора страшного диктата силы победителя. И просветитель превратится в тирана. Нет — только просвещение, только обогащение мировой мудростью выведут русинский люд на высоту, до которой не дотянутся руки алчных. И тут мозг пронзила мысль: «Без битвы, без крови? Чудом господним?»

И вместо ответа под сводами храма разразилось грозное:

— Смертию смерть поправ!

Мних Иван покинул амвон, а люди стали повторять:

— Смертию смерть поправ!

Встревоженный Юрий пробирался к выходу, он хотел поговорить с Вишенским. «Смертию смерть поправ!» — гремело в Онуфриевской церкви; на паперти к нему подошла женщина, лицо ее было закрыто черной вуалью, она держала за руку русоволосого мальчика, остановилась, склонив в глубоком поклоне голову.

— Благословите, пан сеньор, моего сына, — чуть слышно прошептала женщина. — Перекрестите ему чело. Подойди, Марк...

После обеда Лысый Мацько по привычке стал за прилавок, поджидая клиентов — ремесленников с Сапожной улицы, которые в пасхальное воскресенье не проходили мимо его корчмы.

В углу за столиком сидел, как всегда, Филипп Дратва. На него Мацько не обращал внимания: на Русинской улице так никто и не узнал, кто тогда ходил по дворам и сзывал людей на Юрскую гору. Потом говорили, что это были школьники, потому что и листок с призывом был вывешен над окном Абрековой, — разумеется, что школьники; в голове Мацька помимо его воли назойливо вертелась глупая мысль: воскресений в году пятьдесят два, праздников больше двадцати, так это он ни за что ни про что получает от Филиппа семьдесят грошей дохода... Корил он себя за такие подсчеты и вообще — впервые за то время, как торгует вином в своей корчме, в его душе зародились сомнения. Он же братчик, и не простой,

ибо торгует книгами, а книга — это самое святое дело: произнесенное слово хотя и зацепит, разбудит, встревожит душу, иногда прозвучит, как гром, но исчезнет; книга же разговаривает с тобой беспрерывно, она всегда напоминает, повторяет, становится стражем твоей совести... А вот он, Мацько Патерностер, продавец братских книг, с одной стороны, просвещает человеческие умы, а с другой — затуманивает им головы дьявольским зельем.

В памяти Мацька всплывали гневные, неслыханные еще среди львовской русинской братии слова Вишенского. Они взбудоражили устоявшиеся за долгую жизнь сомнения корчмаря, до сих пор у него все было разложено по полочкам, как сорта вин, — доброта и нелюдимость, страх перед сильными и непоколебимость, когда речь шла о вере; в глубине Мацьковой натуры самое видное место занимала скупость, а где-то в тернистых ее сплетениях дремала искренность; каждую черту своего характера Мацько объяснял по-своему, ничем особенно не гордился, но и стыдиться ему было нечего, а теперь все пришло в смятение, и хотя корчмарь твердо решил оставить за собой право торговать вином — ведь все не могут стать монахами, — однако сомневался в одном: не похож ли он на того безумца, который толчет воду в ступе, а масла сбить не может. Ведь именно так получается: тот свет знаний, которые он дает людям, продавая книги, тут же гасит хмельной отравой.

А сапожники — кузнецов, ювелиров, мечников редко видит у себя Мацько, это люди заносчивые и в большинстве своем верные уставу братства, — съев, очевидно, освященное яйцо и не дождавшись от жен хмельного, чтобы разговеться, приходили один за другим — черные, крепкие, как насмоленная дратва, подмигивали корчмарю, и он по их виду безошибочно угадывал, кто ныне будет пить за наличные, а кто просить в долг.

И хотелось Мацьку, растревоженному упреками совести, сказать сапожникам, что сегодня — только сегодня — он не даст никому ни полкружки, пускай трезвыми головами обмозгуют слова праведного мниха, таких им никогда не приходилось слушать, однако мозг привычно, не прислушиваясь к душевной буре, подсчитывал, сколько сегодня он выручит чистыми, а сколько нарастет процентов за отпущенное в долг, — и руки машинально потянулись к бочкам и сулеям.

— Такого наговорил, что хоть пошей себе из сафьяна

крылышки и поднимайся в небо, — долетели до Мацька недовольно-насмешливые слова.

— А как заработать деньги на еду и выпивку, не сказал, будто мы и в самом деле бесплотные ангелы, — послышался другой голос.

Да и действительно, подумал Мацько, мних Иван будто бы человек не от мира сего. Однако тон собеседников не понравился ему. Из их разговора получается, будто мы, точно тварь бессловесная, только про еду думаем, только кусок сала нам дорог, а то, что дух наш угнетают, веру отбирают, не имеет для нас никакого значения. Э, погодите, может, я чем-то и отличаюсь от животного?

Мацько подал кружки с пивом, сапожников было трое, больше никто не заходил, вот и решил корчмарь, что не подаст им больше ни стакана, — скатертью дорожка. Но когда он возвращался к прилавку, открылась дверь, и Мацько даже вздрогнул: сутулый Блазий, которого он сто лет не видел в своей корчме и от которого каждый, у кого было хоть немного собственного достоинства, отворачивался на улице, вот эта тварь, которую называли теперь Бароном, да и сам он, когда напивался до чертиков, бил себя в грудь, заявляя: «Я Барон, коллега Соликовского!» — эта мразь посмела переступить порог его честной корчмы, в которой вчера был сам мних Вишенский?

Хотел было подбежать к Блазию и вытолкать его за дверь, но не посмел — беды потом не оберешься; Барон, размахивая палочкой с латунным набалдашником, не здороваясь, прошелся по подвальному залу и сел за стол — недалеко от сапожников.

— Из-за этого мниха может большая беда свалиться на наш квартал, — снова послышался тот же недовольный голос. — Не правда ли, стало сейчас немного легче: и звонить на колокольне разрешили, и календарь оставили свой, похоронным процессиям с зажженными свечами разрешили проходить через Рынок, нецеховым мастерам можно раз в неделю продавать свои изделия, а вспомните, что было когда-то! Подобрели паны, скажу вам правду. Вот так постепенно и совсем хорошо заживем, только не надо сердить их, а он...

— Все из-за этих книг, — поддержал другой голос.

— О, это святая правда, уважаемые панове! — снимая шляпу, сказал Барон, поддакивая сапожникам. —

Ныне — ха-ха! — каждый поп, даже дьяк имеет типографию и печатает книги для своей корысти.

Барону никто не ответил, и он помрачнел: дела его совсем плохи. Соликовский требует от него чего-то такого, на что Антох не способен, да вообще требует невозможного... Архиепископ не собирается открыто выступать против православных, как когда-то, хочет, чтобы русины сами между собой перегрызлись, и он, Блазий, должен довести их до этого. А как — если они так держатся за своих сеньоров, как вошь за кожух, еще и проповедника себе нашли такого? Сегодня он донес о крамольной проповеди, а Соликовский в ответ: «Дурак, ты еще хочешь мученика им сотворить? Иди и делай то, что тебе велят!»

Барон пододвинулся к сапожникам, бросил на стол злотый.

— Христос воскресе... — улыбнулся подобострастно. — Выпьем за его муки.

Мацько смотрел на все это и не торопился подавать вино. Подошел сапожник с монетой, корчмарь молча подал ему сулею и продолжал слушать.

— А я тебе скажу... я все это знаю, — говорил заплетающимся языком сапожник, недовольный проповедью Вишенского. — Когда-то люди одному богу молились по святому письму, которое апостолы... или те... евангелисты написали. А ныне каждый взялся переписывать евангелие и добавлять свое. И перессорились. А ведь первые книги были написаны на божественном языке...

— Да, да, на латинском! — воскликнул Барон.

— Как — на латинском?! — вскочил Филипп Дратва. — Божественный язык — это наш, славянский!

Барон захохотал.

— Стыдись такое говорить! Каждый дурак знает, по-славянски евангелие Рогатинцы да Красовские переписали.

Этого уже не мог стерпеть Мацько. Как же это — он, который обо всех делах знает от самого пана Юрия и даже кое-что записал... да он узнал от Рогатинца такое, о чем даже страшно сказать: апостол Петр никогда не был папой, вот что!.. — как он может такое богохульство слушать в своей корчме, да еще и на пасху?!

Мацько вытащил из ящика горсть монет, отсчитал часть, прикидывая на глаз, сколько осталось вина в сулее, которую подал сапожникам, и порывисто бросился к

столу. Не произнося ни слова, швырнул монеты на стол, взял сулею и, смерив презрительным взглядом Барона, сказал:

— Уходите себе прочь, люди добрые, коль у вас нет совести и чести.

Барон вскочил, начал стучать палкой по полу:

— Ты... Ты не будь таким мудрым, потому что я и до тебя доберусь...

— Вон отсюда, болотная крыса! — крикнул Мацько и размахнулся сулеей.

Барон, не ожидавший такой вспыльчивости от всегда предупредительного Мацька, покачиваясь, попятился к двери. За ним последовал сапожник, поносивший мниха Ивана. Стоя у порога, сапожник огрызнулся:

— Пропади ты пропадом со своим славянским языком, с книгами и школой, никакой пользы нам от них нет!

Два сапожника виновато поглядывали на разгневанного корчмаря, Филипп Дратва сидел в углу, повесив голову.

Мацько хотел было еще что-то сказать, но вдруг увидел в окно, выходившее на улицу, такое, от чего лишился речи... К Барону подошел пан в высокой шляпе и широких длинных штанах, махнул рукой Барону, мол, иди себе, взял сапожника за воротник свитки, тот становился все меньше и меньше, а когда стал таким крохотным, что весь уместился на ладони, пан, захохотав, бросил его себе в карман.

Изумленный Мацько отвернулся от окна, перевел дух и почти шепотом сказал:

— Уходите... уходите и вы прочь! Да прикусите свои грешные языки — нечистая сила вышла ныне на охоту...

Двух сапожников словно ветром вынесло из корчмы. Тогда Филипп Дратва поднял голову и сказал:

— Хочу я, Мацько, наконец докопаться до истины.

Над Львовом звучит пасхальный перезвон. Мелкая колокольная дробь разносилась от собора святого Юрия; в городской коридор — из Краковского предместья на Галицкое — вырвался вкрадчивый звон из Онуфриевского монастыря; ясное майское солнце своим теплом ласкало цветущие черешни, покрытые белой пеленой, над которой возвышались шпили башен; воздух вздрагивает

от ударов колокола Великого Кирилла, который с высоты Корняктовской колокольни настойчиво и властно управляет беспорядочным перезвоном и усиливает его, задавая тон, торжественный и радостный.

Нет ничего на свете, кроме этой воскресной музыки: мертва ныне ратуша, пустой, словно бочка, разбойничий Высокий замок, меньшим, казалось, стал высокомерный кафедральный костел, а от церкви разноцветной лентой тянутся празднично одетые люди.

После завтрака изо всех концов Львова идут русины на Зацерковную улицу к зданию гимназии — там, на подворье братской школы, каждое пасхальное воскресенье спудеи ставят мистерии.

Иван Вишенский был приглашен на спектакль.

Во дворе построена из черного камня арка, вершина — это Голгофа, а внизу — вход в ад, который нынче разрушит Христос; мних еще не знает содержания мистерии, в его ученические годы в Остроге не ставили драм на сцене, но одна мысль, что сегодня какой-то спудей будет изображать Иисуса, коробила старца, и он спросил у Борецкого и Рогатинца:

— Неужели это так необходимо для укрепления веры?

— Необходимо, — сухо ответил ректор. — Ведь божественная служба и пение хора на клиросе — тоже спектакль. Католики органной музыкой привлекают паству, одурманивают бичеванием — что же богопротивного в театральном показе мучений Христа и его победы над силами ада? А люди любят смотреть такие зрелища и идут к нам. И творим мы это не для забавы, а для утверждения веры в победу добра над злом.

— Светские страсти одолевают вас... А по каким книгам учатся ваши ученики?

— Мы с удовольствием покажем вам нашу библиотеку.

У Вишенского разбежались глаза. Книг в библиотеке было более трехсот, он одну за другой брал с полок шкафов, морщины на его лбу стали разглаживаться, лицо посветлело. «Львовский апостол», «Букварь», «Острожская библия», «Поучительное евангелие»...

— Очень полезно прочитать эти книги каждому, — прошептал мних, — понять, что глаголют словеса... И «Трены» Кохановского тоже тут есть? — удивленно посмотрел на Борецкого. — Ведь он же был католиком!

— Католиком он и остался! — спокойно, не поднимая глаз, ответил ректор. — Но своим воспеванием отцовских страданий по дочери Уршуле пробуждает глубокие человеческие размышления, сердечность, доброту...

— Пробуждает земные страсти... О, и Платон у вас есть, и Аристотель! По их сочинениям изучаете языческие догматы... А знают ли спудеи церковные каноны?

— О человеческой мудрости много книг написано, преподобный Иван, — вмешался в разговор Рогатинец. — Надо знать учения и неверных, и врагов своих, чтобы укреплять истинную веру.

— Пьющие из чужого источника невольно могут заразиться смертельной отравой иного вероучения... — ответил Вишенский, продолжая просматривать книги. — Можете ли вы поручиться перед богом, что горячие головы спудеев ваших непоколебимы будут... О, какая прелесть! — глаза мниха просияли, он листал страницы «Служебника», изданного стрятинской типографией. Сюжетные художественные заставки к каждой главе, обрамленные живописными орнаментами, фигурками ангелов, поразили его. — Кто же этот искусник?

— Гравер нашей типографии, Памво Беринда. — Иван Борецкий, довольный тем, что развеивается гнетущее настроение после разговора с мнихом, охотно стал рассказывать о мастере: — Недавно он перешел к нам из Стрятина, после того как упокоился епископ Балабан. Любомудр есть, лексикограф, знает латинский язык, хотим взять его учителем-дидасколом...

— Тревожится моя душа, братья, — вздохнул мних. — Католики стремятся поработить вас, униаты предали, ждете снова теперь Потия, который приедет к вам назначать своего епископа, и, вместо того чтобы защититься щитом православной веры, сами склоняетесь к хитроумной латинской лжи и губите себя.

— А как можно сейчас обходиться без латыни, когда полмира и философов, и мошенников пишут и говорят на этом языке? Мы должны знать, что пишут и говорят они? Обокраденными и обманутыми мы будем без знания этого языка — словно нищие, стоящие в притворе со своим Октоихом и Часословом, — резко ответил Рогатинец и понял, что повторяет слова, сказанные когда-то Шимоновичем.

Вишенский промолчал, разглядывая книги.

— Стефан Зизаний? Я слышал о Лаврентии, который

«Азбуку» составил и был у вас дидасколом. Это — его брат?.. «Изложение о православной вере»... И как он излагает? — Вишенский водил глазами по мелкому шрифту. — Гм... «Существует две природы бога — человеческая и божественная, две воли, два деяния...» Ересь. Арианство...

В библиотеку вошло несколько спудеев. Они остановились у порога, с благоговением глядя на величественного старца, страстное послание которого они знали на память.

— Брат Иван, — произнес Рогатинец, мрачнея все больше. — Спудеи приглашают вас на спектакль.

Умолк Великий Кирилл на Корняктовской звоннице — освободившийся от мощи и силы старейшины, далеко разнесся пасхальный перезвон малых колоколов, удаляясь и рассеиваясь по полям и левадам, будто журчащие родники чистой воды, расцветая подснежниками и изумрудной травой, оживляя. деревья винниковских лесов.

Нежный весенний рокот доносился и в пивную Мацька. Хозяин, сидя за столом напротив Филиппа Дратвы, прислушивался к колокольному звону и с горечью думал: не зря ли он затратил столько денег и вложил столько труда, чтобы жить в этом городе, где человеческие души гибнут под тяжестью кирпичных стен, где разгуливают как ни в чем не бывало черти и ловят людей, где камень давит на землю и сердца людей, где даже подснежники перестают быть цветами, ибо продаются за деньги. А как хочется сейчас под звуки звонких колоколов лечь на траву, наслаждаться запахом цветов и не думать о том, во что обходится этот отдых.

Филипп Дратва рассуждал вслух:

— Я, Мацько, не просто так просиживаю у тебя по воскресеньям и праздникам. Я размышляю. И не думай, что мне не хочется выпить. Но знаю — тогда затуманится мозг мой и оборвется нить мысли, которая много лет волнует меня. Вот из этого угла гляжу на людей и рассуждаю, откуда берет начало ложь, но не та, что привезли из Варшавы или из Кракова, а наша, русинская. Ты раскинь умом: лядских панов горстка. Вот так хорошенько напрягись, подуй — и нет их! А они держатся, да еще как, думаешь — на чем? На нашем паскудстве. Был ты,

Мацько, бедным, правда, ну и что? Разве, научившись грамоте, ты повел за собой темных добиваться прав? Да нет, ты накопил денег, купил право жительства в городе и стал таким маленьким своим обдиралой. А паны и довольны — вспомни: разве тебе так трудно было получить это право?

— Я, Филипп, — произнес, не поднимая головы, Мацько, — давно думаю об этом, но такой теперь мир...

— А мир — кто? Мы. Я гляжу на наших братчиков... Подожди, не кричи на меня, я совершил бы большой грех, если бы сказал о них что-то подлое. Но поразмысли сам: как только не глумился над ними покойный Балабан, а они ему простили. Ты вот прогнал из корчмы Барона, правильно поступил, но не подумал о том, что Блазий учился жить у Балабана. А Балабан — у Потия. А Потий кто? — наш, украинский пан! Видишь, какую лесенку я тебе нарисовал?

— Не пойму, к чему ты, Дратва, клонишь этот разговор...

— Подожди. Ты знаешь о том, что Потий вчера снова приехал во Львов? Не знаешь. А теперь он пойдет в собор Юрия назначать нам епископа, да не один, а в сопровождении магистратских цепаков, и если даже нас соберется там в два раза больше, чем тогда, ничего мы не сможем сделать.

— Что ты хочешь этим сказать?

— А то, что надо начинать с наших кровопийц, а потом уже... Ты стал жить немного лучше и поэтому молчишь, словно в рот воды набрал. Меня лишили работы, я вынужден продавать сапожный инструмент и молчу. Балабан завещал братчикам крылосскую типографию, и они тоже молчат. Корнякт жертвует им деньги — они молчат. А надо...

— Что — надо? — настороженно посмотрел Мацько на Дратву.

Дратва поднялся и ребром ладони провел по горлу.

— Ты с ума спятил? — ужаснулся Мацько.

— Или вот это, видишь! — Дратва вытащил из-за голенища сапожный нож. — Если бы мы все взялись за ножи... да на каждого грабителя, на каждого предателя... сообща. Эх, если бы сообща... всех Потиев, Баронов... а потом всю темную чернь двинуть с ножами на магистрат!

— Побойся бога! Ты безумный!

— А как же иначе, как иначе? — воскликнул Драт-

ва. — Молиться, просить у бога милости, замаливать грехи в пещере, как сей мних Вишенский? Он муж праведный, но кому польза от его молитвы, кому?

Школьное подворье битком набито людьми, дробный перезвон колоколов доносится из сорока загородных церквей; плотник тешет крест, Пилат отдает последний приказ, играют трубы, Иисус выходит с крестом на Голгофу.

Красовский, Рогатинец, Борецкий и Вишенский стоят рядом и смотрят на мистерию.

А у Юрия перед глазами — светловолосый хлопчик, которому сказал, благословив в притворе: «Приходи в школу, Марк». Сказал и позвал еще одного человека на Голгофу. А выйдет ли он, удержит ли свой крест, не упадет, не проклянет ли того, кто послал его, не раскается, когда будут распинать? А почему надо обязательно быть распятым, чтобы воскреснуть? Почему мы боимся воскрешать наш дух в страстную пятницу, почему не хотим взбираться на гору свободными?

На Голгофе распинают Христа — спудея. Стучат молотки, терновый венок впивается в виски, по лицу течет кровь... Гляди, Юрий, как течет красная кровь у смиренного, а ты почему-то боишься крови, пролитой в борьбе?

Сейчас наступит пасха, сейчас воскреснет Христос, войдет он в ад и разгонит демонское войско. А если не воскреснет, если чудо не произойдет — не назовут ли преступниками тех, кто стоял, скорбящий и покорный, глядя, как его распинают?

Шум, крики вывели Рогатинца из задумчивости. Что это — переодетое сатанинское войско начало игру? Еще же не время... Но нет, крики доносятся с улицы. На Зацерковной — скопление людей, кто-то громко сообщил:

— Потия убили! Возле архиепископской резиденции!

Все стояли словно окаменев. Спустя некоторое время мних Иван сказал:

— Первая кровь пролилась из-за предательской унии...

— Еще не наступила пасха, брат Иван, — сказал Рогатинец. — Еще рано успокаивать себя в блаженном ожидании воскресения. Страстная пятница только начинается.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

СМЕРТИЮ СМЕРТЬ ПОПРАВ!

У тебя есть вера, а у меня дела. Покажи мне свою веру, без дел твоих, а я покажу тебе веру свою от дел моих.

Послание Иакова

Это случилось так, как и все необычайное, мгновенно и неожиданно. Ипатий Потий после обеда вышел в сопровождении министрантов из архиепископского дворца на рыночную площадь, где его ждал фаэтон, — он должен был ехать в собор Юрия, в котором решил пребывать до тех пор, пока львовская паства не признает епископом его коадъютора Иосифа Рутского.

По Рынку слонялись люди: одни кланялись, а некоторые и подбегали целовать митрополиту руку; из подвала Корнякта вышли Барон с Антипкой. Черт все еще держал в оттопыренном кармане сюртука пойманного сапожника; Антох увидел Потия и тоже побежал приложиться к его руке; черт забылся и снял перед митрополитом шляпу — Барон увидел, как ужаснулся Потий, заметив рога, и перекрестился; Антипка поспешно натянул шляпу и вежливо улыбнулся, как своему старому знакомому; Барон немного удивился, почему черт не исчез, когда митрополит осенил себя крестным знамением, — и в этот момент из-за фаэтона выскочил небольшого роста кривоногий мужичок. Антох узнал в нем молчаливого клиента Лысого Мацька; мужичонка взмахнул ножом, всадил его в левое предплечье митрополита и, оставив нож в теле раненого, скрылся.

Толпу тут же окружили цепаки, по одному выводили они каждого из круга, обыскивали, допрашивали, но убийцы не нашли — никто не запомнил даже его лица.

Знал только Барон. Но он ничего не сказал цепакам, а только просил отвести его к Соликовскому.

В спальне архиепископа лежал на кровати Ипатий Потий с забинтованным плечом. Возле него сидели Соликовский и Павел Кампиан, врач, он же одновременно и бургомистр: они с удивлением глядели на двух стражников, которые ввели Барона, — неужели он учинил покушение на митрополита?! Барон заплакал, подбежал к ложу, вытянулся и, ударив себя кулаком в грудь, торжественно изрек:

— Я знаю преступника и найду его!

— Во имя бога! — осенил Барона крестом Соликовский, лицо его повеселело, и Блазий с глубокой радостью заметил в нем проблеск благосклонности к своему верному и неудачливому слуге, которому до сих пор никак не удавалось оправдать доверие.

— Деньги на розыски даст тебе магистрат, — произнес Кампиан. — Ищи убийцу в городе и в предместьях, в селах и в имениях. Нынешний инцидент — не случай, не поступок безумца, а проявление вооруженного бунтарства, которое мы обязаны уничтожить в зародыше.

— Это вспышка эпидемии, проказы, которая до сих пор тайно вызревала, ваша милость! — подтвердил Соликовский.

— Что, что вы сказали? — побледнел Кампиан и поднес руки к глазам. — Ах... — И тут же опомнился: — Да, да... я понял вас...

Был это медовый год для Барона. Самое лучшее время в его жизни. Ему давали деньги, прощали скоморошество и пьяную болтовню — иногда слишком подобострастную — перед власть имущими, а порой и не совсем почтительную, его допускали к панскому столу, он стал своим среди патрициев, потому что выполнял задание бургомистра и архиепископа.

Но когда увенчалась победой расправа Жолкевского над бунтовщиками Зебржидовского под Гудзовом и львовские патриции готовились к торжественному банкету в доме Гуттера, Кампиан прогнал из консуляторного зала магистрата обнаглевшего Барона, который пришел к бургомистру с просьбой, чтобы ему разрешили прийти на бал со своим приятелем Антипом, тайным слугой архиепископа. Кампиан страшно разозлился, расценив эту просьбу как попытку духовных властей ущемить светскую. Его давно беспокоило то, что Соликовский ведет свои дела единолично, не испрашивая согласия магистрата. Он заорал на Барона:

— А если тот Антип действительно с рогами?

— Так он же в шляпе...

— И в шляпе будет сидеть за столом?! Каждый пусть знает свое место, в том числе и ты!.. А, мерзавец, — тотчас вспомнил Кампиан, почему этого гнилозубого допускают в высокие круги. — Где разбойник? Почему он до сих пор на свободе?! Мне давай отчет, а не его экселенции, деньги тебе дает магистрат, а не он!

— Стараюсь, ваша милость, стараюсь... — пробормотал испуганный Барон.

— Тогда уходи и делай то, что велят! И больше не переступай порога, пока не приведешь сюда преступника... На бал к Гуттеру захотел... С Антипом... Прочь отсюда, подлый!

Уничтоженный Барон поплелся меж рыночных прилавков, у него не осталось никакой надежды найти преступника, да он его никогда и не искал. Антох теперь думал об одном: что он может еще предпринять, чтобы вернуть себе расположение кормильцев, которое ныне утратил, и, может, навсегда, и в этот момент вдруг обратил внимание на сундучок с сапожным инструментом, зажатый ногами: взгляд его невольно скользнул вверх, и он увидел знакомое лицо молчаливого клиента Лысого Мацька.

Это был сапожник Филипп Дратва, который поднял нож на предателя, и хотя не убил его, все же спас львовскую епархию от униатского превосходства: юрским владыкой стал православный епископ Тисаровский. Дратва и не думал скрываться. Долгие свои размышления о правде и неправде увенчал делом, а на большее у него не было ни сил, ни способностей, и поэтому он спокойно торговал сапожным инструментом, чтоб было на что прожить, без страха ожидая смерти — естественной или на плахе.

«После страшного скандала во дворе Гуттера и зверского насилия над бедной девицей Кампиан объявил Бялоскурских государственными преступниками и направил письменную кондуленцию венецианскому консульству, сам же пригласил в магистрат доктора Гануша, поелико советникам и бургомистру хотелось объявить того изменником. Кампиан сказал доктору, что он стал вожаком городских разбойников и в антигосударственный бунт предательски вовлек высокоуважаемого иностранца, за что оный напрасно был лишен жизни, и за это по постановлению совета доктор Гануш лишается звания члена совета Сорока мужей и должен нести повинности наравне с посполитыми, как-то: нести охрану на стенах города. Доктор Гануш с возмущением отверг это требование. Тогда советники сказали ему: если не хочет нести охрану города на стене, то его заключат в темницу. И посадили Гануша в каземат Пивоваренной башни, что напротив костела Снежной Марии, туда, где уже находился

несчастный Дратва. Но бог не допустил, чтобы невинно страдал известный ароматорий-врач. В тот же день Кампиан с ужасом увидел красные пятна на своих руках и понял, что заразился проказой. Он велел вернуть доктора Ганушa из темницы, но тот не захотел помочь бургомистру и исчез из города»[1].

За доктором Ганушем захлопнулась дверь. В темнице, слабо освещенной четырьмя узкими полосками сероватого света, падавшего сквозь зарешеченное окно Пивоваренной башни, он ничего не видел.

Гануш стоял долго, оцепенев, боясь сделать хоть один шаг вперед — туда, откуда, возможно, уже не будет возврата. Не мог еще поверить, что его действительно заключили в темницу. Когда цепаки уводили его из магистрата, он не сопротивлялся, думая, что это только проделки злобного Кампиана, который хочет его, члена совета Сорока мужей и известного доктора, не столько унизить в глазах советников, сколько принудить выдать секрет профилактического лекарства против проказы. Но вот тюремщик открыл дверь башни, цепаки грубо втолкнули туда Альнпека. Он, растерянный, стоял неподвижно, в нем еще теплилась слабая надежда, что это только для устрашения: сейчас его освободят отсюда, возле башни его встретит толстый, злорадно усмехающийся Кампиан, который больше всего на свете боится заболеть проказой, и скажет: «Примирись с нами, Гануш, ведь мы сильнее тебя». В этот миг доктор понял, что зашел дальше, чем следовало. Темнота, казалось, холодными щупальцами добиралась до его тела, чтобы целиком поглотить всего, он хотел попятиться назад, но отступать было некуда. Альнпек готов был примириться с Кампианом, но никто не приходил за ним, и теперь ему показались глупыми, детски наивными его усилия сделать мир более справедливым. Этот мир, сильный и непоколебимый, выбросил усовершенствователя из своей утробы, он не нуждается в его помощи, он может пошатнуться, но не изменится ни на йоту — получается, что Альнпек намеревался разрушить строй, которому сам принадлежит?

Темнота постепенно рассеивалась, бледный свет равномерно расплылся по каменной клетке, глаза доктора привыкали к мраку, он робко посмотрел по сторонам и в

[1] Из манускрипта.

углу, в трех шагах от себя, увидел человека, сидевшего на полу и глядевшего на него блестящими глазами.

— Доктор, не бойтесь меня, я Филипп Дратва.

— Дратва? — воскликнул Альнпек и глухо застонал, теряя последнюю надежду на свое спасение... — Меня... меня в одну темницу с убийцей... Господи, да как же это так, что меня они посадили вместе с убийцей?

— Я не убийца, пан доктор, я добрый человек, виноват только в том, что начал думать, — спокойно отозвался Дратва. — Накануне моего ареста вернулся из Москвы Ежи Мнишек. Он на свободе, правда? А на его совести горы убитых, эти люди погибли не за справедливость, не во имя защиты края, а за триста тысяч злотых, которые дал ему самозваный царь Дмитрий за Марину. Я-то знаю... А вы говорите, что я убийца...

Альнпек знал об этом лучше, чем Дратва. Три года назад князь Константин Вишневецкий привез с Волыни, из Гощи, к своему тестю, львовскому старосте Ежи Мнишеку, — монаха Гришку Отрепьева, который недавно явился из Киева и служил в придворной челяди князя. И вот недавно Гришка признался отцам-иезуитам, что он сын Ивана Грозного — Дмитрий, который чудом спасся от подосланных Борисом Годуновым убийц. Самозваный Дмитрий влюбился в дочь Мнишека Марину, и староста, обуянный надеждой стать тестем царя, поехал с Дмитрием в Варшаву. Сигизмунд III, который со времени Брестской унии стремился каким-то образом подчинить русскую православную церковь римскому папе, не теряя времени, благословил новоиспеченного царя, и вскоре самозванец двинулся на Москву с пятитысячным регулярным войском. Как только «царь» овладел престолом, Мнишек повез в северную столицу свою дочь. Вернулся он богатым, но счастье его вскоре омрачилось: заговорщики убили Дмитрия, сожгли и, зарядив пушку пеплом, выстрелили в сторону Польши, а Марина бежала в Тушино, где вышла замуж еще за одного самозванца...

Альнпек стоял, опершись спиной о кованые двери, слушал, что говорил Дратва, и удивлялся, что одни и те же вещи имеют разную ценность — в зависимости от того, с какой стороны на них смотреть: из кабинета лекаря или из глубокого холодного каземата.

Ведь его симпатии были на стороне повстанцев Зебржидовского, которые выступили против короля и иезуитов — вдохновителей московской авантюры. Но теперь,

оказавшись наедине со схизматиком — преступником, который поднял руку на устои государства не от имени шляхты, а черни, понял, что, не желая этого, зашел слишком далеко в своей защите посполитых. Кампиан умышленно изгнал его из своего круга, лишив возможности влиять на дела магистрата, а значит, он должен бороться с аристократами, с силами, к которым принадлежит сам. Альнпеку стало не по себе, ведь стать с чернью плечом к плечу на борьбу с патрициями и делить с нею невзгоды он не может, не в силах.

Доктор подошел к рубежу, разделившему мир на бедных и богатых. И стал молить бога, чтобы скорее открылась дверь и его выпустили из этого каземата на волю, ибо он не хочет, не желает погубить свою жизнь из-за простолюдинов, стремящихся разрушить Речь Посполитую, не хочет погибать за идеи схизматиков-русинов.

В эту минуту так живо вспомнился ему спор с братским сеньором Рогатинцем в библиотеке Шимона Шимоновича.

...Шимонович, воодушевленный и красивый, стоял посреди своего кабинета напротив Альнпека и Рогатинца, сидевших в креслах, и читал гостям только что законченную им поэму «Лютня рокошанская».

У доктора от восторга горели глаза — больше, чем содержание произведения, его волновал польский язык, на котором так мало писали поэты, отдавая предпочтение латинскому, а стиль был у Шимоновича изящным.

Co czynisz, lutnio moja? Czego struny twoje
Umilkli, które przed tym lubo krwawe boje,
Lubo śpiewali dary zlotego pokoju...
Dziś wszystko opak poszlo, wszystko w zaniedbanie,
Luz Podole zniesione, ona Ukraina.
Ona matka żywności, dóbr wszystkich dziedzina
W popiól poszla... [1]

Поэт сделал паузу, и Альнпек сказал:

— Знаменитый стихотворец, эта песня станет знаменем святой войны народов Речи Посполитой против иностранца-короля и иезуитов-пришельцев, которые прину-

[1] Что с тобой, моя лютня? Чего струны твои
Замолчали? А прежде о сражениях пели,
Вдохновенно прославляя время золотое...
Ныне все умолкло, в упадок пришло.
В руинах Подолье, земля Украины —
Плодородная мать, благолепная Отчизна —
Пепелищем стала...

дили наш народ зря проливать кровь в московских краях.

Это было сказано немного напыщенно. Скромный Шимонович опустил глаза, а Рогатинец промолчал. Молчание Юрия могло и ничего не означать, ведь поэт еще не окончил читать свою поэму, но Альнпека поразила отчужденность и холодность братского сеньора. У доктора создалось впечатление, что Рогатинец не слушает поэта или же произведение не нравится ему. Спросил:

— Разве я говорю неправду, пан Юрий?

Рогатинец не сразу ответил. Он вспомнил о своем пребывании на съезде шляхтичей в Сандомире, где краковский воевода Николай Зебржидовский объявил о свержении короля, — Юрий только что вернулся оттуда.

— Большое вам спасибо, пан Шимон, — наконец произнес Рогатинец, — за то, что осмелились сказать правду: трудно живется кормилице Речи Посполитой Украине... А меня посылали братчики, увлеченные мятежом рокошан, в Сандомир, сказать будущим властелинам Польши, чтобы они защитили нас — бывших хозяев земли-кормилицы...

— Пан Юрий, — прервал его Альнпек, — стоит ли вам ворошить дела давно минувших дней, канувших в безвозвратное прошлое? Я понимаю — обидно: Киевская Русь, Галицко-Волынское княжество... Но ведь история уже сказала свое слово, и мы теперь должны думать о том, как сегодня сделать людей счастливыми. Почему вы прежде всего думаете о судьбе русинов? Разве полякам намного легче, чем русинам? Разве они не те же налоги платят, не так работают, не так же умирают от болезней?

— Это правда, пан Гануш. Бедствуют и поляки. Но вы все же поймите: из цехов нас выгнали, потому что мы русины, в совет Сорока мужей приняли и армянина, и еврея, а русина — нет! Гмины есть у всех народностей Львова, кроме русинов. Каждый исповедует свою веру — русинов принуждают стать униатами. Вас это не волнует?.. Нам каждый день вбивают в голову: ты русин, ты худший, ты униженный, словно умышленно толкают — борись, если не хочешь быть рабом... Я бы сейчас и не говорил о судьбе русинов, но ведь речь зашла о рокошанах, которые пригласили представителя на сандомирский съезд и от нас. Посмотрел сначала со стороны — что еще нужно? Мы против короля и Скарги, они — тоже.

Мы против Потия, которого провозгласили мучеником, и они его не почитают. А вот когда я спросил, что даст вам наше участие в борьбе против короля, будем ли мы, древние жители этой земли, иметь свою гмину наравне с армянами и евреями, будут ли посполитые — русины — обладать такими же правами, как и посполитые — поляки — в цехах, шляхтичи подняли меня на смех: «Niema we Lwowie Rusi, Ruś na północy!»[1]. Так за что русины должны проливать свою кровь? Разве не все равно — быть ли под пятой Сигизмунда или того короля, которого даст Зебржидовский! Откуда нам знать, что после Клавдия не придет Нерон? Русь на севере... Так не лучше ли нам объединиться с нею?

— Я все-таки не согласен с вами, — Альнпек потер задумчиво лоб. — Вы же знаете, я посвятил свою жизнь посполитому люду, основе нашего государства. Я лечу одинаково всех — поляков, русинов, армян и евреев. Хочу сделать их жизнь лучше. Вы тоже. Но кто-то должен этим народом руководить. Неужели вам все равно, кто будет находиться у власти: пришелец, который онемечил польский двор, или сын нашего края?

— В том-то и дело, что не все равно. На борьбу поднимается не посполитый народ, которому вы посвятили всю жизнь и который платит налоги, независимо от своей принадлежности. Шляхта поднимает войну за свою золотую вольность. Я боюсь ее победы. Боюсь, что эта шляхетская воля превратится в дикое своеволие... Ныне же ваши паны одеты в смирительные сорочки...

— Тогда я не понимаю, чего добивается ваш народ, если он больше ценит деспотизм, нежели демократию...

— Чего добивается? — поднялся Рогатинец с кресла, его гневный взгляд обжег Альнпека. — Свободы! Тысячи наших борцов шляхтичи обезглавили под Солоницей, Наливайко живым сожгли в медном быке, а во Львове без меча уничтожают нас, церковь, школы, ремесла отнимают, хотят вырвать нас с корнем! Если бы мы были немым быдлом — и то должны были бы вопить: дайте нам есть!

— А как вы предполагаете добыть эту свободу? — спросил Шимонович.

— Не знаю, не знаю... — поник Рогатинец. — Разве нет Руси во Львове? Есть!.. И на севере есть. Велика Русь на свете, очень велика...

---

[1] Нет во Львове Руси, Русь на севере! (*польск.*).

...Этот гневный взгляд братского сеньора ожег еще раз Альнпека — теперь в темной клети Пивоваренной башни. Рогатинец не знал — как, а вот Дратва знает... Боже, он, Альнпек, оказался на стороне ребелизантов-бунтовщиков, которые завтра поднимутся с оружием на борьбу с униатами, католиками, шляхтичами?

Дратва сочувственно присматривался к Ганушу, которым, видимо, овладело чувство безумного страха, и по своей душевной простоте, в своем примирении со смертью за правое дело, захотел утешить доброго человека, глубоко уважаемого львовскими мещанами.

— Успокойтесь, пан доктор. Смерть не страшна, когда знаешь, что погибаешь за правду.

Тогда Ануш закричал. Он повернулся к двери, стал стучать кулаками в железный затвор, разбивая руки до крови, и, обессиленный, опустился на колени, повторяя одни и те же слова:

— Выпустите, я раскаиваюсь! Выпустите, я раскаиваюсь! Раскаиваюсь, каюсь...

Дверь открылась, но вместо стражника, которого надеялся увидеть Альнпек, в проеме двери появился сутуловатый мужчина. Оскалив гнилые зубы, он произнес:

— За раскаяние платить надо, ваша милость. Вижу, я пришел вовремя, ты уже готов продать свою душу...

— Душу?!

— Конечно. С каким божеским усердием будешь сейчас лечить своего самого злейшего врага, ты уже готов к этому, хи-хи-хи!.. Пойдем.

Бургграфский суд в день летнего Ивана 1607 года, на котором председательствовал новый бургомистр Вольф Шольц, дорого обошелся не только Дратве, но и Абрековой: ей запретили продавать мясо, которое она покупала у гливянских пригородных жителей, и, чтобы не умереть с голоду, вынуждена была заниматься хиромантией.

Судили трех преступников. На скамье подсудимых сидел лишь один — Филипп Дратва. Янко и Микольца Бялоскурские, заочно осужденные на вечное заключение, спокойно распивали вино в корчме «Брага» в Краковском предместье; Дратву же осудили к смертной казни через четвертование.

Эта экзекуция прошла бы совсем мирно, как и всегда, если бы на следующий день после бургграфского суда

(возле двуликой статуи правосудия уже стоял сооруженный помост, палач прохаживался вокруг него в красном капюшоне) над окном Абрековой не появился листок с призывом:

«Дратва невиновен! Бялоскурских на плаху! Потий живой, Массари убит. Освободим Дратву!»

Эти листки магически действовали на городскую бедноту: не успели еще вывести Дратву из Пивоваренной башни, как толпа двинулась к лобному месту, окружив его, разгромила помост; палач стоял, держа в опущенной руке топор, — сам ожидая смерти; бургомистр приказал трубачам выйти на балкон ратуши и играть тревогу; на рыночную площадь ринулись отряды цепаков. Они не набрасывались на людей, только оттесняли их от лобного места, и когда наконец в толпе был проложен коридор, отделенный, будто частоколом, вооруженными стражниками, когда сотни их, готовых при первом же движении рубить бердышами головы, окружили со всех сторон Рынок, от Пивоваренной башни к статуе правосудия направилась смертная процессия.

Впереди шел ксендз, в белом омофоре и черной митре, за ним — инстигатор, за инстигатором — маленький Филипп Дратва, охраняемый шестью стражниками. Лицо у него было спокойное, он посматривал то в одну, то в другую сторону, виновато улыбался: мол, причинил я беспокойство вам, панове; магистратские слуги наскоро сбивали разгромленный помост, и, когда на него ступил палач, кто-то из толпы крикнул:

— Бялоскурских на плаху!

Крик оборвался, человек ахнул от боли: толпа пошатнулась и занемела — цепаки стали расталкивать и оттеснять людей.

На углу Русской и Шкотской улиц зияла черная рама разбитого окна, в комнате над Абрековой, избитой цепаками, наклонилась Льонця и молча стоял понурившийся Пысьо.

Рогатинец остановился неподалеку от патрицианского колодца, слушая звонкий голос инстигатора, оглашавшего приговор. Нервная дрожь, пронизывавшая тело и душу, отбирала силы у Юрия, он подошел к колодцу и оперся на сруб — боялся подходить ближе к плахе.

Во Львове произошло неслыханное: люди, которые до сих пор занимались ремеслом, торговали, молились, жаловались на свою судьбу, вдруг стали проявлять непо-

корность. Голытьба с Галицкого предместья отказалась укреплять валы, неведомо кто расклеивал листки над окном Абрековой, теперь же мещане потребовали наказать виновных.

Неповиновение возникло как будто стихийно. Ни один житель города даже не задумывался над тем, кто взбудоражил, взбунтовал народ.

Юрий знал: это сделал Дратва. Он никогда не видел его и сейчас боялся посмотреть на него — муж, который взмахом сапожного ножа указал иной путь, чем тот, по которому более двадцати лет шли львовские братчики, стоял рядом с палачом на помосте перед статуей правосудия.

И Рогатинец думал: неужели это единственно правильная, правдивая стезя? Неужели человечество — совершеннейший венец природы — не может найти в себе другой силы, кроме грубости, жестокости, убийств и войн, чтобы жить в согласии, взаимопонимании, справедливости? Зачем тогда человеку ум, который создал науку, искусство, песню, логику и мышление, если людям и дальше придется прибегать в своей борьбе к самым низменным способам, какими пользуются и животные?

Юрий всегда был противником крови, независимо от того, при каких обстоятельствах она была пролита. Но вот эта, которая прольется сегодня, — во имя чего она? На Рынке уже не раз снимали головы — атаманам, казнокрадам, насильникам, но еще никогда не казнили посполитого, замахнувшегося на власть имущих. Низший из самых низших, сапожник-портач, как называют ремесленников-русинов, изгнанных из цехов, поднял руку! Что это — случайность или прозрение? Кто стоит на плахе — выродок или первый борец за правду? А если борец, то кто дал ему эту сознательность, волю, отвагу, мужество? Откуда это? Да неужели мы, братчики, так далеки от народа, что не знаем ни его духа, ни силы, ни устремлений? Мы делаем что-то свое, а они без нас познают истину и пути к ней? А может, это мы просветили темноту его души — и он увидел в ней силу, волю и отвагу?

Юрий не отважился подойти к плахе. Не потому, что его пугало само зрелище насильственной смерти, — он боялся встретиться взглядом с осужденным, неведомым ему Дратвой, который, наверное, знает его, сеньора братства. Что он прочтет в том взгляде: уважение к

книжнику или презрение, благодарность или упрек? Но за что — упрек? За то, что Рогатинец не знал Дратву? За то, что хотел облегчить его жизнь в неволе, а самой воли и не искал? Или, может, за то, что ему, темному, просветил ум и склонил его к кровавым деяниям, сам же остался в стороне? А может, Дратва и вообще не знает ни Рогатинца, ни его дел и посмотрит на него, как на белое пятно? Может, действительно, они — низшие из самых низших — совсем не знают братчиков, их работы, а живут своей жизнью, своей борьбой, которая не имеет ничего общего с просветительской?

Инстигатор читал длинный приговор. Юрий знал, какими словами он окончится, но в душе еще тлела надежда, что несчастного помилуют. И вдруг у Рогатинца мелькнула мысль, дикая и жестокая: не нужно помилование. Ведь какое значение тогда будет иметь поступок сапожника: случайность, действия безумца... А может, эта смерть положит начало иному способу борьбы, чем его, Рогатинца, а может, эти два потока сольются в единую, могучую силу, которую будущий Наливайко поведет на кровавую битву под знаменем правды и науки? И, может, хитрецы судьи сегодня помилуют Дратву, чтобы не дать возродиться той новой двуединой силе?

— ...и оному Филиппу Дратве, который покушался на жизнь славного митрополита, отрубить голову, тело четвертовать и повесить на четырех воротах города! — закончил читать приговор инстигатор.

Бессердечное облегчение и вместе с тем ненависть, протест, обида сорвали Юрия с места, он оттолкнулся рукой от сруба колодца и поспешно стал пробираться между людьми к плахе. За ним следили два цепака, которых он не видел, ему хотелось во что бы то ни стало посмотреть в лицо Дратве, пока еще живой, своими глазами увидеть этого незнакомого ему человека, который до сих пор ничего не значил в обществе, а теперь возвысился над всеми, на мужа, единственного во всей этой громадной толпе, отважившегося выступить с оружием в руках против неизмеримо большей, чем у него, силы.

И он увидел. И очень удивился. Невзрачный кривоногий мужчина с худым изможденным лицом, бледный, но спокойный, стоял на помосте со связанными назад руками; Юрию казалось, что Дратва сейчас упадет на колени и будет молить о пощаде, но в его глазах светилось спокойствие — так смотрит на своего заказчика честный

труженик-ремесленник, добросовестно выполнивший свою работу.

Откуда у него такая сила? Юрий хотел представить себя на его месте и не мог, он чувствовал себя в сравнении с ним ничтожеством, и душа его наполнилась глубоким уважением к осужденному, одна лишь мысль терзала мозг: когда зародилось у сапожника намерение убить Потия?

«Произошло это в воскресенье... Да, в воскресенье. После проповеди Ивана Вишенского!

Мних Иван, что ты совершил еси?..»

Рогатинец, который только что хотел, чтобы Дратва умер на плахе во имя грядущей битвы, возмутился, недовольный проповедником.

«Что ты наделал? Посеял зерно непокорности и сбежал спасать свою душу? А этого сапожника, которого ты толкнул своими речами на кровавое дело, кто теперь спасет?

А мы не толкали? Да, но мы остались тут — при своем деле и вере, ты же провозгласил веру, а от дела сбежал! Кто поведет тех борцов, которые последуют за Дратвой, ты об этом подумал? Найдется кто-то, когда-то найдется, но ныне мог бы быть ты...

«У народа должны быть свои мученики, — сказал ты на прощание в пасхальный вторник, возвращаясь к Иову Княгиницкому в Маняву. — Чем больше горя и мучений, тем лучше, ибо огонь очищает грешную человеческую сущность, закаляет ее для подвига». Может, и верно. Ты бросил гневное и правдивое слово, как Христос. Только сын божий не сбегал в пустыню, а жил среди людей, учил их, наставлял. Ты же сбежал. Неужели тебя там, в тихом Руссиконе на Афонской горе, не будет мучить совесть за то, что разбудил русинский народ и оставил его на распутье — неопытного, который только что вырвался из темноты и прозрел? Но разве ты указал ему путь, куда идти?

Нет, ты упрекнул нас, увидев наш труд и отдых: «Не хотите трудиться во имя церкви, а увлекаетесь светскими науками и прельщаетесь роскошью; комедии ставите да шафраном, пирожными и другими сладостями лакомитесь!»

Да, мы даем людям светское образование, чтобы не были слепцами. Не хулим их, если они трудом заработа-

ли себе на кусок хлеба, пусть едят — какая уж польза от того, что вы на Афоне не употребляете мяса, молока, масла, а только бьете поклоны и плачете в одиночестве? Да, мы показали им спектакль об Иисусе, который восходит на Голгофу. Чтобы в нем свое страдание увидели и сказали: не хотим идти на Голгофу, а будем бороться за волю. Ты же, мних Иван, не захотел пойти с нами — во главе нашего тяжелого похода. Ты придумал себе более легкий труд — молитву в теплой келье. Твои же сыновья, оставленные тобой, идут одни.

«Мир держится только на затворниках», — сказал ты.

Но ведь не ты страдалец, а тот, что пробудился для того, чтобы пострадать за народ. Вот он стоит...

Ты ушел на Афон искать для нас светоч духа, а не ведаешь, что придет он не из греческой горы, не из Скита Манявского, а из глубины народа, его мужества и высокого ума, из ада нашего горя и отчаяния. Смотри, кто несет его, кто стоит ныне на духовном троне! И соизмерь, чей выше: твой — на Афоне — или сапожника — на львовской плахе?»

Подручные палачи схватили Дратву и бросили на помост. Поднялся топор в руках палача, Рогатинец закрыл глаза, но только на миг — раскрыл их и посмотрел, как опускается топор, как катится по помосту голова. Он впервые в жизни избавился от чувства страха перед кровью, впервые понял, что только в кровавой борьбе враждебных сил может родиться свобода.

И прошептал:

— Спасибо тебе, мних Иван, что посеял в нашем народе зерно непокорности. Ты единственный, кто мог сегодня это сделать. Прости меня за упрек...

И вдруг, нарушая мертвую тишину Рынка, загремело:

— Смертию смерть поправ!

— Смертию смерть поправ!..

Цепаки встревожились, начали бегать, шнырять в толпе, вглядываясь в лица людей, и не могли обнаружить тех, кто поет; голову и части тела казненного палачи насадили на палки и стали показывать народу, но ни устрашения, ни угрозы, ни крики цепаков не могли остановить могучего пения.

Юрий окидывал взглядом людей и думал о том, что это пение рождено и человеческим горем, и словами мниха Ивана, и работой братства — много голосов, будто в

хоре, и с сегодняшнего дня этот хор будет множиться, расти и, направляемый своим будущим вдохновителем, станет могучим.

Он смотрел на людей, и вдруг его взгляд остановился на давно утраченном родном лице: на противоположной стороне плахи, напротив, стояла среди женщин и пела Гизя.

Забегали цепаки, и затерялось лицо Гизи в круговороте толпы...

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

ШАБАШ НА КАЛЬВАРИИ

> Года 1611, июля месяца 28 дня. Говорят, что прошлой ночью на Кальварии устраивала шабаш нечистая сила. Не знаю, ибо я там не был, но что такое случалось в нашем городе, это правда, сам когда-то слышал ночью дьявольские крики и бряцанье железа, а на следующий день видели вдавленную крышу на макушке Доминиканского костела, так кто же, кроме чертей, мог оное содеять?
>
> *Из манускрипта*

Супериор львовского иезуитского дома и ректор коллегии патер Лятерна должен был чуть не разорваться на части, чтобы справиться со всем, что выпало ему сделать в этот день.

Студиозусы разъезжались по домам: каждого, а их было более трехсот, надо было наставить и благословить, главным образом детей схизматиков, которые на вакации возвращались в родные гнезда, ведь может случиться и такое, что целый год упорного труда патера над шлифовкой зараженных схизмой душ пропадет зря за два месяца пребывания спудеев в домашнем окружении.

Схизматов немного в коллегии, но разговор с ними длинный. Два схоласта из ремесленников, принявших католичество, чтобы удержаться в цехах, и один — новичок — Зиновий из Олеско, сын урядника Михайла Хмеля, который еще недавно служил у Станислава Жолкевского в Жолкве, а после того, как дочь гетмана Софья вышла замуж за олесского старосту Яна Даниловича, перешел на службу к нему.

Об этом спудее патер до сегодняшнего дня не беспокоился. Воспитание в замке польного гетмана, основате-

ля коллегии во Львове, и его зятя, который вложил немалую сумму злотых в фонд строительства иезуитского костела, в общем соответствовало догматам ордена Иисуса. Теперь же Лятерне пришлось задуматься над тем: не слишком ли рано он успокоился? Кто знает, что таится в душе Михайла Хмеля — за учтивой улыбкой, за услужливыми манерами. Известно и другое: жена его — простая казачка, и нет у нее ни капли шляхетской крови. Может, урядник старосты искусно маскируется?

Это сомнение родилось у патера Лятерны сегодня. Зиновий, послушный и старательный, правда, молчаливый и довольно скрытный, перед тем как сесть в бричку рядом с отцом, покорно выслушал наставления, попрощался, поцеловал ректору руку. Бричка тронулась, Михайло Хмель вежливо кивнул головой патеру, сын же ни разу не оглянулся, будто для него вдруг, под опекой отца, перестала существовать коллегия с ее правилами, наукой и дисциплиной.

«Осенью надо присмотреться к нему повнимательнее, — заметил патер. — Не растет ли случаем волчонок в логове лисы?»

Здание коллегии опустело только к вечеру. Уже прошло то время, когда Лятерна должен был прибыть на собрание братства Магдалены: у Соликовского почему-то испортилось настроение после «смоленской баталии» на Рынке, и он хотел скрасить его в обществе членов тайного братства в Высоком замке — бывшей резиденции Бялоскурских.

Студиозусы разъехались и разошлись; Лятерна мог бы распорядиться подать лошадей, но не спешил, на собрание братства Магдалены никогда не опоздаешь, сановные особы если сойдутся, то заседают до утра. В замке много залов, комнат и укромных уголков, где можно поговорить о религии и политике, отдохнуть и повеселиться, выпить вина и разойтись потом по уединенным кельям для интимных бесед с молодыми женщинами братства.

Патеру Лятерне во что бы то ни стало надо приехать в Высокий замок, тем более когда решается вопрос, создаст или не создаст генерал ордена Аквавива иезуитскую провинцию на Украине, а если создаст, то кого назначат провинциалом, — все будет зависеть от Соликовского. Архиепископ же к старости стал раздражительным, он расценит отсутствие ректора коллегии как личную оби-

ду. Надо покориться, надо льстиво улыбаться, подхваливать его и мириться с тем, что старый развратник всегда выбирает себе для наставления самую красивую католичку.

И случилось же так, что за несколько минут перед тем, как пришел посыльный от архиепископа с приглашением прибыть в Высокий замок, он, Лятерна, охваченный греховными желаниями, послал монаха привести в опустевший дом коллегии прекрасную Льонцю, самую красивую из львовских девушек, с которой он, не боясь свидетелей, утешится теперь после трудов праведных.

Монах задерживался, а Лятерна размышлял над тем, как совместить обязанность перед архиепископом со своими желаниями. Он думал о той могущественной, чертовой силе, неизмеримо большей, чем божья, которая подстерегает даже самого истинного праведника на каждом шагу. А впрочем, божественные и адские силы настолько крепко связаны между собой, что одна без другой просто не могут существовать. Нет греха — нет покаяния, не будет ада — зачем тогда рай? Не будет борделей и шинков — зачем костелы, которые должны предостеречь верующих, чтобы не посещали этих заведений? За что духовные особы получали бы плату, если бы не должны были отпускать грехи людям? Что бы тогда делали духовники пап, орденских генералов, инквизиторов, епископов, архимандритов, если бы не существовало дьявольского искушения? И оно всюду есть: только лишь ударит колокол — черт усыпляет монаха, ночью же мешает ему спать. Держит монах во время проповеди впереди себя руку, чтобы не уснуть, — черт же кусает, точно блоха, пока он не спрячет руку под рясу и не захрапит. Черт забирается в желудок во время поста, возбуждая чертовский аппетит, держит за ноги, когда надо идти на работу, влезает в мозг — возбуждает зависть и жадность, вселяется в бренную плоть и толкает к прелюбодеянию... Черт ныне подослал к патеру Лятерне прекрасную Льонцю, и он, с нетерпением ожидая ее, поражается всемогуществу нечистой силы и благодарит ее за тот грех, что свершится, и в памяти отыскивает самые красноречивые молитвы, которыми будет замаливать грех.

А Льонцю, шедшую в сопровождении монаха, встретил Барон и стал требовать, чтобы она пошла с ним. Почему не может с ним пойти проститутка, коль у него

есть деньги? Проститутка, не желающая идти с клиентом, сама отрицает свое ремесло, и ее следует лишить заработка. Она может торговаться, но не пойти не имеет права, ведь зачем тогда вообще существуют проститутки?

Барон одной рукой оттолкнул монаха и, звеня серебряными монетами, другой тащил Льонцю к себе. Но что это такое: еще можно как-то понять Рогатинца, который не захотел выпить с ним на людях, но ты, уличная шлюха, как смеешь отказываться идти со мной, Бароном?

Льонця вырвала руку у Блазия и плюнула ему в лицо.

— Со всеми пойду, со всеми! Да, это моя работа и мой хлеб, но с тобой, продажной скотиной, никогда!

Патер Лятерна просиял, когда в каплицу вошла желанная девица. Он молитвенно сложил руки, но, опомнившись, что за такое не благодарят бога, опустил их, черта же благодарить не нужно, тот сам берет себе плату, когда наступит время: голодный, измученный годичным воздержанием отец бросился к Льонце, но тут же вспомнил о своей обязанности перед епископом, и вдруг его мозг осенила спасительная мысль:

— Поедешь сейчас со мной!

— А разве не тут? — скривилась усталая Льонця.

— Нет, не тут, не тут, в Высокий замок поедем — на шабаш!

— Святой отец, что вы говорите? — засмеялась Льонця. — Это же большой грех — священной особе ехать на шабаш!

— Грех? — махнул рукой Лятерна. — Их эксцеленция Соликовский еще двадцать лет тому назад выпросил у папы отпущение грехов всем членам нашего ордена! Я представлю тебя на собрании братства Магдалены как прозелитку [1]. Поедем скорее!

— Боже мой, — прошептала Льонця, — неужели это на самом деле может быть... Всех сверху донизу опутала нечистая сила... Всюду шабаш, всюду шабаш... Отче! — воскликнула. — Я не поеду, я боюсь...

— Dominus tecum! [2] — захохотал Лятерна, и девушка ужаснулась, увидев сатанинский оскал его зубов.

Сегодня Барон совсем обескуражен: с ним не хочет разговаривать даже проститутка. Это уже конец...

---

[1] Прозелитка — обращенная язычница *(греч.)*.

[2] Бог с тобой! *(лат.)*.

Вчера, когда Рогатинец отказался пойти выпить с ним, а Антипка намекнул, что на его месте сидит уже кто-то другой, он еще раз вернулся в пивную Корнякта и за столиком, отведенным для него, увидел сапожника, который когда-то настолько уменьшился в росте, что мог поместиться в кармане черта. Теперь сапожник, нормального роста, сидел на месте Барона, потягивал из кружки пиво — то самое пиво, которое до сих пор предназначалось только ему, Барону, и закусывал свежей рыбой; выражение лица у сапожника было высокомерное, независимое, свидетельствовавшее о его превосходстве, — подобно тому, какое было у Блазия, когда он был еще в милости; мозг его пронзила мысль — когда же, в какой момент он утратил эту милость, ведь еще недавно ему казалось, что она будет прочной, настоящей, вечной. Одно утешало его: он увидел, что у сапожника почернел передний зуб, — начал портиться и его преемник, начал, и сгниет!

Антох вышел из подвала, как побитый пес. Сапожник сделал вид, что не узнал его, шинкарка, которая еще сегодня утром любезно улыбалась ему, отвернулась — и сюда ему закрыт доступ, а куда теперь податься? У Барона еще были деньги, он вспомнил о Льонце, самой красивой проститутке Львова, и пошел на Русскую улицу, чтобы утешиться и забыть свое горе, вчера и сегодня искал ее, нашел, а теперь тащился оплеванный по задворкам Краковского предместья, смутно предчувствуя, что погибает, никто уже не поможет ему, а мозг все больше жгла мысль: где же я так жестоко споткнулся?

Преступника нашел — все шло как нельзя лучше. Его пригласили на бал в дом Гуттера. Он сидел за столом на почетном месте, и никто не прерывал его пьяных выкриков...

Может, из-за того, что узнал Льонцю и был зачинщиком скандала? Но ведь этого хотел Кампиан и, в конце концов, Бялоскурских не наказали... После казни Дратвы Барон долго не появлялся в городе, слишком взбудоражился народ: неужели тогда этот сапожник, занявший его место, добился милости у Антипа? Нет, не тогда это случилось, в позапрошлом году. Блазий вспомнил... В Высоком замке происходило заседание братства Магдалены. Подвыпившие паны хохотали, бесились, никто уже никого не слушал, Антипка же хотел провозгласить тост за Люцифера, он так и сказал Барону: «Хочу выпить за

Люцифера, он же и разрешил мне побыть в этом обществе». «Где же Люцифер?» — спросил Барон. «А сейчас увидишь». Антипка дважды поднимался, но голос его терялся в содомском шуме. Черта это заело, и он рассердился: да вы же без меня и шага не можете сделать, но на каждом шагу унижаете? — он послал на панов наваждение. Барон видел, как черт вытаращил глаза. Все тотчас умолкли и, открыв рты, сидели и стояли там, где находились, это выглядело очень смешно: Антипка провозгласил длинный тост, Соликовский почему-то довольно поддакивал ему, кивая головой, а вельможи вынуждены были слушать с уродливо искривленными ртами. Барон не удержался и захохотал. И если б не этот хохот, никто бы не заметил чертовой шутки, теперь же они посмотрели друг на друга и ужаснулись: какой стыд!

Антипка произнес тост, снял наваждение, и тогда возмущенные паны прогнали его из зала.

«Ты дурак, — потом сказал черт Барону. — Надо знать, когда говорить, когда смеяться, а когда и помолчать. Придется кого-то другого подыскать».

Однако Блазий остался на своем месте, продолжал пить у Корнякта вместе с Антипкой, будто ничего и не случилось, но Соликовский почему-то не стал принимать его. Он выстаивал часами в передней архиепископа, в магистратской приемной бургомистра Вольфа Шольца, но слыхал от слуг только один ответ: ни архиепископ, ни бургомистр сегодня не принимают. Жаловался Антипке, но тот только разводил руками: «Я тут ни при чем. Видимо, тогда, когда меня прогнали, с тобой что-то случилось во время шабаша. Ты же был пьян и глуп».

Слоняясь по переулкам предместья, Блазий обстоятельно продумывал каждый свой шаг, каждое слово, и вдруг в туманной памяти возникло видение...

Когда прогнали черта, у панов и дам появился снова дар речи, они продолжали петь и смеяться. Барон пил, набожно смотрел на Соликовского и заметил, что у того появились рога надо лбом, из-под сутаны показался длинный хвост; он теперь понял, кто Люцифер; паны — дьяволы, а дамы — ведьмы, они быстро выстроились в очередь, чтобы целовать сатане зад.

А Барон не пошел, он один не стал чертом; кто-то стал подталкивать его, Барон упирался; его насильно подвели, он повалился в ноги сатане, чтобы поцеловать его копыта, сатана же ждал верноподданнического по-

целуя и приседал, Барон готов уже был и это сделать, но упал и не смог дотянуться.

Потом потерял сознание, а когда пришел в себя — лежал под столом; Соликовский злобно тыкал ему туфлей в лицо, кто-то из слуг схватил его за ноги и потащил к двери, Барон услышал слова архиепископа:

— Уберите прочь этого мерзавца!

— Такое было, было! Неужели ничего нельзя исправить?

Услышал позади себя цокот конских копыт, оглянулся: в фаэтоне сидел патер Лятерна, рядом с ним женщина с закрытым вуалью лицом — Барон понял, что патер едет на очередной шабаш братства Магдалены; это последняя возможность попасть еще раз к сильным мира сего и показать себя там. Он не будет теперь дураком, будет вести себя умно, послушно, меньше будет пить, тысячу раз поцелует туда, куда только велят. Он побежал за фаэтоном, умоляя ректора иезуитской коллегии:

— Возьмите меня с собой ради всех чистых и нечистых сил, возьмите!

Патер повернул назад голову и презрительно ответил:

— Осла берут на свадьбу не для того, чтобы он сидел за столом, а чтобы таскал воду и дрова на кухне. Ты тогда этого не понимал... Погоняй быстрее, — сказал он вознице.

Барон долго стоял, опустив плечи, доставал из кармана серебряные монеты, подкидывал их в руке и клал обратно, потом вспомнил о борделе на Вексклярской улице и сокрушенно улыбнулся:

— Там меня примут...

Абрекова и Пысьо очень устали сегодня, убирая весь день рыночную площадь от мусора после «смоленской битвы». Они заработали в этот день шесть грошей. Пысьо выклянчил у жены два гроша и пошел к Лысому Мацьку, не заходя домой. Абрекова искоса глянула на монаха, который звал Льонцю, «не сатана ли?», подумала. Льонця засмеялась и пошла следом за монахом; мать, не раздеваясь, упала, как сноп, на топчан и задремала. Вдруг скрипнула дверь. Абрекова с усилием приоткрыла один глаз: у порога стоял тот же самый монах. «Исчезни...» — прошептала, и монах превратился в черного кота; Абрекова поняла, что ее начал одолевать сон, и

сомкнула веки. Кот подскочил, трижды перевернулся в воздухе и, превратившись в дьявола, высунул, словно мучимый жаждой пес, красный язык.

— Собирайся на шабаш! — расставил он пальцы над головой Абрековой. — Ты же ведьма. Поживее, поживее!

— Какая я ведьма? — простонала во сне женщина. — Недавно была в церкви, молилась сегодня...

Дьявол развел руками.

— Все знают, что ты ведьма — хиромантка, гадалка! Мне приказано взять тебя. Вот метла, садись, вот так... а я сзади и — поехали!

А потом было так, как бывает иногда во сне.

Черт пронзительно засвистел, метла перелетела через дом, опустилась в печь, труба разошлась, Абрекова вместе с чертом поднялась в небо и вмиг оказалась на Кальварии, недалеко от Высокого замка, на том месте, где нечистые всегда собирались для своих забав.

Черт, слава богу, забыл об Абрековой, как только метла опустилась у подножия горы: на вершине пылал зеленый костер, вокруг него с нечеловеческим визгом, противно кривляясь, кружились в дикой пляске хвостатые и рогатые тени — у черта задрожали поджилки, он не удержался, оставил Абрекову с метлой, а сам ускакал на вершину горы.

Возле костра, куда небольшие, со свиными мордами черти подбрасывали человеческие кости, за высоким корявым пнем стоял Люцифер в черной сутане, с изогнутыми, как у валашского барана, рогами; Абрекова внимательно присмотрелась и чуть было не вскрикнула от удивления: Люцифер был похож на архиепископа Соликовского, он выглядел сейчас так, как его рисовали на карикатурах неизвестные художники, одна и сегодня утром висела у нее над окном; и ничего странного нет, что у Соликовского сатанинский лик, — на Русской улице все его называют Вельзевулом, да еще и говорят, что у него слуги — черти. Рядом с Люцифером — Соликовским — стоял в черной рясе с белой пелериной, и тоже с рогами, только меньшими, патер Лятерна; вельможные чиновники магистрата во главе со старостой Ежи Мнишеком и бургомистром Вольфом Шольцем, из-под кунтушей которых виднелись поджатые хвосты, стояли полукругом; неподалеку от них скребли гвоздями по пилам музыканты с синими, как пупок, рожами, тарабанили, ударяя в куски жести, били хвостами в бубны; вокруг костра ме-

талась нечистая сила, а когда музыка утихала, черти кланялись Люциферу, поворачиваясь к нему задом.

Люцифер смеялся, радовался, что дьявольский сонм так весело развлекает его. Он ударил железными вилами в пень, и из него фонтаном брызнули две струйки вина; музыканты умолкли, нечистые кланялись, пили, хлебали, умывались вином, купались в нем, а опьянев, начали плевать на крест, который смастерили тут же из двух брусьев.

Вдруг что-то в воздухе загудело — Абрекова даже пригнулась, — и возле костра опустились две бочки с вином, на них сидели два брата Бялоскурские, тоже с рогами, и, повернувшись спиной, почтительно поприветствовали Люцифера, а потом братья подошли к нему и поцеловали в то место, на котором он сидит.

Радостный хохот раздался над Кальварией, видимо, Бялоскурских с нетерпением ждали тут, без них нельзя начать настоящий шабаш; им подносили кружки с вином и по кружочку жареных гадюк, они пили и жрали, а когда насытились, Люцифер поднял вверх железный трезубец.

Гремела музыка, от которой можно было оглохнуть, пение было похоже на вой собак, а потом из темноты вышли к костру длинноволосые, голые, в чем мать родила, молодые ведьмы, и среди них Абрекова узнала пухленькую Дороту Лоренцович и свою беспутную красивую Льонцю.

Абрекова вскрикнула и побежала вниз, где оставила метлу. Там ее не оказалось, женщину бросило в холодный пот, и она проснулась.

— Свят-свят, — перекрестилась, — где-то теперь моя бедная Льонця?

Патер Лятерна приложил ухо к двери банкетного зала, в котором заседало братство Магдалены: тихое шамканье перебивал глухой далекий голос. Удивился: время уже вечернее, братская молитва давно должна была кончиться. Он надеялся услышать шум и звон бокалов, но ни один веселый звук не ласкал его слух; Лятерна, сокрушаясь душевно, понял, что старый хорь, перед смертью сводя счеты с совестью, решил, очевидно, превратить веселое братство земных утех в добропорядочное и покаянное, по примеру братства Божьего тела, в котором

спасают свои души фанатики, нищие или чудачки, подобные покойной Грете Рогатинец.

Он с отчаянием посмотрел на прекрасную Льонцю, тихонько приоткрыл дверь: в глубине зала восседал в кресле Соликовский, паны и дамы стояли, склонив головы в напускной покорности, слушали архиепископа; тот говорил медленно, но властно, и, прислушиваясь к содержанию его речи, патер окончательно убедился: оставь надежды на веселье и утехи всяк сюда входящий.

— Ахиллес учился у кентавра Хирона — получеловека и полулошади, — все громче и громче продолжал Соликовский. — Почему вы отвергли это учение? Почему до сих пор, будучи людьми, не превратились в хищных зверей? Боитесь греха? Греха для вас не существует! Действуйте вопреки законам совести, милосердия, человеколюбия, все ваши деяния будут достойны похвалы, если они будут служить одной цели — превращению людей всего мира в католиков. Почему мы, пан Мнишек, проиграли — да, проиграли! — войну с Москвой? Почему польская шляхта, которая ведет свое начало от сарматов, не сумела покорить московское племя? Потому что мы не знаем учения кентавра Хирона. Как люди — мы не владеем искусством лжи и лицемерия. Мы аки звери — телки, а не тигры. Могли ль мы выиграть эту войну, не убив в себе добросердечность, которая подтачивает наше мужество, словно червь — дерево? Когда мы выводили еретика на площадь, чтобы люди избили его камнями? Почему до сих пор не убедили каждого католика в том, что убить схизматика — это благодеяние прежде всего для него самого, ибо чем дольше будет жить на свете схизматик, тем больше он согрешит! Король не разрешил этого? Пусть будет так. Но он и не говорил о том, что надо разыскивать того, кто запалил еретическую божницу!

Шорох в зале совсем стих, проповедь Соликовского разбудила в собравшихся тут для прелюбодеяний зверей, жаждущих крови: у мужчин сжимались кулаки, женщины склонили головы, готовые благословить мужей на кровопролитие. Льонця присматривалась к ним, стоя у дверей. Среди Мнишеков, Шольцев, Соликовских она увидела добропорядочную и набожную Дороту Лоренцович — ничего удивительного. Льонцю не удивило даже то, что на собрании христианского братства рядом с Мнишеком стоит иудейка — жена сеньора еврейской

общины Нахмана Изаковича Золотая Роза, которую евреи нарекли святой. Все это давно понятно: мир в своей отвратительности — обычный и будничный, но Льонця заметила, что проповедь архиепископа наложила на лица присутствующих печать жестокости. Она вспомнила бал в доме Гуттера — это же те самые, что четыре года назад убили ее Антонио!

Она попятилась назад, готовая сломя голову бежать из замка, но в этот момент из толпы вышел высокий мужчина; подняв вверх сжатый кулак, он крикнул:

— Я буду жечь!

Льонця узнала: это был Янко Бялоскурский.

— Absolvo te[1], — произнес торжественно архиепископ. — Как я устал, мои дорогие... Всю свою жизнь сражаюсь я за могущество католической церкви... Принесите вина. Пейте, веселитесь, ибо беда надвигается на нас, и может случиться так, что для веселья потом не хватит времени. Gaudeamus! [2]

Патер Лятерна облегченно вздохнул: благодарение богу, его эксцеленция выдохся... Кого он призывает к войне за апостольскую церковь? Дряхлых патрициев и их наложниц, которые пришли сюда закалять не дух, а услаждать тело? Оставьте, ваше преподобие, эти дела нам, иезуитской коллегии, мы знаем учение Хирона и прививаем его молодым сильным юношам, которые завтра без ваших призывов выйдут на площади, ворвутся в дома, в души, в сердца, выжгут огнем и уничтожат мечом схизматиков. Оставьте это нам, не берите на себя много, уступите наконец место молодым, ибо вы уже труха. Начинайте банкет, справим ныне по вам тризну!

Льонця оцепенела. Как это так, как же это так, что Янко, против которого она выступала свидетельницей на суде, осужденный заочно на вечное заключение, — тут, явно, открыто находится среди своих судей и имеет право голоса, имеет власть, силу?!

Члены братства Магдалены усаживались за столы, слуги вкатили бочку вина, патер Лятерна, покорно склонившись, подошел к архиепископу, Льонця двинулась с места.

Она шла через зал, на нее смотрели все и удивлялись, как здесь оказалась незнакомая красавица в дешевень-

---

[1] Отпускаю тебе грехи *(лат.)*.
[2] Веселимся! *(лат.)*.



ком платье; Янко стоял в конце зала и разговаривал с пани Доротой; в глазах Льонци туманилось, лицо Янко становилось все больше и больше, наконец оно — перед ней; Бялоскурский сразу понял, что эта девица направляется именно к нему, и старался вспомнить, где видел ее, а Льонця размахнулась и ударила Янка по лицу.

— Убийца... — прошипела она. — Упырь. — Льонця

поднесла к его глазам руку с перстнем. — Узнаешь? Оно у меня, не убил ты Антонио во мне, не убил ты еще во мне человека!

— Проститутка, проститутка среди нас! — завизжала пани Дорота. — Воровка! Мой перстень у нее на руке!

— А ты кто? — набросилась на нее Льонця. — Кто ты, коли пришла сюда? Сколько денег за сегодняшний шабаш принесешь мужу, сколько себе спрячешь, чтобы покупать у убийц обручальные кольца?

— Кто это, кто это? — поднялся из-за стола архиепископ. — Патер Лятерна, кого вы привели?

— Ваша эксцеленция, я... я не знаю...

— Знает! — повернулась к нему Льонця. — Привел проститутку на шабаш шлюх, содомитов, убийц! Платите деньги, святой отче!

Рассвирепевшая фурия подступала к столу. Ошеломленные члены братства Магдалены повскакивали с мест, стали пятиться назад. Льонця наступала, она хватала со стола кувшины, бокалы и бросала ими в вельмож, сбившихся кучкой в конце зала. Но, предчувствуя беду, оглянулась: сзади к ней подкрадывался Бялоскурский. Из кувшина, который она только что схватила со стола, выплеснула ему все вино в лицо и стрелой вылетела из зала.

Теперь ею овладел страх: ее убьют, растерзают, весь сонм развратного братства предстал в ее воображении сейчас в виде стаи дьяволов, которые слетаются на Кальварию устраивать людоедский шабаш; адская музыка заполняла длинный и узкий сводчатый коридор, скрип гвоздей по пилам разрывал мозг, перед глазами раскачивался зеленый костер, вокруг которого безумствовала нечистая сила, к Люциферу с лицом Соликовского подвели голую Льонцю на растерзание, дьявол Бялоскурский вытащил нож...

Абрековой снился кошмарный сон...

Льонця долго бежала по извилистым коридорам и остановилась, дальше бежать было некуда; увидела лишь единственное спасение — небольшое незарешеченное окошко. Ударила кулаком по стеклу, высунулась: внизу темно и глубоко. Бросилась в темноту, словно в воду.

Пришла в себя только перед рассветом на склоне Замковой горы. Как перелезла через стену, не помнила. Оборванная, покалеченная, подходила к Русской улице со стороны еврейского квартала. Возле дома Нахмана

Изаковича увидела Золотую Розу, которая украдкой отпирала дверь.

— Ах, какое вы бедное, племя Израиля, — покачала Льонця головой. — Вас бьют, преследуют, но в ваших руках все — от магистрата до синагоги.

— Каждый делает, что может и как может — для себя и для своих братьев, — ответила Роза. — А ты не ходи домой, за тобой придут. Беги, пока не поздно...

Льонця недолго колебалась. Повернулась и пошла по Козельницкой дороге — куда глаза глядят.

Утром к Абрековой пришли цепаки. Обыскали все в доме. Пани Лоренцович при свидетелях высыпала из медного кувшина золото. Стала перебирать его. Перстня с брильянтом, обрамленным золотой короной, не было. Искали Льонцю — напрасно, как в воду канула.

За нарушение тишины в городе, за потворство преступникам, которые наклеивали над ее окном бунтарские пасквили, за знахарство и кражу золота Абрекову заключили в Пекарскую башню.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

К ВЫСШЕЙ СЛАВЕ БОГА!

> Одним из старейших учебных заведений ордена иезуитов является папский университет в Риме. Тут работают «специалисты» по вопросам коммунизма. Ныне в нем обучается около двух тысяч лиц из многих стран мира. Среди выпускников этого университета — папа Пий XII и папа Павел VI, сотни кардиналов и епископов.
>
> *Из современной прессы*

Ключ тихо повернулся в замке входной двери, она бесшумно приоткрылась, Роза вошла в переднюю, остановилась перед зеркалом и, разглядывая себя, произнесла:

— Хватит... Не могу больше... Да уже и не нужно...

Сказала это, и на душе стало легче, она устала от грубых ласк бессильного старца. Слава богу, что до сих пор не попалась, кто бы ей простил, если бы узнал, почему Мнишек в тот тревожный летний день 1607 года был таким милостивым: подарил еврейской общине грамоту на постройку синагоги да еще в придачу отдал гли-

нянскую таможню мужу Розы — сеньору общины Нахману Изаковичу.

А может, знают? Может, эта наивная легенда о мифической Золотой Розе, которая принесла старосте золото за синагогу и пронзила свое сердце кинжалом, когда он захотел овладеть ее телом, сложена для нее, чтобы оградить и ее, и еврейскую общину от позора; раввин каждую субботу читал из святой книги эту легенду в синагоге, Роза ловила на себе чьи-то осуждающие и набожные взгляды и думала: о ней эта легенда сложена или нет, знают или нет, чем она до сегодняшнего дня платит старосте Мнишеку за его грамоты?

Роза разделась, сунула ноги в мягкие шлепанцы и пошла в спальню. Неожиданно заскрипела кровать, Роза испуганно посмотрела на мужа, который лежал к ней спиной и спал; утомленная бурной ночью, Роза сразу расслабилась и перед тем, как крепко заснуть, еще раз посмотрела на мужа.

Ужаснулась: Нахман лежал на спине, выпученными глазами уставился в потолок и беззвучно шевелил губами, — очевидно, подсчитывал доходы глинянской таможни или процент от ссуды Вольфу Шольцу. Он искоса посмотрел на Розу, высунул из-под одеяла руку и, погладив ее по лицу, сказал:

— Спи.

Роза порывисто подняла голову с подушки — «знает, вся община знает!» — и произнесла, задыхаясь:

— Душно у нас... Я выходила подышать воздухом. Такая теплая ночь...

— Спи, Роза, — спокойно промолвил Нахман. — Мне все известно. Я знал об этом с самого начала. Я знал об этом еще перед началом. Ну и что?

Роза вскочила с кровати, попятилась к двери; Нахман смотрел в потолок и беззвучно шевелил губами; жене вдруг показалось, что ее нет, не существует, ведь как же так: всем известно — и никто... Бросилась к мужу, вцепилась пальцами в полы его халата и истерически закричала:

— Ну и что? Как — ну и что?.. Почему же никто не насмехается надо мной, не освистывает, не бросает в меня камнями, почему?

— Ша-а, что она говорит!.. — Нахман снова погладил рукой ее кудрявые волосы и набожно произнес: — Ты кудойша, мученица за веру. Кто осмелится поднять руку

на святую, кто? Ты дала общине синагогу, а мне — глинянскую таможню, найди кого-нибудь другого в нашем гетто, кто мог сделать это. Бедные и богатые жиды молятся за здоровье своей Güldene Rojse [1].

— Güldene Rojse?! Но ведь та, сказочная Роза наложила на себя руки, чтобы не стать наложницей старосты... Разве я могу сравниться с ней?

— Ну, теперь еще нет... А через сто лет — кто будет спрашивать, сколько ты жила и жила ли после того, как пошла к старосте с золотом? Бедные глупые пейсахи начали хулить тебя, а зачем бог наградил богатых умом? Ну, так мы записали в святую книгу, а что записано в святой книге, тому должны верить...

— Но ведь я наложница, наложница Мнишека, — простонала Роза. — И больше не хочу, не могу! О Нахман, как же это так, что ты до сих пор не убил меня за такое падение?

— Ты дала бедноте святыню, а мне таможню. Тебя сделали святой, а святые греха не имут. Ты убила себя во имя нашей общины, в книге так и записано...

— Так я живу или не живу на свете?

— Почему тебя это так волнует? Ты кудойша, и никто не разрешит теперь тебе отступить. Кагал осудит тебя, если мы потеряем таможню, бедные евреи растерзают твое тело, если магистрат отберет у них синагогу. Спи, ты устала...

Нахман снова вперил глаза в потолок и беззвучно шевелил губами. Роза легла рядом и, успокоившись, прошептала:

— А я, глупая, столько лет жила в страхе, не зная, что за это меня еще сделают святой... O mein Gott, есть ли на свете такое, что не продается и не покупается?

— Все, все за деньги, Роза, — ответил Нахман. — А ты наше сокровище, поэтому и нарекли тебя Золотой.

Бывший враг иезуитов польный гетман Жолкевский одержал победу в пользу иезуитов. В начале лета 1607 года после разгрома рокошан — мятежников Зебржидовского — у Гудзова он, отказавшись от торжественного банкета в доме Гуттера и переночевав в Нижнем замке, на другой день выехал из Львова в Жолкву, не ведая

---

[1] Золотая Роза *(нем.)*.

о том, что убит Массари. Духовник пани Регины Жолкевской, патер Лятерна, опередил гетмана на целый час; он должен был обсудить с гетманом весьма важное дело во время банкета, однако Жолкевский туда не пришел — это и кстати. Пока дойдет до него слух об убийстве венецианского консула, пока гнев растравит сердце, Лятерна с Региной устроят свои дела в Жолкве. На рассвете патер скакал на бричке по Волынскому тракту.

Гетман на белом в яблоках коне ехал впереди хоругви. Он был мрачен, угнетали его и пролитая братская кровь, и еще больше — сознание того, что находится теперь в полной зависимости от Сигизмунда III и Петра Скарги. Жолкевский не хотел гражданской войны в стране, а вынужден был стать пацификатором Речи Посполитой; гетман заранее предчувствовал поражение и все же вскоре должен был двинуться со своими войсками на Москву. Он понимал, что иезуиты, против которых выступали рокошане-мятежники, в течение двух-трех лет опутают своей паутиной всю Польшу, и превратится она в жестокое для самих поляков теократическое государство, но битву под Гудзовом выиграл он для них. Храбрый и прославленный воин Станислав Жолкевский стал слепым орудием в руках короля и Скарги.

Гетман хотел сейчас только одного — отдохнуть около жены Регины перед походом на Москву.

На всех башнях Жолкевского замка заиграли трубы, широко открылись ворота, на ретивом скакуне въехал гетман в имение и был поражен: впереди придворной знати и служащих шел навстречу ему с крестом в руке патер Лятерна — львовский иезуитский супериор — правая рука Соликовского.

Кровь ударила в лицо Жолкевскому: по чьему велению? Патер Лятерна поднял правую руку, чтобы благословить региментатора, левую с распятием протянул для поцелуя; Жолкевский соскочил с коня и, пройдя мимо патера, злой и решительный, направился в свой дворец: уже и Соликовский посягает на свободу гетмана? В имении воцарилась напряженная тишина.

Из парадной двери дворца вышла в длинном черном платье пани Регина — одна, без сопровождения дам, она подбежала к гетману и упала перед ним на колени.

— Прости меня, муж, мне страшно было без тебя... Но ведь ты карал врагов служителей Иисуса, так к кому я должна была обратиться с просьбой прислать мне ду-

ховника, как не к покровителю иезуитов его экселенции Соликовскому. А патер Лятерна вселял покой в мою встревоженную душу и наставлял. Муж мой, умоляю как шляхтянка шляхтича: укроти свою неприязнь к святому Христову ордену, ибо только его слуги вдохновят наш народ на борьбу против великого мира схизматиков, только они сумеют вселить мужество и ненависть в сердца наших воинов, которых ты завтра поведешь на Москву!

Жолкевский наклонился, чтобы поднять жену, но она схватила его за руки и, не вставая с колен, продолжала умолять:

— Станислав, мне приснился сон... Я видела скрещенные, словно рапиры, крест и меч. Меч в твоей руке, крест — у отца-иезуита. Поклянись мне здесь, сейчас, что разрешишь ввести в безбожный иудейский храм, которому теперь не место в христианском Львове, святых иезуитов, чтобы у них был свой дом, чтобы еще один крест стал возвышаться над нашим городом. Обещай мне, муж, я не встану с колен до тех пор, пока...

Жолкевский понял: все это дело рук Соликовского. Петля затянута, отступать некуда — сам уничтожил своих союзников у Гудзова. «А кто его знает, — подумал, — может, так и нужно... Может, действительно иезуиты — перст божий?»

— Встань, жена, — сказал хмуро. — Встань. Я обещаю.

Сеньор еврейской общины Нахман Изакович вышел на балкон своего дома, который загораживал собой невысокую готическую синагогу, прислоненную задней стеной к городскому арсеналу, и перед безмолвной толпой разорвал на себе камзол.

Громкие стенания ударились о стены гетто. Старые женщины срывали с голов чепцы и рвали волосы, мужчины били себя кулаками в грудь, девушки напевно голосили, поднимая над головами скрещенные руки, перепуганные дети кричали — рыдания, вопли, каких не было даже во время погромов, пронеслись над всем городом и вдруг утихли: Нахман застегнул камзол.

— Братья, рыдания нам не помогут, только сам бог, — и сеньор общины, подняв руки, возвел к небу свои выпученные глаза. — Пусть ни единая слеза боль-

ше не упадет из глаз ваших, ни одна рука пусть не протянется за камнем — власти прислали нам этот страшный рескрипт, а всякая власть — от бога. Так давайте помолимся ему, чтобы смягчил свой тяжкий приговор. Помолимся!

Евреи общины разом упали на колени, шепотом, напевно и выкрикивая, начали петь псалмы Давида. Прислонился лицом к поручням галереи и Нахман, но ненадолго. Он выпрямился и вытащил из кармана рескрипт магистрата.

— Братья, слушайте все, что по велению божьему написано в этом государственном документе. В нем записано, что евреям запрещается иметь в христианских городах свои молитвенные дома...

— Ой вей, ой вей! — застонала община.

— Ша! — протянул руку Нахман. — Рескрипт гласит, что итальянский строитель Павел Римлянин не мог построить нам этой синагоги, разве может христианин возводить еврейские святыни? Так если он не мог построить, значит, не построил, а если не построил, так ее нет...

Пораженная толпа молчала.

— Удивляетесь, куда она делась? А это не синагога, а молитвенный дом семьи Нахмана Изаковича, который построил ему отец или брат его — сказано же, что не Павел Римлянин!

— Йо, йо! — зашумела толпа. — Это действительно молитвенный дом пана сеньора!

— Ша!.. Но в рескрипте львовского старосты сказано еще и то, что я незаконно взял под свой молитвенный дом плац, на котором когда-то стояла мельница олесского старосты...

— Ну и что? — послышался чей-то крик.

— Что — ну и что? Ша... Нам нельзя строить синагоги, и нам Павел Римлянин ее не строил. Так записано черным по белому. Но мы незаконно завладели землей, и ее надо выкупить у старосты. Сегодня надо выкупить, ибо завтра придут сюда отцы иезуиты, сорвут со стены священные скрижали Моисея, унесут стол для святого письма, поломают подсвечники, опрокинут бочку с водой для мытья рук, посрывают светильники с потолка и оставят только скамьи, а на крыше установят крест. А вы — ну и что...

— Ну так что? — снова раздался голос из толпы.

— Раз вы спрашиваете, тогда я отвечу: выкладывайте сейчас деньги на стол, что стоит возле меня!

Никто не тронулся с места: дать деньги было труднее, чем поднимать гвалт.

Тогда из толпы выползла на четвереньках нищенка Хайка, которая просила милостыню у синагоги, поднялась и медленно поплелась к галерее. Вытащила из большой сумы мешочек и подала Нахману.

— Что — ну и что? — повернулась она лицом к толпе. — Я должна, потому что, если отберут синагогу, тогда где прикажете мне просить милостыню?

Евреи опустили головы, сеньор Изакович высыпал из Хайкиного мешочка на стол медяки и серебро, подсчитал, потом посмотрел на людей и укоризненно покачал головой.

— Вей мир, как не стыдно — бедная Хайка пожертвовала девять злотых и шесть грошей, а вы — в шелковых мантиях, в бархатных ермолках — не хотите вывернуть свои карманы? Ну-ну, Хайка поняла, что ей негде будет просить милостыню, а почему бургомистр кагала не подумает о том, где он будет вершить суд? А кантор куда будет сзывать правоверных на молитву? А где будет отправлять службу раввин? Где помолится за удачную торговлю купец, а резник, шапочник, ювелир вымолят у бога удачи, где, наконец, грешник замолит свои грехи? Где, спрашиваю? А мы все грешные, все!

Вначале по одному, а потом дружнее стали подходить евреи к галерее и бросать на стол деньги. Куча драгоценного металла росла, росла, а когда прошли все члены общины, Хайка снова подошла к Нахману и спросила:

— А почему ты, Нахман, ничего не даешь, разве ты святой?

Сеньор не ответил. Повернулся, вошел в комнату, а потом вышел не один. Рядом с ним стояла черноглазая женщина с длинными цвета вороньего крыла кудрями — Роза Нахман, о красоте которой говорили во всем старостве.

— Эти деньги отнесет Мнишеку моя Роза. Так желает пан староста, — сказал Нахман.

Роза вздрогнула, испуганными глазами посмотрела на мужа, толпа зашумела, Нахман собрал в сумку деньги и подал жене.

— А теперь иди. Тебя посылает вся община, как

Юдифь в лагерь Олоферна. Юдифь принесла голову, ты принесешь грамоту.

— Вей, вей, наша Güldene Rojse! — воскликнула Хайка и захохотала. — Она сама золото, сама золото!

Кто-то оттолкнул нищенку, и она исчезла под ногами толпы.

В тот день староста Ежи Мнишек велел иезуитам занять под свой дом королевскую баню, а еврейской общине подарил синагогу и в придачу — глинянскую таможню.

Так Роза Нахман творила в спальне Мнишека легенды.

Приглашение, с которым пришел к Шимону Шимоновичу посыльный Соликовского, прозвучало как приказ. Архиепископ сообщал, что на плацу справа от Нижнего замка возле бывшей королевской бани состоится торжественное открытие иезуитского дома и будет заложен фундамент для строительства костела иезуитов; присутствие знаменитого поэта весьма желательно и просто необходимо — poeta clarus[1] должен приветствовать введение солидасов Иисуса во храм.

Шимонович думал: когда он дал повод Соликовскому распоряжаться его временем, волей, желаниями и даже — его словом? Разве не известно архиепископу, что Шимонович сочувствовал мятежникам и высказывался против ордена? Впрочем, противником ордена был и Жолкевский, а ныне и он, и его зять Ян Данилович, как сообщалось в приглашении, собственноручно заложат первый кирпич в фундамент иезуитского костела. Как же случилось, что против воли народа, политиков, мыслителей черный орден проникает во все поры Речи Посполитой?

В памяти всплыли слова Гербурта — политика Яна Щенсного, приговоренного теперь к казни; он произнес на съезде мятежников в Сандомире в прошлом году речь — в списках она распространялась по всей Польше.

«Кто убил французского короля? Иезуиты. Кто был зачинщиком ребелии в Венгрии, кто явился причиной скандала в Англии? Кто послал Лжедмитрия на Москву и создал для нас смертельную опасность? Иезуиты! При

[1] Выдающийся поэт *(лат.)*.

королевском дворе — распри, интриги, междоусобица, ослабляющие нашу отчизну. Посмотрите, к чему привела нас московская авантюра! Не иезуитам, а нашим рыцарям мстят за содеянные преступления! За что гибнут наши сыновья в чужой стране? Надо бороться с иезуитами с еще большим упорством, чем с татарами, ведь это враги в нашем же доме!»

Разве можно придумать более правдивые слова, но никто из вершителей судьбы Речи Посполитой не откликнулся на них.

Мой старый друг Жолкевский поддерживает их.

А что я мог один сделать? Впрочем, нынешнее мое слово будет предано забвению, развеется, словно от сухого фитиля дым...

Их было намного больше, чем мог представить себе Шимон Шимонович, черных жуков в реверендах-ризах с белыми пелеринами, в низких широкополых шляпах, с усами и клинообразными бородами, с крестами и орденами на шее.

Поэт поежился: когда они успели размножиться так во Львове? Ведь до сих пор о них, солидасах Иисуса, только говорили: против них выступали лишь как против идеи и поддерживали их с амвонов — тоже лишь как идею, но никто их нигде не видел в таком количестве... Шимонович вспомнил несчастного Кампиана, который почувствовал, что заражен страшной болезнью, когда в один миг пошли синеватые пятна по всему телу.

Шимонович неотвратимо приближался к страшному черному полукольцу святых отцов, которые, склонив головы до такой степени, чтобы смотреть не выше подбородка Соликовского, кратко и дружно провозглашали после каждого стиха молебна сакраментальную фразу: «Ad maiorem Dei gloriam!» [1]

Уйти? Но возможно ли, когда там уже стоит Жолкевский, который, очевидно, велел пригласить меня на это сборище, чтобы не быть одиноким в своем поражении. Все во имя высшей славы бога: независимость Жолкевского — вон он стоит рядом со своим зятем олесским старостой Яном Даниловичем, не как вчерашний повелитель, который великодушно разрешил иезуитам открыть свой дом во Львове, а как придаток могучей сегодня священной камарильи. Все во славу бога...

[1] Во имя наивысшей славы бога! (*лат.*).

Жизнь тысяч взбунтовавшихся поляков против иезуитов у Гудзова. Жизнь Антонио Массари и Филиппа Дратвы. Судьба выдающегося доктора Альнпека. Жизнь сотен людей под Москвой. Все отдано во имя нее: воля всех некатоликов. И воля католиков. И честь его, поэта Шимона Шимоновича.

Во имя бога... Все во славу его! Но нет! Никто из них не верует в бога. Меньше всего верят в бога те, кто ближе всего стоит к римской церкви. В Италии набожности совсем нет — римский двор и Ватикан заменили ее цинизмом. В Испании веру подменили устрашением. В Польше Петр Скарга вместо веры стремится привить послушание. Это же его слова: «Нога слушает колено, колено слушает руку, рука — глаза, глаза — голову, и в этом послушании проявление великого согласия». В Европе за сомнение в непорочности матери божьей наказывают костром, в Китае же, где женщины не в почете, иезуитские миссионеры вынесли из костелов иконы с образом Марии. В Японии, где смерть на кресте считается позорной, отцы-иезуиты даже не упоминают о распятии Христа. «Если церковь называет белое черным, так это истинно так», — сказал Лойола.

Где у них вера? Они становятся, если нужно, дипломатами и военными капелланами, пивоварами и торговцами вином, шарлатанами-врачами, которые во время мора продают священные пилюли, и ростовщиками, ссужающими капиталы под проценты.

В Польше иезуиты уже запретили произведения Кохановского и Николая Рея. А я иду... Как это случилось, что я, ненавидя их, должен идти к ним и славословить их? Я спрятал в тайнике своей библиотеки бунтарскую поэму «Лютня рокошанская», и вчерашний гордец, который не позволил бы себе остановиться и разговаривать с иезуитом, теперь покоренный, и с неведомым доселе страхом, с вежливым выражением на лице иду к черным изуверам, которые начинают воздавать наивысшую хвалу богу на моей родине, иду, чтобы стать в ряды послушного быдла.

«Кто раз побывает в Риме, тот познакомится с обманом, во второй раз сам научится обманывать, а в третий раз принесет обман в родной дом», — вспомнил Шимонович поговорку рокошан; он стоял рядом с Жолкевским по правую сторону черного полукруга и думал, что успел уже дважды побывать в «Риме», а теперь отправ-

ляется туда в третий раз: Шимонович сочинил стихотворение, которое сейчас прочитает во имя наивысшей славы бога.

Во время первой поездки он молчал. Соликовский тогда вводил иезуитов во Львов. Шимон смотрел на покаяние сумасшедших возле каплицы Нищих, видел обман и молчал, ибо что он мог противопоставить своим словом политике священного клана?.. Во второй поездке проявил двурушничество: он не присоединился к делегации рокошан, которые приехали во Львов просить Жолкевского, чтобы тот выступил на их стороне, — когда и какой полководец слушал поэта? — он отказался пойти и тайком написал свою «Лютню рокошанскую», прочитал ее друзьям и спрятал рукопись. Тогда Шимонович сам стал обманщиком. Ныне третий его визит, результат двух первых. Если бы он и не промолчал в первый раз — все равно иезуиты вошли бы во Львов. Если бы даже присоединился к мятежникам и опубликовал бы свою поэму — Жолкевский все равно не выступил бы против короля. А какой вред может принести то, что он скажет сегодня, пусть даже и фальшивое слово, какое зло оно принесет обществу, коль на его теле уже выступила проказа?

Но ведь так думает каждый, — ужаснулся Шимонович. — Каждый в отдельности дал себе право на бессилие, право на молчание, право сказать угодливое слово, а проказа безнаказанно поражает здоровый организм.

Вернуться! Но как, если там Жолкевский? Я же всегда был с ним.

А что, если мы, цвет общества, превратимся сами в колонию прокаженных? Кто нас будет лечить? Да никто — нас уничтожат. И это сделают те, за чей счет мы живем...

— Мысли, тревожащие и гнетущие душу, — порождение дьявола, — закончил свою проповедь Соликовский.

— Каждый польский шляхтич от рождения подобен солнцу. Рождается он, как солнце, в шляхетском гнезде и призван уничтожить все тучи, которые затмевают его славу, — уклонился Жолкевский от похвальных слов в адрес ордена.

— Польская нация — нация шляхетская, а католицизм — шляхетская религия! — дополнил гетмана Данилович.

Очередь теперь за Шимоновичем. Он нескладно импровизирует. Ему кажется, что вместо него говорит кто-то другой — это не его слова:

> Nareszcie was Bóg w nasze przywiódł strony,
> Witajcie nam, wielka ozdobo i boskie potomstwo...[1]

Голос поэта заглушает рев фанатиков, ревностные католики и католички безумствуют в экстазе, они приветствуют своего наставника благоговейным воем; Шимонович умолкает; открываются двери старой королевской бани; Соликовский освящает кропилом помещение; слуги Жолкевского и Даниловича вкатывают огромный камень, который будет краеугольным в будущем иезуитском костеле; рев усиливается, жаки кафедральной школы воинственно шумят, архиепископ приглашает духовную и светскую знать к себе во дворец на обед; жаки подстрекают набожную чернь словами поэта, толпа звереет — движется, скачет, бежит к еврейскому кварталу отомстить иудеям за то, что не отдали иезуитам своей святыни.

«А почему мне все время кажется, что Жолкевский мой друг? — возникает у Шимоновича мысль, он останавливается, отстает от приглашенной на обед к архиепископу знати. — Почему это мне, сыну простой швеи, так должно казаться? Прочь отсюда, прочь навсегда — надо очиститься от позора, которым я покрыл себя во имя наивысшей славы бога...»

Он шел по Сокольницкой дороге наугад и думал о своем имении возле Замостья, где может найти покой и забвение, где сотворит настоящую поэзию, за которую прославят его благодарные земляки.

Старший братчик Иван Красовский хотел много сказать людям, собравшимся сегодня в братском доме на Зацерковной улице. Возможно, это могли быть слова гнева и протеста против освящения иезуитского дома во Львове, или же — утешения и надежды, однако ни одно слово не сорвалось с его уст. В просторной комнате было многолюднее, чем тогда, когда приезжал Иван Вишенский; встревоженные и удрученные мещане поглядывали на своих вожаков — одни с надеждой, другие с

---

[1] Наконец господь привел вас в наш край,
Хвала вам, великие мужи и потомки бога...

недоверием: какой толк от вашей работы и от ваших слов, если за нашими спинами патриции и русинские паны делают все, что им вздумается, — свободно и безнаказанно. Уния подписана, первый украинский «мученик за веру» Ипатий Потий занял престол митрополита, мстителя четвертовали, люди, колокола молчат, ныне Львов окутывает черная паутина, которая завтра покроет все, что способно оказывать сопротивление, — кого-то задушит, кого-то испугает, а из кого-то высосет живую кровь и оставит сукровицу для прозябания. Что вы можете сегодня сказать нам, старшие братчики, да говорите же, мы пришли к вам с тревогой и надеждой!

— Мы побеждены, — произнес Красовский и умолк.

Ректор братской школы Иван Борецкий тоже молчит, склонив на стол голову. Ну, мог бы он сообщить братчикам, что напуганный мятежом король приказал внести в конституцию сейма параграф, который разрешает людям греческой веры отправлять свои богослужения без каких бы то ни было изменений в обрядах, — кто поверит этому пустословию, если нынешняя власть во Львове узаконивает иезуитское своеволие.

Молодой дидаскол Роман Патерностер нервно подергивает черные усы. Он возмущен неверием старого Красовского и злится на упавших духом братских руководителей. Да неужели мы, что из темных ремесленников превратились в просветителей, из слуг — в дидасколов, из паламарей — в проповедников, так и не доросли до борцов? Вы еще ни разу не столкнулись с иезуитами, а уже струсили? Я видел в Италии ужасающие процессии инквизиторов и видел там людей, которые гибли на кострах, — не все даже в адском огне обнаруживали страх; зачем начинали, если при первой же схватке ведь сдаетесь; коль у вас не хватает духу, зачем было пыжиться; а мы еще мальчишками били жаков; это хорошо, что иезуитство всплывает на поверхность, становится явным, — это облегчит борьбу с ним, а вы...

Молчит и Юрий Рогатинец. От него и не ждут речей. Он все сказал своим «Предостережением», которое призывало русинов меньше заботиться о спасении души, больше — о действенной защите от католичества. Что же, Юрий мог бы еще раз повторить изложенные в трактате мысли, но сегодня ни речи, ни книги не имеют значения: на плацу возле Нижнего замка освящали тем-

ные силы на открытую борьбу с некатоликами; речи и книги в этот момент перестали служить оружием.

Рогатинец сидел за столом рядом с Красовским и Борецким, весь напряженный и подавленный. Перед его глазами — возле окровавленной плахи — пробужденный народ пел воскресную песнь, выражая свою готовность к битве, тысячи мужей стояли на утоптанной почве и ждали призыва к борьбе, а его не было, ибо нет вождя, не созрела еще новая эпоха, чтобы родить мужа, который решительным жестом руки указал бы народу, куда идти...

Мы еще только хотим, но не умеем взять, мы еще только просим, а не добиваемся, из наших родников еще струится вода, в которой сладость пробуждения смешана с горечью нерешительности, кто поддержит меня, если я скажу... Что скажу? Доселе я говорил: не бегите от жизни, она принадлежит вам и город ваш тоже, будьте если не хозяевами в нем, то хотя бы поденщиками, но сейчас эти слова ни к чему: мы отброшены за линию той жизни, которой живет Львов, мы противопоставлены ему... Вишенский наставлял: выбросьте из своей души золото. Мы советуемся, думаем, а народ в ожидании теряет веру, ищет выхода не там, где следует, — сотни обманутых Грет отправляются в свой поход на Иерусалим, блуждают в замкнутом кругу, падают и гибнут бесследно. Кто поддержит меня, если я скажу, что наступило время, кто откликнется на мой призыв:

— Встаньте, воспряньте духом! Мы еще не побеждены, мы еще и не воевали, война только начинается.

Рогатинец сказал это вслух. Он видел, как вспыхнули у братчиков глаза, но только на миг — и угасли. Призыв был услышан, но ничего, кроме минутного возбуждения, людям не дал, и они снова поникли, на слово не обопрешься.

Юрий опустил глаза. Его взгляд уловил в толпе горькую улыбку на лице Лысого Мацька. Он пришел сюда из тьмы скупости, ростовщичества, обмана и жадности, перед ним раскрылся мир иной, мир духа, а теперь ему — прозревшему, очищенному и обманутому — надо возвращаться назад к старому, он сделает это, и, очевидно, без большого желания, ибо стал другим. Мацько с укоризной смотрел на Рогатинца, который вел его и многих таких, как он, по дну бездны и подвел к отвесной скале, которую никто не в силах одолеть.

Рогатинец смущенно опустил глаза и услышал позади себя голос:

— Так, мы только начинаем войну, пан Красовский, а вы глаголете, что уже проиграли.

Эти слова произнес сын Мацька — молодой дидаскол греческого и латинского языков, черноусый юноша — Роман Патерностер.

Рогатинец оживился: он всю жизнь ждал этого слова — и наконец, в тот момент, когда безнадежность окутала душу, новый голос прорезался, прозвучал! Ничто не пропадает! — чуть было не воскликнул Рогатинец: «Родились восприемники, выросли!»

Роман вышел вперед — он был молод, силен, уверен в себе — и сказал:

— Вытащите свои ноги из трясины! Омойте свои души под чистым дождем, высушите болото неверия на солнце и посмотрите вокруг, взгляните выше роста своего! Не на кого опереться? Разве мы глухие и слепые? Казаки овладели Варной и Перекопом. Взяли Измаил и Килию. Это немочь? Казаки укрепили войско Жолкевского — чья это сила, разве не наша? А воюет сегодня против православного мира под Москвой... Так разве не найдутся витязи, которые повернут копья казаков против врагов, беснующихся ныне на площади возле королевской бани? А за ними будет стоять сила русская... Кто эти витязи, где они? Среди нас! Рожденные нашими идеями, взращенные нашим трудом, мы их на наши кровные деньги вооружим с ног до головы!

Рогатинец увидел, и Роман обратил на это внимание, как Мацько, услышав о деньгах, попятился назад, тихонько пробрался в толпе к двери. «Старый скупец, никогда не вырвется из проклятой скупости», — подумал Роман. «Вот тебе и весь Мацько», — вздохнул Рогатинец.

В доме братства наступила томительная тишина, взволновался Красовский.

— И все-таки это только слова, отрок...

— Стары вы стали, отец, — резко ответил Роман. — Молитвами начали свой дух ублажать, не ведая о том, что не монахи, не попы и не владыки, а вера в народную силу спасет нас. Дайте возглавить людей тем, кто уверовал. Они ничего не пожалеют для будущей свободы: детей, жизни, здоровья, денег. Да, денег — на книги и на оружие!

Братчики зашевелились, зашумели, оживленно заговорили. Рогатинец поднялся.

— Начнем сходку, — сказал. — Экстраординарную!

В этот момент вошел Мацько. Он тяжело дышал, руками вытирал вспотевшую лысину, был взволнован, испуган, со страхом и растерянностью посматривал на людей, остановился, топтался на месте, на него удивленно глядели братчики, вдруг приумолкшие, — что же могло случиться?

Наконец Мацько оторвался от двери и размашистым шагом направился к столу, на него пристально смотрел сын, озадаченный поведением отца; Юрий всем телом подался вперед.

— Что с тобой, Мацько?

Корчмарь дрожащими руками расстегнул кафтан, вытащил из-под полы тяжело набитый мешочек и со стоном произнес:

— Вот здесь вся моя правда и неправда. Берите...[1]

Розе приснился погром еврейского квартала. В коротком сне повторилось все то, что продолжалось тогда весь вечер.

Обезумевшая толпа ревностных католиков с жаками впереди двинулась к королевским баням на Бляхарскую улицу. Палками били окна, звенело стекло, в комнаты летели камни, в гетто поднялся крик, погромщики врывались в дома, выбрасывали на улицу подушки и перины, распарывали их палашами, ломали мебель, разбивали посуду; перья, как снег, летели, подхватываемые ветром, в сторону синагоги.

— Нахман, Нахман! — закричала Роза и проснулась.

— Ша, Роза, — услышала голос мужа. — Все хорошо... Спи. В точности как и тогда...

Перед вечером Роза вышла из дому. Успокоившаяся, полная достоинства, она пошла по главной улице квар-

---

[1] В манускрипте была такая интересная запись: «Стыд велий зело пронял совесть мою, кровь моя — сын первородный расшевелил грешную и жадную душу отца, и я, поняв высший смысл живота человеческого, отдал братству все, ради чего жил и чем жил, и стоила мне эта пассия две тысячи сто семьдесят шесть злотых и четырнадцать грошей». *(Прим. автора.)*

тала, грязные ребятишки хватали ее за ноги и просили писклявыми голосами:

— Güldene Rojse, дай хлеба! Güldene Rojse...

Не оглядывалась. Проходя мимо синагоги, увидела на ступеньках старую, ослепшую уже нищенку Хайку. Остановилась, бросила ей серебряную монету.

— Это от Розы, Хайка, — сказала. — Лишь мы с тобой в этом вертепе настоящие дочери Сиона...

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

СЕДЛО И САГАЙДАК

Благородный человек не рождается с великой душой, он становится благородным делами своими.

Ф. Петрарка

Абрекова отпустила руку Юрия и прошептала:

— О, скажите, скажите мне, люди добрые, где моя Гизя?..

Она уже не смотрела на Рогатинца: линии правой ладони сеньора братства свидетельствовали о его неудачно сложившейся жизни, он был таким же несчастным, как и она, сравнился с ней в горе, поэтому теперь она не сердилась на него, но больше и не надеялась, что Юрий сможет когда-нибудь разыскать Гизю. Рогатинец все еще стоял возле старухи. Он никогда не верил в хиромантию, но сейчас его искушала надежда — найти Гизю. Сам видел ее четыре года назад во время казни Дратвы, неужели померещилось? А потом казалась ему везде, — очевидно, она живет и думает о нем; Юрий стоял, будто бы ждал еще чего-то; остекленевшие от безнадежности глаза Абрековой ничего больше не выражали, и он удивлялся, что так легко поддался напрасному искушению. Во взгляде Абрековой отражалась обреченность; в душе Рогатинец упрекал себя, что причинил столько горя старухе; да и свое горе было не меньшим. В этот момент он утратил всякую надежду на то, что отыщет Гизю, и с горечью ощутил, как вместо щемящей тоски вселяется в него чужое, неизведанное доселе чувство покоя. Юрий понял: к нему пришла старость.

И спокойствие во всем? Может, и так... Он сделал все, что мог, а больше — уже не в силах. Всю свою жизнь он

посвятил просвещению и не жалеет об этом. А выше подняться не сумел. Благо, что хоть осознал неизбежность кровавой битвы за волю и веру, поверил в нее: найдутся среди молодых мужей такие, кто довершит дело братчиков с оружием в руках. Так должно быть. Иван Борецкий воспитал Романа Патерностера, Роман воспитает Марка. Борецкий, потерявший веру в неравной борьбе с иезуитами, уехал в Киев — и правильно поступил, там сердце нашего края. Он создаст в Киеве академию, которой не мог создать во Львове, там другая среда, там легче бороться с Потиями. Роман же дал клятву, что никогда не покинет Львова, даже если придется с глазу на глаз встретиться с полчищами иезуитов.

А Марк и Зиновий вырастут. И пойдут по верному пути. Юрий почувствовал, как вместе с седой старостью его душу наполняет твердая, радостная вера в деяния молодых. Слава богу, они любят его... Вон на противоположной улице стоит Марк, топчется на месте и ждет, пока пан провизор тронется в путь, чтобы будто невзначай догнать его, о чем-то спросить, что-то услышать...

Иди, сынок. Я запомнил твои умные глаза и полюбил еще с тех пор, как незнакомая женщина с закрытым вуалью лицом после проповеди Вишенского подвела тебя ко мне для благословения. Потом ты пришел записаться в школу один, и я спросил, почему без отца и матери. Мать больна, а об отце ты промолчал, и я понял, что еси байстрюк... Ты хороший хлопчик, усердный в учении и честный. Ты привел ко мне, вырвав из иезуитского содома, новичка Зиновия, у которого есть дикий розовой масти конь в Вороняцких горах. А мог бы погибнуть хлопчик... Вы воспитываетесь нашими трудами на хорошей почве. И пойдете дальше, и свершите то, чего не могли сделать мы. Ловите вашего коня и оседлайте, пока его еще не заарканили и не привязали к стойлу, где стоят покорные лошади. Я даю вам седло и сагайдак. Всю жизнь мастерил для вас седло и сагайдак...

— Почему вы с Зиновием так долго не приходили ко мне, Марк? Приходите завтра, уже наступают вакации.

Бричка Михайла Хмеля медленно тронулась с места. Хмель раз за разом оглядывался и почтительно кланялся Лятерне, который со скрещенными на груди руками стоял на углу иезуитского дома. Зиновий решительно

смотрел вперед, чувствуя на затылке сверлящие глаза ректора, заставлявшие повернуться к нему лицом и поклониться. Бричка скрылась за стеной недостроенного иезуитского костела, отец взглянул на твердый острый профиль сына; чего волком смотришь, хотел спросить, но сдержался, самому как-то легче на душе стало, когда иезуитская коллегия осталась позади. Жена Матрена каждый день плачет, что латинские волки украли у нее любимое чадо, а куда же ему, слуге Жолкевского и Даниловича, надо было посылать учиться Зиновия, — чай, не в братскую школу, так можно и службы лишиться.

Зиновию стыдно за отца: за его льстивую улыбку, за его осуждение олесских крестьян, которые сбежали от Даниловича к казакам; сам же казак православный, а заискивает перед иезуитами — зачем он это делает? Ради него, Зиновия? Но он не хочет этого, ему уже шестнадцать лет, он сильный, может носить саблю, а не ходить в подпоясанной шнурком черной сутане послушника и чувствовать себя невольником — душой и телом. Дома — материнская песня «Ой, Дунаю, Дунаю, чому смутен течеш?», а тут пять раз в день чтение молитв, точно у турок, доносы и нашептывания, тут насмешки над песнью матери и ненависть к казацкой вольнице... Зачем отец отдал его учиться в этот страшный черный Рим?

«А ты, сынок, не думай ничего дурного о своем отце, — слышит Зиновий спокойные слова матери Матрены, — такова уж его судьба, что должен служить, но под шляхетским кунтушом еще бьется у него казацкое сердце. Ты учись, ума набирайся, да и моей песни не забывай. Потерпи, казаче, — атаманом будешь... Гляди, чтобы черная сутана не усыпила твоей совести, ведь ты родился тогда, когда замучили Северина Наливайко, а выучишься — на Сечь пойдешь, писарем станешь. И молись, сынок, как я молюсь...»

Зиновий прислушивался к поучительным словам матери, бравшим его за душу, и всем своим существом еще больше ненавидел дом, в котором прожил под недремлющим оком схоластов Бронека и Казика целый год, ненавидел все, чему там научили, не сознавая того, что если бы отец не отдал его учиться в иезуитскую коллегию, то в нем не зародилась бы и ненависть к иезуитам и в голову никогда бы не пришли подобные мысли...

Не оглянулся. Исчезни, Рим! Ты, который заменил веру покорностью, честолюбием и шпионством, исчезни! Хитростью, лицемерием, насилием хочешь подчинить себе мир. А у меня отбираешь все: мать, товарищей, Марка, и розового коня — тоже отберешь, как только узнаешь о нем. Ты убиваешь во мне разум, принуждая изучать книгу иезуита Войцеха Тыльковского с мудреными вопросами для диспутов: может ли собака стать козой, может ли бог превратиться в тыкву, сколько чертей можно разместить на острие иглы? Ты хочешь, чтобы о живых родителях мы говорили как о мертвых, чтобы лишились собственной души и своего лица: не имеем права морщить лоб, быть печальными или веселыми, даже во время беседы обязаны смотреть друг другу не в глаза, а на подбородок. Ты учишь нас так ревностно молиться, чтобы видеть наяву, как грешат прародители, как сидят апостолы во время Тайной вечери, чтобы ощущать запах серы, когда думаешь об аде. Исчезни, страшный, бесчеловечный Рим...

А может, лучше прикинуться глупцом, как это делал Брут, хвалить то, что ненавидишь, говорить противоположное тому, что думаешь? Нет, не могу. Это бесчестно. Нет тени без предмета, нет чести без добродетели. Так сказал пан Рогатинец. И подарил мне седло, а Марку — сагайдак.

Конь мой гуляет на воле. Коня — его не заарканишь. И я оседлаю его. А сагайдак Марка будет полон стрел. И мы уничтожим всех иезуитов до единого. Нам надо вырасти. Только вырасти...

Зиновий очнулся от размышлений в тот момент, когда проезжал мимо Пятницкой церкви. Здесь его должен был поджидать Марк.

— Отец, остановите коней.

— А что случилось, сынок?

— Вы же обещали взять с собой моего товарища Марка. Вон он стоит, остановите, отец.

С расшитым сагайдаком, висевшим через плечо, с разрисованным седлом в руках бежал к бричке русоволосый Марк.

— Господи, какая красота! — воскликнул Хмель, рассматривая изделия Рогатинца. — Для моего буланого — какое чудо!

— Нет, отец, это седло для дикого коня.

Рано на рассвете седой туман отступал под яркими лучами солнца с олесских равнин в сторону Вороняков. Сначала на фоне неба показался Олесский замок, покрытый белой гонтовой кровлей: Ян Данилович пристроил к замку целый каскад галерей, полукруглых балконов, опиравшихся на высокие десятиметровые стены, придав замку вид дворца, в котором уютно жилось его любимой Софье. Туман рассеивался, исчезал, Вороняцкий хребет остановил его, а гаварецкие бездны с противоположной стороны кряжа беспрерывно поглощали его; олесские церкви, костелы, валы, магазины наконец осветили первые золотистые лучи солнца. Город просыпался, с замковой башни горнист возвещал горожанам о наступлении нового дня.

Хлопцы проснулись еще до восхода солнца. Прислуга еще спала, досматривал свои сны Михайло Хмель; Зиновий и Марк тихонько выбрались из дома, прижавшегося к валу у подножия Замковой горы, и скрылись в тумане. Они хотели на Гавареччине встретить восход солнца: когда туман осядет на дно лощины, где сгрудились несколько хат гаварецких гончаров, тогда на самой вершине, на лужайке меж дубовых деревьев, появится розовый дикий конь.

Зиновий с седлом в руке, а Марк с сагайдаком через плечо вышли за ворота, что со стороны Бродов, направились вверх к Воронякам.

— А ты сумеешь поймать его, Зиновий?

— Попробую. Он меня уже знает, брал из моей руки хлеб.

Дальше шли молча, одолеваемые тревогой, постоянной радостью, ощущением чуда.

Над головами висел тяжелый густой туман, под ногами белела тропинка, она поднималась все выше и выше, а потом стала пологой — это уже хребет; тропинка затерялась в жесткой полонинской траве, холодная роса тысячами игл колола босые ноги, туман окутывал до пояса, а над головой сиял купол синего неба. С одной стороны плывет в белом море шпиль замка, а с другой — глубокая Гаварецкая долина, заполненная до краев туманом.

Так празднично, торжественно: тропинка ведет хлопцев вниз, но вдруг их останавливают какие-то голоса, звон, бряцанье, шум, крики, — неужели это гончары так рано принялись за работу? Но звон металлический, а

разговаривают на чужом языке — никогда тут не разбивали лагерь жолнеры Даниловича, кто же тут появился, в этой безлюдной тихой Гавареччине?

Хлопцы притаились в траве и стали прислушиваться.

...Ранним утром из хатенки, прилепившейся к желтому холму возле винниковской котловины, вышла Гизя. Оперлась на косяк двери, чтобы не упасть, — душно в комнате, трудно дышать. На дворе прохладно, а воздуха не хватает...

— Марк, Марк!.. — простонала она.

Да что это, ведь он вчера поехал в Олеско. Зачем отпустила, как плохо, совсем задыхаюсь, испарения проклятой винарни пана Залесского в долине превращаются в чад.

Схватившись за горло, Гизя побежала по стежке к желтоватому холму.

Немного легче стало, пойду в лес, побуду там, Чертова скала недалеко, там пахнет душицей, там...

Гизя шла, пошатываясь, и перед нею расступался лес, она до сих пор не знала, что к скале ведет теперь широкая дорога; со стороны Львова тропинка узенькая, но по ней легко было ходить, почему же сейчас так тяжело идти по широкой просеке? Тогда ходила собирать зелье, чтобы купаться в его отваре, а зачем она идет теперь? Под ногами трава как бархат, красные кусты иван-чая с обеих сторон. Кто это посадил вдоль дороги кровавые цветы, кто постлал мягкий ковер под ноги, кто так ныне заботится о ней? Смерть?

Еще не время, скорее бы добраться до скалы, там душица покрыла всю вершину, утоплю в ней голову и буду вдыхать ее запах, он целительный, дает людям жизнь, здоровье, красоту... Боже мой, зачем отпустила Марка?..

Лес, казалось, раздвинулся, стелилась широкая и зеленая дорога до самой Чертовой скалы. Не была тут с тех пор ни разу, нельзя было приходить на межу, где ушла одна жизнь и началась другая... сынок перешагнул ее, мне же нельзя... как далеко до скалы, как далеко до душицы, вот уже видна вершина горы, а дойти до нее не хватает сил...

Еще не время, нет, не время, Марк еще маленький, кто же без меня введет его в большой, широкий мир?

Уже виднеется вдали город, вокруг него стены и башни, я и не знала, что их так много, а стена высокая и толстая, все придавила, все сковала, а ко мне приходит воля... Не хочу еще!.. Что делают мама, отец, Мацько?.. Русская улица так далеко отсюда, что даже страшно. Я люблю ее, эту тесную мою уличку с маминым домиком, с корчмой Мацька, с Успенской церковью, с беспутной Льонцей. Бедная моя Льонця... люблю каждый камушек в этом городе, каждый камушек мой...

Гизя упала на мягкую постель душицы: тут это было, тут? Я ничего больше не могла сделать, только дать сына... Это мало, Юрий? Я стала человеком и дала еще одну жизнь для людей. Я взяла эту жизнь от тебя. А ты — взял ли ты что-нибудь от меня для себя?.. Как легко стало дышать, все пройдет, я дождусь Марка...

Запах зелья забил дыхание. Гизя повернулась на спину и только подумала, будто беззвучно крикнула в синь чистого неба:

— Юрий! Ты живешь... Ты будешь... Ты нужен всем... Живи и для него, не оставляй своего сына на полпути!

...Зиновий и Марк с тревогой прислушивались: чужие голоса нарушали торжественную тишину на окутанной пеленой молочного тумана Гавареччине.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

ЧТО ЖЕ НЫНЕ СКАЖЕТ АБРЕКОВА?

> Года 1611, 29 июля. А суд был неправый, и Христос на распятье отвернул голову, ибо не мог глядеть на глумление, взывая к небу о мести.
>
> *Из манускрипта*

Абрекова словно онемела: ее позавчерашнее предсказание — «все это добром не кончится» — свалилось несчастьем на нее саму, а этого она совсем не ожидала. И так горя хватает: дочерей нет, хлеба нет, Пысьо молчит... А была воля... Была и честь. А теперь — тюрьма и позорный удел воровки. Разве это справедливо, чтобы у одного и того же человека отобрать сразу все, а другому все отдать? И бог видит такую несправедливость и молчит?

В глухом подвале ратуши, куда ее привели цепаки, —

длинный стол, посередине стола — распятие, рядом — свечи. Иисус скорбно глядит на нее и молчит, будто Пысьо! Пламя свечей выхватывает из тьмы чудовищные лица, спрятавшиеся за распятием; Абрекова с надеждой в душе стала присматриваться к ним, может быть, хоть одно знакомое лицо увидит — упадет перед ним на колени, будет умолять: «Добрый мой пан, разве вы не знаете бедной и честной Абрековой, которая никому не причинила зла, за что же меня сюда?..» Их четверо: трое в черных сюртуках, посередине — священник в сутане, лица чужие и каменные, будто неживые; у одного, сидевшего рядом со священником, зашевелились губы, и Абрекова услышала:

— Женщина, вас допрашивает львовский гайный[1] суд, в лице войта, каноника и двух присяжных заседателей по неотложному делу, так как ваши недостойные поступки крайне опасны для государства и для общества.

«Это, верно, сам войт», — подумала Абрекова.

Пламя свечей колеблется перед лицами ее судей, лица то освещаются, то снова их проглатывает тьма, и тогда блестят только холодные глаза; Абрекова поворачивает голову в сторону — слева зажгли еще одну свечу: за небольшим столиком сидит писарь, раскладывает бумаги, достает из-за уха гусиное перо, опускает в чернильницу; боже, так это действительно ее будут допрашивать, словно преступницу, а что же она сделала худого, что? Может, это снится ей?

Абрекова еще минуту помолчала, но тревога вернула ей дар слова, и, сложив руки на груди, она залепетала:

— Панове судьи, присяжные заседатели, клянусь вам, вы ошиблись, кого-то другого вы должны арестовать, потому что я ничего преступного не совершила, не выходила даже из дому. За что меня стражники взяли и весь день с рассвета держат тут? Пысьо мой сидит голодный, а Льонця...

— Девицу Льонцю, которая украла у честной дамы Лоренцович золотое кольцо с бриллиантом, разыскивают. Вы же, Абрекова, обвиняетесь в страшных преступлениях — в греховном союзе с нечистой силой.

— Свят, свят! — Абрекова хотела поднять руку, чтобы перекреститься, но в этот момент кто-то сзади схватил и связал ей руки.

[1] Городской суд, который созывали для неотложных дел.

Она оглянулась и обомлела от страха: в самом конце темного подвала зажглась еще одна свеча. Там, возле колеса, стояли два палача в красных колпаках, в стену вбиты кольца, с потолка свисал крюк, на помосте — колодки, клещи, ножи...

— Я верю, что вы чистосердечно в этом признаетесь, — произнес войт. — Всем известно, что вы хиромантка, а всякое гадание и связанное с ним предсказание, кроме освященного церковью пророчества, вдохновляется дьявольской силой. Вы признаетесь в том, что являетесь хироманткой?

— Да, паночку, я гадала по руке, ведь надо было както жить, если мне из-за этих нечестивых листков запретили продавать на Рынке мясо.

— Вот видите, вы постепенно сами разматываете клубок, мы подходим теперь к главному. О нечестивых листках и идет речь. Чем объяснить, что на протяжении нескольких лет наши famuli civitatis не сумели ни разу поймать преступника, который вывешивал над вашим окном антигосударственные листки, призывавшие к неповиновению?

— Я и сама не раз об этом думала. Да разве я радовалась тому содому, какой поднимался возле моего окна каждое утро? Да из-за этого я потеряла кусок хлеба, покой и сон...

— Развяжите ей руки, — сказал священник, — она легко сознается. Только не крестись, грехоблудная женщина, это еще больше свидетельствует против тебя: дьявол, чтобы обмануть легковерных, часто прибегает к крестному знамению... Так ты согласна с тем, что нечестивцы, которые продали свои души сатане, приклеивали те листки и рисовали на них достойных мужей города и священных особ, изображая их в виде чертей с рогами, хвостами и копытами...

— Откуда мне знать, святой отче?

— Знаешь, ведьма! — ударил кулаком по столу. — Почему же эти листки не появлялись в других местах, а только над твоим окном? Расскажи честно суду о твоем союзе с дьяволом!

Абрекову от этих слов бросило в холодный пот: продолжается ли это кошмарный сон или же, не приведи боже, этот ночной ужас был наяву... Упала на колени, зарыдала:

— Я ничего не знаю, ничего не знаю о дьяволе, я только позавчера была в церкви!

— Мистр, — обратился войт к палачу, — действуйте в соответствии с законом.

Подручный палача потащил Абрекову в темный угол подвала, сорвал с нее кофту, разорвал сорочку, главный палач поднес свечу под мышку, пронзительный крик ударился в своды.

— Ну что сейчас скажет Абрекова? — спросил войт.

— Ничего не знаю, ничего не видела, позавчера была в церкви, — плакала женщина.

— Мистр, действуйте в соответствии с законом.

Палачи сорвали с Абрековой юбку, оголили тело, втащили в нишу шириной в два роста, ноги привязали к кольцу, вбитому в одну стенку, а руки к другому — у противоположной стены, шнуры укрепили на блоках и начали натягивать. Снова душераздирающий вопль и мольба.

— Отпустите, все скажу! Я этой ночью летала на шабаш!

Писарь быстро записывал признания, войт допрашивал:

— Где происходил шабаш?

— На Кальварии...

— Как добралась туда?

— На метле...

— Одна?

— С чертом...

— Ты узнала в ликах нечестивых хотя бы одно знакомое лицо?

— Нет.

— Мистр, действуйте согласно...

— Не нужно, не нужно! — закричала Абрекова. — Я узнала...

— Кто это был?

— Архиепископ Соликовский...

— Ее устами говорит сатана! — вскочил священник.

— Я рассказываю о том, что видела во сне...

— Это был не сон! Ты ведьма и знаешь тех, кто вывешивал листки над твоим окном!

— Я ничего уже не знаю — где сон, а где явь... Мне казалось... Я видела под деревом сатану, он был похож на нашего архиепископа...

— Прижечь ей нечестивый рот!

...Палачи несколько раз отливали Абрекову водой: сатана ведь хитрый, он иногда лишает пойманную ведьму жизни, чтобы суд не узнал правды.

— Ну, кого ты видела? Назови хотя бы одну фамилию из твоих — с Русской улицы. Ты видела Рогатинца! Говори: видела сеньора братства схизматиков Юрия Рогатинца?

— Нет, — простонала Абрекова. — Это был все-таки Соликовский.

— Утопить ведьму! — объявил приговор войт. — Или, может, еще хочешь что-то сказать?

Абрекову отвязали, она поднялась и прошептала обожженными губами:

— Если бы меня судили настоящие черти, то приговор был бы более справедливым... Вы видите, Христос отвернул голову...

— Говори громче, — прикрикнул на нее войт. — Ты хочешь сказать, что видела, как Рогатинец или кто-то другой из его братства расклеивал листки? Скажи это, и мы отпустим тебя на свободу.

В голове Абрековой в этот момент — может быть, от боли — мысли прояснились, и она поняла то, над чем не задумывалась до сих пор: она давным-давно принадлежит к русинскому братству, хотя и не состоит в его списках, которое воюет с этим преступным отродьем. Спрашиваете о Рогатинце, чтобы занести в протокол мое вынужденное признание? А потом и его сюда... А потом всех... Несчастная же моя долюшка, я только теперь поняла, почему Гизя пошла за Юрием...

— Я все скажу, слушайте меня... Я видела на Кальварии не чертей, настоящие черти, очевидно, добрее людей. Я видела вас всех — дьявольскую шайку католиков, иезуитов, униатов. Вас надо жечь святым огнем, травить, как бешеных собак, очистить от вашей скверны святую землицу... Будьте вы прокляты, где бы вы ни пребывали... в поле, в городе, во дворе, в храме. Будьте прокляты!..

Палачи заткнули рот Абрековой тряпкой...

Барон не терял надежды утешиться в борделе на Векслярской, хотя проститутки его и не пустили к себе.

— У нас ныне воскресенье, — сказала одна из них и хлопнула дверью перед носом клиента.

Барон очень удивился, ведь с утра была среда. Потом он сам стал сомневаться и начал подсчитывать: в воскресенье магистрат устраивал зрелище, на Рынке горел дощатый Смоленск, а Рогатинец отказался выпить с ним на людях; в понедельник патер Лятерна ехал на Высокий замок и не взял его вместе с собой, во вторник Антох напился так, что весь день спал непробудным сном, а сегодня среда!

Барон возмущен — да что это за наваждение, все курвы отказываются от заработка! — стал сильно колотить кулаком в дверь. Выглянула на его стук все та же девица и показала ему язык:

— Слушай, шелудивый пес, если сейчас же не уберешься к лешему, то харкну тебе в рожу! Ныне наше воскресенье, а в ваше воскресенье у нас настоящая жатва. Вот и приходи, если не перехочется.

Барон задумался: как провести сегодняшний день, ведь есть еще деньги. Вспомнил о «Браге» в Краковском предместье; ни у Лысого Мацька, ни у Корнякта для него места теперь не было; снова сверлила мозг назойливая, как муха, мысль: а все-таки что случилось, почему он попал в такую немилость у патрициев, да неужели только из-за того, что не сумел верноподданнически поцеловать Люцифера в зад? А было ли такое, может, это ему спьяну померещилось? В самом деле — за что? Так старался, так усердно старался для всех. Служил Соликовскому, служил Кампиану — почему же не захотел взять его на службу новый бургомистр Вольф Шольц? Разве он не видел, как Барон умел угождать, — найдите такого, кто бы отказался иметь такого верного слугу. Ведь не кто другой, а Блазий побежал в Пивоваренную башню за Альнпеком, когда Кампиан вдруг увидел, что его тело покрылось синеватыми пятнами. А что дерзкий доктор отказался лечить бургомистра — разве в этом Барон виноват?

...Альнпек, который час назад, поддавшись душевной слабости, просил прощения, стоя под глухими дверьми темницы, стал противен себе, ибо увидел, что еще миг — и он уподобится Барону. Страх покинул его, и он со злорадством произнес:

— Помните, пан Кампиан, что вы ответили мне, когда я предупреждал вас о загрязнении города? Вы сказали, что мусор излечивает проказу. Вы хороший лекарь. Вот и идите теперь, погружайтесь в мусор по самые уши

и лечитесь, его по всем задворкам кучи лежат! А я, если я виновен в чем-нибудь, готов вернуться снова в темницу.

Могли бы сквернослова отвести обратно в темницу, но случилось непредвиденное, все растерялись, а доктор Гануш, воспользовавшись замешательством, сбежал... Кампиан в этот момент сходил с ума. Он бесновался, кричал, бегал по судебному залу из угла в угол, звонил в колокольчик, сбегались чиновники; бургомистр усадил писаря за стол и велел ему составить акт, что за исцеление от страшной болезни он отдаст все свои деньги на строительство каплицы: несчастный верил, что бог примет от него это пожертвование. Но все уже видели, что власть во львовском магистрате меняется, и первым это заметил Барон. Ему интересно было наблюдать, как всесильный муж теряет свое могущество. Антох присматривался к чиновникам, которые с ужасом отстранялись от Кампиана, чтобы, не приведи бог, он не прикоснулся к ним; присматривался, стараясь угадать, кому теперь будет служить, и хотел обратить на себя внимание именно того, кто будет избран бургомистром. Советник Вольф Шольц подошел к Барону и шепнул ему на ухо:

— Беги живее к архиепископу, без него мы тут не обойдемся.

Антох безошибочно определил: Шольц будет бургомистром — и угадал. И как же он старался для него!

Соликовский пришел со своими слугами; слуги в кожаных рукавицах хватали безумного Кампиана, но он ускользал, вскакивал на столы, отбивался ногами, умолял не отдавать его в колонию прокаженных:

— Пан Шольц, ваша эксцеленция, подождите несколько дней, велите заложить каплицу для иезуитов, отдаю все свое имение, бог примет мое пожертвование и исцелит меня, я подпишу вексель, я уже подписал вексель на все мое богатство и отдаю его вам, пан Шольц!

Вольф Шольц не побоялся, выхватил вексель из рук Кампиана и закричал на слуг:

— Да хватайте же его, а то он нас всех заразит!

Тогда старательный и верный Барон — таки он! — отнял у какого-то слуги рукавицы, подкрался сзади и схватил за локти своего бывшего повелителя. Тот кричал, плакал, просил, но Барон был неумолим. Он теперь служил Шольцу и усердно выполнял его приказ — скручивал прокаженному руки. Слуги архиепископа связали

Кампиана, и он уже никому не был страшен. Его спокойно можно было вывести за пределы города, чтобы там отдать бывшего бургомистра Львова во власть бургомистра прокаженных Тимка Пенёнжека. Но Антох продолжал стараться изо всех сил: дубасил Кампиана по спине кулаками, чтобы угодить Вольфу Шольцу.

Барон вдруг остановился — он приближался как раз к Краковским воротам — и в этот момент понял все. Перестарался!.. О небо, почему человек устроен так, что ни в чем меры не знает?! Тогда же, собственно, он и впал в немилость. Антох теперь ясно помнил: он колотил связанного Кампиана по спине и посматривал на Соликовского и Шольца: как они оценивают его работу. Архиепископ скупо посмеивался, Шольц же все мрачнел и мрачнел, наконец шикнул на Барона:

— Да хватит уже! — И, повернувшись к Соликовскому, добавил: — А он, ваша эксцеленция, слишком усердный, слишком!

И с тех пор усилилась неприязнь к нему... А сейчас — враждебность. Презрение! Барон наконец понял причину своего несчастья, все остальное — только наслаивалось, от этого можно было бы еще и избавиться, а от первопричины — никогда! Его испугались... Боже, почему ты тогда не надоумил меня? Все пропало. Никогда мне уже не вернуться в круг панов, закрыты передо мной, конечно, и двери братства. А где мой мир, где? Спрятан на самом дне города? Я находился на самой высокой ступеньке лестницы, а теперь надо спускаться на самую нижнюю? А может, там всегда было мое место? Впрочем, какая разница — я был среди проституток и буду среди них. Только где взять денег?.. Где взять денег?

Из тягостной задумчивости его вывел шум. Оглянулся. К Краковским воротам приближалась странная процессия: четверо стражников вели женщину с распущенными волосами, позади нее тяжело ступал палач в красной накидке с капюшоном, с веревкой в руке. Толпа валила следом, и, к большому удивлению, Барон узнал Абрекову. У нее были обожженные губы, руки связаны сзади — именно так, как у Кампиана. Кто это связал ей руки? А тем, кто связывал, не свяжут ли потом? Толпа выкрикивала: «Ведьма, ведьма!», а разве Кампиану, которому когда-то кланялись в пояс, не орали: «Чур, прокаженный!», а не может ли завтра случиться такое, что и его, Барона, свяжут?.. Или прикончит его черт Антипка

в глухом закоулке, чтобы не мешал? Скорее надо опускаться на дно, там тише, не так заметно; завтра проститутки приступят к работе в борделе...

Барон смотрел вслед Абрековой и в этот раз не смеялся над чужим горем, впервые сжался в его груди кусок плоти, который у людей называется сердцем.

А толпа все увеличивалась и увеличивалась, вытягиваясь по Краковскому предместью к Збоиску — к мельнице Зоммерштайнов.

— Поймали ведьму, ведьму будут топить, это она наслала на людей проказу! — раздавалось со всех сторон.

Над Полтвой огромное скопление людей, стражники со всех сторон окружили Абрекову, чтобы толпа не вырвала ее у них и не растерзала: в судебном приговоре записано, что она должна быть утоплена.

К Абрековой подошел палач и стал обматывать ее веревкой; Абрекова сухими спокойными глазами смотрела на зеленые поля, видневшиеся за рекой, пристально вглядывалась в синеватый простор, словно кого-то ждала; она не слыхала выкриков, потому что ее мысли были уже не здесь, губы шевелились, тихо произнося молитву; толпе показалось, что ведьма заклинает, послышались возгласы:

— Быстрее, быстрее, ведьма сатану призывает!

В этот момент позади раздался отчаянный женский голос, толпа стихла: какая-то девушка с распущенными льняными волосами бежала что есть мочи из предместья, она ворвалась в толпу, расталкивала людей, как безумная, пробиваясь локтями, била кулаками в спины, в груди, кусалась, а когда добралась до стражников, закричала:

— Отпустите, отпустите ее, она не ведьма! Я ведьма! Я спала с чертями, ходила на шабаш! Я ведьма, я!

Абрекова улыбнулась, две слезинки упали с ее сухих глаз, и она произнесла:

— Не отчаивайся, моя доченька. Христос отвернул от них свое лицо на судейском распятии, отвернет и тогда, когда они предстанут перед Страшным судом...

Стражники оттолкнули девушку, в судебном акте черным по белому записано, кто ведьма: палач взвалил на плечо, как мешок, связанную Абрекову, подошел к реке, снял с плеча и, раскачав, бросил в воду перед мельничными лотками.

Вскоре берег Полтвы стал безлюдным, только Льон-

ця, закрыв лицо волосами, стояла на коленях и тихо плакала; возле нее стоял Пысьо и молчал.

Но вот произошло чудо. Льонця отбросила назад волосы и удивленно посмотрела на отца, не веря своим ушам: Пысьо заговорил!

— Все, все на свете — обман! Обман и больше ниц-ничего... И больше ниц-ничего, — голосил Пысьо, — и больше ничего!

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

LEPRA OPPIDUM INVASIT[1]

Сказал господь Христосу на небеси: «Сын мой, много еще на земле грешников, хочу тебя снова послать, чтобы ты искупил их грехи». И ответил Христос: «Боже, пошли в этот раз голубя-духа, он немного помучится и прилетит назад. Там такое сейчас творится, что вторично я не вознесусь».

Средневековая фацеция

Наступил четверг 1611 года, 30 июля. Тревожная весть пришла в город.

Именно тогда, в ту раннюю пору, когда гонец Яна Даниловича въезжал с этой вестью в Краковские ворота и еще мало кто знал о том, что случилось, мещане наблюдали удивительное явление: на кристально чистом небе — нигде не было и следа тумана или случайного дождика — через весь небосклон протянулась дугой ярко-карминная радуга. Она долго стояла над городом, потом наклонилась на запад к горизонту и исчезла.

Возможно, в другой раз никто бы не обратил внимания на этот каприз природы — чего на свете не бывает? — но ныне это расценивали как зловещее предзнаменование; тревожные слухи уже несколько дней просачивались во Львов, и ни представления на Рынке, ни казнь колдуньи Абрековой не могли развеять у людей дурных предчувствий.

А слухи были такие, что будто бы из Москвы, из окружения, вырвалась банда поручика Лисовского и возвращается в Польшу, грабя и уничтожая все, что попадает ей под руку, имея намерение добраться до самой

[1] В городе проказа (*лат.*).

Варшавы, не минуя и Львова, чтобы по пути содрать с королевских подданных обещанный и не уплаченный королем жолд — плату за службу.

О хоругви гусар Александра Лисовского жители Львова слышали еще во время мятежа: эта банда наемников состояла из представителей разных сословий — от придорожных разбойников до пропойц-шляхтичей, — очень воинственная и страшная своей жестокостью. Хоругвь воевала на стороне Зербжидовского, а после разгрома мятежа под Гудзовом перешла на сторону Жолкевского, вместе с ним двинулась на Москву и, пополнившись жолнерами-крысоедами, возвращалась теперь к своим работодателям требовать у них плату за пролитую кровь.

И это был не только слух. А ныне — еще эта странная радуга. И вот уже молнией распространилась по городу весть: из Вороняков, минуя неприступный, а впрочем, и ненужный им замок, лисовчики галопом скачут по Волынской дороге на Львов, чтобы до сумерек остановиться в городе на постой.

Весь город всполошился — от магистрата до самой убогой хижины: мародеров боялись больше, чем татар, с чужеземцами воевать легче, чем со своими. Патриции прятали в подвалах богатства, посполитые вооружались кто чем мог, чтобы защитить свои дома, совсем бедные жители трущоб, которым нечего было терять, отправляли в пригородные села к родственникам дочерей, чтобы избавить их от надругательства; богатые евреи стаскивали свое добро в тайные хранилища синагоги, малоимущие прятали подушки и перины, которые первыми уничтожались во время погромов.

Узнал о мародерах и прокаженный Кампиан. Он сидел за изгородью у подножия Калечьей горы, держа в руках длинную палку с мисочкой для подаяний; двое мещан, подав милостыню, встревоженно разговаривали о банде, идущей на Львов по Волынской дороге; до Кампиана доносился разговор, но он не прислушивался к нему — его это не волновало. По нему, как и по десятку других жителей колонии, давно отслужили панихиду, он уже не был жильцом на этом свете. Магистрат совместно с семьей Кампиана — об этом бывший бургомистр не знал — построили возле кафедрального костела каплицу в честь прокаженного, повесили над алтарем его портрет, зажгли лампаду за упокой умершего, а он все еще

жил. Заросший бородой, в язвах, которые не заживали, в рукавицах и просмоленном кафтане сидел он днями с другими прокаженными возле Сокольницкой дороги; полученную за день милостыню приносил, как и другие, к камышовой халупе бургомистра колонии Тимка Пенёнжека, который поровну делил еду, — не так уж плохо жилось колонистам. Никто не был голоден, ничто никого не волновало, колония жила своей жизнью, и Кампиан привык к ней. Единственное, с чем не мог он согласиться, а должен был, это — невыносимое и ненавистное для него — равенство. Привык всю жизнь получать больше, чем другие. Поэтому в отличие от братьев, которые давно уже смирились со всем, что окружало их, он все время размышлял.

Кампиан сидел за изгородью и тоже видел удивительную радугу; мимо него проходили люди, никто не узнавал его; кое-кто клал в мисочку хлеб, фасоль, крупу, все, что можно съесть, монет никто не бросал, зачем они им, двое мещан остановились неподалеку от него и беседовали, а Кампиан думал об одном и том же: если бы все стали прокаженными, тогда исчезла бы эта проклятая изгородь, никто больше не боялся бы заразы и все люди на свете жили бы, как прежде... Кампиан мечтал заразить весь мир, а двое мещан стоят себе и разговаривают.

— Захватят город мародеры, захватят, — печалился один. — Наши властители только и умеют воевать с нами.

— А они разве не боятся? — спросил второй.

— Им не страшно. Магистрат уже пустой. Патриции и духовные особы спрятались, как мыши, в тайниках, а для нас в эту ночь наступит судный час...

Кампиан краешком уха услышал разговор, и вдруг слова — «магистрат пустой, властители спрятались» — завертелись в мозгу, как волчок, он опустил палочку на землю, поднялся — его осенила спасительная мысль. Оставив милостыню, со всех ног помчался на гору — к Тимку Пенёнжеку.

Город лихорадило. Не нарушался покой только в одном доме Львова — в борделе на Вексклярской улице. Жительницы этого увеселительного заведения всегда равнодушно относились к политическим переменам, к войнам, нападениям, осадам; мастерицы самого первейшего цеха занимали в обществе особенное место — они

были нужны всегда и всем, — не для мести, грабежей и крови, а для отдыха и услады.

Девицы встретили известие о мародерах радостными возгласами — какая-то часть награбленного золота достанется и им. Одно лишь озадачивало: как избавиться от гнилозубого клиента, который со вчерашнего вечера поил их всю ночь, истратил все деньги, которые у него были, и с самого утра лежит на полу пьяный и беспрерывно болтает:

— Курочки мои миленькие, ну, кто из вас первой подойдет ко мне, я же уплатил, а вы такие неучтивые... Ой, какие же вы хорошие, какие вы милые! Паршивое панское отродье, приди, погляди, как мне хорошо! Я всю жизнь находился не там, где нужно, тут было мое место, тут, тут!

Барон хлопал руками по полу, из черного рта стекала тягучая слюна, водил похотливыми глазами по оголенным бедрам проституток, причмокивал, манил пальцем, а подняться не мог. Вокруг него стояли полуголые девицы и, хмельные, хохотали, взявшись руками за бока, пальцами ног щекотали его уши и пятки. Барон пытался сесть, чтобы поймать хотя бы одну из них за ногу, и тяжело падал, повторяя:

— Ох вы, курочки мои, почему я всю жизнь не жил среди вас, тут мое место... тут... тут...

Когда до борделя дошел слух, что во Львов идут мародеры, Барон уже спал. Проститутки вмиг сообразили, как им поступить с пьяным клиентом: подсунули под него метлы и, взявшись по трое с обеих сторон, вынесли Барона из дома на задворки, куда складывали мусор, и бросили его на кучу.

Когда Барон проснулся, он увидел на небе над самой радугой несколько точек. Они падали вниз и увеличивались, приобретая форму человеческих фигур, потом увидел, что эти фигуры имеют хвосты и рога, и оцепенел от страха. Черти долетели до радуги, уцепились за нее лапами, раскачали, опрокинули дугой вниз и качались на ней, приглядываясь к куче мусора, на которой лежал пьяный Блазий.

И тут Антоха охватил ужас: он понял, что это слетелись черти за его душой, которую он продал Антипке много лет назад.

Барон собрал все свои силы, вскочил на ноги, сполз с кучи, озираясь, где выход с этих задворков, и в тот же

миг услышал над головой свист и хохот. Он посмотрел вверх и увидел, как с радуги соскакивают черти и летят прямо на него. Завопил во весь голос и вдруг умолк: мохнатая лапа заткнула ему нос и рот, нечем дышать; Антох почувствовал, как на его спину упала целая куча косматых чудовищ, он свалился под их тяжестью, упал лицом в смрадную топь и испустил дух.

Лисовчики заняли Краковское предместье перед сумерками. Ворота были заперты на все запоры. На Кушнирской и Бляхарской башнях, возвышавшихся с обеих сторон Краковских ворот, стояли молчаливые и неподвижные, словно статуи, вооруженные охранники. Ежи Мнишек и Вольф Шольц приказали охране не вступать в переговоры с лисовчиками и не применять оружия до тех пор, пока из Жолквы от гетмана не вернется гонец старосты с рескриптом. Староста и бургомистр не знали, как надо себя вести с воинами, которые проливали кровь за отчизну, — как с врагами или как с героями. Чтобы обезопасить себя, они спрятались в архиепископском дворце: резиденцию главы львовского католического иерарха не посмели тронуть даже татары.

Поручик Лисовский, худощавый, низенького роста и суетливый, подбежал к воротам и заколотил саблей в ножнах по кованому железу.

— Эй вы, — крикнул он охранникам, — откройте ворота победителям, которые ради вас голов своих не щадили! Слышите вы, там, на башнях?

В ответ — тишина.

Несколько сот мародеров, к которым присоединились разбойники и головорезы предместья, стояли беспорядочной толпой в поношенных кунтушах, свитках, кожухах, сапогах и постолах, некоторые — очевидно, новички — и совсем босые. Не всем еще удалось раздобыть одежду, а может, и не хотели отягощать себя чем попало: Лисовский обещал дать воинам все самое лучшее — и одежду, и харчи из богатых львовских магазинов.

— Молчите? — возмутился поручик, размахивая саблей. — Тогда передайте вашему старосте Мнишеку, что мы согласны обойти Львов, если он отдаст то золото, которое он взял у самозванцев. Ни один из них не уплатил нам жолда! Вы слышите? Передайте ему мои слова, я буду ждать до утра. Если он не сделает этого, мы завтра сами взыщем с города контрибуцию!

Перед рассветом в халупу сапожника, рассчитанную Лисовским для ночлега, вошли двое высоких и кряжистых мужчин. Они с минуту приглядывались к поручику, будто удивляясь, что такой невзрачный на вид человек сумел собрать такую банду, и один из них негромко произнес:

— Вставайте, поручик!

Лисовский вскочил с топчана, вмиг вытащил саблю из ножен и замахнулся на великанов.

— Генерал, вашець[1], генерал я! А вы кто такие?

Проникшись уважением к бесстрашному вожаку, мужчины отступили назад, мирно сложив руки на груди.

— Мы братья Бялоскурские.

— Ну так что? Говорите, кто вы! — заорал Лисовский.

Янко с Микольцей удивленно переглянулись: поручик не знает, кто такие братья Бялоскурские. Так узнает!

— Пан генерал, — усмехнулся Янко, а Микольца показал оскал белых зубов, — мы братья Бялоскурские и больше ни в каких титулах не нуждаемся. Мы хотим вам сказать, что в город вы сами никогда не войдете, потому что не посмеете рубить королевских воинов, ибо за это вам дадут не жолд, а петлю на шею. Но надо все-таки войти, правда? И очень быстро, пока из Жолквы не подоспел польный гетман...

— Мы хотим повидаться с ним, — перебил Лисовский. — Это же он оставил нас в Москве без хлеба и денег.

— Думаете, Жолкевский уплатит вам жолд? Сначала он напишет королю, потом король созовет сейм, а сейм вынесет решение, что у казны нет денег. Не удастся вам получить их и у Мнишека — тот знает, где их спрятать. Но Львов богат: суть армянские купцы, жидовские ростовщики, есть и русинская братская касса! Что вы сможете сделать без Бялоскурских? Дайте слово взять нас к себе в войско ротмистрами, дайте нам людей, и мы до восхода солнца откроем Краковские ворота.

— Вы знаете, где находятся подземные ходы?

— Нет, мы знаем людей, у которых есть ключи от боковых калиток. Только не трогайте ратуши, Нижнего замка, домов патрициев, а тихо, точно коты, окружите в темноте армянский, русинский и еврейский кварталы.

---

[1] Ваша милость *(польск.)*.

На заре ударил Великий Кирилл на колокольне Успенской церкви.

Юрий Рогатинец не спал всю ночь, сам дежурил на звоннице — там, где когда-то просидел всю ночь, разговаривая со стреноженным братским колоколом. В предутренней мгле он заметил, как, наклонившись, тихо крадутся через рыночную площадь тени — десятки, сотни теней, и понял, что надо бить в набат, — может быть, в последний раз будить людей. Юрий начал раскачивать огромную чашу невероятно тяжелого колокола, язык раскачивался, а до края не доставал, шли дорогие секунды, минуты, тогда он уцепился за язык, повис на нем и, оттолкнувшись от стены ногой, достиг вместе с языком края, потом еще и еще раз; немели руки, он держался, напрягая последние силы, отталкивался и бил, отталкивался и бил — город проснулся, охваченный тревогой.

Услышали этот звон и прокаженные на Калечьей горе.

Кампиан не спал. Он еще с вечера помылся, навострил нож и подрезал бороду, теперь поднялся с нар и сказал:

— Пора. Пора, панове!

Прокаженные просыпались, в хижине, покрытой камышом, отвратительно пахло гноем и мертвечиной, больные чесались, раздирали гнойники; Кампиан, у которого нарывы на теле еще не лопнули и не выделяли смрада, поморщился, зажал пальцами нос и повторил гнусаво:

— Пора.

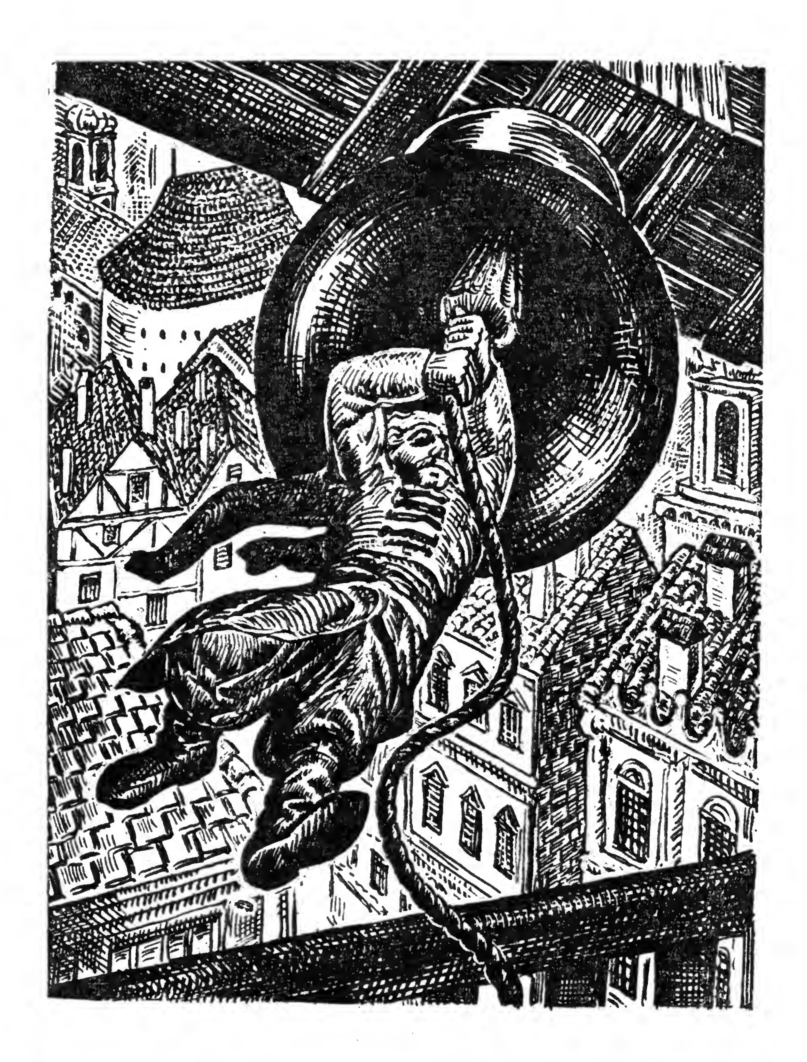
Последним поднялся старый бургомистр колонии Тимко Пенёнжек, он был весь в струпьях, а потому и самым уважаемым и произнес:

— Нет у меня больше сил. Если ты, Павел, сделаешь то, что задумал, будешь бургомистром колонии.

— Сделаю. В колонию превратится весь Львов. Мы вместе с Соликовским начали ее строительство, мы и завершим.

Тимко Пенёнжек послал разбудить всех прокаженных, живших в других куренях. Кампиан отобрал сорок молодых мужчин, и вскоре они двинулись по склону Калечьей горы.

Впервые за время существования колонии прокаженные осмелились пересечь границу, через которую до сих пор только могла быть протянута палка с мисочкой для получения подаяний, и спокойно пошли по Сокольниц-



кой дороге. Перешли по мосту через реку Полтву и направились вдоль городского вала, миновали Галицкие ворота, потом свернули влево и наконец остановились позади костела Босых кармелитов.

Кампиан повертелся на месте, потоптался, посмотрел в сторону Босяцких ворот, прикинул на глаз расстояние, потом отошел назад на несколько шагов и сказал:

— Тут копайте.

Прокаженные бросились к указанному месту и стали разгребать землю пальцами, ножами, палками, чем попало, пока не добрались до толстой железной крышки с массивным железным кольцом. Крышка была тяжелой, прокаженные долго тужились, пока подняли ее. Раздался радостный крик и тут же стих: под крышкой зияла глубокая дыра, вниз вели отвесные ступеньки, изнутри ударил спертый теплый воздух — это был тайный вход в львовское подземелье, о котором знали только староста, бургомистр и архиепископ.

Прокаженные спустились вниз и гуськом пошли по темному коридору, который вел к ратуше и Нижнему замку с ответвлениями к архиепископу, старостинскому и бургомистерскому дворцам.

Возле первого разветвления Кампиан остановился и сказал:

— Я пойду к Соликовскому. Вы же меня ждите в консулярном [1] зале ратуши.

...Архиепископ расставлял на столе куклы. Он давно уже не занимался этим: политические события в мире и в крае опережали одно другое. Соликовский едва успевал улавливать причины их возникновения. Теперь же, после поражения под Москвой, они будто бы замедлили свой бег, чтобы передохнуть перед новыми, еще неизвестными переменами. Он расставил куклы в один ряд, потом подумал о том, что ему придется смастерить новые, ибо появились новые люди на политической арене, вытащил из ряда куклу, изображавшую Кампиана, и выбросил ее в мусорный ящик.

В это время министрант сообщил Соликовскому, что завтрак подан.

Звон колокола уже давно умолк. Теперь на Рынке раздавались воинственные крики, шум, бряцание оружием, слышны были выстрелы — все эти звуки отчетливо доносились до уютной трапезной, однако ни Соликовский, ни Мнишек, ни Шольц не обращали на них внимания, властители города спокойно ели мясо, запивали его вином и изредка перебрасывались словами, которые не имели ни малейшего отношения к событиям, происходившим в городе. Янко Бялоскурский гарантировал патрициям и духовенству безопасность.

---

[1] Консулярный зал — зал, в котором заседают советники министра (*польск.*).

— Это не наше дело, — повторил фразу, уже сегодня произнесенную, Ежи Мнишек, когда на Рынке усилилась стрельба. — Не чужаки же вступили в город. Чего волноваться? Впрочем, это компетенция польного гетмана: приедет и наведет порядок.

В этот момент открылась дверь, и в трапезную вошел Павел Кампиан. Так он когда-то всегда приходил к архиепископу — не предупреждая, без стука, его появление было настолько естественным и привычным, что все три львовских властителя в эту минуту забыли, кем ныне стал Кампиан и где должен был находиться; время вернулось вспять — в трапезную архиепископа пришел на завтрак бургомистр. Вольф Шольц, как обыкновенный чиновник, встал, протянул руку именитому гостю, Мнишек поздоровался сидя, Соликовский поднес Кампиану руку для поцелуя.

Кампиан отодвинул свободное кресло, сел и обратился к вежливо улыбающимся своим коллегам:

— Теперь мы едины — и телом, и духом, панове. А в магистрате нас ждут члены совета Сорока прокаженных мужей. Пан Шольц, я согласен быть простым чиновником, вы же продолжайте исполнять обязанности бургомистра.

Соликовский, Шольц и Мнишек постепенно очнулись. Почтительные улыбки на их лицах тотчас мертво застыли, время вернулось на свое место, и теперь они поняли, кто пришел к ним и откуда. Привидение... Но нет, не привидение — живой прокаженный Кампиан, без ресниц, со слезящимися глазами, весь в пятнах и нарывах, сидел рядом с ними за столом; Соликовский вскочил с кресла и, осознав до конца, что случилось, закричал:

— Альнпека, Альнпека, Альнпека!!

Кампиан покровительственно улыбнулся:

— Он не будет вас лечить, как не захотел лечить и меня. Но я удивлен, почему вы, ваша эксцеленция, так волнуетесь. Мы же с вами были основателями колонии прокаженных, мы и будем теперь совместно работать с вами, заботясь о том, чтобы она ширилась. Разве вы забыли: божий вестник в образе ангела велел вам построить...

— Это был сатана, сатана!..

— Разве не все равно? Я убедился, что с проказой можно жить: разум ясный и ничего не болит, а что смрад и гной... Когда все станут одинаковыми, эта болезнь бу-

дет такой, как ныне насморк. И никто не додумается тогда уравнять патрициев с голытьбой, каждый останется на своем месте. А теперь давайте подумаем сообща, панове, как нам заразить проказой весь наш народ...

Удары колокола в предрассветной тишине были неожиданными и зловещими: мародеры остановились. Лисовский подумал, что это сигнал для военного гарнизона, и скомандовал:

— Ко мне!

Испуганные бандиты столпились возле статуи правосудия. Лисовский взобрался на лобный помост, выхватил из ножен саблю — в эту минуту ему и в голову не могло прийти, что спустя несколько лет, кроваво погулявший по всей Европе, будет стоять на таком же точно месте в Буде, только со связанными руками, — к нему подбежал Янко Бялоскурский и шепнул на ухо:

— В жолнеров и стражников не стрелять!

Но вокруг было тихо, только изредка и ритмично бил колокол, в окнах зажигался и гас свет, лисовчики снова разбились на три группы, каждая — на свой квартал.

И вдруг со всех сторон раздались крики, свист и вопли. С улиц и переулков, ворот и калиток, из темных дворов, словно из нор, выбегали люди в одних сорочках, мужчины и женщины, с топорами, молотами, секачами, большими ножами, ухватами — каждый со своим орудием. Это были медовары, шапочники, мечники, жестянщики, ткачи, кузнецы, седельщики, мясники, ремесленники — всегда готовые по тревожному набату ратушного горна занять свои места на башнях. Но теперь их призывал не горн магистрата, а колокол — Великий Кирилл с колокольни Успенской церкви, и понял рабочий люд, что патриции отдали их на истребление мародерам, чтобы таким образом откупиться от них.

Советоваться не было времени. Единого вожака никто никогда не избирал, до сих пор ремесленниками командовали старосты и бургомистры, некому было бросить призыв к бою с врагом, однако у каждого был свой дом, у каждого были дети, у всех вместе один город, поэтому ныне каждый стал вожаком, и, не сговариваясь, без призыва, охваченные ненавистью, забыв о цеховых распрях, став вмиг не поляками, украинцами, евреями,

армянами, а только жителями Львова, — все они огромным полукругом двинулись от стен домов на мародеров.

Лисовчики не ожидали такого сопротивления, попятились назад к ратуше. Лисовский скомандовал стрелять, раздалось несколько выстрелов, кто-то упал на мостовую, но это вызвало еще большую ярость толпы; мародеры отступили, огромный полукруг неудержимо сужался, защитников было столько, сколько травы и листьев, а лисовчиков, выступавших против них, — горсть; вооруженные орудиями труда, ремесленники решительно шли вперед, чтобы окружить и уничтожить бандитов.

В самый критический момент, когда мародеры были уже готовы бежать куда глаза глядят, вырвались от них вперед два великана с молотами в руках. С криком набросились они на ремесленников и стали бить их по головам ловко и яростно. Мещане с ужасом отпрянули назад, оставляя на мостовой убитых. Начало светать. Кто-то в паническом страхе завопил:

— Бялоскурские, Бялоскурские!

Бялоскурские всегда наводили страх на людей в городе. И тысячная толпа, которая вот-вот должна была смять мародеров, отступила под натиском двух бандитов.

Янко безумствовал. Хохоча и ахая, он бил молотом по головам, по спинам, по рукам, словно перед ним были не люди, а дрова: мертвые падали у него под ногами, никто уже не оказывал ему сопротивления; Янко по-сатанински гоготал и, весь в крови, преследовал бегущих. Микольца молча убивал людей на другом фланге.

Но Янко вдруг остановился. Он не был суеверным, не верил ни в духов, ни в привидения, но белое привидение шло прямо на него — женщина в длинной сорочке с распущенными волосами. Он на миг оторопел, больше от удивления, чем от страха, — кто это такой, что его не боится? — опустил руку; наверно, это бесплотное привидение, коль бесстрашно идет на него? Женщина с прекрасным в своей ярости лицом шла на него, нагнулась, подняла с мостовой острый длинный нож мясника, и тогда Янко узнал Льонцю.

Страх перед фурией, которая опять наступает на него, охватил бандита, он отскочил назад, поднял молот, и в этот миг длинный нож пронзил его грудь. Острие пробило суконный кафтан на спине и блеснуло в лучах солнца. Янко еще стоял какое-то время удивленный, затем

молот выпал из рук, и он тяжело грохнулся на землю.

— Это тебе за Антонио! — прохрипела Льонця и, опомнившись от сладостного чувства мести, закричала: — Да бейте, бейте их, собак, чего вы убегаете, как зайцы?

И бросилась с ножом в руке на мародеров.

Снова сомкнулся полукруг. Ремесленники двинулись вперед стремительно и напористо; Микольца Бялоскурский, увидев гибель брата, при ком сам был только исполнителем, бросился наутек первым, лисовчики отступали, пятились к ратуше, в конце концов беспорядочно, каждый спасая себя, со всех ног побежали к Краковским воротам.

Из ворот магистрата на рыночную площадь вышли прокаженные...

«В тот день Юрий Рогатинец разыскал на Замарстынове Ганушa Альнпека и умолил его вернуться в город лечить зараженных проказой. Моего же Романа избрали ректором братской школы. Большая честь выпала ему, но во сто крат большей станет, если он сумеет выковать у детей чистую совесть, ибо это самое лучшее средство против духовной проказы... Прошло уже столько лет, я постарел и теперь только то и делаю, что торгую вином, ведь надо как-то жить, но понял я за это время, глядя на нравы то Дратвы, то чада своего, то пана Рогатинца, а наипаче таки Льонци Абрековой, премудрую истину: каждый человек способен на великое дело. Способен, черт подери» [1].

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

ОГНЕННЫЙ КОНЬ

Ой чий то кінь стоїть,
Що біла гривонька?..

Украинская народная песня

Туман оседал на дне гаварецкого межгорья, словно муть на взболтанном плесе, волны чистого воздуха скатывались по зеленым склонам, наполняли гигантскую чашу, и, когда последние клубы тумана расплылись по ущельям, Зиновий и Марк увидели внизу многолюдный

[1] Примерно такой, помню, была последняя запись в манускрипте. (*Прим. автора.*)

лагерь обшарпанных вояк, сидевших вокруг угасших костров.

Некоторые из них еще дремали, но лагерь уже проснулся, воины, почесываясь, переговаривались между собой, бряцали оружием; кони стояли неподалеку, сбившись в кучу, голова к голове, — покорные, утомленные и худые. Пастись им было негде: пологая долина вытоптана, объеденные ветки ольховых кустарников стояли черными, кони сгрудились возле ручейка над кучей соломенной трухи, лопухов и сорной грубой травы, шевелили губами, но не ели. Шум увеличивался, кто-то затянул бодро: «Wygrają, nie wigrają, niechaj nas znają!» [1]

— Кто они? Чьи? — шепотом спросил Марк.

— Не знаю, но не Даниловича, — ответил Зиновий тоже тихо. — Ты гляди, какие оборванные, грязные... А может, это те, что из-под Москвы... Говорил отец: разбегаются. Так им и надо, зачем шли... Думали — непобедимые, всемогущие. Надавали им русские... Еще бы и отсюда их, с обеих сторон... Марк, когда вырастем...

— Но почему они тут? Может, хотят напасть на замок?

— Фю-и-ть, куда им до замка, таким оборванцам? Олесский замок не могло когда-то взять пятидесятитысячное войско... Но коня вспугнули, не придет...

— Подождем еще немного.

Солнце поднялось над Вороняцким кряжем, бросило сноп света вдоль гаварецкой долины на противоположную гору и осветило на ней зеленую лужайку, окруженную старыми буками.

И тогда из-за седых стволов буковых деревьев на лужайку вышел дикий конь. Белая масть окрашивалась в лучах утреннего солнца в бледно-розовый цвет, густая грива спадала с обеих сторон на шею. Стройный конь поднял к солнцу голову и громко, радостно заржал.

В долине фыркнули стреноженные тощие кони, но ни один из них даже головы не повернул в сторону теперь уже огненно-красного коня, который, увидев их, заржал еще раз.

Мародеры оглянулись и оцепенели от удивления, увидев такое чудо. Ослепительное видение, символ воли и необузданной силы — дикий конь ржал, словно насмехался над стреноженными собратьями и их погонщика-

[1] «Выиграем иль проиграем, пусть наших знают!» *(польск.)*

ми. Смотрели и не верили: на вытоптанной копытами земле, где все в упряжке, спутано, взвешено, отобрано, гуляет свободный конь?

Поручик Лисовский поднял руку, призывая жолнеров к тишине. Он бесшумно подбежал к тому месту, где лежали котомки вояк и оружие, нашел аркан и, крадучись, начал взбираться по крутому склону к лужайке, где стоял конь.

Хлопцы заметили поручика, когда тот подошел к коню на расстояние длины аркана. Они сначала не могли понять, почему крадется он, что ему надо, но вдруг увидели, как над головой коня взвилась петля аркана. Зиновий вскочил и закричал:

— Вйо, вйо-о-о!

Конь сорвался с места и стремительно помчался по голому кряжу. В воздухе свистнул аркан, а потом произошло точно так, как тогда, когда Зиновий стоял на крыше дома Гуттера и ему мерещились гаварецкие полонины: конь в беге резко закинул голову, надрывно заржал и осел на круп; аркан натянулся, как струна; «вйо-о-о!» — закричали Зиновий и Марк, и конь рванулся с места. Шнур впился в шею коня, он задыхался, храпел, но устремлялся вперед, таща по склону мародера; из лагеря бежало несколько человек на помощь, они поднимались на гору, по одному цеплялись за аркан, дикий конь, обессиленный и еще не побежденный, сопротивлялся, но силы были неравные. Вдруг он повернулся, и поскакал в ту сторону, где стояли хлопцы; аркан снова натянулся, и конь упал на колени передних ног.

Зиновий добрался до аркана, вытащил нож; шнур был тугой и крепкий; он резал, пилил, рубил его и наконец разорвал. Мародеры покатились по холму вниз, конь встал на ноги, заржал и бешеным галопом помчался к пылающему диску солнца.

Усталый Зиновий лежал на траве и в этот момент снова услышал печальную песню матери: «Ой, Дунаю, Дунаю, чому смутен течеш?..», перед глазами стоял отец, отягощенный панской службой: на устах угодливая улыбка, а в глазах — горечь; песня матери, казалось Зиновию, звучала все громче, вливаясь в душу воплями подневольных олесских поселян, но предсмертный стон казненного Наливайко, доносившийся откуда-то издалека, заглушал эту песню...

Зиновий поднялся, взял Марка за плечо и сказал:

— На воле мой конь, на воле... Придет время — и оседлаю его, мой друг.

На Афоне, в тесной келье Руссикона, откуда видны только небо да синие воды Эгейского моря, тосковал мних Иван Вишенский по далекой родине. Он не знал, что творится, что зреет в родимом краю, стонал, словно седой альбатрос в непогоду, плакал и молился за Украину.

Львов — Олеско

1976—1978



МАЛЬВЫ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Разве вы не ходили по земле и не видели, каким был их конец? Были они могущественной силой, но ничего не может ослабить аллаха ни на небе, ни на земле.

Коран, 35 сура, пророческая

Весной тысяча восемнадцатого года гиджры[1] вместе с многими галерами, каторгами и паштардами к Кафской пристани причалил небольшой турецкий фрегат. С него сошел на берег седобородый мужчина в белой чалме и в сером арабском бурнусе. Его лицо пряталось в густой длинной бороде — трудно было определить возраст старца, но был он древний как мир, и в глубоких темных глазах его таилась мудрость многих поколений.

Старец упал на колени, склонился к земле и прошептал:

— Здравствуй, благодатный край, после долгой разлуки. Кланяется тебе анатолиец, сказитель-меддах Омар, которого ты шестнадцать лет тому назад изгнал из Кафы мечом Шагин-Гирея[2]. Тогда я, не обиженный, а удивленный, пошел странствовать по всей империи от Карпат до Балкан, от Дуная до Нила, чтобы убедиться, действительно ли другие народы ненавидят нас, турок. А если это верно, то почему? Думал я, что встречу темноту и глупость, а встретился с благородным прозрением ослепленных богатырей; думал я, что увижу озлобленное отношение ко мне, турку, а увидел высокое благородство, уважение к уму, ненависть к цепям. И спросил я тогда себя, кто виновен в том, что мой народ стал носителем зла и неволи? Нужно ли это ему? Ведь анатолийский райя не стал богаче оттого, что завоевывает чужие страны... Я возвратился к тебе, мой Крымский

[1] Гиджра — магометанское летосчисление, которое начинается с 622 года — даты переселения Магомета из Мекки в Медину. По нашему летосчислению — 1640 год.

[2] Шагин-Гирей — татарский полководец из рода Гиреев, который в 1624 году изгнал из Кафы турецких вассалов. Был разгромлен турками и татарскими беями в 1629 году.

край. Не мстить — твой гнев был жестоким, но справедливым, — я хочу посмотреть, крепко ли Осман заковал тебя в кандалы, или, может быть, ты еще дышишь своей буйной непокорностью; по-прежнему топчешь чужие земли, следуя примеру своего соседа и повелителя, или, может, тебя осенил свет освободительного духа и дикие страсти твои сменились поисками правды?

Он поднялся. С галер выходили, спеша на ясырь-базар, турецкие купцы, маршевой колонной шли янычары — султанская охрана кафского паши, торопились мубаширы [1], чтобы отсчитать пятую часть татарского ясыря для турецкого падишаха, — двигалась на крымскую землю ненасытная османская рать.

Меддах Омар проводил их взглядом.

«О народ османский... Когда уже ты будешь довольствоваться своим добром, заброшенным, неосвоенным? Зачем ты заришься на чужие земли, не вспахав свои, почему не насытишь собственным богатством родных детей, а принуждаешь их, голодных, рыскать не по своим полям и напрасно проливать кровь соседей? Когда же ты утолишь свою неутолимую жажду? Сегодня у тебя есть власть, и ты своевольничаешь. Кто защитит тебя от божьей кары, когда она грянет? А она придет. Уже сужается круг веков, и тебе придется вернуться туда, откуда пришел, исполнив свое призвание на земле. Вернешься, осуждаемый всеми.

О, страшное у тебя призвание! Тебя обманули тщеславные и властолюбивые вожди твои, и ты, лицемерно взяв божье учение за оружие, залил слезами, кровью и ненавистью к себе полмира. А что ты получил за это? Сидишь, точно безумный скупец, среди сокровищ, награбленных в чужих амбарах, хлеб, отнятый у голодных, не лезет тебе в рот, сидишь в лохмотьях и нужде, не ведая, что делать с награбленным добром. Обездолил народы, а сам обогатиться не можешь и лишь порождаешь лютую ненависть к себе.

А мог бы жить, рождать мудрецов, поэтов, астрологов... Но справедливый гнев уже сплачивает врагов твоих. И воскликнули они: «Лжив хадис [2] пророка Магомета о том, что не существует народностей под игом ислама. Мы существуем!» Пропел свою повстанческую песнь бол-

---

[1] Мубаширы — сборщики, которые получали дань для султана (*турецк.*).

[2] Хадис — суждение пророка Магомета (*арабск.*).

гарский гайдук, греческие учителя понесли своим людям книги, подняли головы валахи, черногорцы, албанцы. Кто спасет тебя? Твои умные дети — повстанцы-кызылбаши подняли меч на виновников твоего горя и будущей гибели твоей, а ты, ослепленный и неразумный, убиваешь их — своих спасителей.

Почему ты не видишь, не понимаешь этого, обманутый Османами народ? Ты же не родился грабителем, не появился на свет злодеем, которого следует карать. Тебя сделали таким. Разве ты не мог бы жить в согласии с соседями и наслаждаться собственными почестями и богатством? Почему ты не протянешь руку гайдуку, ускоку[1], клефту[2], пока не поздно, пока страшная кровопролитная злоба не скрестит ваши мечи тебе на погибель? Где тот пророк, который сумел бы воскликнуть так, чтобы ты, оглохший, услышал: «Опомнись, не убивай сам себя! О мой народ...»

Купцы, янычары, мубаширы скрылись за воротами Кафы, меддах Омар, высокий и величественный, направился в Карантинную слободу, где останавливались паломники, возвращавшиеся из Мекки.

Солнце жгло не по-весеннему. Поблекли тополя возле северной кафской стены, умирал на пустырях увядший чертополох, ломались под ногами курай и сухие веники тамариска, трескалась земля, и чуть заметно слезились фонтаны.

Только у входа в северные ворота зеленел роскошный одинокий платан, красовался буйной кроной над зубчатой стеной и манил в свою тень измученного жарой человека.

Этот роскошный платан привлекал внимание местных жителей, паломников, невольников, журавлиными стаями тянувшихся с рынка на галеры, турецких дервишей ордена Хаджи Бекташа[3], которые основали на окраине города монастырь.

Очевидно, не один путник задумывался, отдыхая в тени дерева, о вечности жизни; не одного из них ободряла бессмертная живучесть южного богатыря, и чабан, возможно, слагал песню о мужественном дереве, кото-

---

[1] Ускок — сербский повстанец *(сербск.)*.
[2] Клефт — греческий повстанец *(греч.)*.
[3] Хаджи Бекташ — монах, основавший в XIV столетии орден дервишей-бекташей.

рое стойко переносило суховеи, жажду и немилосердный зной.

Меддах Омар остановился возле него, долго присматривался к дереву и, подумав, горько улыбнулся: Ведь мало кто знал о том, что этот богатырь мертв, что сердцевина его усохла и корни давно уже перестали тянуть из глубины земли влагу. Кто же мог знать, что плющ, которому природой дано ползать по земле, незаметно впивался в поры дерева, исподволь вился тонкими жилами по стволу до самой вершины, изо дня в день высасывал соки, пока своими щупальцами не впился в корень. А тогда разросся, стал роскошным, покрыв своими листьями чужие ветви. Но не садятся на него ни пчелы, ни мотыльки, даже саранча не ест его. Жесткий и едкий, он зеленеет до тех пор, пока не отомрут корни старого дерева, съеденного плющом, пока оно не свалится и не покроет паразита своей трухой...

...В этот год слишком рано началось лето в Крыму. Шелковица осыпалась, не успев созреть, виноград не завязался, опали пожелтевшие персики величиной с лесной орех, ветры не гнали по небу ни единого облачка. Созрел ячмень, едва покрывший собой серую каменистую почву, и развеялось половой выбросившее метелку просо.

А в июне на Кафские степи налетела саранча. Крестьяне вышли с кетменями копать рвы, вышла процессия дервишей в суконных серых одеждах, неся в круглых баклагах святую мекканскую воду, и стояли беспомощные, глядя, как вокруг гибнет все живое.

Среди толпы женщин, которые в отчаянии уже не думали о том, чтобы закрывать искаженные тревогой лица, стоял седобородый мужчина в белой чалме и сером бурнусе. Тяжкая скорбь таилась в его глазах.

— Кара аллаха за грехи наши... Вот так чернеет и стонет земля, когда правоверные войска идут в чужие страны, — сказал он сам себе, и люди повернули к нему головы, а стоявшие в стороне дервиши подошли ближе. — Такой же гул тогда несется над землей, затягивает небо градовая туча и раздается плач женщин и детей.

Один из дервишей нервно взмахнул головой, закачалась серебряная серьга в его ухе, он подошел к меддаху Омару, заросший и босой, смиренные глаза наполнились гневом:

— В своем ли ты уме, старче, что накликаешь на нас кару христианского бога за джихад[1]? Кто ты такой? Да, видно, мусульманин. Но как ты мог забыть слова пророка: «В рай попадет тот, кто погибнет на поле брани с гяурами»?

— Но ведь сказано тоже в седьмой суре корана, отче, — спокойно ответил меддах Омар, — в пророческой суре: «Сколько селений мы зря погубили!»

— Если ты знаешь коран, пусть осенит нас свет единственно правдивого учения, — смиренно посмотрел дервиш на старика, — вспомни тогда слова пророка: «Мы будем держать свои знамена над всеми странами до тех пор, пока они не поймут, что это явь».

— Но вторая сура, благочестивый, сура мединская, гласит: «Горе тем, которые пишут послания своими руками, а потом говорят: так сказал аллах», потому что знамена, о которых ты говоришь, несут наши воины и в Азов, и в Багдад. И там, и там чернеет земля от наших ратников, точно Кафская степь от саранчи. Скажи же мне, какая война священна? Против христиан или против единоверных мусульман?

Задрожал посох в руке дервиша, а женщины с тревогой и надеждой смотрели в умные глаза седобородого аксакала: что скажет он еще, может быть, это пришел к ним вестник горя или радости?

Омар посмотрел на опечаленных матерей, сестер и дочерей воинов, которые отдали или отдают жизнь за Высокий Порог[2] на Евфрате и на Дону, — страдание сковало его губы, молчал старик; окинул взглядом проповедников священных войн — ярость обуяла его, и рассказал он дервишам пророческий сон:

— Когда султан Амурат находился у стен Багдада, ему приснился дивный сон. Будто бы к лозе подошел нож, чтобы срезать ее. А эта лоза отослала его к другой. И еще узрел падишах во сне коршунов, которые ели падаль и погибали, обожравшись нечистью. Позвал Амурат мудреца и спросил его, что означает сей сон.

«Это предсказание на нынешний день, — ответил мудрец. — Лоза, которая отсылала нож к своей подруге, — это мы сами, ради своей корысти не щадящие брата. А коршуны — это опять-таки мы, это мы пожираем чужое

---

[1] Джихад — священная война против христиан (*турецк.*).

[2] Высокая Порта, Высокий Порог — правительство султанской Турции.

добро, нас тошнит от человеческих страданий, и творим и творить будем то же самое до тех пор, пока не околеем от своей ненасытной жадности».

Дервиши закричали:

— Ты шиит[1], шелудивый перс! И мудрец тот тоже был персом-шиитом, пускай почернеет его голова, которую, наверное, отсек великий падишах!

Закричали остальные дервиши:

— Кто ты? Отвести его к кафскому падишаху!

Ни один мускул не дрогнул на лице аксакала.

— Я Омар-челеби, анатолиец. И этот ответ султану дал я.

Крики утихли, и шепот пронесся по толпе, имя Омара с трепетом на устах произносили пораженные монахи. О, его, этого путешественника, меддаха и хафиза[2], на которого еще не поднялась рука ни одного властелина, знали в Стамбуле и Брусе, в Бахчисарае и Кафе.

— Молитесь, люди, — произнес меддах. — Голод бродит над степью. Молите бога, чтобы не сбылись слова пророка о семи тощих коровах, что пожирают семь тучных, о семи сухих колосьях, что пожирают семь наливных. Просите милости у всевышнего...

Он поднял руки, прошептал молитву и отправился в безвестность.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Зажурилась Україна, що ніде прожити,
Витоптала орда кіньми маленькії діти.
Малих потоптала, старих порубала,
А молодих, середульших, у полон забрала.

Украинская народная песня

В это адски знойное лето хозяин-татарин отпустил Марию на волю. Два года назад он купил ее с больным семилетним ребенком на ясырь-базаре и привел в свою тесную и темную саклю.

Посреди татарской сакли стоял ковровый станок, за ним на миндере[3] стонала больная жена. Она не подня-

---

[1] Шииты — мусульманская секта, признанная в Иране и Ираке. В Турции — сунниты.

[2] Хафиз — ученый богослов, знающий коран наизусть.

[3] Миндер — топчан *(татарск.)*.

лась, только сокрушенно посмотрела на невольницу, потом ее стеклянные глаза надолго впились в татарина и тотчас погасли, стали безразличными.

— Якши гяурка, — сказала она. — Будет твоей.

Смущенный хозяин развел руками, показал на станок с натянутой на раме основой, и Мария поняла, что убогий владелец и купил себе ее — рабыню, очевидно, только для того, чтобы она ткала ковры, зарабатывая ему на жизнь.

Мария научилась ткать быстро. Сквозь натянутые нити смотрела, как подрастает ее дочь, тянется руками к яркому волокну, вплетает его в основу, становится помощницей. Прислушивалась к тому, как дочь училась разговаривать по-татарски, и сама разговаривала с нею на чужом языке, чтобы искоса не смотрели на них хозяева да чтобы ребенка не обижали, когда выйдет погулять на улицу. Ткала с утра до вечера и все напевала песню, да все одну и ту же:

Ой що ж бо то та за чорний ворон,
Що над морем крякає,
Ой що ж бо то та й за бурлака,
Що всіх бурлак скликає...

И странно было слышать, что дочь часто подтягивает матери на чужом языке.

Татарин продавал ковры, которые ткала Мария, и кормил больную жену, не обижая и рабынь.

Спустя год хозяйка умерла от чахотки. Мария знала, что теперь предложит ей хозяин. О чем только она не передумала, какие сомнения не терзали ее днем и во сне — где-то глубоко в сердце еще теплилась надежда вернуться на Украину.

А татарин и правда вскоре сказал:

— Мариам, будь моей женой.

Она заплакала. Просила пожалеть ее — не может она изменить своей вере, не может забыть своего мужа, знаменитого полковника Самойла.

Татарин не настаивал. Когда прошел рамазан и мусульмане резали баранов на байрам, привел на праздничный обед женщину в белом фередже[1] — злоглазую турчанку. Догадалась Мария, что это ее новая хозяйка, и занемела от страха: теперь продаст ее хозяин. И тогда

[1] Фередже — женская накидка поверх платья (*турецк.*).

раскаяние, позорное и трусливое, охватило ее душу: почему она не согласилась стать женой татарина, а теперь их разлучат с дочерью!

Новая хозяйка сразу дала понять, какие порядки она заведет в доме. Вытащила из котелка баранью кость и швырнула ее в угол — подавитесь ею; не нравилось это хозяину, но он молчал, а спустя некоторое время сказал Марии:

— Не продам я тебя, Мариам, пусть лютует. Ты добрая.

Еще вчера хозяйка толкала ее в спину и угрожала продать дочь, ведь от нее нет никакой пользы, еще вчера Мария падала на колени, обещая ночами сидеть за станком, лишь бы только не разлучали их... А сегодня утром, когда турчанка пошла на базар, татарин вошел в дом, жалостливо посмотрел на дочь Марии — у него не было своих детей — и чуть слышно сказал:

— Уходите, вы свободны...

Это слово «свободны» было неожиданным для Марии, оно ошеломило ее. Поклонилась хозяину в ноги, поблагодарила, наскоро собрала свои жалкие пожитки, схватила девочку за руку и выбежала на улицу. Помчалась по извилистым уличкам, замирая от страха, боясь, что вернувшаяся с рынка турчанка догонит ее, бежала, прячась за каменными стенами, закрывавшими окна домов, спешила к северным кафским воротам, чтобы вырваться из тесного города на волю. Ей казалось, что пройдет всего одна минута — и ворота закроются. Вот вышел из-под зеленого платана постовой, она крикнула ему:

— Я отпущенная!

Высокий янычар в шапке с длинным шлыком, спадавшим по спине до самого пояса, лениво потянулся рукой к ятагану и снова вошел в тень: иди, мол, бедняга, кто тебя держит. Зеленого цвета янычарский кафтан слился с листьями плюща. Постовой спокойно закурил трубку. От такого равнодушия — ведь только одно слово «янычар» наводило страх на невольников — у Марии сжалось сердце: неужели это не последняя стена, ограждающая Кафу? Вышла на хребет Тепе-оба, что длинной насыпью отделял остальные горы от равнины, нет, дальше — простор и ни единой живой души в степи. Перевела дыхание и произнесла вслух:

— Я свободна! И Мальва моя тоже. О, господи...

И тут поняла, что ей больше не кажется странным имя дочери. Так нарекла она свою дочь давно, еще в начале неволи. Ребенок был хилый, бледный, казалось, не выдержит тяжелой дороги из Карасубазара до Кафы. Несла дитя на руках и подставляла спину нагайкам, заслоняя свою крошку. А под ногами то тут, то там встречались, видно занесенные ветром на чужбину, мальвы — те самые, что красовались вместе с подсолнухами, такие же высокие, возле белостенных украинских хат. Там красовались. А тут терялись среди колючего курая, низкие, чахлые, но все-таки живые. И Марии казалось тогда: если она назовет свою дочь Мальвой, то она тоже выживет, как эти цветы на чужой земле.

Подумала и о том, что ее не удивляет больше ни длиннополый бешмет, ни турецкая шаль, которой уже привыкла закрывать свое лицо, ни даже то, что Мальва спрашивает у нее о том и о сем по-татарски.

Город остался позади. Его опоясывали вокруг зубчатые стены, массивные башни поднимались и давили, сжимали громады домов, мечети, армянские церкви и караимские кенасы. Город трещал, шумел, ревел и гудел. Внизу кишела смрадная яма невольничьего рынка, кричали, расхваливали живой товар татары и греки: на галеры, стоявшие в порту, отправляли партии отобранных, пригоняли новых; грохотали мажары, подскакивая на ухабах каменной мостовой, ревели, захлебываясь, ослы; выкрикивали азан муэдзины, призывая правоверных к обеденной молитве. И еще одно поняла Мария: все это было для нее давно привычным, словно никогда и не было другой жизни. А минутная радость ощущения свободы вдруг стала угасать, и в сознание постепенно заползало тупое чувство безысходности... Серый хребет Тепе-оба и дуга высокой городской стены тесно окружили ее, будто обвили, точно платан стебли крепкого крымского плюща, и никуда отсюда не уйдешь, и будешь жить в этом мире вечно...

А что было?

Шли хазары, половцы, печенеги, кто только не шел? Падали травы и люди, на превратившейся в месиво под копытами коней земле умирал растоптанный дягиль. Сокрушалась Украина, ведь шли ляхи на три шляхи, а татары на четыре, и плакало небо над молочной степью и над людьми, которые падали ниже травы. Черным, Кучманским, Покутским и Муравским шляхами с гиком

пролетели татары — кто теперь остановит их? Подкову замучили ляхи, Сагайдачный умер от турецких ран, Остряницу убили свои же на поселении в Чугуевом городище, внук Байды Ярема украсил дороги трупами своих братьев, и наступило на Украине позорное время равнодушия. Скрылись за холмами низенькие хаты, стекались в Крым обозы с ясырем, стали янычарами юноши, и родили турчанят степные девушки.

Ой що ж бо то та за чорний ворон,
Що над морем крякає... —

затянула Мария. Певунья Мальва стала было подпевать матери, но тут же умолкла и спросила:

— Что это за песня, мама?

Больно поразило Марию чистое татарское произношение дочери, ей хотелось сказать, что они уже на свободе и никто теперь не имеет права запретить им разговаривать на своем родном языке. Но рыжий хребет Тепе-оба будто заслонил свет Марии и придавил к колючей земле, чтобы не двигалась и видела перед собой только невольничий рынок и галеры да еще северные кафские ворота, возле которых стоят два часовых: янычар и мертвый платан, обвитый плющом.

Это то, что есть... А что же было?

Был казак Самойло. Прятала губы от поцелуя, хотя знала, что поцелует, убегала от Самойла через мостки, хотя знала, что не убежит, сопротивлялась казаку в пьянящей полыни, хотя знала, что не защитится, и родила ему двоих сыновей-соколов...

Ой сыны, сыночки!.. Чьи руки расчесывают ваши кудри, какая мать укрывает вас в постели? Где вы теперь, казацкие дети? Ходите ли вы еще по белу свету или ваши глаза выклевали ястребы в Ногайской степи, а головушки моют дожди, густой терн расчесывает волосы, буйный ветер высушивает их?

Были не похожи друг на друга, словно и не близнецы. Один — в Самойла: черноволосый и темноглазый, другой — белокурый, точно подсолнух, с голубыми глазами, как у Мальвы, да нынче не помнит и лица его — пропал белокурый, когда ему еще и года не было. Положила его спеленатого в саду под яблоней, сама в огороде возилась и — не нашла. Мимо села тогда проходили цыгане. Погнались люди за ними, обыскали их шатры, но не нашли ее сына. А отец, как всегда, в походе...

Потом ушел сотник Самойло с гетманом Трясило на Крым, и тогда второй — ему уже было четырнадцать лет — пропал в степи. Этого татары в плен взяли. Дорого заплатил отец за разрушенный Перекоп. Погрустили-погрустили, а потом и дочь родилась. Назвали ее Соломией.

Но не успел Самойло — казачий полковник — нарадоваться дочерью. Пошел Тарас Трясило на Дон, четвертовали Сулиму в Варшаве, ляхи казнили Павлюка, разбили Остряницу, Гуню. А зимой 1638 года собрали победители казацких старшин под Масловым Ставом возле Канева и приказали сложить под ноги клейноды своей славы — бунчуки и знамена. «Все бывшие права и старшинства и другие казацкие привилегии из-за бунтов утрачены ныне, — клинками падали на оголенные казацкие головы слова польского гетмана Потоцкого, — и отнимаются на вечные времена, ибо Речь Посполитая желает превратить казаков в своих холопов».

Победитель диктует законы!

Вернулся полковник Самойло из Маслового Става обесчещенный, без бунчука.

— Стыдно нам жить теперь на этой земле, — сказал он, запряг волов и быков и отправился следом за Остряницей в чужую сторону — Слободу.

Скрипели возы, разносилась над Украиной прощальная песня, тонула в холодном тумане, тянулся обоз из семисот семей казачьих изгоев в Белгород присягать на верность соседу, чтобы приютил в своих хоромах.

Замкнулся в себе, отупел Самойло. Сидел изо дня в день на пасеке, и не знала Мария, о чем думает бывший полковник, да и думает ли? Он так и не шевельнулся, только ссунулся с колоды на землю и сидел с рассеченной татарским ятаганом головой, и не рыдала тогда Мария, не могла. Горела только что построенная хата, а ее с Соломией повели на привязи в Перекоп.

Ей посчастливилось — по пути заболела дочь лихорадкой, и поэтому их не разлучили, а на рынке в Кафе продали за бесценок бедному безалтынному татарину.

...Воля. Проходили минуты, и это словно как бы меньшало, теряло свое величие, пугало неизвестностью — а что будет дальше? Куда деваться? У хозяина они имели кусок хлеба, а кто сейчас прокормит бездомную гяурку? Страшное слово — гяур, которое лишает работы, дове-

рия, хоть какого-то права, которое ежедневно проклинают хатибы [1] в мечетях.

Но нет, есть еще надежда. Мария хорошо помнит дорогу до Перекопа. Ведь она свободна и может вернуться на Украину. Еду как-нибудь раздобудет по дороге. Выпросит у чабанов, утащит... Бог поможет...

Взяла Мальву за руку и вывела ее на тропинку, которая тянулась мимо стен в степь. Увидела, как из ворот вышел человек в серой рясе, босой, в плоскодонной войлочной шляпе на патлатой голове.

— Остановись, женщина, — сказал он тихо и властно.

Мария ужаснулась. Она догадалась, что это за человек с четками в руках и с серебряной серьгой в ухе. Испугалась не дервиша, а мысли, которая когда-то в очень тяжелые минуты жизни сверлила мозг и не давала спать по ночам, настойчиво принуждая покориться. Шагнула в сторону, закрывая подолом Мальву, но дервиш замахал руками и закричал:

— Я-агу!

Это непонятное слово было похоже на зловещее заклинание, и Мария остановилась.

— Я вижу твое горе, женщина, и молюсь, чтобы аллах — пусть будет благословенно имя его — ниспослал тебе добрую судьбу, — сказал дервиш.

— Мне твой аллах не пошлет доброй судьбы, — тихо ответила Мария.

— Если бог закроет одну дверь, то откроет тысячу, только надо приходить к нему с верой и покорностью. Я дервиш, женщина, мюрид [2] ордена самого умного шейха из шейхов — Хаджи Бекташа. Пергамент, на котором описана наша родословная, — шередже — самый длинный среди шередже других орденов, но он короче, чем дорога к невольничьему рынку. Пойдем по нему, женщина. Покорись словам Мурах-бабы.

— Сегодня я стала свободной! — резко ответила Мария. — И не хочу снова идти в неволю — твою, твоего шейха и твоего бога.

— Нет, дочь, на этой земле свободных людей, — дервиш, прищурившись, глядел на Марию, перебирая четки в руках. — Ты была рабыней у хозяина и тяжело работала, но никто не упрекал тебя за то, что ты христиан-

---

[1] Хатиб — мусульманский проповедник.

[2] Мюрид — послушник.

ка, — потому что невольники все христиане, нет рабов-мусульман. А теперь, когда ты стала свободной, твоя вера станет для тебя новым рабством. Тебе, освобожденной от принудительного труда, никто не даст заработка. Ты будешь слоняться по базарам, выпрашивать хлеб для своего ребенка, а на тебя будут плевать правоверные, и это рабство станет во сто крат тяжелее. Но ты можешь принять мусульманство, наречься рабой аллаха — и тогда...

— Нет! — воскликнула Мария. — Нет, только не это рабство!

— Это самое легкое рабство. Оно окупится. За него дают хлеб.

— Купить своей совестью?

— Совесть — тоже рабство. Нет свободных людей, женщина, — покачал головой дервиш и сказал тихо, почти шепотом: — Пусть в душе ты не смиришься с новой верой, кто же будет знать об этом или поносить тебя за это? Если бы ты родилась среди тигров, разве знала бы о том, что на свете живут и олени? Подумай о дочери, у нее жизнь только начинается. А о том, что сможешь вернуться на свою родину, забудь. Ор-капу [1] закрыт на семнадцать замков. От Борисфена до Гнилого моря [2] возвышаются одна возле другой семнадцать башен, ни один человек не пройдет через перешеек без грамоты хана.

— А с грамотой? — поторопилась спросить Мария.

— Ее может получить только мусульманин.

Дервиш повернулся к Марии спиной. Зашептал слова молитвы, медленно направился в противоположную сторону, а она стояла, побледневшая, безнадежно опустив руки и не замечая, как синеглазая Мальва беззаботно бегает вдоль хребта, срывает желтые цветы, прижатые головками к сухой земле.

— Нет, нет! — воскликнула она. — За это накажет бог. За отступничество никого не минует кара... Но как еще тяжелее может наказать меня мой бог? Я нынче второй раз утратила волю, — что еще более страшное может придумать он для меня? Муки совести?.. А тебя, о господи, не будет мучить совесть, когда погибнет мое дитя? Одно-единственное окошко осталось для меня, через которое я еще могу вырваться на волю, — грамота.

---

[1] Ор-капу — Перекоп, в переводе с татарского — двери крепости.

[2] От Днепра до Сиваша.

А если не открою его, то когда-нибудь постигнет меня самая жестокая кара — проклятие родной дочери.

Душу терзали сомнения, в голове роились смутные мысли о прошлом.

А может, не надо вспоминать о том, что было? Стоит ли вспоминать о том, как сокрушалась Украина, что горько ей жить? Украина... А разве я сама не Украина — униженная, поруганная, обездоленная, как моя земля? Вот передо мной серый хребет Тепе-оба, позади — кафский рынок, и ничего, и никого больше нет у меня, кроме Мальвы. Вот они, желтые, квелые цветы, забыли свою землю и живут. А если бы они пышно разрослись, так же, как у нас на Украине, их тут же сожрали бы верблюды и ослы. Но они смирились со своей участью... Что мне теперь думать об Украине, когда ее уже нет на свете. Ее втоптали в болото на Масловом Ставу свои же вожаки-полковники, и с тех пор я уже не почитаемая всеми людьми жена полковника Самойла, а нищая... Нет Украины... Так почему же я должна убивать юную жизнь дитяти лишь ради памяти о своей земле? Нет Украины — есть Ляхистан с костелами, а чем они лучше мечетей? Но все-таки я хочу вернуться туда, поэтому, боже, прости мне мое отступничество. Если мы вернемся — я искуплю свою провинность: молитвой, кровью, жизнью.

Мария опустилась на землю и стала бить последние христианские поклоны. А беззаботная Мальва приминала худыми ножками высохший тамариск, срывала желтые цветы и с любопытством всматривалась в степную даль: перед ней открывался еще неизвестный мир, тот, что был до сих пор почему-то закрыт решеткой из нитей на кроснах. Из детской памяти исчезли, не оставив и следа, саманная сакля с темным подвалом и брань хозяйки — мир засиял перед ней красным кизилом, завязью шиповника, желтоголовым держидеревом и обилием жаркого солнца. Волшебный! Шумный город, гладь тихого моря, красочные галеры, величественные башни, стройные минареты. И ты, горбатое животное, стоящее неподвижно у подножия горы, тоже прекрасно!

Девочка подбежала к верблюду с пучком ярких мальв и поднесла цветы к отвислым губам животного. Увидев это, мать вскочила, крикнула:

— Не смей! Не отдам я тебя этим тварям!

Мальва заплакала, не понимая, почему рассердилась на нее мать. Мария же стояла перед верблюдом, пораженная его независимым видом.

— Чего так смотришь на меня, будто я ровня тебе? — крикнула она и разом сникла, мысленно обращаясь к животному: «Когда случилось с тобой это несчастье, верблюд, что ты, свободный тур, превратился в горбатого раба? Когда сломали тебе хребет и ярмо изогнуло твою шею? Не за ту ли провинность, что позволил оседлать себя? Шея твоя гордо поднялась, но ей никогда уже не выпрямиться, и твоему хребту никогда не срастись. Не станешь больше ни сагайдаком, ни оленем, ни туром. Все, что можешь ты сделать, — с презрением плюнуть своему хозяину в лицо, но ты вечно будешь таскать его мешки... Какое горе принудило тебя покориться? Не дай бог, если то же случится и с нами и мы будем переживать свой позор до конца дней наших, пока не помрем...

Она решительно взяла Мальву за руку и потянула за собой, туда, где шумел невольничий рынок, где, надрываясь, муэдзин призывал своего бога восстановить на земле справедливость. Она последовала за дервишем.

Мурах-баба ждал. Он видел, как женщина отбивала поклоны, и знал, что она придет к нему. Она была нужна ему: и как монастырская кухарка, и наложница, и как душа, обращенная им на путь истинной веры. А дочь станет красавицей, и он получит за нее большой бакшиш от любого мурзы.

Дервиш сказал:

— Тропинка, по которой мы идем, ведет к нашему монастырю. Став на эту стезю, ты приближаешься к богу.

На окраине города, в долине, показался среди квадратных глинобитных саклей покрашенный в зеленый цвет фасад дома, от которого по обе стороны тянулись высокие кирпичные стены, ограждавшие просторное подворье.

Мурах-баба расправил спину, поманил рукой Марию, и она, как завороженная коброй зайчиха, направилась с Мальвой вслед за ним в ворота.

Дервиш приказал им снять обувь и обмыть в бассейне руки, лицо и ноги. Потом он снова поманил рукой и пошел впереди, ведя их в сумрачное здание мечети. Указал на ступеньки, ведущие вверх, а сам зашел внутрь. Мария стала подниматься по ступенькам на зарешеченную

галерею и затаив дыхание стала смотреть на то, что происходит внизу, судорожно сжимая руку Мальвы.

Один за другим в мечеть вошли дервиши с опущенными головами и стали в круг. Последним вошел шейх в зеленой чалме. Он уселся посредине на бараньей шкуре, и все остальные последовали его примеру. Минуту стояла мертвая тишина. Вдруг вбежали два послушника, таща за собой длинные, словно цепи, четки с зернами величиной с грецкий орех. Каждый из монахов взял по зерну в руки, и тогда шейх затянул:

— Вы увидите бога-творца в последний день суда лицом к лицу, так, как видите теперь подобных вам. Все, кто поклонится идолам вместо истинного бога, будут сожжены на вечном огне.

Четки пошли по рукам монахов. Сосед передавал соседу, а при прикосновении к бусинке громко восклицал: «аллах!»

Мария видела, как вздрогнула Мальва от первого выкрика и удивленно подняла глаза на мать, потом устремила свой взор в зал и уже не могла отвести его от дервишей. Слово «аллах» повторялось столько раз, сколько было зерен на длинной нити, оно настойчиво проникало в уши, дурманило, и казалось, ничего больше нет на свете, кроме этого слова. А когда мусульманский бог был уже прославлен девяносто девять раз, дервиши вскочили на ноги и начали свое безумное радение — зыкр, им мало было зерен на четках, они кричали, называя имя аллаха сотни раз, бились в конвульсиях, падали на каменный пол, в экстазе захлебываясь слюной.

Мария с тревогой взглянула на дочь, бросилась к ней, чтобы увести ее прочь из этого содома, и сердце ее дрогнуло: она увидела в сумраке мечети, как горят глаза девочки, как шевелятся ее губы. Сложив молитвенно руки, Мальва повторяла: «Аллах, аллах, аллах...»

Это ошеломило Марию. Она поняла: дочь не испугали вопли дервишей, а заворожили. Ребенок уверовал в того аллаха, которого они прославляли, и, возможно, ничего уже не захочет знать о вере родителей, да и вообще не поверит, что есть на свете бог, кроме аллаха. Когда шла сюда, знала, что это может случиться, а сейчас испугалась. Схватила за руку дочь и побежала по ступенькам вниз. Но у выхода галереи ее остановил Мурах-баба.

— Ты куда? — прохрипел он, схватив за руки Марию и Мальву, и поднял их вверх. — Повторяйте обе за мной...

Во имя бога милосердного, милостивого. Слава аллаху, владыке мира...

Рука Марии безвольно опустилась, а дочь... дочь набожно держала поднятые вверх два пальца и шепотом повторяла за монахом:

— Слава аллаху... царю дня судного... Воистину мы поклонимся тебе... веди нас по прямому пути...

Мурах-баба сорвал с шеи Марии крестик и властно повелел:

— Топчи ногами!

Мария, всхлипнув, отпрянула. Дервиш бросил крестик под ноги девочки, и та начала топтать его.

— Теперь идите, — сказал Мурах-баба. — Если же ты не придешь сюда на утреннее и вечернее богослужение, наречем тебя безумной, и свой век ты скоротаешь в тимархане[1]. Ибо безумен тот, кто не верит в единственную правду на земле.

Словно из угара вырвалась Мария из мечети и уже на безлюдной улице, оглянувшись, вздохнула:

— Прости меня, мой боже... Мы не топтали твой крест, это нам снилось. Прости...

И окаменела — Мальва, подняв руки к небу, молилась:

— Воистину мы поклоняемся тебе... веди нас по прямому пути...

Шепот ребенка, набожный, страстный, так естественно сливался с шумом города, выкриками муэдзина на минарете мечети Муфтиджами, с клекотом рынка, куда прибывали все новые и новые невольники умирать за веру, страдать за нее, осквернять ее и давать врагу рыцарей здоровой крови.

Так естественно...

У Марии вспыхнула мысль — бежать! Прочь отсюда, за пределы Кафы, тут страшно, тут неволя для тела и духа, этот город проникает в души людей, поглощает их, еще день, еще час, минута — и уже не в силах будешь вырваться отсюда до конца своих дней.

День клонился к закату, багровое, закопченное сухой пылью солнце опускалось за хребет Тепе-оба. Мария спешила к северным воротам, шаль сползла на плечо, ее глаза испуганно бегали под черными бровями, растрепались преждевременно поседевшие волосы.

---

[1] Тимархан — дом для сумасшедших (*татарск.*).

— Куда ты так быстро тянешь меня, мама? — спотыкаясь, бежала за матерью Мальва. — Я хочу есть, хочу домой. — Слезы стекали по запыленным смуглым щекам, оставляя грязные следы.

Мария вспомнила о дукате, который дал ей на дорогу татарин. На него можно будет кое-что купить в магазине за стенами Кафы, где живут евреи и караимы. Только ведь уже вечереет.

— Пойдем, доченька, быстро, сейчас купим что-нибудь поесть.

Они уже приближались к воротам, как вдруг из переулка выбежала стайка загорелых мальчишек. С криком, хохотом они окружили их и стали забрасывать комьями земли, камнями.

— Джавры, джавры, джавры![1] — визжали они.

Бросилась Мария, чтобы вырваться из окружения обидчиков, прикрыла Мальву грудью своей, но мальчишки стали дергать ее за кафтан, за волосы, не унимаясь, кричали «джавры!».

Испуганная Мальва плакала, прижимаясь к матери. Мария оторвала от своих волос цепкую руку маленького наглеца, наотмашь ударила по бритой голове одного, другого. Они оторопели на миг, а потом подняли еще больший крик, из калиток стали высовываться закрытые яшмаками[2] головы татарок, те тоже стали угрожающе размахивать руками и кричать и успокоились только тогда, когда Мария с Мальвой скрылись в глухом переулке.

Лучше, чем за два года неволи, Мария поняла, что такое «гяур». Надо было закрыть лицо, чтобы хоть так замаскироваться, но разве это спасет? Первый азан, и не станешь на колени посреди улицы — снова презрение; первое слово ребенка, произнесенное не по-татарски, — снова камни и глумление. Что делать?

Тревожные мысли прерывали такие знакомые, давно не слышанные звуки: на колокольне армянской церкви тихо, вкрадчиво зазвучал колокол. Она остановилась слушая. Повеяло далеким и нежным, как детство, воспоминанием: вечерний звон на Украине, степь покрывается росой, мягче становится ковыль, и подсолнечники опускают головы — словно для молитвы...

Мальва все еще не могла прийти в себя, всхлипывала и, оглядываясь назад, лепетала сквозь слезы:

---

[1] Джавры — пренебрежительное название христиан.

[2] Яшмак — шарф, которым прикрывают лицо мусульманки.

— Почему мы джавры, мама? Я не хочу, не хочу...

Мария не слышала лепета дочери, медленно шла на звуки прерывистого колокольного звона, с завистью, удивлением и боязнью глядя на людей, которые не боялись идти на его призыв.

Сколько их живет в Кафе? Есть ли у них дети? Что едят? Как живут среди вечного унижения и оскорблений, которые она только что испытала на себе? На что надеются эти люди, во имя чего они жертвуют собой, ведь день их спасения никогда не наступит. Ведь они никогда не выйдут за ворота Ор-капу, потому что христиане. А все-таки идут на призыв совести, за совестью, чтобы умереть такими, какие есть.

И Мария идет. Идет, как старуха, вспоминает о своих девичьих годах. Но к ним никогда не дойдет.

— Я не хочу быть джавром, мама...

— Не плачь, доченька, ты не джавр. Ты... мусульманка.

— Какая мусульманка?

— Узнаешь... Научишься... Ох, научишься, на горе моей седой головушке!

— Ну, какая, скажи, какая мусульманка? А за это не бьют, не забрасывают камнями?

— Нет, дитя мое, за это дают хлеб, чтобы человек жил. Ты будешь расти, а я возьму грех на свою душу, чтобы вывести тебя когда-нибудь из этой страшной земли.

Подошли к самой церкви. Возле паперти стояли поникшие старики. Какая-то женщина приветливо улыбнулась Марии. Был один миг, когда Мария хотела ринуться к входу и пластом упасть на цементный пол церкви. Но только один миг. Не ответив на приветливую улыбку женщины, смущенно отвернулась от нее. И вспомнила малоставских реестровых казаков с переяславским полковником Илляшем Караимовичем, которые приняли шляхетские бунчуки вопреки совести и вере лишь для того, чтобы сохранить жизнь. Самойло называл их предателями-янычарами. Может быть, они и дождутся лучших времен? А чего добился полковник Самойло своей гордыней, какая судьба постигла его за то, что не склонил головы перед польскими бунчуками? Сам погиб, а семья — в неволе.

— Гляди, Мальва,— сказала Мария, подняв голову.— Гляди и запоминай: это божья церковь. В такой, как

эта, тебя крестили. Когда-нибудь, когда вырастешь, ты должна вспомнить о ней. А нынче мы мусульмане и будем разговаривать с тобой по-басурмански.

Мальва, утомленная и голодная, спала, склонив головку на плечо матери.

— Теперь пойдем к Мурах-бабе на вечернее богослужение, доченька. Пойдем служить иному богу, если наш забыл о нас.

Шла Мария, смиренная, покорная, с надломленной совестью. Закрыла лицо шалью и не обращала внимания на людей, которые выходили на улицу и о чем-то громко разговаривали, на янычар, собравшихся на площади у мечети с криками:

— Слава султану султанов Ибрагиму!

Марию ничего на свете не трогало. С сонной Мальвой поднялась она на хоры монастыря и только теперь поняла, что, очевидно, у мусульман произошло какое-то важное событие. Дервиши вели богослужение так же, как и в тот раз, только после каждого выкрика «аллах» срывались с мест и вопили: «Свет очей наших султан Ибрагим», а после богослужения — ударили в барабаны, заиграли на флейтах.

«Избрали себе нового идола и радуются», — подумала и спустилась вниз, равнодушная, уставшая, измученная.

Во дворе стоял Мурах-баба. В его глазах светилось удовлетворение.

— Добрый вечер! — сказал он и повел Марию за собой.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Этот мир — огород, один растет, другой дозревает, а третий погибает.

Восточная поговорка

Год тому назад Османская империя снова встревожила мир. В этот раз страх охватил не только христианские, но и мусульманские государства. Имя тридцатилетнего султана Амурата IV прозвучало с такой силой, как когда-то имена его великих предшественников.

Магомет Завоеватель покорил Константинополь.

Сулейман Пышный подчинил Сербию, Грузию, Алжир.

Амурат IV завоевал Багдад.

Десять лет турецкие войска осаждали жемчужину мира, десять лет уплывали деньги из государственной казны на безнадежную, казалось, войну, и наконец победа, багдадское золото перекочевало в кованые куфры стамбульского семибашенного замка Эдикуле.

Фанатический враг любителей табака и поклонник Бахуса, деспот, уничтоживший тысячи непокорных янычар, и в то же время властелин, к которому на улице подходили нищие, Амурат IV, потеряв терпение стратега, переоделся в мундир рядового воина и сам полез на стену Багдада. Разочарованные неудачами спагии[1] и янычары ринулись за своим свирепым полководцем — Багдад пал. Победители правили сорокадневную кровавую тризну на берегах Тигра, а на султанской чалме засиял еще один алмаз.

Персидский шах Сефи I согласился на все условия Амурата. В течение целого года прибывали в Золотой Рог галеры с трофеями, султан с войсками вернулся только весной. Более месяца готовился он в Скутари к вступлению в столицу. Стамбул томился в ожидании великого праздника.

Наконец полсотни галер пересекли Босфор под гром артиллерии. На белом персидском коне, в леопардовой шкуре, переброшенной через плечо, в белоснежной чалме в Золотые ворота вступал султан-победитель, за ним — двадцать вельмож в серебряных латах. Амурат ехал по главным улицам Стамбула, устланным коврами; толпился народ, гремела музыка, юные красавицы-цыганки извивались в безумных бешеных плясках, звенели лютни, цитры, заливались флейты, из сотен минаретов выкрикивали муэдзины хвалу султану, и даже звонили церковные колокола в Пере и Галате.

За Золотым Рогом, на холмах Касим-паши, откуда видно словно на ладони весь Стамбул, расставили столы. Амурат велел угощать всех — от великого визиря до простого кафеджи. А сам раз за разом поднимал бычий рог с вином, и каждый тост султана сопровождался орудийными залпами с анатолийского и румелийского берегов.

Возле султана стояли пятибунчужный великий визирь — седобородый Аззем-паша, ага янычар — мрач-

[1] Спагии — воины турецкой национальной гвардии.

ный Нур Али, шейх-уль-ислам Регель — глава духовенства.

— Я покорил жемчужину мира — Багдад! — громко произнес султан, и над шумящей толпой воцарилась тишина. — Цветущая и хлебородная Месопотамия навеки воссоединилась с единоверной империей Османов. Я поднимаю чашу за то, чтобы все народы стали под зеленое знамя пророка, которое будет держать Высокая Порта, за будущую победу над неверной Русью, ибо клянусь вам, что и Азов, и Астрахань, и Киев будут лежать у моих ног. Пусть поможет мне в этом аллах!

Загремели залпы, заиграла музыка, дервиши-трясуны срывали с себя одежду, кололи тело ножами, жгли раскаленными на кострах железными прутьями. Кричали «слава» спагии, но почему-то молчаливыми были янычары, словно мрачный вид Нур Али не разрешал им радоваться этой победе.

— Великий султан, — подошел янычар-ага к Амурату, — разреши хоть мне, коль забыли об этом твои уста, прославить сегодня храброе янычарское войско, которое штурмовало стены Багдада и дралось, словно стая диких львов, за твою честь и славу.

Амурат не ждал таких дерзких слов от янычара-аги. С тех пор как он расправился со взбунтовавшимися янычарами в казармах Селямие на Скурати, Нур Али стал заискивать перед ним и самоотверженно дрался в боях, стараясь обратить на себя внимание султана.

Мгновение он грозно смотрел на агу, уже чувствовал, как клокочет в груди безумная ярость, но Нур Али был настолько спокоен, что Амурат смутился.

— Ты прав, Нур Али, — промолвил он, сдерживая раздражение. — За твоих рыцарей надо выпить, и я разрешаю. Однако, как велит закон предков, все предложения доводит до сведения султана диван[1], а не один человек. И поэтому завтра я буду ждать решения дивана о том, нужен ли среди султанских слуг еще и провозглашатель тостов?

— День только что закончился, великий падишах, пусть вечным будет имя твое, — поклонился Нур Али, показывая рукой в сторону залива, где зажигались факелы. — Солнце не скоро осенит Анатолию, а ночь долгая.— Он теперь с ненавистью смотрел в глаза Амурата, и его

[1] **Диван** — верховный совет при султане или хане.

не тревожило то, что насторожились султанские сановники и ближе к султану подошли оруженосцы. Возле него стоял чорбаджи — полковник — Алим, черноусый, богатырского сложения славянин, а позади — почетная стража. Янычар-ага выпрямился. — Ночь будет долгой для тебя, султан. А твои наследники, возможно, подумают о том, стоит ли рубить ветку, на которой сидишь, да и следует ли ремесленнику ломать станок, который дает ему средства на жизнь. Багдад, добытый ценой крови, лившейся годами, мог быть взят за месяц, если бы не совершенное тобой в Скутари преступление.

Амурат побледнел. Выхватил из ножен далматскую саблю, к Нур Али бросились султанские оруженосцы, но в этот момент султан, скорчившись, упал вниз лицом на землю.

Поднялся крик, забряцали сабли, но оружие не скрестилось. Янычары обезоружили султанскую охрану.

Великий визирь Аззем-паша стоял неподвижно. Глядя на мертвого султана, вполголоса произнес:

— Пришел конец династии Османов. У тебя, султан, нет сыновей, а твой слабоумный брат Ибрагим не способен править империей.

Повелел своей прислуге унести тело султана во дворец — готовить к вечному упокоению, а сам стоял в нерешительности, слушая, как вопит толпа, побежавшая по городу:

— Султан Амурат умер! Султан умер!

Но тут же тревожные возгласы заглушились иным призывом, который все нарастал, увеличивался и наконец явственно долетел до слуха визиря:

— Ибрагима! Ибрагима!

Встретились, словно на поединке, умные глаза Аззем-паши со злорадными, коварными глазами Нур Али.

— Рано тешишь себя, эфенди, — блеснул янычар-ага белыми зубами. — Слышишь, кого провозглашают янычары? Или, может быть, и ты посмеешь выступить против них?

Теперь Аззем-паша понял: янычары отравили султана, чтобы посадить на престол недалекого Ибрагима, которого Амурат упрятал на вечное заключение в дворцовую тюрьму. Не ярость, а страх перед неминуемым горем овладел им, и, забывая о своем положении, великий визирь закричал:

— Шайтан! Чужеземец, вероотступник! Что дорого тебе на этом свете, кроме собственной выгоды? Будь проклят ты, гад, вскормленный Урханом!..[1] О аллах, Ибрагим будет править империей!

Нур Али спокойно выслушал взрыв бессильного гнева великого визиря. Возгласы: «Ибрагима, Ибрагима!» — раздавались уже по обе стороны Золотого Рога, янычарага мог не беспокоиться. Он поклонился визирю и промолвил, не скрывая насмешки победителя:

— Нерушимы устои Порты, эфенди. На янычарах выросла Османская империя, на янычарах держится и, если на то будет воля аллаха, погибнет вместе с ними. А та голова, — добавил он с угрозой, — которая не властна над своим языком, часто красуется на золотом подносе у ворот Баб-и-гамаюн[2] напротив Айя-Софии.

Он повернулся спиной к великому визирю, велел прислуге подать коня. Вскочив в седло, еще раз поклонился Аззем-паше.

— Сегодня брат покойного Амурата будет на свободе. А тогда, когда султан Ибрагим возвратится из мечети Эюба, опоясанный мечом халифа Османа, я надеюсь встретиться с тобой на совете дивана, где поговорим не об искусстве произносить тосты, а о важных государственных делах.

Аззем-паша ничего не ответил. Он смотрел туда, где недавно лежал последний храбрый султан из рода Османов. Позади визиря находилась свита, по всему городу выкрикивали: «Ибрагима, Ибрагима!»

Тело Амурата приготовили к погребению в спальне султана, и тогда вошли туда шейх-уль-ислам, анатолийский и румелийский кадиаскеры[3], командир спагиев — алайбег, последним вошел вспотевший от быстрой езды Нур Али.

— Пригласите валиде[4] Кёзем, — сказал шейх-уль-ислам, и в этот момент раздвинулась портьера, в спальню вошла женщина в черном. Кисейная чадра прикрывала ее суровое лицо.

---

[1] Султан Урхан Гази, который находился на престоле в XIV столетии, создал войско «йени-чери» (новое войско) из воспитанных в специальных учреждениях христианских мальчиков.

[2] Баб-и-гамаюн — ворота султанского дворца, перед которыми выставляли головы казненных представителей знати.

[3] Кадиаскеры — верховные судьи обоих бейлербейств — Анатолии и Румелии.

[4] Валиде — мать султана.

Она приложила руку к груди, печально глядя на мертвого сына. Но материнская скорбь была недолгой. Валиде подняла голову, возвела руки к небу.

— О радость моего сердца Ибрагим, сын султана! — произнесла она торжественно, и радость вспыхнула в глазах янычар-аги. Властная мать султана, которая когда-то сама посоветовала Амурату заключить в тюрьму Ибрагима, теперь благословляла своего юродивого сына на трон.

Нур Али сделал шаг назад, и сановники посмотрели на него. Он молча указал рукой на выход, шейх-уль-ислам колебался только миг и направился первым, а следом за ним потянулись все члены дивана. Молчаливой процессией пересекли все подворье, миновали конюшню султана и остановились перед железной дверью дворцовой темницы. Часовые расступились, кастелян тюрьмы дрожащим голосом сказал:

— Только по разрешению великого визиря могу открыть ворота...

Нур Али огрел его нагайкой, сорвал с пояса кастеляна ключи, и дверь со скрежетом открылась.

Заросший, с воспаленными глазами мужчина в грязном халате робко приблизился к выходу, упал на колени и пролепетал:

— Только... только Амурат есть и будет повелителем правоверных, никто не смеет признавать другого... пощадите, пощадите меня...

Валидзе Кёзем решительно вышла вперед и прервала Ибрагима:

— Сын мой, твоя любящая мать благословляет тебя на престол предков.

— Нет, нет! — завопил Ибрагим. — Я не уйду отсюда, я не уйду!

— Принесите сюда тело Амурата! — повелела валиде.

И только когда Ибрагиму разрешили прикоснуться к трупу, он поверил.

— Тиран мертвый, мертвый! — закричал он, жадно хватая ртом воздух, и, потеряв сознание, упал на руки Нур Али.

Старик Хюсам, владелец ювелирной мастерской, которая ютилась на одной из темных улиц на окраине Скутари, долго не мог уснуть в эту страшную ночь. Его тре-

вожили слезы верной жены Нафисы, донимали свои мысли, беспокойные и тревожные.

Он не знал, что творится на противоположной стороне Босфора, но, очевидно, там — оргии, банкеты, моления дервишей по случаю празднования победы Амурата. Но его это мало интересовало. За долгую жизнь Хюсама восемь султанов сменилось на престоле, он еще помнит Сулеймана Пышного — Законодателя. Ни один из султанов не дорос до него, ни один не достиг славы великого властелина.

Много лет прожили вместе Хюсам с Нафисой — только вдвоем. У него не было других жен, хотя эта и не родила ему детей. Он любил Нафису. А им, бездетным, всегда давали на воспитание мальчиков, привезенных из чужих стран. Нафиса любила их, приемышей, как любят соседских детей бездетные женщины. Хюсам обучал их турецкому языку и корану, а сам не раз спрашивал себя: зачем это? Разве можно полюбить мачеху сильнее, чем родную мать? И они отдавали мальчиков в корпус янычар без боли в сердце и забывали о них, как забывают про соседских детей.

Но одного вырастили, выпестовали — диковатого мальчика из приднепровских степей. Хюсам не хотел отдавать воспитанника, когда начальник янычарской казармы пришел забирать его. Пусть подарят им Алима в награду за то, что они воспитали много хороших воинов. Нафиса рыдала — своей долголетней бескорыстной работой она заслужила у султана право иметь сына. Ведь он единственный из всех называл ее матерью. Смягчилось сердце ода-баши при виде плачущей Нафисы, он велел позвать Алима — пусть сам скажет. Вошел Алим, высокий, сильный, широкие черные брови сомкнулись над орлиным носом; у юноши загорелись глаза, когда он увидел оружие, крепко сжал эфес ятагана, который подал ему ода-баша, и ушел с ним, не обняв на прощание названых родителей, исчез с их глаз навсегда.

Тогда Хюсам сказал: «У человека есть только одна мать или ни одной». Но его слова не успокоили Нафису, она побежала проводить Алима. Потом каждый день ходила к казармам янычар, слонялась там напрасно: Алим не выходил к ней. А вчера, когда янычары с Амуратом переправлялись через Босфор, весь день простояла на берегу, но так и не увидела его. Рыдала, думая, что он погиб.

Растревожили Хюсама слезы Нафисы, хотя сам он не тужил о приемном сыне. Иные мысли клонили его седую голову над станком, на котором он делал женские кольца, браслеты, серьги.

Перед ним лежит рубин, на котором он больше месяца с утра до вечера вырезал в форме цветка стихотворение Саади: «Лучше быть в цепях с друзьями, чем сидеть в саду с чужими». Рассыпались по столу редкостные жемчужины, самоцветы, тонко отшлифованные руками мастера. Все они теперь тут, дома, свою лавчонку на Бедестане[1] Хюсам закрыл. Его товары лежат, покупатели больше не интересуются изделиями известного ювелира, которыми когда-то гордились султаны и визири. Зато расхватывают безделушки, лишь бы они блестели, лишь бы на них была выгравирована хвала недолговечному султану. Почему так? Почему люди теперь не интересуются произведениями подлинного искусства? Ведь такое искусство было. В славные времена Сулеймана из Персии и Аравии приглашали самых искусных мастеров, австриец Коджа Синан украсил Стамбул восьмьюдесятью мечетями, библиотеками, караван-сараями. Тогда каждый карниз на доме, каждая колонна, капитель, пороховница, тарелка, даже жаровня могли быть произведениями вечной красоты. Тогда не жалели денег ни мещане, ни вельможи. Почему теперь все заботятся только о своем обогащении и равнодушно относятся к прекрасному? Ведь когда женщина перестает заботиться о румянах и нарядах, когда начинает трястись над каждым алтыном и держит их запертыми в шкатулке, а сама ходит в грязной фередже, — все знают, что она стареет...

Да разве беда только в том, что разрушаются мечети, а вместо новых медресе строят казармы, что на рынке охотнее покупают изделия из латуни, чем из золота? Галата, Пера и Скутари каждый день все больше и больше заполняются обедневшими заимами и тимариотами[2], которые не могли выдержать налогов, янычарского своеволия и пошли пополнять рынки нищими, городские закоулки — бандитами, монастыри — дармоедами-дервишами, а янычарские полки — грабителями. Ведь когда мать становится безразлична к детям и внукам, значит, она состарилась и собирается в дорогу на тот

---

[1] Бедестан — центральный крытый рынок в Стамбуле.

[2] Тимариоты — турецкие землевладельцы, которые за пользование землей отбывали службу в спагиях.

свет. Что случилось с Турцией, государством пяти морей и трех континентов? Неужели незримая неведомая болезнь точит ее нутро и она инстинктивно чувствует неминуемость конца?

А куда исчезла любовь к отчизне? Хюсам хорошо помнит былые походы Сулеймана Пышного, когда каждый здоровый мужчина оставлял семью и дом, брал в руки оружие и шел на войну, не заботясь о вознаграждении. Теперь же никто не пойдет воевать до тех пор, пока в его руках не зазвенят дукаты. Когда сыновья забывают свою мать, то она, нищенствуя, умирает у соседнего порога...

А ты, Нафиса, плачешь, что неродной сын забыл о тебе... Лишь к утру уснул Хюсам в своей подвальной мастерской, не ведая о том, что творится по ту сторону Босфора. Нафиса разбудила старика под вечер. Она только что вернулась из города, была встревожена, настойчиво теребила Хюсама за плечо:

— Вставай, вставай, Хюсам! Ты спишь и ничего не знаешь. Этой ночью умер султан Амурат...

— Великий боже! — вскочил Хюсам. — Как, почему умер Амурат?

— Поговаривают, что отравили его янычары. На банкете.

— Проклятие... А кто же, кто... — Старик вдруг схватился за бороду, пальцем поманил к себе жену. — Слушай, я хорошо знаю... О, я знаю, что есть такой закон, принятый еще Магометом Завоевателем, когда он захватил Кафу... Слушай, Нафиса. Ядовитая кровь чужеземки Роксоланы пролилась в эту ночь! В том законе завещал Магомет: «Когда прекратится мой род, крымская династия Гиреев на престол Порты взойдет...»

— Тсс-с! — Нафиса закрыла Хюсаму рот. — Сегодня я слышала, что какого-то Гирея задушили в Дарданелльской крепости Султании за такие слова... Ты же не знаешь, Ибрагима выпустили из тюрьмы и должны провозгласить его султаном.

Хюсам замахал руками:

— Шайтан плюнул тебе на язык! Он же слабоумный...

— Опомнись! — воскликнула Нафиса. — Не вздумай на улице сказать это. Сорвется слово с языка, и пойдут тысячи повторять его. А янычары всюду шныряют и хватают тех, кто охаивает Ибрагима.

Хюсам долго не сводил глаз с перепуганной жены,

словно ждал: может, она улыбнется и скажет, что пошутила? Но видел, что ей не до шуток.

Сидел теперь на миндере, склонив голову на руки, и думал о Веселой Русинке, которую когда-то пленили и привезли в Турцию. Действительно ли была она невольницей, а потом изменила своему народу или, может быть, умышленно пришла сюда, чтобы отравить своей кровью османский род? То ли из дикой материнской ревности повелела убить умных сыновей Сулеймана, чтобы престол достался ее сыну Селиму, то ли уже знала наперед, что продолжатель османского рода от ее плоти — выродок? Кто об этом знает?..

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Два бедняка уместятся на одной подстилке. Двоим же падишахам весь мир тесен.

Восточная поговорка

Идешь ли с ногайской стороны, от Альма-реки, где ранней весной буйно растет густая трава, а летом трескается от жары земля и свистит ветер над унылой степью, спускаешься ли от татов[1] с голубых лесистых гор на плато, что за рекой Качей, — ни оттуда, ни отсюда не увидишь сердца крымской земли — Бахчисарая, пока не станешь у самого края ущелья. Две головоподобные причудливые скалы — с юга Гала-асты, с севера — Топкая, — будто встретившись, остановились над кручей. С высоты одной из них открывается панорама раскинувшегося города, притаившегося, словно сколопендра, между скалами. Бахчисарай простирается от пышного с зеленой крышей ханского дворца и устремляющихся в заоблачную высь минаретов вниз, к гнилой реке Чурук-су. Крохотные, отгороженные каменными стенами сакли жмутся, наталкиваясь одна на другую, теснятся возле невольничьего и соляного рынков, у подножия Топ-кая, и, словно напуганные шумом и криком, расползаются по ровной степи, набожно склоняясь перед величественными ротондами ханских усыпальниц в Эскиюрте. Вверх, по берегу реки Чурук-су, городу подниматься труднее. Скалы сходятся все ближе, сближаются, давят одна другую,

[1] Степные татары называют горных татами (вероотступниками).

загораживая вход в караимскую крепость Чуфут-кале; саклей становится все меньше, они совсем исчезают, город зарывается в пещеры, но упорно тянется по ущельям Мариам и Ашлама-дере до тех пор, пока, наконец, его не остановят горы.

Бахчисарая не видно и не слышно, его видят разве только орлы, которые парят под задымленным небом. Да еще всадник, стоящий на скале Топ-кая.

На скале Топ-кая стоит всадник в белой чалме и в ярко-желтом плаще, освещенный золотистыми лучами заходящего солнца. Остроконечная раздвоенная борода и нос с горбинкой вытянуты вперед, орлиные глаза всматриваются в сумрачные горы. Темно-буланый аргамак замер под ним, готовый к безумному прыжку в пропасть.

Это младший брат хана, военный министр Ислам-Гирей. Он вернулся сегодня из Перекопа в свой дворец в Ак-мечети [1] и теперь едет к старшему брату Бегадыр-Гирей-хану доложить о том, что восстановление крепости Ор-капу закончено. Едет один, без охраны. Он многие месяцы был оторван от политической жизни страны и не знал, какие за это время произошли изменения.

Ислам-Гирей донесет хану, что укрепления на перешейке надежные, и умолчит о том, что для этих укреплений необходимы новые и надежные войска и храбрый хан, который кроме пера умел бы крепко держать в руках булатный меч. Подумает, но не скажет и о том, что кроме Перекопа, который преграждает путь неверным, пора наконец позаботиться об укреплении и южного побережья, захваченного единоверными турками. Богобоязненный властелин Крыма, автор сентиментальных стихов Бегадыр-хан отличается еще и своей жестокостью. После того как султан Амурат IV задушил в Стамбуле непокорного Бегадырова предшественника Инает-хана, он поклялся «ни на шаг не сходить с пути беспрекословного послушания султану» и выдавать на расправу каждого, кто осмелится не подчиниться воле падишаха.

Ислам-Гирей должен пока молчать.

Раскинулся Крым по обе стороны Бахчисарая, и снятся ему сладкие сны о далеком прошлом. Кочует по степи великий ногай, потомок монголов, который так же, как и его предок, не имеет понятия о хлебе, а ест мясо, запивая его айраном и кумысом... Кочуют, перегоняя с места

---

[1] Ак-мечеть — нынешний Симферополь.

на место свои стада, Буджацкая, Эдикайская и Джамбуйлуцкая орды под водительством хойма-ханов. Ногаю безразлично, кто властвует в Крыму, ему все равно, какой владыка и за что повелит воевать ему.

Прочно осели в горах чабаны и угольщики — омусульманенные греки, генуэзцы, готы, которые почитают старые христианские праздники как реликвии своей собственной истории. Их мало интересует, что происходит в мире, лишь бы только никто не зарился на их луга и полонины, на их жен.

Новый Крым лежит разделенный глубокой расщелиной над Чурук-су, он заселен людьми, которые считают своей родиной другие страны. Но стоит только бросить клич к борьбе «за веру», как монголы-ногаи и христиане-таты, не задумываясь над тем, кто их зовет, тотчас становятся фанатичными рыцарями пророка Магомета; бряцают мечи, горят глаза, которые никогда не затянутся слезой, увидев кровь; сердца их жаждут жертвоприношения во имя закона, часто становящегося беззаконием. Исчезают мечтательность ногая и замкнутость тата, пастухи становятся воинами, готовыми делать все, что им прикажут: убивать, жечь, уничтожать, лишь бы только за веру, в которой никто и никогда не сомневался. Песню тогда заменяет воинственный клич, вольнодумство — слепая покорность, вольнолюбие — почтительность и страх, доброту — жестокость.

Крымчанин еще не назвал себя татарином, но уже сложил легенды и песни о своем прошлом. Дайте ему полководца, вожака, и он удивит мир, а потом сам будет удивляться, как героически создавал когда-то для себя свое государство и свою неволю. Ведь сегодня он умеет быть грозным, откликаясь на чуждый ему призыв султана.

Дайте полководца, вожака!

«Я ваш полководец! Посмотрите на всадника, что стоит на скале Топ-кая. Подо мной необъезженный аргамак, мне тридцать шесть лет. Я — Ислам-Гирей, вчерашний пленник польского короля, ныне военный министр хана — слабосильного брата — Бегадыр-Гирея, завтра — хан. Слушайте меня, ногаи и таты! Не кто иной, как я разорву турецкие цепи, которые сковали Крым от Байдарских ворот до Кафы, и подниму вас на такую высоту, к которой будут тянуться все народы мира. Я, правнук Тамерлана!»

Ислам-Гирей повернул коня и медленно начал спу-

скаться вдоль ущелья, похожий в лучах заходящего солнца на величественный монумент воина. Скользнул взглядом по долине — греки закрывали лавки, кричали армяне в своем квартале, татары застыли у своих саклей в молитве. Темнела зеленая крыша дворца, и тихо было в ханском дворе. Очевидно, хан молится или сочиняет стихи о соловье, влюбленном в розу: в такие минуты безмолвствует стража и, словно тени, бесшумно ходят по площади ханские гвардейские сеймены[1].

Ислам зловеще захохотал, даже конь шарахнулся в сторону. Он натянул поводья так, что конь встал на дыбы. Стоявшие внизу люди ахнули: что это за безумец, намеревающийся перескочить через пропасть на ханское подворье? Всадник повернул влево — нет, еще не время — и быстро скрылся за горой, спускаясь к цыганскому предместью Салачика.

От Салачика вдоль северных стен крепости Чуфут-кале узким коридором тянулось в горы ущелье Ашлама-дере. Вход в ущелье преградил летний дворец хана Ашлама-сарай, весь утопающий в зелени садов, а рядом будто вросшая в землю духовная школа Зинджирлы-медресе.

Здесь когда-то учился Ислам-Гирей...

Вай-вай, когда это было... Над воротами медресе, помнится, висела дугой цепь — зинджир: кто заходил в ворота, должен был наклониться, чтобы не удариться головой о нее, — склониться перед величием науки и религии. Эта цепь все время напоминала о том, что ты ничтожный червь в сравнении с мудростью твоих предков.

В Зинджирлы-медресе Ислама учили поклоняться аллаху и яростно ненавидеть неверных. И он горел желанием испытать сталь своей сабли на головах гяуров, насладиться в конце концов свободой...

Под Бурштином, на Покутском шляху, впервые с глазу на глаз встретился с казаками, скрестилась сабля ханского сына с саблей гетмана Григория Черного[2]. Ослабела рука, схватили чубатые казаки юного Ислам-Гирея.

Иная наука начинается теперь для Ислама. Казаки передали его полякам, у которых он целых семь лет, ожидая выкупа, изучал при варшавском дворе тонкости европейской дипломатии.

---

[1] Сеймены — ханские стрельцы, татарские янычары.

[2] Гетман Григорий Черный разгромил татар под Бурштином в 1629 году.

Стоит ли жалеть о тех годах? Бушевали, правда, войны над Европой, а окрепшие руки жаждали меча, по ночам снились оседланные кони, волнистая ковыльная степь, и шум боя будил его среди ночи. Не было коней, не было и оружия — остались лишь мечты и злость.

Вокруг ненавистные гяуры. Будь то казак, лях или француз. Все они заклятые враги мусульман, арабов. Если бы его воля и сила, рубил бы их всех подряд и оставлял бы после себя горы мертвых голов, как это делал Тимур.

Однажды зашла речь о том, что в Варшаве на рыночной площади будут четвертовать казацкого атамана Сулиму, вожака казаков, охранявших южные границы Речи Посполитой, — это они спасли Польшу от турок под Хотином. Шляхта будет четвертовать казацкого атамана? За что?

Ислам-Гирей видел эту казнь. Пятерых казаков и их гетмана, так похожего на Григория Черного, вывели на площадь, и палач отсек им головы. За Кодак, за крепость на Днепре, которую они разрушили. А потом шляхта глумилась над их телами, их четвертовали и выставили на шестах. И еще увидел ханский сын в глазах казаков страшную ненависть, — о, это не та, что светилась в их глазах, когда сабли высекали искры в бою под Бурштином! Это был гнев, порожденный несправедливостью. И ни одного вопля, ни единого стона...

Долго думал после этого Ислам. Видимо, Ляхистан не монолитное государство, и Кодак, как нарыв, въелся в казацкое тело... Не так же ли, как и турецкий гарнизон в Кафе? Разве турецкий султан не казнит крымских ханов, не считаясь с тем, что они защищают мусульманские земли от неверных?

Зинджирлы-медресе... О, тогда Ислам был еще свободен от честолюбия, еще не терзала его душу жажда власти и не было мыслей о том, кто он сам, что представляет собой его родина и какая она. Тогда рука тянулась к сабле, а голова склонялась перед величием науки и религии. Ныне же руки тянутся к бунчукам и трону. И взлетает над головой, как петля, другая зинджир — плеть Османов, которая напоминает будущему полководцу, чтобы не слишком расправлял свою спину. Как вырвать трон из крепкой железной петли? Кто отважится? Бегадыр — слюнявый стихоплет и трус? Нет, не он!..

Пришпорил коня, из-под его копыт полетели камни на

крыши цыганских халуп, прилепившихся под отвесной скалой.

Предвечерняя прохлада выманила цыган из пещер. Они уселись за дастарханом, уставленным кувшинами и фильджанами. Старая цыганка разливала вино, два музыканта в бараньих шапках наигрывали веселую мелодию на цитрах, маленький полуголый цыганчонок плясал, и довольно улыбались две молодые цыганки с распущенными волосами и с длинными люльками в руках.

Очевидно, Ислам-Гирей проехал бы мимо, не обратив внимания на такой обычный для цыган отдых, но среди них он заметил плечистого парня с русыми волосами, который стоял у входа в пещеру. Он не был цыганом. Одетый в красный кафтан с голубым кушаком, он походил на казака. Откуда он мог появиться здесь?

Это заинтересовало Ислам-Гирея. Неужели прибыли послы от казаков в посольский стан Биюк-яшлаву, находившийся недалеко от Бахчисарая, и один из них пошел развлечься к цыганам?

Он остановил коня, музыканты умолкли. Цыгане склонили головы перед ханским сановником. Они знали его в лицо. В этот момент из пещеры вылетела орава ребятишек, они окружили калгу-султана, протягивая руки. Старая цыганка цыкнула на голозадую малышню, но Ислам улыбнулся и бросил детям горсть медных монет. Поднялся крик и тут же утих, к сыну хана подошла молодая цыганка.

— Дай руку, я предскажу твою судьбу, рыцарь.

Глаза Ислама встретились с черными глазами красавицы.

— Мне еще рано обращаться к ворожеям, роза Индии. Я позову тебя тогда, когда сам начну решать свою судьбу, но не для того, чтобы предсказала ее, а чтобы пожелала мне счастья. Такие уста не могут предсказать беды... Но ты скажи мне, что это за джигит стоит вон там? Откуда он тут появился?

Смущенная девушка попятилась назад, и вперед вышла согбенная старая цыганка с лицом ведьмы.

— О нем ты спрашиваешь, эфенди, пусть аллах благословит твое имя? — взглянула исподлобья и показала рукой на парня, неподвижно стоявшего у пещеры.

— Да, о нем.

— Это... это мой сын, — ответила цыганка, запинаясь.

— Врешь, старая ведьма! — крикнул Ислам. — А

ну-ка, подойди ко мне, молодец, и поклонись, — обратился он к парню. — Ты почему не склонил свою голову передо мной?

Парень не спеша подошел к Ислам-Гирею и сказал:

— Мне никто и никогда не говорил, что нужно кланяться всадникам. А голову я склоняю ежедневно, выпиливая бодрацкий камень возле Мангуша.

— Кто ты такой?

— Не знаю, кто я такой. Зовут меня Селим, и я не похож на них, — кивнул он в сторону цыган. — Но вырос я в этой пещере, тут ем, и меня не бьют.

— Эта цыганка твоя мать?

— Я не знаю, что такое мать.

— Послушай, старуха, — Ислам-Гирей повернулся к цыганке. — Откуда он у тебя? Это же не твой сын. Для кого растишь его? Продай мне его, я заплачу за него не меньше, чем дадут тебе на рынке.

— Я не для продажи воспитывала его, эфенди. Там платят за людей, как за скот, — за упитанность, за силу. Его же я отдам тому, кто умеет ценить еще и рыцарский дух.

— А приобретал он этот рыцарский дух на бодрацких каменоломнях?

— Если он дан человеку от рождения, то не пропадет и в темнице. А ты присмотрись к нему. Сын казака, вскормленный грудью свободной цыганки, должен быть рыцарем. Он с Украины, эфенди.

— Ты хорошо умеешь расхваливать свой товар, сова, и знаешь, перед кем, — улыбнулся Ислам-Гирей. — Но если я не куплю его, то больше никто не даст тебе хорошей платы. Что ты будешь делать с ним? Цыгане не держат рабов, просить милостыню ты его не научила и сыном тоже не назвала.

— Когда-нибудь продам хану.

— Хану? Но ведь хан и нынче есть.

— Такому, которому нужны не скопцы, а рыцари.

— Язык твой, ведьма, злой. Твое счастье, что сердце мое не испытывает гнева. Отдай мне его, я нуждаюсь в рыцарях.

— Ты не хан, вельможа...

— Тогда возьми мою руку и поворожи. Если наворожишь мне ханство, возьму твоего джигита даром, если же не наворожишь — голову снесу!

Старуха склонилась к земле, но на ее лице не было страха.

— Знаменитый вельможа, — промолвила она, — властелин, который грабит своих подчиненных, — плохой властелин. Народ боится его, но не любит. Такой хан проигрывает битвы. А за тобой когда-нибудь пойдет народ. Это говорю я — старуха Эмине, которой уже перевалило за восемьдесят. Говорю, не глядя на руку.

Ислам-Гирей вытащил из-за пояса мешочек, позвенел им и бросил цыганке. Она ловко подхватила его, глаза ее засияли.

— Это за рыцаря. А за гаданье?

Калга-султан сурово посмотрел на цыганку, но полез за пояс и бросил ей в лицо горсть золотых дукатов.

— Завтра приведешь его ко мне в Ак-мечеть. — А потом обратился к юноше:

— Ты, юноша, хочешь стать моим воином?

— О да! — восхищенно ответил Селим.

Ислам-Гирей пришпорил коня и поскакал, минуя Ашлама-сарай и медресе, к главному ханскому дворцу.

Остановился на мосту у ворот. Два медных дракона над воротами, которые уже сто лет перегрызают друг другу горло, блестели в лучах заходящего солнца, напоминая тем, кто входит в ханский двор, что именно это является гербом Гиреев, и пускай будет осторожным каждый вступающий сюда: военный министр или простой воин.

Оставив коня у ворот, калга-султан важно направился в опочивальню хана. Поднялся по лестнице наверх, минуя часовых у каждой двери; дверь ханской опочивальни открылась сама — за ней стояли, скрытые в нишах, немые рабы.

Бегадыр-хан сидел на подушке посреди комнаты, в чалме с зеленым верхом, в голубом кафтане. Он приготовился к приему брата, но лицо его было изжелта-бледным и встревоженным. Ислам-Гирей подумал: видно, не долго проживет этот анемичный меланхолик. Снял с головы тюрбан, бросил его на пол, наклонился к брату и поцеловал полу его кафтана. Бегадыр вяло кивнул Исламу, разрешив ему сесть напротив.

— Ор-капу укреплен, хан, — доложил Ислам-Гирей. — Десять башен отстроили заново, ворота обили железом — ни одна живая душа не пройдет через них. С севера Крым в безопасности...

Бегадыр-Гирей сидел, свесив голову. Казалось, он не слушал Ислама.

— Гонец сегодня прибыл из Стамбула, — промолвил он спустя некоторое время. — Амурат умер.

Несдержанный и горячий, Ислам вскочил на ноги.

— Он же бездетный! — сорвалось с его уст.

Бегадыр встревожился, посмотрел на немых рабов, прошептал:

— Не верь сегодня даже мертвым, Ислам. А султан будет. Род Османов еще существует. Завтра опоясывают мечом Ибрагима...

Бегадыр всматривался в глубокие глаза брата. Ожидал от него удивления, возмущения или даже смеха.

Но костлявое лицо калги-султана стало непроницаемым. Только хищные, злорадные огоньки на миг вспыхнули в его черных глазах и тут же погасли.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Сказал Пророк — пусть над ним будет мир: «О вы, стремящиеся к власти, спросите себя, кого и что вы любите?»

Из хадисов

Стамбул ожидал коронации нового султана и жил в напряженной тишине. Млели на солнце кипарисы, устремлялись вместе с ними к небу минареты Айя-Софии, по ту сторону залива притихла всегда шумная Галата, а султанский дворец Биюк-сарай притаился, словно перед прыжком, на холмистом клине между Босфором и Золотым Рогом.

На третий день после смерти Амурата с самого утра стали собираться люди возле Ат-мейдана[1]. Они устремляли свои взоры к султанскому дворцу, окутанному теперь тайной.

В полдень Ибрагим, в султанском одеянии, выезжал в сопровождении анатолийского и румелийского кадиаскеров в Биюк-сарай. Впереди на буланом жеребце гордо скакал ага янычар Нур Али.

Три дня в Малом дворце на Петрони[2], где обучаются военному делу молодые янычары, готовили нового султа-

[1] Ат-мейдана — ипподром.
[2] Петрони — квартал Стамбула.

на к вступлению на престол. С Ибрагимом занимался шейх-уль-ислам. Учил его ритуалу коронации, советовал, как ему вести себя в первые дни правления.

Ибрагим, словно новорожденный, не знал ничего — ни жизни султана, ни жизни простых людей. Еще шестилетним мальчиком его отлучили от матери и увезли в Бурсу, где он, едва став подростком, познал греховную прелесть разврата и пьянства. Сын султана паясничал в кафеджиях, на улицах и в цыганских притонах, пока Амурат не заключил его в темницу, чтобы не позорил султанский род.

Удивительна судьба престолонаследников. У нее нет середины — только небо и ад — золотой трон или вонючая тюрьма.

Регель знал, зачем готовится этот спектакль с Ибрагимом, — надо спасать династию. В душе же он противился: как можно полуидиота опоясывать мечом Османа? Ведь все, даже валиде, называли его юродивым.

Шейх-уль-ислам долго присматривался к жалкому Ибрагиму — он напоминал стебелек проса, выросший в подвале. Бледная, почти прозрачная кожа на лице, робко сжатые губы, но глаза — нет, не безумные, какие-то наивные, мальчишеские, и выслушивает он советы верховного душепастыря, как прилежный ученик в медресе. Его все интересовало, странно, непривычно было слышать даже человеческий голос после стольких лет одиночного заключения. Он хорошо запоминал, что должен сказать, когда его опояшут мечом, довольно быстро выучил на память речь, с которой нужно обратиться к янычарам.

— Ты должен быть осторожен с янычарами и пока что во всем слушаться великого визиря Аззема-пашу, который знает все подробности и тайны государственной жизни...

— Да, эфенди...

«Его можно научить быть и ремесленником, и имамом, — подумал Регель, когда подготовка спектакля коронации нового султана была закончена. — Он еще ребенок. Но дозревать будет на султанском троне. Что из него получится?»

...Ибрагим крепко держался за поводья, сидя на ретивом персидском рысаке, наклонившись вперед, чтобы не пошатнуться и не упасть; редкая белесая бородка торчала, словно приклеенная; султанская чалма, втрое боль-

шая, чем его маленькая голова, сгибала тонкую шею. Ибрагим испуганно водил глазами — кто-то в толпе прыснул со смеху, вспомнив, очевидно, величественного Амурата, и пролилась первая кровь в жертву новому падишаху.

Обескураженный жалким видом султана, народ молчал. Но вдруг прозвучал чей-то зычный голос: «Слава султану султанов солнцеликому Ибрагиму», а затем — вначале недружно, а спустя некоторое время удивительно слаженным хором — повторила этот клич толпа, раз, второй; призыв, видимо, обладал гипнотизирующей силой, потому что люди стали повторять его все чаще и громче, до беспамятства выкрикивали хвалу тому, которого готовы были осмеять.

Открылись главные ворота дворца, Ибрагим с почетным караулом вошел во двор, посреди которого стояла христианская каплица, вынесенная еще Магометом Завоевателем из собора святой Софии. Здесь все, кроме султана, слезли с коней, янычар-ага провел султанского коня ко вторым воротам, в которые Ибрагим зашел один. За этими воротами, на подворье, стояли спагии, выстроенные в два ряда. Султан между ними должен был пройти до дверей селямлика[1]. Он сделал несколько шагов, но, почувствовав, как у него начали дрожать колени, оглянулся — эскорта сановников не было, с обеих сторон на него смотрели каменные лица вооруженных воинов, и среди них Ибрагим был один. Страх парализовал его мышцы, спазмы сдавили горло. Ведь его снова отдали стражникам, и эти двери, к которым он должен пройти сквозь ряды спагиев, ведут не в султанские хоромы, а... а в тюрьму! Он испуганно поглядывал то на один, то на другой ряд воинов, а они почтительно склоняли головы — и у Ибрагима немного отлегло от сердца. Он поспешно прошел между рядами, побежал по ступенькам, дверь открылась и тотчас закрылась за ним. Ибрагим натолкнулся на ужасно безобразного человека, который стоял в коридоре, скрестив руки на груди.

Все... Конец!

Огромнейшая голова кретина каким-то чудом держалась на тонкой длинной шее, лицо без растительности пряталось в складках черной кожи, отвисшая нижняя

---

[1] Селямлик — мужская половина турецкого дома, султанского дворца.

губа открывала расщелину рта, зарешеченную желтыми редкими зубами.

Палач...

Еще мгновение —и пронзительный крик нарушил бы тишину хором, но змеиный взгляд слезившихся глаз стал льстивым, чудовище согнулось в три погибели.

— Приветствую, солнце солнц! Я твой слуга, ничтожный раб кизляр-ага Замбул.

Ибрагим вздохнул, вытер холодный пот со лба и, брезгливо обойдя того, кто назвал себя главным евнухом, вошел в зал.

Высокая суровая женщина в черном платье шла ему навстречу. Узнал ее — это была его мать. Валиде подошла к сыну и протянула руки к его груди в знак кровного единения, но Ибрагим резко оттолкнул их.

— Где ты была, когда меня гноили в темнице? — воскликнул он, только теперь осознав, как жестоко поступили с ним.

Задрожала Кёзем, опустила руки. Ибрагим, видно, знает, что она тоже повинна в его заключении. И уже придумал для нее наказание. А наказание для матери султана единственное — в Эски-сарай. И тогда могущество валиде закончится навсегда. Ей до самой смерти придется жить в Старом дворце на форуме Тавра среди изгнанных султанских жен, постаревших одалисок, султанских мамок — среди мелочных женских интриг, ссор, ненависти и унижения. Те, что помоложе, живут там еще надеждами, что их возьмут замуж баши, ей же оттуда никогда не уйти. Заметив злой взгляд своего соперника кизляр-аги, валиде поспешила зарыдать и упасть на колени перед сыном.

— О сын мой! Одному только богу известно, сколько я выстрадала. Жестокий Амурат не знал границ своей зависти. Он упрятал тебя в тюрьму, боясь твоего светлого ума, твоей силы. Не помогли ни мои мольбы, ни материнские слезы...

Смягчился Ибрагим, велел матери подняться. Замбул же с ненавистью посмотрел на нее: перед султаном теперь стояла не испуганная, жалкая женщина, а властная валиде — повелительница двора.

Кланяясь и пятясь, кизляр-ага провел султана в тайную дверь, цвет которой сливался с цветом стены, вывел его по лестнице в зарешеченную темную галерею.

Ибрагим глянул вниз, узнал шейх-уль-ислама и Нур

Али. Янычар исподлобья пристально смотрел на бородатого старика в белой одежде. Позади него стоял немой слуга, держа над головой великого визиря бунчук с пятью конскими хвостами.

— Здесь заседает совет старейшин, повелитель, — прошептал Замбул. — Внимательно слушай, что будет говорить вон тот седобородый, великий визирь Амурата — Аззем-паша.

— Аззем-паша? — Ибрагим прилип к решетке. «Это тот человек, которого я должен слушаться, пока научусь управлять государством».

— А потом сойдешь вниз, я проведу тебя в тронный зал.

На расшитых золотом подушках в зале дивана заседали четыре столпа империи: великий визирь, министр финансов, анатолийский кадиаскер и шейх-уль-ислам. Потому что на четыре части делится Алькоран, четыре халифа было у пророка, ветры дуют с четырех сторон света и четыре столпа поддерживают балдахин над султанским троном. Но в зале дивана присутствовал еще и пятый сановник — янычар-ага. Не предусмотренный ни традициями, ни кораном. Хранитель священного порядка Блистательной Порты.

Аззем-паша поднялся с подушки и промолвил, избегая пристального взгляда Нур Али:

— По воле аллаха ушел в царство вечного блаженства султан Амурат Четвертый, победитель персов. Мир праху его. Младший брат Амурата взойдет на престол, и наш долг — помочь ему управлять великой империей. — Он поднял голову и добавил, глядя на Нур Али: — Помочь империи.

Члены дивана приложили руки к груди в знак согласия.

Ибрагим ждал советников в тронном зале. Он стоял у трона, не в силах отвести от него жадного взгляда. Это золотое кресло, которое когда-то было навеки утрачено для него, стояло тут, рядом. Еще минута, еще мгновение — и вместо сырого тюремного пола — трон, покрытый дорогими коврами, со шкурой леопарда у подножия, с золотой короной над спинкой. И на нем можно будет сидеть день, два, год, всю жизнь! Еще минута... Ибрагим знает, что скажет диван, но все же волнуется в нетерпеливом и сладком ожидании.

Вошли сановники. Все, кроме шейх-уль-ислама, пали

на колени и поцеловали султанскую мантию. Ибрагим дал знак рукой, чтобы они вышли, а тогда приник лицом к трону и стал целовать его алмазные подлокотники, как целует изгой порог отчего дома. Он еще не знал, что принесет ему это дорогое кресло. По-детски всхлипывал, прижимался головой к бархатистой леопардовой шерсти, шепотом благодарил бога и в эту минуту, казалось, чувствовал себя человеком.

В зале государственные деятели запивали пилав шербетом. Великий визирь давал обед в честь нового султана. Только сам он не прикоснулся ни к еде, ни к напиткам.

Тысячи людей стояли под палящим солнцем на улицах, ожидая выезда султана. Наконец главные ворота Биюк-сарая широко распахнулись, и толпа заревела. Бостанджи-баша[1] с полсотней субашей разогнали толпу людей с площади, освобождая дорогу для процессии.

Впереди на белом коне ехал султан Ибрагим. На его желтоватом восковом лице появился румянец, глаза смотрели спокойно, держался он прямо, выставив вперед свою коротко подстриженную редкую бородку. Время от времени Ибрагим взмахивал рукой с крупными бриллиантами на пальцах, бросал в толпу серебряные монеты.

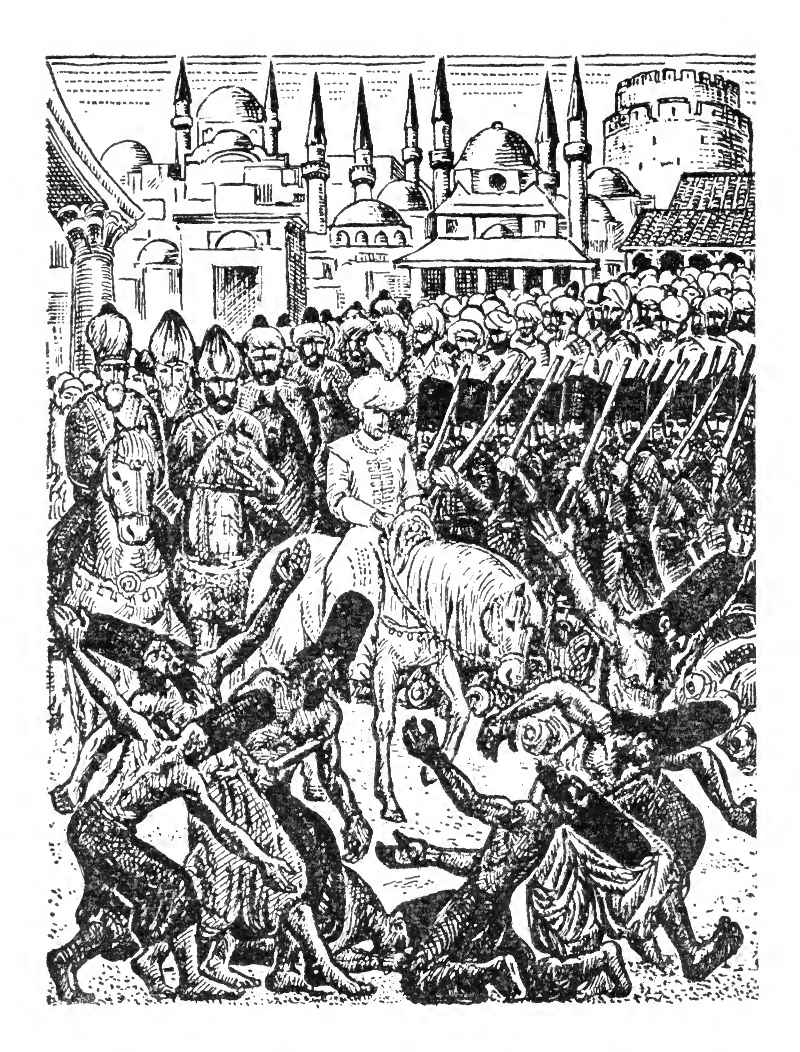
Люди приветствовали султана, дрались из-за денег, обезумевшие дервиши извивались перед процессией, некоторые в экстазе вскрывали вены и падали под копыта коней, показывая готовность пролить кровь за падишаха.

Рядом с султаном ехал Аззем-паша, задумчиво опустив голову.

«Несколько дней тому назад эти же самые люди приветствовали Амурата, — думал великий визирь. — Приветствовали так же восторженно. Ныне его никто не оплакивает, ныне получили новую игрушку. Что это? Падение султанского престижа или безразличие народа к государственным делам, которые всегда вершатся без его ведома? Да и в самом деле, что остается людям, кроме зрелищ? Оттого, что сменяются императоры, не меняет-

---

[1] Бостанджи-баша — начальник субашей, охраны общественного порядка в османской Турции.



ся человеческая судьба, а есть повод повеселиться в будний день. Но почему никто не возмущается, что белого коня, на котором сейчас едет Ибрагим, отобрал у персидского шаха храбрый Амурат, а большой алмаз на белой чалме султана — эмблема покоренного Багдада? Неужели никто не заметил такого страшного кощунства?.. А я? Я тоже еду рядом с Ибрагимом, одобряя своим присутствием это кощунство. Но ведь я один не в силах что-либо

сделать, позади меня Нур Али с полками янычар... Вон тот бедный ремесленник, стоящий со свитком бумаги в протянутой руке, очевидно, хочет подать просьбу новому султану, а бостанджи-баша толкает его в грудь, чтобы не омрачал торжественности всенародного праздника. Этот бедный ремесленник и я, самый высокий государственный сановник, оба понимаем все, что происходит ныне, но ни он, ни я не можем протестовать. Наоборот, на свои деньги и своими силами устраиваем этот парад, а в душе смеемся. Все смеемся, кроме разве одного Ибрагима, едущего на белом коне. Как же выбраться из этого заколдованного круга?»

Дервиши гурьбой бежали впереди процессии, исступленно вопили, от их крика народ чумел, кто-то бился в конвульсиях, некоторые выбегали на дорогу, падали и целовали следы копыт султанского коня.

«Не единственное ли, на чем держится империя, — с ужасом подумал великий визирь, — это грубая сила и фанатизм, возбуждаемый вот такими зрелищами?»

Императорский кортеж направлялся к мечети Эюба, названной именем Магометова знаменосца, который в 48 году гиджры пошел завоевывать Константинополь и погиб там. Султан Магомет Завоеватель, овладев столицей Византии, соорудил возле гроба Эюба мечеть, в которой хранилась одна из четырех сабель халифов пророка — сабля Османа. Ею ныне должны опоясать нового султана Турции.

Процессия свернула с широкой улицы Шахзаде в тесные переулки, вытянулась, народ не вмещался в них, оставаясь во многих других кварталах. Султана встретили деревянные и саманные халупы. Вдали, возле берега Золотого Рога, показалась небольшая однокупольная мечеть, а рядом — мраморная усыпальница знаменосца Эюба.

— Это здесь колодец с водой бессмертия? — наклонившись к великому визирю, наивно спросил Ибрагим. Он слышал эту легенду еще в детстве, теперь же хотел убедиться, так ли это.

Аззем-паша очнулся от задумчивости, насмешливо посмотрел на Ибрагима и ответил, забывая о титулах:

— Этот колодец теперь без воды. Вода испарилась, ожидая бессмертных людей, и нет надежды, чтобы родник забил снова.

Ибрагим не ответил на его слова, да и некогда было,

Расступились кипарисы, открылись ворота, на пороге мечети стоял шейх-уль-ислам. Султан слез с коня, янычар-ага снял с него обувь, обмыл ему ноги. Верховный духовник семь раз благословил Ибрагима, потом подошел к нему и, привязывая к поясу меч, промолвил:

— Царь наш, пусть приветствуют тебя аллах и Магомет, пророк его, властвуй над нами счастливо и долго.

Ибрагим выпрямился и продекламировал в ответ слова, как учил его шейх-уль-ислам:

— Клянусь, что зеленое знамя пророка будет реять от Багдада до Вены, от Каира до Корсики. Я покорю немецкую землю, а на алтаре святого Петра в Риме велю кормить моего коня.

Аззем-паша, склонив голову, набожно произнес:

— О султан, пусть исполнятся эти слова великого Баязета.

Ибрагим сник, глаза его тревожно забегали, шейх-уль-ислам, возводя очи к небу, шептал слова молитвы.

Ювелир Хюсам с женой Нафисой сидели на мостовой напротив янычарских казарм, возле которых должен был остановиться коронованный султан, возвращаясь из мечети Эюба. Нафиса еще надеялась увидеть своего воспитанника Алима.

Огромнейшие казармы стояли тут, в центре города, еще со времени Урхана, создателя султанской пехотной гвардии «йени-чери». Ни один султан не осмеливался проехать мимо этих казарм, возвращаясь в Биюк-сарай с мечом Османа на боку. Мог ли предвидеть Урхан, что его идея обновления турецкого войска так жестоко обернется против наследников османского престола? Разве мог он предположить, что воины, которые должны были стать слугами трона, сами завладеют им и будут сажать на него угодных для них султанов?

Но тогда такое войско было необходимо. Турция воевала без передышки, не имея регулярной армии. Урхан собрал отуреченных пленников — босняков, греков, армян, обучил их, вооружил, требуя беспрекословного подчинения. Основатель ордена дервишей Хаджи Бекташ благословил новое войско. Опустив длинный монашеский рукав на голову первого янычара, произнес: «Называйтесь «йени-чери». Пусть ваше лицо будет грозным, рука победоносной, мечи острыми, а храбрость пусть станет вашим счастьем».

Для поддержания престижа нового войска Урхан сам вступил в первую орту[1], а всему корпусу присвоил герб — ложку, чтобы напоминала воинам о том, что воевать они обязаны за султанское содержание. Такую эмблему воины носили на шапках из белого сукна с высоким верхом. Ложка, символ наживы, понравилась янычарам. Вскоре они сами начали создавать эмблемы. Котел, в котором варилась пища, стал священным символом орты и равнялся знамени. Оставить котел в руках врага считалось самым большим позором, опрокинутый котел служил сигналом к бунту. Военные ранги тоже заимствовали из кухонного лексикона. Полковника орты называли чорбаджи — мастером огромного супника, лейтенанты назывались сакка-башами — водоносами. Аппетиты янычар росли и со временем стали проявляться не только в эмблемах и рангах. Янычары требовали повышения платы за службу, добились признания их кастой, равной улемам[2], чтобы иметь поддержку духовенства, девяносто девятую орту закрепили за орденом Хаджи Бакташа. И, наконец, начали диктовать свою волю султанам.

...Из казарм стали выходить янычары — сыновья Греции, Болгарии, Грузии и Украины. В коротких шароварах и кунтушах, в высоких из белого сукна шапках с длинными шлыками, они выстраивались в ряд для встречи султана.

Впереди первой роты, к которой должен был подойти Ибрагим, стоял молодой чорбаджи-баша.

Нафиса поднялась с мостовой.

— Хюсам, поглядите вон на того. Он так похож на нашего Алима.

— Сиди, сиди, — дернул Хюсам жену за фередже, — это командир орты. Алим же еще совсем молодой.

Засуетились люди на улице, зашумели, закричали. К янычарским казармам приближалась султанская процессия.

Ибрагим остановил коня возле выстроившейся первой орты. Нур Али подъехал к чорбаджи-баше. Молодой полковник с коротко подстриженными черными усами, орлиным носом вытянулся перед агой янычар, ожидая его команды. Нур Али довольно улыбнулся. Он не жалеет, что под Багдадом назначил гордого гяура башой

---

[1] Орта — янычарский полк.
[2] Улемы — высшее юридическое духовенство.

первой орты. Только такие, сильные и бесстрашные, могут быть настоящими противниками своих храбрых соотечественников. Ныне же молодому чорбаджи выпало особенное счастье: приветствовать от имени янычар нового султана и записывать его воинов в свой полк.

Нур Али кивнул головой.

Чорбаджи подали чашу, наполненную шербетом, и он, чеканя шаг, подошел к султану.

— Великий из великих, султан над султанами! — произнес он громко. — Твои рабы, непобедимое войско янычар, хотят встретиться с тобой в стране золотого яблока — на Дону, Днепре и Висле!

Ибрагим взял чашу из рук чорбаджи, выпил до дна, наполнил ее до краев золотыми монетами и крикнул янычарам:

— Воины! Вспомните славу римлян, бывших повелителей мира. Продолжите их славу. Победы магометан пусть обрушатся на неверных карой небесной!

Великий визирь, почтительно склонив голову, промолвил:

— Пусть слова великого Магомета Завоевателя вдохновят сердца воинов.

Ибрагим сверкнул глазами на Аззема-пашу. Он только сейчас понял, что визирь насмехается над ним.

Янычары дружно ответили:

— Кызыл ельмада герюшюрюз! [1]

А когда затихло эхо и над площадью залегла минутная тишина, вдруг раздался возглас женщины:

— Алим, сын мой!

Старая женщина старалась прорваться сквозь цепь субашей, протягивала руки, повторяя:

— Ты жив, Алим, сыночек мой!

Чорбаджи повернул голову в сторону крикнувшей женщины. Он узнал Нафису, покраснел, взгляд его встретился со взглядом Нур Али. Видел, как субаши тащили женщину через улицу, избивая и толкая ее, но даже глазом не моргнул.

На улицах веселился народ. Султанский эскорт направлялся к Биюк-сараю, проезжая мимо двора Айря-Софии, где рядом с усыпальницей султанов выросла новая могила. Старый сторож громко читал первую суру корана за упокой души Амурата IV. В головах лежала белая

---

[1] Мы встретимся в стране золотого яблока! *(турецк.)*

чалма, на шелковых полотнищах, которые покрывали гроб, виднелись золотые буквы: «Только один бог вечен».

На следующий день в часы приема великий визирь Аззем-паша пришел в тронный зал сообщить падишаху о состоянии государственной казны. Ибрагим сидел на троне и настороженно смотрел на величественного старца, который гордо, не кланяясь в пояс, стоял посередине зала. Молодой султан знал, что этот человек сейчас является хозяином империи, и еще долго Аззем-паша будет решать государственные дела, не советуясь, а докладывая о них султану. Так сказал шейх-уль-ислам. Ибрагим был доволен этим, ведь он ни с чем не знаком, но ему припомнились слова визиря во время парада, и в его душе невольно созревал протест против любого его предложения.

— Я должен, — начал Аззем-паша, — познакомить тебя, о султан, с состоянием государственной казны, на которой держится этот трон. Долголетняя война с персами опустошила казну, а добытое багдадское золото не восполнило ее. Кроме этих мешков с деньгами, которые стоят напоказ у дверей зала дивана, в личной султанской казне найдется немного. Не следует ли уменьшить плату?

Ибрагим поднял руку, останавливая великого визиря. До сих пор он был лишен необходимости мыслить, но вчерашнее провозглашение его султаном заставило подумать об ответственности. Ему еще хотелось по-мальчишески крикнуть: «Дайте мне покой, я хочу отдохнуть», но он уже понимал, что должен что-то делать в этом государстве, которым ему велено руководить. Как руководить? Чьими руками, чьим умом? Советовали слушаться великого визиря, но Ибрагим не желает, не хочет! Перед глазами промелькнули образы скрытной валиде, омерзительного кизляр-аги Замбула, и мысль остановилась на фигуре Нур Али, который, словно ангел Монкир, что ведет человека вдоль ада в рай, появился несколько дней назад в дверях дворцовой тюрьмы.

— Вели пригласить сюда Нур Али, — сказал Ибрагим. — Он воевал с Амуратом в Багдаде, ему лучше знать о военных расходах.

— Левая рука, султан, не ведает, что делает правая. Нур Али воевал в Багдаде, я же оставался в столице. Янычары дрались храбро, однако требуют слишком вы-

сокую плату за пролитую ими кровь. Это хорошо известно министру финансов и мне — великому визирю.

Замбул, стоявший за портьерой, подслушивая, вмиг выбежал, и через минуту перед султаном стоял, низко кланяясь, янычар-ага.

— Я слушаю тебя, султан.

Ибрагим подавил удивление: как быстро все делается! Только захотел вызвать Нур Али, а он уже тут, словно на расстоянии угадывал мысли султана.

— Что можешь ты сказать о расходах на войну с персами, Нур Али? — спросил султан.

— Много крови пролилось, султан. Сумеют ли самые большие мудрецы мира назвать сокровище ценнее крови султанских рыцарей? Она проливалась невинно, не в боях, а в казармах на Скутари от меча жестокого Амурата. И ни единого акче не уплачено ни за багдадскую, ни за скутарскую кровь. Твои воины ждут платы, султан, — вызывающе закончил янычар-ага.

Ибрагим понял: Нур Али не просит, он требует. Понимал, что значит, когда янычары требуют денег, а султан не может их дать. Султана Мустафу впервые в истории Турции свергли с престола янычары, когда тот снизил им плату. Но его хоть оставили в живых. Более жестокой была судьба его сына Османа II. После поражения под Хотином янычары потребовали такой же платы за кровь — золотом. Не найдя ни алтына в пустой казне, Осман велел переплавить золотую посуду, хранившуюся в крепости Эдикуле. Золото оказалось низкопробным, на рынке резко упал курс денег. Тогда взбунтовались шестьдесят янычарских орт, весь стамбульский булук. Янычары перевернули на кухнях котлы с пилавом, забарабанили по ним ложками, побросали тарелки и вышли на площадь перед сералем. Смертельно перепуганный, Осман приказал снять голову великому визирю и выставить ее на золотом подносе перед воротами — вот, мол, виновник. Но это не остановило разъяренных янычар, они ворвались в тронный зал и потребовали платы настоящим золотом. Осман указал на министра финансов — это он растратил казну, но и это не помогло. Янычары набросили на шею султана аркан, вытащили его на улицу и мертвого потащили по городу на устрашение потомкам Османа.

Не избежал насильственной смерти, в конце концов, и могущественный усмиритель янычар Амурат IV. А он,

Ибрагим, их ставленник. Янычары посадили его на трон, они же могут и свергнуть. Не как повелитель, а как невольник, готовый дать за себя какой угодно выкуп, он торопливо произнес:

— По пятьсот пиастров на орту... По пятьсот!

На лице Нур Али засияла радостная улыбка — плата щедрая, а Аззем-паша ужаснулся. Янычар-ага, окинув визиря взглядом победителя, вмиг исчез за дверью тронного зала.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

В Туреччині та на брамі кам'яній
Там сиділи два братчики молодії.
Один сперся на поруччя, задумався,
Дрібненькими слізоньками умивався.
Ой стій же ти, милий брате, не журися,
Яка красна Туреччина — подивися!

Украинская народная песня

Мешки с деньгами развозили по казармам, бросали по одному перед каждой ортой. Из казарм выбегали янычары, стремясь опередить друг друга, — кто первым схватит мешок, тот получит в награду десять пиастров.

Чорбаджи Алим, чернобровый красавец, одетый в дорогой красивый кунтуш, стоял в стороне и ждал, когда его помощник по казарме ода-баша подаст ему мешок с деньгами. Опустил руку в мешок, вытащил золотую монету, подал ее победителю, а когда янычары разделили золото между собой, торжественно произнес:

— Свою долю я отдаю вам, храбрые воины, чтобы вы сегодня попировали в честь султана Ибрагима.

Сегодня он мог быть щедрым. Алиму выпало счастье, которое случается раз в десять лет одному из тысяч: он подал коронованному султану чашу шербета. Ему только двадцать пять лет, а он уже чорбаджи, завтра с благословения султана станет булук-башой, послезавтра — янычар-агой. Как переменил его судьбу тот день, когда крымский хан Джанибек-Гирей двинулся по трем дорогам на Украину, чтобы отомстить казацкому гетману Тарасу Федоро́вичу за разгром Перекопа. Щедрую мзду взяли тогда ногайцы с Украины безнаказанно. Тысячи пленников пошли на привязи к Перекопу, не надеясь ни на освобождение, ни на выкуп. И слава аллаху.

Янычары пировали. Усевшись вокруг котла с дымившейся ароматной каурмой[1], они ели и украдкой запивали вином; сбоку на ковре, у подноса с ананасами и апельсинами, сидел Алим и тоже пил вино.

Прошлое казалось ему теперь вереницей снов, потому что действительность для него начиналась нынче, а сны должны кануть в небытие.

Но они все-таки были.

Когда-то стояла белостенная хата посреди большого хутора, а в ней, обсаженной головастыми подсолнухами, жила молодая казачка с мальчиком Андреем. Посреди села проходила пыльная дорога, вдоль которой двумя рядами тянулись деревья, похожие на кипарисы.

Во дворе кричали гуси. Андрейка любил этот несмолкаемый крик: он будил мальчика по утрам и выгонял в широкую степь. А степь безграничная, ее нельзя было обойти ни за день, ни за два, поэтому часто он возвращался домой лишь в сумерки и покорно выслушивал упреки матери.

— Где ты бродишь, казаче, до ночи? — ругала мать. Она прижимала к себе единственного сына и при этом всегда напоминала ему о том, что когда-то не в степи, а в саду пропал его маленький брат: ведь татары часто совершают набеги, да и цыгане бродят... — Вот приедет отец из похода, пожалуюсь ему.

Отца Андрейка видел редко. Это был статный, длинноусый казак в синем жупане, с саблей на боку; гости называли его паном сотником. Знал Андрей, что отец его воюет с татарами на далекой крымской земле. Тут же татар он нигде не видел, поэтому и не боялся их, разве только иногда ночью, когда на дворе гремел гром, сверкала молния и шумели ливни. Но днем, когда все вокруг дышало ароматом лугов, даже дух захватывало, откуда могли появиться эти злые люди, которые ездят на конях и забирают с собой детей? А даже если бы и были, так разве они найдут его в высокой, словно лес, траве.

Барашки белых облаков плыли над степью, а вокруг что-то безумолку звенело, усыпляя. Просыпался, когда солнце, как раскаленная сковорода, касалось горизонта, — и опрометью бежал домой, а по спине ползали мурашки страха.

Интереснее всего было ходить в степь с пастухами.

---

[1] Каурма — суп из баранины.

Они угоняли скот далеко, на весь день; в те дни мать давала ему сумку, наполненную свежеиспеченным хлебом, салом и чесноком. Коровы наслаждались сочной травой, хрупали и фыркали лошади, пастухи, покрикивая, удалялись, хлеб нигде не был таким вкусным, как тут — на степном раздолье.

А когда ляжешь на спину и смотришь неподвижно в глубокое небо, тогда видишь все, о чем мечтаешь: отец на коне в яблоках, а рядом с ним он сам — на белом коне, и сабля в руке, и красный жупан развевается на ветру. Вот мчатся они вдвоем, только ветер шумит в ушах; удирают в островерхих шапках татары, сабля засвистела в воздухе — чах, чах! — летят головы с плеч, а кони бьют копытами землю, топчут, топчут, топчут...

Вздрогнул, вскочил на ноги, что это? Четыре всадника, с серо-коричневыми лицами, стоят над ним, выкрикивают что-то на непонятном языке. Бросился бежать — это же татары! — но один всадник соскочил с коня, схватил его под мышку и посадил в седло впереди себя. Андрейка стал вырываться, кричать, татары заткнули ему тряпкой рот и поскакали по безлюдной степи.

Потом было много людей, которые рыдали, голосили. Андрейка искал глазами хотя бы одно знакомое лицо — не нашел. Какая-то женщина сказала ему, что до его хутора татары не дошли, потому что будто бы за ними погнались казаки.

Еще теплилась надежда, что казаки их настигнут. Но с каждым днем она угасала. Брели люди, связанные по нескольку человек веревками, протаптывали в степи черную дорогу, и только стаи воронов летели следом за ними.

Татарин вез Андрейку в своем седле, стегал нагайкой пленников, а его даже пальцем не тронул, кормил да все приговаривал: «Якши джигит, биюк бакшиш»[1].

Страшнее было на привалах. Дикие ногаи развязывали девушек, женщин и прилюдно насиловали их, немощных и больных убивали, — ужас охватывал мальчика. Он умоляюще смотрел в глаза татарину, и тот почему-то приветливо улыбался ему.

«Почему? — думал Андрейка. — Почему он ни разу не ударил меня нагайкой? Может быть, потому, что я покорно смотрю ему в глаза? Вон лежит мужчина с рассе-

---

[1] Хороший юноша, большой выкуп (*татарск.*).



ченной головой. Он бросился на ногайца, защищал дочь, — и теперь лежит мертвый. Не помог, а жизни лишился. Был бы кротким, смирным — жил бы. А ныне убивается девушка, заливается слезами — двойное горе у нее: бесчестье и сиротство... Единственный выход для невольника — покорность».

Смешным теперь казалось ему видение на небе: он с отцом на коне гонится за татарами. Чепуха, никто не одо-

леет такую силу, казаки не преследуют их — это выдумка несчастных для своего утешения. Нигде нет Трясила, который трясет крымскую землю, — все это мамины сказки. Существуют только татары, которые господствуют над всем миром и делают то, что им вздумается. Надо смириться с этим, иначе — смерть.

Сколько дней прошло — трудно сосчитать. Колонна остановилась перед пятигранной башней, возвышавшейся над затхлой водой Сиваша. «Перекоп», — сказали пленники. Конец вольных степей, ворота в вечную неволю. Буйная шелковая трава сменилась сухой колючкой, тяжелые черные дрофы сбились у берега, как стадо в полуденную знойную пору; на скалах, похожие на разбойников, сидели ястребы, а в небе парили орлы. Чужая сторона...

И уже не осталось у Андрейки ни капли веры в то, что где-то тут его отец, смелый и храбрый, воюет с врагами, — это тоже выдумки матери. Никто никогда не трогал этих стен и высокого вала, отгораживающего перешеек от голубой глади моря и тянувшегося до болот, откуда несло терпким запахом соли и тухлой рыбы. Башня уперлась задней стеной в вал и двумя закрытыми воротами и жерлами пушек остановила татар и пленников. Огромная голова совы, высеченная на граните между воротами, загадочно смотрела на измученных людей, которые падали с ног, и говорила им своими умными глазами: «Такова уж ваша судьба».

Андрейка всматривался в глаза ночной птицы: ей дано видеть мир тогда, когда его не видят люди, поэтому она знает больше.

Люди за что-то борются, страдают, погибают, а птица знает, что все это напрасно; люди на что-то надеются, а птица знает — надеяться не на что. И потому молча советует опытными глазами: «Успокойтесь и покоритесь. Такая ваша судьба».

Мальчик почувствовал, что навсегда развеялись его надежды на спасение. Потому что нет у людей воли для осуществления своих желаний. Есть рок, сопротивляться ему безрассудно — он равнодушен к страданиям людей, как равнодушны вот эти огромные птичьи глаза к горю пленников, над которыми издеваются дикие ордынцы.

Татарин ссадил Андрейку с коня, похлопал его по плечу и спросил на ломаном украинском языке:

— Как назвал теби мама?

Чорбаджи Алим и до сих пор помнит это странное имя, которое когда-то было его собственным.

— Андрей, — ответил.

— Теперь будешь Алим. Чула, Алим!

Татарин велел ему искупаться в море, сам выстирал ему рубашку, и еще не успела она высохнуть, как предводитель колонны загорланил на пленных, чтобы поднимались.

Засвистели нагайки, начали делить пленников.

Из ворот, возле которых стояли на страже совсем не похожие на скуластых ордынцев молодые воины, вышел дородный мужчина в чалме и что-то скомандовал. К нему подбежал хозяин Андрейки, поклонился и показал рукой на своих пленников. Мужчина в чалме, не обращая на него внимания, подошел к крайней группе пленников, потом ко второй, к третьей, разводя в разные стороны мужчин и женщин. Крики, рыдания эхом ударились в стены крепости. Но каменное изваяние совы на стене равнодушно смотрело, как янычары делят ясырь.

В каждой группе турецкий мубашир отсчитывал каждого пятого — мужчину и женщину, выбирая самых сильных, самых красивых, и отводил в сторону. А когда дошла очередь до Андрейки, татарин развел руками и сказал:

— Большой бакшиш для султана, эфенди.

Мубашир оголил мальчику живот, потом спину, раскрыл ему рот и провел пальцами по зубам, а татарин все приговаривал да льстиво улыбался. Долго морщился эфенди, отрицательно качал головой, наконец взял Андрейку и пошел к другим.

Отбор дани для султана продолжался до самого вечера. Андрейка оказался среди толпы мальчиков, которых загоняли в ворота крепости. Он протянул руки к своему хозяину, но ногаец пожал плечами и сказал:

— Кисмет...

Это было первое слово, которое понял Андрей без переводчика. Судьба. Такая судьба — и ничего не поделаешь. Это неумолимое слово, казалось, произносила каменная сова, и странно: оно вселяло в душу спокойствие.

— Кисмет... — прошептал чорбаджи Алим. — Кисмет! — крикнул, ударив чашей об пол.

Но никто из янычар не обратил на него внимания. Воины пировали. Алим налил еще раз полную чашу вина и осушил ее.

Галера с пленниками, отобранными для султана, приближалась к Босфору. Мубашир вез падишаху дань от татар: степных красавиц — в гарем, отборных мужчин — на галеры и самый ценный товар — мальчиков — для янычарского корпуса.

Пожелтевшие от морской болезни, чисто одетые и постриженные, мальчики печально всматривались в крутые берега узкого пролива. Галера вошла в проток между мысами Румели и Анатола. По обе стороны, на холмах, поросших кипарисами и кедрами, раскинулся чужой край: небольшие, густо расположенные села с шпилями минаретов, форты, замки, башни, апельсиновые рощи.

Андрей, накормленный и хорошо одетый, уже забыл о добром татарине — тут обращались с ним не хуже. Он с любопытством рассматривал живописные берега. Вспоминал рассказы отца о страшном басурманском крае, в памяти зазвучали песни слепых кобзарей о тяжелой турецкой неволе — все это никак не вязалось с впечатлением от этого мира, который раскинулся перед ним, зеленомиражный, над босфорскими водами. Где же эти жестокие турки? Мубашир часто подходил к Андрею, обращался к нему по-своему, мальчик быстро усваивал язык. Эфенди велел ему следить за порядком, делить еду — Андрей был старше других мальчиков. Это назначение старшим было для него приятным да и выгодным: ему ласково улыбался турок и он получал большую порцию еды.

Галера причалила к берегу у Золотого Рога. По обе стороны залива блестел золотыми куполами мечетей, поднимался густым лесом минаретов большой город. Он утопал в зелени садов и манил своей загадочностью. Теперь Андрей уже не боялся судьбы — он забыл свист татарских нагаек, вопли пленников: в галерных трюмах всю дорогу господствовало спокойствие и три раза на день заходил к мальчикам приветливый мубашир.

Вот он снова появился и велел выходить друг за другом на верхнюю палубу. Сюда никого не пускали во время долгого пути. Андрей взошел на дощатый помост и ужаснулся от того, что увидел: на двух рядах скамеек по шесть человек сидели прикованные цепями к веслам истощенные, заросшие мужчины, раздетые до пояса. Из-под кожи выпячивались суставы, спины в синих рубцах, кожа на запястьях стерта цепями до костей, воспаленные

глаза глянули на мальчиков. И вдруг послышался среди гребцов стон:

— О Украина... О дети мои!

Засвистел прут, по рядам пробежал ключник, направо и налево сыпля удары, и вдруг негромко зазвучала песня — казалось, это он, ключник, принудил людей запеть:

Плачуть, плачуть козаченьки
В турецькій неволі...

Ключник бил хворостиной по лицам, по голым спинам, на них появились багровые полосы, брызгала кровь, а песня не утихала:

Гей, земле проклята турецька,
Віро бусурменська,
Ой розлуко ти християнська!

Дети заплакали. Лицо доброго эфенди налилось кровью, он подскочил к мальчикам и стал бить их кулаками по лицу.

Андрей вздрагивал всем телом при каждом свисте гибкой перекопской лозы, суровые усатые лица гребцов напоминали ему соседей-казаков, отца, вспомнились песни кобзарей, но он закусил до крови губы, сдерживая рыдания. Знал, что от того, скатится или не скатится по его лицу слеза сочувствия и сострадания, будет зависеть его судьба на долгие годы. Надо выдержать, ведь надо выжить. А его слезы не помогут этим людям. И их слезы не помогут ему. Есть кисмет — судьба. От нее зависит все, и ей надо подчиняться. Разъяренный мубашир подбежал к нему, замахнулся, но не ударил. Промолвил:

— Хороший будешь янычар!

Позади замирала песня, утихал свист лозы, мальчики направлялись по берегу к воротам султанского дворца.

Во дворе их выстроили в длинный ряд, и тогда вышел к ним седобородый мужчина — великий визирь — в сопровождении белых евнухов.

Евнухи устремились вдоль длинного ряда, присматриваясь к лицам мальчиков, спрашивали, как их зовут, принюхивались, словно голодные псы, и коротко бросали: «В медресе», «На галеры», «В сад». Хватали за руки, группировали и быстро выводили за ворота.

Подошла очередь Андрея. Он выделялся среди мальчиков ростом, крепким телосложением, характерным для казаков орлиным носом, черными широкими бровями.

Евнух приблизил к нему свое безбородое лицо, ехидно присматриваясь к казацкому сыну, отец которого, очевидно, жег Трапезунд или Скутари. Спросил:

— А как тебя звать, казак?

Ждал гордого ответа от степного орленка, чтобы потом отомстить за это страшным приговором: «К евнухам» или «К немым».

Поколебавшись мгновение, Андрей четко ответил по-турецки:

— Меня зовут Алим.

Евнух удивленно поднял брови, довольно улыбнулся мубашир.

— В семью на воспитание, — бросил великий визирь.

Вереница картин, воспоминаний оборвалась. Перед глазами возникла, всплыла старая женщина, старавшаяся вчера пробиться сквозь ряды субашей с криком, который может вырваться только из груди матери: «Алим, сыночек мой!»

Нафиса... Алим когда-то любил ее. Тогда он был маленьким, нуждался в ласке и получал ее. Алим благодарен Нафисе — она научила его своему языку и вере, подготовила к новой жизни, которой он живет сегодня. А это не так легко.

Алим хорошо помнил молитвы, которым учила его родная мать. Они были понятны и благозвучны, сначала он украдкой шептал их перед сном. Нафиса не бранила его за это, но ежедневно, свято убежденная, что ее вера справедливее, обучала его корану. Видела, что мальчик доверяет ей: старательно молится по пять раз в день, выполняет мусульманские обряды. Но не догадывалась она, не знала, что творилось в душе юноши.

Алиму необходимы были новая вера и язык, он понимал это. Поэтому он перестал молиться так, как учила его мать. Ведь какая польза от тех молитв, когда тут верят в иного бога и он целиком зависит от него? Однако он все время чувствовал раздвоение в душе: знал двух богов — и оба были чужды ему. Тот, христианский, теперь над ним не властен, поэтому нет надобности открывать ему свою душу. А мусульманский бог совсем чужой. Однако он есть, управляет жизнью людей на этой земле, где Алим живет, и с этим богом надо считаться. Надо покоряться ему, как когда-то мубаширу на галере. Но вме-

сте с таким принятием новой веры из души юноши исчезало все святое. Все в этом мире подчинено корысти, поэтому и он, Алим, должен жить так же. Хюсам зарабатывает на хлеб ювелирными изделиями, казаки на Украине — пашут землю, тоже жить надо! — ему надо смириться с новой верой, чтобы когда-нибудь заработать кусок хлеба мечом. Все это просто и понятно. А поэтому должен служить мусульманскому богу — этого требует меч. Так пусть не гневается на него Нафиса. Ее любовь стала ныне такой же ненужной, как когда-то добрый христианский бог. А язык и вера — пригодятся ему.

Алим быстро усваивал науку Хюсама и Нафисы, ему все реже снилась родная степь, а потом и совсем забылась, как забываются вещи, без которых можно легко обойтись.

Старик Хюсам, любуясь степной красотой юноши, иногда называл его казаком, но Алим мрачнел от этого слова, ему все время казалось, что между ним и урожденным мусульманином умышленно делают какое-то различие, что это унижает его. Глухая неприязнь к Приднепровскому краю рождалась в его сердце, ведь из-за того, что там родился, он не может стать равным новым соотечественникам, хотя знает коран не хуже, чем они, и отлично говорит по-турецки.

Нафису он называл мамой, но пришло время, когда понятие «мама» для него стало таким же бременем, как когда-то снившаяся степь. Алима взяли для обучения военному делу в янычарский полк. Рыдающая Нафиса проводила юношу до самой казармы и на прощание надела ему на шею амулет. Этот серебряный ромбик с зернышком миндаля посередине любовно выгравировал Хюсам. На глазах у янычар Нафиса обняла Алима, поцеловала и тихо заплакала. И тут раздался хохот — насмешливый, злой.

Зардевшийся от стыда юноша вбежал в казарму, янычары дергали за амулет, хватали его за полы кафтана и вместо сабли дали ему деревянную куклу.

Всю ночь простонал юноша на своей кровати — осмеянный, униженный, а на заре тихо поднялся, сорвал с шеи амулет и выбросил его в отхожее место.

Алим быстро смыл с себя позор Нафисиного поцелуя. Он хорошо стрелял из лука, из ружья и пищали, опережал своих сверстников в бешеных скачках на Ат-майдане. Послушно выполнял приказы, потому что непослуш-

ных били палками по пяткам; прилежно изучал военное дело, потому что бездарных направляли в цех мять шкуры. Рос молчаливым, ибо знал, что у того жизнь долгая, у кого язык короткий; ночью возле каждой пятерки учеников лежал евнух и подслушивал, кто, о чем и на каком языке перешептывается, чтобы потом вольнодумцев наказать голодом.

Алим хотел стать воином. Он с нетерпением ждал того дня, когда его назовут янычаром и запишут в полк.

Прошло несколько лет, пока наступил этот день. На площади перед казармами развесили кроваво-красное полотнище с серебряным полумесяцем и кривым мечом. Весь стамбульский булук вывели на площадь. Напротив янычар выстроили учеников. Имам прочитал молитву, произнес проповедь:

— Вы гвардия султана. Вы охрана империи. Будьте достойны звания «йени-чери» и не забывайте, что самые злейшие ваши враги — болгарские гайдуки, сербские ускоки, греческие клефты и украинские казаки.

Высокий черноусый Алим стоял на правом фланге. Он сегодня наконец получил янычарские регалии — это означало, что ему полностью доверяют. Но последнее слово имама неприятно кольнуло в сердце — показалось, что на него, именно на него обращены сотни глаз. Повернул голову влево и успокоился: ученики смотрели на янычар-агу, подходившего к их рядам.

И тут сзади послышался злобный шепот, очевидно адресованный янычар-аге, но вспыхнуло румянцем смуглое лицо Алима...

— Байда...

Это кто-то из поляков. Именем Байды Вишневецкого, который погиб, подвешенный на крюке в крепости Эдикуле, польские янычары оскорбляли украинских. Это было самое тяжкое оскорбление. Алим сжал эфес сабли и с трудом сдержался, чтобы не освятить ее кровью.

— Байда... — повторил чорбаджи Алим, и тогда в его мозгу вспыхнуло ужасное воспоминание.

Он осушил еще одну чашу вина, чтобы залить, утопить его, но безголовая фигура в окровавленном фередже не исчезала, стояла перед его глазами, как недавно во сне. От этого призрака хотелось бежать на казармы, но вдруг янычары насторожились, заметив, как побледнел их чор-

баджи-баша. Алим весь напрягся и глянул на видение в упор. И сразу почувствовал, что больше его не боится. Вчера в его жизни произошло событие, которое оправдывало непростительный грех, и это видение явилось теперь не для упреков, а для утверждения власти Алима, силы и жестокости. Ибо отныне эти качества, а не жалкие угрызения совести будут вести его в жизни.

Случилось это в Багдаде. Рано утром Амурат, выслушав от меддаха Омара зловещее толкование сна, пришел в ярость. Вместо того чтобы снять голову толкователю, он приказал штурмовать стены города и сам бросился в бой.

Алим одним из первых взобрался на стену. То ли его вела туда жажда битвы и славы, то ли ненависть к персам, но за что? А может быть, гнали его в бой зоркие очи чаушлара[1], который скакал позади орты на зеленом крашеном коне и наблюдал за тем, как сражаются воины, чтобы потом доложить янычар-аге. Взбираясь по лестнице на стену, откуда уже скатывались обезглавленные янычары, Алим еще раз оглянулся: да, чаушлар именно с него не сводит глаз. И только с него. В этом взгляде — старое недоверие, он мысленно произносит унижающее его слово: «Казак, казак, казак!» Алим острее, чем когда-либо, почувствовал, как он ненавидит то племя, которое его породило на свет! «Казак», — говорил Хюсам, любуясь красотой юноши; «Казак», — дразнили его во время ссоры товарищи; «Казак!» — кричал на него имам, когда Алим сбивался на какой-нибудь суре корана. Это слово порой доводило юношу до безумия...

А чаушлар следит за ним своими пронизывающими глазами, ибо не верит в его искреннюю ненависть! Ну иди, скачи на крашеном коне и посмотри, как Алим воюет за самую справедливую веру безродных сыновей.

Он вскарабкался на стену и яростно бросился на противника. Казаки это или персы? А, все равно!

«Гляди, чаушлар, внимательно гляди и оцени же наконец настоящего янычара!»

Надсмотрщик на зеленом коне заметил его усердие. Он поскакал к янычар-аге и указал на Алима булавой. А

---

[1] **Чаушлар** — надсмотрщик за поведением янычар в бою. Чаушлары ездили на крашеных конях, чтобы выделяться среди воинов.

когда персидские войска были разгромлены и задымились развалины Багдада, когда янычары громили подвалы и выносили ценности, еду и напитки, Нур Али подозвал к себе Алима и сказал:

— Ты храбрый воин, и я хочу назначить тебя на место погибшего в бою чорбаджи первой султанской орты Но чтобы тебе навсегда поверили, что ты до конца предан исламу и его величеству падишаху, должен... Подведите сюда! — махнул он рукой, и оруженосцы привели к Алиму молодую женщину с распущенными русыми волосами, в белом фередже. — Это наложница гарема шахского сановника. Она родом из того поганого края, что плодит разбойников, грабителей нашей священной земли. Эта казачка ныне зарезала двух янычар, которые хотели сблизиться с нею. Ты должен казнить ее.

Алим еще не убивал женщин, а эта удивительно напоминала ту, которую он когда-то в далеком детстве называл мамой. Рука с ятаганом опустилась, и Алим услышал речь, которую — о проклятье! — еще помнил.

— Казаче, соколик, — тихо промолвила девушка. — Мне, орлице, тоже обрезали крылья, как и тебе. Но у меня остались руки, ими я искупила свой позор. И тебе еще не поздно. Отруби голову хоть одному врагу, и бог и люди простят тебя.

От этих слов повеяло запахом скошенной травы в степи, горькой полынью, вечерней мятой, щебетаньем жаворонка над весенней пашней в синем небе, а перед глазами всплыли два всадника, преследовавшие татар...

Нахлынуло это так неожиданно, что он дрогнул, на миг растерялся. Но девушка, увидев нерешительность янычара, подошла к нему и произнесла громко, твердо и яростно:

— Твой предок Байда три дня на крюке висел и не изменил, а ты боишься смерти, которая наступит в одно мгновение? Три дня...

Она не досказала. Засвистел ятаган, покатилась девичья голова. Тело упало к ногам Алима. Кровь брызнула на шаровары.

— Поздравляю тебя, чорбаджи-баша, — услышал Алим голос Нур Али, но не увидел сердара за красной пеленой, затуманившей ему глаза.

Она являлась к нему ночью и всегда говорила: «Казаче, соколик». Эти слова уже не навевали запаха скошенного сена в степи, а только заставляли злиться на упре-

ки совести, которой не должно быть у чорбаджи. И за что упреки? За тот короткий детский сон, который давно рассеялся, который теперь стал совсем лишним?

Янычары пировали.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Прежде чем войти, подумай о том, как выйдешь.

Восточная пословица

За Карантинной Слободой тянется вниз к морю западное предместье Кафы. Весной, когда выпадают дожди, здесь буйно растет бурьян, а летом он высыхает на ветру; трещат без умолку цикады, и лениво выглядывают из расщелин голодные ящерицы.

Дымный воздух дрожит над выгоревшим побережьем, а солнце уже клонится к закату и не так жжет. Из низеньких саклей выбегают бритоголовые татарчата, летят к морю, бросают в воду гальку, визжат, толкаются. На крутом берегу бухты стоит на скале худенькая девочка: ветер растрепал ее длинные волнистые волосы, теребит малинового цвета сарафан, она всматривается в голубые отблески, разбросанные на морской глади, и не слышит крика мальчишек. Серебристый след потянулся за баркой — и вот она исчезает за горизонтом; далеко в порту стоят величественные галеры, похожие на сказочных гигантских лебедей, тихо дышит море, едва касаясь волнами прибрежных скал.

Мальчишки знают всех жителей предместья — от самого старого до самого малого, всех турецких дервишей из монастырей, даже ходжей из Слободки, но откуда тут появилась эта девочка с черными волосами и смуглым красивым личиком?

— Кто ты?

Она, не шелохнувшись, смотрит поверх их голов. Что она, незрячая?

— Кто ты такая?

— Я — Мальва, — отвечает спокойно девочка, мечтательные глаза ее опускаются на бритые головы татарчат и излучают синеву, будто они только что зачерпнули ее из моря и щедро возвращают ему.

Озорники оторопели, они не знают, что сказать, такой девочки еще никто никогда не видел в этом предместье. Но кто же она?

— Ты откуда? — снова спросили они, но уже без мальчишеского нахальства.

Девочка развела руками, сорвала белый цветок клематиса, который змейкой свисал со скалы, и бросила им вниз.

— Не знаю! — воскликнула, козочкой поскакала по уступам скалы и через миг оказалась наверху, а потом исчезла, словно ее тут и не было никогда.

— Гурия... — прошептали мальчишки в набожном страхе.

Мария поджидала дочь у ворот монастыря, нетерпеливо выглядывая ее. Она только что приготовила ужин для монахов, сейчас огласят предвечерний намаз, и снова Мурах-баба будет сердиться, что девочка не приучается вовремя становиться на молитву. Опутал ее дервиш, словно паук муху, и она уже не в силах вырваться.

В тот вечер, когда обе они, перепуганные и голодные, вернулись в монастырь, Мурах-баба повел их в кухню и бросил им объедки. Мария не прикоснулась к еде, девочка же вылизывала миски, как собачонка, и Мария стала биться в отчаянии головой о каменный пол.

Мурах-баба вышел в сени, приподнял босой ногой ее голову.

— Если аллах пожелает что-нибудь дать, — сказал он, — то он не спрашивает, чей ты сын или дочь. Но только ищущие находят щедрого бога. Поэтому слушай меня, Мариам. Тебе посчастливилось, что сегодня ты встретила меня, божьего человека, слугу Блистательной Порты. Иначе ты погибла бы среди этих шелудивых татар, которые лишь пыль из-под ног османов. Я дам тебе приют и хлеб, твоей дочери найду когда-нибудь богатого жениха, и ты будешь купаться в роскоши, какая никогда не могла даже присниться тебе в твоем поганом крае. Но ты должна быть покорной и исполнять завет Магомета-пророка: треть суток спать, треть работать, треть молиться богу. Молиться будешь в монастыре, работать на кухне, а спать со мной.

Мария вскочила, омерзение и возмущение вспыхнули в ее глазах. Мальва вылизывала миску и просила еще.

Мурах-баба опередил Марию:

— У человека двое ушей, а язык один. Дважды выслушай, а раз скажи. Если тебе не нравится моя доброта, я тотчас отпущу тебя, но дервиши нашего монастыря властвуют над душами татар Кафы и не разрешат тебе

просить милостыню в городе. А в степи тебя ждет голодная смерть. До осенних дождей ты даже воды там не напьешься, разве что из солончаков. Теперь ты выслушала меня дважды, я жду твоего ответа.

...Мария уже месяц живет у Мурах-бабы на подворье монастыря. Две трети завета Магомета исполняла: варила монахам еду и учила закон божий. От третьей повинности уклонялась. Сказала, что сможет лечь рядом со святым отцом тогда, когда почувствует себя настоящей мусульманкой. Мурах-баба понимал это и становился все настойчивее. Одно только воспоминание об этом бросает Марию в жар, но она не знает, что ей делать.

А Мальва расцвела. Там, у хозяина-татарина, она редко выходила из-за коврового станка, томилась, желтела, а тут ей приволье. Никто не принуждает ее работать — гуляй по горам и возле моря, только вовремя приходи на молитву и на вечернее обучение.

Мария вглядывалась в сторону моря, и уже в сердце закрадывалась тревога, но вот мелькнула малиновая юбка, на улицу выбежала девочка с желтыми цветами в руке.

— Что это за цветы, мама?

— Мальвы, дитя.

— Мальвы? Ха-ха! Так это же я — Мальва.

— И ты...

В этот момент закричали муэдзины на минаретах городских мечетей, Мария оглянулась — во дворе уже стоял Мурах-баба, протянув руки на восток. Постелила коврик, и обе замерли тут же, на улице. Мальва молилась, она уже на память знала суры корана. Мария смотрела на землянки на противоположной стороне улицы. Хлева прилепились к саклям, разваленные кирпичные ограды напоминали пепелища, и в огородах не было цветов — нет, нет, тысячу раз топчи крест, никогда не привыкнешь к этой чужой стороне.

— Вырвусь отсюда, — шептала Мария вместо молитвы. — Уйду, хотя ты, боже, и не хочешь этого. Я должна пересадить свою Мальву на родную землю. Какой угодно ценой. А тогда уже наказывай меня, мой боже, за грехи и измену.

Окончилась молитва. Мурах-баба позвал Марию и Мальву к себе в дом. Он снял войлочную шапку с зеленой окантовкой, обувь, сел, по-турецки поджав ноги, ука-

зав рукой на миндер, где всегда садились Мария с Мальвой.

— Во имя бога милостивого, милосердного, — начал Мурах-баба неизменной молитвой. — Обещал аллах верующим сады, в которых текут реки, для вечного успокоения и райские жилища в садах вечности. Я счастлив, дети мои, ибо направляю вас на путь истины. — Он внимательно посмотрел на Марию, которая, опустив голову на грудь, мысленно была где-то далеко от божьей науки. — Сказал аллах: «Поклоняйтесь мне, ибо все вернутся к нам». Ныне я хочу рассказать вам...

— Про Кара-куру, ты же обещал, баба, — попросила Мальва, ей надоело ежедневное заучивание корана на арабском языке, которого она не понимала.

Дервиш недовольно поморщился:

— О злых демонах нехорошо рассказывать на ночь, дочь моя, да еще и людям, которым неведомы достоинства истинной веры. Эти злые джинны всегда окружают нас, но страшны они лишь тем, кто не впитает в свою плоть и кровь самую правдивую и самую справедливую веру Магомета.

Поглощенная собственными мыслями, Мария произнесла вслух:

— Каждый кулик свое болото хвалит... Ляхи то же самое говорят о католической вере, евреи о талмуде...

Дервиш почувствовал насмешку в словах Марии, и поток нравственных поучений едва не сорвался с его языка, но Мария опередила его. Подняла голову: губы презрительно сжаты, взгляд пренебрежительный — Мурах-баба еще не видел Марию такой.

— Разве ты, монах, можешь знать, что на свете является самым справедливым? Ты, который так ревностно придерживаешься своей веры только потому, что она дает тебе власть над людьми, вдоволь еды и жен?

— Пусть ветер унесет эти поганые слова из твоего прескверного рта, Мариам, — прошипел дервиш, но потом спокойно продолжал: — Те, которые считают наше учение ложным, не войдут в ворота рая, как верблюд в ушко иглы. Учение Магомета самое справедливое и самое правдивое потому, что оно последнее. Ведь коран не противоречит Моисею, коран признает божественное происхождение Христа, но разве можно сравнить этих пророков с умным пророком Магометом, ибо те давали советы людям лишь на день сущий, а о дне грядущем со-

ветовали только мечтать. Моисей упал на границе ханаанской земли и потерял веру в Иегову, Христа же распяли сами евреи за то, что он велел поклониться идолам. Магомет же сказал: «Когда все народы будут исповедовать ислам, тогда появится посланник бога Махди, который сделает всех людей равными». Ныне бо́льшая половина мира признала нашу веру, и недалек тот час, когда все будут равны — от шейх-уль-ислама до моакита [1], от султана до цехового ремесленника.

— Ну, ну... — вздохнула Мария. — Но пока что есть сытые и голодные, рабы и хозяева. Твой Махди, очевидно, еще не зачат.

— Когда слушаете коран, молчите, — может быть, тогда будете помилованы, — повысил голос Мурах-баба. — Сказал же архангел Гавриил Магомету на горе Хире: «Ты последний пророк, и в том, что ты скажешь, никто не посмеет сомневаться. Ты возьмешь из учений бывших пророков единственную сущность — единство бога — и будешь проповедовать идеи божьи, которые тебе одному доступны». Как можешь ты, земной червь, сомневаться? Из уст пророка записали коран его халифы Абу-Бекр, Осман, Омар и Али, и в нем ты найдешь ответы на все вопросы жизни. На каждый поступок — объяснение и оправдание, если только он не вредит династии Османов, которой суждено нести в мир истинную веру. Только умей читать коран, только береги его от лжетолкования, как это делают персы-шииты — враги Высокого Порога. Ибо учил Магомет бороться за ислам мечом, и это его святейшая заповедь. Сказано ведь в сорок седьмой суре: «Если встретишь такого, что не верует, ударь его мечом по шее».

Мальва спала, так и не дождавшись сказки об оборотнях и джиннах, а Мария слушала, и ей становилось жутко от проповеди дервиша.

А что, если все это правда? Неужели мусульманская вера должна стать единственной в мире? И распространится страшная чума по всем странам, и все народы станут похожими на турок... И не будет песен, не будет сказок, не будет огней на Ивана Купалу, гаданий под рождественскую ночь, свободы! Ни у кого не будет ничего своего... Шляхта распяла Украину за православную веру, тоже навязывала людям свою, праведную. Ложь, ее

[1] Моакит — служитель, ведающий часами в мечетях.

из-за хлеба распинали. Турки захватили полмира — за веру? Нет, из-за наживы. А бог един над всеми — он единственный справедливый и вечный. И он не позволит торговать собой. Придет время — и терпеливый господь не потерпит больше лжи, крикнет менялам и ростовщикам:

— Довольно!

Это крикнула сама Мария и прикрыла рукой уста. Зашаталось пламя свечи, вскочил Мурах-баба, закричал:

— Гяурка! Отступников у нас наказывают не божьей карой, а земной, и ты будешь наказана...

— Не пугай, — поднялась Мария, платок сполз ей на шею, дервиш только сейчас увидел, что эта женщина совсем седая. — Я живу так, как велит твой бог, потому что у меня нет иного выхода. Поэтому наказывать меня не за что. А думать не запретишь мне. И никто не может запретить думать людям — ни ты, ни мулла, ни твой Магомет. Ты говорил, и персы — враги ислама. Какие же они враги, когда они сами мусульмане? Ты называл и татар шелудивыми, а они тоже исповедуют вашу веру. Так не в боге дело, вам, туркам, досадно, что еще не весь мир находится под вашим башмаком. И поэтому вы кроме сабли взяли себе на вооружение еще и коран. И орудуете им так, как это вам выгодно, ибо вы сильны. Но сила ваша не вечная. Человек силен, пока он молод, а потом слабеет, хиреет и умирает. А если не умел жить с соседями по-человечески в молодости, то в старости соседи не помогут ему и даже не пойдут за гробом!

Мурах-баба растерянно смотрел на разъяренную казачку, которая, казалось, сейчас подойдет и вцепится руками в его горло. Он не ждал такого потока слов из уст убитой горем Марии, какой-то крестьянки из Приднепровья. Попятился — ему еще не приходилось встречать такой умной женщины, ужаснулся, ибо умная женщина может оказаться и ведьмой.

— Кто ты такая... кто? — пролепетал дервиш.

— Полковничиха я! Жена полковника Самойла, который побил вас в пылающем Скутари. У меня в доме гостевали гетманы, государственные дела вершили при мне, а ты... ты хочешь, чтобы я с тобой, грязным и юродивым, легла в постель? Тьфу!

И — сникла. Упала на миндер и зарыдала над спящей Мальвой. Голос дервиша прозвучал нерешительно, но угрожающе:

— Говорят правоверные: «Хорошему коню надо увеличивать порцию ячменя, плохому — канчуков».

— От ячменя я отвыкла, к канчукам — не привыкать, — вздохнула Мария, взяла на руки ребенка и пошла, пошатываясь, на свой чердак.

Проснулась утром с горьким предчувствием беды. Мурах-бабы уже не было в доме, мелькнула мысль, не задумал ли он худого. Глубоко сожалела, что не сдержалась вчера, все равно ничего не изменится оттого, что она сказала правду в глаза. Его не убедила, а себе, наверное, повредила: Мурах-баба будет мстить ей.

Сварила обед на кухне, и, когда дервиши ушли на предобеденную молитву, Мария, спрятав под кафтан свои и Мальвины вещи, ускользнула с дочерью на улицу. Не знала, куда идти, но сердцем верила, что должна ныне встретить кого-то, кто даст ей добрый совет. Всюду есть люди, не все же звери.

В переулке возле Круглой башни увидела старика с длинной, седой, как у библейского Саваофа, бородой, в белой чалме и в сером арабском бурнусе. Он не пал на колени, когда муэдзины прокричали призыв к молитве, а только поднял голову к небу, и показалось Марии, что человек этот видит бога. Того бога, которым торгуют все на свете, не зная его, того бога, который является самой подлинной правдой, вечно униженной и бессмертной. Сейчас он разговаривает с нею с глазу на глаз, советуется, спрашивает.

— Помоги, святой отче, — услышал меддах Омар шепот и опустил глаза. У его ног пала ниц женщина с ребенком. — Тот, кто способен видеть бога, должен знать путь и к моей судьбе, который я не в силах найти.

— Встань, дочь моя, — промолвил Омар. — Я не святой. Я только успел долго прожить на земле. Я исходил все мусульманские страны, посетил каждое село и город в поисках правды не в законах, а в людях. И постиг одну правду — правду человеческих страданий. Это единственное, что не фальшиво под солнцем. Что породят эти страдания — не знаю: молчит бог. Но если когда-нибудь утвердится счастье на земле, то мудрецы скажут: «Его породило безграничное горе». Какое горе постигло тебя, женщина?

— Я родом с несчастной Украины. Два года была рабыней в Крыму, а теперь гибну от голода на свободе. От своей веры отреклась, надругалась над святым крестом,

но этого мало. Чтобы жить, надо еще отдать на поругание свою душу и тело, а это выше моих сил. Я живу у дервишей в монастыре, но не могу вернуться туда. Посоветуй мне, куда пойти, чтобы хоть ребенка спасти от смерти?

— Злой демон водил тебя среди плохих людей. Уходи прочь от них. Аллах вложил в образ человека добро и зло, безбожие и богобоязненность и ведет человечество двумя путями. Ты сможешь найти тех, что идут по пути добра. Пусть бог осчастливит тебя в твоих поисках, поможет найти тебе свет правды. Ищи его не среди богатых, не среди священников-бездельников, а среди тех, кто знает цену зернышку проса. И ни за что не расплачивайся своей верой и совестью. Бог единый для всех народов и воспринимает молитвы из разных храмов и на разных языках, лишь бы только они были искренними, лишь бы только к ним не коснулась грязь корыстолюбия. Уходи из Кафы — этого содома продажности, уходи поскорее, пока грязь не прилипла к чистой душе твоего дитяти. Уходи и не возвращайся больше к тем, кто молится шайтану словами молитвы. За Бахчисараем есть христианское село Мангуш — возможно, там найдешь себе пристанище.

Целительным бальзамом лились слова мудреца в растерзанную душу Марии. Яснее стал сумрачно-темный мир: есть на этой страшной земле добрые люди, а если они есть, то не грозит человеку неминуемая гибель. Как будто в темнице, где томилась Мария, вдруг открылось окошко, и лучи солнца озарили холодные стены золотыми искрами надежды.

Она припала к руке мудреца, попросила у него благословения и в обеденную пору, когда невыносимо жгло солнце, торопливо пошла с Мальвой колючей степью по бахчисарайской дороге.

Горы остались позади. Они еще манили к себе прохладой дубовых лесов, но впереди стелилась неприветливая, чужая степь, и надо было ее одолеть. Степь выжжена дотла и необозрима, как пустыня; чернеет пыльная дорога, выбитая повозками, копытами лошадей и ногами людей, — кто протоптал ее? Колонны невольников, сама Мария два года назад протаптывала ее к рабству. Выведет ли она ее теперь на свободу или замучит, жестокая, жаждой и голодом? Кто встретится ей на этом пути — разбойники, пленники или, может, чабаны, которые напоят Мальву молоком. У Марии есть чем заплатить. В

монастырь приходили калеки, больные молить исцеления у монахов, они оставляли в монастыре овец и коз, а ей, кухарке, давали несколько монет — мусульмане всегда дают милостыню, как завещал Магомет. В первый день байрама набожные беи выпускают на свободу из клеток птиц, людей же нет, не оставил почему-то такого завета пророк.

В степи было безлюдно. Страх наскочить на колонну пленных гнал Марию по бездорожью, там труднее было идти. Колючки протыкали насквозь мягкие шлепанцы и впивались в ноги. Мальва плакала, просила вернуться к доброму Мурах-бабе, она так и не могла додуматься, почему они ушли из монастыря.

Изредка встречались им ручейки, которые едва струились по скользким камням и тоже задыхались от жары, но все же у их берегов зеленела трава, здесь можно было помыться, отдохнуть и съесть кусок хлеба.

Ночевали в степи. Еда у них еще была, голод пока что не гнал их в аулы, но Мария знала, что скоро ей придется идти просить милостыню, признаться, кто они, а потом можно наскочить и на какого-нибудь ретивого старосту, который отправит их с ногайцами назад в Кафу. Как и чем она докажет, что отпущена?

Три дня им никто не встречался по пути — словно вымерла Крымская степь. Только орлы-беркуты сидели на скалах, хищно втянув длинные шеи. Поджидали пленников с Карасубазара, после них всегда есть чем поживиться — объедками и человеческими трупами.

Двигаться было все труднее и страшнее: запасы еды истощились, худая обувь порвалась. Надо было выбирать: или, рискуя, идти в села, или сделаться поживой для стервятников. На четвертый день, когда Мария уже несла Мальву на плечах, подвязав ее платком, — девочка совсем обессилела, — вдруг донеслось блеяние овец, с севера над степью показалось облако пыли. Мария всматривалась в раскаленный воздух, дрожавший над желтыми стеблями ковыля: на горизонте зашевелилась корка земли, словно неожиданно закипела от нестерпимого зноя. Позади отары ехал всадник, следом за ним медленно двигалась крытая арба, запряженная волами.

— Мама, видишь, — бредила Мальва, дрожала, билась, вскрикивала на руках у матери, — скачет на коне

каиш-башак[1]... У него рога на голове и козлиные копыта на ногах.

— Успокойся, дитя, успокойся, это не башак, а добрый человек, он даст тебе молока.

— Мама, я сегодня не молилась. Вон бегут по полю злые джинны, это не овцы, мама, это джинны. Они идут за мной, потому что я сегодня не молилась.

К путницам подъехал на легком аргамаке мальчик-татарин в сером доломане, в лохматой бараньей шапке.

— Сабаних хайр олсун![2] — крикнул он с седла, к которому, казалось, прирос, и наклонился, чтобы приглядеться к людям, почему-то блуждающим по безлюдной степи. — Кто вы и куда идете?

На сухощавом лице юного чабана, в его глубоких горячих глазах Мария увидела черты тех самых диких ордынцев, которые гнали ее с Украины в Кафу, тех, чье сердце не содрогнется ни от рыданий, ни от крови. Но у этого не было ни сабли, ни лука, что дают человеку право своевольничать, и, очевидно, поэтому он казался обыкновенным, человечным. Суровые уста и крутой подбородок свидетельствовали о мужестве и храбрости. Если бы у него в руке была не плеть, которой он подгонял волов и верблюдов, а аркан, возможно, он мог бы связать им женщину и ребенка, чтобы потом продать их на рынке в Карасубазаре, потому что сразу понял, что они не татары. Но это был пастух, а не воин, его с детства учили отличать людей от скота, юноше никогда не приходилось гнать их вместе.

Чабан соскочил с коня и подал девочке бурдюк с кумысом:

— Пей, гюзель.

Мальва с жадностью припала к бурдюку, целительный напиток вернул ей силы, видения исчезли, девочка слабо улыбнулась и сказала пастуху по-татарски:

— Спасибо, брат.

Юноша звонко засмеялся:

— Гляди, какая татарка! Откуда ты, маленькая гяурка?

В глазах Мальвы появился страх, она вспомнила, как в Кафе мальчишки бросали в них камни, называя этим словом. Обхватила мать за шею, залепетала:

---

[1] Каиш-башак — получеловек-получерт (татарская мифология).

[2] Доброе утро (*татарск.*).

— Я не гяурка, не гяурка!

— Ты не бойся, — пастух погладил ее плечо. — Христиане — люди, мусульмане — люди, чего ты плачешь?

— Я не гяурка, я мусульманка, — не унималась Мальва.

Юноша пытливо посмотрел на Марию. Она опустила руку с бурдюком, промолвила:

— Да, она мусульманка.

— И ты? — недоверчиво присматривался чабан к славянскому лицу женщины.

Мария промолчала.

— Спасибо тебе, добрый хлопче, — сказала после минутной паузы. — Мы идем в Бахчисарай. Продай нам бурдюк кумыса на дорогу и немного сыра. Я заплачу.

Подъехала двухколесная, крытая войлоком арба. Волы лениво остановились возле своего проводника. Сквозь дырявый шатер выглянула молодая женщина в чадре. Из-под плоскодонной шапочки, расшитой золотыми нитками, змейками спускались на плечи тонкие косички. Черные глаза внимательно поглядывали сквозь прорезь в чадре.

— Нам по пути, — сказал юноша Марии. — Мы идем с отарой на яйлы Бабургана и Чатырдага. Садись, подвезем. Фатима, — обернулся он к молодой татарке, — забери их к себе.

Мария не ждала от татарина такой доброты и внимания. Она кланялась юноше, взволнованная до слез, растерянная.

В душной арбе рядом с Фатимой сидел, опершись плечом на вьюки, пожилой мужчина. Он поднялся, уступил место путницам. Мария тихо поздоровалась, попыталась улыбнуться женщине, но та сурово посмотрела на нее и не ответила на приветствие.

— Мне лишь бы ребенок отдохнул немного, — виновато сказала Мария. — Мы недолго будем вас стеснять.

Татарка молчала, переводя суровый взгляд с матери на дочь. Старший крякнул в кулак, пробормотал:

— Не разговаривай с ней, она немая.

Марию глубоко поразило несчастье молодой женщины.

— От рождения?

— Да нет... Когда была еще маленькой, как вот твоя, мы кочевали за Перекопом по степи. Однажды на нас напал Сагайдак с казаками. Они жгли и резали все жи-

вое. Я спрятался в траве, а мою жену, мать Фатимы, замучили на глазах у девочки. Размозжили бы и ей голову, да не заметили, она спряталась в тряпье. Тогда у нее отнялся язык. С тех пор она ненавидит гяуров, сейчас смотрит, а вы не...

Спазмы сжали горло Марии.

— Нет, нет, — возразила она, натягивая яшмак пониже подбородка. — Мы... мы из Кафы. В Бахчисарай к родственникам направляемся.

Старик исподлобья, пристально посмотрел на Марию, и от этого взгляда у нее кровь застыла в жилах. «Пропали мы, — подумала она. — Он не верит мне».

— А этот юноша, кто он? — спросила Мария, стараясь быть спокойной.

— Мой сын. От второй жены. Какой-то нескладный. Братья его пошли войной против неверных, а он с овцами возится. К сабле и прикасаться не хочет... А мы вынуждены воевать. Турки заставляют нас идти за пленными, голод всегда донимает, казаки не дают покоя...

«Голод донимает, — горько улыбнулась Мария. — Значит, надо грабить соседа. Казаки не дают покоя! А не из мести ли за таких, как я, напали конашевцы на ваше кочевье и порубили виноватых и невинных? Твоя дочь немая, и моя тоже немая — почти не знает родного языка. А она могла бы петь и водить хороводы у Днепра. Но вы заставили ее забыть песни и родной язык, вы лишили ее купальских венков, из-за вас я должна воспитывать ее татаркой. Разве ты не слышал, как она пугается одного слова «гяурка»?»

Мария промолчала. Теперь она должна была молчать.

За Карасубазаром решили напоить волов в реке. Это страшное место Мария хорошо помнит. Тут ногайцы разрешили невольникам помыться. Черной тогда стала вода, поэтому, наверное, татары и назвали город Кара-су.

— Зуя, — произнес старик, показывая на реку. — Когда ханы переселялись с Эски-Кирима[1] в Бахчисарай, в пути умерла жена хана Хаджи-Гирея — прекрасная Зуя. Тут похоронили султан-ханым и ее именем назвали реку.

— А теперь из нее скот пьет воду, — сказала Ма-

---

[1] Эски-Кирим — Старый Крым, первая столица Татарского ханства.

рия. — Люди, превращенные в скот. Вон, — указала рукой на невольничий рынок. Как раз пригнали пленных, и знакомые вопли и плач вырывались из-за стен города в степь. — Смотрите, кого продают. Не овец, не верблюдов, которых гонит ваш сын на яйлы Чатырдага...

— Да... Это верно... Но ты погляди вон в ту сторону. Видишь гору, похожую на большой стол? Это Ак-кая. С нее турки сбрасывают татар, которые не желают идти на священную войну. Волк пожирает овцу, овца — траву... Так, видимо, должно быть, женщина. А ты давно тут?

— Третий год, — призналась она.

— Горе всем, живущим на земле, — сказал татарин.

Он больше не заводил разговора с ней, молодая же татарка по-прежнему злыми глазами смотрела то на Мальву, то на Марию, а следом за арбой скакал на аргамаке юноша и напевал песню о красавице, которая ждет его на чаирах Бабугана.

Утром парень приоткрыл войлок, заглянул в арбу и, обнажая в доброй улыбке густые, белые зубы, крикнул.

— Выходите, гяуры, Бахчисарай вон там, за этими холмами. А мы сворачиваем влево. Идите прямо, никуда не сворачивайте — и дойдете до Мангуша. А там — рукой подать.

— Мангуш? — обрадовалась Мария. — Мы как раз это село ищем. Спасибо вам, люди добрые.

Она поклонилась старику, тот молча кивнул головой, обратилась к татарке:

— Будь здорова, красавица!

В ответ послышался злой писк и лепет, Фатима вскочила с места, замахала руками.

— Успокойся, Фатима, — остановил сестру юноша. — Эти люди ничего худого не сделали тебе. Ну, идите. А меня зовут Ахмет! — И, не ожидая благодарности, поскакал за отарой овец, растянувшейся по серой степи, поспешил к зеленому подножию гор. На горизонте в туманной дали плыла, словно перевернутая вверх дном галера, плоская вершина Четырдага.

Мальва порозовела, посвежела. Подскакивая на одной ноге, она напевала песню, которую недавно пел юноша: об овцах, об ароматных яйлах, о красавице, которая ждет не дождется возвращения из степи молодого чабана.

А с уст Марии невольно срывалась песня, которая неотступно следовала за украинцами, угоняемыми в неволю.

Бродила песня по пыльным дорогам Крыма, берегла их, чтобы не затерялись, не погибли в призрачном видении чужого мира.

Ой що ж бо то за бурлака,
Що всіх бурлак скликає...

Мальва прервала пение, вопросительно посмотрела на мать:

— Почему ты, мама, всегда поешь эту песню?

— Это твоя колыбельная песня, доченька. С ней ты родилась... С ней и умирать должна.

Мальва не поняла загадочных слов матери, она плохо понимала и тот язык, на котором иногда разговаривала мать.

— На каком языке ты говоришь со мной, мама, когда нет посторонних людей?

— На украинском, дитя... На твоем.

— Тут так никто не говорит...

Мария с горечью покачала головой. Боже, боже, какой ценой она покупает жизнь дочери... «Может быть, не поздно еще сказать, что мы в стране врага, что должны ненавидеть все здешнее. Напомнить ей собственное имя, убедить, что вера, какую мы приняли, плохая вера». И дитя поверит матери и всю жизнь будет ненавидеть тех, кто убил ее отца, отнял братьев. И вместе с тем будет жить среди них. В нее будут бросать камни и называть гяуркой. В сердце девочки будет зарождаться горечь, и она будет проклинать мать: «Почему ты родила меня иной, чем эти люди? Зачем мне унижение, седина в девичьих косах, непосильная работа за кусок хлеба и та Украина, что я никогда не видела и не знала». И никакой надежды на возвращение. Нет, нет, пускай она растет мусульманкой, хоть будет иметь право получить грамоту. А потом поймет... и родной край, и мою жертву». Вспомнила Мария и о сыновьях-близнецах. Где они, живы ли? Если живы, то, очевидно, не помнят ни матери, ни своего языка. А может, их уже давно нет на свете? Что лучше? Что лучше? Но на каких весах можно взвесить совесть и материнскую любовь?

Дорога выводила на невысокий перевал и круто спускалась вниз по известняковому белому склону. Дальше тянулась по долине мимо небольших аулов. Мария издали увидела село, спрятавшееся внизу между горами. Догадалась, что это Мангуш. Забелело стенами среди садов,

заскрипело колодезными журавлями — улыбнулось село приветливым обличьем, и Мария сорвала яшмак. Стояла и любовалась уголком Украины, что как-то забрел в Крымские горы. Правда, есть в нем нечто чужеземное: приплюснутые крыши вместо высоких соломенных стрех, мечеть у подножия горы, каменистая почва вместо рыхлого чернозема, песчаные горы вместо степи, но все-таки повеяло знакомым, родным ветром из чужой долины, и Мария перекрестилась.

Они вошли в село. Возле бурного потока, протекавшего внизу, она увидела толпу мужчин. Они сидели на камнях, курили люльки, беседовали. Вспомнила, что сегодня воскресенье, забыла о нем, празднуя вместе с татарами пятницу. Подошла, поздоровалась. Мужчины приветливо, но равнодушно посмотрели на пришельцев. Очевидно, новые люди часто появлялись в этом селе. Она обратилась к ним по-украински, они поняли ее, но почему-то ответили по-татарски.

— Где можно жить? Небо над головой, а земля под ногами. Вон белеют бодрацкие каменоломни. Камень из Бодрака можно брать всем. Есть из чего и хату построить. А захочешь, сама будешь резать камень для продажи бахчисарайским татарам. Платят хорошо.

Из толпы вышел хромой мужчина с кустистыми бровями и рыжими прокуренными усами, он заговорил на ее родном певучем языке, которого Мария давным-давно не слышала:

— Пойдемте со мной, бесталанные земляки, поживете у меня, пока обзаведетесь своим домом. Я каменщик Стратон. Может, и пристанешь ко мне в помощницы. Была бы шея, а хомут найдется. Не горюй, женщина: перемелется, перетрется, и все как-то устроится...

Мария от счастья всплакнула. Неуверенность и страх, которые должна была переживать молча, потому что не с кем было поделиться, остались позади. Она наконец свободна! И не найдет ее ни лютая хозяйка, которая угрожала продать Мальву на кафском рынке, ни коварный Мурах-баба.

А в сердце затеплилась надежда: завтра же пойдет со Стратоном на работу, будет надрываться, работать день и ночь, а заработает денег и купит грамоту. Чудодейственное ханское письмо, что выведет ее к ясным зорям, тихим водам, в край приветный.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Пусть на людей ты нагоняешь страх —
Ничтожен ты пред богом в небесах.
Не нужно над людьми творить насилье —
Проклятия людей имеют крылья.

Саади

Утихли улицы, отпировал Стамбул. Разделенный на три части Босфором и Золотым Рогом город изнывал под палящим солнцем, жизнь в нем возвращалась к своему будничному ритму. Галата кишела купцами, бродягами и послами, прибывшими из разных стран на прием к новому султану; бряцало оружие в Скутари — янычары готовились к новым походам; египетские странствующие скрипачи и флейтисты наигрывали печальные арабские мелодии, рассевшись возле кафеджиев в тени платанов.

Ничто не изменилось здесь, хотя необычайные события смерчем тревоги и триумфа пронеслись над столицей империи. По-прежнему раздавался звон в мастерских, как и прежде, на улицах сидели ленивые бородачи за кальянами; дымились мангалы под чинарами, кричали в магазинах купцы.

Только в душах людей изменилось что-то, но этого никто не замечал под солнцем аллаха. Слегла Нафиса, но об этом знал только Хюсам. Старый ювелир, как и несколько дней назад, корпел над серебряным браслетом, которого никто не купит, и снова думал думу о самом страшном: что будет с народом, если его охраняют чужеземцы, которым этот народ дал веру и оружие, но не сумел привить им к себе любовь. Но об этом знал лишь один Хюсам. В серале сидела одинокая валиде и придумывала интриги против кизляр-аги Замбула. Тревога избороздила высокое чело великого визиря Аззема-паши: с кем посоветоваться, где отыскать философа, астролога, пророка, который отгадал бы, откуда идет угроза упадка империи, ибо эту опасность он чувствует только инстинктивно, а охватить разумом не может. Алим муштровал янычар. Ненужные воспоминания рассеялись вместе с хмелем. Чорбаджи пожирал глазами янычар-агу, готовый выполнить самое неожиданное приказание. Нур Али, сговорившись с Замбулом, плел свои сети вокруг великого визиря.

Падишах Ибрагим стал царствовать за третьими воротами Биюк-сарая.

Царствовать... Странное это было слово, которое пока что существовало вне его, независимо от него, где-то за стенами новой разукрашенной темницы, имя которой — тронный зал. Это было всесильное понятие, к которому он, несмотря на коронование, еще не имел доступа. Сила, которая вчера возвысила его, работала помимо его воли и, хотя выдвинула Ибрагима султаном, еще не раскрыла секрета, как управлять ею.

А может, не выдвинула, а только позабавилась?.. Кто-то на днях утратил власть, кто-то взял ее в руки и устроил на радостях представление в театре Кара-гез [1]? Нарядили его в пышные одежды, посадили на султанского коня, не спрашивая у него согласия, как не спрашивали, когда заключали в тюрьму. Шейх-уль-ислам разучил с ним роль, и он произносил заученное по подсказкам Нур Али. Его, Ибрагима, возили по городу, дали ему денег, чтобы он бросал их толпе, янычар-ага с подчеркнутой вежливостью снимал с него обувь перед входом в мечеть Эюба, а потом за это содрал с него плату. Великий визирь Аззем-паша, который правил государством при сильном Амурате, откровенно насмехался над этим спектаклем, но Регель настаивает, чтобы Ибрагим слушался Аззема-пашу. Кто же, собственно, пришел к власти и что должен делать Ибрагим, которого нарекли султаном?

Ибрагим не выходил из тронного зала, боясь, что двери закроются и он не сумеет открыть их снова. Минутное блаженство от роскоши, которая так неожиданно пришла на смену тюремной беспросветности, исчезло. Ибрагим нервно расхаживал по залу, порой прикасаясь рукой к алмазным подлокотникам трона, а в голове не укладывалась и уложиться не могла страшная мысль о шаткости султанского положения.

Узкий коридор вел из тронного зала в библиотеку. Ибрагим нерешительно пошел по коридору. Вдоль стены в низких шкафах лежали книги. Много книг. Они таинственно смотрели на султана пергаментными корешками, оправленными серебром и драгоценными камнями. Может, в них Ибрагим найдет совет, может, там написано, как надо управлять государством? Но их так много, а у него столько времени пропало в тюрьме, и он так мало знает! С какой начать? А потом что? Тратить дни, недели, месяцы на чтение, а за стенами дворца раскинулась

[1] Кара-гез — театр по образцу вертепа или русского Петрушки.

огромная империя, границ которой он не представляет. Десятки народов живут в ней, а что это за народы? Есть где-то Персия — покоренная, но не уничтоженная, есть и Крым, всегда готовый ужалить змеиным жалом в самое чувствительное место — Кафу; гудит непокорный Азов, а в конце концов — весь мир вокруг враждебный и неизведанный.

Где обрести точку опоры и душевное равновесие? Среди женщин гарема? Он падок к женской ласке, но кто может поручиться, что его не отравит, не зарежет кинжалом какая-нибудь одалиска Амурата? Почему Замбул до сих пор еще не привез новых красавиц? Ибрагима охватила неудержимая похоть, ему вдруг показалось, что, как только он освободит свое тело от мути физических страстей, ум станет ясным и быстрым: сначала он должен почувствовать себя властелином в малом, чтобы уравновеситься, стать наконец нормальным человеком.

— Замбул! — крикнул. Повторил еще громче: — Замбул!

В тот же миг к нему подбежал кизляр-ага со скрещенными руками на груди. В этот раз он не показался Ибрагиму таким противным. То, что евнух являлся при первом оклике, понравилось султану: может, этот человек будет его первым слугой и советчиком?

— Ты обещал мне показать гарем. Где же те красавицы, за которыми ты разослал гонцов во все города страны?

— Великий падишах, — промолвил Замбул, — я только ждал твоего приказа. Самые красивые дочери украинских степей, Кавказских гор и знойного Египта ждут тебя в гареме возле фонтана.

— Веди!

Ибрагим оторопел, увидев длинный ряд девушек. Какую же выбрать? Растерянно смотрел то на красавиц, то на Замбула. Прошелся вдоль ряда с платочком в руке, который должен был вручить избраннице, и остановился, завороженный большими черными глазами, в которых не было ни боязни, ни покорности, не было и стремления обольстить. Эти глаза горели и на удивление смело говорили: «Я желаю тебя не как рабыня — как жена». На мгновение в голове султана шевельнулось недоверие, он всегда терзался от сознания своей непривлекательности, которую заменяло происхождение и золото, но во взгляде девушки светилась сила и властность — то,

чего именно теперь недоставало султану, и он, очарованный, протянул ей платок.

— Кто ты, как тебя звать?

— Я черкешенка Тургана, а для тебя, султан, буду шекер[1], — ответила девушка, повязывая платочком свою шею.

— О аллах! — прошептал пораженный Ибрагим.

Хозяйка гарема — кяя-хатун — вывела Тургану из ряда, чтобы подготовить для ночи: искупать в ароматных водах, одеть, а вечером ввести в спальню султана.

...Утром гарем с затаенным дыханием ждал, назовет ли Ибрагим одалиску Тургану султаншей? Завистливый шепот быстро распространился по комнатам — Замбул перевел султанскую избранницу в отдельный корпус сераля, приставил к ней слуг из чернокожих евнухов, вручил ей золотую корону и три тысячи цехинов в шелковом мешке. Валиде Кёзем не помнила такого щедрого пашмакл ика [2], она сразу поняла коварство своей соперницы и от злости заскрежетала зубами.

Умиротворенным и довольным Ибрагим встретил утренний азан. В эту ночь он понял самое главное: свою собственную человеческую полноценность. Он любил, и его любила очаровательная Тургана. Исчезло вечное ощущение ущербности, которое преследовало его с тех пор, как появился на свет. Ибрагима меньше ласкала мать, потому что он был вторым сыном; после обрезания его увезли из Стамбула, потому что в столице имел право жить только старший брат; юность его проходила в обществе тюремных ключников и кастеляна, потому что Амурат стал султаном. Его называли юродивым братом гения, глумились, насмехались над ним, лишали всего того, что принадлежит каждому человеку.

А ныне Ибрагима полюбила женщина. Коронация вернула ему волю. Тургана — само человеческое достоинство. Она была душиста и свежа, как умытый дождем гиацинт, бурна, словно горный водопад, горяча, как персидский рысак. Она любила его — мужчину, а не султана; в нем, униженном, осмеянном и так внезапно возвеличенном, Тургана увидела человека. Ибрагим поверил в это, и к нему вернулось равновесие — он испытал обыкновенное счастье.

---

[1] Шекер — конфетка, сахар.

[2] Пашмакл ика — приданое для султанских жен.

Забыв о тронном зале, из которого еще вчера боялся выйти, о тысячах опасностей, которые ежедневно подстерегают султана, Ибрагим вышел из дворца и полной грудью вдохнул свежий воздух. Пышный сад протянулся по склонам от Золотого Рога вдоль Босфора до самого Мраморного моря. Стрелы кипарисов выстроились над плоскими кронами ливанских кедров, над проливом кружились чайки, провожая галеры, отправлявшиеся в дальние края, — это не трогало Ибрагима. Он впервые испытывал полную радость свободы, захотелось по-мальчишески соскочить со ступенек и по тропинкам помчаться мимо фонтанов к самому морю, снять с себя одежду и плюхнуться в прохладную воду.

Внимание Ибрагима привлек изумительный фонтан с круглой колонной, расписанной геометрическим арабским узором. Из десятка отверстий булькала вода и стекала вниз по бархатистым водорослям и нежным листьям папоротника. Вокруг фонтана на клумбах цвели кусты роз, каких никогда не видел Ибрагим. Он нагнулся, осторожно прикоснулся к лепесткам, как вчера к султанской короне, прижался лицом к кусту кремовых роз, задыхаясь от нежного запаха, а с уст невольно сорвались слова стиха, может, и своего, собственного, рожденного восхищением красотой мира:

То ли тебя разлучили с отчизною,
Что ты так плачешь, мой соловей?
Или оставил ты там свою милую,
Что ты так плачешь, мой соловей?

Взгляд его упал на не засаженный деревьями зеленый склон, и у Ибрагима возникла мысль засадить его фруктовым садом, в котором ветки ломились бы от апельсинов, лимонов и ярко-красных ягод кизила.

Бродил по султанскому саду, становился нормальным человеком, каким никогда себя не ощущал, в душе пробуждался мечтатель; залюбовались молодым султаном немые карлики, которые тихо следовали за ним на некотором расстоянии.

Кто знает, кем бы мог стать этот заурядный человек, если бы вышел за пределы сада и больше никогда не возвращался сюда. Может, садовником, может, пастухом-певцом? Но он был из рода Османов, поэтому только две судьбы были вписаны в книгу его жизни: судьба узника или царя. А третьей — аллах не послал.

Но об этом не думал сейчас Ибрагим. Он тронул пальцем мохнатого шмеля, тот, жужжа, упрямо лез в сердцевину розы за каплей нектара. Ибрагим улыбнулся: каждому в этом мире что-то принадлежит, даже самой маленькой букашке. Вот он и протестует, сердится, добивается своего...

А что принадлежит ему? Рука оторвалась от цветка, на миг застыла, шмель полетел к другому цветку. Задумался Ибрагим. Если шмелю дается капля нектара, то ему, султану, очевидно, намного больше. Ведь он — человек. Да, и поэтому его нектаром стала прекрасная Тургана. А разве только поэтому? А разве принадлежала бы ему самая красивая женщина мира, если бы он был пастухом или садовником, а не Ибрагимом из рода Османов? Вдруг в душе зародилось сомнение: может, неискренними были ласки Турганы... Пускай так, но они принадлежат ему одному, потому что он не обыкновенный человек, а султан. Ибо его капля нектара — это не только счастье и роскошь, а еще и власть над людьми, его, а не чья-то власть!

Оглянулся назад и вздрогнул от удивления: карлики — Ибрагим даже не ожидал, что они идут следом за ним, — упали ниц на землю от одного только султанского взгляда. Очевидно, у него все-таки есть власть, и все, что вчера казалось ему представлением театра Кара-гез, было подлинной правдой!

Ибрагим шагнул к карликам, и они попятились назад. Это понравилось султану. Но жалкие людишки, лежавшие у его ног, показались ему слишком малыми, его власть должна быть намного сильнее. «Как убедиться в этом?» — размышлял султан. Посмотрел на высокие стены, обвел глазами аллеи и в беспомощности ударил в ладоши.

И вдруг свершилось чудо.

Из дверей гарема бежал церемониймейстер. Капу-ага, запыхавшийся, упал перед султаном на колени. Смотрел Ибрагиму в глаза и ждал приказаний. Ибрагим нерешительно ударил в ладоши еще раз. Это же повторил капу-ага громче — теперь уже мчался по аллее начальник султанской свиты, алай-чауш, и поклонился в пояс. Ибрагим продолжал бить в ладоши, этот жест повторял за ним капу-ага, и из нор дворца выбегала прислуга, и султан удивился, что ее так много. Перед ним стояли — кто склонившись до земли, кто на коленях, кто

лежал пластом на земле — какой у кого чин: янычары, спагии, бостаныджи и капиджии [1], портные, сокольничьи, кубкодержцы, стремянные, меченосцы, поясничие, повара, немые, городничие — сотни верноподданных людей окружили его одного.

Так вот где ключ к власти. Хлопнет он в ладоши еще и еще и сотни раз — вся империя поднимется, заработает без него, но по его сигналу.

Ибрагим почувствовал, как наливаются его мускулы, расправляется хилое тело, наполняется гордостью искалеченная душа, — покорность этих людей дала ему уверенность и силу. Впервые за время своего султанства он изрек никем не подсказанные слова. Вначале тихо, потом смелее и смелее, наконец голос его громко зазвучал в стенах дворца:

— Я — властелин трех частей света, пяти морей, страж святых мест Мекки и Медины, владыка Стамбула, Каира, Дамаска, Багдада!

— Да, эфенди! — ответили ему хором.

— Амурат погиб потому, — продолжал Ибрагим, — что был трусом и бездарным полководцем, а я ваш вождь, знаменитейший, мудрейший... — и здесь султан запнулся. А что, если на это шутовство ответят молчанием или кто-нибудь скажет: нет! Что тогда?

— Мудрейший из всех султанов! — закончили за него.

Ему показалось, что над ним засиял нимб невиданного могущества, он смело шагнул вперед. За Ибрагимом поворачивались слуги и падали ниц. И султан подумал: пройдет он вот так пешком через всю Анатолию и Румелию, все народы так же падут перед ним на колени.

А так ли это? У кого спросить? Всматривался в лица своих слуг, но никого из них не знал, только одна пара глаз поражала его преданностью, усердием, мольбой. Это были глаза Замбула.

Султан взмахнул рукой. Жест, по-видимому, был удачным, потому что вдруг все исчезли, и перед ним остался лишь один отвратительный кизляр-ага с желтыми редкими зубами, он льстиво сказал:

— Звезда блестящая, ослепляющая глаза, высокий царь над царями, держащий в своих руках весь мир, я приветствую тебя!

Нет, нет, это не спектакль театра Кара-гез. Он, Иб-

[1] Капиджии — охрана ворот султанского дворца.

рагим, томясь в темнице, сам не сознавал, кто он есть. Это глупый Амурат, завидуя гению Ибрагима, заключил его в темницу. Но народ знал его, любил и ждал.

— Ты единственный властелин на свете, царствующий над всеми земными царями, я приветствую тебя, — продолжал Замбул. — А если еще и остались люди, которые гордятся своей силой, то и они трепещут перед твоим могуществом. Ты самый справедливый из справедливейших, даже капля неправды не упадет из твоих рук. Но, награждая добрых, должен карать лихих. Ибо еще Селим Явуз говорил: «Властвовать — это сурово наказывать».

Ибрагим оборвал красноречие Замбула, подал знак рукой, чтобы тот поднялся, кратко произнес:

— Рассказывай обо всем, что тебе известно.

У Замбула заблестели глаза, он не сумел скрыть своей радости под маской смиренности. О, как только удастся выполнить поручение Нур Али, Замбул станет самым богатым человеком в мире. Янычар-ага обещал дать ему галеру золота из сокровищницы Эдикуле, если будет убран великий визирь Аззем-паша. Визирь, который пережил двух султанов, самый влиятельный человек в империи. Самое главное — вызвать у султана подозрение, а потом цепь недоверия опутает визиря и в конце концов сомкнется на его шее. Пусть вместо него будет Нур Али или сам шайтан — Замбулу все равно. Ему нужны деньги, за которые в далекой священной Медине он купит землю и в роскоши будет доживать свой век.

Кизляр-ага начал издалека. Он вытащил из рукава свиток и развернул его. На нем были записаны имена некоторых из слуг.

— Не все твои слуги, великий падишах, рады тому, что мудрейший из султанов взошел на престол, — вкрадчиво начал Замбул. — Он тыкал пальцем против имен, и Ибрагим равнодушно давал согласие на смерть незнакомых ему людей, которым после обеда отсекут головы на султанской конюшне.

Замбул становился смелее. О, это уже многое значит, коль султан слушает его. Он свернул свиток, отошел на несколько шагов назад, не сводя глаз с Ибрагима.

— Ты еще что-то хочешь сказать, Замбул?

— Пусть гнев моего повелителя падет на мою голову, я был бы счастлив умереть от его руки. Великий визирь Аззем-паша...

Султан насторожился, и это не прошло не замеченным главным евнухом. Замбул опустил глаза, умолк. Не много ли он позволил себе сегодня?

Ибрагим вспомнил, что он уже где-то слышал подозрительный намек на великого визиря. «Прислушивайся хорошо к тому, что говорит Аззем-паша...» Да, это сказал Замбул на галерее в зале дивана. Что ему известно об Азземе-паше? Визирь готовит заговор? Но достаточно султану хлопнуть в ладоши, и визиря не станет. А кто тогда будет опорой султана в государственных делах? Вот этот кретин? Нур Али? Нур Али... Он освободил Ибрагима из тюрьмы, это верно. Но от его руки погиб Амурат. Погиб потому, что недоплачивал янычарам денег. А что если Ибрагим не сможет уплатить второй раз, в третий раз по пятьсот пиастров на орту, кто защитит его тогда, если не будет Аззема-паши?

Подозрение, но совсем не то, какое хотел вызвать Замбул, зародилось в голове Ибрагима. Не хотят ли янычары во главе с Нур Али сделать его своей игрушкой не только на день коронации, а и на все время его царствования? С помощью Замбула...

Ибрагим впервые почувствовал, как им овладевает гнев повелителя. Бледное лицо его налилось кровью, он подошел к дрожащему евнуху:

— Что тебе известно о нем?

— Он... он правил государством при Амурате и верно служил ему. Аззем-паша не радовался, когда провозгласили тебя султаном...

Об этом догадывался Ибрагим еще тогда, когда великий визирь слишком почтительно подсказывал ему, кто до него провозглашал такие же речи. Ненавидел его, верно. Но лишить государство властителя было бы равносильно самоубийству.

— Что известно тебе, Замбул, о его нынешней неверности моей особе?..

— Нет, нет... Мне ничего не известно...

— А кто тебе посоветовал вызвать у меня подозрение к визирю? — закричал Ибрагим и протянул вперед руку, подражая Сулейману Пышному.

У Замбула отлегло от сердца. Ибрагим упражняется. Султан еще не стал султаном. О, Замбул знает, что такое настоящий гнев падишаха! Чтобы выдержать игру до конца, кизляр-ага в притворном страхе упал перед султаном на колени, бормоча:

— О, прости, великий!.. Я сам... По своей безграничной преданности тебе. Амурат относился ко мне хуже, чем к псу, валиде пренебрегала мной — все это только из-за того, что я выразил свое сожаление о младшем брате Амурата, когда... А великий визирь оскорбил мою безграничную любовь к тебе своим холодным безмолвием в то время, когда весь Стамбул, вся страна торжествовала.

Лицо Ибрагима стало добрее. Он еще был чувствителен к льстивым словам, ведь всего несколько дней отделяют темницу от трона. Если Замбул когда-то сочувствовал Ибрагиму, то теперь он станет его верным псом. Султану нужны слуги. Ударять в ладоши он научился, выполнять приказы будут доверенные люди.

— Живи, Замбул, — произнес. — Ты ныне получишь от дефтердара подарок за верность. Но если вздумаешь помышлять об измене, не надейся, что это утаится от меня. И тогда я велю выбросить твою голову за ворота сарая... А теперь позови ко мне великого визиря. Я жду его...

Ибрагим волновался, ожидая прихода Аззема-паши. Сегодня он почувствовал свою власть над слугами, как же он должен вести себя с разумом державы? Что у него есть против этого сильного человека? Шелковый шнур, меч?.. Но для этого оружия еще не пришло время. А что еще?

Увлечение властью проходило, с каждой минутой увеличивалось нервное напряжение, горло щекотали истерические спазмы, он готов был уже завопить: «Уходите, поступайте как хотите!» Вспомнил об утреннем душевном спокойствии, и захотелось навсегда уйти отсюда. В возбуждении бегал по тронному залу, ломая пальцы. И... наткнулся на седобородого человека с умными глазами. Удивительная улыбка, как у отца, что снисходительно глядит на капризного ребенка, заиграла на губах великого визиря и вмиг спряталась в усах и бороде.

— Слушаю тебя, султан.

Ибрагим затопал ногами и, сжимая кулаки, завопил:

— Я заставлю, заставлю всех слушать меня и ползать передо мной на коленях! Слышишь, я заставлю!

— Непонятен мне твой гнев, султан, — спокойно ответил визирь. — Разве кто-нибудь из государственных мужей уже успел проявить непослушание твоей особе?

Ибрагим сел на трон, вытер платком пот с лица. Ему

было стыдно за свое мальчишеское поведение, хотелось принять позу Сулеймана Пышного, но он смутился, понял, что позировать перед Азземом-пашой было бы еще смешнее.

— Ты моя правая рука, — заговорил он спокойно, — но вместо помощи я слышу от тебя унизительные для меня нравоучения и, если хочешь знать, чувствую с твоей стороны пренебрежительное отношение к особе султана.

Аззем-паша опустил голову, и Ибрагим обрадовался, что ныне покоряется ему и великий визирь. Но не слова покаяния донеслись до слуха султана, а речь, которая заставила бы каждого в Турецкой империи задуматься, насторожиться, испугаться.

— Наше государство намного больше, чем султанский дворец, Ибрагим. И поэтому оно дорого не только семье Османов, а каждому турку. Крепко сколотил наше государство Магомет Завоеватель, а Сулейман Законодатель одел его в золотую парчу. Но его пышные одежды расползаются по швам. И от этого болит моя седая голова. Султаны меняются, государство остается. А кто же позаботится о нем, как о своем собственном доме? Янычары, которые дерут с него лыко и думают лишь о своем благополучии, прикрываясь верностью султану и корану?

— Что ты говоришь, Аззем-паша? — насторожился Ибрагим. — Не смей порочить янычар... Это устои...

— А если эти устои больше не выдерживают испытания временем, султан, не лучше ли выбросить их в мусорную яму и посмотреть, как поступают другие народы? Нет, ты не пугайся... Это только мои соображения...

Ибрагим успокоился. А, это его философские рассуждения. На твою, визирь, и на мою жизнь хватит того, что есть... А придут другие, пускай думают...

— Но я должен рассказать тебе, — продолжал Аззем-паша, — не о своих соображениях, от которых голова идет кругом, а о другом, что является более важным на сегодняшний день. Казна пустеет, и надо думать о том, где взять денег, чтобы не ходить к соседям за милостыней. Если и дальше ты будешь платить так янычарам, то вскоре нам придется срывать золото с султанских надгробий.

Ибрагим напряженно думал, что ответить визирю, чтобы блеснуть перед ним умом, и неожиданно засмеялся, победно, злорадно.

— Великий визирь, аллах дал тебе змеиный ум, а хитрости змеи пожалел. Ибо знает и ребенок: джихад дает турецкому народу и султанской казне золото! Азов не взят, войска изнывают от безделья, а ты предаешься размышлениям, не угодным ни богу, ни султану.

— Пойдем в поход на Азов. На следующий год, весной, я пошлю туда султанские и ханские войска. Но не в этом дело, султан, от победы или поражения под Азовом положение не изменится. Надо подумать о том, почему нет доходов из глубин нашей империи. А ждать трудной минуты, чтобы добиться благосклонности подданных, одарив их награбленным добром, это большая ошибка. Если народ станет жить лучше за счет награбленного, он будет благодарить не тебя, а твоего врага.

Ибрагим позеленел от гнева. Этот старец разговаривает с ним, как с отроком. Но, к счастью, в памяти султана всплыла старая пословица, и он тут же выпалил ее, заранее радуясь победе в словесном поединке:

— Пророк сказал: «Голове — думать, рукам — исполнять, а языку — хвалить бога». Султан подумает, подданные выполнят, а имамы вымолят у аллаха для нас удачу. Можешь идти, визирь.

Аззем-паша поклонился и промолвил:

— Хорошая пословица, Ибрагим. Но велика печаль, когда прославляют бога все, даже те, которые не верят в него, рук для работы маловато, а голов, чтобы думать, не ниспослал нашей стране аллах.

Он не смотрел, какое впечатление произведут его слова на падишаха. Повернулся и ушел, гордо подняв голову. Знал — недолго ему носить ее. Какая от нее польза, если она уже не в силах помочь государству, которое он сам строил, укреплял, веря в его великое назначение на земле. И равнодушие охватило его душу.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Когда услышите крик ослов, просите защиты у аллаха, ибо ослы кричат, когда увидят шайтана.

Из хадисов

Лет тридцать или сорок назад греки оставили село Мангуш и поселились в пещерах Марианполя напротив Успенского собора возле Чуфут-кале. Древнюю церковь Успения они назвали крымским Афоном, направили сюда священников и монахов, а позже к ней потянулись

все христиане Крыма. Даже ханы относились к святому месту с каким-то суеверным страхом. Некоторые из них, отправляясь в поход, будто бы даже ставили возле иконы Марии свечи.

Греческие священники рассказывали, что основал собор апостол Андрей, остановившись в Крыму по пути из Синопа в Скифию. Проповедник учения Христа, который позже на днепровских холмах установил крест, заезжал в Херсонес, окрестил его и, двигаясь дальше на север, увидел вблизи нынешнего Бахчисарая пещеру, пробитую подземными водами. Над входом в пещеру на скале он повесил чудотворную икону богоматери и освятил это место.

Ходила легенда, что в этой пещере жил змей, который пожирал детей из окружающих сел. Выполз он посмотреть, что за отчаянная женщина поселилась по соседству с ним, а с иконы живыми глазами посмотрела на дракона Мария, и он околел от ее взгляда. Проходили столетия, скала заросла деревьями, и люди забыли об иконе. Но однажды пастух из Биасалы, где тоже живут христиане, наткнулся на нее, бродя за отарой. Снял икону со скалы и понес к себе в хижину. Утром проснулся — иконы нет. Пошел снова к скале — она висит, как и прежде, словно ее никто и не снимал. Удивленный юноша рассказал об этом случае мурзе, у которого служил. Мурза трижды снимал со скалы икону, и трижды она возвращалась на свое место. Тогда татарский богатей уверовал в христианское чудо, надел на себя рясу и основал в пещере церковь.

Греки построили собор и провозгласили отпущение грехов в день успения святой Марии, а Мангуш опустел.

Но ненадолго. В укромную долину среди гор, где журчит ручей со студеной водой, пришел хромой парень Стратон — отпущенный невольник из Карасубазара. Его взяли в плен на Украине, когда он был еще подростком. Ему посчастливилось: из-за хромоты Стратона не взяли ни в янычары, ни на галеры, его купил на базаре богатый барынский бей, чтобы ходил за лошадьми. Уплатил он за него немного, а взял себе работника с золотыми руками. Очевидно, Стратон родился конюхом — бейские аргамаки в его добрых руках стали сытыми, резвыми. Кроме этого, он знал столярное ремесло — научился у отца, а у матери-знахарки — разбираться в целительных травах.

Наверное, Стратон никогда не увидел бы свободы, если бы не случай. У бея заболел сын — единственный наследник. Когда уже все знахари предрекли ему смерть, к бею зашел Стратон и сказал, что излечит больного, но в оплату за это потребовал свободу. И свершилось диво: барынский наследник выздоровел от чудодейственных трав, а бей сдержал свое слово.

О возвращении на Украину Стратон даже не мечтал. Пропал конь, так и узду брось... Его хату разрушили на его глазах, стариков отца и мать убили — к кому он вернется? Некоторые убегали, пробираясь через Сивашские болота, но Стратон даже не пытался. На таких ногах, как у него, далеко не уйдешь, вот и довольствовался той свободой, которую обрел. А здесь не пропадет — он мастер на все руки.

Прошел по степи, но нигде не нашел местности, которая могла бы скрыть его от злого глаза. Степняка манили к себе горы. В опустевший Мангуш забрел случайно. От греческих поселений остались лишь груды развалин, заросшие бурьяном, да следы огородов, — Стратон остановился, не понимая, почему люди покинули такую благодатную долину. Окинул глазом мастера белую скалу, которая виднелась над рекой Бодрак, и подумал, что греки — неразумные люди. Этот камень, сумей только его срезать, принесет богатство.

Стратон знал татарский земельный закон по шариату: кто оживит мертвую землю, тому она принадлежит на вечные времена. Если ты выкопал колодец на пустыре, то имеешь право владеть землей вокруг на расстоянии сорока шагов во все четыре стороны света, посадил дерево — на пять шагов, а если нашел проточную воду — так даже на пятьсот.

Ручей Стратон назвал по-татарски Узенчиком, огородил участок земли камнями, сделал железный шпунт и начал резать бодрацкий камень. На деревянных полозьях таскал его в Бахчисарай и продавал армянам; добротный строительный материал заметили и татары. Вскоре к Стратону в Мангуш наведался один бахчисарайский мулла, чтобы договориться с ним о поставке камня для строительства мечети. Вот тогда и посыпались деньги в его карман: он купил себе лошадь, построил дом. И со временем начали стекаться сюда бывшие невольники со всех концов Крыма.

Не замедлил проведать Стратона и собственник зе-

мель, окружающих Бахчисарай, неудачливый яшлавский бей. Среди всех крымских — самый бедный. Ширины захватили плодородные земли, что лежали возле Кафы, и таможню кафского рынка. Ширинский бей диктовал свою волю хану, и перед ним расступались часовые, когда он въезжал в ханский дворец. Мансуры владели доходным Перекопом, Барыны — невольничьим Карасубазаром, а Яшлавы, примостившись возле ханского порога, прозябали на необжитых холмах, которые не приносили никакого дохода.

Узнав о дорогом бодрацком камне, который открыл Стратон, бей получил у хана грамоту, которая разрешала свободным христианам селиться в Мангуше, а чтобы неверные не стали чересчур своевольными, приказал окружающим татарам переселиться в новое село.

Новый Мангуш вырос в течение нескольких лет. Вскоре появился в селе татарский староста. Сборщики податей взимали подушный и земельный налог от хозяйств и каменотесов, вот и потекли круглые алтыны к Яшлаву, а в Бахчисарае вырастали новые дома и мечети из бодрацкого камня.

Кое-кто шел к Стратону обучаться каменному делу, другие разрабатывали свой карьер. Татары не работали в каменоломнях — они предпочитали торговать овощами на бахчисарайском базаре, — возможно, поэтому между мусульманами и христианами никогда не было вражды и столкновений. Татар в Мангуше было немного. Расселились они вперемежку с украинцами и по-соседски жили дружно, словно никогда и не враждовали между собой эти народы. Только странное дело: украинцы, которым вначале казалось, что в этой долине их никто не найдет, вдруг почувствовали себя квартирантами в чужом доме и начали приспосабливаться к хозяевам. Умерла песня, которая звучала по вечерам в селе, — ведь мусульмане не выходят из своих жилищ после заката солнца; на улице все реже слышалась украинская речь, в присутствии татар они не могли разговаривать на родном языке: татарки враждебно относились к девушкам и молодухам, которые ходили с открытыми лицами, поэтому, отправляясь на базар в Бахчисарай, украинки закрывались чадрой, чтобы не злить правоверных.

Стратон болел душой, видя, как татары постепенно подавляют их родные обычаи — незаметно, украдкой,

без шума, и задумал построить церковь; может, она напомнит людям об их родине. И как раз очень кстати появился в Мангуше бывший запорожский дьяк — будет кому отправлять богослужение. Посоветовались старшие и начали строить церковь сообща. Староста не возражал, но когда уже возводили купол, он прискакал на коне и закричал:

— Минарет!

У людей опустились руки. Где же это видано, чтобы в мечети воздавали хвалу христианскому богу? Захирело строительство. А потом подоспела молодая поросль, которой уже было безразлично, какому богу молиться. Татары возвели на недостроенной церкви минарет, и теперь с него мулла призывает гяуров исповедовать магометанскую веру.

Стратона мучила совесть: своими руками сотворил неугодное богу дело. Он перестал продавать камень бахчисарайским имамам, и заработки у него уменьшились. А сердце сжималось от боли. Все больше и больше ходит людей по пятницам в мечеть, а Успенскую церковь посещают по воскресеньям только старики. Все меньше и меньше слышится родная речь на улицах, сам Стратон разговаривает по-татарски, разве что иногда в престольный праздник в гостях отведет себе душу родной песней. Это единственное, что осталось у него. Татары не возмущаются, когда слышат украинские песни, даже сами иногда поют казацкие думы.

Стратон старел, и тоска по родному слову, человеку, который бы разговаривал на живом родном языке и не дал бы забыть его, все больше и больше терзала душу.

Из года в год приходили в Мангуш люди, отпущенные на волю, а то и беглецы, но все они были какие-то надломленные, равнодушные. Они отрекались от своей веры, чтобы не платить подушное. Налог на мусульман — ушр — был намного меньшим. Стратону порой хотелось покинуть чужую землю, перейти через Сиваш, но вспоминал о шляхетской неволе в родной стороне и оставался на месте.

Когда он потерял всякую надежду вырваться отсюда, в селе появилась усталая красивая женщина с ребенком. Она заговорила с ним на чистом, не исковерканном татарщиной языке, который он слышал только в детстве. И его грудь всколыхнуло чувство боли и радости, тоски и счастья. Значит, не все погибло, есть еще люди на свете.

Приютил скитальцев, накормил, да и сам как-то сразу помолодел, словно свою родную семью нашел в изгнании.

В Мангуше Марии жилось неплохо. Какое-то время они с Мальвой жили в просторной светлице Стратона, но Мария не хотела стеснять его, начала рядом с ним возводить себе хату. Стратон помогал ей так усердно, словно делал все для себя. Не раз задумывалась Мария над тем, почему так добр к ней этот пожилой рыжеусый мужчина, но догадаться было нетрудно.

Мария посвежела, расцвела последним цветением ее красота, ради которой когда-то запорожский казак Самойло покинул Сечь. Приглянулась она Стратону, полюбил он ее. И подумала Мария о том, что придется им доживать век вместе. Ведь их свела на чужбине одинаковая судьба, которая в пепел превратила, перемолола все то, что когда-то было дорогим для них. Но одно останавливало ее — Стратон не собирался возвращаться на Украину. «Там каша с молоком, где нас нет», — говорил он. А Марии и подумать было страшно: состариться и умереть в Крыму?

Мария приняла к себе Стратона, стала его женой, но венчаться в Успенской церкви не захотела.

— Добрый ты, Стратон, полюбила я тебя. Но все-таки я оставлю тебя. Ты будешь помирать тут, а я на Украине.

Стратон полюбил Мальву, как родную дочь. Мария советовалась с ним, как быть с ребенком. На зыбкую почву детской души упали слова чужой веры, она дала ей покой, первую детскую радость и хлеб. Думала, что тут, в Мангуше, среди своих людей девочка забудет то, чему учил ее коварный Мурах-баба, но как она забудет, если тут почти все разговаривают по-татарски и посещают мечеть. Можно было бы запретить посещать мечеть, но ребенок скажет кому-нибудь об этом, дойдет до старосты, а тогда уже и не надейся, что он подтвердит хану, когда придется покупать грамоту, что она мусульманка. А чужая вера и язык так глубоко врезались в сознание девочки, что она не умеет даже думать на родном языке, хотя и понимает его. Иногда разве передразнит Стратона или Марию и засмеется — глядите, мол, и я умею по-вашему.

— Умрем мы, Мария, и вместе с нами погибнет все, — с горечью сказал Стратон. — Там — ополячивание. Тут — татарщина.

В половине августа, накануне престольного праздника, когда в Успенский собор стекались со всех концов Крыма христианские паломники, Стратон воспрянул духом.

— Пойдем и мы на престольный праздник, — сказал он. — И Мальву возьмем с собой. Пусть услышит она праведное слово, — может, небольшое зернышко упадет в ее душу и когда-нибудь даст свои всходы. Учение в детстве — что резьба на граните, говорят имамы.

До сих пор Мария никуда не выходила из Мангуша, кроме как на каменоломню. Тревожная радость охватила ее: неужели это правда, что здесь, на чужбине, существует православная церковь, куда свободно ходят люди, и священники, облаченные в ризы, воздают хвалу Христу?

— Как же это так, Стратон? Когда они налетают на украинские села, камня на камне не оставляют от церквей. А тут, у стен Бахчисарая...

— Все это не просто, — пояснил Стратон. — На наши земли они идут войной, а войны им завещал Магомет. Здесь они живут мирно, детей растят, урожай собирают и поэтому суеверно боятся гнева нашего бога. Слишком много христиан в Крыму, есть кому вымолить у бога мщение, если бы они осмелились разрушить храм. Татары ведут хитрую борьбу с нами на своей земле. Они не церкви разрушают, а души людские. Зачем, думаешь, дервиш так усердно старался обратить вас в мусульманскую веру? Затем, что, когда не станет в Крыму ни единого христианина, тогда им и храмы будут не страшны. Бог без паствы — бессилен. А ее становится все меньше и меньше...

...Мальва бежала впереди Стратона и Марии, останавливалась и, разрумянившаяся, спрашивала каждый раз:

— Мама, в Бахчисарае сам хан живет? И мы его увидим? Самого хана увидим?

Мария молчала, но Стратон не утерпел:

— Дитя, не к хану, а к Иисусу мы идем в Бахчисарай.

— А кто такой Иисус?

— Наш бог...

— Ваш? А он отличается от аллаха? Мама, а хан такой же сильный и могущественный, как аллах?

Мария прижала к себе Мальву и строго сказала:

— Выбрось из головы, доченька, всяких ханов. Из-за них мы страдаем и горе мыкаем.

— Неправда, мулла говорит, что он наместник бога. Я хочу увидеть хана! — уже капризничала девочка.

— Нам, бедным людям, лучше бы не видеть его...

— Но ведь мы станем богатыми, ты сама говорила.

— О, тогда нам не нужен будет никакой хан. Тогда мы вернемся на нашу Украину.

— Зачем, разве тут плохо?

Мария не ответила. Толпой вливались люди в ущелье Мариам-дере, и тревога охватила сердце Марии, будто перед встречей с родным домом после долгой разлуки. Лихорадочная дрожь пробегала по всему телу. Мария судорожно сжимала руку Мальвы. Забыла о Стратоне, пробиралась вперед среди людей, поднималась по склону к пещерам Марианполя, чтобы оттуда увидеть чудотворную икону на скале: она единственная может принести ей спасение.

Люди стояли и набожно всматривались в противоположный край ущелья. Мария пробилась вперед, она уже увидела окна пещерной церкви, святых отцов в ризах, но ее, спасительницу, еще не отыскала глазами. Поднялась на камень — увидела. Это не была обычная икона божьей матери, какую Мария не раз видела в церквах. Со скалы на толпу обездоленных людей смотрела печальная женщина с ребенком на руках. Рядом с нею стояли двое молодых мужчин с нимбами над головами, и они совсем не были похожи на святых, скорее, на взрослых сыновей этой скорбящей матери.

Мария смотрела на нее и не слышала, что говорил ей Стратон, не слушала лепета Мальвы. Нет, это не чудотворная икона, это обыкновенная женщина со взрослыми сыновьями и грудным ребенком на руках... Как ей удалось, как ей удалось?.. Мария вдруг всхлипнула, упала лицом на землю и застонала:

— Ты уберегла! Ты уберегла!

Стратон поднял ее, Мальва заплакала, испугавшись материнского отчаяния, и тут загремел хор, пение которого заполнило всю долину, весь мир, и люди стали подтягивать на разных языках и на один мотив:

Пресвятая богородица,
Спаси нас!

Эту молитву Мария слышала не раз, сама пела ее,

хотя и не знала, почему просят: «Пресвятая богородица, спаси нас».

— Пресвятая богородица, спаси нас! — эхом разнесся по ущелью Мариам-дере вопль отчаяния, молитва взывала к небу, повторялась настойчиво, без конца, и казалось, не выдержит многотерпеливый бог. Обрушится небо, содрогнутся горы, сойдут со скалы взрослые сыновья святой женщины, станут по двое возле каждой осиротевшей матери и выведут матерей к ясным зорям, тихим водам, в край приветный.

Пресвятая богородица,
Спаси нас!

Этого не произошло. Нерушимо стоял ханский дворец, окруженный в этот день утроенной охраной, выстроились двойной цепью у входа в ущелье ханские сеймены, громче, чем когда-нибудь, горланили муэдзины на минаретах, и подневольные люди возвращались обратно в свои дома, но их будто становилось больше, все они как бы становились сильнее, а их бог могущественнее.

Молча возвращались домой Стратон и Мария с Мальвой. Стратон умиротворенно улыбался, увереннее чувствовала себя Мария, и уже не щебетала Мальва — тихонько шла рядом, словно став взрослее.

Скупая, малоснежная зима отступила, чуть только пригрело первое весеннее солнце, не напоенная еще с прошлого года жаждущая земля задымила вихрями пыли, порыжело Мангушское взгорье. Голод подкрадывался из степи к горам, стучался в жилища людей. Обмелел бурный Узенчик, уже не хватало в нем воды для полива грядок, в ложбине с утра до вечера стояли дети с кувшинами, не успевая принести воды для питья.

Только у берега реки и в ущельях зеленели сочные каперсы, цвели белым цветом, и женщины слонялись у подножия гор, собирая еще не распустившиеся бутоны для соления.

Отчаянно кричали ослы. Суеверные татары, услышав их крик, падали на колени и шептали слова молитвы, и христиане стали молиться богу — всем угрожал голод.

Мария вернулась с бахчисарайского базара усталая, поникшая. Цены неимоверно подскочили! За бешур проса — двадцать алтын. Ничего еще, если просо, которое

купила весной и посеяла возле хаты, вырастет. Но где там, сохнет на корню, а на каперсах не проживешь. Надо что-то делать.

Мария, работая у Стратона, скопила за зиму немало денег. Он выплачивал ей за труд, как чужой, хотя на самом деле чужим для него стал собственный дом — все свободное от работы время оставался у Марии.

— Стратон, — сказала ему однажды ночью, — чувствую я, что тяжело мне будет жить в старости без тебя. Давай складывать деньги, — может быть, обоим удастся когда-нибудь купить грамоту. Что тебя тут удерживает?

— Безнадежность, Мария... Это страшное чувство, но заполонило оно мне душу до краев. И сердце словно из войлока, и руки точно из глины. Я не вижу на земле такого места, куда стоило бы стремиться, претерпевая всякие лишения. А тут есть хоть частица того, что не позволяет мне потерять себя. Пойду в Успенский собор, и кажется, что увидел и Днепр, и степь на Украине. У меня есть работа и есть где коротать дни. И ты, Мария, пришла ко мне. А уйдешь — помру, если бог ниспошлет смерть. Но идти куда-то — куда идти? Из одной неволи в другую, еще худшую? И зачем? Прикидываться все время мусульманином, губить свою душу, чтобы потом шляхта посадила на кол. Ну, ты как знаешь. А в церковь больше не ходи, староста уже знает, что ты была на престольном празднике. Он все мотает себе на ус. Иди теперь, искупай христианский грех в мечети. Ой, сумеешь ли откупиться...

Думала-передумывала Мария, но не могла смириться с тем, что ей тут придется умирать. Кривит душой, но зато есть надежда, а без надежды зачем жить, даже со своим богом... Не тут, ой не тут расцветать молодой Мальве. Ведь по ней на Украине тоскует Купала и высокие сестры-мальвы выглядывают ее из-за тынов. Оставлю я тебя, Стратон, мой добрый голубь...

Но как заработать столько денег? Расспрашивала у людей — говорят: нужно пятьсот алтын, да еще и старосте взятку, чтобы подтвердил, что она мусульманка, а голодное время перед жатвой вытягивает из кармана монету за монетой. А им цена — свободная степь на Украине и безоблачное синее небо. Налог душит: кроме земельного и подушного обложили новым — на вооружение, хан Бегадыр-Гирей готовится в поход на Азов. О боже, как вырваться отсюда, чтобы хоть своим кровавым

трудом не помогать им опустошать христианские земли! Недоедала и в мечеть ходила для вида, а дома замаливала грех и опускала глаза перед Стратоном.

Мария принесла из Бахчисарая ужасную новость. Одна многодетная татарка из Карачора продала на рынке своего старшего сына, чтобы на полученные деньги кормить четверых младших. Страшно стало Марии. Как дожить до зимы, чтобы хоть то, что собрали, не растратить за лето? Может, на следующий год будет легче?

Зашевелилась крымская степь, почуяв голод. Чабаны гнали голодный скот в горы, хан Бегадыр-Гирей готовил полки для наступления на Азов. И все из-за хлеба.

Однажды Мария сказала Стратону:

— Пойду я в горы с Мальвой. Наймемся доить овец. Как-нибудь прокормимся летом, а может, еще и сыру принесем на зиму.

Мальва захлопала в ладоши от радости:

— Мама, там мы Ахмета встретим! Он такой добрый!

На следующий же день они отправились в путь по знакомой тропинке, которая вела на яйлы Чатырдага. Возможно, в этот же день они добрались бы до какого-нибудь стойбища, но внимание Марии привлекло необычное движение по торной дороге. Черной вереницей тянулись к Ак-мечети войска.

Очевидно, двинулись на Азов.

Сама не знала почему, свернула с полевой тропки, подошла к дороге... Сердце учащенно забилось, но Мария подходила все ближе и ближе, всматривалась в лица воинов, и почему-то ей хотелось, чтобы по этому пути проследовало сегодня все татарское войско.

Грозные полки шли завоевывать земли для турецкого султана. Впереди ехал хан со своей свитой. Красное, с золотым яблоком посреди, знамя развевалось над его головой. В тяжелой кольчуге и высоком шлеме с острым наконечником, он старался величаво держаться на коне, в руках у него щит и пернач, но тяжелыми, видимо, были ханские регалии — Бегадыр-Гирей задыхался от жары. Следом за ним вели десять белых коней, связанных за хвосты, на буланых аргамаках ехали Ислам-Гирей и младший брат хана. Два десятка закованных в стальные панцири сейменов шли рядом с ханскими советниками.

Ислам-Гирей, как видно, мысленно уже скакал по

полю брани: широкие брови сошлись на переносице, раздвоенная борода выдавалась вперед, хищным казался горбатый нос. Не слишком ли медленным был для него этот марш? Ему, видимо, хочется пришпорить коня и обогнать хана, который изнывает в кольчуге, но он должен сдерживать себя и ехать на почтительном расстоянии от него. Рядом с ним в такт конским копытам шагают сеймены, лица у них грозные, каменные, напряженные — поскачет хан, ринутся и они в победный бой или на смерть. «А во имя чего? — думает Мария. — Ведь глаза и лица у вас не татарские и не татарская мать вас родила?»

Мария присматривается к каждому сеймену...

— Это, наверное, хан, мама, — робко показывает Мальва на Ислам-Гирея.

— Цс-с... зачем тебе этот хан, дитя...

Вот идут — один, второй, десятый — верные ханские слуги. Остроносый смуглый кавказец, кудрявый болгарин, черный как смоль мавр, а возле него — и, кажется, застывает глубоко в груди материнское сердце, — а возле него плечистый, белокурый приднепровский юноша... Кто ты, кто ты, кто ты? Чей ты сын, кто твоя мать?..

Мария мысленно умоляет воина, чтобы он посмотрел в ее сторону, поднял опущенные веки, ей хочется увидеть его глаза.

Но белокурый сеймен не глядит на нее, проходит мимо и теряется среди сотен других воинов.

Ослабела Мария, напряжение спало, подумала:

«Неразумно ты, материнское сердце. Разве можно найти иглу в сене, разве можно разыскать потерянного сына среди этого враждебного, безграничного, суматошного мира? Но кто он, кто он?»

Вспомнила, и легче стало на сердце: это же на святых, что охраняют матерь божью на скале Успенского собора, похож этот воин...

Надо было торопиться, чтобы к вечеру добраться хотя бы до подножия гор. Там, в лесу, можно будет из ветвей сделать шалаш, все-таки не под открытым небом. Мария искала взглядом, чем бы пополнить запас еды, ведь неизвестно, когда они встретят людей, которые возьмут их на работу. А если не возьмут? Возвращаться обратно к высохшему Узенчику и встретить голодную зиму?

В ложбине заметила деревья мушмулы, на них плоды

созревают весной, обыскала, нашла несколько желтоватых ягод, и это хорошо.

Мальва выглядела бодро, Мария с удовольствием смотрела на нее — закалилось дитя, словно тут и родилось. Загорелая и крепкая, как татарка, что купается в соли.

Тропинка вела все глубже в горы. Гуще становилась бузина, малиновые кусты иудиного дерева цеплялись шапками за склоны, из ущелий веяло прохладой. Господи, в долине сгустились тучи, и, наверное, там идет дождь! Внизу без умолку трещали цикады, словно пытались резким своим стрекотом усилить жару. Но не было ей доступа в горы. Жара тут спадала, под ногами был влажный мох, шелестела сочная трава. Вдали дымился туманами Бабуган, черные тучи сползали с Чатырдага вниз.

Отраднее становилось на душе. Утоптанная людьми и скотом стежка вела к какому-то жилью — люди найдутся.

Мои сыночки... Где же вы, мои сыновья?!

Блеснула вдруг молния, небо вспыхнуло... Казалось, засвистали стрелы, загрохотали мушкеты — идет невольница Мария, словно судьба поруганной, обездоленной Украины.

Льет животворный дождь, и купается под его струями Мальва, бежит впереди, плескается в теплых потоках.

— Мальва!

— Мальва!

Только эхо отвечает матери, только эхо...

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

...И когда услышите пение петухов, просите милости у аллаха, ибо петухи поют тогда, когда видят бога.

Из хадисов

...До свадьбы остался один месяц. И почему должна быть эта свадьба, Мальва никак не может понять. Ведь она еще маленькая, да и Ахмет ничего не говорил ей о свадьбе. А может, вот это непонятное «укум-букум-джарым-барым», что он всегда бормотал, когда они играли в кости, и означают эти слова... Очевидно, так, потому что через месяц будет свадьба. Возле нее на самой вершине

Чатырдага сидят еще две незнакомые девочки, такого возраста, как и она. И их ждет такая же судьба, все трое спешат шить приданое.

Сумрачный свет, как при затмении солнца, разливался между вершинами Демерджи, Бабугана и Чатырдага. Девочки, вглядываясь в даль, увидели, как каменный идол, который всегда неподвижно возвышался на Демерджи, стал медленно сползать вниз. Вот он уже пересек Ангарское ущелье, на мгновение остановился внизу посреди поляны и поплыл в седом тумане к ним.

Девочки отложили в сторону шитье: нет, это не диковинная каменная фигура, к которой ежедневно присматривались издали, это какой-то старик нищий. Что же ему дать? Однако нищий не протягивал руки. Он был высокий, белобородый, с добрыми глазами и очень напоминал того святого старца, к которому они с матерью подходили в Кафе, когда бежали от Мурах-бабы. А может, это тот самый?

Мальва хотела спросить его, но ее опередила соседка:

— Ты Хизр [1], который отыскал источник живой воды и стал бессмертным?

— Нет, девушка, — улыбнулся старик, — я обыкновенный чародей. Скажи, джаным, какое у тебя самое сокровенное желание?

— Хотелось бы поскорее дошить свое приданое, — ответила девочка, — потому что до свадьбы остался всего месяц.

— Еще успеешь, дитя, — сказал чародей и обратился ко второй девочке: — А ты что желаешь?

— У меня злая бабушка. Я хочу, чтобы она не кричала на меня, когда я выйду замуж, и не срамила меня перед любимым.

— Станет доброй твоя бабушка. Ну, а ты о чем мечтаешь? — обратился он к Мальве.

Мальва не знала, что ответить. Она еще ничего не желала в жизни и этой свадьбы тоже не хотела. Ей было хорошо возле мамы и Стратона, весело служилось подпаском у Ахмета, того самого, который когда-то напоил ее целительным кумысом в знойной степи. Чего же пожелать? Мама хочет вернуться туда, откуда они пришли, в какую-то далекую степь, которую Мальва не помнит. Она знает только, что все степи колючие, знойные и же-

[1] **Хизр** — покровитель путников и пастухов.

стокие, там встречаются плохие люди. Она не хочет возвращаться в степь. Где еще есть такие горы, такое близкое небо, что руками до звезд можно достать? В горах живет Стратон, и белозубый, вечно улыбающийся Ахмет, и суровый, но добродушный дядя Юсуф, есть овцы, есть раздолье и много сказок, которые под шум леса рассказывают в шалаше подпаски перед сном. Где еще так хорошо могут лечить от злого глаза, как здесь: приложит кто-то к твоему лбу острие ножа с черной колодочкой — и уж тогда никакая ведьма не властна над тобой. Где, в какой стране расскажут об ангелах, которые стоят на страже неба и бросают в сатану огненные пули-звездопады, или о петухе, который поет хвалу творцу мира? Нет, не хочет она уходить отсюда никуда.

Но что же попросить у этого чародея? Он не уходит, ждет.

То ли из-за нерешительности, то ли из-за чего другого, сама не знает почему, почувствовала вдруг Мальва, как удивительное тепло разлилось по всему ее телу, оно словно набухало, наливалось горячими соками. Ей нестерпимо захотелось сбросить с себя одежду и броситься в реку; возможно, поэтому и вспомнила она об Узенчике, высохшем от жары.

— Ну, скажи, доченька, чего ты хочешь? — снова услышала она голос чародея.

— Я хочу, — ответила Мальва, — чтобы в этой горе зажурчал источник, и в села потекла холодная вода, и чтобы этот источник не высыхал в самую страшную жару.

— Хорошее желание, джаным, но я спрашиваю, чего ты желаешь для себя?

— А мне ничего не надо, — развела руками Мальва, — у меня все есть.

Тогда старик повернулся к скале и ударил по ней посохом. Раздался треск сильнее грома, темная туча окутала Чатырдаг, а когда туча рассеялась, девочки увидели, как из расщелины ринулся вниз горный поток. Мальва стояла по колени в холодной воде, вода подступала все выше и выше, приятно охлаждала непривычно горячее тело, и девочка впервые почувствовала, что у нее есть бедра, грудь...

Холодная предутренняя роса смочила ноги подпаскам Ахмета, закричали петухи атамана. Мальва проснулась, вскочила — парни потягивались, не торопились подни-

маться — и изо всех сил побежала к кошу. Ей хотелось первой выгонять овец. Хотелось чем-то хорошим отблагодарить Ахмета: когда Мальва прибегала первой, он счастливо улыбался, пришпоривал коня и весь день потом носился вокруг стада как ветер. Так почему ей не сделать приятное Ахмету? Разве Мальва не видит, как он мрачнеет накануне пятницы, когда она уходит в женский курень в долине Шумаи, где женщины доят верблюдиц?

— Укум-букум-джарым-барым! — проскандировала Мальва, подскакивая на одной ноге, ей по душе были эти слова, хотелось больше, чем когда-нибудь, увидеть Ахмета. Какое счастье, что они с мамой встретили именно Ахмета и его отца Юсуфа — атамана чабанов!

Что-то странное происходило в душе Мальвы. Из памяти еще не улетучился волшебный сон — и как это ей могло такое присниться, что до свадьбы остался всего месяц, ведь ей и в голову это не приходило, ведь она еще совсем ребенок... А вот взяло и приснилось! Ха-ха... Укум-букум... Прозрачно-чистая, кристальная вода омывает ее ноги, руки, грудь, она впервые в жизни почувствовала, что у нее упругое тело, такое, что о него разбиваются волны и холодят, холодят...

Мальва замедлила шаг, словно отяжелела, снова по всему ее телу пробежали незнакомые струйки тепла, захватывало дыхание. Остановилась, прижала руки к груди, улыбнулась и сама не могла понять, почему ей вдруг стало так радостно.

Занимался рассвет. Утренняя звезда — Чолпон — упала на голову каменного идола, который во сне спускался с горы Демерджи, упала и разлетелась брызгами: мириады искр рассыпались по чаирам и яйлам и упали к ногам Мальвы и на бархатный мох, в переполненные чаши крокусов.

— Светает! Светает! — запела Мальва по-татарски и, заметив, что поет на мотив Ахметовых песен, побежала по плоскому кряжу, сбивая росу с мягкого стелющегося можжевельника, скользя ногами по влажной траве.

Чистым выглядел вечно хмурый Бабуган, травы переливались перламутром, горы на мгновение замерли, ожидая первых лучей солнца, и атаман Юсуф не был сегодня мрачным, как всегда.

Он перегонял кобылиц в отдельный загон и жеребятам привязывал на головы деревянные рогатки.

— Прискакала, козочка! Якши. Сегодня останешься

со мной, будем доить кобылиц, кумыс делать. — Юсуф выпрямился и пристально посмотрел на разгоряченную девочку. — Гм... А впрочем, не только сегодня... Вот что: будешь варить еду для пастухов, мне легче будет. Ахмет как-нибудь обойдется и без тебя.

Мальва опустила голову, жаль стало Ахмета, прежней свободы. И еще почему-то стыдно было: показалось, что Юсуф знает о ее сне и поэтому не разрешает ей идти вместе с Ахметом пасти скот.

Юноша сам выгонял овец из кошары, то и дело поглядывая на Мальву: что случилось, почему отец задерживает подпаска?

— Чего стоишь? — исподлобья глянул на Мальву атаман и снова нахмурился. — Выгоняй жеребят на пастбище, пусть сами учатся добывать себе корм. На все своя пора. А потом я научу тебя доить кобылиц.

Очевидно, так должно быть, что радость созревания идет рядом с тоской по свободе. Потускнел день, который начался для Мальвы так радостно. К обеду одеревенели пальцы от доения и немало слез пролилось в подойник.

Перед вечером, после удоя, Юсуф заправлял молоко дрожжами, ячменем, колдовал над кореньями.

Когда стемнело, в шатер зашел Ахмет. Он молча положил футляр с кораном на коврик возле входа, снял с шеи низку из скорлупы лесных орехов — амулет, чтобы не сглазили скот, но не присел, как обычно, рядом с отцом. Стоял хмурый, сдержанный. Взглянул на Мальву, которая дремала на топчане, бросил отцу:

— Почему вина не доливаешь в молоко? Вон там кувшин.

— Не нужно вина, — ответил Юсуф, не поднимая головы. — Мальва слез налила в молоко, хмельной получишь кумыс.

Ахмет промолчал. В сумерках он не мог разглядеть лица Мальвы, может, она уже спала.

— Кого дашь в подпаски вместо нее? — спросил спустя минуту Ахмет.

— Как-нибудь справишься с теми подпасками, которые у тебя есть, — невозмутимо ответил атаман. — Где много пастухов, там волк овец режет... А ты, Ахмет, должен помнить о трех несчастьях, которые подстерегают человека, когда он становится взрослым. Тебе пора знать об этом. Какие несчастья? Когда закипает кровь в те-

ле — тогда вино и женщина. Когда охладеет душа и хилым станет тело — тогда золото. Шайтан знает, как кому угодить, чтобы потом лучше насмеяться над ним.

— Без золота я обойдусь, — процедил сквозь зубы Ахмет. — Ты же скоро разбогатеешь, мои братья привезут тебе из-под Азова полные мешки. К вину меня не тянет. Ну, а в другом ты мне не указ! Как же ты мог подумать... Она же еще дитя.

— Когда человек молод, глаза его лучше видят, чем думает голова. — Юсуф с усердием мешал молоко в котле. — Мальве уже пора быть вместе с женщинами, и тебе это тоже ясно. Но я пока что оставлю ее при себе, сам научу ее женскому делу. Завтра она сварит нам суп. Ну, подливай вина, чего стоишь?

...А впрочем, Мальве было не так плохо возле Юсуфа, как казалось ей поначалу.

С Ахметом, правда, другое дело. Бегут овцы, и не остановишь их, и не поймешь, кто кого ведет. Лают собаки, хватают за животы непослушных овечек, те бьют ногами по зубам своих охранников, скачет Ахмет на своем коне. Как-то хорошо чувствуешь себя рядом с Ахметом: оскалит свои белые зубы, и туман рассеивается, и моросящий дождь не так донимает. Овцы бредут и бредут — никто, наверное, по собственному желанию не пошел бы до самого Чатырдага, который своей вершиной всегда поддерживает самую тяжелую тучу. А овцы доведут.

За Чатырдагом, о, за ним совсем иной мир! Там, в скалах, три огромные пещеры, в которых с потолка свисают сосульки льда, как бриллианты. Одна называется Снежной, потому что иней выступает на ее стенах даже тогда, когда горы млеют от жары; вторая — Холодной, в ней всегда в полдень прячутся пастухи с овцами; третья пещера называется Бинь-баш-коба — Тысячеголовая. Пещера каких-то тысячи голов, которые живут в ней. Там — смерть, туда никто не заходит.

Разве об этом плакала Мальва, когда доила кобылиц? Верно, и об этом. Но лучше всего ей было с юношей, Ахмет соскакивал с коня, когда овцы останавливались щипать траву, и подходил к Мальве. Бросал перед ней четыре вырезанные бараньи кости и каждой из них давал таинственное название: укум-букум-джарым-барым.

— Я уже загадал. Выбирай.

— Букум...

— Теперь мне...
— Тебе барым....
— Ай, звездочка! — восклицал Ахмет. — Отгадала!
Он становился каким-то странным и смешным, вскакивал с места, стремительно взлетал на коня, бил его чарыками по брюху и мчался в ущелье.

Ночь поздно опускалась на Чатырдаг. С гор можно было видеть солнце даже тогда, когда в степи уже наступила темнота, но вечно мрачный Бабуган все же окутывал горы мглой и укладывал их спать, как детей. А когда горы крепко засыпали, подпаски садились вокруг Ахмета, и он начинал свои сказания. Мальва хорошо запомнила его песню о красавице, которая ждет не дождется своего джигита из степи, — он пел ее год назад, когда она с матерью ехала в Юсуфовой арбе, — и просила рассказать о ней.

Ах, сколько он знал сказок об этой красавице, да все разные...

...Загрустил молодой пастух, выгоняя коров на пастбище, потому что увидел синеглазую дочь Мангу-хана...

— Черноглазую, — поправляют подпаски.

— Нет, синеглазую,— почему-то возражал Ахмет и смотрел на Мальву. — И больше не радовали его цветы. Красота цветов поражает, но если бы у них были синие глаза, улыбка, нежность — все то, что дает смертным на земле рай пророка...

...Дочь Мангу-хана была красивой, как роза. Хан же был похож на быка со вздувшимся брюхом, но он всем говорил, что Гюляш-ханым похожа на него. Самые умные люди часто ошибаются. И встретила Гюляш-ханым пастуха, стройного, как тополь, смелого, как барс. Превратилась девушка в золотую монету и упала к его ногам. Но пастух был честным человеком. Поэтому он отдал червонец в ханскую казну. А ночью напал на хана балаклавский князь и ограбил казну...

— А дальше, дальше что?

— Ахме-е-ет!

Это голос атамана Юсуфа. А дальше ночи и дивные сны.

У Юсуфа Мальве тоже жилось неплохо. Очевидно, потому, что у атамана было много скота и людей, он старался вести себя с ними строго, хотя в действительности у Юсуфа было доброе сердце. Когда они оставались вдвоем с Мальвой, атаман становился совсем дру-

гим. Раньше Мальве не приходилось видеть его таким. Он улыбался, рассказывал разные небылицы и упорно называл ее гяуркой. Сначала она протестовала, а потом привыкла, и даже странно было, когда Юсуф иногда окликал ее по имени.

Зато Ахмет стал мрачным. Приходил вечером, снимал с себя малахай и доломан, делал это сердито, молча, и не раз хотелось Мальве попросить его, чтобы не злился, ведь она не виновата в том, что атаман не разрешил ей пасти овец. Мальва знает, что сейчас ему труднее следить за отарой, но зато она готовит для него еду, так хотя бы спасибо сказал ей за это... Ему скучно, но и ей не так уж весело. Зачем же сердиться? Но она молчала. «Укум-букум-джарым-барым», — шептали порой ночью ее уста, но слова эти уже не имели той таинственности, как прежде.

Утром, избегая ее взгляда, Ахмет садился на коня, пришпоривал его, мчался впереди отары по вогнутому блюду Чатырдага, перескакивал через каменные валы и исчезал в ущельях. Мальва с восхищением прижимала руки к груди, и тогда суровый оклик атамана возвращал ее к действительности:

— Чего стоишь, пора огонь разводить!

Но суровость Юсуфа быстро исчезала. Дымил костер под котлом, а он все время что-то рассказывал. То ли ей, то ли сам себе...

— В степи татарину живется хуже, чем в горах. На равнине не охватишь взглядом всей красоты Крымского края. А когда взберешься на гору и посмотришь вокруг, то с сожалением думаешь о тех, кто тут не был. На юге небо сливается с морем — оба синие, одно синее другого, на севере степь обнимается с небосклоном. Крым так чудесен — живи в нем, и помирать не надо.

Пошел однажды старик Гази Мансур в Мекку праздновать байрам. Ревностно молился он возле храма Кааба, и сказал ему имам:

«Если хочешь, оставайся у нас».

Подумал Гази Мансур, вспомнил свой сад, орех, под сенью которого всегда отдыхал, и отрицательно покачал головой:

«Нет, не хочу умирать на чужой стороне».

Посмотрел на небо и стал просить аллаха, чтобы помог ему вернуться в Крым. «Если умру по пути, пускай хоть мои кости отвезут домой».

Отстал Гази Мансур от каравана и почувствовал, что умирает. Молился, чтобы кто-нибудь подошел к нему, он отдаст первому встречному все деньги и упросит, чтобы похоронили его в Крыму. А в это время арабы напали на караван, перерезали всех и понеслись на конях по дороге. «О, слава аллаху, идут люди», — подумал старик. И когда к нему подбежал араб с ятаганом, он сказал, протягивая мешочек с пиастрами:

«Спасибо тебе, ты последний человек, которого аллах послал мне перед смертью. Когда умру, отвези мои кости в Крым и зарой в саду...»

«Под орехом», — подумала голова, когда скатилась на землю.

Прошел праздник байрама, все хаджи вернулись из Мекки, только Гази Мансур не возвратился. «Очевидно, помер по пути», — сказали соседи. Пришла осень. Один мальчик, срывая орехи с дерева Мансура, вспомнил старика: добрый был человек, всегда угощал его орехами. И тут видит, кто-то идет по саду без головы, а голову держит под мышкой. Узнал мальчик Гази Мансура по одежде, вскрикнул и упал без сознания на землю. Сбежались соседи, смотрят, мазарташ стоит.

Такое рассказывают старые люди, когда в пятницу идут на могилу Гази Мансура, что возле Чуфут-кале. Возможно, и правду говорят, потому что, если человек любит свой край, непременно вернется домой. Только надо так любить, чтобы даже принести свою голову под мышкой. А у нас был такой...

— И мама у меня такая, — тихо промолвила Мальва. — Она тоже несла бы свою голову на Украину...

Атаман с горечью посмотрел на помрачневшую девочку:

— А ты... ты не хочешь вернуться в свой родной край?

— Я... А где он? У меня нет родного края...

— Гм... Бывает и такое, когда крепко прирастешь к чужому. А бывает и иначе. Неизвестно откуда появится тоска, отравит сердце, и тогда даже рай становится немилым и родная ворона поет лучше, чем чужой соловей... Когда-то давно молодой сын ногайского хана Орак-батыр попал в плен к русским. Оценили русские его мужество и красоту, дали ему землю и золото, самую красивую девушку в жены. Очаровали юного богатыря русские леса, и красавица, и богатство — забыл он родной край. Десять лет прожил Орак-батыр, упоенный счасть-

ем, пятеро детей родилось у него, и доживал бы он, видно, свой век на чужбине, если бы не... Вдруг стал прислушиваться к шуму ветра, и все ему в этом шуме слышался знакомый шелест ковыля... А потом слышал его всюду: в дыхании детей, в шепоте любимой, во всплеске рек.

Стал Орак-батыр сохнуть, тоска иссушала душу, признался жене, что его тревожит. Увидела жена, что ничем не удержит его, была умной и проводила до степи. Он дал слово, что вернется, но не вернулся.

Видать, любовь к родной земле позвала его...

Что-то странное произошло с Мальвой... Ходила опечаленная, не по-детски задумчивая, и не мог понять Юсуф, то ли она загрустила, как Орак-батыр, то ли терзается оттого, что тоска по родине к ней не приходит.

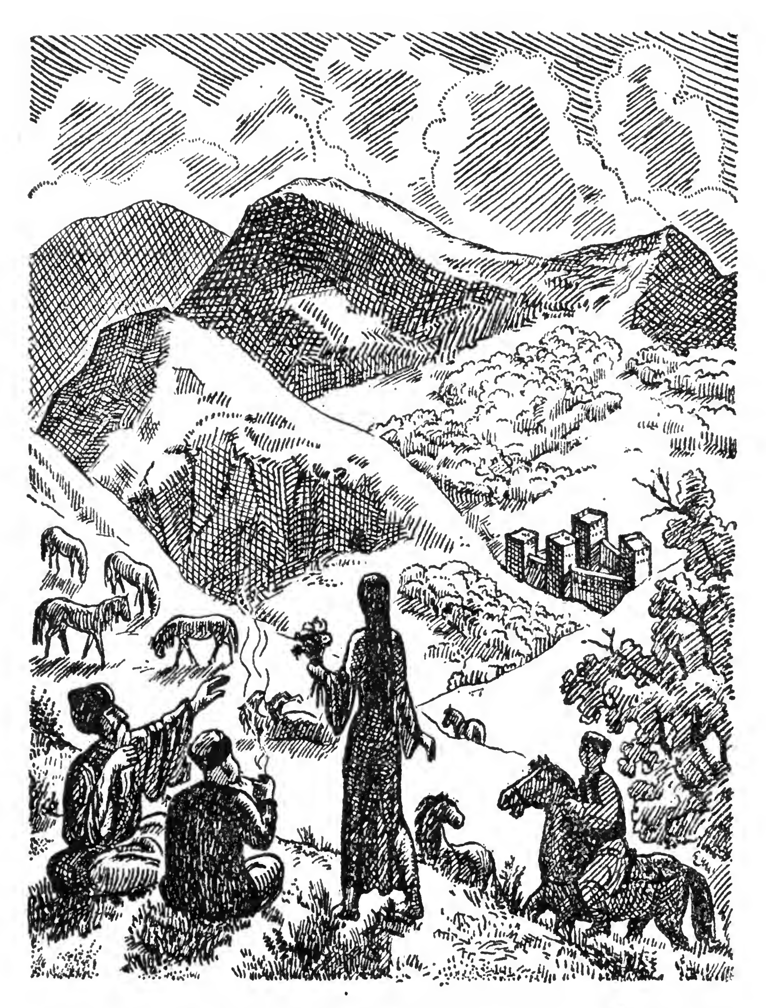
А однажды утром Мальва исчезла. Долго ломал себе голову атаман над тем, что могло случиться с ней, и решил подождать до вечера. А вечером он пошлет Ахмета к Марии — куда же еще могла пойти девушка?

Мальва не шла, а бежала по знакомой тропинке к Чатырдагу. Все эти дни она прислушивалась, не шепчет ли ей что-нибудь ветер; но о чем он может ей нашептывать, если она не может ничего вспомнить, — что там было, на той Украине. А хотелось затосковать, завидовала матери, Орак-батыру, Гази Мансуру и чувствовала себя в чем-то хуже, чем они, виновной в чем-то. Она должна увидеть эту Украину, а с Чатырдага, наверное, можно увидеть весь мир, пик же такой высокий! И тогда придет к ней желанная тоска...

Задыхаясь от усталости, Мальва карабкалась по крутым уступам, изранила коленки, но не останавливалась. Пик был высокий, неприступный, но она все-таки добралась до вершины.

Всматривалась вдаль до боли в глазах, но нигде не было видно никакой Украины. Вокруг только горы, а в долине пожелтевшая татарская степь. Нет нигде ее, это выдумки мамы, ее сказки. Такие же, как Юсуфова про Орак-батыра.

Разочарованная, словно обкраденная, возвращалась Мальва в уруш-кош и дрожала от страха, предчувствуя гнев атамана. Осторожно подходила к шалашу, сердце, казалось, выскочит из груди: возле костра сидит Юсуф и, слава аллаху, еще какой-то мужчина рядом с ним. Может, при постороннем не будет бранить. Подошла и



оторопела: рядом с атаманом сидел тот самый длиннобородый мужчина, который встретился им по дороге в Кафу, тот самый чародей, который недавно приснился ей ночью.

На Мальву никто не обратил внимания.

— Я, Юсуф, покидаю Крым, — продолжал меддах Омар. — За этот год я прошел его вдоль и поперек. Благодатный твой край, хотя нынче мучит его засуха... Возвращаюсь в Турцию. Она сегодня умирает с канчуком

в руках. Правители губят ее, как плющ пышную чинару. Но я узнал о том, что снова поднялись кызылбаши, и в моем сердце затеплилась надежда. Может быть, все-таки не погибнет мой народ. Их, красноголовых рыцарей, называют преступниками, проклинают в мечетях, обвиняют в заговоре с персами, чтобы унизить в глазах людей. Им сейчас дают приют только свободные кочующие юрюки, и туда тянутся с книгами софты, изгнанные из медресе. Дух Кара-Языджи и Кален-дер-оглы [1] не умер. Я должен быть там.

Меддах Омар умолк. Долго смотрел на костер, а Юсуф искоса поглядывал на Мальву и ничего не говорил. Омар повернул голову и увидел девушку. А Мальве казалось, что сон продолжается, что она может высказать еще одно желание. Но какое, какое?..

Лицо Омара прояснилось — он узнал девочку, только теперь она выросла, расцвела и была чем-то взволнована.

— Воистину велик аллах! Как ты тут оказалась, милая? Я верил, что вы с мамой встретите добрых людей. Вам посчастливилось. Слушайся моего друга Юсуфа: он научит тебя добру. — Омар привлек к себе Мальву и ласково, как с ребенком, заговорил с ней: — Над пропастью не ходи, не заглядывай в Бинь-баш-кобу, потому что там витают души тех, кто жаждет справедливой мести. А справедливая месть часто тоже проливает невинную кровь. Таков уж мир, девочка.

— Чьи же там души, дедушка? — тревожно спросила Мальва.

— Разве Юсуф не рассказывал тебе? Это произошло не так давно, никто еще не успел переврать события. Лет пятнадцать назад казаки помогли татарам воевать против турок. Казацкий гетман Дорош вывел на Альму шесть тысяч степных рыцарей против изменника Кантемира-мурзы, перешедшего к туркам. Но силы были неравные. Пять тысяч казаков пали вместе с гетманом у реки, а одна тысяча отступила в горы и укрылась в этой просторной пещере. Настиг их тут Кантемир-мурза, окружил пещеру и велел выходить оттуда. Но ни один казак не вышел. Тогда Мурза приказал заложить вход в пещеру хворостом и поджечь его, чтобы выкурить их оттуда, как барсуков. Но и этого не испугались казаки. Все до единого погибли, но не сдались в неволю.

[1] Вожди восставших против османского правительства в начале XVII столетия.

Широко раскрытые синие глаза Мальвы светились удивлением и восхищением. Она спросила:

— Казаки — такие храбрые?

— Мужествен тот, кто знает, за что борется. Только предатели становятся трусами, дитя... Но ты не ходи к той пещере. Там горы костей, там страшно...

Меддах Омар попрощался и направился вниз. Юсуф и Мальва молча просидели у костра до вечера.

Проходило лето. Мария с Мальвой заработали у Юсуфа столько сыра и масла, что не могли всего донести до дома. Ахмет навьючил их добро на коня, и они втроем направились в Мангуш. Мария была счастлива — теперь как-нибудь перезимуют. Немного беспокоила ее Мальва. Подросла, окрепла, но стала слишком молчаливой.

Заметила мать и страстный взгляд Ахмета, поглядывавшего на девушку. Да, эта непонятная девичья грусть приходит тогда, когда сердце уже к чему-то стремится, а к чему — сказать не может. И Мария молила бога, чтобы помог ей поскорее заработать денег на грамоту, а то будет поздно...

Мальве жаль было расставаться с горами, с кострами, овечьим запахом, сказками, покрикиванием на овец и пением Ахмета. Ее печалила мысль о том, что, может быть, уже никогда ей не придется взбираться на вершину Чатырдага, чтобы оттуда с тоской всматриваться в тот край, где она родилась, никогда больше не посидит она у входа в страшную пещеру, где погибла тысяча казаков с Украины, не представит себе рыцарей, решивших лучше умереть, чем попасть в неволю. Обо всем этом она забудет, как и о сказках Юсуфа и святого старца.

У реки Бодрак Ахмет снял поклажу с коня, подал Марии заработанное ими добро.

— Спасибо тебе, Ахмет, — промолвила Мария, но парень не слышал ее слов.

Он стоял с опущенными руками и смотрел на Мальву так печально, что, казалось, вот-вот заплачет. Мальву волновал этот взгляд, она бочком отступала к матери.

Вдруг Ахмет вытащил нож, и не успела мать вскрикнуть, не успела Мальва понять, что он хочет сделать, как прядь черных волос девушки осталась в его руке. Ахмет вскочил на коня и поскакал по долине, скрываясь в облаках пыли.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Этот мир корабль, в котором ум — паруса, а мысль — руль.
Восточная поговорка

Из Бахчисарая в Ак-мечеть галопом скакал всадник. Конь неподкованными копытами взбивал пыль, пена клочьями вылетала из-под удил, брызгала в лицо всаднику. Баранья шапка сдвинулась на глаза, вывороченный кожух болтался за спиной, прохладный осенний ветер развевал его, пытаясь сорвать. Скоро конец пути, впереди показались пологие хребты, набегавшие друг на друга, словно выпущенные в стадо быки, у подножия лысых хребтов забелели дома резиденции Ислам-Гирея. Гонец вмиг осадил коня. Сдвинув шапку на затылок, стал всматриваться вдаль: по дороге ему навстречу не спеша двигался небольшой конный отряд. Два всадника — один на буланом, другой на белом в яблоках арабском коне — скакали впереди, следом за ним ехал отряд сейменов.

Гонец понял: калга-султан Ислам-Гирей направлялся в столицу на заседание дивана, не зная, что случилось. Помчался навстречу калге. Остановил взмыленного коня у края дороги, спешился и подошел к самому высокому ныне в стране сановнику.

— Что скажешь? — спросил Ислам-Гирей.

Гонец поднял глаза, не разгибаясь. На него смотрели двое всемогущих людей: султан Ислам-Гирей с суровым взглядом черных глаз и не менее могущественный, чем он, — узкоглазый, с плоским, обросшим редкой бородкой лицом воспитатель Ислам-Гирея Сефер Гази.

— Пусть избавит меня аллах от твоего гнева, высокая ханская светлость, за черную весть, которую я тебе принес. Солнце солнц, уста аллаха, могущественный хан Бегадыр-Гирей вчера утром в Гезлеве...

Ни один мускул не дрогнул на лице у Ислам-Гирея, только дернулась острая раздвоенная борода; веки Сефера Гази сузились, и сквозь щели, похожие на следы от прорези осокой, блеснули быстрые зрачки. Он медленно повернул голову в сторону Ислама, султан прижал руки к груди и процедил сквозь сжатые губы:

— Могущественный наш предок Чингис смертью карал вестников горя. Прочь с дороги! — закричал он на испуганного гонца и ударил нагайкой коня.

Ислам-Гирей все время старался ехать впереди Се-

фера Гази, не желая встречаться с ним взглядом. Знал: старый хитрый учитель смотрит теперь ему в затылок и угадывает мысли, которые роятся в голове калги — первого претендента на бахчисарайский престол. Знал, что поделится своими мыслями с аталиком, если не сегодня, то завтра, — но сейчас, когда каждая секунда решала судьбу зеленоверхой чалмы, сейчас, когда сердце готово было вырваться из груди и единственная мысль сверлила мозг: «Наконец-то, наконец-то, наконец-то!», когда глаза горели жаждой и тревогой, он не хотел смотреть в узкие прорези век Сефера Гази, которые всегда открывались тогда, когда Ислам нуждался в совете.

Что «наконец-то»? Он ждал смерти своего старшего брата? Да, ждал. Если бы Багадыр не умер вчера, — о, слава аллаху, что спас его от греха, — Ислам сегодня на банкете отправил бы его в тот дивный мир, где цветут сады и текут реки... Бездарный, слюнявый стихоплет и трус. Сколько рыцарей погубил он напрасно под Азовом, и лишь для того, чтобы угодить султану.

«Не проявлять своего непослушания султану, — казалось, выстукивали копыта по камням, — ни в чем не перечить полоумному, юродивому Ибрагиму. Да, да, я, Ислам-Гирей, дам присягу, присягну, присягну, это хорошо, что в Стамбуле Ибрагим, Ибрагим, Ибрагим...»

Хлестал коня нагайкой, ибо каждая секунда — это трон, каждая минута — это независимость татарского ханства. Лишь бы только не споткнулся конь.

Сефер Гази выдержал какое-то время, пока утихнет буря в душе Ислама, и, поравнявшись с ним, сказал:

— Горячий ум — выигрыш в бою. Холодный ум — победа в политике. Замедли свой шаг, Ислам. Там, впереди, не вражеские обозы и не жерла пушек. Там плетется паутина измен и интриг, там уже кишат змеи коварства и злобы. Мечом не возьмешь их, а только гибким умом. — Сефер Гази приподнял веки: — Что ты, Ислам, решил делать?

— Сегодня же еду в Стамбул.

— Неверно думаешь. Стоит ли вождю идти впереди войска и первому принимать на себя вражеские стрелы? Ты ведь не можешь угадать, как встретит тебя султан. А если он примет тебя как посла от брата Мухаммеда, который тоже с нетерпением ждет смерти хана?

Сефер свернул коня влево, и свита калги-султана поскакала вдоль Бодрака по земле яшлавского бея.

— Нам сегодня не к лицу парадный въезд, — продолжал с невозмутимым спокойствием Сефер Гази. — У нас еще есть время. Нам лучше незаметно по ущелью заехать в Ашлам-сарай и подождать там верного тебе младшего брата Нурредина Крым-Гирея. Посылай гонца в Качу и подумай о подарках для Ибрагима.

Спустя минуту один из сейменов скакал через биасальские холмы в резиденцию Крым-Гирея, а Ислам с Сефером медленно ехали мимо известняковой скалы Бакла.

— Мы на земле Яшлава, — нарушил молчание аталик. — Пословица говорит, что земля, где ступит копыто ханского коня, — это уже собственность хана. Но это далеко не так. Яшлавский бей, правда, слабосильный. Но есть Мансуры, Ширины... Эти сильнее. Позади тебя идет сотня верных капы-кулу [1], твоих рабов. Хану надо на кого-то опереться. Кто будет у тебя правой рукой, думал ли ты над этим, Ислам?

Ислам-Гирей оглянулся. Его любимец, храбрый светловолосый Селим, которого он купил у старой цыганки в Салачике, ехал на коне в первом ряду воинов и не сводил с султана преданных глаз.

— Беи-предатели не будут моей опорой, — с ожесточением ответил Ислам. — У меня есть обстрелянное под Азовом войско, я удвою его, утрою, увеличу в десять раз! Рыцари будут моими обеими руками!

Сефер Гази промолчал. Ему понравился ответ, потому что сам он был из рода сейменов и ненавидел беев. Но знал: без них хану не обойтись. Не приблизит к себе — при первой же возможности они изменят хану. Потому и промолчал.

Они обогнули белую скалу Бакла, въехали в длинное ущелье Ашлама-дере, зажатое с обеих сторон отвесными кручами. В долине, возле Салачика, виднелись красные крыши летнего ханского дворца.

— Ты, Ислам, был тут не раз, — начал Сефер Гази, — а, наверное, никогда не присматривался вон к той удивительной скале, которая возвышается справа. А нука, вглядись получше, что видишь?

Ислам-Гирей поднял голову. Действительно, до сих пор он не замечал: над пропастью нависла огромная

---

[1] Капы-кулу — сеймены, которые формировались в Крыму по примеру турецких янычар (в переводе — дверные рабы).

скала, размытая дождями: сверху она уже дала трещину и угрожала, падая, загородить узкий проход. Удивленный Ислам остановился. Со скалы устремило свой взор в сторону степного Крыма каменное изваяние властелина. Грудь и руки закованы в латы, жестокое монгольское лицо, властное и грозное, выдалось вперед, стремительность, гордость и смелость ощущались в каменной статуе. Казалось, вот сейчас протянется рука — и тысячи конных номадов помчатся туда, куда укажет властелин.

— Это ты, Ислам, — такой, какой есть в жизни.

Довольная улыбка мелькнула на костлявом лице калги-султана, блеснула двумя снопами света в темных глазах. Кони шли, Ислам не отрывал взгляда от каменного изображения властелина, а оно с каждым шагом меняло свой облик, тускнело, расплывалось и наконец слилось со скалой.

— Теперь оглянись, — произнес Сефер Гази, когда миновали скалу. — Погляди с этой стороны на тот же самый камень. Что видишь?

Ислам оглянулся. Над пропастью появилось гигантское чудовище, притаившееся перед хищным прыжком.

— Это ты, Ислам, такой, каким тоже должен быть. Ты увидел две стороны одной и той же сути — власти. Смелость и властность у тебя есть, хитрости должен научиться. А если не научишься, то станешь таким же, как эта скала, когда смотришь на нее спереди. Или же как твой неудачливый брат Бегадыр-хан. Только помни, хитрость не должна быть сильнее мужества рыцаря, потому что тогда ты перехитришь самого себя.

— Мудрый мой учитель, — растроганно произнес Ислам-Гирей. — Ты мое второе лицо, я еще не нашел его в себе. И ниспошли нам аллах удачу — будешь моим первым визирем.

Веки умного старца сузились, снова его лицо покрылось морщинами. Ислам не мог угадать: рад ли его учитель такой перспективе или в душе смеется над неопытным сыном хана?

Вдруг Ислам вспомнил о красавице цыганке, которую он обещал возвысить, когда сам начнет решать свою судьбу. Позвать, чтобы пожелала счастья. Теперь наступил этот час. Сегодня в летнем ханском дворце индийская чародейка осчастливит его.

— Селим! — возбужденно крикнул Ислам, и сине-

глазый сеймен вихрем подскочил к калге. — Может, ты заглянешь к своим в Салачик?

Юноша опустил голову, ничего не ответил. Ислам помрачнел. Впервые Селим не выражает желания выполнить его приказание.

— Ты у меня и отец, и семья, — сказал Селим. — Больше я никого не знаю.

— Настоящий сеймен! — Ислам довольно похлопал Селима по широкому плечу. — Тогда слушай, что я тебе повелеваю: скачи в Салачик и отыщи мне красавицу цыганку, у которой глаза горят огнем, а стан гибкий, как лоза... — Калга-султан вдруг умолк, он заметил стройную девушку в красном сарафане, которая вышла из-за горы на тропинку. — Подожди, может, это она. Добрые джинны сами ведут ко мне вестников моего счастья. Поезжай ей навстречу и привези сюда! Только немедленно!

Сефер Гази благосклонно улыбнулся.

Спустя минуту Селим вернулся, держа в седле насмерть перепуганную девушку.

Это была не цыганка. Совсем юная красавица, еще ребенок, смотрела на Ислама большими синими глазами, страх постепенно исчезал с ее лица, она не могла оторвать взгляда от рыцаря в голубом кафтане, словно узнавала его; у Ислама странно, по-юношески, замерло сердце — он еще не встречал такой свежей красоты — и вмиг забыл об индийской чародейке, с которой только что пожелал провести ночь.

— Кто ты такая, девушка? — тихо спросил Ислам, подъезжая ближе. — Не бойся, никто тебе не причинит зла. Кто ты и откуда идешь?

— Я Мальва из Мангуша. Мама послала меня в Салачик за...

— Видно, что ты не цыганка: глаза у тебя голубые, как у моего Селима, и сказал бы я — брат с сестрой встретились, если бы не твои черные как смоль волосы. Сколько тебе лет?

— Двенадцатый...

— Ты красива, — блеснули глаза у Ислам-Гирея.

От этого взгляда Мальва вся вспыхнула, ей стало так жарко, как тогда, во сне, когда вода чародея обмывала ее тело. Словно околдованная, она сползла с Селимова коня и подошла к Исламу.

— Ты знаешь, кто я?

— Знаю... Ты — хан.

У Сефера Гази широко открылись глаза. Ислам-Гирей резко нагнулся, поднял девочку и поцеловал ее в щеку.

— Устами дитяти глаголет истина, — сказал учитель. — Спеши, Ислам, удержать пророчество вознаграждением. Ибо сказано: к котлу ума нужен еще и черпак счастья.

— О, вознаграждение тебе, девушка, будет большое, если ты пожелаешь его когда-нибудь получить. — Ислам поднял обе руки к небу. — Аллах свидетель, если я стану ханом, ты будешь третьей, но первой женой Ислам-Гирея. Я найду тебя в Мангуше. Селим, отвези ее до самого села.

В этот момент в ущелье послышался гулкий топот копыт. Из Бахчисарая мчались четыре всадника, и среди них Ислам узнал младшего брата, Крым-Гирея.

Брат его остановил коня и крикнул:

— Мухаммед еще вчера отправил послов в Стамбул!

— Проклятие!

Зазвякали удила в зубах коня, рысак встал на дыбы. Ислам крикнул:

— В Ашлама-сарай! — и первым пустил коня галопом по узкой тропинке ущелья.

В Золотом Роге ежедневно разгружались галеры. Из Европы и Азии привозили девушек-пленниц для развратного султана, купцы из разных стран поставляли в гарем парчу, шелк, кисею, набивали золотом карманы и возвращались домой, довольные щедростью падишаха.

Ибрагим седьмой день пьянствовал на радостях: черкешенка Тургана родила ему сына Магомета.

Из-под Азова возвращались разбитые полки.

Великий визирь Аззем-паша ждал султанского гнева: Азов устоял. Он сам не мог понять, как могла удержаться небольшая крепость перед такими многочисленными турецко-татарскими силами. Донские и запорожские казаки под началом атамана Наума Васильева уничтожили под Азовом почти семьдесят тысяч турок и татар.

Захмелевший султан не вызывал к себе визиря, он чувствовал себя в безопасности: утроил охрану дворца, разослал по столице тысячи наемников-шпионов. Азов же далеко от столицы.

Аззем-паша сам напросился на прием к султану.

Ведь войну проиграли, надо решать, что делать дальше — воевать или мириться.

Ибрагим блаженно улыбался, он поманил к себе пальцем визиря и показал ему причудливо исчерченный кривыми линиями пергамент.

— Гляди сюда, безмозглый визирь, — ткнул султан пальцем на рисунок. — Счастье, что великий аллах послал вам мудрого падишаха. Вы год стояли под Азовом, и ни одна баранья голова не могла додуматься, с какой стороны атаковать его. Смотри хорошенько: это карта Прикаспия и Приазовья. Видишь — Каспийское море. Сюда войдет наш флот и поплывет вверх по Волге к тому месту, где Дон упирается в Волгу, вот как ты опираешься локтями о подлокотники кресла. Там пророем широкий канал, через который флот выйдет к Дону и поплывет вниз. С тыла неожиданно ударим по Азову, и от него останется только груда пепла. А тебя назначу адмиралом. Но это еще половина дела. Великое сражение начнем тут, в Турции. Я вырежу... — Ибрагим оскалил зубы, — вырежу всех христиан...

Султан пьяно захохотал и ударил пергаментом по лицу великого визиря.

«О аллах! — шептал про себя Аззем-паша и вырвал волос из бороды, возвращаясь с приема султана. — Я не хочу, я не могу больше жить! — Проходя через комнату палачей, он поискал глазами и, если бы они были там, попросил бы отрубить ему голову. — Я не хочу жить. Безумный султан, безумное правительство, и я, умный шут, выполняю волю сошедших с ума преступников!»

Согбенный, поникший входил великий визирь в свои апартаменты. У входа его поджидали, кланялись в пояс татарские послы. Они просили благословить Ислам-Гирея на крымский престол. Визирь долго присматривался к лицам послов и сказал им такое, что они пожали плечами, не зная, в своем ли уме султанский сановник.

— К кизляр-аге Замбулу идите. Да, да. Он ведает делами Крыма, а я же — Азовом, — и ушел, странно улыбаясь.

Замбул действительно уже успел принять послов от Мухаммед-Гирея. Касса кизляр-аги пополнилась еще одним мешком золота, и теперь он ждал только, когда проснется пьяный султан.

Утром Ибрагим долго не мог понять, чего от него хо-

чет Замбул. Стоит перед ним на коленях и клянчит о каком-то Крыме. Крым. Ну, так что? Умер хан? Умер один, другого назначим.

Ибрагима мучила жажда. Ах, как хорошо выпить и снова предаться грезам, а потом до самого утра бродить по комнатам гарема и насыщаться, утолять жаждущую плоть любовью, обессилевать от нее и снова пить. Почему он когда-то боялся, что не сможет управлять государством? Вот уже третий год оно существует при нем, как существовало, и он держит его в своих руках.

Ударит в ладоши — и есть золото, и есть одалиски, и утроена охрана дворца, и целая армия шпионов, которые за хорошую плату доносят, кто выступает против султана. А тогда только головы — чах, чах, чах!

— Что тебе, Замбул, надо? — раздраженно спросил Ибрагим.

— Султан, к твоему высочеству прибыл из Крыма твой подданный раб Крым-Гирей. Он хочет просить тебя, властелина славы и величия, чтобы ты утвердил его брата Ислама на крымский престол.

— Я приму его, когда бог просветит мой ум безошибочным решением, — ответил Ибрагим излюбленной фразой и сделал знак Замбулу, что разговор окончен.

Но кизляр-ага продолжал стоять на коленях.

— Воля твоя, султан, но пусть будет тебе известно, что Ислам-Гирей еще при хане Джанибеке попал в плен к гяурам и семь лет находился в почетном плену у самого заклятого врага Порты — польского короля, где научился змеиной хитрости и лукавству.

— Он трус?

— О нет, он смелый, как барс, это...

— Тогда пусть Ислам-Гирей будет ханом, — неожиданно для Замбула решил султан. — Я пошлю его на Азов, когда подготовят флот, — через Каспий, Волгу и Дон.

— Азов будет твоим и без него, — убеждал Замбул. — Твой необъятный ум смешает с черной землей гяурскую крепость. А Ислам, пусть будет тебе известно, замышляет против тебя заговор.

Ибрагим вскочил на ноги.

— Немедленно, сейчас же заключить Ислам-Гирея в Дарданелльскую крепость! — крикнул Ибрагим. — И в Крым послать сто тысяч, двести тысяч войск!

— Не надо войск, — успокаивал султана Замбул. —

Если повелишь назначить ханом Мухаммеда, трусливые татары станут смирнее, чем при Бегадыре.

— Повелеваю, — изрек султан.

За белым островом Мармара бушует море. А в Дарданеллах спокойно, только седыми ребрами бегут волны и тихо плещут о берег.

Крепость Султание стоит над самым проливом. Возле крепости стоят две огромные заржавевшие пушки. Ядра, выпущенные из этой пушки, пробили вековечные стены Константинополя, и сквозь пробоины в город вошел Магомет II Завоеватель, чтобы обезглавить последнего византийского императора Константина Палеолога и устрашить весь мир своим мечом.

Теперь грозные жерла этих пушек не страшны никому. Но они есть. Их еще не сбросили в море, они свидетельствуют о прошлом могуществе Порты, хотя ныне стерегут тюрьму.

Заходит солнце. И кажется, море швыряет на берег красные шелковые платки, но тут же, раскаиваясь в своей щедрости, уносит их с берега, оставляя только красную бахрому на песке. Ночь наступает мгновенно, сонно дышит вода, как человек во время тяжелого сна — порывисто, часто.

И так бесконечно: недели, месяцы, годы... И только, как сон, вспоминает Ислам-Гирей о предсказании старой цыганки и пророчестве девочки Мальвы. Нет ничего...

А молодая сила бушует, и боль опустошает душу. Исламу изредка приносят вести с родины. Иногда заплывет в залив какая-нибудь рыбачья байдарка — это, наверное, преданные ему переодетые сеймены.

...Янычары гарнизона разъехались из Кафы по полуострову забирать татарских юношей в войско.

...В Крыму голод. Саранча доконала степь. Люди в отчаянии уходят за Перекоп и не возвращаются, оставаясь жить на Диком поле. Все больше и больше людей покупают грамоты у хана Мухаммеда, а он с радостью дает их, потому что хочет бахчисарайский дворец уподобить стамбульскому Биюк-сараю. Крым пустеет.

От разложившихся трупов людей, умерших голодной смертью, распространяется эпидемия.

...Турецкие жандармы на рынках отбирают у татар все их добро. Стамбульский двор требует золота. Азов сдался, но от этого султанская казна не стала богаче. Русский царь Михаил Федорович, напуганный угрозой Ибрагима вырезать в Турции всех христиан, приказал донским и запорожским казакам оставить Азов. Спаянные братскими узами во время многомесячной осады Азова, русские и украинские казаки подожгли пороховые склады и оставили туркам груды развалин.

А что делает Мухаммед?

Он, как и Ибрагим, не выходит из гарема и каждую неделю посылает в Стамбул гонца с письмом, в котором присягает на верность.

Ислам-Гирей в Дарданелльской крепости — словно загнанный в клетку лев. Сефер Гази еще не сдался. Ему известны все тайны государственного строя Порты, и он уже несколько месяцев сидит в Стамбуле, надеясь на встречу с Азземом-пашой.

Но Ислам не надеется на успех своего учителя. Он пытается действовать сам. Пишет письма, в которых призывает свергнуть с трона Мухаммед-Гирея, письма распространяются по всему Крыму. Сам готовится к побегу. Со дня на день ждет Ислам прихода торгового судна, на котором он проберется через Дарданеллы и Босфор в Черное море.

Уснула охрана. Тихо плещут волны, но не слышно, чтобы кто-нибудь нарушал всплесками весел спокойные воды Дарданелл. Почему же судно не приходит? Задержали, пронюхали?

Неподалеку ударилась о берег лодка. Кто-то идет... Один... В отблесках луны серебрится бородатая голова. Сефер!..

Сефер Гази подошел ближе к Исламу, плоское лицо его напряглось от сдерживаемого дыхания, веки сошлись так тесно, что сквозь щели не видно черных зрачков. Аталик сердит. Ислам видит, что он с трудом сдерживает гнев. Пытается угадать, что могло случиться.

Глаза раскрылись, Сефер гневным взглядом пронизал своего воспитанника, схватил его, как мальчишку, за грудки, потряс.

Потом сник. Склонив голову, направился к берегу, спотыкаясь о камни. Сел, спустив ноги в воду. Молча

присел рядом с ним встревоженный Ислам. Знал, что аталик гневается не зря. По-видимому, все раскрыто.

— Когда не хватает сил, — промолвил неожиданно спокойно Сефер Гази, — надо, Ислам, воспользоваться хитростью. Я когда-то показывал тебе каменное изваяние в Ашлама-дере, которое природа будто умышленно создала тебе в назидание. Но ты не послушался... Я еще раз терпеливо объясню тебе, Ислам: правитель должен соединить в себе смелость с хитростью. В противном случае ты лишь воин — тогда бери в руки меч и сражайся, но не берись за руль управления государством.

— Что случилось, Сефер-баба? — спросил Ислам-Гирей, когда аталик закончил свое пространное наставление.

— Ты должен был бы уже догадаться, что... Если твой враг даже букашка, то считай ее слоном. А Мухаммед все же хан, в его руках власть. Я долго бродил возле ворот сарая, немало денег и терпения стоило мне добиться встречи с Замбулом, которого когда-то купили на кафском рынке за тридцать пиастров. И все-таки встретился с ним, и он устроил мне аудиенцию у великого визиря. А когда уже должна была решиться твоя судьба, чауш Мухаммед-Гирея прискакал с доносом, что ты рассылаешь бунтарские письма по всему Крыму. Пугливый заяц иногда становится львом. Ты раскрыл карты перед трусливым Мухаммедом, и он теперь сожрет тебя. Ты забыл, что пес, который хочет укусить, не оскаливает зубов... Я пытался отрицать, но визирь показал мне письмо, написанное твоей рукой. Сегодня ты ждал не меня, а торговое судно, я знаю. Оно арестовано в Золотом Роге, твоих друзей завтра повесят, а мы с тобой отправимся на остров Родос.

Словно отрубленная, голова Ислама упала на грудь.

— Оттуда никто не возвращается...

— Даже тогда, когда стоишь у эшафота и холодная веревка прикасается к кадыку, — узкие глаза Сефера были ясными, в них не было безнадежности, — даже тогда не говори, что все пропало...

На следующий день Ислам-Гирей и его верный наставник Сефер Гази плыли под охраной двадцати янычар на турецком судне по Эгейскому морю на юг.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Беседы с мудрецами необходимы более царям, чем царские милости мудрецам.

Саади

В одну из последних ночей рамазана, перед рассветом, когда правоверные завтракали перед дневным постом, край полной луны закрылся черным полукругом, темное пятно подошло к середине диска, а потом постепенно сползло.

«Что-то случится в султанском дворе, кого-то не станет в Биюк-сарае, — шептали люди, выйдя на улицы Стамбула. — Когда происходит затмение солнца — то султана, а если луны...»

Видел затмение луны и Аззем-паша. Он не был суеверным, но затмение, которое предвещало смерть великому визирю, очень соответствовало обстоятельствам, сложившимся во дворе, — всего можно было ожидать.

На Ибрагима, окруженного охраной и стенами, истощенного вином и гаремными ночами, все чаще и чаще находила мания страха и подозрительности. Иногда он неистовствовал в безумном гневе, которого боялся даже Замбул. Султан искал тогда жертв, и не одна голова постельничьего или чашедержца скатывалась с плеч на пол тут же, в султанских спальнях. После нервных припадков Ибрагим впадал в меланхолию, вызывал к себе великого визиря и принуждал его слушать свои стихи или маньячные планы покорения Руси, Италии, Венгрии. Аззем-паша каждый день ждал безрассудного приказа, которого нельзя будет не выполнить. А тогда, известно, конец. Нур Али давно ждет такого случая.

Великий визирь чувствовал теперь больше, чем когда-либо, жгучую потребность встретиться с кем-нибудь умным, кому мог бы доверить свои мысли и сомнения, кто поддержал бы его и дал совет. В Биюк-сарае такого человека не было.

Однажды тайные агенты донесли о том, что в Стамбуле снова появился меддах Омар: он беседует с людьми, выслушивает их жалобы. Что делать с ним?

Аззем-паша много слышал о меддахе Омаре во времена Амурата. О мудреце, который у стен Багдада разгадал сон бешеного султана и каким-то чудом остался жив, ходили легенды. Великий визирь приказал разыс-

кать Омара и пригласить его в свой дворец на первый день байрама.

Когда сторож, настойчиво барабаня о деревянную доску, известил правоверных об окончании поста, в приемную визиря пришел меддах Омар. С минуту они стояли друг против друга, поразительно похожие, словно близнецы: одинакового роста и возраста, оба седобородые и высоколобые, они отличались только одеждой. Визирь — в белой меховой накидке, Омар — в простом, выцветшем от дождя и солнца бурнусе. Встретились, словно сыновья одной матери, которых разлучила судьба еще в детстве и повела по разным дорогам: одного к власти, другого к народу, одного сделала властелином, второго мудрецом. А на склоне лет свела их снова, чтобы каждый из них рассказал о своем опыте, своей правде.

— Ты просил меня, великий визирь, пусть бог ниспошлет тебе жизнь вечную, чтобы я пришел к тебе, — поклонился меддах Омар. — Что же принудило могущественного властелина, который держит в руках тысячи войск, миллионы народа и государственную печать, обратиться к убогому меддаху, у которого нет ничего, кроме крупицы простой человеческой мудрости, подаренной аллахом?

— Сомнения, — кратко ответил Аззем-паша.

Не дожидаясь приглашения визиря, меддах присел на расшитую серебром подушку, напротив него сел визирь. Омар присматривался к лицу Аззема-паши: не было в нем ни высокомерия, ни жестокости тирана, ни недоступности повелителя. Омар знал всесильных мира сего, но встречал среди них только грубых, вспыльчивых, высокомерных, глупых, жестоких людей. Повелителя, который сомневается, еще не встречал.

— Сомнения необходимы, — сказал он. — Ибо кто не сомневается, тот не размышляет, кто не размышляет, тот не прозревает, кто не прозревает, тот остается слепым. Но я не знаю, как говорить с тобой, чтобы мои слова принесли тебе пользу. Ведь ваш шейх-уль-ислам сказал, что слов, которые приносят вред вере и власти, не надо знать и не нужно говорить; слова, записанные в книге пророка, надо произносить, но понимать их не обязательно, о недостатках вельмож можно знать, но говорить о них запрещено. Как позволишь мне говорить с тобой?

— Говори правду. Ибо должен хотя бы один из вла-

дык знать истину. Каждое мгновение нынче приносит непонятные загадки, отгадать которые я не в силах. Когда-то было совсем иначе. Прежде эпоха продолжалась десятки лет, и человеческие умы приспосабливались к ней, теперь же на один день приходится десять эпох. Я растерялся, я не понимаю, где истина, а где заблуждение, где золото, а где мишура. Вижу, какая образовалась пропасть между двором и страной, между нуждами людей и тем, что мы им даем, между словом и делом. И не знаю, как преодолеть ее. Кто виновен — султан, визирь, кадиаскер? Но ведь сановники меняются, а пропасть становится все глубже. Двор требует денег, отягощает подданных налогами, и чем дальше, тем меньше становится золота в государственной казне. Народ стонет, но империя от этого не становится могущественнее...

— Это закономерно, визирь. Между потребностями государства и потребностями народа существует вечное противоречие. Но при умных, хороших и образованных правителях эта пропасть настолько узка, что ее всегда можно легко преодолеть. Что же произошло у нас? До тех пор, пока слава завоеваний была общей целью государства и народа, народ не щадил своей жизни ради этой славы. Потом один человек взял власть в свои руки, народ попал в зависимость от самодержца. Один человек за всех думать не может, он впадает в заблуждение, мысли миллионов не могут совпадать с мыслями одного человека. Самодержец стремится к роскоши, и расходы превышают доходы. Он хочет славы для себя и завоевывает чужие страны. А каждое завоевание чужой земли вселяет в народ тревогу, потому что тогда жизнь его в постоянной опасности. Люди жаждут мира, а не чужих земель, которые не приносят им ни радости, ни хлеба. Властелин принуждает подданных воевать, и подданные неохотно проливают кровь за то, что им чуждо. Самодержец взимает налоги на военные расходы, над имуществом людей постоянно висит угроза, люди утрачивают интерес к его увеличению. А богатство государства зависит от личного богатства людей. Если у них нет богатства — где же его возьмет государство? Когда народ угнетен — казна пустая...

— Ты, умный старец, действительно говоришь о страшных вещах, — задумчиво произнес Аззем-паша. — Твои слова свидетельствуют о безвыходном положении

Турецкой империи. Я же думаю о ее могуществе, а не о гибели и ищу путей к ее укреплению.

— То, что рвется, бесконечно штопать нельзя. Мы, правда, неутомимо штопаем, но чем? Догмами старого корана, который навевает много мыслей и поэзии, но стал непригоден для управления государством. Тысяча лет минула со времени его сотворения, а мир и народы, обычаи и взгляды не остаются неизменными. В мире происходят беспрерывные изменения, коран же остается таким, каким был во времена халифов пророка. Поэтому богословы допускают много ошибок. А их используют проворные приспособленцы ради наживы. Народ перестает верить им. Покоряется, но не верит. Хвалит, но не любит. Говорит одно, а думает другое. Правители чувствуют это и все меньше и меньше доверяют своим собственным сыновьям и держат их в повиновении руками чужеземцев-янычар. Поэтому возникают бунты, а бунты — это начало упадка империи.

Аззем-паша поднялся на ноги.

— Омар, — сказал он, — дай мне подумать. За то, что ты поведал мне, тебя можно отвести на эшафот, но от этого не окрепнет Турция. Если ты прав, тогда не за что наказывать тебя, если же ты ошибаешься, то твое риторическое искусство не подорвет государственных устоев. Ты мыслишь, а мыслящие люди должны жить. Приди ко мне через семь дней. Я хочу продолжить наш разговор.

В первый день байрама в Стамбул съехались купцы и торговцы со всех концов империи. Как и ежегодно, после рамазана на Бедестане должны были происходить султанские торги. Субаша объявил, что открывать торги будет сам султан Ибрагим.

Ювелир Хюсам отважился еще раз понести свой товар на рынок. Надо было продать хоть немного своих изделий, чтобы уплатить налог. Старосте ювелирного цеха, уста-рагину, донесли, что Хюсам продолжает изготовлять браслеты, медальоны, амулеты, а в цех вступать не желает, поэтому староста и наложил на него неимоверно высокий налог — восемьсот акче. Таких денег Хюсам не мог раздобыть, если бы даже продал все, что у него есть, вместе со своими башмаками. Правда, за один только рубиновый амулет он мог бы получить намного

больше, но кто его купит?.. Нафиса болеет, редко уже подымается с постели, а купить ей что-нибудь вкусного не на что. На дастархане Хюсама уже давно не было ни пастирмы, ни баклавы [1], они питаются только хлебом и кофе. Как дожить долгую жизнь, если бог не пожалел для них дней под своим небом?

Хюсам собрал свое добро в мешочек и направился в Бедестан, ведь найдется и для него, не цехового, хоть немного места на земле?

Еще издали он услышал шум базара. Народ толпами тянулся к центру, на навьюченных мулах и верблюдах сквозь толпу пробивались купцы, оттесняя пеших, покрикивали носильщики, требуя дать им дорогу. А с обеих сторон сидели друг возле друга нищие с мисочками в руках. Такого количества нищих Хюсам еще никогда не видел. Каждый год становится их все больше, а кто знает, может, скоро и старый ювелир пополнит их ряды?

Интересно, кем они были? Хюсам пошарил в кармане кафтана, нашел несколько медных монет и подошел к крайнему:

— Откуда пригнало тебя сюда, несчастный?

— Из Анатолии... Тимариотом был. Подати заставили идти к ростовщику, ростовщики взяли тимар...

Хюсам бросил в мисочку одну монету и подошел ко второму.

— Я дубильщик из Адрианополя. Устра-гин потребовал за мою мастерскую взятку. Вот и собираю на хабар. Не пожалей двух монет, добрый человек.

— ...Я ходжа, был учителем в медресе на Скутари. Разве я знал, что стихи Вейси и Нефи [2] запрещено читать ученикам? Меня уволили...

— ...Я бывший хатиб. Осмелился сказать во время проповеди, что кадий толкует коран так, как ему выгодно...

— ...Я румелийский райя... А ты зачем расспрашиваешь всех? Может, ищешь товарища по ремеслу? Не суши себе голову. Тут все равны. Садись рядом со мной, будем собирать милостыню вместе. Так лучше...

Хюсам пошел дальше. Ряды нищих сменились убогими лавчонками под серыми навесами. До главных ворот Бедестана было еще далеко, но базар начинался уже

---

[1] Пастирма, баклава — блюда из баранины.

[2] Вейси, Нефи — турецкие поэты-сатирики начала XVII столетия.

здесь. Владельцы магазинов, портняжных мастерских, парикмахерских, кафеджиев, которым, по-видимому, не оставалось места под крышей рынка, громко расхваливали свой товар, старались обратить на себя внимание кто как мог: один играл на гуслях, другой дробью выстукивал на тамбурине, иной курил ладан, тот позванивал колокольчиками. Здесь были и арабы в разноцветных бурнусах, и крикливые греки в пестрых платках, и молчаливые турки в чалмах. Продавалось тут все: канделябры, подносы, апельсины, парча, украшения, шелк.

Хюсам подумал, что нечего ему пробиваться дальше, поздно пришел. Устроился в ряду, поставил перед собой соломенный стул, разложил на нем свой драгоценный товар.

Сквозь беспокойный базарный гул доносились обрывки фраз, прислушиваясь, Хюсам мог уже уловить их смысл: люди возмущались тем, что на рынке ходят фальшивые деньги, а пиастры отчеканены не из чистого золота.

Напротив, у двери жалкой лавчонки, стоял торговец в смешной позе, словно распятый, и вопил сквозь слезы:

— Я никогда не повышал цен, но посмотрите, посмотрите, какие мне дают деньги!

Хюсам печально покачал головой. Этого торговца стамбульский кадий сегодня прибил за ухо к косяку дверей магазина — справедливое наказание обдиралам. Но как он мог не повышать цены, когда деньги наполовину обесценились?

— Вот приедет султан, — не унимался наказанный, — и мы спросим, куда девалось золото, почему нам платят пиастрами, которые в два раза легче прежних?

Из открытой кофейни донесся смех. Какой-то человек рассказывал анекдоты.

— Куда ушло золото! Он спрашивает, куда ушло золото? А разве ему неизвестно, что произошло недавно в Биюк-сарае? Пригласил наш султан дервиша Али-бабу и спросил его, в чем суть счастья на земле. Али-баба ответил: «Есть, пить и пускать ветер». Рассердился султан, посадил дерзкого дервиша в тюрьму, как вдруг — о всевышний! — у султана сделался запор. Позвал снова солнцеликий Ибрагим дервиша и простонал: «Если излечишь, дам за каждое испражнение мешок золота». Дервиш помолился добрым джиннам, и султан начал

громко пускать ветер, а казначей за каждым разом бросает Али-бабе по мешку с деньгами. Вдруг вбежала валиде. «О сын мой! — закричала. — Что ты делаешь? Ведь так ты продуешь все царство!» А он спрашивает, куда девалось его золото...

Хохот вдруг умолк, огромный детина вскочил в кофейню, схватил рассказчика за шиворот. Тот вырвался и скрылся в толпе.

Хюсаму не было смешно. Он с горечью посматривал на свои изделия, которые никто не покупал, ибо кто их купит, если султан действительно растранжирил деньги?

Народ все больше волновался, шумел. Ждали приезда Ибрагима.

Возле султанского дворца в это время происходила не меньшая суматоха, чем на рынке. С самого утра возле главных ворот слева стояли, выстроившись, конные спагии, те, что служили султану за землю, — тимариоты и заимы; справа — янычары. Ждали выезда султана. Должна была состояться церемония целования султанской мантии.

Падишах долго не появлялся. Наконец открылись ворота, и вместо него вышел начальник охраны султанского плаща, он нес перед собой на палке шубу Ибрагима.

Спагии подняли коней на дыбы, возмущенные, они готовы были ринуться в ворота и учинить расправу над султаном за позор, но тут раздалась команда янычарваги Нур Али: «К оружию» — и спагии остановились. Растерянный церемониймейстер схватил в руки шубу и поднес ее для целования алай-бегу. Тот побледнел от возмущения и унижения, и неизвестно, чем бы все это кончилось, если бы янычары не закричали:

— К падишаху! Кто раньше нас смеет целовать султанскую мантию?

Поднялся скандал, дежурные стражи побежали во дворец доложить Ибрагиму об опасности. Султан услышал подозрительный шум и задрожал как в лихорадке. Узнав о причине возмущения янычар, он велел обезглавить церемониймейстера. Тот был казнен публично, успокоенные янычары толпами отправились на Бедестан открывать вместо Ибрагима султанские торги.

Чорбаджи Алим шел впереди своей орты — высокомерный, в дорогом кунтуше. Сумрачным взглядом окидывал торговцев, и они съеживались, умолкали: на Бе-

дестане знали нрав ближайшего соратника янычар-аги.

С тех пор как Алима назначили чорбаджи, прошло несколько лет. Он прочно вошел в доверие Нур Али, деньги щедро падали в его кубышку, которую он держал у богатого ювелира на Бедестане. С каждым днем, с каждым годом у него угасало желание воевать — иные перспективы улыбались теперь рыцарю. Алим знал: при первом удобном случае Нур Али станет великим визирем, а он тогда займет его место.

Да при султане Ибрагиме и не было смысла рваться в бой. Те времена, когда добычу и славу янычары добывали на войне, канули в небытие. Теперь должность и звание можно было купить, а денежки смышленым текли отовсюду: давали взятки воины, которые хотели откупиться от участия в походах, и родовитые знатные турки — за право вступить в янычарский корпус. Ибо тут лучше платят, чем спагиям, и кара и смерть не так страшны: конных бьют по пяткам, янычар — по спине, конных на кол сажают, а янычар топят в Босфоре. Взятки давали и преступники — в корпусе янычар узаконивались грабежи и убийства. А уже настоящее богатство привалило чорбаджи, когда он захватил имущество погибших в боях воинов.

Янычарам разрешили жениться и владеть землей. Казармы опустели, воины становились собственниками.

Алим не женился. Он довольствовался любовницами и содержал их в роскошном особняке возле Ат-мейдана.

Чорбаджи направлялся к воротам базара. Там, у главных ворот, над которыми распростер крылья высеченный на граните византийский орел, он станет рядом с Нур Али, провозгласит открытие базара, а потом выберет самые лучшие подарки для любовниц — бриллиантовые ожерелья, украшения, шелка.

Алим не заметил старого торговца, стоящего за соломенным стулом, на котором были разложены драгоценности. Хюсам же не сводил с него глаз: где он видел это лицо, чье оно? И, очевидно, воспитатель и бывший приемный сын никогда бы не встретились, если бы какой-то янычар не заметил мастерски сделанного амулета, в сердечке которого сверкал бриллиант, исписанный едва заметной тонкой вязью. У янычара жадно загорелись глаза, он посмотрел на встревоженного ювелира, спросил:

— Откуда это у тебя?

— Я... Я ювелир. Сам сделал...

— Ты — ювелир! — захохотал янычар. — Ювелиры там, на Бедестане, а ты вор! Если бы не был вором, то стоял бы рядом со своими цеховыми.

— Я не цеховой...

— Какое тогда ты имеешь право продавать такие ценные вещи вне цеха?

Алим повернул голову, остановился.

— Что там?

Янычар пожалел, что привлек внимание чорбаджи, теперь амулет достанется ему. Он поспешно сунул драгоценность за пояс, и тогда Хюсам закричал:

— Отдай! О аллах, я работал над ним сорок ночей!

Алим протянул руку, янычар послушно отдал чорбаджи амулет.

— Откуда у тебя такие вещи? — исподлобья посмотрел Алим на старика, но не узнал его, ибо трудно было узнать Хюсама: старик сгорбился, лицо заросло косматой бородой, только глаза почему-то были знакомы Алиму.

— А... Али... — ни слова не смог выдавить из себя: перед ним стоял тот, который когда-то называл его отцом.

— Откуда у тебя такие вещи? — приглядывался чорбаджи к амулету. О, он не надеялся сегодня принести такой дорогой подарок Зулейке. Но откуда у этого нищего такие драгоценности? — Ты — вор, — сказал он спокойно, кивнув янычару, и тот вмиг сгреб остальные драгоценности со стула.

Хюсам застонал, схватился руками за чалму:

— О аллах, что творят эти грабители!

На ювелира посыпались удары, торговцы разбежались, хватая свой товар, янычары, воспользовавшись случаем, забирали все, что попадало под руки.

Хюсам лежал на земле, заслоняя лицо руками, а когда Алим толкнул его ногой под ребра, неимоверная обида и гнев придали ему силы, он поднялся на ноги и прохрипел, брызжа слюной в лицо чорбаджи:

— О ядовитый змей, согретый у меня на груди, о выродок самого Иблиса, о наша смерть! Пусть же родная мать проклянет тебя!

Теперь Алим узнал Хюсама. Он на мгновение оторопел, растерялся, но вокруг стояли янычары, и чорбаджи не посмел простить какому-то нищему такого оскорбления.

Острый ятаган проткнул горло старому ювелиру.

...Подождав, пока от парадных ворот Бијок-сарая уйдут янычары и спагии, к стражу подошел какой-то купец с большим свертком парчи.

— Кизляр-ага Замбул велел мне принести драгоценные ткани для гарема. — Сквозь узкие прорези век сверлили часового маленькие подвижные зрачки. — Вели провести меня к Замбулу.

Кизляр-ага подозрительно посмотрел на торговца парчой. Он сегодня никого не приглашал сюда.

Все уже начинало надоедать старому евнуху: и гарем, и полоумный султан, и служба. Седьмой десяток уже стукнул, все труднее было сгибать спину, когда-то юркий и ловкий пресмыкающийся становился ленивым аллигатором, которому хотелось лишь греться на солнышке. А такая возможность есть. Богатство скопил. Если бы еще несколько тысяч чистых пиастров, он купил бы у адмирала галеру, перевез бы свои богатства в Мекку и там спокойно доживал бы свой век.

— Ни о чем не спрашивай, Замбул, — тихо промолвил купец, и кизляр-ага ахнул:

— Сефер Гази!

— Тсс-с... Не расспрашивай, как я добрался сюда из Родоса, и не зови прислужников, пока не выслушаешь меня. Я разбогател, вот в этом свертке парчи завернут мешок с золотом, а еще один лежит в тайнике у одного татарина, который торгует в Бедестане. Если ты выдашь меня, второй мешок тебе не достанется. Если же ты ныне скажешь султану, что Мухаммед-Гирей готовит против него заговор, а единственный верный слуга Ибрагима — это Ислам, ты получишь его. Как только мой воспитанник выйдет от султана с позолоченным мечом, я дам тебе ярлык, с которым ты пойдешь к торговцу тканями татарину Мемету. А теперь покупай у меня вот этот сверток парчи и неси его легко, словно перышко, красавицам Ибрагима.

— Шайтан... — прошипел Замбул и принял из рук Сефера Гази тяжелый сверток.

Ибрагим постепенно успокаивался. Зловещий шум у ворот Бијок-сарая напомнил ему ту ночь, когда пировал весь Стамбул, а он сидел в темнице, проклиная могущественного Амурата. И вдруг дверь настежь, и толпа возле дверей тюрьмы, и труп ненавистного брата перед ним... А что, если этот подозрительный шум — это его, Ибра-

гима, очередь? А, слава аллаху... Янычары возмутились из-за права первыми целовать его шубу... Значит, они верны ему, и он еще долго может нежиться в роскоши и покое... Ибрагим медленными глотками цедил сквозь зубы вино, его пьяные глаза увидели двух Замбулов, вошедших в султанскую опочивальню.

— Я не звал тебя, что тебе нужно, кретин?

— Заговор против тебя, султан, — выпалил Замбул.

Кувшин выпал из рук Ибрагима, он хотел вскочить на ноги, но спина приросла к подушке. Прохрипел:

— Где, кто?

— Мухаммед-Гирей бунтует в Крыму, султан.

Ибрагим широко раскрыл глаза, хмель как рукой сняло. Сорвался с подушки, схватил кизляр-агу за грудки и оттолкнул его, тупо вглядываясь в его открытую пасть.

— Кто, кто говорил мне, что Мухаммед будет верно служить Порте, кто убеждал меня в том, что Ислам-Гирей изменник?

Замбул поднялся на ноги, выпрямился, рабская покорность исчезла с его лица.

— Ты еще ни разу не бил меня, султан, и лучше не делай этого. Иначе Замбул начнет тоже гневаться. Как будет руководить солнцеликий султан великой империей, когда не станет всезнающего Замбула? Одиночество приличествует лишь аллаху, потому что он не ошибается, великий Ибрагим в одиночестве может ошибиться. А тогда Нур Али не пощадит твоей головы, как не пощадил Амуратовой. Я же, как всегда, даю тебе искренний совет: немедленно пошли за Ислам-Гиреем на Родос, а за Мухаммедом в Крым.

Ибрагим стоял с опущенными руками, пот градом скатывался по редким волосам бородки. Теперь он понял: его могущество, хлопанье в ладоши было самообманом. Все эти годы он ходил по дворцу, обманутый своими же подчиненными, и власть его будет держаться до тех пор, пока они захотят. Кара-гез! Все, что было до сих пор, — это Кара-гез, а он, одетый в султанское одеяние заключенный, тешит публику так, как этого хочет Нур Али и этот омерзительный Замбул.

...Гордо шагал Ислам-Гирей к султанскому дворцу. Он уже был уверен в победе. Умный Сефер Гази — великий друг и мудрец! Но странно одно: ему помогли не сеймены, а перекопский бей, который послал на султан-

ские торги своего Мемета с мешком золота. Исламу вспомнился разговор с учителем у Ашламадере: «Кто будет у тебя правой рукой?» Мансур-бей хочет быть ею. С Мухаммедом, видимо, не удалось. А почему? Неужели брат не падок на деньги? А может, бей побоялся дать золото в неумелые руки? И дает их более сильному? Да... Но когда речь идет о взятке, тогда правды не ищи...

Ибрагим восседал на краю бассейна, опершись локтем о подушку. Он силился придать своему лицу выражение высокомерия и властности, но бледность вперемешку с красными прожилками делала его ничтожным и жалким.

Возле султана стоял в задумчивости великий визирь.

Ислам-Гирей, войдя, упал на колени перед своим повелителем, и тогда султан приободрился.

— Ну, Ислам, я назначаю тебя ханом. Погляжу, какой ты есть. Ты должен быть другом моего друга и врагом моего врага... Верно ли, скажи, что Мухаммед готовил заговор?

Ислам-Гирей взглянул на великого визиря. Аззему-паше известно, кто посылал бунтарские письма в Крым. Он сейчас может напомнить об этом. Но отступать нельзя.

— Не смею отрицать того, что является правдой, — ответил он. — Правда — выше моей любви к брату.

Глаза Аззема-паши насмешливо блеснули и тут же погасли.

— Введи Мухаммеда, — произнес Ибрагим.

Ислам порывисто повернул голову в сторону двери. Он не ожидал встретить тут брата. Значит — еще не победа. Молчаливый Аззем-паша устроит сейчас допрос Гиреям.

— Видишь, Мухаммед, — так же деловито неторопливым и наставительным тоном продолжал Ибрагим. — Ты не хотел быть моим другом, поэтому поедешь сегодня на Родос, и скажи спасибо, что я дарю тебе жизнь. Но оттуда ты уже не вернешься. Что хочешь сказать?

— Хочу лишь припасть к ногам твоим, султан. И ничего больше. А брату, с твоего высокого позволения, хочу напомнить пословицу: «Когда роешь яму, рой ее по своему росту».

Великий визирь молчал. У Ислама отлегло от сердца, он сказал:

— Негоже разговаривать подданным в присутствии

повелителя, но когда наместник аллаха разрешает нам, ничтожным, отверзти уста, то скажу тебе, брат: яму по своему росту вырыл ты. Мне же должен быть благодарен. Ведь только три Мухаммеда правили Крымом, ты — четвертый. Все они умерли раньше своего смертного часа, и все похоронены в Эски-юрте на окраине Бахчисарая. Ты же на Родосе будешь жить до глубокой старости и окончишь свой путь в мире и покое.

— Но меня заменил ты, — ответил Мухаммед. — Так откуда у тебя такая уверенность, что вместо меня не успокоишься в усыпальнице моих тезок ты?

Ибрагим махнул рукой, Мухаммеда вывели. Потом смерил взглядом Ислама, и снова трусливая бледность появилась на его худом лице. Он боялся этого человека, который стоял перед ним в сдержанной покорности и не улыбался льстиво, слушая его. Но отменить свое решение он был не в силах. Великий визирь молчал, Нур Али почему-то не пришел, Замбул же, очевидно, подслушивает за дверью.

— Ислам, сколько тебе лет и как ты садишься на коня? — спросил султан после паузы.

— Мне сорок лет, султан, а садиться на коня я только начинаю, — ответил Ислам, и у великого визиря сошлись на переносице кустистые брови: Аззем-паша не ждал от него таких отточенных дерзких слов.

— Ну, иди, — промолвил тихо султан и добавил, как что-то ненужное, второстепенное: — И служи мне правдой.

Ислам-Гирей поклонился, подошел к Ибрагиму, поцеловал полу его кафтана и направился к выходу. Слуги надели на него соболью шубу, покрытую парчой, опоясали саблей, украшенной драгоценными камнями.

Нового крымского хана сопровождал Аззем-паша. Ислам ждал от него наставлений, но великий визирь и теперь не проронил ни единого слова. Тогда хан сам остановился и сказал, глядя старику в глаза:

— Великий визирь, я прошу, чтобы Порта не мешала мне распоряжаться судьбой Крыма.

Аззем-паша выдержал пристальный взгляд Ислам-Гирея и впервые за нынешний день произнес:

— Ты сел на коня в хорошее время, иди, я не успею помешать тебе.

И снова встретились с глазу на глаз — властелин и мудрец.

— Ты сказал тогда, Омар, что каждый раз силой захваченная чужая земля вызывает у нашего народа тревогу. Объясни мне, что ты имеешь в виду?

Великий визирь неспроста припомнил именно эти слова меддаха. Перед его глазами до сих пор стоял образ независимого и гордого Ислам-Гирея, который явно обманывал Ибрагима и вернулся в свой Крым не для развлечений. Война с Крымом неминуема, но кто теперь выйдет победителем, когда тут стал ханом воин и дипломат Гирей, а в Турции на престоле — юродивый султан?

— Это несчастье, визирь, началось с ложного утверждения, будто не может быть разных народов в лоне ислама. Сколько пролилось невинной крови во имя этой догмы, а что получилось? Татары остались татарами, болгары и греки не приняли ислама. Мало того: в борьбе против нашей империи они окрепли духовно, и расплата неминуема. Разве ты не был свидетелем того, как объединились в совместной борьбе против нас русские и украинцы под Азовом? А в чем, собственно, повинен турок? Разве ему лучше живется на свете оттого, что Османы расползлись по всему миру, нужны ли ему Сербия или Египет, чтобы лучше жить? Но отвечать должны...

— Неужели нет никакого выхода?

— Турки начали с завоеваний. Я же думаю, что они прежде всего должны думать о себе и благе своей страны: ибо когда держава стремится развиваться за счет других, происходит обратное: покоренные народы становятся могущественнее, господствующие же вырождаются, живя чужим хлебом, умом и искусством.

— Ты, Омар, словно черный демон, пророчишь всем нам гибель. Как же так: поблекнет наше могущество и следа от него не останется?

— Кто это может знать? — ответил Омар уклончиво. — Вот посмотри на золотой пиастр. Золото — содержание монеты, сама же она — только форма ее. Кто-то когда-то соединил форму и содержание, чтоб иметь корысть. Представь себе, что цель вдруг утрачена — пиастр не имеет хождения на рынке. Разве от этого пропадет содержание, если это и впрямь золото? Нет, оно будет необходимо для новой формы, для новой цели.

Тихо приоткрылась дверь в покои визиря, на пороге

встал вооруженный страж. Нависшие брови Аззема-паши взметнулись вверх.

— Кто разрешил тебе входить в мой дворец? — спросил он грозно.

— Султан султанов Ибрагим велит тебе сейчас же предстать перед его ясные очи, — ответил страж, не кланяясь.

Аззем-паша перевел взгляд на Омара, тот нервно теребил свою бороду. Оба знали: добра не жди, коль визиря вызывает не служитель хана, а вооруженный охранник султанских дверей.

— Скажи султану, что я сейчас приду, — промолвил Аззем-паша.

— Мне приказано прийти вместе с тобой, великий визирь.

— Подожди меня у входа.

Омар поднялся.

— Прими еще один мой совет, эфенди, ибо сейчас государству нужна твоя умная голова: когда идешь к слепцу, закрой один глаз.

— Нет, — ответил визирь, — я долго закрывал оба глаза на безумие султана. Поступать так и дальше не позволяют мне ни аллах, ни совесть. Ты же береги себя, Омар. И больше не приходи сюда, кто бы тебя ни просил. Те времена, когда цари нуждались в мудром слове, миновали. Когда самодержцы доходят до самодурства и считают все свои дела и поступки непогрешимыми, тогда учителя становятся лишними. Они мешают, и их обезглавливают.

Аззем-паша приложил руку к груди, прощаясь с Омаром, и вышел из дворца.

Небо дрожало осенней синевой над притихшим Биюк-сараем. Три стены, одна выше другой, огораживавшие султанский дворец, казалось, подпирали вокруг горизонт, и визирь подумал, что до сих пор его мир был ограничен колодцем, из которого виден небольшой клочок неба. Меддах Омар словно вывел его на высокий минарет, и Аззем-паша увидел, как мало света в разукрашенном султанском дворце, в Стамбуле и что империя — это еще не весь мир.

В белой накидке, в островерхой смушковой шапке, величественный и неприступный, Аззем-паша подошел к двери султанского дворца, и перед ним расступилась стража.

— Какое у тебя дело ко мне, султан? — резко спросил Аззем-паша и посмотрел на Нур Али, стоявшего в позе барса, готового к прыжку. — Не мог бы ли я остаться с тобой наедине, как это подобает великому визирю на аудиенции у султана?

Глаза Ибрагима налились кровью, он подскочил к Аззему-паше, вцепился ему в бороду и завизжал:

— Где Замбул? Где Замбул?

Аззем-паша резким движением отстранил костлявые руки султана.

— Замбул? Не могу знать, где он. Я ведаю армией и взаимоотношениями с государствами, а не гаремом.

— Где Замбул? — размахивал кулаками Ибрагим и в истерике топал ногами. — Он убежал этой ночью на военной галере, а ты ничего не знаешь? Сейчас же отыщи Замбула или ответишь головой! — вопил султан, брызжа пеной.

Визирь злорадно улыбнулся.

— Властелин, — сказал он, — который опьянел от своеволия, становится трезвым, когда власть ускользает из его рук. Замбул был твоим первым советником, я не был властен над ним.

— Разреши, султан, мне молвить слово, — обратился к Ибрагиму Нур Али. — Замбул купил галеру у адмирала. Я арестовал адмирала, и ты будешь иметь возможность наказать его, как тебе будет угодно. Но не может быть, чтобы такие дела творились без ведома командующего войсками.

Ибрагим оторопел от такого сообщения янычар-аги. Он бы снова закричал, но от страха лишился голоса и вместо крика прошептал:

— Измена... Измена! Печать, печать отдай! — протянул он руку к великому визирю.

Аззем-паша вздрогнул. Каждый раз, приходя на аудиенцию к султану, он ждал этого приказа, означавшего смерть. И все-таки принимать приговор от безумца казалось ему страшным кощунством.

Он вынул из кармана печать и, медленно ступая, поднес ее султану.

— Тебя, Ибрагим, как это полагается, называют солнцем. Да, ты заходящее солнце Османской империи, которое бросает на землю длинные тени, свидетельствующие о приближении ночи... Я с радостью умру и перед кончиной оплакиваю тех, кому придется жить под вла-

стью такого властелина, как ты. Ведь они будут свидетелями безумных деяний юродивого султана и упадка империи.

Ибрагим испуганно попятился в глубь комнаты: на него надвигалась могучая фигура великана, который вот-вот растопчет его. Султан в этот миг забыл о том, что у входа стоит вооруженная стража, а рядом — всесильный янычар-ага, войско которого держит его на султанском троне.

Печать приближалась к глазам, становилась огромной, как медь подноса, как колесо жернова, и закрыла наконец весь мир: еще миг — и она накроет его, раздавит, и от Ибрагима останется только большой отпечаток на мраморном полу — память для будущих султанов.

— Взять его! — скомандовал Нур Али.

В тронный зал вбежала стража. Она набросила на голову великого визиря черное полотенце и поволокла его за дверь...

В эту минуту неожиданно для Ибрагима и Нур Али в тронный зал вошла валиде Кёзем. Ее высокая фигура словно вынырнула из пропасти, в которой бесследно исчез великий визирь. Валиде резким движением отбросила с лица черную шаль и засияла материнской добротой.

Нур Али насторожился. Зачем пришла сюда Кёзем? Сегодня утром, когда он, янычар-ага, и анатолийский бейлербей Муса-паша решали судьбу великого визиря в ее светлице, валиде не проронила ни слова о том, что она придет на половину султана. Что задумала эта твердая, точно скала, женщина с глазами кобры?

Валиде подошла к Ибрагиму, который еще не пришел в себя после смертельного испуга, и положила руку ему на плечо:

— Твои, о сын мой, помыслы свершились, они воистину удивляют твоих подданных и близких по крови. Ты мужественно расправляешься с врагами и щедрой рукой привлекаешь к себе преданных тебе людей. — Ее губы сжались в узкую полоску, она посмотрела на представительного и властного янычар-агу, готового принять из рук Ибрагима государственную печать, которая пока что лежала на полу, и произнесла: — Анатолийский бейлербей Муса-паша здесь. Он склоняется к твоим ногам и прославляет аллаха за высокое доверие султана, который повелевает ему взять печать в свои руки.

Лицо Нур Али осунулось, потемнело. Бейлербей Муса, а не он? Но ведь утром... Он повернулся к султану и закричал:

— Великий падишах, она...

Но не закончил. В тронный зал вошел Муса-паша, а следом за ним вооруженная свита. У Ибрагима задергалась нижняя челюсть, он сам наклонился за печатью и дрожащей рукой подал ее анатолийскому бейлербею. И тут перенапряженные нервы его сдали, он задрожал от приступа безумной ярости, закричал и, вытащив из ножен кинжал, замахнулся им на янычар-агу.

— Замбула, Замбула догони! Дайте мне живого Замбула, и вы увидите то, чего еще не видели стены Биюк-сарая! Смерть, о, какую смерть увидите!

Валиде закрыла собой султана от глаз присутствующих, а он в припадке безумия корчился, визжал и сжимал пальцы на воображаемой шее евнуха...

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Нащо, мамо, так казала,
Татарчатком називала?..

Украинская народная песня

Лишь одно лето прожила Мария в Мангуше, а потом снова направилась с Мальвой на Чатырдаг — голод истощал Крым. Стратон оставался один, старея с каждым годом, но думал только об одном: как будет жить без Марии, когда она заработает деньги на грамоту и отправится с Мальвой в родные края. Он привык к ним, они стали ему родными, и теперь страшно было подумать, что на старости лет останется один как перст.

«А может быть, и мне с ними?.. Но зачем?.. С Украины ни ветра, ни звука, находится она где-то там под синим небом и съежилась под нагайками или спит мертвым сном, казненная, истоптанная, истекшая кровью. Эхе-хе... Зачем мне нести туда еще не совсем угасшие надежды, остаток своей жизни на глумление, на погибель?»

Но Марию ничто не удержит. Как скупой ростовщик, складывает она алтын к алтыну, недосыпает, пересчитывает по ночам деньги.

Марию беспокоит Мальва. В это лето, когда они не пошли на Чатырдаг, что-то случилось с девушкой, ее

словно подменили. Прежде щебетала, порхала, как мотылек, вдоль Узенчика — нельзя было удержать ее на месте — и вдруг стала молчаливой, не по-детски задумчивой. Не слышит, когда ее зовут, глядит своими голубыми глазами на мир, и видно, для нее нет ничего, кроме дум, неизвестных матери.

Мария подозревала: во всем виноват Ахмет. Видела, как он увлекся девочкой, может, и он приглянулся ей, ведь бывает это у детей. Она больше не оставляла Мальву у Юсуфа, жила вместе с ней в шалаше возле коров и верблюдиц, все присматривалась, не встречаются ли они по вечерам. Нет, не встречаются. Он скакал на своем коне по горам, иногда заезжал на чаиры, но стоял в отдалении, и Мальва оставалась равнодушной, спокойной.

Однажды Мария сказала дочери:

— Вон Ахмет приехал. Ты бы пошла поиграть с ним.

— Нет, мама. Я уже не маленькая, чтобы забавляться.

Мать еще больше удивлялась: что могло случиться с дочкой, откуда у нее появилась эта грусть? Может, подсознательно ее душу охватила тоска по родному краю? Радовалась такому предположению и однажды таинственно сказала дочери:

— Скоро мы купим грамоту у хана и навсегда уйдем на Украину.

— А кто теперь хан? — спросила Мальва, безразлично отнесясь к сообщению матери.

— Мухаммед-Гирей... Он, говорят, любит деньги и с радостью дает ярлыки за деньги.

— Ханом должен был стать Ислам-Гирей, — ответила, задумавшись, Мальва, и это поразило Марию: откуда она знает все это?

— Что тебе известно о ханах, Мальва? — с тревогой склонилась к ней мать. — Кто тебе говорил об этом?

— Да я... от татарок слышала, — замялась девочка и отвернулась, чтобы мать не увидела румянца, который вдруг вспыхнул на ее лице.

— Нам, Мальва, все равно, кто будет ханом, — промолвила Мария. — Лишь бы только не отказал, лишь бы не отказал... Уйдем в родные края...

Мальву уже не трогали рассказы об Украине, о приднепровских степях. Она больше не старалась увидеть их с вершины Чатырдага, не ходила к тысячеголовой пеще-

ре, забыла легенду о богатыре Орак-батыре. Словно у одержимой, мысли ее были обращены к узкому ущелью Ашлама-дере и Бахчисараю. А мать снова говорит о своем родном крае, снова о том же...

— Зачем нам ехать туда, мама? Разве тут плохо?

Мария сказала бы — зачем. Но сможет ли Мальва сейчас понять ее? Она выросла здесь, чужие песни первыми взволновали детскую душу, чужая вера отравила ее мозг... Но уже недолго осталось. Увидит девочка ковыльные степи, сады в молочном цвету, кудрявые ивы, белостенные хаты, шелковую траву — и полюбит их, разве есть земля лучше?

«Ты будешь третьей, но первой женой Ислам-Гирея», — назойливо сверлила мозг девочки мысль, томила душу и не угасала в круговороте однообразных дней. Пылкие глаза ханского сына, его величавая фигура все зримее возникали перед ней, и она явственнее ощущала на своем плече крепкое пожатие его руки. Куда же подевался рыцарь, назвавший ее своей? Погиб в битве, умер или его убили?.. «Что это мама снова заводит разговор о своей грамоте? Я никуда, никуда не хочу уезжать отсюда!»

Только на третье лето Ахмет остановил Мальву, когда она возвращалась от коров с бурдюком, полным молока.

— Мальва!

Ахмет соскочил с коня и робко подошел к девушке. Мальва смутилась, — конечно, не приглашать ее поиграть в «ашыки» пришел он. Ахмет взрослый, и она уже не ребенок, — Мальва стыдливо прикрыла платочком половину лица и смотрела на стройного скуластого юношу, возмужавшего и красивого. А рядом с ним богатырской тенью встал тот, кого она назвала ханом. Встал рядом с пастухом. Богатырь держал в руке меч, а этот — плеть, стан хана облегал кунтуш, у пастуха висел на плече серый чекмень, в глазах Ислама — сила и властность, а Ахметовых — покорность и робкая любовь. Мальве стало жаль Ахмета: ведь он спас ее от смерти, он подарил ей столько радостных дней незабываемым «укум-букум-джарым-барым». И все же он — не такой, не такой, не такой...

— Мальва, — прошептал Ахмет, протягивая руки, — ты лучшая роза среди всех роз мира, ты самая красивая на чаирах Чатырдага, ты свет очей моих... Я люблю

тебя. Не закрывай передо мной своего лица, не отворачивайся от меня, я люблю тебя — свидетели этому все ангелы рая, сам аллах...

Глаза Ахмета пылали страстью, он всем телом порывался к девушке, с трудом сдерживал себя.

Мальва испугалась такого Ахмета и отрицательно покачала головой.

— Смотри! — Ахмет вытащил из кармана прядь волос, которые он тогда так внезапно срезал с ее головы, ударил по кресалу, подул, и они вспыхнули. — Я приворожу тебя! Посмотри еще! — Он вытащил из-за пазухи желтую плоскую кость, исписанную мелкой вязью. — По ней ворожил самый ученейший гадальщик в Бахчисарае. Ты будешь моей, я люблю тебя!

Мальва испуганно смотрела на пылкого юношу и отрицательно качала головой.

Тогда он выхватил из ножен кинжал и с размаху воткнул его в руку выше локтя. Кровь просочилась сквозь рукав. Ахмет даже не поморщился.

Мальва ахнула и, бросив бурдюк, опрометью побежала по поляне к шатру.

Вскоре к женскому лагерю подъехал Ахмет. Он бросил бурдюк под ноги Марии и, не спросив, где Мальва, сказал:

— Ахмет добрый, Ахмет не мстит. Но Ахмет не железный. Поэтому на будущий год ищи себе других чабанов и не приходи сюда больше!

Из шатра вышла немая Фатима, взглянула на брата и поняла все. Ее глаза загорелись злобой, она завопила, подбежала к Марии и показала рукой на степь, а в ее горле застряли невысказанные проклятия.

Мария ужаснулась, поняв, что она тут чужая, что ей нельзя больше оставаться в коше Юсуфа, — за обиду, причиненную ее брату, Фатима жестоко отомстит. До сих пор она молчала, видя отношение брата к Мальве...

На следующий день Мария и Мальва выехали в Мангуш. Горечь и обида, причиненные Марии Фатимой, заглушались чувством радости, что все закончилось благополучно. Ахмет славный парень, но не может же дочь полковника Самойла стать мусульманкой. Да и денег уже, кажется, заработали достаточно. Может, осенью... Только бы не отказал хан. А тут еще одна утешительная весть дошла до нее: будто казацкий полковник Хмельага с двумя полками казаков разбил во Фландрии вой-

ска испанского короля, защищая независимость Франции. Сам французский король пригласил на помощь казаков... Так это же Хмельницкий, генеральный писарь реестрового войска. Тот самый Богдан, который когда-то гостевал у Самойла. Господи, неужели возрождается казачество?

Дома она рассказала об этом Стратону:

— Ты слышишь, поднимают казаки головы, звенят их сабли... Старосту можно подкупить, он подтвердит, что и ты мусульманин. Поедем с нами. Продай дом и за эти деньги...

— Войско, которое воюет за деньги, не защита для народа, Мария, — ответил Стратон, безнадежно махнув рукой. — Чужую правду, чужие богатства защищает за плату. Это слуги чужеземцев, а не свободолюбивые запорожцы. Хлеборобам от них пользы мало...

— Но откуда тебе известно, что это войско не бросит наемную службу и не поднимет свои сабли для защиты своего народа?

— Два полка встанут за народ, на который со всех сторон навалились сотни вражеских полков? Чепуха. Их сотрут в порошок. Ушла казацкая слава, Мария. И не вернется больше. Ты только подумай: шляхта, турки, татары... Не дадут они нам воскреснуть. Да еще сейчас, когда на престол садится такой хан...

— Я не слышала о новом хане, — раздраженно перебила Стратона Мария и умолкла: на пороге стояла Мальва, переводя встревоженный взгляд со Стратона на Марию.

— Какой хан? — спросила она, шагнув в комнату. — Какой хан?

Стратон недоуменно посмотрел на Мальву — какое, мол, ей до этого дело — и продолжал:

— Султан назначил ханом Ислам-Гирея. Нынче, говорят, он должен въезжать в Бахчисарай. О, это не Бегадыр и не Мухаммед. У этого твердая рука. В польском плену наострил он свой ум, под Азовом — меч. А все против нее, нашей Украины...

— Он не будет воевать с Украиной! — закричала Мальва, и старики оторопели.

Мария бросилась к дочери. Что это с нею? У нее безумной радостью горят глаза, и говорит она такие странные вещи, словно бредит.

— Стратон, ой, Стратон, ее сглазили!

Стратон приложил руку ко лбу Мальвы, она отвела ее и спокойно повторила:

— Ислам-Гирей не будет воевать с Украиной.

Еще миг стояла неподвижно, потом повернулась и убежала из комнаты. Не слышала, как звала ее мать.

...На узких бахчисарайских улицах столпилось столько людей, что иголке негде было упасть. Ашлама-дере и Мариам-дере были забиты толпой, мальчишки взобрались на крыши, к дворцу и близко никого не подпускают вооруженные сеймены. Хан будет въезжать в город с запада, со стороны Эски-юрты. Мальва побежала обратно, в Салачик, поднялась по крутым тропинкам на плато и помчалась мимо цыганских хибарок туда, где было меньше людей. Спустилась к невольничьему рынку, остановилась у края дороги, и уже никакая сила не могла вытолкнуть ее отсюда.

— Едут, едут! — прокатилось по длинной улице, и сердце Мальвы замерло.

Из-за поворота выехал отряд конных воинов, закованных в латы, а следом за ними два всадника в дорогих одеждах.

— Слава Ислам-Гирею! Слава Сеферу Гази! — кричала толпа, только Мальва молчала и широко раскрытыми глазами смотрела на тех, кому воздавали хвалу.

Один — старик с редкой бородкой, сморщенным равнодушным лицом и закрытыми глазами — изредка поднимал веки и окидывал толпу презрительным взглядом, второй... Разве это он? Нет, не он... Совсем незнакомый мужчина сидел в деревянном седле с разными украшениями, в голубом кафтане и в собольей шапке с двумя султанами.

Эскорт приближался, и когда вот-вот должен был пройти мимо Мальвы, хан повернул голову, вытащил из расшитого золотом пояса горсть монет и бросил людям. Мальва узнала: это был тот самый рыцарь, которому она когда-то напророчила ханство, только он намного старше, неприступней, суровей. Мальве показалось, что он остановил на ней свой взгляд, она подалась вперед, но ее оттеснили конные сеймены, спины людей закрыли перед ней процессию.

Долго не утихал шум в столице, спряталось солнце за ротонды Эски-юрты. Мальва возвращалась в Мангуш.

С опущенной головой, поникшая, упавшая духом. Мечты, взлелеянные годами, радужные, вдруг поблекли, полиняли, стали такими бедными, как вот эта медная монета, брошенная щедрым ханом. Девушка сжимала монету в кулаке, изредка посматривая на нее, потом бросила ее в известковую пыль на дороге.

Дома ждали ее заплаканная мать и мрачный Стратон.

— Где ты была? — спросили они в один голос.

— Там... встречала хана...

— Ты видела его?

— Да, — сказала она тихо и безутешно зарыдала.

Мария уложила Мальву в постель, голова ее горела: не иначе, кто-то сглазил дочку. Мария прикладывала к ее голове холодное полотенце, тревожилась. Стратон долго сидел молча, он не понимал причины Мальвиного недуга, но был уверен — это не потому, что ее сглазили. Вечером промолвил, тяжело вздохнув:

— Вот что, Мария... Если уж ты твердо решила вернуться на Украину, то не откладывай в долгий ящик. Беда беду найдет, пока солнце зайдет... Иди к хану. Новый царь в начале своего царствования всегда бывает щедрее, чем тогда, когда осмотрится. А если у тебя не хватит денег — добавлю.

«С кем ты будешь, Ислам?» — спрашивали пронизывающие узкие глаза Сефера Гази молодого хана, вошедшего в зал дивана.

Ислам-Гирей остановился напротив высокого трона, обитого оранжевым сукном, с вышитым золотым полумесяцем на спинке, ждал ритуала коронации. К хану подошли четыре бея, каждый держался за угол широкого пушистого войлока. Высокомерно и покровительственно, словно на старшего сына, посматривал на Ислам-Гирея самый богатый в Крыму ширинский бей Алтан, некоронованный хан улуса. Заискивающе глядели на нового хана яшлавский и барынский беи. Холодный, горделивый, казалось, равнодушный ко всему, что тут происходит, стоял властитель Перекопа ногаец Тугай-бей из рода Мансуров. Даже взглядом не напомнил Ислам-Гирею, что это он передал через своего салердала Мамета мешок денег для Сефера Гази.

Ислам-Гирей всматривался в лица своих требова-

тельных советников, остановил взгляд на Тугае, и его глаза засияли. Нет, не для подкупа тратил золото перекопский бей. Этого воина — именно воина, а не бея — он знает еще с тех пор, когда командовал восстановлением Ор-капу. Ислам подумал: если ему когда-нибудь придется считаться с этими четырьмя могущественными беями ханства, он будет искать дружбы не с коварным Ширином, не с трусливым Барыном, не с убогим Яшлавом, а с Тугай-беем из рода Мансур, который ковал свою волю в седле, а не на мягких персидских коврах.

Хан стал на войлок, беи подняли его, взявшись за четыре угла, и понесли, восклицая:

— Встань! Живи!

Молча смотрели на церемонию ханские оруженосцы-сеймены и их вожак Сефер Гази, стоявшие возле трона.

Беи ждали, что хан поклонится им.

Мускулы на лице Ислама напряглись, еще больше выдалась вперед нижняя челюсть. Он не встал и не поклонился беям, оперся головой о спинку трона и протянул назад руку — Сеферу Гази. Тот подошел, величественным жестом подал хану свиток бумаги. Ислам развернул его и медленно, слово за словом, прочел первый свой указ:

— «Великого улуса правого и левого крыла благородным беям, муфтиям, кадиям и шейхам сообщаю этим указом: отныне я великой орды, великой монархии, столицы крымской, неисчислимых ногаев, горских черкесов — великий цесарь.

Ислам-Гирей, сын Селямет-Гирея.

Великого хана самый благородный советник, полномочный и доверенный *Сефер Гази-ага*».

Дернулась голова у Ширин-бея, губы сжались в злобе, пробежала тень неудовольствия по лицам яшлавского и барынского беев, только Тугай стоял, как и прежде, — гордый, могущественный и непроницаемый.

Ислам-Гирей поднял руку, и все, кроме Сефера Гази, вышли из зала дивана. Бывший учитель, теперь ханский визирь молвил, не двигаясь с места:

— Первый бой выигран. Но это только первый бой.

В зал неожиданно вошел ханский оруженосец сеймен

Селим — он три года верно ждал своего благодетеля и повелителя в свите Крым-Гирея — и сообщил:

— Гонец из Стамбула!

Углом приподнялись вверх брови Ислама, спрятались за веками мышиные глазки Сефера Гази. Но хан не поднялся, не пошел навстречу.

— Пусть войдет, — велел он.

Высокий турок в янычарской форме слегка наклонил голову, и тут Сефер Гази прошипел:

— Кланяйся в ноги великому хану!

Султанский посол смутился, побагровел, поклонился еще ниже, но не пал на колени. Произнес:

— Именем солнца мира султана Ибрагима повелевает тебе великий визирь Муса-паша...

— Муса-паша? — схватился руками за подлокотники кресла Ислам-Гирей.

— ...повелевает отправить свои войска на Украину или в Московитию и доставить в Стамбул четыре тысячи невольников для четырехсот кораблей, которые необходимы для войны с Венецией. И еще велит направить сорок тысяч войск под его высокое командование. И передаю тебе подарки султана, — гонец положил к ногам кунтуш и саблю.

Ислам поднялся умышленно медленно, надел кунтуш на одну руку, а на саблю даже не взглянул. И сказал удивленному таким отношением гонцу султана:

— Мне ничего не известно ни о войне с Венецией, ни о ее причинах. Две недели тому назад благословил меня на престол богоподобный Ибрагим, а до дворцовых ворот провожал меня не Муса-паша, а великий визирь Аззем-паша. Доложи мне, что случилось в Порте по воле аллаха.

Гонец докладывал покорно, пораженный независимостью и высокомерием хана:

— Аллах видит все и не простит тем, кто не понял своего счастья. Проклятый Замбул, пусть истлеет его лицо, купил с ведома Аззема-паши галеру и поплыл на ней в Мекку с украденным у султана добром. Возле Родоса на галеру напали мальтийцы, захватили ее, а потом остановились на отдых возле берегов острова Кандин[1]. Венецианцы предоставили предателю убежище, а султан, отвага и решительность которого известны всем странам, объявил Венеции войну.

[1] Кандин — остров Крит, принадлежал Венеции.

Ислам-Гирей слушал, подперев голову рукой. Нет Аззема-паши. Хорошо это или плохо? Возможно, и хорошо. Ибрагим станет еще глупее и беспомощнее. Война с Венецией. Хорошо или плохо? Тоже, очевидно, хорошо, потому что немало прольется турецкой крови. Что ответить гонцу? Отказаться выполнить первый султанский приказ, когда еще бразды правления некрепко взяты в руки, — рискованно. Выступить против Московитии, которой еще Мухаммед дал шертную грамоту [1], — невыгодно. На Украину? Нет, Украину сейчас трогать нельзя. Теперь казачеством заинтересовались Англия, Франция, Швеция, Голландия. Хмельницкий под Дюнкерком одержал блестящую победу над испанцами, он еще может пригодиться Крыму. А Ляхистан не платит дани, можно воспользоваться случаем и самим взять ее, хотя султан и не говорит об этом. А выступить придется — Крым еще не оправился от голода.

— Передай султану, — сказал хан после длительного раздумья, — что покорный слуга Ислам-Гирей заверяет его в своей преданности и является рабом и пылью в сравнении с ним. Но крымские люди в Стамбул не пойдут — у нас голод, чем они там поживятся? Они пойдут в гяурские земли за ясырем для султана.

...Лишь зимой возвращались войска Ислам-Гирея по Покутской дороге, ведя десять тысяч пленных украинцев и поляков. А из Стамбула в Варшаву направлялись послы с наказом заверить короля Владислава, что нападение на Польшу Ислам-Гирей совершил по приказу Аззема-паши, за что великий визирь был казнен.

Дорога была далекой и тяжелой, холод косил пленников, мурзы и сеймены возмущались тем, что после султанского дележа им ничего не осталось.

За Перекопом отобрали две тысячи самых сильных мужчин для султана, остальных стали делить между собой. Хан послал Сефера Гази и Крым-Гирея следить за распределением ясыря.

Вскоре до ханского шатра донесся непонятный шум, звон оружия и стрельба. В заснеженной степи стали друг против друга два враждебных лагеря: мурзы во главе с Крым-Гиреем и сеймены — с Сефером-агой. За-

[1] Шертная грамота — договорная грамота.

гремели литавры, воины мурз в островерхих черных шапках понеслись на сейменов, закованных в кольчуги и шлемы. Столкнулись алебарды и бердыши извечных соперников в борьбе за добычу. Захлопали пищали и кремневые пистоли, засвистели стрелы, зазвенели ятаганы и сабли.

Хан пришпорил коня, прискакал на поле битвы, но остановить ее уже был не в силах. Мурзы окружили сейменов и секли их саблями.

— Прекратить! — исступленно кричал хан и, подвергая себя смертельной опасности, скакал по полю.

Бой начал утихать, мурзы повернули коней и со всех сторон окружили хана.

К Ислам-Гирею подъехал на коне ширинский мурза, сын властного Алтан-бея, который не забыл пренебрежительного отношения к нему хана во время коронации.

— Хан, — сказал он, выдыхая клубы пара в лицо Ислам-Гирею, — ты наш властелин, а мы твои слуги. Но нет властелина без слуг, подданные же всегда найдут себе господина. Мы согласны подчиниться тебе, но не самозванцу, в жилах которого нет и капли благородной крови. Вели арестовать Сефера Гази, который, словно трусливый хорек, убежал с поля боя. Мы найдем его. Вот тебе готовый ярлык на его арест, приложи печать. Беи не могут допустить, чтобы главным агой татарского войска был ничтожный раб, который возвеличился на грабительских сейменских поборах.

Ислам-Гирей ужаснулся: осудить на казнь верного учителя! Он поднял было руку, но она тут же опустилась — в этот момент не было у него ханской власти, и возвратить ее он мог только ценой жизни Сефера. Лица мурз были суровы и решительны, их взгляд говорил: «Мы посадили тебя на трон, мы тебя и свергнем с него». И тогда хан вспомнил совет учителя: у предводителя должно быть два лица — рыцаря и коварного змея. «Так вот на ком приходится мне впервые опробовать твою науку, мой добрый учитель!»

Ширинский мурза подал Исламу исписанный лист бумаги. Хан снял с пальца перстень и дрожащей рукой приложил его к ярлыку.

Небольшой отряд бейских воинов понесся вскачь по степи в погоне за Сефером-агой.

Тогда к хану подъехал властелин Перекопа Тугай-бей и промолвил, мрачно глядя на него:

— Хан, я в десять раз сильнее тех, кому ты сегодня подчинился. Со своими ногайцами я сильнее, чем ты. Но междоусобица ни к чему, когда на ханский престол аллах послал мудрого властелина. Сефер-ага пересидит опасное для себя время в Ор-капу. Такая голова не должна слететь с плеч. И твоя тоже. Можешь, хан, рассчитывать на меня...

Долго Мария дожидалась приема у хана. Вернувшись из похода, он никого не принимал. Только в день намаза, когда сосед соседу приносит хлеб, чтобы помянуть умерших, а перед воротами ханского дворца раздают еду нищим и цыганкам, Ислам-Гирей принял просителей.

С трепетом входила Мария в ханскую канцелярию в сопровождении мангушского старосты, который за хороший калым согласился подтвердить, что Мария и ее дочь — правоверные мусульмане, желающие возвратиться к гяурам, чтобы проповедовать среди них самую справедливую на земле веру.

Оставив башмаки на лестнице, Мария вошла в зал и упала ниц перед ханом. Ислам-Гирей молча кивнул казначею, сидевшему сбоку за столиком. Тот велел рассказать о своей просьбе, выслушал ее, посмотрел на хана. Хан кивнул головой. Мария положила перед казначеем кучу алтынов, и тогда писарь, сидевший рядом, изрек гнусавым голосом:

— «Жителям Мангуша Марии и Соломии, которые удостоились получить этот красноречивый хаканский ярлык, разрешается пройти через укрепления Ор-капу в Ногайскую степь и дальше, и никто из моих слуг не может чинить им каких-либо препятствий.

Великий хан Крымского улуса *Ислам-Гирей*».

Сбылось! Конец неволе! Да неужели это правда? Мария, кланяясь и плача, выбежала из ханского дворца и что было духу помчалась по ущелью в Мангуш.

— Мальва! Мальва! Соломия! — звала она в своем дворе дочь, но ей почему-то никто не откликался.

Открыла ворота Стратоновой усадьбы.

— Страто-он!

Стратон приковылял к порогу, лицо его обрюзгло и осунулось, он как-то виновато развел руками. Тревога закралась в сердце Марии.

— Где... где Мальва?

— Я не отпускал, умолял, угрожал... Но она как безумная...

— Да что же случилось?! — в отчаянии закричала Мария, и руки ее поднялись к шее, словно она хотела задушить себя.

— Успокойся, Мария... Ведь не умерла же она. Приехал сегодня к нам ханский страж и сказал, что хан велит... не велит, а просит, чтобы Мальва явилась к нему. Я ничего не понимаю... Откуда хан мог узнать о нашей Мальве... И она уехала... Говорила, что вернется и все тебе расскажет. Мария, не принимай это близко к сердцу... Плачем горю не поможешь. Получила грамоту? Ну, вот завтра и пойдете...

— Вот она, моя выстраданная... Я знаю... Теперь знаю, почему Мальва была... такая. О боже!.. Моя дочь станет ханской наложницей! — Она протянула Стратону руку с грамотой, покачнулась, всхлипнула и в обмороке повалилась на землю...

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Мати моя дорогая,
А я ж тебе не пізнала.
Скидай з себе свої лати,
Будеш з нами панувати.

Украинская народная песня

«Сказал пророк, пускай над ним будет мир: пойдут люди в рай по мосту — сирату, тонкому, как волос, и острому, как меч. И поведет их Монкир...»

Гвоздем застрял в мозгу Ислам-Гирея этот хитроумный хадис; растолковывая его сам, без хафизов, он выработал для себя собственную тактику.

Много дней после возвращения из похода в Ляхистан Ислама мучила совесть. Изо всех углов, из-за канделябров, из окон смотрели на него проницательные глаза, полуприкрытые веками. Учителя обрек на смерть. Отблагодарил за науку, за освобождение из неволи, за ханский престол.

А потом в памяти всплыл услышанный еще в Зинджирлы-медресе хадис, как бы написанный для него. Каждого человека в жизни ведет свой ангел Монкир по тонкому волоску риска. И только тот, кто способен ба-

лансировать, сохранить равновесие, кто может покривить своей совестью, пройдет по нему в рай. Те же, что идут прямо, попадают в ад...

Пришло успокоение и к хану, а вместе с ним странное, кощунственное чувство удовлетворенности победой над самим собой: для достижения своей цели теперь он сможет пойти на все. Пускай напрямик идут те, кто думает лишь о своем «я» и своей совести. У него есть Крым.

Он долго ничего не знал о судьбе Сефера Гази. Ему не хватало учителя не из-за укоров совести, а для совета. Теперь он должен был думать обо всем сам. Что делать, чтобы стать могущественным самодержцем, чтобы прикладывать печать только тогда, когда этого пожелает он сам? С чего начать? Истощенный голодом народ рвется за Перекоп, чтобы грабить, а он знает, что сейчас нельзя трогать северных людей. Беи держат в своих руках трон, и выступить против них сейчас еще не хватает сил. Порта пока что еще сильна...

Ислам не принимал никого, даже братьев. Ждал известий от Тугай-бея. Этот железный ногаец стоял в стороне, когда разгорелась борьба при дележе ясыря. Не вмешался, когда хана окружили мурзы. А потом протянул ему руку. Обратиться теперь к нему, признаться в своем бессилии и стать зависимым от него? Нет, надо выждать...

Наконец из крепости прискакал посланец с письмом. Писал Исламу сам Сефер Гази.

«Сын мой, я жив, и придет время, когда вернусь к тебе. Я рад, что ты поступил именно так. Ты доказал, что можешь быть ханом. Однако не злоупотребляй моей наукой, и аллах благословит твои замыслы. С союзниками будь дипломатом, с врагами будь хитер и коварен, как ядовитый змей, а друзей, которые могут пригодиться тебе, не предавай. Друг еще простит, но судьба может порой отомстить».

Пораженный великодушием аталика, Ислам-Гирей спустился из опочивальни в малую мечеть и долго молился. Потом вышел из дворца один, без сопровождения, и направился вверх вдоль Чурк-су в сторону Качи. Поднялся по тропинке на вершину, откуда была видна резиденция Нурредина Кази-Гирея. Надо было бы поговорить с младшим братом, посоветоваться, как быть с Крым-Гиреем, который оказался на стороне беев. Но нет,

еще рано. А может, и совсем не надо... Хорошо, что жив Сефер Гази.

Повернулся и пошел по гребню к Чуфут-кале. Сегодня ему хотелось побыть наедине со своими мыслями. Остались позади буковые безлистые рощи и поляны с промерзшими кустами можжевельника; из низины потянуло запахом весны — там уже зеленела трава, да и на вершинах за кустами можжевельника серели остатки снега.

— Сефер Гази жив! — еще раз повторил вслух. — Он еще вернется ко мне, дайте только укрепиться. А когда упрочу свое положение, тогда народ увидит разницу между мной и моим предшественником. Отменю военный налог, который ввел Бегадыр, восстановлю на Перекопе торговлю солью с гяурами, пусть немного оправится народ, пускай набьет себе брюхо. А потом он последует за мной, куда я захочу. Тогда зажму в кулак Ширинов и Барынов, на первом месте в диване поставлю презираемого Яшлава, и будет он мне служить, как верный пес. А Тугай-бея назову другом. Жалобы людей буду выслушивать на улице и не пожалею для них щедрот своих. А тогда скажу туркам: «Уходите отовсюду: из Кафы и из Ахтиара, из Судака и Керчи!»

Настроение его поднялось. Он вспомнил молодые годы, польский плен, тревогу за ханский престол, турецкую неволю, и вдруг бурною волной ударило в сердце воспоминание... «Ты — хан». Кто произнес эти слова, ставшие пророческими? Он и Сефер Гази едут из Ак-мечети в Бахчисарай отдать последний долг покойному Бегадыр-Гирею. Сефер Гази учит уму-разуму молодого Ислама. А навстречу — девушка, стройная, тонкая, совсем еще ребенок, и прекрасная, как распускающаяся роза на рассвете. «Ты знаешь, кто я, девочка?» — «Знаю, ты — хан»... Откуда она? Вспомнил, из Мангуша, назвала себя Мальвой. И он обещал найти ее, когда станет ханом. Но это было давно... Возможно, теперь она уже вышла замуж. Но он обещал, и его обещание должно быть платой за предсказание. Лукавить с судьбой нельзя. Надо найти ее и хотя бы поблагодарить... Да, в день намаза он примет посетителей, а Селима пошлет разыскать ее. Пусть просит у хана, что пожелает.

...После обеда в день намаза Ислам-Гирей оделся в легкий костюм воина и в приподнятом настроении, словно и не обременяла его тяжесть ханства, поскакал на коне к Ашлама-сараю, где должна была ждать его юная

предсказательница из Мангуша. «Пришла ли, отыскал ли ее Селим? — думал он дорогой. — И что сказать ей, чем вознаградить? А может быть, все-таки спросить, не желает ли она, чтобы хан выполнил свое обещание?» При этой мысли радостное волнение охватило все его существо. Словно юноша, Ислам-Гирей соскочил с коня и стремительно вошел в покои, раздвинув обеими руками портьеры.

Посреди комнаты стояла девушка. Черные брови сошлись на переносице, лицо — бледное от волнения, черные как смоль волосы и темно-синие глаза.

Она стояла с открытым лицом, застыв, слегка вздрагивая. К ней подходил тот суровый и гордый хан, который небрежно бросал на головы людей медные монеты. Ой, нет, не он... К ней подходил тот самый рыцарь, которого она когда-то встретила в Ашлама-дере, — с мужественным лицом, острым пылким взглядом, с выдающейся вперед бородой...

Ислам-Гирей коснулся рукой ее лица и сказал, ласково улыбнувшись:

— Я не могу узнать тебя, красавица. Узнаю разве только твои глаза, синие, точно дарданелльские воды. Видишь, исполнилось твое пророчество, и я готов уплатить тебе свой долг.

— Медными монетами? — тихо спросила Мальва.

— Я сделаю все, что ты только пожелаешь. Но денег, помню, я тебе не обещал... — Ислам в минутном раздумье потрогал бороду... — Я тогда сказал...

— Ты сказал: «Будешь моей третьей, но первой женой», — закончила за него Мальва, не сводя с хана зачарованного взгляда.

— Это память ума, Мальва, или память сердца? — спросил Ислам, пораженный непосредственностью девушки.

— Не знаю, не понимаю...

— Ты бы согласилась стать моей женой?

— О да! Как же иначе? Я ждала и верила, потому что эти слова сказал мне рыцарь. Только мама ничего не знает...

Хан повернулся к двери.

— Селим! — позвал он. — Скачи в Мангуш и привези сюда ее матушку. Скажи ей: хан кланяется в ноги матери самой очаровательной красавицы в мире и просит прибыть в свои покои...

Им овладела страсть настоящей любви, которой он не изведал до сей поры.

Он схватил Мальву за руки и прижал к себе.

Впервые в жизни Мальва ощутила силу и сладость мужских объятий. Инстинктивный женский протест овладел ею, она выскользнула из рук хана, обессиленная и жаждущая, как тогда — во сне на Чатырдаге.

— Ты великий и могущественный хан... Но я покорюсь тебе не потому, что ты хан. Я люблю... Умоляю, не делай меня наложницей в гареме...

— Не бойся, красавица моя. Завтра же мы сыграем свадьбу.

Вернулся Селим. Он был не таким, как прежде. В глазах, в которых всегда светились преданность и готовность в каждый миг умереть за хана, появились тревога, волнение, печаль.

— Хан, — сказал он, — ее мать... умирает.

Мальва ахнула, стремительно бросилась к выходу и побежала по ущелью.

Мама-а!..

Перед ее глазами мелькали разноцветные пятна: все, что произошло сегодня, казалось ей теперь сном, а действительность ошеломила страшным известием: умирает ее мать. Из-за нее, из-за нее, из-за нее...

Вбежала в хату. Стратон стоял у постели мрачнее ночи, враждебно посмотрел на Мальву.

— Ты отплатила ей за все. И за свое рождение, и за то, что не дала тебе погибнуть в этой страшной неволе...

— Умерла?! — закричала Мальва и упала на грудь матери. — Ой, ой, мама!

Мать открыла глаза, с трудом прошептала:

— Ты тут, дитя?.. О, моя Соломия... Не плачь, не плачь, я не больна, только сердце почему-то не слушается меня. Сколько ему довелось претерпеть... Я завтра поднимусь. И мы поедем на тихие воды... к ясным звездам... О, как я ждала этого дня! У нас теперь есть грамота, мы свободны... Зачем ты пошла к ним, доченька?

Мальва упала перед матерью на колени, прижалась лицом к ее желтой руке.

— Мама, слышишь, мама... — Мария приподняла голову. — Выслушай меня. Я ждала его... Разве я могла знать, что этим причиню тебе горе? Я полюбила его еще маленькой, тогда он не был ханом. А ты же воспитывала



меня мусульманкой, я не могу тосковать о том, о чем тоскуешь ты, хотя и хотела. Я не знаю тех ясных зорь и тихих вод. Они у меня тут — в долине Узенчика, на вершинах Чатырдага, на улицах Бахчисарая, в его глазах. Но тот край, о котором ты печалилась, не чужой мне, потому что он твой. И если хан любит меня, разве он пойдет опустошать земли моей матери? Я люблю его, мама. И ты не губи меня своей землей, как моя погубила тебя...

Мальва рыдала и целовала руки матери. Мария приподнялась, опершись на подушку локтями. В ее голове не умещалось, что тот хан, перед которым она сегодня пала ниц, должен стать ее зятем. Тут что-то не так... Она — полковница Самойлиха — теща хана? Окинула взором хату, посмотрела Стратону в глаза, ожидая от него совета. Но он не ответил на ее немой вопрос. Рыжие брови опустились чуть не до век, в его поблекших глазах она прочла упрек.

— О боже, что я наделала! — схватилась она обеими руками за голову и в отчаянии забилась на постели.

В пятницу перед обедом из Мангуша выехала крытая шелком, украшенная пальмовыми ветками арба. Спереди сидел молодой кучер, покрикивая на пять пар откормленных волов, и бросал в толпу, высыпавшую из Мангуша и Бахчисарая в ущелье Ашлама-дере, цветастые платочки. Позади арбы шли музыканты, играя на зурнах и чонгурах.

Свадебная процессия остановилась перед летним ханским дворцом. Навстречу ей вышел сам Ислам-Гирей в соболиной шубе. Подошел к арбе, раздвинул шелковые занавески и вынес на руках невесту, в золотистой фередже и яшмаке из розовой турецкой кисеи. Под звуки музыки, шум и возгласы он пронес ее сквозь толпу людей и скрылся за воротами дворца.

Мангушане постояли и разошлись — удивленные, одни с завистью, а некоторые с надеждой, что, может быть, когда-нибудь защитит их молодая султан-ханым Мальва.

Мария и Стратон не провожали арбу, не пировали на свадьбе дочери, остались дома. Сидели, охваченные страшным горем, в доме Стратона, таком тихом, словно там лежал покойник.

Семь башен Ор-капу навеки закрылись перед Марией на пути к Перекопу.

До сих пор Мария не замечала скал вокруг своей хижины. Ведь у их подножия жило только ее тело, только руки трудились, добывая деньги на ханскую грамоту, а душа витала далеко от этих скал, и они не угнетали ее. Теперь же скалы сошлись, сомкнулись белыми ребрами. Загородили узкий проход, по которому она надеялась уйти с Мальвой в родной приветный край...

Две горы, Анам-каясы и Балан-каясы... Гора-мама и гора-дитя. Когда-то, рассказывают старые татары, тут

жила вдова с дочерью. Посватался к Зулейке разбойник, и пошла Зулейка ему навстречу. Увидела это мать, закричала: «Стой! Лучше камнем станем!» И они превратились в две горы.

О, если бы Мария обладала такой волшебной силой!

Не утешил ее и богатый ханский калым за невесту. Десятикратно вернулись Марии тяжким трудом заработанные деньги на грамоту. Но кому они теперь нужны?

Минула неделя, другая, и собралась старая мать, ханская теща, навестить во дворце свою дочь. В черном одеянии и черная лицом, словно тень, подошла она к закрытым железным воротам. Ее остановил стражник в остроконечном шлеме, с бердышом в руке.

— Куда ты, старуха?

— Я к дочери, — сказала она, глядя в землю. — Она жена хана.

— Ты? Мать Мальвы-ханым? — удивился страж, и только теперь Мария подняла на него глаза.

Долго смотрела на воина и уже забыла, зачем пришла. Где-то она видела этого белокурого юношу, однажды он промелькнул перед нею и почему-то встревожил материнское сердце... Ах, это было давно, когда покойный хан Бегадыр отправлялся в поход на Азов, а они с Мальвой впервые пошли в горы, убегая из голодной степи. Да, да, это тот самый, похожий на святого, который охраняет матерь божию на скале у Успенского собора. Тогда Мария не видела его глаз, а теперь они смотрели на нее холодно и неприступно, но такие знакомые, такие знакомые. Боже, ведь у него такие глаза, как у Мальвы!

Пораженная чудовищной догадкой, Мария попятилась, протянула руки, но они бессильно опустились.

— Ты — мать ханым Мальвы? — спросил еще раз Селим, уже мягче, но все же с недоверием.

— Да, да... — прошептала она. — А ты, ты кто? — спросила она и обессилела. — Кто ты?

— Не полагается воину на службе разговаривать с женщиной, — сурово ответил Селим, но не закрывал ворот, стоял, скованный безумным взглядом этой незнакомой женщины. — Хорошо, — сказал он после минутной паузы, — я доложу кизляр-аге, что к ханым пришла ее мать.

— Кто ты? — не слыша его слов, спрашивала Мария. — Ради жизни твоей матери, скажи, кто ты?

— У меня нет матери. У меня не было ее... — ответил

Селим, и печаль тенью облачка промелькнула на его суровом лице и исчезла.

— Кто же родил тебя на свет? Ведь должен был кто-то родить тебя! — воскликнула Мария, и встревоженный Селим попятился к воротам. — Нет, нет! Не закрывай, умоляю! — упала на колени Мария. — Скажи мне только одно: откуда ты пришел сюда?

Селим поднял ее с земли, ласково промолвил:

— Женщина, у тебя помутился разум, уходи отсюда. Не принуждай меня звать сюда евнухов, чтобы прогнали тебя. У тебя, наверное, большое горе, ты ищешь своих детей. Их тут нет. Ханым Мальва родом из Мангуша, меня зовут Селим, а моя мать — старая цыганка Эмине из Салачика. Тут нет твоих детей.

— Но ты-то не цыган, а белый! — уцепилась Мария за кольца закрывшихся ворот.

Мария овладела собой. Шла по мощеной улице, невольно ускоряя шаг, мимо греческих и армянских магазинов, не слыша зазываний продавцов, наталкивалась на женщин, спешивших на базар в Салачик, и остановилась лишь возле цыганских хижин и темных входов в пещеры.

— Скажите, где живет старуха Эмине? — спрашивала она. — Где живет Эмине?

Ей указали на крайнюю пещеру.

Морщинистая, с распущенными седыми волосами ведьма вышла из пещеры и выставила свои костлявые пальцы, словно хотела ими вцепиться в лицо непрошеной гостьи.

— Что ты ищешь тут? — прошипела она.

— Ты Эмине? — спросила Мария, и в памяти возник цыганский табор на околице села; сдавила грудь старая, уже забытая боль, от которой Мария чуть не лишилась рассудка, когда пропал из сада ее маленький Семенко.

— Я больше не ворожу, — забормотала старуха. — Иди вон туда, — указала рукой на вход в пещеру. — Там моя дочь.

— Нет, нет, я пришла не ворожить... Но у меня есть деньги, и я заплачу тебе... Скажи, откуда у тебя появился Селим, который служит у хана?

Глаза у старухи беспокойно забегали и остановились. Она пронзила Марию недоверчивым взглядом и повернулась, не ответив.

Мария схватила цыганку за руку.

— У меня есть золото, Эмине! Скажи, ты же с Украины привезла его?

— Мы люди кочевые и бывали всюду. Я не могу припомнить, откуда этот парень, которого хан купил у меня.

Мария отвязала от шеи мешочек.

— Тут много золота. Я отдам тебе все, если скажешь, ведьма, где и когда украла этого ребенка, который был белым, как пена на молоке, а глаза у него были синими, как незабудки...

— Уходи, женщина, — прошамкала Эмине, сочувственно взглянув на Марию. — Не ищи утраченного. Он все равно уже не твой, даже если ты его родила...

Мария поплелась назад. В голове шумело, клещами сдавливало виски. Пошла обратно во дворец.

Открылись парадные ворота. Верхом на конях выехали безбородые евнухи, а посредине — тоже на коне — жена хана в парчовой чадре. Узнала Мария, но не тронулась с места, не поднялась. Это не ее дочь, не Мальва — совсем чужая женщина со знакомым лицом. Тут все ненастоящее: и то, что, возможно, ее сын охраняет хана, и то, что Мальва стала ханской женой, и то, что Мария Самойлиха сидит, словно нищая, у ворот дворца... «Разве все это может быть правдой?» Нет, это не мы. Въедливый плющ оплел наши тела и души, приняв наше подобие, высосал животворную кровь. Нас больше нет... Горбатый верблюд, что стоит на площади возле купеческого каравана, благороднее, чем мы. Он еще может плюнуть в лицо хозяину смердящей слюной, он гордо держит голову, потому что все-таки остался сам собой, а мы нет. Мы умерли, уничтожив себя от страха...

Мальва остановила коня, увидев мать, сидящую, согнувшись, на мостике, радостно улыбнулась, соскочила с седла и прижалась к ней.

И только теперь Мария почувствовала, как с ее груди сползает тяжелый камень скорби, как начал проясняться утомленный мозг и возвращаться утраченный покой.

«Где-то, наверное, живет еще один янычар. Служит убийцам отца. Разве я могу уйти от них?»

Марию охватило чувство покорности, угасали мечты, надежды, не стало Самойлихи. Сидела, съежившись у чужих ворот, словно бездомная собака, ищущая на развалинах потерянных ею щенят.

— Я собралась к тебе, мама, — услышала Мария голос Мальвы и почувствовала прикосновение ее теплых рук к лицу. — Как поживаешь? Здорова ли ты? Почему до сих пор не приходила ко мне?

— Хворала я... А ты, доченька, счастлива? — спросила мать, не глядя на Мальву, чтобы не видеть ее в чужом одеянии, а только слышать родной голос, чувствовать прикосновение дорогих рук.

— Счастлива, хан любит меня, — пролепетала Мальва, и тогда мать посмотрела на нее, потому что какая-то тревожная недоговоренность улавливалась в ее словах. Не почувствовала ли пташка себя невольницей в золотой клетке?

Мальва заметила тревожный взгляд матери и улыбнулась:

— Я, мама, счастлива, лишь бы только ты не убивалась...

— Не беспокойся обо мне. Я буду жить вместе со Стратоном в Мангуше. Коль уж оторвалась от своего родного угла, так и помирать придется под чужим забором... А Стратону будет легче со мной... И тебе... — Мария глянула на воина, стоящего у ворот, прошептала: — И мне тоже...

— Ты не плачь, мама, — Мальва обняла Марию.

— Почему-то слезы сами текут. — Мария поднялась, показала рукой на Селима. — А ты его знаешь?

— Знаю. Это любимец хана, самый близкий его страж.

«Оба ханские. Оба янычары... Дети, дети, мальвы мои поблекшие».

Со страхом, сжимая губы, чтобы не разрыдаться, Мария подходила к Селиму. Селим виновато улыбнулся:

— Прости, старуха. Ты какая-то странная, и я не поверил, что ханым — твоя дочь.

Мария прикоснулась к его плечу:

— Я не обижаюсь на тебя. Я буду часто приходить, а ты... ты хоть иногда улыбайся мне... Не удивляйся, почему я спросила, кто твоя мать. Ты напомнил мне моего сына, брата Мальвы, его украли у меня, когда он был еще младенцем... — Мария прикрыла рукой уста, ибо увидела, как вздрогнул Селим, как глаза его впились в лицо женщины, а в руках задрожал бердыш.

— Хан выезжает! Великий хан Крымского улуса Ислам-Гирей! — прозвучал громко голос во дворе.

Селим выпрямился, евнухи подхватили Мальву на руки, усадили на коня.

Мария тенью промелькнула вдоль высокой стены и незаметно исчезла за углом.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Мир развивается сам по себе, и никакой тиран его не изменит и не остановит.

Авиценна

Меддах Омар отправился из Скутари в дальнюю дорогу — в Адрианополь. Старец знал, что это путешествие будет последним в его жизни: годы, которым забыл счет, склоняли его все ниже к земле, дряхлое тело просилось на вечный покой. Но ум протестовал против смерти в тихом углу. Омар стремился оборвать нить своей жизни там, где она могла бы хоть на мгновение осветить путь другим своим последним пламенем.

Он не верил в победу повстанцев, которые отважно решились напасть на бывшую столицу Османской империи, но все равно шел к ним. Он заранее предвидел смерть вожака кызылбашей Кер-оглы, но знал, что предотвратить восстание невозможно, как нельзя вычеркнуть ни одного дня из года. Ибо развитие нового мира от рождения до победы — это цепь попыток и упорных стремлений, в которых старое служит для того, чтобы из него вырастало новое.

Ведь смерть ювелира Хюсама не прошла бесследно, и смерть великого визиря Аззема-паши осталась в памяти людей. Поэтому и Омару грешно уходить, не оказав помощи борющимся за правду.

Видимо, такова уж воля всемогущего аллаха, а может быть, это благодарная судьба подлинных служителей искусства, творения которых оцениваются после кончины. То ли при жизни художник собой заслоняет свой труд, то ли просто не верят люди, что этот, на вид ничем не выдающийся человек, который не умеет так гордо, как придворные певцы, стоять рядом со всесильными мира сего, может быть великим. Но вот уходит он, оставляя свои мысли в песне, в затейливой росписи на вазе, в капители мраморной колонны, и спрашивают тогда люди: «Что это за чародей?» Пытаются вспомнить его

имя, расспрашивают друг у друга, и на помощь непомнящим приходят всезнающие придворные, которые травили художника при жизни, и говорят: «Это наш великий предшественник», чтобы хоть как-нибудь примазаться к бессмертию, коль его бессмертных творений при жизни убить не могли.

Кто знал старого ювелира Хюсама? Не помнил его покойный Амурат, который носил инкрустированный жемчугом сагайдак работы Хюсама, безразличны были имамы мечети Айя-София к тому, кто каким-то чудом написал стих корана на бадахшанском рубине, украшающем михраб; не знал кафеджи на Бедестане мастера, сделавшего чаши из яшмы, в которые он наливал вино знатным иностранцам. Да и поверил ли бы кто-нибудь из них, что это творение чудодейственных рук согбенного старца, который стоит за соломенным стулом у ворот Бедестана, затравленный и презираемый устарагином ювелирного цеха?

Но вдруг не стало Хюсама. Алимовы головорезы выволокли изувеченное тело нищего, продававшего искусные изделия с драгоценными камнями да еще и посмевшего поднять руку на чорбаджи первой янычарской орты, за стены базара и приказали сторожам зарыть старого пса.

А потом случилось то, чего никто не предвидел. Умерла Нафиса, не дождавшись своего мужа, мастерскую Хюсама ограбили цеховые ювелиры, и невиданные ценности появились в самых богатых магазинах Бедестана. Купцы удивлялись, восхищались, чужеземцы спрашивали, кто их создал. Сказано — шила в мешке не утаишь. Поползли слухи о том, что продаются изделия покойного скутарского ювелира Хюсама, который смастерил Сулейману Пышному султанский трон и перстни которого носила сама Роксолана Хуррем. Неимоверно подскочили цены на его изделия, торговцы размахивали золотыми браслетами, подбрасывали на руках медальоны и амулеты, продавцы посуды вызванивали по серебряным тарелкам и кофейникам, призывая: «Покупайте, покупайте, это изделия Хюсама, знаменитого Хюсама!» А проходимцы подделывали роспись Хюсама и тоже расхваливали товар, не зная толком, на чьем имени они зарабатывают.

И возможно, Хюсам был бы посмертно возведен в сонм придворных ювелиров, если бы не один нищий, что

сидел на базаре в день султанского торжища напротив Хюсама. Он узнал Хюсама в тот момент, когда чорбаджи Алим вонзил в его горло ятаган. Нищий долго молчал, боясь расправы янычар, но все-таки шепнул кому-то, что Хюсам умер не своей смертью, а от руки янычара, кто-то другой вспомнил последний вопль старика и догадался, что чорбаджи первой орты был воспитанником ювелира, — и среди людей поползли разные слухи, превращаясь в легенды. Народ теперь желал знать о Хюсаме все, соотечественникам славного мастера как бы хотелось смыть с себя пятно за равнодушное отношение к старику при его жизни, и вскоре о Хюсаме знали даже такое, о чем он сам и его верная подруга Нафиса не могли бы вспомнить. В кафеджиях рассказывали притчи о детстве Хюсама, женщины в банях придумывали сентиментальные легенды о его пылкой любви к Нафисе, а ревнители искусства раскопали его могилу и перенесли прах ювелира в стамбульский некрополь.

Неизвестно почему, — возможно, причиной тому явились идеи, которые Хюсам умел вкладывать в свои рисунки и из-за которых он погиб, — началось паломничество к его могиле, сборища на кладбище, на которых произносились бунтарские призывы к мести. Субашам пришлось немало поработать, отгоняя народ от могилы Хюсама; они сняли надгробную плиту, имамы прокляли имя ювелира в мечетях. Умолкли продавцы на Бедестане, в сердцах людей нарастал глухой протест, а настоящие и фальшивые изделия мастера продавались теперь из-под полы...

Как видно, такова уж воля всемогущего аллаха, а может, удивительная судьба политических деятелей, что одних знают — боятся и вынуждены уважать, а придет к ним смерть — их тут же забудут, о других при жизни — ни слуху ни духу, а после смерти их за что-то превозносят. Вспоминали ли Селима Пьяного после смерти — после того, как он уснул над кувшином грузинского вина и больше не проснулся? А кто оплакивал жестокого Османа II, которого задушили янычары после хотинского разгрома? Да и Амурата забыли, хотя и говорили, что к нему, мол, даже нищие могли подходить на улице, держа факел над головой [1].

---

[1] Кто хотел обратиться к султану на улице, держал факел над головой.

А великого визиря Аззема-пашу мало кто знал, он всю свою жизнь провел в походах и на заседаниях дивана, а молиться в Айя-Софию ходил пешком, как это подобает правоверному; никто не воздавал ему хвалу, когда он сопровождал султанов, ибо часто славу воздают тому, кто ее требует, а не тому, кому она принадлежит по достоинству.

И вдруг Стамбул содрогнулся от страшного известия: Аззема-пашу казнил юродивый Ибрагим! Пьяный распутник задушил того, кто удержался на шатком посту при трех султанах и чьим умом жили прославленные падишахи. Народ возмутился — султан убил народного заступника, ибо за что другое он мог убить его? Пошли в народ ашуги, тихо напевая песни о легендарном визире; неутомимые меддахи слагали былины о мудром Азземе-паше, и бедняки посмертно признали его своим защитником — не потому ли только, что при жизни он умел думать и из-за остроты своего ума был обречен на смерть.

Начались волнения. Вспомнили свои обиды обедневшие райя, тимариоты, купцы и ремесленники, мученическая смерть ювелира Хюсама и Аззема-паши вселила в их сердца отвагу: это были великие люди, но они не пощадили своей жизни в борьбе за правду, так что же терять им — бедность и голодное прозябание? Бедняки из городских переулков и глухих сел стекались в горы под Адрианополем, куда сзывал их храбрый пастух Кер-оглы, а софти — ученики, эти вечные бунтари — понесли им из медресе запретные книги Вейси и Нефи...

Меддах Омар шел по крутым тропинкам к адрианопольским горам. Не тщеславие и не вера в нынешнюю победу добра над злом вели его. Жизнь мудреца приближалась к концу. И меддах Омар, оглянувшись назад, понял, что все его слова, советы людям, учение пропадут зря, если он хоть перед кончиной не воплотит их в реальность. Ибо даже честно прожитая жизнь бесследно исчезнет из памяти людей, если она не будет освящена достойной смертью.

Шейх-уль-ислам Регель пришел на вечернюю молитву в мечеть Айя-София. Под величественными сводами чувствовалась приятная прохлада, зеленая чалма верховного пастыря империи казалась здесь более легкой,

чем там, в Биюк-сарае, в эту жаркую и не предвещавшую ничего хорошего весну.

Он поднял руки, тихо произнося «аллах-акбар», потом вложил левую руку в правую и начал читать молитву, но почувствовал, что не может полностью слиться с богом, отделиться от той жизни, которую оставил минуту назад за воротами султанского дворца. Как бы это приблизиться к всевышнему так, чтобы услышать от него ответ на все сомнения, которые тревожат его теперь и днем и ночью? Доволен ли всевышний наместником на султанском престоле? Не совершил ли грех шейх-уль-ислам, опоясав Ибрагима саблей Османа? Приблизиться так, чтобы спросить с глазу на глаз, где кроется сила, которая угнетает всех власть имущих при дворе и которой они обязаны ежедневно быть послушными. Ведь султан беспомощен, и не от него исходит эта сила; на властном лице валиде лежит клеймо обреченности и страха; шейх-уль-ислам, которому сам султан целует мантию в первый день байрама и которому одному дано слушаться только бога, должен был вопреки здравому смыслу подписать приговор о смертной казни Аззема-паши — и то тогда, когда его уже не было в живых. Сила какого страха довлеет над всеми властителями и руководит ими?

Регель упал на колени и напрягся весь, сосредоточив свое внимание на трех страусовых яйцах, висевших перед михрабом как символ знойной Мекки. Не внемлет ли аллах его мольбе?

Молчит бог. Он всегда нем, а больше всего тогда, когда его рабов охватывает тревога. Но перед кем этот страх? Перед войной, которая началась с Венецией? А разве Порта впервые воюет? Да это еще и не война, Ибрагим до сих пор не созывает диван. Так, может быть, страшно потому, что Ибрагим не желает воевать, убегает в Понтийские горы на охоту или не выходит из гарема, чтобы не заниматься государственными делами? Или этот страх нагоняют вооруженные пастухи, которые собрались у Адрианополя и угрожают отомстить за убийство визиря и ювелира?

Верховный пастырь читает каллиграфические надписи над золотым михрабом, но они ничего нового ему не говорят, и в памяти всплывает мединская сура корана: «Каждый раз мы придумываем стихотворение, и придумываем лучше. Разве тебе не известно, что аллах все

может?» ...Гм... А какое теперь придумать стихотворение, чтобы объяснить незримую силу страха?

Бунтовщики поднимают головы... Шейх-уль-ислам подошел к возвышению, взял коран и поспешно начал листать, ища суру, которая подсказала бы ему, как бороться с ними. Священная книга должна подсказать, ведь другой мудрости, кроме пророчеств Магомета, у них нет.

Сура мединская, сура пророческая... Сура рахманская. «Мы нацепили им оковы до самого подбородка, и они... вынуждены поднимать головы». Так что же ты советуешь, премудрая книга?.. Снять оковы?!

Шейх-уль-ислам закрыл коран и вышел из мечети, шепотом произнося пятую мединскую суру.

«О вы, которые уверовали, не спрашивайте о вещах, что опечаливают вас, когда вам открывается их смысл. Спрашивали люди и до вас, а потом стали неверующими...»

На паперти ему преградил дорогу дервиш в сером бекташском сукмане, с серебряной серьгой в ухе. Он упал перед шейх-уль-исламом на колени и припал губами к его башмакам.

— Поднимись и скажи, что тебе надо, — сказал верховный имам, присматриваясь к дервишу, который поднял на него как будто знакомые блудливые глаза.

— Святой отец, — промолвил дервиш тихо, но в голосе его слышалась не рабская покорность, а что-то заговорщицкое, — ты можешь и не помнить меня, ибо много у тебя слуг духовных. Я — Мурах-баба, дервиш ордена бекташей, которого ты много лет назад милостиво послал в кафский монастырь, чтобы я там проповедовал правду об Османах среди татар и крымских янычар. Я честно выполнял свою повинность, но когда буря надвигается на нашу священную землю, моя совесть заставила меня...

— Что за черные вести ты несешь мне? — Шейх-уль-ислам схватил дервиша за плечо. — Говори, что слышал! Болгары, сербы, греки?

Мурах-баба встал на ноги, и насмешливые огоньки заблестели в его глазах. Теперь Регель вспомнил: это тот, что подстрекал когда-то янычар выступить против Амурата IV, будучи шейхом дервишей в янычарском корпусе. Он, шейх-уль-ислам, спас тогда своего слугу от смерти, своевременно выслав его в Крым.

— Турки, святой отче. Турки! — ответил Мурах-баба, и шейх-уль-ислам успокоился.

— Ты о Кер-оглы? Не тревожься, мы сильны и можем не бояться ничтожной группы заговорщиков. Не так давно Порта расправилась с Кара-Языджи и Календер-оглы, хотя тех было намного больше. Тысячи посаженных на колы в долине Аладжа, в предместьях Анкары и Урфы долго еще будут устрашать ремесленников и райя, у них надолго пропало желание помогать бунтовщикам.

— Не смею возражать тому, кого справедливо называют морем познаний. Но ты не знаешь одного: среди этой ничтожной кучки бунтовщиков находится сейчас самый заклятый враг империи, тоже турок, — меддах Омар, которому до сих пор никто не осмелился отсечь голову. А бунтовщики, которые думают головой Омара, — это уже не банда, а значительная сила. Тебе известно, что в своих коварных проповедях он призывает турок уйти из чужих земель, снять кандалы с порабощенных. Что будет, если турецкий народ поддастся его крамольным призывам, кто тогда будет душить гяурскую Румелию? Да, я вижу, на землю Османов надвигается страшная буря. Крамола Омара распространится среди людей, как эпидемия, и тогда никто не сможет одолеть ее, ибо она незрима. У бунтовщиков мало оружия, от них скоро не останется и башмаков, но где ты сыщешь такой яд, чтобы вытравить у людей веру в Омара, Хюсама, Аззема-пашу?

Шейх-уль-ислам опустил голову. Этот грязный дервиш разгадал причину его тревоги. Да, да, над империей нависла страшная угроза прозрения подданных! Однако он сказал спокойно и высокомерно:

— Твоя речь свидетельствует о том, что голова у тебя не глупая, и ты станешь шейхом янычарских дервишей. Но скажи, ты знаешь, как найти этот яд? Ты сумеешь отыскать ученых, которые докажут, что Хюсам был бездарным ремесленником, философов, которые бы высмеяли учение Омара, политиков, которые бы убедили народ, что Аззем-паша был трусом и преступником?

— Нет, не найду таких.

— А что будешь делать, коль уж пришел предлагать свои услуги?

— Я разожгу у обленившихся янычар прежнюю жажду к битвам и наживе. Я вселю в них страх, и они снова станут воинами.

— Ты напрасно разбрасываешь перлы своего ума, Мурах-баба. Что ты можешь придумать, чтобы убить бунтарский дух народа?

— Войну! — воскликнул дервиш. — Великую войну. Теперь есть повод. Уже более двух десятилетий протестанты убивают католиков, а мы, хоть и правоверные, выступим против Венеции на стороне протестантов. Янычары пойдут сами, тимариотов и заимов надо заставить пойти силой, в стране пусть останутся лишь калеки, женщины и дети. И пусть голодают, тогда будут думать только о хлебе насущном. Разве при такой жизни может возродиться дух бунтарства? И еще одно, — добавил Мурат-баба шепотом, — возмущенные янычары помогут избавиться от того, кто считает войной погоню за газелями в лесах Понтийских гор...

Проклятие Хюсама все время преследовало чорбаджи Алима. Он слышал немало проклятий и не верил в их злую силу, пока держал в руке ятаган, подаренный могущественными Османами. Но теперь проклял его турок, хозяин, который привил ему веру, дал оружие и хлеб. Предсмертный крик старика сейчас повторяют сотни, тысячи людей — одни громко под Адрианополем, другие молча в Стамбуле. Верховные властители не дали Нур Али печать, а ему — регалий янычар-аги. Чорбаджи Алим почувствовал себя неуверенно на турецкой земле, которую называл своей. Нет, она не его, на ней есть хозяева, а от них зависит его судьба — богатство и нищета, жизнь и смерть. А руки ослабели, отвыкли воевать, и воевать не с кем: где же его враги? Где-то там, в незнакомом ему мире, или тут?

Проповеди Мурах-бабы поддерживали его приунывший дух: Омар — враг, Хюсам — враг, Аззем — враг! Впервые осознал чорбаджи жгучую ненависть не к иноверцам, а к самим же туркам, которые не захотели больше терпеть его своеволия.

Янычарский булук Стамбула двинулся под Адрианополь. Крепко сжала рука Алима эфес ятагана, сжала конвульсивно, в страхе, — он с дикой ненавистью рубил головы туркам, которым дал клятву служить всю жизнь, у которых годами завоевывал доверие. Когда-то убивал чужеземцев за то, что не желают быть подданными и стать под знамена Порты, теперь убивал хозяев, кото-

рые захотели избавиться от своих слуг и были страшнее персов и казаков. Ведь внаймы его больше никто не примет, теперь нигде для него нет земли.

Отряд казылбашей был разгромлен в течение одного дня. Кер-оглы рядом со своими сторонниками погибал на колу. В живых оставили лишь одного Омара. Ему связали руки и привели к умирающему в муках вожаку восставших, чтобы он видел его страшную смерть.

К Омару подошел Мурах-баба. Злорадно блестели его глаза, он не забыл, как когда-то унизил его меддах Омар на горе Тепе-оба в Кафе.

— Видишь, старче, где мы снова встретились? Начинай теперь свои проповеди, ты же знаешь коран на память и докажи, что не я, а ты желаешь добра своему государству. О, тебе, предателю, больше уже не помогут все философы мира.

Молчит меддах Омар, не отрывая взгляда от обезображенного муками лица Кер-оглы. О чем он думает сейчас? В чем раскаивается? В том, что вступил в неравный поединок с тиранами, или, может, в том, что просил у них пощады перед смертью?

— Ты, Омар, наверное, думаешь, что умрешь так же, как он, — продолжал Мурах-баба, показывая на Кер-оглы. — Я знаю, что ты единственный среди этих трусов желал бы такой смерти. Но не обезглавил тебя Амурат, не заточил тебя в темницу Ибрагим, и я помилую тебя. Помилую для того, чтобы лишить тебя славы и чести, какой желаешь ты и те, что когда-нибудь осмелятся так погибнуть. Нет, я буду водить тебя по площадям городов, мои дервиши будут жечь тебя раскаленным железом, пока ты не назовешь себя лжецом и свое учение — ложью. А потом дадим тебе возможность жить и произносить на момберах проповеди, которые составит для тебя шейх-уль-ислам. Если же откажешься, отрежем тебе язык, чтобы мерзкое слово случайно не сорвалось с него, повесим ярлык на шею с надписью: «Я лжец» — и привяжем к столбу Константина на Ат-мейдане, а людей принудим процессией проходить мимо и плевать тебе в лицо... А теперь скажи мне откровенно, что заставило тебя, именитого турка, выступить против своей власти и впутаться в эту детскую игру в войну? Ведь тебе известно, что так же, как один человек не может быть одновременно кому-то отцом и сыном, так и раб не может быть господином. Ты же видишь, что еще не успели пропеть муэдзи-

ны молитву в мечетях Адрианополя, а баталия окончена. Стоило ли губить себя ради этого?

— Я не сумею объяснить тебе того, — ответил меддах Омар, — чего не способна понять твоя голова. Один философ сказал: с невеждой, который считает себя мудрецом, не вступай в разговор. Скажу только одно: ныне погиб Кер-оглы, а завтра, очевидно, погибнет боснийский вождь повстанцев, который должен был объединиться с нами. Но важно то, что стала возможной борьба разума с тьмой. А то, что возможно, рано или поздно свершится. Грядет великая битва, дервиш. Разве ты не знаешь, что, когда в бочке появится хоть маленькая дырочка, вино все-таки вытечет. Если в скале появилась трещина, скала обязательно разрушится. Если прозрел хотя бы один янычар, то разбредется весь корпус. Если один из самодержцев умел мыслить, это значит, что мой народ может иметь умных правителей. А когда простой пастух дорастет до того, что сумеет погибнуть на колу, не раскаиваясь, тогда вы проиграете... На мою же помощь не рассчитывай, Мурах-баба. С этой минуты я не произнесу ни единого слова, можешь отрезать мне язык. Он мне больше не пригодится.

...Меддаха Омара потом задушил собственными руками Муса-паша.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Ой що ж бо то та за чорний ворон,
Що над морем крякає,
Ой що ж бо то та й за бурлака,
Що всіх бурлак скликає!

Украинская народная песня

За башнями гарема — Персидский сад, жемчужина ханского двора, красота, скрытая стенами от человеческих глаз, недоступная, спрятанная.

Кроны финиковых пальм тянутся в высоту, а посмотреть на свет им не суждено, томятся филодендроны и фикусы, наежились сердитые кактусы... Распускаются турецкие тюльпаны, набухают африканские гладиолусы, склоняются до земли чашечки петуний — уныние царит в ханском раю, уныние одиночества, бесцельности, унижения. Из года в год они расцветают, и увядают, и сно-

ва цветут тут с надеждой, что кто-нибудь увидит их красоту, но тщетно. Никто не радуется, не любуется ими. И потому уныла эта красота, и печально бродит по аллеям Персидского сада самая лучшая роза — очаровательная ханым Мальва.

Следом за ней семенит евнух, его недремлющее око охраняет повелительницу, но привыкнуть к опеке евнуха она не может. Когда-то, еще в первые месяцы любовного угара, она тщеславно радовалась тому, что перед ней склоняются евнухи и ханские жены, опускает глаза долу стража, но чем дальше, тем больше это сковывало ее, омрачало счастье любви, ярким светом озарявшей ее юность. И эти стены — эти опротивевшие стены, за которыми никто и никогда не увидит ее, не полюбуется ею, — с каждым днем все больше и больше угнетают, становятся выше, и низкой кажется Соколиная башня, поднимающаяся высокой юртой над дворцами. Прежде она могла смотреть с вершины Эклизи-буруна на Чатырдаг, а теперь только с этой башни. И так будет всю жизнь... Поблекнет красота, она станет такой, как старшие жены Ислама, и тогда... неужели только злость и зависть будут ее единственным наслаждением в этой пышной тюрьме?

И из глубины памяти всплывала порой просьба-молитва, которую она услышала возле Успенского собора: «Пресвятая богородица, спаси нас», — она испуганно подавляла это воспоминание, потому что перед нею возникали сотни страдающих лиц, просивших у своего бога спасения... Нет, нет, она никого не просит о спасении, сама ведь стремилась к этому счастью.

А молитва билась, сдавленная, и плакала, отражаясь, щемящей болью.

Шли годы... Взаперти, в заключении, среди унылой красоты, угнетающей душу. Четыре высоких стены, бассейн, утоптанные короткие дорожки. А ведь был же когда-то Узенчик в широкой долине между гор, и можно было бежать рядом с ним куда глаза глядят, и были когда-то душистые чаиры, и сказочные ночи, и песни юного чабана среди горного приволья...

В ханском дворе всегда многолюдно. Ислам-Гирей повесил меч. Ислам-Гирей торгует.

При дворе польского короля Владислава IV — хан

узнал об этом от купцов — трется венецианский посол Тьеполло, подговаривает ударить по Порте с Крыма, по ее самому уязвимому месту.

Король ведет секретные переговоры с казаками, герой Дюнкерка Ихмелиски согласился. Тугай-бей стягивает свои силы к Перекопу, но тревога напрасна. Тьеполло почему-то изгоняют из королевского дворца, Хмельницкого преследует шляхта, он бежит на Сечь.

Ислам-Гирей торгует. Казаки на чайках и повозках везут в Перекоп табак, зерно, масло, меняют свое добро на сафьян, шелка, вино и соль. На ханский двор каждый день приходят все новые и новые торговые гости из разных стран показывать свой товар. Соотечественник лукавого Тьеполло в коротких штанах и чулках выше колен почтительно снимает перед ханом шляпу со страусовым пером — что же, будем торговать, венецианец, коль не удалось вам пойти на нас войной.

С московитами подписана шертная грамота — «пребывать в союзе, любви и дружбе, не нападать на украинные города, предоставлять свободный проезд купцам». Вот он, русский купец, в красном кафтане, в высокой собольей шапке и сафьяновых сапогах, горделиво выкладывает инкрустированные моржовым зубом шкатулки, соболя, куниц, голубых песцов, белоснежных горностаев, пушистых бобров, льняные ткани. Хан, ты только посмотри, что это за ткани! Купец приказывает слугам растянуть тонкую, почти прозрачную скатерть, выливает на нее жбан масла. Масло не капает на землю.

Хан Крымского улуса торгует и выжидает. Война между Турцией и Венецией затянулась, обленившиеся янычары недовольны, дрожит в своих хоромах юродивый Ибрагим — боится бунта. Ляхистан упорно не платит Крыму дани, он, видите ли, не признает Ислам-Гирея, бывшего своего пленника, ханом.

А на Сечи собирается казачество, рвется воевать со шляхтой, жаждет мести недавно избранный гетманом сам Ихмелиски, у которого шляхтичи убили сына.

Не направить ли к нему послов с шертной грамотой? Но — нет. Договариваться можно с государствами, а казаки — не государство. Какой силой обладают они сейчас?

Накаляется воздух над Крымом. Хан выжидает и торгует. Ибо в казне пусто, потому что налоги подданные вносят нерадиво, а денег требуется много, чтобы не

плясать больше между сейменами и беями, словно между мечами.

«Почему не приходит хан?» — уже пятый день терзали сердце Мальвы подозрение, ревность, печаль.

В последний раз Ислам долго присматривался к маленькому Батыру и произнес странные слова — Мальва до сих пор не может понять, почему он так сказал:

— Аллах, не допусти, чтобы заговорила в тебе, когда вырастешь, казацкая кровь. Еще ведь неизвестно, как завершишь ты дело, начатое мной.

Потом посмотрел в глаза Мальвы и бросил еще одно слово — без высокомерия, без злости, но тяжело, словно ярмо надел ей на шею:

— Казачка...

Так ее еще никто не называл. Этого слова она не знала. Возможно, знала мать, Стратон, — ей же оно было безразлично. А теперь так назвал Мальву сам Ислам-Гирей — ее муж и повелитель, — и оно сразу встревожило ее душу. Казачка... И у сына казацкая кровь. Хан стал упрекать?

Однако почему же он столько дней не приходит к ней? Завистливые ханские жены и стражи уже давно присматриваются к ней, не появилась ли у нее первая морщинка после того, как она родила сына. Смотрелась в зеркало: нет, еще красивее стала. Из несмелой, с тонким станом девушки расцвела пышная женщина — так из орошенного утром бутона расцветает в полдень лилия, и еще далеко, далеко ей до заката. Почему же хан не приходит?

Маленький Батыр уснул.

Меным оглым, яш ярем,
Меным оглым, яш ярем [1], —

напевала она сонному ребенку и присматривалась к черным бровям сына: чьи они — отцовские или, может, деда, казацкие? Какое дело ты должен будешь завершить и почему тревожится хан? Кто объяснит ей эти слова? Неужели она не осмелится сама спросить?

Мальва вышла в сад. Следом за ней засеменил евнух. Она махнула рукой, приказала вернуться, имеет же она право хоть минуту побыть одна.

---

[1] Мой сыночек, мой малютка *(татарск.)*.

Побрела по дорожке к фонтану. Весеннее небо нагнетало синеву в глубокий колодец гаремного сада и отражалось в овальном бассейне — опрокинутое куполом вниз. Вот и все небо. Не видеть больше настоящего, огромного, прижатого к гигантскому кругу земли, а только это — отраженное в мраморном корыте ханского фонтана.

Голубой мрамор еще больше сгущал синеву неба, тихо падали капли, кольцами расплываясь по глади бассейна, а на дне — увидела Мальва — застывшие рыбки, они одна за другой разбежались по желобу, по которому вытекала из бассейна вода, и почему-то остановилась. Присмотрелась внимательнее — ведь они неживые, кто-то искусно вырезал их из мрамора. Но почему скульптор изобразил рыбок у входа, почему не выпустил их из бассейна — на свободу?.. Гм... А разве можно им на свободу? За бассейном притаилась длинноногая мраморная цапля, не выбраться им никогда из голубой тюрьмы...

Зачем так придумал скульптор? Зачем он ограничил жизнь рыбок пределами тесного бассейна и поставил грозную охрану при выходе на свободу? О чем думал неизвестный художник, создавая эту печальную картину? О ком: о себе — сытом, одетом и скованном ханской службой или кастрацией? Или о женщинах, которые томятся в гаремном раю? Или вообще о призрачности счастья?

Мальва посмотрела вверх, и ей захотелось на простор, увидеть небо, то небо, что над Чатырдагом, где можно рукой дотянуться к звездам, где клубятся свободные туманы и ложатся на отдых возле пещер, чтобы окутать прохладой желтые кости тысячи казаков...

Казачка... А они мчатся на конях в горы, им надо спрятаться от неисчислимого войска Кантемира... Клубится дым, выедает глаза, душит, но ни один из них не сдался в плен.

Так зримо предстало перед глазами сказание старого Омара, тронуло сердце, смяло его, сжало. От жгучей тоски ощутила щемящую боль в теле. Эта боль была похожа на любовь, но не совсем, она была жгучая и сладостная, неизвестно почему заставлявшая литься слезы из глаз, и неизведанное чувство вдруг прорвалось в давно забытой песне:

Ой що ж бо то та за чорний ворон...

— Казачка... — прошептала Мальва, идя по узкой дорожке, и вздрогнула: из-за густого куста лавра на нее были устремлены глаза того евнуха, которого она прогнала, выходя из гарема.

Душа содрогнулась от унижения, в груди закипела ярость: хан подсылает скопца, не доверяет ей, а сам не приходит. А сам, наверное, развлекается в других гаремах... Хотела закричать на евнуха, как смеет он не выполнять воли ханской жены, но скопец смотрел на нее нагло, злобно, и она поняла, что евнух сильнее, чем она, он тут хозяин, а она — рабыня. Бросилась бежать — но куда? И сердце охватила нестерпимая горечь по той свободе, которая была уже добыта руками, трудом матери...

Пошла, опустив голову, между клумб с нарциссами, будто покрытых белой пеной, открыла калитку к Соколиной башне — в проходе тоже стоял евнух. И вдруг кроткая ханым сердито крикнула:

— Прочь! — и скопец исчез.

Взбежала по винтовой лестнице наверх, прижалась к решетке. И здесь всюду стены: высокие минареты Ханджами, за ханскими конюшнями — сторожевая башня, массивные ротонды усыпальниц, с запада — стена гарема, и лишь со стороны парадного входа — небольшая щель между сторожевыми башнями, сквозь которую видна улица. Ей хочется туда, а хан не приходит, ей нужно к матери, но как она пойдет, когда хан не приходит, она должна видеть людей, живых, сильных, а хан не приходит... И всюду хан, всюду хан, как эти окружающие ее стены, как та цапля возле колодца, а она — золотая рыбка в пышном мраморном бассейне.

И вдруг неожиданно, словно гром среди безоблачного неба, словно пушечный выстрел, — со стороны парадных ворот волной ударила дружная песня, самая нежная, материнская, песня ее детства, десятками голосов зазвучала — свежая, свободная, просторная, как небо, отобранное у Мальвы:

Ой що ж бо то та й за бурлака,
Що всіх бурлак скликає!

Кто ее здесь поет? Почему здесь? Как случилось, что на улицах Бахчисарая звучит украинская песня, когда-то безразличная Мальве, а теперь такая родная?

Она встала на карниз, еще выше, и перед нею открылось разноцветное море кунтушей и жупанов: может, это

из тысячеголовой пещеры пришли чубатые казаки на банкет к хану или отомстить ему? Выбивают пробки из бочек, кружками пьют вино; горят костры, развеваются на ветру языки пламени, разносится запах жареного мяса; дружный хохот, выстрелы из мушкетов — и снова бравая, победоносная песня:

Ой що ж бо то та за чорний ворон,
Що над морем крякає...

Тоска, зревшая годами в душе, прорвалась, хлынула слезами.

— Кто вы? Откуда вы? — в изнеможении трясла Мальва самшитовую решетку.

Неделю назад Ислам-Гирей бесцеремонно и грубо изгнал купцов за пределы дворца — ему сообщили, что к нему едет Тугай-бей со свитой и вместе с ним возвращается в Бахчисарай Сефер Гази.

Хан неподвижно стоял посреди комнаты в ожидании, забыв о своем ханском сане, когда вошли они оба, такие нужные ему сейчас, сильные мужи Крыма. Какой же силой обладал Тугай-бей, что осмелился ввести во дворец изгнанника Сефера Гази?

В черной меховой шубе с бобровым воротником и в зеленом тюрбане, у порога стоял учитель, которого предал воспитанник. Те же прищуренные глаза с узкими щелками, по которым не узнаешь, доволен он или гневается, такое же морщинистое лицо и редкая бородка. Рядом с ним холодно-мрачный Тугай-бей в ярко-желтом плаще. Он слегка наклонил голову, подчеркивая сдержанным поклоном свою независимость от хана.

— Эфенди Сефер Гази пожелал увидеться с тобой, великий хакан. Он хочет дожить свой век в Бахчисарае, ширинский бей об этом знает, и теперь ничто не угрожает твоему аталику. Пусть только один волос упадет с бороды Сефера Гази, и ор-бей Тугай покажет наглецам силу неисчислимых ногайцев.

Темные глаза Ислама спрятались под веками, словно хотели скрыть радость перед Тугаем.

— Сеферу Гази, — сказал он, — рано еще думать о стариковском отдыхе. Он возвратился в Бахчисарай как благороднейший советник хана, уполномоченный и доверенный ага.

На мгновение раскрылись глаза старика, и снова веки сошлись. Сефер Гази поклонился хану.

Ислам Гирей ответил учителю тоже поклоном. Ему хотелось обнять старика, но рядом стоял с напускной гордостью Тугай-бей, нельзя было давать волю чувствам. А в голове роились те же мысли, что и прежде: не хитрее ли Тугай злобных Ширинов, которые пытались подчинить себе хана силой? И почему именно сегодня он приехал вместе с Сефером Гази в Бахчисарай?

— Хан, — промолвил Тугай-бей, не меняя стального тона в голосе,— к тебе направляются послы из Запорожья.

Хан вздрогнул, это известие было слишком неожиданным для него.

— Послы из Запорожья? От польского короля? Не решил ли Ляхистан уплатить дань?

Тугай-бей улыбнулся кончиками губ. Сказал:

— К тебе едет сам гетман войска Запорожского Богдан Хмельницкий, который не признал себя подданным Ляхистана. Мы вчера встретились с ним на Перекопе. Я давно знаю его. Это большого ума и храбрости полководец. Он хочет начать войну с ляхами и едет к тебе просить помощи. Воля твоя. Но отказывать ему не следует. Только надо быть осторожнее с ним. Он хитер, как лис, юркий, как змей. И горд. У меня, бывшего друга, отказался взять фураж и баранов. Он также не желает останавливаться в Биюк-яшлаве, в нашем посольском стане. У него есть знакомые на Армянской улице.

Хан сел на миндер, оперся локтем на подушку. Долго молчал.

— Тугай, останься на несколько дней в Бахчисарае, — сказал наконец хан.

— Останусь, хан, — мягче, чем когда-либо, промолвил Тугай-бей. — Собирался я этой весной выступить против казаков: гибнет скот, падают лошади, снова голод в Ногайской степи. А теперь я готов со своей ордой идти вслед за казаками. Выиграет Хмельницкий с нашей помощью — приведем большой ясырь из Польши, проиграют казаки — с них возьму живую дань.

— Пускай благословит наши намерения аллах, — произнес хан. — Сефер, — обратился он к учителю, — прикажи угостить казацких послов, как весьма уважаемых гостей.

В конце марта на вершине Топ-кая остановилось несколько всадников на легких аргамаках — в атласных жупанах, в шапках с красными шлыками.

Впереди отряда стояли три всадника: богатырского роста длинноусый казак в суконном кунтуше, в меховой шапке с двумя пышными перьями посредине — беглец от шляхетской расправы гетман войска Запорожского Зиновий-Богдан Хмельницкий; справа — старше его по возрасту — кропивенский полковник Филон Джеджалий; слева — юноша в белой свитке, Тимош Хмельницкий.

Гетман молчал. Филон Джеджалий посматривал на глубоко задумавшегося Хмельницкого, и ему казалось, что гетман сейчас мысленно прослеживает весь свой жизненный путь. Вспоминает детские и отроческие годы, проведенные в Жолкве и в Олесском замке, пребывание в мрачных стенах иезуитской коллегии во Львове, бои под Дюнкерком и турецкую неволю. И думает, как приумножить силы казачества, чтобы одержать победу в предстоящих боях со шляхтой. Хмельницкий знает, на кого опереться: он уже вел переговоры с путивльским воеводой Плещеевым и севским воеводой Леонтьевым, которые уведомили царя Алексея Михайловича о намерении Хмельницкого.

«Да, будем опираться на братьев Руси, — размышлял Джеджалий, — и весь православный мир поддержит нас. Это сбудется, ибо извечна наша дружба, скрепленная кровью во многих битвах, и в частности в последней — азовской. А сейчас гетману нелегко, ему надо вести переговоры с извечным врагом. Он должен это сделать, чтобы обеспечить себе тыл. Для этого и приехал сюда вместе с сыном».

— Посмотрите, — указал гетман вниз нагайкой. — Еще раз посмотрите и подумайте, братья, чтобы потом не роптали и не возмущались. Там внизу, видите, лежит змеиное гнездо — Бахчисарай. За каменными стенами, обвитыми хмелем и вьюнками, живут люди, которые не раз топтали нашу многострадальную землю. Слетелись они в этот яр, в одно место, словно жуки на навоз, и все ждут подходящего случая, чтобы расползтись по всему миру, чтобы уничтожать, пожирать, разъедать, тянуть чужое добро и невинных людей сюда, в свое логово. Им все равно, против кого воевать... Посмотрите теперь сюда, ближе. Вот тут, под нами, отгороженный четырехугольной стеной, окруженный зелеными тополями, сто-

нет невольничий рынок. На таком рынке когда-то продавали и меня. Слышите вопли, рыдания?.. Там торгуют нашими братьями и сестрами. А мы идем в это осиное гнездо, чтобы обеспечить себе тыл, чтобы ногайцы не ударили нам в спину, когда мы двинемся на шляхту. Идем просить у них конницы, ибо у нас ее мало, а на волах далеко шляхту не прогонишь. И мы должны зажать в кулак нашу ненависть и боль и идти на поклон к извечным врагам. Поэтому еще раз прошу вас, братья, сказать свое последнее слово. Я уведомил об этом решении и воевод Руси.

— Веди, батько, к хану! — хором ответили казаки.

Армянская улица, залитая знойными лучами, змеей извивалась по склону горы мимо ханского дворца. Удивились, засуетились ее обитатели, увидев необычных гостей: заскрипели петлями ставни магазинных окон — вынесли товар войлочники, оружейники, башмачники, виноделы, зашумели, предлагали свой товар. Сбежались сюда купцы, гостившие у хана: голоколенные венецианцы, суетливые греки, бородатые московиты; выползли в черных сутанах польские иезуиты — члены Крымской иезуитской коллегии, которая недавно разместилась на Армянской улице.

«О боже праведный! — ужаснулся Хмельницкий, вспомнив о своем пребывании во Львовской иезуитской коллегии. — Куда вы только не протянули свои щупальца! И тут, среди вас, мне, возможно, придется оставить своего сына... Что вы сделаете с ним, когда я начну воевать со шляхтой? Но если надо будет — я и это дитя отдам на заклание, но вам, ханжи в черных сутанах, еще придется от злости пальцы грызть. Не пожелали разрешить королю пойти войной на Крым — я с Крымом пойду на вас. И вы будете еще проклинать шляхетских вельмож за то, что они пренебрегли мной».

На следующий день в ханский дворец отправился полковник Джеджалий. Его гостеприимно принял Сефер Гази-ага, но аудиенции у хана не назначил. Полковник возвратился в сопровождении слуг, которые принесли продовольствие и фураж. На следующий день повторилось то же, гетман мрачнел, а вокруг него все время увивались придворные хана и требовали подарков.

Шесть раз докладывал Филон Джеджалий о приезде казацкого посольства, шесть раз его сопровождали ханские слуги с мизерными дарами. Только на седьмой

день аяк-капу — ханский посол — сам прибыл к Хмельницкому, уведомил: хан ждет Ихмелиски-агу сегодня в посольском зале.

Незадолго до обеда с Армянской улицы выехал гетман Хмельницкий с посольским эскортом. Впереди на белом коне ехал аяк-капу. У ворот дворца он велел казакам спешиться и следовать за ним.

Обеспокоенный долгим ожиданием приема у хана, но с гордо поднятой головой шел Хмельницкий в ханский дворец. Иногда бросал взгляд на рябого юношу в белой свитке, который шагал рядом с ним, и его мужественное сердце сжималось, а в висках беспрерывно стучало: «На заклание, на заклание ведешь».

Аяк-капу поскакал на коне в глубь двора, велев послам ждать его в посольском саду. Их проводил в сад высокий плечистый сеймен. Джеджалий, взглянув на его белое лицо, пробормотал: «Проклятый янычар...» — и смутился от его ясного взгляда. Сеймен не понял слов казака, но почувствовал в них оскорбление. Его синие глаза смотрели на полковника с каким-то упреком и жалостью.

Джеджалию стало не по себе, он подошел к сеймену и спросил по-татарски:

— Ты давно с Украины?

— С какой Украины? — пожал плечами Селим. — Я из Салачика. — Какое-то мгновение он помолчал, потом поднял на Джеджалия глаза и тихо спросил, словно хотел узнать тайну: — Скажи мне, почему меня всегда спрашивают, откуда я и кто моя мать? Я не знаю этого, а потому не понимаю, почему это интересует людей...

— Потому что ты, хлопче, совсем другой. Ты не татарин и родом не из Салачика. Ты — с Украины.

— Какие же они, эти люди с Украины? Я никогда не видел их.

— А вот посмотри, — Джеджалий показал рукой на свиту послов. — Вон сам казацкий гетман.

Селим снова пожал плечами:

— Сюда много приходит иностранцев. Я же — ханский...

— Нет, хлопче... Ты с Украины. Запомни это. И твоя мать, может, до сих пор убивается по тебе.

Джеджалий вздохнул, отошел в тень кипарисов, выстроившихся в ряд с кустами самшита. Издали наблюдал за сейменом: в его глазах была печаль.

Хмельницкий остановился перед посольской железной дверью, обрамленной ярко-красным мрамором с резьбой. Прочел сделанную золотыми буквами надпись над ней: «Этот роскошный вход и эта величественная дверь построена по повелению хакана двух материков и двух морей».

Гетман иронически улыбнулся: «Какие материки и какие моря, если у тебя нет ни единого челна, а по Черному и Азовскому морям плавают турецкие галеры, которые охраняют крымское побережье... Ты такой же вассал, как и я».

Железные ворота открылись, и под звуки барабанов аяк-капу проводил казацких послов вверх по лестнице в кофейную комнату.

Евнух наполнял фарфоровые фильджаны крепким ароматным кофе и, кланяясь, подавал послам, которые, рассевшись на миндерах, с крестьянской непосредственностью рассматривали росписи на стенах и искусные витражи на маленьких окнах, прилепившихся чуть ли не под потолком.

Аяк-капу собственноручно поднес гетману фильджан с кофе: Хмельницкий решил, что много дукатов уплывет из карманов, пока пригласит его к себе капризный хан.

Однако долго ждать не пришлось. Слуга, который все время ходил то в кофейную комнату, то в посольский зал, вышел к послам и, согнувшись в три погибели, молча указал обеими руками на дверь, что значило: хан разрешает пожаловать к нему. Гетман направился в зал один.

— Мне не нужен переводчик, — сказал Хмельницкий и прошел мимо немых рабов, стоявших у двери точно статуи.

В правом углу зала на ворсистом красном ковре под малиновым балдахином сидел суровый со скуластым лицом мужчина. Когда-то в Турции Хмельницкий видел османских пашей, знал их жестокий нрав и гордое высокомерие — ожидал увидеть таким и хана. Поэтому его приятно поразил хан своим видом сурового воина, которого только сан принудил надеть на себя большую зеленую чалму и сесть под малиновым балдахином. «Очевидно, он намного лучше чувствует себя на коне, чем тут, — подумал Хмельницкий. — Я мог бы с достоинством скрестить с ним саблю в поединке, мог бы идти плечом к плечу в равноправном союзе, но кланяться ему

тяжело, ибо рыцарь рыцарю раболепных поклонов не отдает».

Хмельницкий какое-то мгновение видел перед собой только Ислам-Гирея, затем заметил братьев хана, сидевших рядом с ним, и ханских сановников, стоявших в стороне.

Хан с любопытством присматривался к Хмельницкому. Ему понравилась величественная фигура гетмана, на которой так хорошо сидел жупан из белого сукна, а поверх него темно-зеленый контуш с откидными рукавами. Понравились и его кустистые брови, энергично сдвинутые к переносице, и молодецкие усы, но он ожидал от Хмельницкого поклона. Ведь прибыл он о чем-то просить.

Гетман снял шапку и опустил голову на грудь, длинный чуб его упал вниз. При этом он положил у ног хана дорогую дамасскую саблю и пистоль с инкрустированной костяной рукояткой.

— Милостью аллаха великой орды высокочтимый хан, — начал гетман, — у рыцаря нет богатства, поэтому приношу тебе то, что дает нам жизнь и на что мы питаем надежды, а кроме этого, еще и глубокое уважение к твоей особе полководца и богатыря.

— Хорошо говоришь, — ответил хан. — Знаешь, чем подкупить воина. И переводчики, вижу, не нужны тебе... Что же тебя, Ихмелиски, привело ко мне в эту весеннюю пору? Ведь не так давно, как мне известно, ты готовился вместе с королем идти на меня войной.

— До сих пор мы были врагами, — не опуская глаз, продолжал Хмельницкий, — только потому, что казаки гнули шею в шляхетском ярме — и потому воевали с тобой поневоле. Теперь мы хотим сбросить позорное иго и предлагаем вам дружбу.

— Но ты ведь подданный короля и изменяешь ему. Чем я гарантирован, что ты не изменишь и мне?

— Хан, нельзя назвать изменой справедливую борьбу. Гетман Дорошенко не считал Шагин-Гирея изменником, когда тот начал справедливую войну против кафского паши и Кантемира-мурзы. Предать можно отца. Изменить можно отцу, но не своему душителю. А на Украине тирания шляхтичей горше всякой другой. Поэтому мы решили пойти войной на шляхту, которая является и твоим врагом. Она пренебрегает твоим славным именем, не платит тебе дани, еще и нас подстрекает на-

падать на вас. Вот посмотри. — Хмельницкий вытащил из-за обшлага рукава бумаги и подал их хану. — Это привилегии, которые предоставил нам король в уплату за то, чтобы мы двинули свои войска на Крым. Поэтому мы просим тебя выступить вместе с нами против предателей и клятвопреступников.

Ислам-Гирей принял бумаги и передал их плосколицему бородатому старику, который, казалось, дремал, стоя справа у трона.

— Дай переводчикам, пусть слово в слово перепишут человеческим языком, — сказал Сеферу Гази и снова повернулся к Хмельницкому: — Чем ты, гетман, можешь поручиться, что твои намерения и помыслы чистосердечны?

— Дай мне твою саблю, хан, — ответил Хмельницкий. Он взял из руки Ислам-Гирея карабелу, поцеловал лезвие и произнес: — Клянусь творцу всей видимой и невидимой твари, что все, что прошу у его ханской милости, делаю без коварства. Если же я говорю неправду, сделай так, боже, чтобы эта сабля отделила мою голову от тела.

— Тяжкая клятва, — промолвил хан, — но ты призываешь в свидетели своего бога. Оставь мне своих достойных заложников, гетман.

— Хан, одного моего сына замучил изувер Чаплинский. Второго оставлю тебе заложником, — хриплым голосом произнес Хмельницкий, и боль исказила его лицо.

Ислам-Гирей одобрительно кивнул головой и в знак согласия ударил руками по бедрам.

— Сказал пророк, да благословит его аллах, дружба с мудрым — это на пользу вере. Что же, Ихмелиски, я согласен установить союз с тобой. Но к войне я еще не готов. Но разрешаю своему перекопскому бею с его ногаями пойти тебе на помощь.

Хан указал рукой на сановников, стоявших сбоку, Хмельницкий присмотрелся к ним и только сейчас узнал лицо Тугай-бея. В глазах гетмана вспыхнула радость, он поклонился хану и его советникам.

На следующий день казаки веселились на радостях посреди площади перед ханским дворцом. Была пасха, второе апреля.

Хмельницкому же было не до веселья. Мрачный как ночь, опечаленный, сидел он в комнате старого армянина Аветика-оглы, и казалось ему, что у него отнялись

руки. Его сокол — Тимош — в ханском дворе, и жизнь сына будет зависеть от первого сражения с войсками коронного гетмана Потоцкого. А потом — или победа и свобода народу и свобода сыну, или же еще более тяжкая жизнь, словно темная ночь, для Украины и цепи галерного гребца на руках у Тимоша.

Казаки праздновали пасху. Выносили из магазинов вино, набирали полные кувшины, шум и хохот врывался в комнаты хана.

— Гяуры празднуют свой байрам, — доложили слуги хану.

Ислам-Гирей приказал выкатить казакам три бочки вина и зарезать пятнадцать баранов в знак его милости.

Задымились костры, захмелели головы казаков, и разнеслась над чужой тесной землей раздольная, как дикая степь, могучая, как воды у днепровских порогов, песня:

Ой що ж бо то та за чорний ворон,
Що над морем крякає,
Ой що ж бо то та й за бурлака,
Що всіх бурлак скликає!

И отразилась песня туманным воспоминанием детства, материнской болью и только что пробудившейся тоской в сердце женщины, которая стояла за решеткой на Соколиной башне.

— Кто вы, откуда вы тут появились? — шептала Мальва-Соломия на языке матери, прижавшись челом к самшитовой решетке, не замечая ехидно-подозрительных взглядов евнуха, стоявшего за колонной внизу. — Откуда вы тут появились так поздно?!

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

Засвіт встали козаченьки
В похід з полуночі!..

Украинская народная песня

Семьсот рек и четыре — все они впадают в Днепр, а одна речушка, совсем маленькая, всю правду Днепру поведала... Ой да подул ветер низом, да обдал мачты кедровые, паруса белые и разнес славу о казацкой расправе по всему необъятному миру.

Ой, что же это за Хмель?

Разносилась казацкая песня над быстрыми реками, над тихими морями да за тридевять земель, и воспевался в ней не тот хмель, что по шесту вьется, а славный Хмельницкий, что у Желтых Вод со шляхтой сразился.

Хмельницкий? Какой Хмельницкий?

Разве вы не знали до сих пор о нем? Да это тот, чья слава прогремела три года назад от Дюнкерка до Сарагосы, когда граф де Бреже[1] подписал договор с королем Владиславом о службе казацкого полка у французского генерала Конде. Тогда старый дипломат сам удивлялся храбрости запорожцев и таланту Хмельницкого, теперь же его встревожил самостоятельный поход казачества в союзе с татарами на Польшу, и он предложил королю помощь Франции.

Тот самый Хмель! Габсбургский дипломат Франц Лизоля поскакал к цесарю уговорить его, чтобы он воспользовался случаем и взял Польшу под своей протекторат; вождь английских индепендентов Оливер Кромвель поздравлял гетмана Украины с победой над католиками; приуныл претендент на польский престол семиградский князь Юрий Ракочи; венецианцы довольно потирали руки: Польша вынуждена будет вступить в войну с Турцией.

А Хмельницкий, двигаясь от Желтых Вод на Корсунь с развевающимися знаменами, послал гонца с письмом к Алексею Михайловичу: «Желали бы мы иметь самодержца — такого хозяина своей земли, яко ваше царское величество, православный христианский царь». И через севского воеводу Леонтьева получил ответ, в котором царь обещал поддержать казаков. Победная песня звучала над взбудораженным миром, долетев до крымской земли.

— Что же это за Хмель? — заговорили сеймены в ханском дворце, шепотом переговаривались купцы на ясырь-базаре, шипели иезуиты на Армянской улице.

Только Ислам-Гирей молчал, словно не ведая о том, что перекопский ор-бей Тугай шагает по Украине с шестью тысячами ногаев рядом с Хмельницким.

Шестнадцатилетний заложник Тимош Хмельницкий находился в Чуфут-кале на положении знатного пленника, ожидая письма от отца. Победа или неудача, полков-

---

[1] Граф де Бреже — французский посол в Польше во времена Хмельницкого.

ничий бунчук или цепи галерного гребца? Юному рыцарю, выросшему в седле, умевшему стрелять из ружья из-под брюха коня, а из лука — правой и левой рукой, тесной была караимская крепость, окруженная со всех сторон глубокими ущельями; тесной была пещера, где должен был жить, неприветливыми и чужими казались мрачные караимы, жившие, словно кроты, в каменных норах и настороженно присматривавшиеся к новому поселенцу.

Но от отца не было вестей. Однажды апрельским утром возле входа в подземелье поднялся необычный шум, к сыну гетмана долетело настойчивое: «Темиш, Темиш!», жители пещерного городка чего-то требовали у охраны, и в их криках слышалась угроза. Тимош подошел к выходу, но часовой сеймен задержал его и не разрешил выйти. Только вечером, когда караимы спали, часовые позвали Тимоша и тихо, крадучись, провели его через восточные ворота крепости. Заложник хана оказался в знакомом доме старого армянина Аветика-оглы, у которого недавно останавливался Хмельницкий.

Хозяин сообщил Тимошу новость, которая уже облетела весь мир: отец его одержал победу под Желтыми Водами. А мог бы и не узнать об этом. Победа казачьих войск чуть было не освятилась кровью гетманского сына. Реестровые казаки, выступившие против Хмельницкого под началом молодого гетмана Потоцкого, казнив старшин Ивана Барабаша и Илляша Караимовича, перешли на сторону запорожцев. Весть об убийстве потомственного караима — переяславского полковника Илляша — дошла до Чуфут-кале, и караимы потребовали крови за кровь.

В первый день своего пребывания на Армянской улице Тимош понял, что он здесь находится не в безопасности. Польские иезуиты в черных сутанах шныряли по улицам, по вечерам останавливались у окон светлицы Тимоша, выкрикивая проклятия, а утром Аветик-оглы увидел на ограде нарисованные кистью черные кресты. Старик посоветовал Тимошу, чтобы он попросил убежища у хана в стенах его дворца. Но ответа от хана он так и не получил.

Наконец пришло письмо от отца. «Дорогой мой сынок, — писал гетман, — божьей милостью храброе войско Запорожское разгромило шляхту, но анафемский аспид еще не уничтожен — война только начинается

Попроси хана, чтобы соизволил принять тебя в своих покоях, и скажи ему, что добычу, которую получили татары под Желтыми Водами, нельзя сравнить с той, которую они получат, если немедля придут на помощь казакам с большим войском. До сих пор мы имели дело со слугами, отныне будем воевать с панами — знатными и богатыми».

Тимош передал хану письмо гетмана, но Ислам-Гирей снова на него не ответил. Медленно и тоскливо тянулись дни в тревоге и ожиданиях.

Только в мае, когда Тимош уже и не ждал приема у хана, на Армянскую улицу прискакал сеймен хана. К белому славянскому лицу его так не шла татарская военная форма, что Тимош в первый момент подумал: «Кто-то из Низа, переодетый. Что за вести он принес?»

— Хан ждет тебя во дворе своего дворца! — произнес сеймен и повернул коня.

Готовый к самому худшему, Тимош вошел через открытые ворота на ханский двор и чуть было не вскрикнул от неудержимого злорадства. Хан, в шубе и белом тюрбане, гордо сидел на седом аргамаке, а напротив него под эскортом ногайских воинов стояли два шляхтича. Один, хорошо знакомый Тимошу, — длинноволосый, седой, с торчащими веером усами, в нагрудном панцире; второй — в круглой бобровой шапке с перьями и в красном изодранном жупане.

— Егомость пан краковский, великий коронный гетман Потоцкий и черниговский воевода польный гетман Калиновский, — прозвучал голос ногайского мурзы Салтана, который привел с Украины знатных пленников, — отныне рабы великого хана Крымского улуса Ислам-Гирея.

У Потоцкого поникла голова, а Калиновский словно и не слышал унизительных слов, он с едва заметной улыбкой на устах пристально смотрел в лицо хана, словно хотел прочесть на нем нрав и характер своего врага. Их глаза встретились, хан задержал свой холодный взгляд на польном гетмане и обратился к Потоцкому:

— Видит аллах, не хотел я этой войны. Но по дьявольскому наущению, забыв о прошлом нашем побратимстве, вы с пустыми руками отправляли наших послов, которых я направлял к вам за данью. После этого казаки попросили у нас помощи, а теперь зовут идти войной, чтобы добраться до самого трона вашего короля. Спра-

шиваю тебя, может ли Польша примириться с казаками?

Потоцкий исподлобья посмотрел на хана и высокомерно ответил:

— Речь Посполитая не мирится с подданными, она их наказывает!

Насмешливая улыбка разомкнула сжатые уста хана.

— Ты же видишь, Потоцкий, что в этот раз подданные наказали своих властителей.

Калиновский предупредил пустозвонный ответ коронного гетмана, он хотел начать деловой разговор с ханом.

— Речь Посполитая не знает, чего они хотят, — сказал он.

— Вы должны признать их как государство в пределах границ до Белой Церкви, а нам уплатить дань за четыре года по сто тысяч злотых в год и впредь не уклоняться от выполнения условий договора.

— Это хорошо, что ты готов торговаться с нами, хан, — ответил польный гетман. — И мы согласны вести торг, но с тобой, а не с Хмельницким. Однако таких условий Речь Посполитая не примет.

— Тогда смотрите сами... Мы с Ихмелиски дали клятву о побратимстве на вечные времена. А в союзе с ним нам не страшны не только король, но и турецкий султан. За вас же, вельможные панове, требую уплаты по двадцать тысяч злотых!

— Слишком высокая цена, — процедил сквозь зубы Калиновский. — Видимо, ты ловкий купец, знаешь, за что сколько просить.

Краска проступила на смуглом лице Ислам-Гирея, он поднял руку с нагайкой, но сдержался.

— В Чуфут-кале их! — коротко приказал он и повернулся к Тимошу: — Твой отец честно выполнил свою клятву. Я тоже сдержу свое слово: ты будешь свободен и возвратишься на Украину. Скажи гетману, что я скоро прибуду к нему своей собственной персоной и с многочисленным войском!

Хан дернул за поводья, конь, почувствовав властную руку хозяина, поднялся на дыбы, возвышаясь над головами гетманов. Потоцкий попятился назад, только Калиновский стоял камнем, не шелохнувшись, продолжая молча спорить с ханом.

Еще мгновение, и ретивый аргамак падет на предводителей польского войска. А упрямый Калиновский не-

подвижно стоит под лошадиной тушей, и ханский конь опускается рядом с польным гетманом.

— Тридцать тысяч червонцев за твою голову! — произнес хан, и его глаза вспыхнули гневом. Он хлестнул в воздухе арапником.

— Ты, хан, знаешь цену силе! — зло засмеялся Калиновский. — Мы с тобой еще сторгуемся и за Украину, и за Хмельницкого!

Глаза у Тимоша загорелись безумным огнем, кровь прихлынула к лицу и, казалось, брызгала из каждой рябинки, он подскочил к Калиновскому, схватил его за воротник жупана. Но в этот миг чья-то рука дернула его за полу свитки и потянула назад. Старик с редкой бородой и узкими щелками глаз прошелестел сухим голосом, глубоко дохнув в лицо Тимоша:

— Не приличествует подданному вмешиваться в дела хозяев!

Хан кивнул головой, и белокурый сеймен, который приезжал к Тимошу на Армянскую улицу, а сейчас все время стоял, словно вытесанный из камня, рядом с Ислам-Гиреем, подошел к юноше и, положив руку на плечо, указал глазами в сторону ворот.

Тимош молча пошел через площадь к тихим улочкам армянского квартала, а следом за ним — сеймен на коне. Вдруг Тимош расправил плечи, повернулся к сеймену и крикнул надрывным голосом, протягивая руки на север:

— Брехня! Там хозяин, там!

Он ждал; если ханский стрелец толкнет или ударит его нагайкой, он убьет его.

Но глаза у сеймена были ласковые и несколько удивленные, он соскочил с коня и, подойдя к разгоряченному юноше, с наивным любопытством спросил:

— Ихмелиски — твой отец?

— Да. Мой отец — гетман великой Украины, а этих собак в королевских кунтушах он собственными руками поймал под Корсунем, словно шелудивых шакалов в курятнике!

— Я видел его, это — храбрый батыр, — промолвил сеймен с восхищением. Он оглянулся и еще ближе подошел к сыну гетмана: — Темиш, слышишь, Темиш, старый мурза Ихмелиски Джеджалий откуда-то знает меня, он сказал, что я с Украины. Скажи мне, верно ли, что я с Украины?

— Ты янычар! — пренебрежительно бросил Тимош. — Ты забыл свою веру и язык ради куска ханской пастирмы.

— О нет, Темиш. Янычары за морем, у султана, а я крымский и никогда не знал другой веры и языка, как наш, татарский. Но почему мне говорят, что я с Украины?

— Не знаю, хлопче, — остынув, ответил Тимош. — Может, тебя взяли в плен, когда ты был еще ребенком...

— Почему же я тогда вырос у цыган, скажи, Темиш?

— У цыган? Бедный ты мой брат... — вздохнул Тимош. — Ведь цыгане не одного ребенка украли на Украине для продажи. Как тебя зовут?

— Селим.

— Возможно, ты и Семен...

— Да, я сеймен, — сказал тихо Селим и добавил уже другим тоном, с гордостью: — Первый ханский страж!

— Бог смилостивился над тобой, избавил тебя от страшного греха братоубийства. Будь теперь хоть Селимом, хоть чертом. Все равно будешь воевать за Украину. Ты пойдешь вместе с ханом на помощь Хмельницкому, — сказал Тимош и пошел по тесной Армянской улице к дому Аветика-оглы. Селим прошел следом за ним и остановился. Стоял, пока Тимош не закрыл за собой дверь, и все ждал, не оглянется ли он и не скажет ли еще что-нибудь. Но Тимош не оглянулся...

...Ислам-Гирей вспомнил о Мальве только тогда, когда Хмельницкий выехал из Бахчисарая. Тоска и желание охватили его, он сбросил с себя тюрбан, плащ и направился в гарем. Остановился на пороге комнаты Мальвы и ждал, что она, как всегда, подбежит к нему, обнимет его, прижимаясь головой к груди. Но Мальва стояла возле мангала бледная, взволнованная и неподвижная.

— Что у тебя болит, Мальва? — хан прикоснулся рукой к ее голове.

— Ничего не болит... Ты давно не приходил. На то твоя воля... Я у тебя третья...

— О Мальва, любимая моя ханым. Пусть никогда не жжет тебя огонь ревности. Я не знаю никого, кроме тебя, с той поры, как ты стала моей. Твой повелитель занимался важными делами.

— Я слышала удивительное пение и видела чужих людей в твоем дворе. Кто они?

— Разве мало чужеземцев приходит ежедневно к ха-

ну? Пусть они не тревожат тебя. Могуществу Ислам-Гирея ничто не угрожает.

— Это были казаки?

Хан пристально посмотрел на Мальву. Что это у нее — любопытство, страх или, может, заговорила казацкая кровь?

— Я принес тебе, милая, бусы с красными рубинами, пусть украсят они твою грудь, я пришлю к тебе черкесских танцовщиц, чтобы развлекали тебя, проси у меня чего твоя душа желает — исполню, но о государственных делах не расспрашивай, это не женское дело.

— Спасибо, хан, — поклонилась Мальва, кладя бусы в шкатулку, но ее лицо не светилось радостью и в глазах не было прежней страсти. Словно выкупанная в ледяной воде, стояла перед Ислам-Гиреем Мальва — покорная, но холодная.

Шли дни, а Мальва чахла и увядала, словно лилия в Персидском саду, которую забыл полить садовник. Браслеты и рубины лежали забытыми в шкатулке, с покорностью рабыни ложилась Мальва на мягкие ковры рядом с ханом... Только тогда узнавал ее Ислам-Гирей, когда она склонялась над колыбелью сына, напевая откуда-то знакомую ему чужую мелодию.

«Что с ней случилось?» — терзался хан. Он любил Мальву первой, поздней, но, очевидно, и последней любовью, совсем забыл своих двух старших жен, которые задыхались в бессильной злобе от ревности; напрасно ждали его длинными ночами похотливые одалиски: красавица из Мангуша полностью полонила его. А теперь Ислам стал замечать, что теряет ее любовь, и ужас холодил его сердце: как он будет жить без нее?

— Разреши мне, хан, навестить мать, — попросила однажды утром Мальва. — Я давно не была у нее.

— Любовь моя! Я ведь никогда не запрещал тебе этого. Сейчас же велю подать карету.

— Позволь мне пойти к ней пешком...

Хан не ответил, а после обеда в комнату Мальвы пришел евнух и сообщил, что султан-ханым может пойти в Мангуш.

Так по-детски радостно было Мальве идти по узкому ущелью Ашлама-дере, где ей знаком был каждый камешек, каждая чашечка белого вьюнка, каждая головка желтого цветка держидерева. Она почувствовала себя свободной, словно незримые, но крепкие сети, опутывав-

шие ее тело и душу, вдруг разорвались, упали. Мальва сорвала с лица яшмак и побежала по ущелью, рассекая грудью холодный воздух, чувствуя себя сейчас девочкой с Узенчика, и никто бы не сказал, что это идет к своей матери всемогущая жена хана. Но опьянение прошло, рассеялся мираж, и тогда Мальва увидела скопцов, которые тайком следовали за ней, прячась за скалами. Только теперь поняла она, какой ценой купила ханскую любовь. Она вдруг обессилела, но инстинктивный протест против неволи встряхнул ее, и она истерически закричала на евнухов, которые притаились за скалами:

— Прочь, прочь, прочь!

Слабое эхо ударилось о стены ущелья и затихло вместе с взбунтовавшейся душой молодой женщины. «Что это со мной? — подумала Мальва. — Я же ханская жена, а они его слуги, и так должно быть. Разве я могла бы теперь жить где-нибудь в другом месте, когда тут сын и — он, любимый». Надела яшмак и важно направилась по долине в Мангуш.

— ...Мама, я видела их... Почему они пришли так поздно? — Больше ничего не сказала и неподвижно смотрела на растерянную мать.

А вечером рабыня Наира рассказала ей сказку. Она знала их множество, и эти сказки становились для Мальвы тем новым миром, который открылся перед ней.

— Было или не было, — тянула Наира, — а в прошлые времена жил могучий султан, который подчинил себе три четверти мира, а четвертая часть, на которую не ступило копыто султанского коня, дрожала от страха перед грозным падишахом. И пошел он на Русь и поглотил сорок городов, как один кусок. Возвратился султан с почестями и золотом, но ничто не радовало его так, как пленница Маруся, которую схватили янычары в церкви, когда она венчалась со своим джигитом. Влюбился султан, как тысяча сердец, и поклялся, что будет жить только с ней одной. Полюбила и пленница султана, а поскольку она была чародейкой, то сумела лишить воли своего господина. Что бы Маруся ни сказала, он слушался ее, и добилась она невозможного: султан поклялся ей никогда не воевать с Русью. Сорок тысяч невольников вернула она в их родимый край, но сама возвращаться не захотела. Гяуры слагали песни о ней и назвали ее своей святой...

— А дальше, дальше что было? — расспрашивала Мальва, но Наира не знала, что было дальше.

— Аллах один ведает... их желания исполнились, пускай исполнятся и наши...

Много еще сказок услышала Мальва, но так и не досказала Наира эту, — почему-то она выпала из памяти старухи. И наверное, поэтому дивная сказка представлялась теперь султан-ханым в ином свете, и Маруся стала похожей на синеглазую девушку из Мангуша, а турецкий султан — на остробородого хана Крымского улуса.

«...И добилась Маруся от хана, что он никогда не пойдет войной на Украину, и сорок тысяч невольников она вернула в их родной край, а сама... сама вернуться не могла, потому что любила хана... А что дальше, что дальше было?»

Известие о Желтых Водах и Корсуне докатилось до Мангуша. Вначале шепотом, а потом громко заговорили поселенцы с Узенчика о чуде, которое вымолили люди у чудотворной иконы Успенской Марии: хан идет освобождать Украину!

Стратон не верил. Откуда могла появиться на Украине такая сила, что смогла разгромить королевское войско, и слыханное ли дело, чтобы на помощь христианам шли мусульмане? Сам заковылял в Бахчисарай, а вернувшись, упорно молчал и только тяжело стонал по ночам, словно стреноженный бык.

Вскоре распространился слух о том, что несколько мужчин исчезло из Мангуша. Потом не стало целой семьи. Сначала говорили о них, что пошли искать других мест, но шила в мешке не утаишь.

— Убежали за Сиваш, — сказал Стратон Марии и дернул рубаху на груди так, что она затрещала.

— Стратон, Стратон, — корила Мария, — почему ты раньше не послушал меня?

— Но еще не поздно, — горячо возразил Стратон. — Ты с грамотой, а я...

— А Мальва?

— Она уже не твоя.

— Если бы у тебя были дети, Стратон, ты так не говорил бы...

Очевидно, они не возвращались бы больше к этому разговору, но неожиданно к ним зашел пастух Ахмет.

Взрослый, возмужавший, он совсем не был похож на татар, которые жили внизу, — красивый, с густыми черными усами, спустился с гор, гонимый неугасимой жаждой любви.

Опустив глаза, он промолвил:

— Ахмет знает, что все пропало, но забыть ее не может. Я пришел, чтобы подышать воздухом, которым дышала она...

Старики молчали, молчал и Ахмет, опустив голову на грудь.

— Ахмет сильный и смелый, — продолжал дальше пастух. — И если бы Мальва захотела — ведь не может она вечно любить хана, потому что ни одна пташка не любит своего хозяина, который держит ее в золотой клетке, — если бы она захотела, Ахмет украл бы ее. Ему знакомы все дороги в Крыму, он отвезет Мальву на своем коне к самому Хмелю, потому что Ахмет любит... Никакой платы за это он не требует — ни любви, ни ласки. Согласен быть ее слугой...

Стратон по-молодецки вскочил со скамьи, обнял Ахмета.

— Ты можешь это сделать, ты можешь?

— Ахмет все сделает.

— Мария, чего же ты молчишь, Мария?

Надежда осенила лицо матери, она оживилась, сказала:

— Я пойду, Стратон, к ней... Я завтра же пойду.

...Она стояла у ворот ханского дворца и не решалась постучать: белокурый воин откроет и снова спросит: «Чего тебе надо, старуха?» — и тогда она крикнет: «Ты сын мой!» — и уже не от иноземца, а от родного сына услышит оскорбление... А действительно ли он ее сын? Как узнать, у кого?

Заскрипели ворота, другой страж пропустил Марию. У нее замерло сердце: «Где же Селим?»

— Где Селим? — тихо вскрикнула она, но ничего не ответил часовой, и Мария пошла мимо Соколиной башни к гарему. Дала евнуху талер и стала прислушиваться: из глубины гаремных хором чуть слышно долетала родная песня.

Мать вбежала в комнату. Мальва поднялась с миндера какая-то странная: лицо бледное, глаза лихорадочно блестят...

— Мальва, ты разве не знаешь, что делается на свете?

— А что делается?.. Были, попели и уехали... Откуда мне знать, что делается? Хан не рассказывает мне о том, что творится за стенами гарема. На, возьми кольца, ожерелья, браслеты — они не нужны здесь, взаперти, подари девушкам в Мангуше...

— Бедняжка моя... Куда же девались твои мечты о силе твоей любви?

— А что, хан послал за ясырем... туда?

— Мальва, — прошептала Мария, — послушай, что я тебе скажу. Побратим твоего покойного отца гетман Хмельницкий разбил шляхту, а хан идет ему на помощь. Ты видела тогда казацких послов... Но слово хана изменчивое, кто его знает, как он завтра поступит. А теперь есть возможность. Ахмет поможет нам уйти на Украину. Люди уже уходят.

Мария ждала ответа. Мальва впилась взглядом в лицо матери и долго не могла оторваться, но вдруг, словно сбрасывая с себя оцепенение, развела руками и сказала, прислушиваясь к собственным словам:

— Это судьба моя, мама... Моя судьба, мама... Ты предлагаешь уйти на Украину? Как мне уйти? Я уже совсем другая, чем те, что живут на Днепре. Я только почему-то затосковала по ним и никак не могу избавиться от этой тоски, а твоя Мальва теперь — татарская, ханская, мама...

— Отступница ты моя...

— Мама, может, так хотел твой бог, чтобы меня взяли в плен, чтобы я забыла свой край и чтобы только тогда тронула меня родная песня, когда я стала женой хана? Может, мне суждено больше сделать добра для твоего края здесь, чем родить казаку ребенка?

— Что ты бредишь, доченька? Ты пленница, что ты можешь сделать?

— Говоришь — хан идет помогать казакам? И может изменить им? Я не позволю ему совершить это, он любит меня. А теперь я еще больше разожгу его любовь ко мне... и он вечно будет верен Хмелю.

— Цари, Мальва, изменяют, не советуясь ни с кем.

— Если он это сделает...

— Так что?

— Я... — И Мария увидела давно уже забытое: по-отцовски вспыхнули глаза дочери-отступницы.

Ислам-Гирей дивился неожиданной перемене султан-ханым. Вечером Мальва встретила его бурными объ-

ятиями, от чрезмерной нежности он расчувствовался до слез, размяк жестокий властелин, забывая обо всем, плененный ее страстью.

— Ты мудрый царь, ты свет очей моих, — шептала Мальва, — ты рыцарь, перед которым падают ниц твои враги, ты подаришь свободу своему и моему народу.

— Какому твоему, Мальва? — приподнялся на локоть хан и настороженно посмотрел на жену. — Ты же мусульманка, как и я, и мой народ является твоим народом.

— Я люблю тебя, хан, и Крым стал моей отчизной. Но ты пойми, что и журавлю, когда он живет в теплых краях, не все равно, когда холодная метель на севере. Есть ведь такие, что и не возвращаются на родину, но печально курлыкают, когда в родном краю вымерзают деревья и цветы, жара высушивает зелень и братья, вернувшиеся домой, погибают от голода на родной земле. Я верила, что ты не станешь врагом моего края. Теперь я знаю обо всем! Великая победа одержана на Украине, так поклянись мне, мой муж и властелин, что ты не предашь казацкого гетмана!

Хан поднялся на ноги, отстранил руки Мальвы. Такого еще не было, чтобы жена вмешивалась в ханские дела и требовала клятвы от него. Он сурово взглянул на Мальву, схватил ее за плечи.

— Чьи слова повторяют твои уста, ханым? — спросил он и привлек ее к себе, пристально глядя ей в глаза.

— О мой хан, не подозревай меня в хитрости. Ты мудрый и сильный. Я никогда не изменю тебе, потому что люблю, ты грезился мне еще в детских снах. Можешь убить меня, можешь озолотить — я в твоей власти. Но прислушайся к искренним словам слабой женщины. Несведущее мое сердце чувствует то, чего, возможно, еще не осознает твой ум. В твоих руках теперь такое могущество, которого ни у кого не было до тебя. Какая это сила, когда два сильных объединяются против третьего! О, что они могут сделать! А если ты изменишь — много горя будет на свете. Будь верен своему слову, хан...

Ислам-Гирей опустил руку с плеча Мальвы, вспомнив: подобное уже где-то было. В памяти всплыл могущественный падишах Сулейман Пышный и рогатинская русинка Роксолана, при которой расцвела Османская империя. И еще вспомнил хан сыновей Сулеймана, которых

очаровательная Хуррем убила руками султана, чтобы подарить империи новый род от пьяного Селима.

— Принеси мне своего сына! — приказал Ислам-Гирей, и страшная угроза звучала в его словах.

— Он спит...

— Принеси мне своего сына!

Дрожь пронзила все тело Мальвы, спотыкаясь о подушки, она прошла в детскую комнату и принесла маленького Батыра. Мальчик спросонья скривил губки и прижался к матери. Лицо у него было смуглое, как у Ислама, а глаза материнские.

Рука хана протянулась к ребенку.

— Что ты хочешь делать, хан? — воскликнула Мальва.

— Я буду любить разумную казачку и убивать родившихся от нее сыновей!

Мальва судорожно прижала мальчика к груди, а сын, еще не зная, что может твориться в царском дворце, в котором появился на свет, просиял в улыбке и пролепетал:

— Папа, папа, папа!

У Ислама-Гирея опустились руки.

— Воля аллаха, — вздохнул он. — Спи, Мальва. Меня ждут дела. Можешь не волноваться. Я иду писать письмо султану о том, что выступаю со своим войском в союзе с Богданом Хмельницким.

Стратон с нетерпением ожидал, когда Мария вернется из ханского дворца.

— Ну что? — встретил он ее на пороге и тотчас все понял: плечи у Марии опустились, склонилась голова, и глаза в которых начала было тлеть искра надежды, молча говорили: «Мальва не пойдет».

— Я так и знал, — глухо произнес Стратон. — Горе — море, пей его — не выпьешь. Но мы пойдем. Ты с грамотой, я — через Сиваш.

— Поздно ты собрался, Стратон. Если бы тогда послушал меня, мы вместе были бы там. Ты ковал бы пушки, я варила бы еду казакам, а Мальва, Соломия... — Мария ударилась головой о стенку и всхлипывала без слез. — Не могу, не могу я уйти... Тут мои дети...

— Дети?!

— Да... Ты помнишь ханского воина, который прие-

жал за Мальвой? Я знаю, не ошибается мое сердце: это мой сын...

Еще несколько дней колебался Стратон, не решаясь оставить Марию, но тоска по казацкой свободе, которая воскресала где-то там, на Черном шляху, терзала душу, не давала спокойно жить. И наконец опустела хата Стратона, словно оттуда вынесли покойника. А Мария больше не появлялась на глаза людям, одна-одинешенька грустила в пустом доме, а иногда поздно вечером сеймен Селим видел женщину в черном, тихо стоявшую недалеко от ворот ханского дворца.

Стратон пробирался ночью через сивашские болота к казацкому Низу, пугая сонных стрепетов, сидевших на курганах.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

Царь умер, да здравствует царь!

— Вы слепые кроты и безмозглые устрицы! — кричал султан Ибрагим на членов дивана, вошедших в тронный зал доложить о состоянии войны с Венецией. — Кто начал эту глупую войну, кто подослал ко мне изменника Замбула, где его голова?! В Золотой Рог больше не приходят торговые суда с ценностями и тканями, опустел гарем, ваши головы отупели, но я промою их раскаленным свинцом.

Молча уходили от султана дефтердар, кадиаскеры и великий визирь Муса-паша, оставляя в тронном зале рядом с падишахом нового члена дивана — недыма[1] Зюннуна. Где его нашел Ибрагим, никто не знал, но султан не разлучался с ним ни на минуту и доверял ему больше, чем когда-то Замбулу. Зюннун входил в султанский дворец, не спрашивая разрешения, и произносил всегда одну и ту же фразу, которая льстила самолюбию Ибрагима:

— Украсил всевышний аллах небо солнцем, месяцем и звездами, а землю дождем, красавицами и самым справедливым султаном Ибрагимом!

После этого недым садился на пол, вычерчивал ме-

[1] Недым — партнер султана по выпивке, который пользовался правом приходить к султану в неприемные дни.

лом гороскоп, определяя, в каком зодиакальном созвездии находится сейчас солнце, и безошибочно указывал: в эту минуту в мечетях Багдада прославляют самого умнейшего падишаха, или же — сегодня ночью он встретит в гареме незнакомую красавицу, которую нельзя сравнить ни с кем в неге, и страсти, и похотливости; мог даже напророчить богатые дары от иноземных послов.

Потом они вдвоем пили вино, и султан читал Зюннуну свои стихи, а тот поднимал руки вверх и, закатывая глаза, смеялся или вздыхал — в зависимости от того, каким тоном декламировал Ибрагим.

Султан теперь сам диву давался, как мог он столько лет доверять предателю Замбулу и Аззему-паше, когда в империи живет такой человек, который знает и поэзию (сколько строф в день мог прочитать Зюннун!), и астрологию (недым наперед мог угадать, сколько зверей убьет султан во время охоты), и дипломатию (он умело разговаривал с послами в присутствии султана), и военное дело (ведь Зюннуну удалось отгадать затаенные мысли Ибрагима о том, что воевать ему больше не надо, а надо только наслаждаться земными радостями мира).

Сам бог послал ему из Анатолии этого человека, без него Ибрагиму теперь не обойтись.

Иногда султан вызывал к себе великого визиря. Это были тревожные минуты для Мусы-паши. Семь потов входило с него только при воспоминании о том дне, когда Ибрагим, по наущению своей матери, отдал ему печать. После первой официальной аудиенции падишах провел нового визиря к тайнику, находившемуся рядом с залом дивана. Он открыл дверь, окрашенную как стены, и трупный смрад ударил в лицо — ужасное зрелище предстало перед глазами Мусы-паши: в небольшой комнатушке возвышалась гора человеческих забальзамированных голов.

— Видишь, Муса, — оскалил зубы Ибрагим. — Тут лежат те головы, которые хотели быть умнее головы падишаха. Полюбуйся, вот голова премудрого Аззема-паши. Гляди, чтобы и твоя сюда не попала.

У великого визиря подкосились ноги, он повалился на колени перед султаном:

— О султан, я буду служить тебе верой и правдой!..

Но с тех пор и доныне его преследовали почерневшие лица тех, кто прежде сидел на том самом месте под пятью бунчуками в зале дивана, где сейчас сидит он.

Воспоминание о страшном мавзолее лишало его смелости, он помогал султану торговать чинами, а все деньги, вырученные за это, честно отдавал Ибрагиму, по каждому пустяку шел советоваться с валиде Кёзем, которая, избавившись с помощью янычар-аги от умного соперника — Аззема-паши, взяла власть в свои руки и оттеснила от государственных дел самого Нур Али и красавицу Тургану-шекер.

Пусть все идет по воле аллаха, а ему, Мусе-паше, только бы сберечь свою голову и должность. Пускай Кёзем воспитывает для престола младшего султанского сына, родившегося от одалиски, он закрывает глаза на то, что тайно исчезают янычарские старшины, которые поддерживают Нур Али; Муса-паша будет молчать и тогда, когда неожиданно умрет Тургана и старший сын Ибрагима Магомет.

Великий визирь замечал какое-то подозрительное брожение в недрах дворца и в войске. Нур Али с тех пор, как печать ускользнула из его рук, не появлялся во дворе даже на заседаниях дивана; Тургана выставила возле своего гарема охрану из янычар; шейх-уль-ислам Регель с лицом святоши каждый вечер ходил молиться в янычарскую мечеть, а среди янычар появился откуда-то новый шейх Мурах-баба, который призывает воинов к самостоятельному походу на Венецию, обещая им бочки золота.

Муса-паша делает вид, что ничего не замечает. Он боится всех. Но пока что султан только угрожает во время аудиенции:

— Ты знаешь, какая кара ждет тебя, если в империи начнутся беспорядки. Иди и промой свой ослиный мозг, хватит мне думать за всех!

Недавно Муса-паша узнал от австрийского резидента в Стамбуле Ренигера о каких-то контактах Ислам-Гирея с казацким гетманом Хмельницким, потом услышал о том, что казаки вместе с татарами разгромили польские войска под Желтыми Водами. Что будет, когда Ибрагим узнает об этом? Чью тогда забальзамирует голову? Но Муса-паша молчал. Не надо подгонять беду. Хан все равно когда-нибудь пришлет своих послов.

А султан каждый день пирует. Сейчас он в горах Истранджа. Охота оказалась на удивление удачной — именно такой, как предсказал недым. Янычары-ловчие, с которыми султан выезжал на охоту, выгоняют на поля-

ну стреноженных косуль, оленей, а Ибрагим прицеливается из ружья и убивает наповал одно животное за другим.

У падишаха хорошее настроение. Он обещает наградить недыма, хвалит ловчих, но из лесу вдруг долетает протяжный звук рога, знак о том, что кто-то приближается.

Ловчие на конях поскакали по лесной дороге и вскоре вернулись, ведя за собой султанского посланца-скорохода.

— Кто послал тебя сюда? — спросил Ибрагим, сердясь, что ему помешали охотиться.

— Муса-паша, великий султан... К тебе прибыли послы хана. Говорят, что у них неотложные дела.

— Ничтожные рабы! — затопал ногами Ибрагим. — Как они сказали — неотложные дела? Ко мне, ловчий-паша! Пошли конников к татарским послам, пускай на привязи приведут сюда, если у них нет терпения ждать!

На следующий день перед обедом конники примчались к лагерю султана, таща за собой на веревке послов Ислам-Гирея, истерзанных, в рваных башмаках, со сбитыми до крови ногами.

Султан сидел в шатре на подушке, важный и спокойный. Он окинул несчастных послов взглядом с ног до головы и произнес:

— Мне сказали, что у вас ко мне неотложное дело. Если это так, не годится звать султана во дворец, а нужно со всех ног бежать к нему, где бы он ни находился. Сегодня я показал вам, как это делается. Говорите скорее, что там: хан помер или, может, море залило Крым?

— Пыль стоп твоих, Ислам-хан, недостойный лобызать твои ноги... — простонал дрожащим голосом посол, — доносит тебе, что... что он выступает со своим войском против Ляхистана... ногайские полки Тугай-бея уже разгромили вместе с казаками ляхов на Украине... Хан просит тебя тоже двинуться за богатым ясырем, а в знак высокого уважения к властелину и воину велит передать тебе послание и вот эту украшенную драгоценностями саблю...

У султана от приступа безумной ярости потемнело в глазах. Ибрагим долго читал послание и вдруг вскочил, завопив:

— Как он, паршивый пес, посмел! Мы ведь договор подписали с Ляхистаном...

Послы стояли на коленях, склонив головы до земли; они уже не только не надеялись, что султан, как это принято, прикажет надеть на них почетные кафтаны. Они утратили надежду выйти отсюда живыми.

— Я пойду воевать не с Ляхистаном, а с Крымом и залью всю вашу ничтожную землю кровью, а вас — надо бить камнями и гнать до Золотого Рога! — дрожал Ибрагим от гнева. — Ну, что же вы стоите? — заорал он на ловчих. — Травите их!

Потом пришел черед и недыма, невозмутимо стоявшего в стороне.

— Что твой гороскоп? Почему ты не предупредил меня о черной вести, почему утаил ее от меня? Вы все, вы все против меня, все изменники! — Султан выхватил из ножен саблю, подаренную послами, рубанул ею по голове единственного советника.

Недым замертво повалился наземь. Ибрагим в оцепенении замер над трупом друга.

— Зюннун... Зюннун...

Янычары возмущались в своих казармах: Ибрагим прогнал татарских послов, убил булук-пашу, который пришел с требованием отправить стамбульские орты на войну с Ляхистаном. Вспомнили теперь воины своих товарищей, которые в последнее время таинственно исчезали из казармы, проклинали имя валиде Кёзем, заговорили о самой богатой в мире добыче, которая достанется шелудивым татарам, Мурах-аба произнес в мечети проповедь о распутном султане, который проводит время в роскоши и торгует государством и войском; янычары с медными котлами —и символом бунта — уже хотели было выйти на улицу. Но их сдерживал Нур Али. Он еще не осмеливался поднять восстание.

Ибрагим заперся в тронном зале и никого к себе не допускал. Не стало верного недыма, султан оплакивал его и перебирал в памяти всех сановников и слуг: он больше никому не мог довериться. А действовать самостоятельно боялся. Во всех уголках дворца ему мерещилась смерть. Ибрагим запирал двери на все замки. Ему теперь подавали еду через окошко. Каждый раз гаремная прислуга шептала ему в щель о том, что одалиски желают утешить величайшего из великих, но он боялся пойти даже в гарем.

В тревожном одиночестве Ибрагим начинал понимать: он бессилен. Все делается без его ведома, и уже некому

убеждать его в том, что он самый сильный и могущественный и что все боятся его гнева. Бразды правления неожиданно выскользнули из его рук: Крым самовольно начал войну с Ляхистаном, янычары сметают все на своем пути. Йени-чери, всюду йени-чери! Скоро весь мир обрушится на Османову империю, а разве сама империя не стала врагом и султанской жизни? Сквозь железные решетки смотрел в сад, раскинувшийся на склонах Босфора. Там пышно росли лотосы и гиацинты, дозревали манговые плоды, и вспомнил Ибрагим свой первый день султанского правления, когда он, свободный, нарядно одетый, вышел к цветам, а с его уст сорвались слова нежного стихотворения о тоскующем соловье. Не лучше ли было тогда пройти за ограду мимо рыбацких селений и затеряться в человеческом море?

И в памяти всплыло стихотворение; оно запомнилось ему еще с детства, но только сейчас Ибрагим начинал понимать его сокровенный смысл. Слова этого стихотворения пугали, но все равно они невольно просились на язык:

Жизнь — ты спокойна и радостна,
То вдруг тревожна:
То вмиг я — отшельник,
А то — заключенный...
Дрожу я от страха. Что будет со мной?
О милые братья, я смерти страшусь...

— Не хочу, не хочу! — закричал Ибрагим, и только зловещее эхо разносилось по залу.

Одиночество становилось невыносимым, хотелось забыться. Поэтому с нетерпением ждал шепота кяя-хатун. В обед подали через окошко еду и донесся голос гаремной прислуги:

— Жить в затворничестве к лицу лишь аллаху. Послушай, султан, я сообщу тебе новость, за которую ты озолотишь свою верную прислугу.

— Говори...

— Пророк сказал: разделил аллах страсти на десять частей и девять из них отдал туркам. Я видела в бане невиданной красоты девушку, которая воплощает в себе все десять частей греховной страсти...

— Кто она? — оживился Ибрагим, забывая о мучивших его душевных тревогах, о Крыме и Польше.

— О, она, наверное, не простая девушка. Я спросила ее, но она прогнала меня, как собаку. Но кяя-хатун все

знает, я проследила, по какой улице проходит эта девушка каждый день перед заходом солнца... Если пожелаешь, сегодня она будет твоей.

Жители квартала, что вблизи Ат-мейдана, были свидетелями удивительного происшествия. В предвечерней мгле в сторону Золотого Рога прогрохотала по улице карета. Она остановилась лишь на мгновение, из нее выскочили двое мужчин с закрытыми лицами, набросили на проходившую по мостовой девушку серый плащ, и не успели прохожие опомниться, как карета исчезла в переулке.

На следующий день шейх-уль-ислам Регель спешил к янычарским казармам. От спокойствия святоши не осталось и следа. Глаза устремлены к небу, с уст срывались страшные проклятия, он с угрозой потрясал кулаками.

— Мурах-баба! — крикнул он, став на пороге казармы.

Вмиг прибежал дервиш, пал перед верховным духовником Регелем на колени и увидел, как у того от сильного волнения болталась в левом ухе серьга: Мурах-баба понял, что случилось нечто чрезвычайное и, возможно, в эту минуту будет решена судьба двора.

— Распутник на тропе, преступник со священным мечом Османа осквернил мою единственную дочь! О проклятие, о аллах!.. Зови, зови сюда янычар-агу!

Нур Али мигом прискакал на коне. Он, собственно, ждал слова шейх-уль-ислама. Уже пробил час. Пятибунчужный скипетр завтра пронесут слуги над его головой. Пусть погибнет тот, кто не сумел оценить заслуг своего спасителя!

В янычарской мечети собрался диван без султана.

— Халиф Осман утверждал: мудрый султан — процветает государство, убогий умом и духом — и государство рушится, — обратился шейх-уль-ислам к Нур Али, алай-бегу и к пашам. — Чаша моего горя переполнилась, но я один должен оплакивать его и просить аллаха отомстить тому, кто обесчестил мою дочь. Но переполнилась чаша терпения и у всего османского народа. Амурат Четвертый оставил цветущую империю. Не прошло и десяти лет, как опустела государственная казна, пришел в упадок флот, венецианские суда штурмуют дарданелльские замки, христиане завладели Далмацией. И повинен в этом только один грешник и беспутный человек, которому аллах не дал ума для царствования.

— А кто повинен в том, — поднялся алай-бег, начальник спагиев, с ненавистью глядя на Нур Али, — кто виновен в том, что Ибрагим сел на трон?

— Мы спасали династию, — спокойно ответил янычар-ага. — Теперь есть престолонаследник, и недостойный господствовать над нами теперь может сойти с престола.

— Есть престолонаследники, — уточнил алай-бег.

— Старший сын Ибрагима — Магомет, — резко ответил Нур Али и обратился к шей-уль-исламу: — Янычары просят тебя, духовный отец, подписать фетву, в которой требуют отречения султана.

Совет окончился. Янычары вынесли из казарм котлы и стали бить в них ложками. Зловещий грохот пронесся над городом и всполошил людей, эхо ударилось в стену дворца. Сам Муса-паша вылетел на коне из ворот и изо всех сил помчался к казармам. Но янычары уже не подчинялись великому визирю. Нур Али только взмахнул рукой, возбужденные воины раздели Мусу-пашу и нагишом погнали по улицам, стегая нагайкой.

В Биюк-сарай шел гонец с фетвой. Он размахивал ею, чтобы никто не посмел приблизиться к нему: священная бумага давала ему право входить к самому султану. Кяя-хатун должна была открыть дверь тронного зала.

Гонец не упал на колени перед султаном — недостойно унижать всесильную власть фетвы. Ибрагим, желтый и сгорбленный, не кричал и не топал ногами. Не отрывая маленьких и поблекших глаз от свитка с печатью, он на цыпочках подошел к посланцу, немигающими глазами глядя на документ, в котором было сказано о его последнем дне, выхватил фетву и тут же порвал ее. Сжал в кулаке клочки бумаги и бросил в мангал.

— Дайте огня, огня! — прохрипел он, обращаясь к кяя-хатун, но на его зов никто не отозвался.

Обескураженный янычар попятился к выходу.

— Султан разорвал фетву! — заревели янычары и ринулись через площадь к дворцу. — Ибрагим нарушил закон корана!

Барабанный бой, звон медных тарелок, вой флейт раздались у главных ворот, распахнулись железные двери...

В зале дивана перед шейх-уль-исламом, пашами и Нур Али стоял Ибрагим, которого притащили сюда за руки евнухи. Он уже предчувствовал, что ждет его, но не мог поверить в это: слишком резким был переход в судь-

бе. Кажется, только вчера, его освободили из темницы и посадили на трон, а сегодня снова отправят в заключение. Без султанских регалий и чалмы Ибрагим выглядел слишком жалким и немощным. Приглушенным голосом он спрашивал у вчерашних своих подданных, а ныне судей:

— Что это означает? Как вы...

Шейх-уль-ислам и Нур Али смущенно переглянулись. Может, им самим стало теперь странно, как могли они когда-то сопровождать это жалкое ничтожество в мечеть Эюба, а потом десять лет бояться порождения рук своих; возможно, подумывали о том, что завтра они возведут на трон такого же другого, и от этого ничего не изменится, а нынешняя расправа с Ибрагимом — только месть за личные обиды?.. Но спектакль закончился. Кара-гез закрывает свой балаган.

— Тебе, Ибрагим, советовали мы отказаться от престола, — промолвил Регель, — и, согласившись на это, ты бы доживал свой век в Эски-сарае. Но дьявол надоумил тебя глумиться не только над моей дочерью, но и над святым кораном. За это ты будешь заключен в темницу и...

Пронзительный вопль оборвал речь шейх-уль-ислама, Ибрагим стал биться в истерике. Хлопал в ладоши, вызывая слуг, угрожал. Опомнился от короткого слова Нур Али:

— Смерть.

Тогда он упал на плиточный пол и стал умолять:

— Помилуй! Я хочу жить!

Ибрагима вывели, шейх-уль-ислам повернулся к янычар-аге.

— Кто это свершит? — спросил, прищурив глаза.

— Чорбаджи первой орты Алим.

— Но тебе известно, что чужеземец, который...

— Вот он и докажет, достоин ли командовать войсками Порты. Простому янычару достаточно ятагана, янычару-аге нужен еще и сметливый ум.

Подворье Биюк-сарая кишело от янычар, которые штурмовали ворота гарема. Там заперлась валиде Кёзем с внуком Солиманом. Упали железные решетки, соскочила с петель дверь в комнату валиде: тихо покачивались подвешенные под потолком масляные лампы, на полу валялась разбросанная одежда, посредине комнаты лежал перевернутый миндер, в углу стоял кованный железом

сундук. Кто-то открыл крышку, но вместо ожидаемого золота увидел в нем перепуганную насмерть Кёзем. Она выползла из сундука и бросила горсть монет янычарам. Те бросились к ней, сорвали золотые серьги с ушей, стащили браслеты и перстни с рук и закололи ударами кинжалов.

Сына султана Солимана, которого янычары должны были доставить живым к Нур Али, не обнаружили ни здесь, ни в детской. Вдруг в стене открылась потайная дверь, и в гарем валиде вошла Тургана-шекер, ведя за руку семилетнего сына. Ее красивое лицо было усеяно морщинами, когда-то пленительные глаза, понравившиеся щедрому султану, грозно взирали на обезумевших янычар. Сын плакал, напуганный криком, но властная мать не обращала внимания на плач ребенка.

— На колени, рабы, перед султаном великой Порты Магометом Четвертым! — приказала она, и вмиг угас пыл вершителей судеб трона.

Янычары опустили ятаганы и пали ниц к стопам его светлости.

Первая орта готовилась к встрече нового султана, который завтра будет ехать из мечети Эюба, опоясанный мечом Османа. Чорбаджи Алим вспомнил, с каким волнением и надеждой он выносил из казармы чашу шербета для Ибрагима десять лет назад. Теперь он относился ко всему равнодушно. При Ибрагиме он ни на ступеньку не продвинулся по службе, хотя был примерным янычаром. Звание чорбаджи получил за убийство украинской пленницы в Багдаде, а за жестокую казнь турка Кер-оглы его даже не похвалили. Теперь братья по крови просили турок стать их союзниками. События в мире развивались не так, как хотел того Алим. Перемены, происходившие в Османской империи, тоже были не на руку. Валиде Кёзем отменила набор в янычарский корпус иностранных детей. Корпус все больше и больше пополнялся турецкими подростками, которые, становясь взрослыми, остальных янычар называли презрительно — чужеземец, казак, Байда. Турция, которой Алим верно служил, не признавала его своим.

Верно ли, но старые меддахи говорят в кафеджиях, что турки когда-то по кусочку съели сердце Байды, желая стать такими храбрыми, как он. Какие турки? Те, что воюют рядом с ним, или те, кого он сажал на кол под Адрианополем? Хотелось кричать, или напиться, или уби-

вать. Но вино не помогало, чужая смерть уже не трогала его, а душевные терзания янычара никому не нужны.

Алим был готов ко всему: подать чашу шербета новому султану или шелковый шнур свергнутому. Что прикажут, что доверят? Бунт в душе утих, воля сломлена, возвращаться некуда, а жить как-то надо.

Поздно вечером к Алиму пришел Мурах-баба. Шейх янычарских дервишей с минуту проницательно смотрел на черноусого богатыря, потом заговорщически произнес:

— Око за око, зуб за зуб, гласит коран. Шейх-уль-ислам жаждет смерти Ибрагима. Святой отец милостиво вспомнил о тебе. Ты исполнишь приговор.

— Рука дающая всегда выше той, которая принимает, — холодно ответил Алим. Ни один мускул не дрогнул на лице.

«Такой хладнокровный убийца может удивить даже Османов!» — подумал Мурах-баба и указал Алиму на выход.

Медленно, словно тень, двигались по темным улицам четверо: чорбаджи и дервиш впереди, два палача сзади. Остановились возле дворцовой тюрьмы. Из темницы доносилось рыдание Ибрагима. Палач подал Алиму ключ. Мурах-баба кивнул головой. Какое-то время Алим стоял неподвижно, потом решительно шагнул к двери. Заскрежетал замок, рыдание Ибрагима оборвалось.

При свете факела чорбаджи увидел человека, которому обещал когда-то, что встретится с ним в стране золотого яблока. Встретились... В безумном страхе, который лишает речи, заставляет цепенеть, смотрел на него Ибрагим, и только глаза молили о пощаде.

Чувство, похожее на то, что родилось на мгновение тогда, в Багдаде, когда незнакомая девушка прошептала «Казаче, соколик», — вспыхнуло в душе.

...Тогда он начинал службу, теперь должен удержать то, что заработал; тогда хотел заслужить ласку властелинов, убивая рабыню, теперь — убивая правителя. Ибрагим стал ему таким же ненужным, как когда-то любовь Нафисы и вера в христианского бога. Но нет, выходит, еще нужен, нужна его смерть.

Чорбаджи первой султанской орты, приученный убивать, легко пронзил кинжалом горло своему бывшему покровителю.

Возвращались молча: впереди Мурах-баба с Али-

мом, следом за ним два палача. Вдруг Алима охватило чувство неуверенности, тревоги. Он оглянулся — придворные палачи шли, понуря головы. Алим замедлил шаг, чтобы поравняться с ними, но палачи снова отстали. Мурах-баба свернул с дороги в ворота, которые вели в комнату палачей. Чорбаджи резко повернулся, схватившись за палаш, на котором еще не застыла султанская кровь, но ему вмиг скрутили руки и заткнули рот куском сукна.

При свете факела, который освещал последние минуты жизни Ибрагима, палач зачитал приговор, написанный рукой шейх-уль-ислама Регеля, очень довольного местью:

«Султан убит, но род Османов священный. Чужеземец, обагривший руки кровью государя Порты, должен умереть. Турецкая кровь смывается лишь кровью».

В последний раз пронзило мозг слово «чужеземец», и это было страшнее смертного приговора. Всю жизнь он хотел сравняться с турками — и напрасно.

Когда шею уже стягивала холодная петля, в памяти Алима возникла проклятая им самим степь и ее высокая ковыльная трава... а в небе — белые облака... и резвые кони скачут к чужому черному небу над Босфором.

В эту ночь возле Мраморного моря в рыбачьем доме, приютившемся у южной стены Биюк-сарая, зажегся огонь. Рыбаки опускали в воду мешок с телом первенца казацкого полковника Самойла — янычара Алима.

К утру следы мятежа на Софийской площади были устранены. Народ собирался к дворцу сопровождать в мечеть Эюба нового султана.

Дервиши бежали впереди, выкрикивая осанну императору, более ревностные вскрывали себе вены в знак того, что всегда готовы пролить кровь за падишаха, толпа шумела, волновалась, прорывалась к процессии, чтобы лобызать следы копыт султанского коня.

Великий визирь Нур Али придерживал рукой семилетнего властелина империи, чтобы он не упал с коня. Магомет Четвертый плакал, потому что еще никогда не сидел на коне, крик повелителя трех континентов и пяти морей разносился над напыщенной Портой, вызывая чувство тоскливо-беспокойного страха.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

Як запродав гетьман
У ярмо християн,
Нас послав поганяти,
По своїй по землі
Свою кров розлили
І зарізали брата...

Т. Шевченко

Весной 1649 года над Крымом снова нависла зловещая тень голода и смерти. С гнилого Сиваша распространилась эпидемия чумы и косила ногайские юрты одну за другой, в небе ни облачка, саранча сожрала всю траву в Буджацкой степи — ногаи охотно собирались на войну с Ляхистаном.

Ислам-Гирей послал гонцов к беям. Откликнулись все, кроме ширинского бея Алтана. С тех пор как Тугай пошел на открытый сговор с ханом и вернул в Бахчисарай ненавистного Сефера Гази, он замкнулся в своей резиденции на окраине Старого Крыма и, потеряв политический вес при дворе, старался утешить себя мирскими хлопотами — перестраивал дворец с таким размахом, чтобы он был величественнее ханского.

Однако и тут веяло запустением, зарастали спорышем когда-то оживленные дороги, не радовали путников возвышавшиеся вокруг усадьбы тополя, посаженные потомками ширинского рода.

Можно было видеть, как каждое утро бейские слуги выводили к большому деревянному кругу в усадьбе пятьдесят ухоженных арабских жеребцов; в заезжем дворе весь день плясали цыгане; стены гарема выросли выше деревьев в саду, виднелись они с берега Индола, но все напрасно, не приезжали высокие гости во дворец Алтана, ничего уже не значило его богатство, и старокрымский властитель тревожился, что его гордость может навлечь гнев хана. Но на поклон идти не мог. Как?! Идти смирным, покорным туда, где его предки и он сам всегда чувствовали себя владыками? Разве до недавнего времени не открывались перед ширинскими беями ворота настежь, сам хан не выходил ему навстречу, а бейские сыновья не врывались в гарем и не выбирали себе самых красивых ханских наложниц? Ширины! Что осталось от них при крутом Исламе? Проклятый Тугай... Какую победу помог одержать Хмелю, а паче — Ислам-Гирею!

Удивление и страх охватили Алтана, когда он из окна дворца увидел, как пали ниц стражники на мосту перед тремя всадниками, в одном из которых он узнал самого хана. Наспех набросил на себя меховую шубу, натянул на голову тюрбан и вмиг выбежал к воротам.

— Не идет гора к Магомету, Магомет идет к горе, — насмешливо промолвил Ислам, слезая с коня. — Что же ты стоишь, не приветствуешь меня и не зовешь слуг, чтобы отвели моего аргамака, и не подносишь чаш со шербетом? Или, может, думаешь, как бы схватить хана, чтобы передать великому визирю, старому Кепрюли, опекуну желторотого султана?

Алтан-бей вытаращил глаза, молнией вспыхнула догадка: уж не за поддержкой ли приехал к нему Ислам-Гирей, когда пятихвостый бунчук перешел в руки Мухаммед-паши Кепрюли. О, это не выскочка Нур Али и не спокойный Аззем-паша. Друг кардинала Ришелье, он подговаривал когда-то Амурата выступить на стороне Франции против Габсбургов; будучи анатолийским кадиаскером, Кепрюли бесцеремонно и воинственно вмешивался в дела двора и за это был сослан в далекую Конью. Что теперь запоет Ислам-Гирей?

— Кепрюли? — переспросил бей, и хан спокойно подтвердил кивком головы. Он надменно посмотрел на Алтана и сказал твердым голосом:

— Этот умный и стреляный хитрец пришел, чтобы спасти Порту, которую пропил Ибрагим. Он бросил флот на Венецию, он пригрозил мне султанским гневом, если я не окажу помощи Хмельницкому, и сам обещал гетману выставить шесть тысяч румелийских янычар. Спешит помочь Хмельницкому, чтобы упредить царя Руси. Ха-ха! Покойный Ибрагим сулил мне шелковый шнур за мой союз с Ихмелиски, этот же — наоборот!

Алтан-бей не понял, почему хан противится политике Порты в отношении к Польше.

— Ты же сам добился этого, Ислам.

— Ширинский бей, — ответил хан, — не желает осчастливить своим присутствием заседание совета дивана, и дипломатические тонкости стали недоступны для него. В этой войне мне не нужны турки. Для победы над Ляхистаном достаточно моих и казацких войск. Хмельницкий сейчас ведет двойную игру и не думает о том, что этим может навлечь на себя мой гнев. С Москвой договаривается! Однако пойдем, негоже нам при слугах говорить о

государственных делах, бей. И гляди, не вздумай дурить, мои сеймены расположились возле Индола.

— Да сохранит твою жизнь аллах, хан, — сложил руки на груди Алтан-бей. — Заходи в мой диванный зал. Когда-то в нем собирались на совет сильные мужи Крыма, теперь же, при тебе, опустел мой двор...

— Собирались на совет и для заговора, — бросил Ислам-Гирей, идя рядом с беем — И поэтому я вынужден был ограничить ваше бейское своеволие. А если, Алтан, ты отныне будешь перечить мне, берегись, могу уничтожить. И не питай больше надежд на Кепрюли, и не слишком радуйся тому, что Тугай-бея призвал к себе ангел смерти Азраил.

— Вот это новость! — воскликнул Алтан. — Я не знал об этом... — И радость, вызванная смертью удачливого соперника, зажглась в глазах Алтана. — Черные вести приносишь мне, хан... Да возрадуются в могиле кости ногайского храбреца.

Ислам-гирей ехидно улыбнулся:

— Не печалься, Алтан. На его место я назначил Карачи-бея, он не хуже Тугай-бея. Тебя же я хочу спросить, почему ты думаешь только о собственном благополучии? Разве ты не видишь, что сегодня каждый шаг, каждое наше слово определяют судьбы Крымского улуса, в котором и тебе, и твоим наследникам придется жить?

Ширинский бей не ответил, слова хана угнетали его, он еще не мог смириться с утратой своей власти.

Диванный зал Алтана был не менее пышен, чем ханский. Потолок выложен самшитовыми клиньями с позолотой, стены расписаны вязью, миндеры оклеены золотистой парчой, под потолком — люстра с сотнями свечей.

— Садись, хан, — указал бей на обитое оранжевым сукном высокое кресло с золотым полумесяцем на спинке. Сам сел на дубовый массивный табурет. — Я слушаю тебя. Что теперь собирается делать киевский триумфатор Хмель?

Ислам-Гирей долго молчал, рассматривая инкрустированный перламутром чубук Алтановой трубки. Он сам не курил, только задумчиво наблюдал за кольцами дыма, которые поднимались из чубука.

Киевский триумфатор... Да, действительно, о таком триумфе не мечтал и Владислав Четвертый, когда ему уже казалось, что он одной ногой стал на подмосток мос-

ковского престола; а можно ли сравнивать торжественный въезд багдадского победителя в Стамбул с въездом в Киев победителя под Желтыми Водами и Корсунем? Амурата IV отравили, а под копыта гетманского коня в стольном граде Украины народ разостлал вышитые рушники, тянувшиеся от Золотых Ворот до Софийского собора, и сам патриарх Паисий благословил гетмана Украины Хмельницкого.

Но разве ради почестей вернулся Хмельницкий из-под Замостья? О нет! О другом думал этот барс с умом змеи. Он бросил клич посполитому лядскому люду, и в Татрах уже поднялись горцы, взяли топоры, и еще день-другой — и чернь Ляхистана пойдет к Хмельницкому. Нужен ли будет тогда гетману союз с нами? Иной союз задумал заключить он, возвращаясь в Киев, — с Москвой.

А шли до сих пор вместе...

И вот мимо Белой Церкви и Бердичева, после позорного поражения польской шляхты под Пилявкой, через опустевший Збараж без остановки наступали казацкие полки на Львов, а рядом, не теряя зря воинов, не отставал Тугай-бей, чтобы под городом Льва скорее получить плату — золотом. Предводитель ногаев собственноручно отсчитал двести тысяч червонных злотых, которые принесли львовские шляхтичи в качестве выкупа, и татарские кони поскакали дальше по выжженным польским селам и местечкам — ногайцы были уверены, что теперь без боев достигнут Вислы и с неисчислимыми богатствами вернутся в Ногайскую степь, которая еще не оправилась от голода. И тогда...

Тогда Ислам-Гирей будет знать, что делать, имея за плечами такую силу, как Украина. Хан, словно приготовившийся к прыжку лев, устремил свой взор к Стамбулу. Дворцовый переворот освободил его от необходимости дипломатничать. С султаном-ребенком он не хотел разговаривать — ведь конь Хмельницкого топтал копытами землю Вепра вблизи Замостья! Смелые планы рождались в голове Ислам-Гирея, и он поспешно принялся формировать татарские войска. Их надо было собрать тысячи: одни — бросить на Кафу, другие — привести на Украину, чтобы показать победителю Хмельницкому, когда тот остановится возле Вислы. Чтобы увидел силу Ислам-Гирея и считался с волей южного союзника.

А когда уже можно было осуществить этот замысел и Ислам-Гирей благодарил аллаха за то, что надоумил его

вступить в союз с казацким гетманом, — бог православный или же сам шайтан подсказал гетману вернуться в Киев и начать переговоры с московскими людьми — послами царя Алексея Михайловича. Неверный тянется к неверному — поэтому надо быть настороже.

А за это время шляхта немного оправилась после поражений. Не начать ли переговоры с ней?

— Хмельницкий проиграл время, — промолвил наконец хан, не веря в правоту своих слов (зачем ширинскому бею знать о его намерениях), — но война идет, и мы не выходим из игры. Где прошло переднее колесо арбы, там пройдет и заднее. Я хочу, Алтан, получить от тебя тридцать тысяч отборных воинов. Мне нужно такое войско, которое превосходило бы польское и казацкое, вместе взятые. Чтобы я мог диктовать условия любой стороне. Ты должен привести их к Карасубазару не позже чем через две недели. И не злоупотребляй моим терпением, бей. Я заплачу тебе сполна — за добро или за зло.

— Согласен, — тихо ответил ширинский бей, заслоняясь от пристального взгляда хана клубами дыма из чубука.

В конце мая Хмельницкий, оставив под Бердичевом семнадцать отборных полков, отправился в сопровождении кропивенского полковника Филона Джеджалия и миргородского Матвея Гладкого и нескольких сотен казаков навстречу хану — за Умань, к Черному лесу.

Ислам-Гирей уже ждал гетмана со стотысячным войском, прибыв сюда с Перекопа по давно знакомому Черному шляху. Через Ингулец, Ингул, Синюху шли буджацкие и джамбуйлуцкие ногаи в вывернутых бараньих тулупах и шапках, горцы в пестрых кафтанах, с сагайдаками за плечами, длинноволосые, похожие на казаков черкесы в высоких белых папахах и тысячи румелийских янычар. Шли по проторенным дорогам, не сворачивая в близлежащие села, — железной была рука хана, который спешил со своими войсками на соединение с гетманом, в надежде получить хороший ясырь.

Два дня отдыхали, ожидая гетманской свиты.

Загрохотали тамбурины, зазвенели гусли, запищали зурны — из лагеря выехал хан, одетый по-боевому: в шлеме с острым наконечником и в кольчуге. Рядом с ним по бокам — Крым-Гирей и Кази-Гирей, а позади конный отряд сейменов.

Ударили в литавры, заиграли сурмы — к хану напра-

вился Хмельницкий в горностаевой мантии, держа в руке булаву, усыпанную драгоценными камнями. Рядом — полковники.

Гетман поклонился, хан милостиво опустил веки, но ненадолго хватило высокомерия. Привыкший к седлу и состязавшийся в поединке не изысканными фразами, а мечом и делом, он мрачно спросил:

— Что получат мои воины?

— Крым заселишь шляхтой, — кратко ответил Хмельницкий.

В этом ответе было столько уверенности в победе, столько силы прозвучало в голосе гетмана, что хан вздрогнул, и восхищение, а вместе с тем какое-то чувство страха овладело им. Он исподлобья взглянул на гетмана: перед ним стоял не тот Хмельницкий, который просил у него помощи в Бахчисарае, — малоизвестный сотник и капитан низовых сечевиков в Дюнкерке. Представитель великого государства, которое вдруг выросло на развалинах обобранной шляхтой Речи Посполитой, всеми признанный победитель не о помощи просит теперь, а предлагает плату за союз. На миг представил себе казацкого богатыря, который одним плечом коснулся Московитии, а другим Пруссии, упершись спиной в Швецию, давит мощной грудью на Причерноморье, вытесняет из Диких степей Джамбуйлуцкую и Буджацкую орды и протягивает руку к Перекопу. Рушатся замки Оркапу, и вот тянется рука, чтобы зажать Крым...

Прищурив глаза, Ислам резко спросил:

— А если не достанешь ляхов, чем заплатишь?

— Нет такой силы теперь в мире, чтобы могла устоять перед нашей, хан, — ответил Хмельницкий и в этот момент перехватил пламенный взгляд белокурого ханского воина.

Огонь пылал в его глазах, лицо светилось восхищением, воин всем телом подался вперед, словно решился преодолеть пространство между ханской и гетманской свитой. Хмельницкий скупо улыбнулся из-под усов, и сеймен покраснел.

Хан повернул коня и отправился в лагерь.

Джеджалий наклонился к гетману:

— Гетман, ты, вижу, заметил белокурого парубка. Я помню его по Бахчисараю, это из нашего рода. Он может пригодиться нам.

— Это рыцарь, Филон. По глазам прочел, что рыцарь. Такие двум панам не служат.

Невиданный поход тянулся через Бердичев по берегам реки Случь на Староконстантинов. Впереди брацлавский полк Данила Нечая, пятнадцать полков двигались с Хмельницким, позади Матвей Гладкий, а на флангах татары. Стонала земля, и туманилось солнце, и все десять ночей на небе светилась комета. Шляхта бежала в Збараж, где укрылась в замке накануне праздника Петра и Павла.

Бились день, бились другой... Ой, будет ли теперь твоей, Хмельницкий, Украина или тебя постигнет позор?

...Зловеще тиха августовская ночь, непривычно тиха после дневного сражения. Чуть слышно плещется Стрипа, ударяясь об илистый берег, при лунном сиянии чернеют развалины сожженной Млыновки, шумит недалеко обреченный Зборов, и костелы шпилями тянутся в небо, словно моля у него о спасении.

В нескольких верстах на восток доживает последние часы Збоpажская крепость после месячной осады, а в Зборове, осажденном казаками, не спит король Ян Казимир. С факелом в руке ходит он среди поредевших гусарских хоругвей, призывая охрипшим голосом: «Панове, наберитесь мужества, не губите отчизны... Король с вами...»

Тихо в ханском шатре. Вдали дымятся костры, татары жарят на вертелах кебаб и отдыхают после битвы. Завтра, когда начнется последнее наступление, они будут стоять в стороне.

В ханском шатре мерцает свет. Ислам-Гирей не спит.

Сеймен Селим охраняет его.

Пахнет вытоптанной пшеницей — ее удивительный запах нельзя сравнить ни с каким другим, и чувствует его Селим уже второй месяц, следуя по украинской земле за Хмельницким. Вдали за Стрипой вырисовываются на небосклоне очертания дремучей дубравы, она гулко шумит и стонет — ее шум совсем иной, чем в лесу над Качей. Приятно пахнут травы в затонах реки, печально кричит очеретянка, с луга доносится аромат полыни, чернобыльника и ромашки. И земля под ногами мягкая, как постель.

«Неужели я отсюда?»

Хан не спит. О чем думает Ислам-Гирей? Ныне он уже не может гневаться на Хмельницкого, как там, под Збаражем. Сегодня гетман не оробел — победил. Польское войско почти разгромлено, и завтра на рассвете король Ляхистана будет стоять перед ханом, как год назад стояли перед ним польские гетманы во дворе бахчисарайского дворца.

Тогда Селим возвратится домой. И не услышит больше душистого запаха украинского зерна и печального гула дубрав, под его ногами опять будет земля жесткая, в колючках и дерезе.

И не увидит он больше украинского богатыря, у которого орлиный взгляд и демоническая сила, заставляющая идти на смерть. Что-то неуловимо привлекательное есть в его движении булавой, — кажется, возвысился он своим могучим телом над всей землей и видит всю ее, от края до края, уверенно ведет народ к цели, которую видит только он один.

И что-то неуловимо близкое есть в этих людях, которые самоотверженно идут за ним. Их отвага и презрение к смерти удивляют, их тело, кажется, не чувствует боли, ибо не слышал Селим никогда ни стона их, ни вопля, разве только крик в бою, а стон — в их печальных песнях, что льются иногда во время передышки, ровные, как степь, протяжные, как потоки в буераках, и мягкие, как молодая трава.

«Неужели я тут родился?»

Хан не спит. Он все время мрачный — хан думает. Над чем? Почему он приказал завтра не вступать в бой?

А что, если Селим, когда придет смена, на часок проберется в казацкий лагерь и посидит там с казаками? Какие они? Прикоснулся бы к их рукам, чубам, взлетающим над головами, словно змеи, когда скачут они на конях, послушал бы их речь... Послушал бы песни, прикоснулся к струнам бандуры. На часок только, а потом вернется, ведь он служит хану...

Спят татары возле костров... А где теперь Тимош? Тимош недобрый, жестокий... Почему Тимош тогда не сказал ему ни единого доброго слова, не окинул ласковым взглядом? Как та женщина, мать-ханым... Кто она? Почему смотрела на него с такой нежностью и печалью? Так хорошо на сердце от ее взгляда...

«Кто я?»

Хан еще не спит... Идет смена охраны.

Нет, это не часовые идут ему на смену. Освещенная бледным сиянием луны, показалась фигура человека, а за ней еще несколько воинов с мушкетами на плечах.

— Стой! Кто идет!

— Посол его милости короля к хану великой орды Ислам-Гирею, — услышал он тихий, вкрадчивый голос, и тотчас, словно из-под земли, вынырнули сеймены и стали вокруг ханского шатра.

...В шатре Ислам-Гирея тихо шел совет с вечера и далеко за полночь.

— Боюсь, Ислам, что между двумя мечетями ты без намаза останешься, — качал головой Сефер Гази, когда хан изложил ему свой замысел.

— Полгода назад я не знал другого союзника, кроме Хмельницкого, — словно оправдывался перед учителем Ислам-Гирей. Но знал Сефер, что хану теперь не нужны советы бывшего воспитателя. Гирей чувствовал свою силу, а после того, как подчинил себе ширинского бея, ни с кем больше не советуется. — Я ждал от него государственных послов, — продолжал хан. — Но государства он не создал, хотя и мог. Именно под Замостьем он назвал себя слугой Речи Посполитой. К лицу ли хану, который вышел своей собственной персоной на королевские земли, вести переговоры с подданными короля? Тогда короля поддержит Генрих Французский, прусский Фердинанд, Филипп испанский, и папа Иннокентий Десятый благословит христианскую коалицию.

Сефер Гази сжал в кулаке бороду. Он вспомнил, как когда-то Ислам не устрашился подписать ему, учителю, смертный приговор. Как же можно требовать от него верности Хмельницкому?

— Гетман становится слишком сильным. Я боюсь его, Сефер. Мне нужен слабый король, у которого служит сильный казацкий гетман. Я измотаю силы обоих, чтобы и не были до конца разбиты, но и подняться не могли.

— Ты забываешь, что Хмельницкий всегда найдет себе союзника на Востоке. Если ты изменишь ему, он тотчас осуществит это. Московский царь уже помогает гетману не только грамотой, но и людьми: к нему уже пришли казаки с Дона.

— Я знаю об этом и не забываю. Поэтому и хочу договориться с королем, пока сибирский медведь не успел еще зализать свои раны после ливонских войн и польских распрей, пока он еще дремлет.

— Не играй с огнем, Ислам. Когда этот медведь проснется, — да и дремлет ли он, подумай, — то рев его услышат не только в Европе.

Ислам-Гирей задумался. В этот момент в шатер вошел Селим. Хан не поднял головы. Сефер Гази, казалось, дремал сидя, только по черным зрачкам, блестевшим сквозь неплотно сомкнутые веки, можно было догадаться о том, что он не спит.

— Великий хан, — докладывал Селим, — посол от короля к тебе.

Сефер Гази широко открыл глаза.

— Ты, Ислам, разговаривал со мной уже после совершенного тобой дела.

— Нет, — ответил хан, — видимо, на нашем совете присутствовал сам аллах. Пригласи посла! — бодро бросил хан Селиму, довольный исходом Зборовского сражения.

В шатер вошел шляхтич в кармазиновом жупане. Поклонившись, он подал хану свиток. Ислам развернул его и чем дальше вчитывался в текст послания, тем больше багровело его темно-серое лицо. Дочитав, он вскочил с подушки, воскликнув:

— Король напоминает мне о плене и ласковом отношении со стороны Владислава Четвертого?! Что же, передай ясновельможному Яну Казимиру, что я не забуду благодеяний его брата и, чтобы отблагодарить, помещу нынешнего властелина Речи Посполитой в самом лучшем каземате в Чуфут-кале. Он получит там все, кроме птичьего молока!

Хан был сердит, в гневе топал ногами. Сефер Гази еще не видел Гирея таким и готов был успокоить его, но несдержанность хана была кстати — пускай завтрашний бой решит исход сложной дипломатической игры.

Но хан вдруг остыл. Повернувшись спиной к послу, он пренебрежительно бросил через плечо:

— Я жду сейчас же, сию минуту канцлера Осолинского в своем шатре!

...На рассвете, когда с небосклона уходила на запад короткая ночь, в казацком лагере поднялся шум — наступал последний час для Речи Посполитой. Казацкие полки стремительно обрушились на королевские войска, однако польская конница пыталась сдержать наступление казаков. А войско хана стояло, не двигаясь с места, на левом берегу Стрипы, наблюдая за битвой. Хмельницкий

послал гонца к хану с приказом немедленно вступать в бой и стал ждать ответа.

Гонец не задержался. На взмыленном коне он подскакал к гетманскому шатру и крикнул, подавая письмо:

— Хан отказался выступить!

У Хмельницкого высоко взметнулись брови, побелели сухие губы, он нервно разорвал печать, развернул письмо и побледнел.

«Гетман, — писал хан, — почему ты хочешь до конца уничтожить короля, своего господина, государство которого и так достаточно разорено. Надо иметь милосердие, и поэтому я, как родовитый монарх, хочу примирить тебя с твоим монархом, которому ты до сих пор подчинялся. Я жду тебя в своем шатре. Если же не послушаешься, выступлю против тебя».

— Коня! — крикнул Хмельницкий. — Генерального писаря Выговского ко мне!

...Несколько сот сейменов стояли полумесяцем против ханского шатра. Напротив входа сидел на персидских коврах Ислам-Гирей в собольей шубе, рядом с ним Сефер Гази. А в отдалении на бугорке, покрытом парчой, сидел... нет, это не сон, не может этого быть!.. сидел король Ян Казимир. Но темно-карие глаза презрительно смотрели на гетмана-победителя, черные курчавые волосы парика по-патрициански спадали на плечи, черный атласный кафтан, отороченный вокруг шеи белым мехом, придавал королю кардинальскую величавость. Рядом с королем стоял великий канцлер Ежи Осолинский, морщинистый, с глубоко сидящими глазами, с коротко подстриженной бородкой — тот самый, который, еще до наступления на Замостье, тайно приходил к Хмельницкому просить согласия на арест Яна Казимира.

Хмельницкий до боли сомкнул веки от кипевшей в нем ярости, словно хотел прогнать дурное видение, хотя уже понимал весь позор поражения. Неслыханное, чудовищное коварство!

Рука сжала эфес сабли и тут же опустилась. Побежденный король милостиво протянул для поцелуя руку, а великий канцлер промолвил:

— По врожденной доброте своей король был далек от того, чтобы жаждать крови подданных. Он прощает тебя, Хмельницкий, за тяжкое преступление в надежде, что ты загладишь вину верностью и доблестью своей.

Казалось, под ногами разверзлась земля от такого

кощунства и обмана. Гетман с ненавистью посмотрел на хана, Сефера Гази, который стоял неподвижно с закрытыми глазами, и повернул голову к Выговскому. Генеральный писарь потупил глаза, боясь взгляда Хмельницкого. И вдруг он упал на колени, прошептав:

— Милосердия и прощения просим у вашего королевского величества.

«Гад!» — чуть не закричал Хмельницкий. Еще миг, и гневный клич всколыхнул бы воздух над зборовскими полями, и ринулись бы казацкие полки на верную смерть за честь гетмана.

Гетман овладел собой. Помощи ждать неоткуда. Он должен снести это надругательство над собой. Снял шапку, сжал ее в руке, даже перья поломал и прикусил длинный ус. Настороженно следили за гетманом глаза хана, в узких щелях бегали блестящие зрачки Сефера Гази — Хмельницкий медленно шел к королю. Потемнело августовское небо, черными казались фигуры короля и хана; шел с победами от Желтых Вод через Пилявку и Вепрь королевский вассал, чтобы уже над Стрипой почувствовать себя народным вождем. Поздно... Действительно ли поздно? Чудилось — вдруг зазвонили киевские колокола и умолкли в отчаянии, в удивлении подняла голову Европа, послышался хохот — разочарованный, насмешливый...

Согнулось одно колено, второе... Хмельницкий опустился на землю, не доходя до короля.

В этот момент глухой крик раздался в рядах сейменов, но его не услышал Богдан, не увидел потемневшего лица рыцаря, который с таким восхищением недавно смотрел на казацкого гетмана.

Сефер Гази монотонным голосом зачитывал побежденным ханские условия, слова молотом стучали по голове Хмельницкого, которая, казалось, разрывалась на части от унизительной милости хана.

— Сорок тысяч реестра... а все остальные казаки должны вернуться к своим панам... Киевское, Брацлавское и Черниговское воеводство — Хмельницкому. Король должен уплатить двести тысяч злотых наличными, а в дальнейшем ежегодно по девяносто тысяч...

Торговля, базар... За двести тысяч злотых — Украину. Как дешево... Сколько бы он потребовал за голову гетмана?

— С этой поры между королем Речи Посполитой

Яном Казимиром и его наследниками, с одной стороны, и великим хаканом Крыма и его наследниками — с другой, утверждается вечная дружба.

Имя подданного не было упомянуто...

Пошли ляхи по трем шляхам, казаки — по четырем, чтоб их кони отдохнули... А татары — по всей степи...

Чем будешь расплачиваться, Хмельницкий, за помощь татарам: валахами, или шляхтой, или же своими казаками?

Теперь ненасытной ордой по Черному шляху возвращались татары на юг. Сгорели Межибож, и Ямполь, и Заслав, грабили ордынцы хутора и села, уводили людей в плен.

Идут хлопцы, выкрикивая, а девчата — напевая, а молодые молодцы — старого гетмана проклиная:

Бодай того Хмельницького
Та перша куля не минула...

Поседела гетманская голова от такого немыслимого предательства. В ушах звучали страшные слова песни невольников, и рука в отчаянном гневе сжимала булаву: вот поднимет ее — и ринутся казаки на орду. И снова взял себя в руки Богдан: не время сейчас брать меч в руки, но оно придет, будут и силы... Будет еще праздник, и очистится от скверны истоптанная земля, и помчатся кони по вольной степи от Орели до Буга, от Дона до Стрипы...

Ордынцы гнали ясырь с Украины, а к Днепру и дальше на север, в Москву, скакали гонцы гетмана, обходя Черный шлях.

Почему так тошно на душе у Селима? Почему не пахнет больше степь хлебом, трава малиной, лес не звенит печальным перезвоном, а в сердце тускнеют образы двух мужей, которых одинаково любил, — Ислама и Хмеля?

Над Черным шляхом клубилась пыль, взбитая ногами пленников, и оседала на вытоптанные поля пшеницы, на помятую траву, — по ним идти пленникам, а не победителям; молча смотрела Украина на свой позор; черночубые казаки сопровождали сестер и братьев в татарский край.

«Нет, не моя это земля, не моя!» — беззвучно кричал Селим, скача по пожелтевшей степи.

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

Нас тут триста, як скло,
Товариства лягло...

Т. Шевченко

Каземат, в котором почти два года томились, ожидая выкупа, гетманы Польского войска, был хорошо оборудован, и знатные пленники не испытывали ни голода, ни холода. Да и свободы им было достаточно. Во всяком случае, Калиновский наладил хорошую связь с миром через иезуитов на Армянской улице. Только слишком уж надоели бывшие властители Речи Посполитой друг другу: взаимная неприязнь и ежедневные споры досаждали им больше, чем неволя.

А король не торопился выкупать их.

Заметно состарился Николай Потоцкий. Лицо осунулось, седые усы опустились вниз, а большие, точно стеклянные глаза болезненно горели — в них затаилась ненависть ко всем, о ком он помнил: Хмельницкого он хотел видеть корчащимся на колу в предсмертных муках, иначе он думать о нем не мог. Сознание того, что казацкий гетман после Зборовского сражения получил сорок тысяч реестрового казачества и три воеводства, что он протягивает руки к Молдавии, а в Чигирине принимает с дарами турецких послов, приводило его в бешенство, и он кричал Калиновскому, ожиревшему от безделья:

— Дожились, вашмость! С холопами, которых надо приучать к послушанию только саблей и нагайкой, ясновельможный круль подписывает соглашения! А впрочем, чего можно было ожидать от Яна Казимира, который даже родной язык не считал своим, а в те годы, когда мы отсекали казакам головы на Масловом Ставе, он шпионил во Франции в пользу Испании, шлялся по борделям и хлебал похлебку во французской тюрьме.

Каждое слово Потоцкого раздражало Калиновского, он до сих пор не мог простить ему того, что тот недооценил силы Хмельницкого и послал к Желтым Водам своего недалекого сына— нагайками разгонять холопов. Получая вести из Польши, Калиновский ломал голову над тем, как бы, используя положение под Зборовом, договориться наконец с ханом. Знал, что можно договориться, и поэтому сердился, видя, что Потоцкий и думать об этом не хочет, ослепленный жаждой мести казакам.

— Вашмость забывает, что в Италии Ян Казимир вступил в орден иезуитов и вернулся в Польшу кардиналом. Кардинал что-то да значит, если учесть, что католический костел подчиняется римскому папе.

— Да, да, нынешний король не зря учился у иезуитов. Нам присылает утешительные письма, но ни гроша для выкупа. Матка боска, региментариями славного Польского войска стали лентяй Заславский, недоучка Остророг и сопливый Конецпольский! Да, с такими пшевудцами придет конец Польше! А мы... а я ем конину и запиваю кумысом в бахчисарайской крепости!

— Вашмость, пан... коронный тратит слишком много энергии на бессильную злость, — язвительно ответил Калиновский. — Так было и под Корсунем. Пан очень легко впадает в амбицию, а она мешает оценить реальные силы противника. И теперь, вместо того чтобы разузнать, что замышляет хан после Зборова, — ведь зачем-то он оставил короля на троне, — пан только и знает, что плюет на региментариев, на Яна Казимира и во сне видит Хмельницкого на колу. А я знаю, что в Варшаву прибыли послы из Болгарии просить короля помочь им в борьбе с Турцией и что это на руку Ислам-Гирею. Он уже заигрывает с Венецией и направляет к королю послов с предложением о совместном выступлении против Османов. Вашмость никогда не задумывался над тем, что в такой ситуации может возникнуть разлад между гетманом и ханом?

— Дайте мне только свободу, и я уничтожу казацких ребелизантов, как двадцать лет тому назад!

— Бросьте бахвалиться этим, пан... коронный, — Калиновский не мог скрыть иронии, когда произносил титул Потоцкого. — Вы же сами убедились, что это за ребелизанты. Хмельницкий — политик, и если он захочет, натравит на нас Швецию, и Москва всегда готова его поддержать. Нам надо добиться аудиенции у хана. Он, мне кажется, подумывает о разрыве с Хмельницким, ну, во всяком случае, боится его победы. Но если преждевременно произойдет этот разрыв, Речь Посполитая погибнет. Гетман в тот же момент найдет союзников на севере и востоке. Нужно еще одно сражение, подобное зборовскому...

— Цо пан муви?[1] — даже вскочил Потоцкий. — Еще

[1] Что пан говорит? *(польск.)*

одно соглашение, еще сорок тысяч реестровых казаков, еще три воеводства? Даже думать об этом — предательство!

— Все это пышные фразы, пан... кгм... коронный. Я же говорю вашмости: нужна еще одна баталия и еще одна... измена хана. Разве не может этого понять вашмость, что Ислам-Гирей просто-напросто предал Хмельницкого под Зборовом. Если бы не так, то мы имели бы здесь в Чуфут-кале еще одного знатного компаньона — ясновельможного круля Речи Посполитой.

Наверное, впервые за два года их совместной жизни в неволе Потоцкий согласился с Калиновским. Он немедленно сел к столу и начал составлять послание хану, чтобы сегодня же передать его стражам во дворец.

Мария стояла, как когда-то давно, в клубах пыли у дороги, которая вела из Бахчисарая к Ак-мечети. Она внимательно присматривалась к татарским воинам, вглядываясь в их лица. Крымские войска снова выступили в поход — на Украину. Тревога сжимала сердце — разное сказывают люди в Мангуше: говорят, хан пригнал в Перекоп тысячи пленных, возвращаясь с Украины, и в Кафе посадили на галеры казацких сыновей. Мальву ослепила любовь, она не могла поверить этому. А какая-то доля правды в этом есть... Какая судьба уготована нынче многострадальной Украине?

В шапках, кожанках, на густогривых конях, такие же, как те, что вели ее с Соломией на привязи когда-то, больше десяти лет назад, — шли отряд за отрядом. Это страшная сила, и каким надо обладать мужеством и как надо верить в грядущую победу, чтобы пережить присутствие неверного соседа в родном краю...

Прошли первые отряды, осела пыль, и на горизонте показались силуэты всадников в остроносых шлемах — это приближался ханский эскорт под зеленым знаменем. Посреди сам... зять на коне. Издали видно его мрачное, жестокое лицо. Как это Мальва могла?.. Впереди везут на арбах пушки, воины, закованные в панцири, тяжело бряцают саблями и щитами, и частокол пик как будто вонзается в синее небо.

Увидит ли она любимого ханского сеймена, которого почему-то нарекла своим сыном? Не ошиблось ли материнское сердце? Но все равно, оно уже приняло его, пу-

ской и чужого сына, болит и тоскует: два года не видела его, еще с тех пор, как уходили на Зборов. Может, погиб?

Войско приближается... Хан свысока смотрит на мать жены, теплее становится его взгляд. Мария решается, подходит ближе. Всматривается пристально в лица ханской охраны. Где же белокурый сеймен? Один ряд, второй и третий, и вот на нее устремляются голубые глаза, из души Марии вырывается тихий, сдавленный крик:

— Мен-оглу! Сыночек...

Селим придержал коня, не сводя глаз с женщины, которая назвала его сыном, потом двинулся дальше.

Она шла рядом, подбегая ближе, чтобы присмотреться к нему еще раз. Нет, не обманывает материнское сердце — это он!

— Кто я тебе? — спросил Селим тихо, но кони шли все быстрее и быстрее, хан спешил на Украину.

— Сыночек! — закричала ему вслед, и он, услышав ее голос, снова остановил коня на миг. — Сынок, пожалей свою землю!

В конце июня 1651 года Хмельницкий расположился лагерем у реки Пляшивки, которая впадает в Стырь возле Берестечка, и ждал хана. Весть о том, что Ислам-Гирей, не взяв выкупа, освободил Потоцкого и Калиновского без ведома Хмельницкого, не предвещала ничего хорошего. Союз с ханом ненадежный, а московский царь уже принял послов Хмельницкого.

В полдень вестовые доложили гетману, что из Сокаля в Берестечко направляется король с гусарами, драгунами, рейтарами, со всем посполитым ополчением. Войсками снова командуют Потоцкий и Калиновский. В этот же день прибыли и татары, занявшие позиции на левом крыле казацких боевых порядков.

Был первый день байрама, ордынцы праздновали. Забирали в окрестных селах Солонево и Остров овец и коров, варили в котлах бараний суп и опивались айраном.

Хмельницкий весь день молился в островской церкви святого Михаила и исповедовался перед боем.

К вечеру густой туман повис над Стырем, Берестечко скрылось в тревожной мгле. Утром из молочно-белой туманной пелены вдруг вынырнуло польское войско под расшитыми золотом хоругвями, забряцали железными крыльями королевские гусары и разместились, как фи-

гуры на шахматной доске, вышли панцирные хоругви в стальных кольчугах, за ними рейтары в шапках со страусовыми перьями и пестрое посполитое ополчение.

Два дня прошли в мелких стычках, король ждал наступления казаков и татар. Ислам-Гирей почему-то выжидал, татары с тревогой перешептывались о князе Вишневецком, который не раз громил их.

На третий день в татарский лагерь прибыл полковник Джеджалий с приказом гетмана немедленно ударить на поляков с обоих флангов.

Хан был в дурном настроении, мрачный и сердитый. Минувшей ночью он снова разговаривал с Сефером Гази. Сефер решительно требовал, чтобы Гирей выступил против королевских войск. Ислам-Гирей слушал его насупившись, а в памяти звучали мольбы Мальвы. Что-то знакомое услышал он в ее просьбе и требованиях Сефера. В душу хана закралось подозрение, в приступе гнева он прогнал учителя из шатра.

Джеджалий ждал ответа. Ислам-Гирей пренебрежительно посмотрел на полковника:

— Ну что, одумался твой Хмельницкий, который ввел меня в заблуждение своими баснями о слабости войска польского?

Не успел Джеджалий передать хану приказ гетмана, как с польской стороны ухнула пушка и вблизи шатра упало ядро.

Ислам-Гирей вздрогнул и, брызгая слюной, закричал на Джеджалия:

— Видишь? Видишь, как рискует хан, угождая прихотям твоего гетмана? Он заигрывает с султаном, так пусть и просит у него войска, а не пытается выиграть победу моими руками.

С татарской стороны выскочило несколько всадников на поединок. Хан настороженно наблюдал за сражающимися и вдруг ахнул, увидев, как один из сейменов рухнул с коня — ногами к татарскому лагерю.

— Плохой это знак, полковник, — указал он рукой на сражающихся. — Боюсь я начинать битву.

Джеджалий побледнел. И тут из ханской свиты выехал вперед белокурый сеймен и, глядя в упор на своего повелителя, резко сказал:

— Разреши мне, хан, выйти на поединок. Или выйду победителем, или лягу головой к твоим стопам. Не отказывайся второй раз от боя.

Наглость молчаливого верного слуги ошеломила хана. Ислам-Гирей прошипел:

— Как ты смеешь, раб!

В этот момент в польском лагере заиграли трубы, ударили барабаны, пошли в атаку на татарский фланг двадцать панцирных хоругвей, следом за ними двинулись гусары. Впереди скакал на коне, размахивая обнаженной саблей, Ярема Вишневецкий — без шапки, в бархатном красном кунтуше.

Джеджалий помчался к Хмельницкому.

В предрассветной суете кто-то из татар панически завопил:

— Ярема! Ярема!

Отряды татар попятились назад, Ислам-Гирей повернул коня и поскакал впереди них. Татары, сбрасывая с себя епанчи, куртки, оружие, с гиком и ревом бросились вслед за ханом.

С правого фланга наперерез хану скакал Хмельницкий — безжалостно стегал нагайкой своего белого жеребца. За ним — два десятка казаков.

Гетман догнал хана Ислам-Гирея только к вечеру на дубновской дороге.

— Это так ты выполняешь свой договор со мной, хан! — закричал он в отчаянии. — Почему позорно бежишь с поля боя?

Хан прищурил глаза. Сейчас он впервые почувствовал, что больше не боится Хмельницкого. С этого часа Ихмелиски будет ему послушен. После боя он направит к королю послов: пускай помирится с казацким сердаром и движется на Турцию.

Хан ответил спокойно, с чуть заметной насмешкой:

— Сам не могу понять, гетман, почему такой страх напал на мое храброе войско? Не наслали ли поляки на нас дьявола? Ты же, Ихмелиски, непочтительно разговариваешь со мной. Как это — я, хан Ислам-Гирей, убегаю с поля боя? Ты должен знать, что я хотел возвратить испуганное войско. Но теперь уже поздно возвращаться, поэтому и тебе, гетман, не следует идти на верную смерть. Я ценю твою доблесть, мы еще повоюем. А под Берестечком — какая уж им будет суждена фортуна. Сказал же пророк: ни единый волос не упадет с головы без воли аллаха...

— Хан, ты играешь с огнем! — вскипел Хмельниц-



кий. — Дьявол тебя надоумил второй раз изменить мне, поэтому я разрываю союз с тобой и...

Гетман не закончил. Из рядов ханских сейменов вылетел пришпоренный конь, белокурый всадник осадил его на задние ноги перед самим ханом, и из уст верного стража вырвался крик, от которого оторопел и хан, и его свита, да и Хмельницкий с удивлением посмотрел на воина.

— Шайтан шелудивый! Изменник!

Хан не успел прийти в себя, как Селим ударил коня и скрылся в вечерней мгле.

...В июле хлынули ливни. Гнилая Пляшивка разлилась по равнине. Из двенадцати тысяч казацкого войска, которое не успело переправиться с Богуном через болото, осталось триста самых отчаянных казаков на острове Журавлиха.

Потоцкий лично командовал наступлением на неприступную твердыню.

Пушки казаков уже не стреляли, не было пороха. Осажденные брали ядра в руки и бросали их на головы драгун и наемных рейтаров, которые ползли по болоту к острову. Изредка стреляли гаковницы, но и те вскоре умолкли, казаки защищались копьями и саблями.

Среди казаков выделялся молодой воин, закованный в татарские латы. Он бил железным цепом — боевой долбней — по вражеским головам.

— Шайтан! Шайтан! — повторял он после каждого удара, и трупами покрывалось болото.

Потоцкий с восхищением смотрел на героев.

— Эй, хлопцы! — крикнул драгунский хорунжий. — Его милость коронный гетман обещает вам жизнь и волю. Как знаменитый рыцарь, он уважает вашу храбрость. Сдавайтесь!

— Нам лучше умереть, чем получить жизнь, подаренную кровавыми руками Потоцкого! — ответил с берега рыжеусый казак, воевавший косой, прикрепленной торчком к рукоятке.

Хромая на одну ногу, он спустился к берегу, сел в челн. Оттолкнулся изо всех сил и врезался в гущу драгун, увязших в трясине. С сатанинской силой косил рыжеусый вражеские головы, обагрилась вода свежей кровью. Подойти к нему никто не мог.

А на острове людей становилось все меньше и меньше, отделение рейтаров прорвалось на берег. В последнем ожесточенном бою пали один за другим казаки, и разорвалась боевая цепь в руках воина, закованного в татарские латы. Теперь он дрался кулаками, выкрикивая проклятия, и наконец упал лицом вниз, распластав руки, он обнял родную землю, вернулся к ней. И простонала она, окровавленная, оплаканная матерью Мальвы-ханым:

«Пожалей меня, сыночек...»

Остался только рыжеусый казак с косой на челне, ко-

торого взять живым не могли. Окружили его со всех сторон и подняли на копьях.

Так погиб мастер на все руки Стратон — основатель казацкого поселения в Мангуше, верный друг Марии, янычарской матери.

ЭПИЛОГ

> Мир — это море. Плыть желаешь?
> Построй корабль из добрых дел.
>
> *Рудаки*

— Скажите, остался ли еще кто-нибудь на Украине? — спрашивали новых пленников старые невольники в Кафе, Карасубазаре, в Скутарии и Галате — гребцы на турецких галерах.

— Можно ли найти там хоть клочок зеленой степи?

— Вьют ли там птицы себе гнезда?

...Разбежались круты бережочки, ой, да по раздолью, загрустили казаченьки, ой, да и в неволе...

— Ну что скажешь, дочь, где твоя надежда на свою большую любовь к палачу моего края? Иди погляди, невольница ханской постели, на рынок невольников у подножия горы Топ-кая. Уже не в Кафе, нет — в самой столице продает хан своих союзников — да все за дукаты, да все за талеры. Сегодня день обрезания внука. Да разве это мой внук? Лучше бы я задушила его — и хоть половину своей вины смыла бы янычарской кровью, потому что тебя убить не могла... Оставайся, дочь, у палача, а я пойду сына искать. Идти ли мне в Турцию или в Румелию? Нет, я пойду на Украину, где мой Семен остался. И отыщу тот клочок земли, который прикрыл его кости. Его прокляли в мечети, зато, может быть, кто-нибудь ему крест поставит. А ты оставайся и плоди врагов-змеенышей...

— Не проклинай меня, мама. Зачем в детстве татарочкой называла? Зачем, мама?

— Кто ты и куда идешь, седая женщина с открытым лицом?

— Отпустите меня, янычары, отпустите свою мать за Перекопские стены, у меня есть грамота от хана. Зара-

ботала я ее тяжким трудом: все распродала, чтоб ее купить: бога своего, детей своих и здоровье. Я должна умереть на той земле, где конопля до потолка, а лен до колен, где мальвы выше подсолнухов растут — белые, голубые, красные...

...На холме слобода, там жила вдова с маленькими детками. На тихих водах, на ясных зорях, в краю приветном...

«Хану Крымского улуса Ислам-Гирею. Просили вы нас помочь вам начать великое дело. Ничего решить сам не могу, надо подождать до начала заседания сейма. Негоже вашей милости, подданному султана, идти супротив своего господина, да еще и меня, родовитого монарха, в такое дело впутывать. А вместе с этим еще сообщаем, что дани больше платить не будем, потому что наш народ сам голодает после войн.

Ян Казимир».

«Неверный раб великого султана, царя мира, перед которым ты прах и тлен. По наущению самого Иблиса ты осмелился замыслить заговор против своего повелителя. Велю тебе явиться в Высокий Порог и уступить свое место брату — верному слуге падишаха, который из-за твоих наветов десять лет невинно страдает на острове Родосе.

Магомет IV».

«Милостивый крымский царь! Войска твоей царской милости, возвращаясь с Украины, причинили нам большие и непоправимые беды, и казачество тебе больше не верит. Что же касается Москвы, с которой мы вступили в дружбу, так это совершено по желанию моего войска и меня. Православная Русь не предаст нас...

Богдан Хмельницкий».

— Почему ты не весел, мой хан, в день обрезания нашего сына — твоего наследника? Он уже спит... Очень крепко спит. А ты выпей за его спокойный сон. И за меня — третью, но первую твою ханым. И за свой покой выпей... Правда, хорошего вина я сварила для тебя?

...И за кровь, которую ты проливал напрасно по миру, и за измену чужим и своим, и за то, что свой ум, которым наградил тебя бог для свершения добрых дел, продал дьяволу коварства, и за...

— Ты отбирал у меня престол, а отобрал мое место в Эскиюртской усыпальнице — место Четвертого Мухаммеда, которому суждено было умереть своей смертью, — сказал у гроба Ислам-Гирея старый хан, верный слуга малолетнего султана.

— На развалинах мира ты была розой и завяла. О вечный боже, прими ее в цветник рая... — рыдал пастух Ахмет над свежей могилой, вынесенной за стены бахчисарайского дворца.

Львов — Бахчисарай

1965—1967

ЖИВАЯ СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ

В современной советской литературе заметно выделяется тип писателя, для которого осмысление дня сегодняшнего невозможно вне связи времен, без обращения к более или менее отдаленному прошлому. Одним словом, выводы и обобщения серьезной прозы строятся на прочном фундаменте историзма. Сопряжение настоящего и прошлого в творчестве писателей осуществляется разными путями. Федора Абрамова, например, минувшее (трилогия «Пряслины») «приводит» к настоящему (роман «Дом»), то есть, говоря словами А. Толстого, художник заходит к современности с тыла. Писатели военного поколения, как правило, имеют свой предел исторического погружения — Великую Отечественную — их собственную историю, очевидцами и делателями которой они были. С этим военным опытом они сверяют нравственный мир современника.

Украинский прозаик Роман Иванычук (род. в 1929 году), известный своим устойчивым интересом к теме современности (сборники новелл и повестей, роман «Город» — 1977 г.), столь же последовательно обращается к прошлому, опыт которого, по мысли писателя, крайне необходим для формирования сегодняшнего общественного сознания. Выступая за «круглым столом», посвященным проблемам советского многонационального романа, проводившимся в Грузии в конце 1981 года, писатель так определил главную задачу романиста: «Предупреждение нового поколения, стоящего перед опасностью нигилизма, стало если не доминирующей, то, во всяком случае, одной из главных проблем в современной романистике». И, обратившись к конкретному примеру — роману Ч. Айтматова «Буранный полустанок» («И дольше века длится день»), развил это положение: «...Она находит свое самое яркое воплощение в притче о

манкуртах, у которых отобрана родовая память и которые, будучи лишены ее, хладнокровно могут поднять руку на родную мать... Обращение к мифам и притчам — это отрицание безразличия, которое порождает в людях скепсис, пренебрежение к историческим традициям, это воплощение в художественном образе священного чувства любви к родному краю».

Роман Иванычук не ограничивает себя хронологически, отбор исторического материала в его творчестве обусловлен дорогой автору идеей многовековой борьбы народов за независимость, за развитие национальной культуры. Именно эта идея реализуется во всех его исторических романах: «Мальвы» (1968 г.), «Червленое вино» (1976 г.), «Манускрипт с улицы Русской» (1979 г.), «Вода из камня» (1982 г.).

Можно с уверенностью сказать: историческая тема становится определяющей в творчестве Р. Иванычука 70—80-х годов. Это подтверждается близкими и отдаленными планами писателя. В упоминавшемся выше выступлении писатель рассказал об одном из своих замыслов: «Я сейчас в поисках следов почти забытого украинского ученого, друга Тараса Шевченко Николая Гулака, которому за участие в Кирилло-Мефодиевском братстве запрещено было возвращаться на Украину, и он много лет прожил в Тифлисе и Гяндже, где и умер. Гулак одним из первых сделал научный анализ «Витязя в тигровой шкуре», был крупным исследователем грузинской литературы и языка, посвятил много трудов азербайджанской литературе. Я был бы счастлив, если бы мне здесь, на Кавказе, помогли найти его могилу, как нашел могилу Давида Гурамишвили на Украине украинский ученый Дмитрий Косарик в 1940 году».

Исторический роман создается не только ради того, чтобы воскресить в памяти читателя былое, заполнить пробелы в его знаниях. Вопрошая минувшее, писатель решает важные задачи современности, и прежде всего задачу воспитания у молодого поколения исторического сознания — памяти, которое в наш век не менее важно, нежели формирование сознания экологического, привлекающего сегодня внимание художников всего мира. Роман о прошлом, по мнению писателя, может многое сделать в преодолении опасности нигилизма, социального равнодушия, космополитизма.

Романы «Мальвы», «Червленое вино», «Манускрипт с улицы Русской», опубликованные на русском языке, и недавно изданный на Украине роман «Вода из камня» объединяются в единый исторический цикл, посвященный многолетней борьбе украинского народа с польско-литовскими и турецко-татарскими угнетателями, за воссоединение с Россией. Произведения связаны не только общей идеей, но и сквозным интересом к думающему герою — носителю прогрессивного социального и духовного опыта народа.

Анализируя творчество А. Толстого, Г. В. Макаровская отмечает появление у него нового героя, «захваченного тревожным чувством родины», особого типа личности, которая вдруг ощущает, что «за обычной суетой дня скрывается нечто, идущее из века в век, — исторический путь человечества». Человек перестает ощущать себя вне истории. Именно такой тип социального поведения интересует сегодня многих исторических романистов — Д. Балашова, Ч. Амирэджиби, Р. Иванычука. И многие из них достаточно смело продвигают тип «исторического» человека в глубь веков. Но не происходит ли при этом модернизация исторического сознания? Роман Иванычука убедительно показывает, как в XV—XVI вв. жестокость польских панов и католической церкви — безысходные жизненные обстоятельства ускоренно формируют думающего героя, человека с развитым историческим сознанием.

В романе «Червленое вино», повествующем о борьбе Западной украинской Руси с польско-литовским владычеством в XV веке, — два таких героя: гусляр Арсен и сын бедного часового мастера Осташко по прозвищу Каллиграф, который пешком ходил в Краков и Магдебург, учился в цеховых и гильдейских школах, слушал лекции в Пражском университете, может писать по-русински, по-польски, по-латыни. Он, обыкновенный мирянин, не имеющий церковного звания, добровольно взял на себя обязанности летописца. И легкое его перо запечатлевает на бумаге лишь то, что осознал и осмыслил ум, что не отравлено ложью. Осташко не только летописец, но и мыслитель, ему свойственно понимание логики исторического прогресса, судьба страны и народа глубоко волнует его.

Идет многолетняя междоусобная борьба между польскими королями и литовскими князьями за Волынские украинские земли.

Русинский[1] народ, уставший от постоянных войн и грабежей, поднимается на борьбу. И Осташко Каллиграф страдает оттого, что у неграмотных крестьян-бунтарей (опришек) нет опытного вожака. Шестидесятилетний литовский князь Свидригайло только заигрывает с русинскими боярами, но сам мечтает о титуле князя Литво-Руси и в конечном счете оказывается предателем. Мог бы возглавить борьбу Ивашко Преслужич из Рогатина, хозяин замка в Олеско... «И умный, и человечный, и рыцарь умелый, — говорит о нем скорняк Галайда, — а как столкнулся с глазу на глаз с потерей богатства — боярин, да и только».

Ивашку Рогатинского и его подданных пытается образумить Осташко Каллиграф: «А ты думаешь, что вождь явится с печатью на челе? Время создает вождей... Я не говорю — будь ты или другой. Но край наш ропщет, не было еще такого — весь народ поднимается. А это — сила. С такой силой выходили когда-то галицко-волынские князья даже против татар воевать... Народ ждет... Необученный: научите. Разрозненный? Соберите воедино... Почему боитесь вы? Посмотрите, что делают гуситы. Разве Жижка и Прокопий родились с булавой в руках?»

Трагическая судьба дочери да измена зятя и судьи Давидовича вынуждают Ивашку Рогатинского выступить против шляхты, до конца защищать Олесский замок — последнюю твердыню Галицко-Волынского княжества. Здесь, на валах Олесского замка, гибнет и скоморох-музыкант Арсен, так долго искавший смысл жизни и обретший его в неравной борьбе с врагами отчизны.

Борьба за Олесский замок, которая является сюжетным стержнем романа, несмотря на его локальность, становится символом освобождения Украины. «...Наступит час, и в этом замке, ныне превратившемся в руины, родится орел, по имени Зиновий, по прозвищу отца Хмель, и назовет его народ Богом Данным, и на той самой вершине, где сейчас стоит Ивашко Рогатинский, водрузит он победный малиновый стяг. Будет...» Таков эпилог романа.

В следующем романе — «Манускрипт с улицы Русской» и пойдет речь о детстве Зиновия Хмельницкого в Олесском замке, где служил его отец, урядник Хмель. Но это связующая нить, а все ав-

[1] Русины — так называли украинцев западноукраинских земель — Галиции, Буковины, Закарпатской Украины.

торское внимание будет опять отдано думающему герою, аккумулирующему социальный, исторический опыт народа, — Юрию Рогатинцу. Вспомним Ивашка Рогатинского из предыдущего романа. Видимо, совпадение фамилий не случайно и отражает внутреннее родство героев.

Действие романа «Манускрипт с улицы Русской» происходит во Львове на грани XVI—XVII столетий. Юрий Рогатинец, искусный мастер-седельщик, исключен из своего цеха только потому, что исповедует православную веру и не хочет принимать католичество. Вскоре в таком положении оказываются все его товарищи. Как помочь бесправным? Как защитить русинов от жестокого натиска католицизма? Вот вопросы, которые ставит перед ним жизнь и требует ответа.

В свое время Юрий четыре года учился в Острожской школе, был знаком с писателем-полемистом Иваном Вишенским, пользовался его советами и книгами. И в трудной ситуации, когда он остается без работы, а жена его, католичка, за приверженность православию также оставляет его, Юрий решает возродить типографию Ивана Федорова, который год тому назад умер, заложив ростовщику за долги печатный станок. Так возникает Успенское братство, ставшее во Львове в XVI веке центром борьбы за украинскую Русь, за православную веру.

Сделан первый шаг, но жизнь задает Юрию Рогатинцу, уже сеньору — руководителю братства, новые, не менее сложные вопросы. «А что, если епископы правы, стремясь к единству, а не к расколу костела и церкви? А что, если прав Вишенский, призывающий не к борьбе, а к самоусовершенствованию? А что, если Северин Наливайко, воюя со шляхтой, зря проливает кровь народа?..» Внутренний монолог главного героя отражает всю сложность его социальных исканий. Человек в XVI веке, определяющий свое место в истории, совершая свой выбор, оказывается в положении не менее трудном, нежели человек XX века, сотрясаемого бурями революций. Юрию Рогатинцу важно понять, чьим опытом — церковника-униата, стремящегося к объединению католической и православной веры, писателя Ивана Вишенского, защищающего православие и его право на самостоятельное существование, вождя народного восстания Северина Наливайко, отстаивающего в борьбе свободу, — воспользуется будущий борец за независимость отечества. Чей труд окажется исто-

рически более оправданным и какой жизненный путь должен избрать он, Юрий Рогатинец?

Беспокойным умом одарены многие герои романа «Манускрипт с улицы Русской». Двадцать лет размышлял сапожник Филипп Дратва над причинами социальной несправедливости и пришел к выводу: панов горстка, подуй — и нет их, но они держатся. На чем? «На нашем паскудстве, на нашей трусости». И когда приезжает в город митрополит Потий, чтобы назначить на место умершего православного епископа Балабана униата, Дратва решает его убить. Сам он так оценивает свой поступок: «Я не убийца... я добрый человек, виноват только в том, что начал думать».

Жизнь заставляет задуматься и торговца, хозяина корчмы Лысого Мацька, и его сына Романа Патерностера, ставшего позднее ректором братской школы. Роман Патерностер, Зиновий Хмельницкий и его собственный сын Марк радуют стареющего Юрия Рогатинца. Он дарит Зиновию седло, а Марку — сагайдак, над которым трудился всю жизнь. Так бытовая деталь (сагайдак и седло) становится символом духовной преемственности поколений.

Критик М. Ильницкий справедливо отмечает: для Р. Иванычука «история не столько событийная, сколько интеллектуальная почва для исследования». В романе упоминаются известные исторические события — восстание под руководством Северина Наливайко, печально известные походы на Москву Лжедмитрия I и Лжедмитрия II, действуют в нем и вдохновители этой авантюры — львовский староста Ежи Мнишек и польский гетман Станислав Жолкевский. Но это лишь фон. Главное в романе — пробуждение русин, рост их национального самосознания, поиски путей освобождения от засилья католицизма.

Роман «Мальвы» (1968) появился в печати на Украине ранее других романов названного цикла, но в нем нашли отражение события более позднего времени — первой половины XVII века. Здесь Зиновий Богдан Хмельницкий в расцвете сил, он готовится к серьезному походу против шляхты, но для этого нужна помощь — конница крымского хана Гирея и прочный тыл с юга. Хмельницкий оставляет татарам в залог своей верности семнадцатилетнего сына Тимоша. С Хмельницким связано лишь несколько эпизодов романа. «Мальвы» имеют широкую географию: действие происходит в Тур-

ции, в Крыму, на Украине. Главная сюжетная линия — «хождение по мукам» украинской казачки Марии, жены казачьего атамана Самойла, которая со своей маленькой дочерью Мальвой попала в плен к татарам. Получив освобождение у хозяина и преодолевая тяжелые препятствия, пытается пробраться она на Украину, но выясняется, что Украины нет, есть Ляхистан. Куда идти? «Из одной неволи в другую, еще худшую?» Только через много лет, когда окрепло казачье движение под руководством Хмельницкого, появляется возможность вернуться на родину. Но дочь Мальва становится женой хана Гирея, которого полюбила...

Следует отметить, что в этом первом романе писателя о прошлом стилистика его исторической романистики еще не сложилась, чувствуется излишнее увлечение экзотикой, не выработался еще собственный подход к историческому материалу, не определился свой угол зрения. Но главная тема исторического повествования уже ясна — борьба украинского народа за свое освобождение. Обозначился в этом романе также интерес писателя к «историческому», думающему герою. Это меддах Омар, озабоченный будущим своей земли, турецкого народа, тем, что он «зарится на чужие земли, не вспахав свои». «Турки начали с завоеваний, — размышляет он. — Я же думаю, что они прежде всего должны думать о себе и благе своей страны: ибо когда народ стремится развиваться за счет других, тогда происходит обратное: покоренные народы становятся могущественнее, господствующие же вырождаются, живя чужим хлебом, умом и искусством».

История борьбы украинского народа за независимость всегда привлекала украинских писателей. Вспомним широко известные романы «Хмельницкий» И. Ле, «Переяславская Рада» Н. Рыбака, пьесу А. Корнейчука «Богдан Хмельницкий» и т. д. Р. Иванычук стремится не повторять своих предшественников уже хотя бы потому, что в большинстве его романов известные исторические деятели не являются главными героями. Писателя привлекает рядовой, обыкновенный человек — сын часовщика, бедный седельщик, но такой, что по уровню сознания опережает многих своих современников. Исторические битвы, борьба с оружием в руках получают свой отзвук лишь в отдельных эпизодах романа. На первом плане в творчестве Р. Иванычука — столкновение идей, процесс становления на-

ционального самосознания. Такой подход к исторической теме обусловлен не только тем, что в условиях расцвета исторических жанров в 70—80-х годах в советской многонациональной литературе событийная сторона истории все чаще оказывается уже художественно осмысленной и на карте литературной истории исчезают последние белые пятна. Рост самосознания личности, интеллектуального уровня общества в условиях зрелого социализма и научно-технической революции воздействует на писательское сознание, сказывается на выборе героя. Современной прозе свойствен прежде всего интерес к духовному миру личности, к какой бы исторической эпохе она, эта личность, ни принадлежала, — для примера достаточно назвать лишь два романа: «Комиссию» С. Залыгина и «Дата Туташхиа» Ч. Амирэджиби.

Историзму Р. Иванычука не свойственно чрезмерное углубление в бытовые приметы времени, его жизненные реалии. Главную задачу он видит в постановке определяющих проблем эпохи, имеющих историческую перспективу. Такая ориентация определенным образом сказывается и на характерах его героев и персонажей, в развитии которых главное — их идейная эволюция.

Думается, что главное достоинство романов Иванычука, повествующих о прошлом, — это страстное, убедительное обоснование неугасимости духовного опыта народа. Уходят из жизни миллионы, гибнут под напластованиями веков книги и рукописи, но лучшие люди своего времени, независимо от их социального звания, всегда находят духовных преемников.

В романе «Манускрипт с улицы Русской» мать напоминает шестнадцатилетнему Зиновию Хмельницкому, что он родился тогда, когда замучили Северина Наливайко. Руководитель Успенского братства Юрий Рогатинец, унаследовавший дело первопечатника Ивана Федорова, затем передает его, обогатив собственным опытом, следующему поколению — молодому Хмельницкому и своему сыну.

В романе «Червленое вино» идея преемственности духовного опыта поколений в обобщенной форме выражена в притче о пилигриме: «Шел убогий пилигрим на богомолье через горные дебри, поскользнулся и упал в пещеру, из которой не было выхода. Пришла зима, на лету замерзали птицы, мороз добирался к сердцу пилигрима, холодный сон смыкал ему веки. И тогда, когда он уже не мог

пошевелиться, увидел соболя, который проскочил недалеко от него в узкую щель и скрылся. «Есть выход! — воскликнул пилигрим. — В трех шагах от меня!» И лютая стужа сковала его тело, и слова его тоже застыли. По этой дороге шел другой пилигрим, его тоже постигла такая же участь. Уже приближалась весна, но у него не было никакой надежды выбраться оттуда. Начал таять снег, зажурчали ручейки, и оттаяли слова погибшего. Услышал их второй пилигрим, нашел в трех шагах от праха щель, выбрался на волю и стал петь песню во славу своего предшественника, который указал ему выход, хотя сам он им и не воспользовался». Притчу рассказывает Осташко Каллиграф, глубоко уверенный, что летописание, которое он ведет, — важнейшее дело на земле, так как через него осуществляется связь с последующими поколениями людей.

По крупицам собирается и отстаивается в веках опыт народа, хранит и передает его память людская. Вот почему так часто современные писатели говорят и пишут о памяти. В конечном счете, пусть через столетия многолетняя борьба, раздумья, искания людей будут реализованы в победах Б. Хмельницкого, в союзе Украины с Россией, в воссоединении двух славянских народов.

В 1982 году издан на Украине новый роман Иванычука «Вода из камня», пока что не переведенный на русский язык. Судя по творческим замыслам писателя, о которых шла речь выше, этой книгой начинается серия романов об известных деятелях культуры прошлого (Маркиян Шашкевич, Николай Гулак).

В центре нового романа Маркиян Шашкевич — основатель «Русской троицы», который стоит у истоков украинской литературы в западноукраинских землях. Действие романа происходит в тридцатых годах прошлого века с экскурсами в век восемнадцатый, связанный с биографией одного из героев — восьмидесятилетнего библиотекаря Павла Любимского.

Павел Любимский, духовный наставник Маркияна Шашкевича, прожил большую и трудную жизнь: был в Москве во время казни Пугачева, сидел в Шлиссельбургской крепости, бежал в революционную Францию, встречался с Костюшко в Париже, беседовал с ним о том, какое место в восстании поляков отводится украинцам. Любимский даже был назначен эмиссаром революционной Франции на Украине, знал Котляревского, Григория Сковороду...

Любимский составляет свое жизнеописание и передает рукопись Маркияну Шашкевичу: «Может быть, пригодится тебе прожитая мною жизнь. Как основание для нового дома... И не забывай, что ты есть сын Руси, за которую умереть обязан... Лучший врач для меня — ты, ибо продолжишь мою жизнь... Новое звено в бесконечной цепи» [1].

Подобное завещание в свое время получил молодой Любимский от слабеющего Григория Сковороды: «Ты много изведал, щедро жизнь тебя потрепала, давая тебе знание, ты должен был выработать в себе собственную мудрость, собственный взгляд на мир... Слаб я стал телом и недолго мне уже ходить по земле. А кто-то должен идти после меня. Ты же еще молодой, сделай столько, сколько можешь».

Далее этот монолог продолжает сам автор, акцентируя и в новом романе внимание на идее преемственности поколений: «Клубок докатился... Завещание философа через толщу нескольких десятков лет, через чужие уста дошло ныне до наследника — Маркияну передали его как духовный завет из старого, наглухо заколоченного сундука, как эстафету.

Домотай клубок своей пряжей... Сделай, сколько можешь».

И так было издавна, никто не начинал на пустом месте...

В романах Иванычука неизменно присутствуют, правда, на втором плане (возможно, потому что эта линия уже хорошо представлена в литературе), образы народных заступников, бунтарей, мстителей. В «Червленом вине» это опришки, скорняк Галайда, отряд которого оставляет черные пожарища на местах панских владений. В «Манускрипте с улицы Русской» — Наливайко, сапожник Филипп Дратва, правоту которых понимает простой народ. В «Воде из камня» — это Мирон Штола, дезертировавший из войска и собравший 30 опришек, чтобы чинить расправу над жестокими панами. На его казни присутствует Маркиян, а потом записывает народную песню о нем. Это и кузнец Иосиф, который принимал участие в польском восстании, а в ссылке подружился с бывшим декабристом Иваном Рюминым. Думающий герой Иванычука на стороне борющихся и приходит к пониманию, что народная кровь проливается недаром.

---

[1] Здесь и далее подстрочный перевод автора статьи.

Традиции народной борьбы, как и духовных исканий, живут в памяти людей и передаются в поколениях. Но эти две линии в романах Иванычука в соответствии с жизненной правдой развиваются автономно. Только через годы, слившись воедино в восстании Богдана Хмельницкого, они приведут украинский народ к победе.

Историческая проза Иванычука — это не застывшая структура: писатель находится в состоянии постоянного поиска художественных решений. Почти в каждом новом произведении автор «пробует» тот или иной изобразительный прием. Так, в романе «Червленое вино» он часто, может быть, даже излишне часто, использует притчу. Нередко писатель прибегает к традиционной для украинской литературы романтической манере письма — в особенности тогда, когда прописывает любовные линии (Льонця Абрекова — венецианский консул Массари, Юрий Рогатинец — Гизя Абрекова в «Манускрипте с улицы Русской»; гусляр Арсен — красавица Орыся в романе «Червленое вино»). И авторская речь, когда она должна достигнуть символического звучания, также передается средствами романтической стилистики. В связи с этим напомним финал романа «Манускрипт с улицы Русской»: «На Афоне, в тесной келье Руссикона, откуда видны только небо да синие воды Эгейского моря, тосковал мних Иван Вишенский по далекой родине. Он не знал, что творится, что зреет в родимом краю, стонал, словно седой альбатрос в непогоду, плакал и молился за Украину».

Романтическая концовка романа — тоска Вишенского по родине — эмоционально и стилистически гармонирует с последней главой «Огненный конь», в которой юный Хмельницкий спасает дикого степного коня от аркана мародеров и радуется его освобождению: «На воле мой конь, на воле... Придет время — и оседлаю его...» Так ненавязчиво, не логически, а символически автор прочерчивает нити связи между Иваном Вишенским и молодым Хмельницким. Если внутреннее родство между Юрием Рогатинцем и Вишенским, приезжавшим на Украину и выступавшим в соборе Успенского братства со страстными проповедями в защиту православия, показано в романе реалистическими средствами, то связь украинского писателя с более отдаленными поколениями, из-за большого временного расстояния утратившая конкретные жизненные черты, изображается с помощью средств романтической поэтики.

Роман «Манускрипт с улицы Русской» наиболее сложен по своей художественной форме. Прием, если можно так его назвать, «условного документа» пронизывает почти всю его художественную структуру. Автор-повествователь становится обладателем манускрипта XVI века — рукописи лавочника Лысого Мацька. Но едва успев прочесть этот документ, он неожиданно обнаруживает, что рукопись рассыпалась в порошок, видимо, под влиянием света. Цитаты, воспроизведенные повествователем по памяти, служат эпиграфами к некоторым главам романа. Значителен в романе и элемент фантастики. С известием о проказе является католическому архиепископу Соликовскому и пьянице Антоху Блазию голубь со златой девичьей головкой. В повествование проникает и черт, который неизменно по украинской народной традиции находится рядом либо со священнослужителем (снимает перед митрополитом шляпу), либо с проходимцем (в романе это Антип, тайный слуга католического архиепископа). Потусторонние силы привносят в роман и сатирическую струю.

В творчестве Романа Иванычука четко определилась сфера его исторических интересов, найден главный герой. Сочетание смелого эксперимента с традицией — это надежный путь в освоении художественной формы романа о прошлом.

Начиная с XV века ведет писатель художественную летопись борьбы украинского народа за освобождение. Но, размышляя о страстных поисках правды в прошлом, он ни на секунду не забывает современников, которые — он в этом твердо убежден — должны ощущать ответственность и перед завтрашним днем, и перед прошлым, перед теми людьми в истории, которые, не жалея сил, приближали будущее.

А. ГЕРАСИМЕНКО.

СОДЕРЖАНИЕ

Роман Иванович ИВАНЫЧУК

МАНУСКРИПТ С УЛИЦЫ РУССКОЙ

Приложение к журналу «Дружба народов»

М., «Известия», 1983, 640 стр. с илл.

Оформление «Библиотеки» **Ю. Алексеевой**

Редактор **М. Серебрянникова**

Технический редактор **В. Новикова**

Корректор **В. Волк**

●

ИБ № 639
Сдано в набор 27.04.83. Подписано в печать 10.10.83. А 01451.
Формат 84×108[1]/32. Бумага тип. № 1. Гарнитура литературная.
Печать высокая. Печ. л. 20,00. Усл. печ. л. 33,60. Уч.-изд. л. 35,05.
Заказ 1952. Тираж 265.000 экз.
Цена 2 руб. 50 коп.

Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР».
Москва, Пушкинская пл., 5.

Набрано в типографии журнала «Пограничник».

Сматрицировано и отпечатано в ордена Трудового Красного Знамени
типографии «Известий Советов народных депутатов СССР»
имени И. И. Скворцова-Степанова.
Пушкинская пл., 5.

В 1983 году

издается 15 книг

библиотеки

«ДРУЖБЫ НАРОДОВ»

А. Адамович. Хатынская повесть. Каратели.

А. Айвазян. Треугольник. Повести. Рассказы. Перевод с армянского.

М. Алексеев. Ивушка неплакучая. Роман.

Ф. Алиева. Корзина спелой вишни. Романы. Перевод с аварского.

Ю. Бондарев. Тишина. Выбор. Романы.

Д. Досжанов. Шелковый путь. Роман. Перевод с казахского.

Т. Зульфикаров. Мудрецы. Цари. Поэты...

Р. Иванычук. Манускрипт с улицы Русской. Романы. Перевод с украинского.

О. Иоселиани. Звездопад. Романы. Рассказы. Перевод с грузинского.

Ю. Казаков. Рассказы.

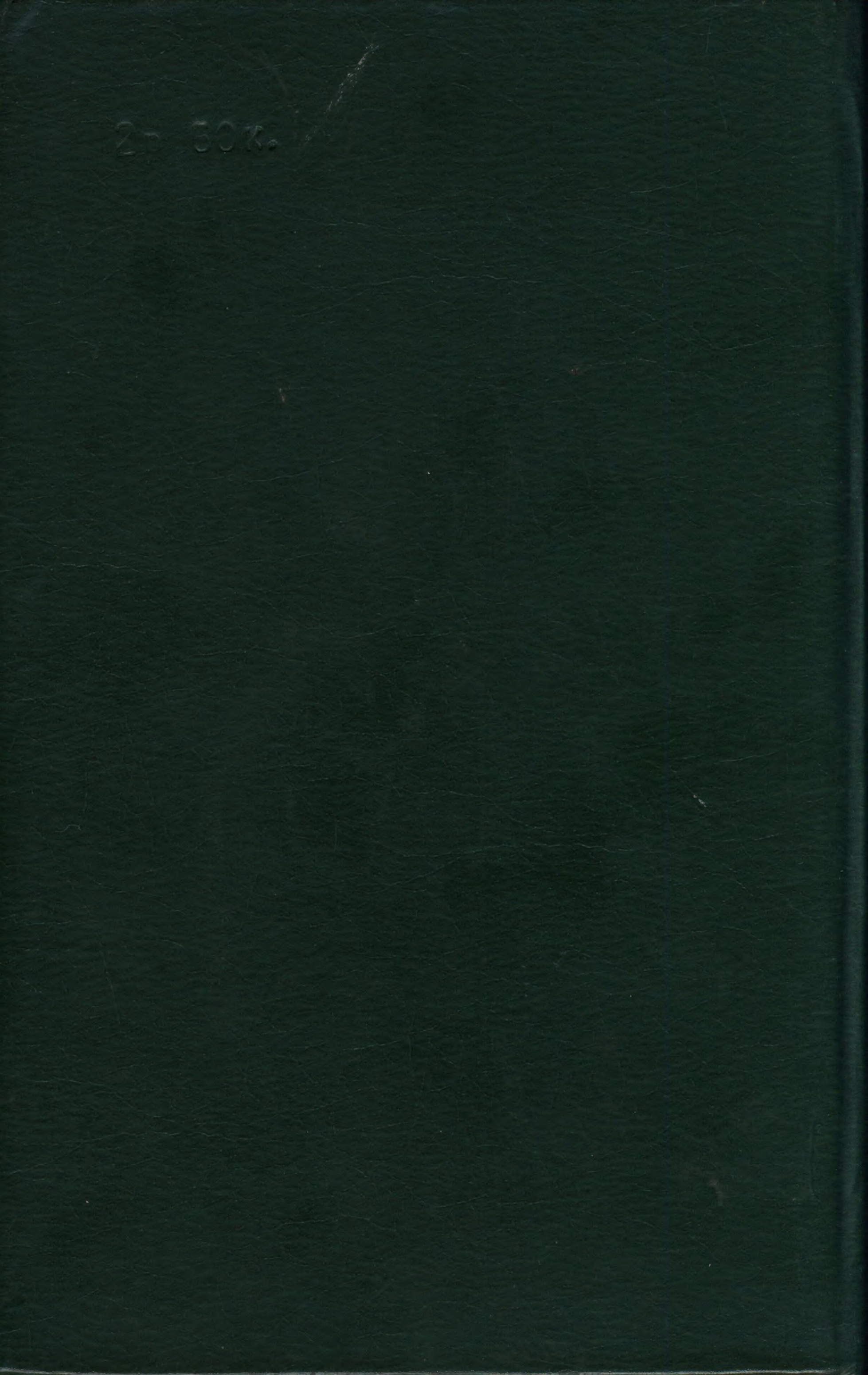
Л. Карелин. Ступени. Роман. Повести.

А. Ким. Собиратели трав. Повести.

Г. Тютюнник. Водоворот. Роман. Перевод с украинского.

Ю. Трифонов. Нетерпение. Старик. Романы.

Эстонские повести.


2 р. 80 к.

